Ф.М. РЕШЕТНИКОВ

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

РОМАНЫ

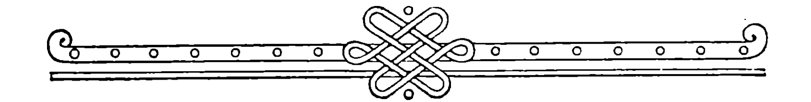
ТОМ
2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Иллюстрации
Г. Н. ВЕСЕЛОВА

ГЛУМОВЫ

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I,

в которой читатель найдет краткую характеристику общества, мало известного ему

Таракановский чугунолитейный и медноплавильный завод с Круглой горы представляет вид разбросанного шестиугольника. Как раз под самой горой, справа, пруд, а в нем есть два маленьких острова, поросшие ивой; с южной стороны вытекает из пруда небольшая речка, сперва скрывающаяся в лесу, а потом, правее, идет по голой, покатистой местности и точно убегает в гору с сероватою почвою, гору — без лесов и кустарников, как и гора Круглая. Немного левее, как будто под самой горой, а на самом деле в полуверсте от горы, построены две четырехугольные каменные фабрики с красными крышами, четыре длинных здания на заднем плане, потом, впереди фабрик, плотина с вешняками. Но эти фабрики кажутся довольно мизерными <в сравнении> с остальною массою пестрых и черных домов, с высокими крышами и маленькими садиками, сплотившимися так тесно друг с другом, что трудно с первого раза найти в этой массе какой-нибудь промежуток. Но это только для первого впечатления. Если же постоять подольше и приглядеться, то начинает проясняться вот что: заводские дома построены большею частию на холмистых местах, пересекаемых ручейками, летом высыхающими, а весною причиняющими своим разливом значительные ущербы в домашнем

хозяйстве таракановцев. А так как холмы никто не трудился сравнивать и они, согласно законам природы, устроились как пришлось, то от этого происходит то, что с горы нельзя различить промежутков между домами. Здесь не мешает еще прибавить, что когда на горе существовала будка, то ни один караульный не мог положительно сказать в случае пожара, чей горит дом, потому что ему казалось всегда пламя не в том месте, где оно было. Это недоумение объясняется безалаберной кучей строений. Почти в середине массы домов виднеется голубая церковь, около церкви лес; правее виднеется что-то похожее на весы, потом длинное одноэтажное белое здание с садом; рынка же на площади вовсе не видать. Берега пруда с правой стороны высокие, крутые, потому что, как говорят таракановцы, гора Круглая пустила по правому берегу пруда отросток. Этот отросток, впрочем, имеет на себе густой сосновый и березовый лес, куда летом бедные таракановцы ходят за малиной, а богатые ездят пить чай, закусывать, одним словом — благодушествовать под зеленью. Особенных видов в правой стороне нет: лес и лес, то горы, поднимающиеся высоко, то холмы, чуть-чуть виднеющиеся в промежутках леса, то где-нибудь лес горит — и вся эта масса с лесом и горами, наконец, точно упирается в небо, как будто тут ей и конец. Налево же к пруду выходят огороды с банями без крыш, построенными ближе к пруду для того, чтобы летом было удобнее из бани окунуться в воду, а зимою на берегу пруда охладиться, что, впрочем, многим дорого обходится, потому что с пруда часто дует резкий холодный ветер...

Завод, вместе с людьми, принадлежит частному лицу (мы взяли несколько лет назад). Поэтому у обитателей завода особый характер, отличительный от других человеческих разрядов тем, что мужчины преимущественно рабочие на заводе: рабочие в рудниках, рабочие в лесах, рабочие на фабриках. За эту работу в старое время они получали провиант, имели покосы, на господский счет строили дома и пользовались несколькими свободными днями в году. Все они управлялись своим начальством, тоже крепостными людьми; начальников у них было много: десятник, сотник, нарядчик, штейгер, урядник, приказчик. Последних бывало и по два в заводе, и они были главными рычагами всего заводского дела. Выше

приказчика был управляющий, служивший заводовладельцу по найму и заменявший своею личностью владельцев, которые на завод никогда и не заглядывали. Случалось, что господа делали управляющими и своих крепостных, но редко. А так как над рабочими постоянно существовало свое начальство, крепостное, то у таракановского заводоуправления существовали свои домашние законы — словесные или письменные приказания и наставления. Тесно связанные с внутренней обстановкой жизни рабочего люда, эти законы вошли в обычай каждого человека, который ни возражать им, ни противиться не смел, а даже сам, в семейном своем быту, применял эти законы к делу.

Таракановцы народ рабочий — и чем они отличаются от других рабочих, так это разве тем, что в прежнее время они должны были работать всякую работу, где и что им дадут. Мало-помалу у таракановцев сложился характер, состоящий в том, чтобы надуть свое крепостное начальство, выйти сухим из воды, сгрубить кому угодно, осмеять того, кто поддается, обругать в сердцах того, кто больно жмет, работать подобно машине и, в свободное время, отводить горе за водкой или пивом в дружеской компании, в которой можно и подраться. От этого и от того, что рабочие работают по нескольку человек вместе, у них существуют товарищества, основанные на том общем интересе, чтобы работать вместе, пить вместе, жить дружно, в случае промаха кого-нибудь из товарищей, — например, в краже чугуна, меди, в порубке леса, — не выдавать своего, на основании того заключения, что крепостное начальство, желая откупиться на волю, ворует где сотнями рублей, а где и больше. Не мешает заметить, что большинство рабочих были раскольники, и хотя со временем раскольники слились с православными, но и теперь еще можно найти настоящих раскольников на Козьем Болоте; у них сложился своеобразный заводский взгляд на разные вещи, не говоря уже о предрассудках и разных суевериях. Книг никто из рабочих не читал, потому что книг не было, да и если бы и были, то читать умели немногие, выучившиеся самоучкой, и поэтому у таракановцев существовала с испокон веку практика, а о теории они и понятия не имели. На основании вот этой-то практики они и строили разные

убеждения, заключения и мнения, а как практика все-таки вертелась на том, чтобы работать, потому что без работы голодным насидишься, то каждая рабочая артель горячо отстаивала свое занятие: кайловщик, рабочий в рудниках, хотя и ненавидел свое занятие, потому что оно очень тяжело и уносит много здоровья, однако не любил слесаря, подзадоривал на драку куренного рабочего и водил вообще компанию с рудничными рабочими; слесарь, человек большей частию работающий дома, с презрением относился к фабричному рабочему и подзадоривал на драку портного или сапожника, надеясь в то же время на свои силу и ловкость, — и т. д.

Женский пол занят преимущественно хозяйственными домашними делами, рождением и кормлением детей. Зная, что муж в доме глава, хозяин и кормилец, жена боится в чем-нибудь огорчить мужа, потому что хоть как ни дери горло (а таракановские женщины очень голосисты), а с мужем не справишься. Но все-таки нельзя сказать того, чтобы таракановская женщина была забита вконец. Правда, ее умственное развитие останавливается при выходе замуж или при рождении второго ребенка, но ведь и мужья тоже недалеки в умственных способностях, хотя далеко превосходят женщин доказательствами, называя при этом женский язык балалайкой. Стоит только послушать, как соберутся три женщины и о чем-нибудь разговаривают: мало того, что они голосят без умолку, — нет, каждой хочется перекричать остальных, ввернуть такое слово, чтобы остальные рты разинули, — и хорошо еще, если они не передерутся; а между тем весь этот крик происходит оттого, что каждой хочется показать другой, что и она умна и что муж ее не пешка какая-нибудь или что у нее, слава богу, не один ребенок. Мало этого: муж, не посоветовавшись с женой, не заведет чего-нибудь для хозяйства, не даст денег в долг, не позовет гостей на праздник. Кроме этого, так как те мужья, которые работают в рудниках, домой возвращаются через неделю или через две недели, а те, которые работают на фабриках, — поздно вечером, то жены в домах делаются полными хозяйками, и мужья, возвратившись домой, не имеют права вмешиваться в женское хозяйство; так, например, если пропадет корова — дело женское; муж только побранит жену за слабый надзор; то же и с курицами и с овечками;

пропади же лошадь в отсутствие мужа — муж здорово исколотит жену, потеряйся сапог или шило — жене быть битой. И все это объясняется очень просто: муж — хозяин всего своего имущества и, из любви к жене, предоставляет ей право не только безапелляционно распоряжаться хозяйством, но и, так сказать, дарит ей для забавы корову, куриц и овечек, от которых большею частию пользуются его дети. Умеет она владеть коровой — владей, а не умеет — сама виновата; пропала — покупай на свои деньги.

Занятий у обоего пола таракановцев очень много, но эти занятия обеспечивают их кое-как. Работать на сторону приходится очень немногим мужчинам, а женщины работают только на свои семейства, да и то, как говорится, бегает-бегает, все ноги обегает, еле-еле до постели доберется. Жизнь женщины на заводе — все равно что колесо, медленно двигающееся, и только разве какой-нибудь важный, <выходящий> из ряда обыкновенных, случай явится в какой-нибудь день, — только тогда это колесо приостановится ненадолго. Зато и бывает же отдых этому колесу — такой, где женщина не только вполне являет себя хозяйкой дома, но даже делается госпожой над всем домом. — Это заводские праздники.

ГЛАВА II

Читатель знакомится с фамилией Глумовых

Много разных Глумовых в Таракановском заводе: есть Глумов — приказный в главной заводской конторе, есть Глумов — портной, есть Глумов — нарядчик, пяток других Глумовых уже находится на спокое, а пять еще находятся в работах или в самом заводе, или в других заводах, подведомственных Таракановскому, и большинство этих Глумовых в родстве между собою не состоят; но все эти Глумовы — ничто в сравнении с известным родом Глумовых — родом Якова Петровича. Вот этих-то Глумовых знает почти весь завод, начиная с маленьких ребят. Потомки Якова Глумова гордились своим предком, потому что он сумел один поставить крест на соборную колокольню губернского города. Дело было так: Яков

Глумов обладал порядочной силой и ловкостью; он занимался преимущественно постройкой домов. Пристрастившись к этому занятию, он ушел на заработки, и вот в губернском городе ему представился случай отличиться: нужно было поставить крест на соборной колокольне. Все рабочие, участвовавшие при построении собора, затруднялись поднять крест на колокольню; недоразумение состояло в том: каким образом подняться по шпицу, имеющему вверху пространства две четверти ширины? Другое бы дело — из нутра продеть, но из нутра неловко, да и одному не справиться, а двоим тесно. И странное дело: четыре человека занимались обивкой шпица, но никто из них, кроме Якова Глумова, не решился исполнить такое трудное дело, потому что всякий боялся: ну, как слетит сверху! Колокольня стояла два месяца без креста; начальство вызывало охотников, предлагало большие деньги, но желающих не являлось, а Яков Глумов, еще за два месяца хваставшийся товарищам и горожанам на работе, в питейных и на рынке, что как ни помаются, а без него не поднимут креста, — помалчивал. Он был человек гордый и ждал, что за ним придут, ему поклонятся. И он не ошибся. Явился архитектор, рассыпался в любезностях, наговорил кучу вздору и стал упрашивать Глумова. «Нет, — отвечал Глумов: — я человек семейный, и за што же я стану жизнь свою губить?» — «Пять тысяч назначено тому, кто поднимет крест». — «Я разе пять тысяч стою своим детям: дети от меня науку только начали примать». Наконец уломали кое-как Глумова взяться за дело. Назначен был день, народу к собору собралось чуть ли не весь город, да еще приезжих сколько понаехало. Леса с колокольни еще не были убраны до колоколов, а выше лесов не было. Крест стоял у перил. Но Якова Глумова не было. Наконец явился и он. Это был низенький человечек, с бледным лицом, одетый очень просто. «Четыре человека со мной!» — крикнул Яков Глумов, гордо озирая праздную толпу, и пошел. Через полчаса он был на колокольне, полчаса его не было видно, через час он явился на колокольне и кричал стоявшим на лесах рабочим: «Привязывайте крест!» — но так как они возились долго, то он спустился сам и сам обвязал крест как нужно. Потом он привязал крест на спину и — где задевая за крышу, где по веревке — в полчаса добрался до

шпица. Отдохнув немного, он в пять минут очутился на верхушке шпица и сел как ни в чем не бывало. Это очень удивило народ. Когда же он спустился со шпица — его осыпали расспросами: каким образом мог он сидеть на шпице, — но он отвечал: «Это дело мое». Собрав много денег, Глумов стал гулять, и хотя городское начальство сначала поблажало герою, но, наконец, дурачествам Глумова не было границ, и его принуждены были послать в Таракановский завод, где он еще больше стал бесчинствовать на основании того, что он герой и героем его прозвали большие люди.

Этот Глумов, как говорят, сгорел с вина, и после его смерти не осталось ни копейки денег сыновьям и дочерям.

Сыновья Глумова пошли в отца, но им, подобно отцу, героями не случилось быть, а приходилось пользоваться отцовскою славою, на основании которой один из братьев был даже выбран Козьим Болотом в старшины, то есть в начальники над раскольниками, — но это начальство продолжалось недолго: его посадили в острог и сослали в каторжную работу за какое-то преступление.

В настоящее время существуют в Таракановском заводе внуки Якова Глумова: Тимофей Глумов, Маланья Степановна с дочерью Прасковьей и двумя сыновьями: Ильей и Павлом.

Живут они в Козьем Болоте — в десятом доме по левую руку. Здесь кстати заметить, что новых домов тут не строят на том основании, что с новым домом много хлопот, да и у рабочего человека очень немного свободного времени, которое идет на починку сапогов или коекакие поправки, нанять же для этого плотника не на что. Кроме этого, рабочие, на старости лет обратившиеся в раскольников, такого мнения насчет новин, что строить новый дом — и грех и гордость, потому что — какого мнения будут остальные товарищи? осрамят и будут грызть всю жизнь. Подобный случай действительно был. Один рабочий сломал ветхий дом, находившийся ближе к фабричному порядку, зиму он прожил в избушке, выстроенной в огороде, а на другое лето выстроил дом с избой и комнатой. Все обитатели Козьего Болота корили его, называя отщепенцем, то есть отделившимся от них, и тем, что он напоказ себя выставляет, желая уверить всех, что

он человек богатый и на прочих плюет. Рабочий не находил покою нигде, жену его еще больше ели, ничего ей не давали в долг, и если она, по простоте своей, давала кому-нибудь муки, квасу или соли, то ей долг не возвращали, считая мужа ее богатым человеком; наконец дом этот во время страды сожгли, и рабочий переселился в солдатский порядок.[1]

Как бы то ни было, рабочие Козьего Болота не жалуются на ветхость своих жилищ, а каждый свою избушку утыкает мохом или паклею, преимущественно мохом, потому что ни у одного таракановца нет ни пашен, ни полей, на которых бы рос лен, — и подпирает, в случае надобности, бревешком. И таких полуразвалившихся домишков, как дом нашего героя Глумова, в Козьем Болоте немало.

Настоящих хозяев в доме Глумовых в конце пятидесятых годов было двое: Игнатий и Тимофей Петровичи Глумовы.

Оба брата разнились друг от друга родом занятий и характерами. Игнатий был груб и зол и, вероятно, поэтому работал в рудниках, а Тимофей был мягок, угождал мелким начальникам, терся то при полиции, то при лазарете и, наконец, попал в караульные на гору, где в то время существовала *караушка,* заменявшая на заводе каланчу, хотя в сущности ее назначение состояло в том, чтобы отбивать часы, то есть смены рабочих.

Несмотря на то, что Игнатий Петрович был зол и груб с мелкими начальниками, вроде штейгеров и нарядчиков, в товарищеском кругу он был добрейшее существо. Сочувствуя каждому человеку в том, что положенного урока такому-то рабочему не исполнить, он всегда поддерживал мнение, что недурно было бы посбавить уроков, но это мнение не приводилось в исполнение потому, как говорят заводские бабы: «Рабочие только на словах бойки, а коснись дело налицо, у них и каша во рту застыла». И рассуждение это довольно метко характеризует трусость рабочих. Так Игнатий Петрович, бывши душою рудничного общества на работах, в рудничной избе, в питейных домах, в гостях, нередко подговаривал товарищей

---

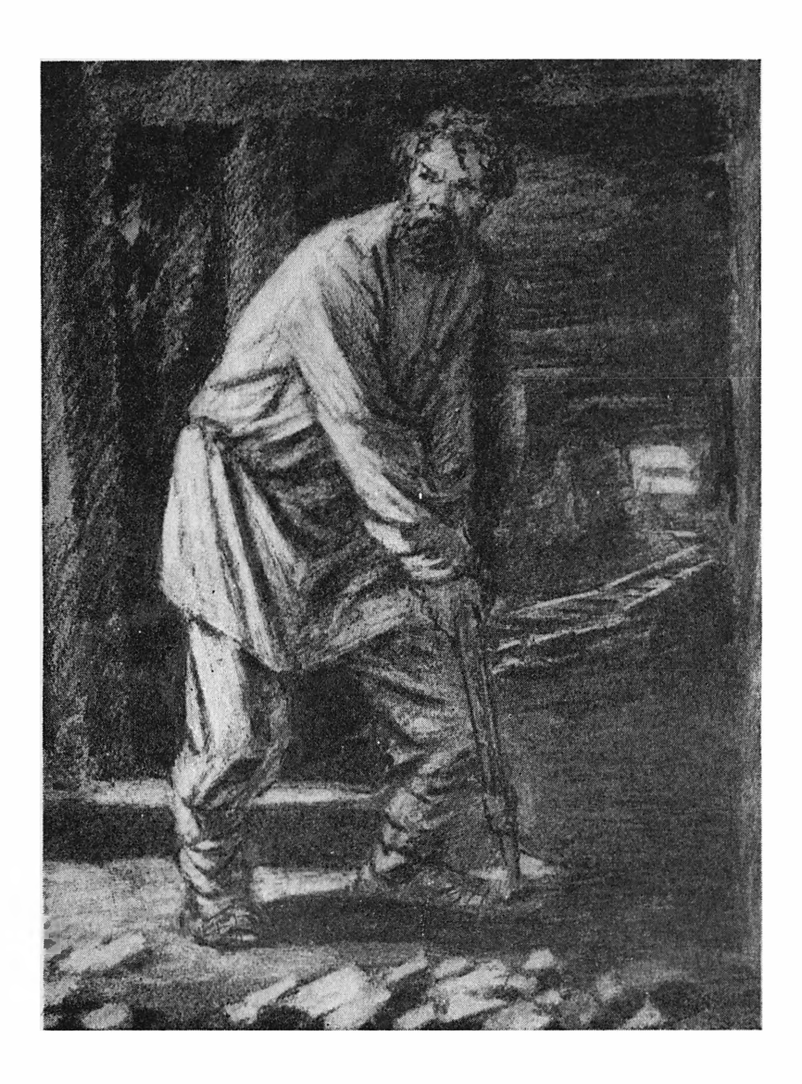
[1] Порядком называется часть завода, имеющая свое особое мирское управление, — нечто вроде отдельной деревни.

подать просьбу управляющему об уменьшении урочных работ. Товарищи голосили, хорохорились; но на другой день вся вчерашняя храбрость исчезала, и они, махая руками, говорили: «Наплевать! Уж коли старики наши эти порядки не могли изменить, так нам ли уж соваться с свиным рылом в золотую лохань». Один только Игнатий Петрович не изменял своего мнения. Он раз утром, после праздника, опохмелившись с товарищами, уговорил их подписать прошение управляющему — прошение, написанное очень красно заводским учителем Петром Савичем Курносовым. Прошение это было подано лично управляющему. Стали спрашивать подписавшихся, и только двое с Игнатием Петровичем высказали свои жалобы, а остальные, боясь наказания, или молчали, или говорили: «Мы так; мы ничего...» Само собой разумеется, что изъявившим претензию пришлось не легко, так что Игнатию Петровичу не привелось уже быть повышенным в рабочей иерархии, хотя он был из лучших работников; он так и умер рабочим на руднике. Курносов же потерял учительское место.

В домашнем быту Игнатий Петрович был, по выражению хозяек, золотой человек. Действительно, уезжая на рудник, находящийся от завода во ста пятидесяти верстах, и проработав там почти без отдыха две и три недели, он возвращался домой измученным, и жена его Маланья Степановна, любившая его нежно и занимавшаяся на заводе лечением больных, ухаживала за ним как за ребенком; не возражала на его грубые речи, и если когда и случались сцены, так это разве тогда, когда он приходил домой пьяный, садился на лавку и начинал ругаться, начиная с десятника и постоянно оканчивая своей женой и детьми, воображая, что в отравлении его жизни все участвуют. Жена в это время сидела против него и доказывала ему, что он сам виноват, потому что понапрасну деньги пропивает, и хотя думает, что ему весело теперь, да все-таки работал он на руднике не в последний раз. Игнатий Петрович хотя и возражал на эти бабьи рассуждения, но уже поворачивал свои ругательства совсем в другую сторону и потом скоро засыпал. С женой вообще он обходился хорошо, детей не обижал.

Хвастался Игнатий Петрович только лежа на постели: «Али я не Глумов? и пьян, и сыт, и в своем дому на кровати лежу... Вот где жизнь! А сойди я с кровати —

я скот, ничтожная тварь. . .» Совсем другое дело — Тимофей Петрович. Этот еще в детстве слыл за дурачка, но когда достиг совершеннолетия, товарищи стали замечать, что этот дурачок себе на уме, и в насмешку говорили, что глумовская порода хоть на ком-нибудь из ее роду да проявит себя чем-нибудь особенным. Яков Глумов славу приобрел долголетней опытностию и практикой; вот все замечают на потомках Глумовых переворачивание этой славы — только в другую сторону: сколько был славен Яков Глумов, столько же ничтожны теперь его потомки, и все это происходит от гордости. Так объясняли таракановцы; но ничего этого не понимал или не хотел понять Тимофей Петрович. Идея у него была такая: ссориться со штейгерами и прочею дрянью не стоит, нужно ласкаться к ним и угождать им. Он так и действовал, и его жаловали больше других, хотя он почти всегда или сидел без дела с трубкой в зубах, или перехаживал от одной кучки к другой, забавляя рабочих остротами, прибаутками и одною очень смешною песнею, за которую ему дали название «медвежьего вожака». И это название мало того, что превратилось в поговорку, но рабочие еще спрашивали его постоянно: «А скоро ли, Тимошка, кривая ножка, ты медведя нам будешь показывать?» На это Тимофей Глумов только хохотал или говорил, смеясь: «А что, разве нехорошо с медведем ходить?» — и начинал приплясывать и припевать: «А гри-дю-грю, да гри-де-грю, да гри-де-гря!!», сопровождая эти слова смешными жестикуляциями, которые до слез и колик смешили толпу, а некоторые даже сами принимались размахивать руками. Нельзя сказать положительно: эти ли насмешки товарищей над Тимофеем Петровичем, или у него действительно была мономания, только на двадцать четвертом году своей жизни он промыслил себе маленького медвежонка. И как же он ухаживал за ним! Не пьет, не ест до тех пор, пока его пасынок, как он называл медвежонка, не развалится, и хоть ты бей его, не встанет с места. Он даже и спал недалеко от пасынка, который был, впрочем, привязан за один угол сарая, выходящего на огород. Сначала этот медвежонок наводил страх на семейство Глумовых, так что в огород не только дети, но и женщины боялись идти; но потом, хотя и привыкли к нему, — медвежонок ни на кого не кидался, жрал помногу ржаного хлеба и никому



не надоедал, — да только медвежонок со временем стал пошаливать, вроде того что в отсутствие Тимофея Петровича перегрызал веревки и бегал по грядам без зазрения совести, и даже раз испугал самого Игнатия Петровича, только что вышедшего из бани освежиться. Тогда Тимофея Петровича стали гнать из дому, в противном же случае грозили убить его пасынка. Пошел Тимофей Петрович по заводу, медведя с собой потащил за веревочку. Народ, старый, молодой и малый, валит за ним и хохочет:

— А ну-ка, Тимошка, покажи фокус-покус!..

— Как твоя барыня капусту в огороде воровала!

— Ой, насмешил этот Тимошка! Хо-хо! глядите, медведь его назад прет...

С этим медвежонком Тимофей Петрович осрамил себя на весь завод. До сих пор он только кормил его, а так как об учении его раньше не подумал, то теперь на все приказания плясать и показывать фокусы-покусы медвежонок только мычал или лежа сосал лапу.

Народ хохотал над Тимошкой, и тут же один рабочий сложил песню такого рода, что в заводе появился цыган с медведем: вывел этот цыган медведя к народу, плясать заставлял да вместо медведя сам до того наплясался, что лишь кое-как до первого кабака добрался.

После этого Тимофей Петрович не чудил и в качестве непременного работника исполнял разные должности: был он и при лазарете сторожем, был и казаком при полиции — и всюду слыл за дурака, которому только и занятия, что быть на побегушках, так как у него ноги казенные.

Среда, в которой он проводил жизнь, была как раз по характеру Тимофея Петровича. Из товарищей его многие были отъявленные плуты, и хотя сам он прежде плутом не был, но каждый про себя думал, что такого плута редко где сыщешь; эта среда сделала его пьяницей, взяточником и даже вором. Вот за одно воровство его и сослали на Круглую гору быть караульщиком денно и нощно. Это было самое тяжелое наказание на Таракановском заводе.

И действительно, какое нужно наказание рабочему, которому нипочем розги, который привык работать в рудниках? Отдать в солдаты... Но заводоуправление лишится одной рабочей силы, да и за что давать негодяю

жизнь, лучшую заводской? Вот оно придумало устроить на горе будку, поставить около будки столб, на верху столба сделать подобие крыши, под крышей повесить десятифунтовый колокол и назначить буяна или мошенника, которого не берут ни розги, ни рудники, сторожить завод, с тем что этот сторож может отлучаться с горы в завод раз в сутки, а именно после полуденной смены. Отлучка эта заключалась в том, что сторож обязан явиться в полицию для того, чтобы показать себя, и потом запастись провизией.

Но как исполнял свою должность Тимофей Петрович!.. На первый день он перевел висевшие в его избушке стенные часы на целые полсутки и ударил смену; на другой день забил в набат. Но это не сошло ему даром, и как он потом ни изощрялся, а должен был исполнять свое дело. Однакоже исполнял свою обязанность с грехом пополам. В первый месяц он отбивал часы как встанет, потому что часы стояли и поправить их в заводе было некому, потому что часовой мастер не брался их чинить, а новые часы начальство не хотело купить. Впоследствии Глумов пропил и эти часы, то есть заложил в кабаке и донес полиции, что в его отсутствие часы украли. Глумов, как и все рабочие, пробуждался в четыре часа, поэтому утром он редко ошибался: иногда разве отбивал часы часом раньше или часом позже — что, впрочем, ему в вину не ставили. Потом он ковырял сапоги, то есть клал заплаты на худые сапоги, взятые в починку от рабочих. Таким образом, занимаясь починкой сапогов, Глумов не глядел на завод, отговариваясь тем, что пожаров в заводе давно не бывало. Потом он затапливал железную печь, варил что-нибудь и ложился спать, и как только выспится, выйдет к столбу; если есть солнышко, то ляжет на одну половинку крыши — северную, служащую часами по черточкам, сделанным на ней; если солнышко летом дошло до пятой черточки — двенадцать часов, зимой до второй — тоже двенадцать, — он бьет часы, а потом идет под гору, в завод, где частенько проспит не только вечернюю смену, но и целую ночь. В ненастную погоду он отбивал смену по своему усмотрению, и за это его ругали рабочие, потому что одним приходилось работать дольше других, и те, которые работали больше, проклинали Глумова и в глаза называли его взяточником.

Заводское начальство только сперва строго преследовало Тимофея Петровича, но потом как будто совсем забыло о существовании на горе избушки с Глумовым, потому что управляющим приказано было завести часы на церкви, и эти часы отбивали смену. Но сторож туда попался не лучше Глумова.

Рабочие считали Тимофея Петровича за полоумного и постоянно дразнили его тем, что он ничто. Трезвый Глумов отмалчивался, но пьяного его трудно было разуверить, что он ничего не значащий человек. Сделав руки фертом, выпятив правую ногу вперед, он доказывал всем, что он сам себе господин.

— А где твое господство? — спрашивали его рабочие.

— А избушка на горе.

— Эх, ты. А ты вот что скажи нам: не срам это Якову Глумову, что его потомки на горе с чертями живут? . .

Раз, это было на третий день успеньева дня, утром, именно в то время, когда надо идти на работы, раздался на горе набатный звон. Таракановцы перепугались, многие кидались из улицы в улицу сломя головы, как говорится; многие вползли на крыши — дыму нигде не видать, и никому в голову не придет взглянуть на гору. Вдруг один подросток кричит:

— Глядите, Тимошка Глумов горит!

Мало-помалу все бывшие на крышах стали глядеть на гору, и каждый хохотал и дивился премудрости Тимофея Глумова: избушка горела, а сам Глумов, стоя у столба, позванивал. Полицейское начальство глядело из окон фабрики и кричало Глумову:

— В полицию!

— Погибаю! — кричал Глумов что было силы и не переставал трезвонить.

На пруд выплыло много лодок, лодки были полны любопытными. Избушка горела ярко, а так как ветра не было, то дым поднимался столбом кверху.

— Спасайте! — кричал Глумов.

Начальство хохотало. Вот на Тимошке вспыхнула рубаха, но он ее вмиг сбросил.

Так он без рубашки пришел на фабрику к начальству.

— Ты зачем сожег избу? — спросили его.

— Видит бог, не я. . . — отпирался Глумов.

Начальство рассудило, что Глумов хитрый

проходимец — избу зажег и чуть сам не сгорел, исполняя свою обязанность, — и дало ему, как полоумному, чистую отставку с половинным провиантом.

Это было в тот год, как умер Игнатий Петрович. С тех пор Тимофей Петрович живет в отцовском доме с семьею брата и попрежнему занимается починкой сапогов. Но главное его занятие состоит в том, чтобы стащить из фабрики или магазина все, что плохо лежит, и это краденое он сбывает у заводских кузнецов, которые, между прочим, занимаются и торговлей как в самом заводе, так и в горном городе.

ГЛАВА III

Домашнее хозяйство Глумовых

Хозяйством Глумовых прежде заправляла Маланья Степановна, женщина всеми уважаемая в Козьем Болоте за то, что она была миролюбивого характера, нрава кроткого и, главное, умела лечить от всяких болезней травами, часть которых она собирала сама то в болотах, то в лесах, а часть покупала у док — таракановских торгашей. Знала ли она в точности, чем болен такой-то или такая-то, разъяснить довольно трудно, но все знали, что науку лечить она переняла от своей бабушки, которая очень любила ее и, желая дать ей какое-нибудь независимое ремесло, чтобы иметь свои деньги, научила ее еще при себе лекарскому искусству. Однако, как бы то ни было — умирали ли больные от ее леченья или выздоравливали, — но она, как и бабушка ее, была в славе, и ее почти все больные Козьего Болота и Медведки приглашали к себе, как свою лекарку, — потому свою, что в каждом порядке была непременно своя знахарка и заводские привыкали постоянно к одной, не подрывая доходов другой. Но вдруг соседи и приятельницы Маланьи Степановны стали замечать, что — «наша лекарка как будто немножко рехнулась в рассудке». И этого им было достаточно на первых порах, чтобы потолковать о всех качествах Маланьи Степановны, и в числе этих качеств стали отыскивать в ней дурные стороны, потому что, как они понимали, полоумным человеком черт шутит. Из боязни ли этого черта или по недоверию к знахарке, но Маланью

Степановну стали реже приглашать к себе, а потом пугали ею своих ребят и совсем отшатнулись от нее. На самом же деле соседки и приятельницы Маланьи Степановны не понимали, в чем дело. У Маланьи были три сына и дочь, из которых она особенно любила старшего, Егора; этого-то сына извела работа и наказания. Ей было горько, она долго плакала, советовалась с мужчинами и женщинами, сочиняла прошения и хлопотала, но когда не могла найти справедливости у заводского начальства, то впала в беспамятство и делала часто не то, что бы следовало.

Но это еще ничего. А вот умер ее муж; она, вместо того чтобы заботиться о похоронах, неизвестно куда скрылась, и только через месяц привез ее казак в дом связанную; но какую... лицо ее было избито, в грязи; руки искусаны; глаза дикие. Она то хохотала, то ругалась. С полулюбопытством и полуиспугом оглядели ее соседи, стали спрашивать ее, но она, не признавая никого, говорила что-то такое, что никто решительно ничего не мог понять. Она даже детей своих не признавала. Постояла она в избе с четверть часа — и вдруг выбежала во двор. Пошли во двор соседи — она лежит под телегой и, как только увидела народ, крадучись исчезла в огород, и там, не обращая внимания на то, что села на гряду с капустой, она стала рыть грядку.

— И штой-то стряслось с ней? — спрашивали женщины казака.

— Ничего не знаю. Поверенный Таланов велел приставить домой.

Так никто и не знал на заводе, отчего сошла с ума Маланья Степановна; знали только, что она была в горном городе, а зачем — ни от кого не добьешься толку.

Таким образом все хозяйство в доме Глумовых перешло в руки Прасковьи Игнатьевны, девицы девятнадцати лет.

На долю русской простой рабочей женщины приходится очень много труда. Вся ее жизнь, до самой старости, до тех пор, пока ее не заменит хорошая помощница, заключается в том, чтобы работать. Примеров искать нечего. Так, Маланья Степановна занималась хозяйством до сумасшествия, и только сумасшествие, кажется, избавило ее от забот, но и она не могла жить без дела.

Женщина если и работает много, то она все-таки сознает, что ведь и она хозяйка, и у нее есть свое хозяйство, и она соседями не обижена, спокойно смотрит в глаза каждому, и никто, кроме ее мужа, не смеет ей сказать худого слова. Другое дело положение девушки, подвергающейся почти на каждом шагу соблазнам, не имеющей таких прав, как женщина.

О детстве Прасковьи Игнатьевны говорить нечего, потому что как и в заводском классе, так и в крестьянском быту воспитание девиц одинаково. Лишь только она начала ходить, лепетать, ее уже заставили возиться с маленькими братьями и сестрами, которые почти каждый год пополняли семейство, но, к несчастию родителей, умирали, — потому к несчастию, что чем больше у рабочего детей, тем больше идет провианту, а впоследствии дети будут помогать родителям. Не мешает также заметить, что родители заботятся только о том, как бы накормить детей и как-нибудь одеть, все же остальное предоставляют воле божьей, на том основании, во-первых, что и сами они росли так же, а во-вторых, о теоретическом воспитании, основанном на различных началах новейшего времени, они не имели никакого понятия. Поэтому все заботы по воспитанию ограничиваются тем, чтобы выкормить себе поскорее работника. Девушка с двенадцати лет, а иногда и раньше, становится уже работницей в доме; кроме того, она возится с ребятами, кормит их, она должна все делать, начиная с мытья полов и посуды и кончая огородом, — только мать не дает ей доить корову и печь хлебы. В пятнадцать лет девушка становится правою рукою своей матери и сама, без понуждения, знает, что ей делать, а мать только распоряжается, показывая вид криком, что она, то есть мать, учит ее, как жить своим хозяйством.

Но при здравом рассудке матери Прасковье Игнатьевне было гораздо легче, потому что тогда что нужно было сделать скоро и враз могло делаться с долгим ворчанием, ненужною ходьбою от одной вещи до другой, от сеней до погреба и т. д. Тогда можно было полчаса лишних простоять на выгоне, куда выгоняют коров, можно было потолковать с подругами, два лишних часа проплясать на вечерах, и все эти прогулки кончились бы только тем, что мать поворчала бы часа три. Теперь же на ее руки было

отдано все — и лошадь, и корова, и овцы, и даже огород. А извольте, например, выполоть огород, когда еще надо поить корову, кормить куриц, а тут мать пристает с чем-нибудь. А мать часто надоедала Прасковье Игнатьевне.

Хотя мать и не злилась на дочь, не бросалась на нее в припадках раздражения, но на Маланью Степановну часто находило то, что пугало не только Прасковью Игнатьевну, но и Тимофея Петровича. Так, например, зимой она часто уходила в огород босая и там рылась в снегу; затопят баню, она завалится на полок — и трудно ее выжить оттуда. Как-то раз ночью она затопила печь в кухне и суетилась около квашонки, и когда ее спросили, что она делает, она отвечала: «Оладьи надо стряпать! Ведь сегодня поминки моему Егору» — и начала ругаться неприличными словами. Тимофей Петрович посоветовал Прасковье Игнатьевне не трогать ее: пусть топит, — дров не жаль, да и теплее будет, — и лег спать, но дочь провозилась с матерью до утра.

Хорошо еще, что Тимофей Петрович помогает по хозяйству. Нельзя сказать, чтобы он любил молодую хозяйку, но иногда, пообедав плотно, говорил: спасибо, хозяюшка; накормила, напоила — всегда так мужу угождай.

ГЛАВА IV

Общий друг дома Глумовых

Июнь месяц. Погода стоит жаркая. Солнышко жжет, на небе чисто, в воздухе накопилось много пыли, а дым от фабрик стелется гуще и гуще над фабричным порядком. Для ребят погода хорошая; они почти все бегают на улицах, даже девушки сидят или на лавочках, или на дощечках, положенных в воротах для того, чтобы между землею и половинками ворот не было промежутков. Девушки, как водится, сидят с грудными или двухгодовалыми ребятами, еще не умеющими ходить на ногах. Время послеобеденное, и по хозяйству все, что нужно, сделано; женщины с чулками или пряхами тоже сидят за воротами, на тех сторонах улиц, где солнце или еще не показывалось, или куда уже сегодня не будет показываться. Женщины преимущественно толкуют по хозяйству,

о каком-нибудь нарядчике, о какой-нибудь корове, рассказывают сны, приводят примеры различных уроков (несчастных случаев) и т. д. Все они хотя и голосят, по-заводски растягивая, но голосят так, что между ними заметно согласие, а той горячки, какую они порют до обеда, теперь и следа нет. Это они отдыхают. Мужья же их и дети, подростки, теперь находятся на работе; половина из них придет сегодня вечером, половина завтра. На полянках разостлан для сушения холст, кое-где на солнечной стороне заплотов сушатся онучи.

И в Козьем Болоте сухо, и там та же картина, как и в других улицах. Ребята кричат, визжат, хохочут, дерутся, ругаются, как старшие, женщины голосят, так что в такой узкой улице ничего не разберешь.

Все шло хорошо в этой улице, только вдруг четверо парней от десяти до пятнадцати лет, доселе весело игравшие в бабки, вдруг начали драться. К ним присоединились еще восьмеро; остальные ребята, вероятно чувствуя себя слабосильными, переставши играть, смотрели в отдалении на баталию и с удовольствием и с завистью, а те, которые были побойчее, кричали:

— Хорошенько, Яшка, Тюньку! Лупи его!

Как ни кричали женщины на ребят, но они не прекращали драться, потому драка была в крови рабочих. Без драки не оканчивалась ни одна попойка рабочих, если дело доходило до разрешения каких-нибудь споров или вопросов; парень, обиженный другим парнем, искал случая отомстить ему, а так как у каждого парня есть свои приятели, а у приятелей свои враги, то настоящая драка этим и объясняется. Наконец двое ребят уже лежали на земле с окровавленными лбами, трое шли в разные стороны со слезами, придерживая носы. Но вот одна женщина, вооружившись граблями, приблизилась к драчунам и по-солдатски крикнула:

— Долго ли еще вам баталь-ту производить?

Но ребята еще хуже продолжали свое дело. Тогда женщина махнула граблями, и двое ребят свалились от ее удара на землю. Ребята прекратили драку, но начали ругаться во все горло разными непечатными словами. Женщины голосили, пугая парней тем, что они непременно будут жаловаться отцам, а те зададут им хорошую по́ронь.

— Да разве мы сами! кто начал-то, спроси всех? .. — оправдывался один рыжеволосый парень.

Женщины не обратили на это оправдание никакого внимания, а завели между собой разговор о непослушании парней.

— Разве мы? вон Илька Глумов первый учал (начал), — кричал другой парень.

— Ах ты, белобрысая крыса! А кто бабки-то в прошлое воскресенье утянул...

Мало-помалу парни опять вцепились в драку, но в это время по улице шел человек в сереньком пальто и черных брюках, в фуражке с околышем местной формы. На вид ему было годов двадцать восемь; лицо его корявое, обросшее баками и усами; походка неровная, — он не то подпрыгивал, не то прихрамывал и размахивал руками.

— Учитель! учитель! тараканий мучитель! — голосили ребята, переставая играть, и косили ему глаза, а некоторые делали руки в боки, поднимали голову кверху и представляли прошедшего мимо них учителя.

Учитель на это не обращал внимания, потому что ребята такие штуки выделывали с ним всегда, если не было в виду отцов. Передразнивали они учителя и вообще всех, носящих не зипун, потому что им смешно казалось видеть человека, живущего в одном с ними порядке, не в той одежде, в какой ходят рабочие.

— Здорово живете, бабоньки! — сказал мужчина, сняв фуражку и поклонившись налево, где около одного дома разговаривали шесть женщин.

— Здорово, Петр Савич. К Глумовым? — спросила одна женщина.

Учитель мотнул головой и сказал:

— Теплынь-то какая, бабы! а? так и жжет! а?

— Чего и говорить. А скоро у те свадьба-то?

Учитель рукой махнул.

— А што так?

Учитель остановился.

— Да вот... — И он замолчал, вероятно желая что-то смешное выдумать, но только плюнул. В это время к учителю подошло несколько ребят, из коих один, годов пяти, лепетал, протягивая руки к нему: «Дядя, пляниик!» — за что и был отведен матерью за ухо в сторону.

— Так, знать, свадьбе не бывать?

— Не знаю, бабы! Дело дрянь: сами знаете — на три целковых немного наскачешь.

Учитель пошел. Драчуны играли в бабки.

— Илья? есть кто в избе-то? — крикнул учитель Илье Глумову.

— Я почем знаю! — огрызнулся Илья Глумов.

— Драть вас, шельмецов, надо! . .

— Самого-то давно ли в кузнице драли.

Остальные парни захохотали.

Учитель плюнул со злости и отворил калитку у ворот дома Глумовых.

— Куда лезешь, кургузый дьявол! Говорят, никого нет дома, — кричал Илья Глумов и подбежал к учителю.

Учитель не то сробел, не то ему сделалось стыдно, что бесстыжий парень его, учителя, обзывает ни за что.

— Я не к тебе иду, свинья.

— Сам съешь. Воровать, поди, лезешь? И так всё на меня говорят...

В это время во дворе показалась Прасковья Игнатьевна, девушка высокая, белолицая, с голубыми глазами и пепельного цвета волосами. На ней надет ситцевый старенький сарафан, на ногах худенькие башмаки, на голове платок.

— Илька! я тебя, страмец! — прикрикнула Прасковья Игнатьевна.

Илька обозвал сестру нехорошим именем и ушел.

— Здравствуйте, Прасковья Игнатьевна!

— Здравствуйте. За чем пришли?

— Я... я пришел к Тимофею Петровичу.

— Дома нет.

— Однако вы, я вижу, сердитесь.

— Сами виноваты: зачем неприличные слова говорите. Разве можно?

— Ну, простите... Ей-богу, до свадьбы не буду... Так прощайте, Прасковья Игнатьевна!

Прасковья Игнатьевна не трогалась с места, а учитель тихонько пошел к воротам.

— Так вы куда теперь? — окликнула учителя Прасковья Игнатьевна.

— Пойду — куда глаза глядят.

— Ну, не то иди в огород: у нас огурцы какие славные...

Вошли в огород.

Картофель уже поднялся на пол-аршина, горох вился по тычинкам и скрывал собою баньку, капустные листы начали сжиматься, в парниках между огуречными листьями желтели цветочки, виднелись зеленые огурцы, а от парников, устроенных около сарая, по тычинкам, упиравшимся в крышу сарая, тянулись с листами ветви тыкв, которых теперь еще было немного, и величиной они были в кулак.

Войдя сюда, холостой человек мог позавидовать тому, что все это сделано старанием женщины, все принадлежит хозяйству, главное — все свое. И надо еще то сказать, что женщине только и есть развлечения, что огород, за которым она, впрочем, ухаживает как за дитей.

Вдруг между грядами появилась высокая фигура Тимофея Петровича. Лицо его с первого взгляда казалось смешным: глаза широкие, с сросшимися бровями; на красном лице множество складок и бородавок; борода выросла как-то в левый бок; волоса кудреватые, рыжие.

— А! женишок явился... Я уж считал: первый вторник, говорю, — неделя, другой, говорю, — две, третий... — говорил Тимофей Петрович, приближаясь к молодым людям.

— Ты, дядя, полй.

— Полй. А что дашь?

— Что тебе дать-то: репу любишь, да не поспела.

— Нет, ты постой, женишок, што я тебе скажу...

— Слышите, Петр Савич... вот умора-то... Ха-ха-ха! .. Ой, батюшки! .. — хохотала Прасковья Игнатьевна.

— Ты молчи: осержусь.

— Знаю: твое сердце только до лавки дойти... Жениться хочет...

— Али я рожей на свинью похож? Али я не молодец? — хорохорился Тимофей Петрович, делая руки фертом и отпячивая по привычке левую ногу вперед, причем лицо его еще смешнее делалось, так что молодые люди захохотали.

— Молодец, Тимофей Петрович. Только этой штуки и недоставало после караушки.

Тимофей Петрович захохотал, икнул, вздрогнул и сказал:

— А кто моя невеста, это — фю-ю!! В пакете, братец

ты мой, запечатано семью печатями. Как есть к венцу... дотоль вам и во сне не приснится... Ведь, братец ты мой, штучка! да еще какая штучка-то!!. Диво будет во всем заводе — знай Глумовых! Кррах!! — заключил Глумов, делая смешной жест руками и ртом. Молодые люди захохотали.

В огород вышла Маланья Степановна. Это была высокая, худощавая женщина, с бледным лицом и начинающими седеть волосами. На голове у нее надето что-то вроде шапочки; на ней самой поверх сарафана шугайчик, заплатанный в разных местах. Ноги босые; а подолы распластаны, так что на висящих лоскутах много накопилось колючих репейных шишек.

Увидев Петра Савича, она скоро подошла к нему и захохотала, потом дрожащим голосом спросила:

— Табачку-то принес?

— Принес, баушка, принес. — Петр Савич вытащил из кармана бумагу, в которой был завернут нюхательный табак. Тимофей Петрович ушел во двор. Старуха взяла щепотку табаку, нюхнула, еще взяла — нюхнула. Потом схватила бумагу.

— Будет, баушка.

— Дай!!. Ах ты, полуварначье, нашивальна, гривенка, наколотный пятачок...

Петр Савич отдал ей бумажку. Она спрятала бумажку под шугайчик и пошла к грядам. Пройдя немного, она села и стала выдергивать траву.

— Славу богу, Петр Савич, нынче не чудит. Сегодня она мне стряпать, что есть, помогала и даже чуть, по-старому, ухватом не отвозила меня: я ставлю похлебку в печь, а она говорит: «Соли надо!» — а я ведь не маленькая, слава те господи... сама знаю, сколько чево надо. «Нет, говорит, посоли». Ну, пристала, даже досадно сделалось... Соли, говорю, — и согрешила, заворчала на нее. Она схватила ухват да как крикнет: «Што ты ворчишь, а?»

— Значит, она в здравом уме.

— Како уж... Захотел от нее ума... Хошь огурчика?

— Давай, коли не жалко.

Прасковья Игнатьевна нагнулась; на лице показался румянец. Она быстро перебирала руками и скоро, не под-

нимаясь, подала Петру Савичу желтый огурец, ростом в два вершка. Минуты через две она выпрямилась, откусила огурец и пошла к грядам.

— Посидим, Прасковья Игнатьевна.

— Экое поседало!.. Все бы сидеть... Мужик еще, слава-те... Ан нет: ведь учитель! — И она захохотала.

— Пока не учитель, што дальше бог даст.

— Хочешь полоть?.. Вон ту гряду поли.

— Нет, я тебе буду помогать.

— Помощник!! Мешать только... Ну, не то иди... Только рукам волю будешь давать, крапивой все лицо изжалю. Вот-те сказ...

Пошли они в середину огорода, присели у мака, и их стало не видно.

Хорошо сидеть в огороде, на борозде между гряд, на которых растут овощи, скрывающие своими листьями от всякого постороннего взгляда. Кругом трава и трава, чирикают в кустах сверчки, дышится хорошо, — так и кажется, что сидишь совсем где-то не дома, а в хорошем месте, из которого бы не вышел, если бы сверху не палило солнышко. Но еще лучше сидеть рядышком жениху и невесте.

Негодной травы, мешающей расти овощам, в каждом огороде бывает много. Так и у молодых людей работы было много. Они полчаса молча выдергивали траву, бросая ее на борозду, на которой сидели, и чуть-чуть подвигались с места. Прасковья Игнатьевна, кажется, только тем и была занята, что выдергивала траву, а Петр Савич вздыхал и то и дело взглядывал на свою невесту, которая при каждом его вздохе улыбалась, и на щеках ее показывался легкий румянец. Разговора ни тот, ни другая не начинали.

Вдруг Прасковья Игнатьевна ударила по руке Петра Савича.

— Так помогают! Зачем репу-то выдергиваешь?

— Насилу-то слово сказала!

— Ты хорош: целый день просиди с тобой — слова не дождешься. А еще слава — жених!

— Женихи целуются с невестой.

— Болтай, пустомеля!.. Это все ты около своих писарей перенял дурацкую привычку.

— Ей-богу, чувство такое.

— Ну-ка, скажи, ученый человек: чувство ли это, што наш управляющий при всем при народе руку у генеральской дочери поцеловал?

— Заведено уж так.

— Нет, ты скажи: ведь управляющий женат?

— Порядки такие — свет того требует, потому они люди высшие...

Прасковья Игнатьевна осталась довольна этим объяснением.

— Однако ведь ты, Паруша, целовалась на вечорках!

— Эк нашел какой разговор! Целовалась и не с тобой одним, а со многими парнями, потому песни такие.

— А все ж дружка себе с вечорки выбрала и после вечорки, помнишь, у лесенки как целовала...

— Дурак! — сказала с неудовольствием Прасковья Игнатьевна и замолчала. Щеки покрылись румянцем; она стала тяжело дышать.

Петр Савич обнял ее и стал целовать; она не препятствовала, а даже сама раза четыре поцеловала.

— Будет, Петя... Увидят, — унимала шепотом Петра Савича Прасковья Игнатьевна; но Петр Савич не выпускал ее из объятий. Прасковья Игнатьевна сама обняла его. Грудь ее поднималась, сердце билось сильно, лицо горело.

— Петя... дружок... што же это со мной деется?

— Это любовь, Паруша...

— Петя, скажи мне по правде: будешь ты водку проклятую пить?

— Не знаю.

— Нет, ты скажи... А то што ж за жизнь! Уж я лучше и не пойду за тебя. Не будешь?

— Не буду.

— Ну, побожись.

— Ей-богу.

— Пить будешь: бить буду... Ну, а што ж, скоро?

— Свадьба-то?.. Ах, Прасковья Игнатьевна, и сам я не знаю, што мне делать?

— Спроси баб, коли сам не смыслишь. Ну, какой ты мне муж будешь? Недаром и ребята-то тебя кургузкой зовут.

— Тебе што: у тебя хоть отрада есть — огород.

— Выбирай другую, коли я...

— Да слушай, ты совсем не то... Вот у тебя дом, а у меня ничего... Вот мне и совестно жениться-то.

— А разве наши парни не так же женятся?

— А я не хочу.

— Ну, и вышел ты дурак, и больше ничего, — и Прасковья Игнатьевна захохотала.

Немного погодя Прасковья Игнатьевна сказала Петру Савичу:

— А коли ты любишь меня да хочешь, штобы я тебе жена была, ты скорее женись. Потому так нехорошо. Ты мужчина, кто тебя знает, што у те на уме, может у те там другая невеста есть...

— Прас...

— Нет, ты дай сказать... Может, ты это так, обмануть меня хочешь... Я ведь не игрушка, тоже и рассудок, хоть и девичий, да имею... Тебе ничего, а што наши бабы говорят: глядите, говорят, девоньки, учитель-то, Курносов, повадился к Глумовым ходить... Да еще и почище говорят... Я тебе то и говорю: коли ты хочешь жениться — женись: у нас дом, слава те господи, не чужой, а до той поры и не ходи сюда. Вот что... А што мы целовались сегодня, так это уж в последний раз до свадьбы.

— Вот, верно, ты-то не хочешь выйти за меня?

— Я с тобой и говорить до свадьбы не хочу.

— Однако говоришь... Прасковья Игнатьевна... Разве так принимают жениха?

Прасковья Игнатьевна пошла прочь из огорода. Вошедши во двор, она заперла дверь на задвижку.

— Прасковья Игнатьевна! — кричал Петр Савич.

Прасковья Игнатьевна не откликалась и минут через пять отперла дверь и захохотала.

Когда Петр Савич вошел во двор, Прасковья Игнатьевна спросила его:

— Молочка не хотите ли?

— Нет, покорно благодарю. Прощай...

— Прощайте... Так мои слова помнить будете?

— Я твою крестную мать буду просить.

— Ладно. Послезавтра я буду у нее: муки надо дать. А вы завтра не приходите. А что она скажет мне, я скажу тебе в воскресенье в церкви.

Отец Курносова был казначеем главной конторы,

и так как место это в заводе считается очень выгодным, то он имел в фабричной улице полукаменный дом и несколько тысяч денег. У него был брат, но с братом он жил не в ладах, да и брат был просто нарядчик. Счастье, как говорят тарakановцы, везло только старшему брату, который разными кривдами и неправдами добился места казначея. Сам же казначей считал себя очень умным человеком и гордился тем, что он с тогдашним управляющим в молодости плавал на караванках, то есть сопровождал металлы. Считая брата за невежду, грубого человека, он не оказывал ему ни малейшей помощи, под тем предлогом, что он человек честный и не желает навлекать на себя неприятностей со стороны управляющего. Меньшой брат ненавидел его и все его семейство, кроме Петра, который частенько воровал у отца деньги и приносил дяде водки и бегал к нему из училища. Если бы Петр Савич не ходил к дяде, то он впоследствии, может быть, и сам сделался бы казначеем. Но ему почему-то нравилось бывать у дяди, проводить по нескольку часов времени в обществе его товарищей, и от них-то он узнал всю гадкую сторону и своего отца и других лиц, которые почему-то ему не нравились. Так продолжалось до выпуска его из училища. После этого отец, желая дать ему еще более образования, отправил его доучиваться в город на господское содержание, но в первый же год обучения Петра Савича в городе отец его умер, а дом от неизвестного случая сгорел со всем имуществом и деньгами, и начальство на этом месте выстроило полицию. Кончил Петр Савич учение и приехал в свой завод с званием учителя таракановской заводской школы, а так как в заводе у него не было ни кола, ни двора, то он и приткнулся к единственным родственникам — сыновьям дяди, двум братьям, куренным рабочим, холостым людям, жившим в Козьем Болоте.

Отсюда началась его практическая жизнь, но жизнь, полная борьбы, надломившая его силы очень рано.

Из завода в город он уехал с разными предрассудками, разделяя все таракановские убеждения. В то время он еще плохо понимал отношения крепостного начальства к рабочим и наоборот; но проживши в городе четыре года, он, так сказать, совершенно переродился, так что по приезде в завод красивая его внешность показалась ему

гадкою. С первой же недели он хотел уехать из завода, но у него была задача: обучать детей, — и он принялся за это дело с жаром.

В заводе полагалось два учителя: священник и учитель, на правах мастерового. Обучали в школе чтению, письму, арифметике и закону божию. Светские учителя при нем были пьяницы, на дело своё смотрели как на поживу, — например, летом посылали по грибы, по малину, заставляли полоть гряды у себя или у приказчика. Словом, это было не училище, а собрание ребят, для того чтобы потешаться над ними, постегать их, спросить по книжке урок ради развлечения и потом дать каждому какую-нибудь работу. Об образовании думал только несколько законоучитель, но и тот приходил в школу редко. Правда, мальчиков в школе было немного: туда отдавались дети состоятельных родителей, а бедные были такого мнения о школе, что там ребята избалуются, да и нет у них таких излишков, чтобы давать учителям подарки. Но как бы то ни было, школа существовала, мальчики ходили туда ради шалостей, а по выходе оттуда кое-как умели писать и мало-мальски знали арифметику. Поступил Петр Савич учителем, растолковал ребятам ласково, как он будет учить их, и начал обучение лаской, за что ребята полюбили его и охотно стали учиться. К арифметике он добавил геометрию, историю и географию, и эти предметы не заставлял он силой учить, а кто желает; однако пожелали все, так что он затруднился насчет книг, купить которые заводское начальство отказалось. Все шло хорошо, но в первый же год заводский приказчик, заведовавший школой, бывши в школе, приказал Петру Савичу, чтобы родители учеников принесли по рублю денег на книги. Зная очень хорошо, что книги обязана покупать главная контора, так как на содержание школы господином назначена известная сумма, Петр Савич возразил, что он этого исполнить не может, так как большинство родителей люди бедные и им дорога каждая копейка.

— Разве мастера беднее меня? Разве я не вижу каждый день пьяных? Молокосос! — закричал приказчик.

— Позвольте мне исполнять свою обязанность: я здесь хозяин, а вы зритель.

— Что такое? Ты, свинья, ты эдак грубить? —

и приказчик ударил по щеке Петра Савича. Тот не выдержал и сам ударил по щеке приказчика.

Приказчик рассвирепел, ребята тряслись от испугу. Потребовал приказчик розог, чтобы выстегать учителя, но розог в школе не было.

Потребовали Петра Савича к управляющему заводом. Он объяснил, в чем дело; тот сказал: «Не твое дело! коли тебе приказывают, ты должен исполнять». И положил такую резолюцию на донесении главной конторы: «Учителя Курносова, за нанесение побоев заводскому приказчику в школе, наказать в школе же розгами, двадцатью пятью ударами». Так учителя и выстегали в школе, в присутствии всех учеников и приказчика...

С этих пор ребята с недоверием стали смотреть на своего учителя, и так как он был смирный, розгами никого не драл, то они перестали заниматься делом, и если он кого-нибудь ставил на колени, то тот называл его «стеганым учителем». В другой раз тот же приказчик заметил в училище геометрию. Смотрел он в книгу долго, ничего не понял.

— Это што ж? меня, кажись, таким фитулинам не обучали. Што это за арцы?

— Это геометрия.

— Бесовская книга. Хорошо! — И приказчик унес книгу, а на другой день потребовали учителя в главную контору.

— Ты каким предметам обучаешь мальчиков? — спросил управляющий.

Петр Савич сказал.

— Знаю. Геометрия вещь хорошая, но какое ты имеешь право без моего, понимаешь — без моего разрешения преподавать ее? Разве мальчишки должны знать *всё?* Это для нас, понимаешь — для нас, для дворян, эта наука существует.

— Я понимаю, по моему убеждению так, что эта наука развивает...

— Молчать! И если еще будешь преподавать какую-нибудь науку — в рудники сошлю. Взяточник, мерзавец...

— Позвольте, — начал было Петр Савич, но управляющий встал с кресла и крикнул:

— Под арест на неделю!!

С этих пор у Петра Савича отпала охота учить детей, и он стал проводить время то на фабриках, то в избах рабочих, не проповедуя им что-нибудь, а просто ради препровождения времени. На фабриках он учился, в кузнице помогал лошадей подковывать и высказывал, что гораздо лучше бы было, если бы его обучили какому-нибудь мастерству, — «а то сделали из меня учителя и не дают учить как следует». А так как рабочие в компании непременно пьют водку, а за неимением водки — пиво, настоенное на русском табаке, который придает пиву дурман, то и Петр Савич сначала пробовал ради компанства, а потом стал выпивать помногу и в пьяном виде часто приходил в экстаз, то есть начинал составлять различные планы, что он сочинит самому генералу прошение, в котором опишет все плутни заводского начальства, и завирался до того, что начинал говорить стихами, что до слез смешило рабочих, и они стали называть его не иначе, как стихоплетом.

А так как школу бросить было нельзя, потому что надо получать жалованье и провиант, то он ходил изредка туда, и то с похмелья, рассказывал ребятам сказки, разные смешные историйки — и редко занимался своим делом, предоставив занятие предметами старшим мальчикам. Мальчики обращались с ним бесцеремонно, курили табак в школе, дрались и играли так, что он не мог унять их никаким манером, и, наконец, когда уже они совсем отбились от рук, он ввел розги; тогда ребята стали его побаиваться. Так он и учительствовал с грехом пополам, пока его не отставили через Игнатия Петровича Глумова, с которым он познакомился с тех пор, как поселился у дяди в Козьем Болоте. Глумов был, как описано выше, ярый человек; такой человек, как Петр Савич, был ему с руки, и они так сошлись друг с другом, что в свободное время или Игнатий Петрович проводил часа два у Петра Савича, или тот у Глумовых.

Поэтому много объяснять нечего о сближении Петра Савича с Прасковьей Игнатьевной. Но это сближение случилось «не сбухты-барахты» или так: подошел, наговорил любезностей и в первый же день приступил к изъяснению своей любви, — нет, до одних только ласк дело тянулось с год да до поцелуев, — и то на вечорках, на которые Петр Савич был приглашаем как музыкант на

гитаре, — тоже год. Все это объясняется тем, что в первое время, когда Петр Савич ходил к Глумовым, Прасковья Игнатьевна, по его же выражению, была цветочек, до которого и прикоснуться опасно, да и он в то время был современных убеждений и на женщину смотрел с современной точки зрения; вся его любезность к женскому полу заключалась в том, что он рассказывал разные анекдоты, а не увлекал его пустыми вещами, идущими к любовной цели, так как он и не думал жениться. Кроме того, Прасковья Игнатьевна, занятая хозяйством в то время, когда он приходил, не вступала с ним в разговоры и на него почти не обращала внимания, так как она, наравне с ребятами, недолюбливала приказных. Потом, когда он стал попивать водку и махнул рукой на все идеи и решил быть человеком практичным, личность Прасковьи Игнатьевны стала ему показываться чаще и чаще. И стал он постоянно думать о ней и о себе думал, себя сравнивал с ней и разницы не находил, хотя и считал себя развитее ее... Когда же он раздумывался о настоящей своей жизни, о том, что дальше с ним будет, то он прочь гонял мысль о женитьбе: у него нет лишней копейки, а зарабатывать деньги каким-нибудь ремеслом он не в состоянии, потому что и долота не умеет правильно держать: раз как-то стал доску пилить, пилу сломал. Но как ни старался гнать прочь мысль об женитьбе, но образ любимой девушки так и рисовался перед ним... «Черт знает, что такое делается со мной!» — говорил он и начинал играть на гитаре какую-нибудь песню; заиграет, сердце так и ноет, хочется идти к Глумовым, ну, и пойдет, а как увидит Прасковью Игнатьевну — сробеет, слова не найдет сказать, а та еще, попросту, издевается над ним, несчастным горемыкой.

А чем дальше, тем эта привязанность к милому существу росла и росла, а тут не стерпел, пустился плясать с Прасковьей Игнатьевной, да потом все с ней и плясал, так что парни сердились на него и не раз хотели побить, да сама Прасковья Игнатьевна заступилась за него; ну, а уж если девушка заступается за кавалера, то тут дело не просто.

Родители часто между собой поговаривали: «А славный этот Петр Савич; главное — голова у него золото. Вот бы нашей-то крале. С его головой далеко можно уйти». И приводили примеры, как один приказный, назы-

вавшийся в заводе златописцем за то, что красиво переписывал, в управляющие вышел. И раз даже, в успеньин день, подгулявшие родители велели поцеловаться молодым людям, что привело в замешательство Петра Савича.

— А ведь краля, не писаная, а настоящая... — хвастался Игнатий Петрович.

— Ну-ко, женишок, целуйся, — настаивала мать, а за ней и гости.

Правда, что это была потеха родителей под веселую руку, чего бы они не придумали в другое время, но с этих пор Петр Савич окончательно решился жениться — и ни на ком больше, как только на Прасковье Игнатьевне.

«Ну, и заварил же я кашу!» — думал часто Петр Савич, но как ни думал, а все-таки приходил к тому заключению, что жениться лучше: тогда он привяжется к дому, будет чем-нибудь заниматься; наконец, будет выслуживаться или заискивать расположения начальства, по пословице: «с волками жить, надо по-волчьи выть».

И Петр Савич стал шить сапоги, чему он обучался более года. Но работы было очень немного, потому что в заводе были цеховые мастера, получше его; рабочие отдают своим приятелям, вроде Тимофея Глумова, и за работу дают косушку или шкалик. Остается работать на город; но и это все-таки выходит на авось, да и его трехрублевого жалованья, какое он получает из главной конторы за переписку бумаг, едва-едва на полмесяца хватает.

Еще осталась одна надежда: не сделают ли опять учителем, так как учительское место еще не занято? И он решился сходить за протекцией к священнику.

ГЛАВА V

План Прасковьи Игнатьевны

Смутно и медленно просыпаются понятия таракановских детей. Долго они не понимают смысла слов вроде — «жених», «невеста», которыми их называют родственники за красоту, за высокий рост или за послушание и за какую-нибудь услугу, за которую подарить мальчика или девочку не имеется сластей. Потом они начинают понимать, что жених и невеста — это такие особые личности,

которых будут венчать в церкви, а отсюда и вытекает то обстоятельство, что в заводе при каждой свадьбе дети наполняют церковь, желая узнать, что такое жених и невеста. Это до десяти и до двенадцати лет. С этого времени родители часто ругают девиц дылдами; девицы спят зимой на полу, одевшись своими сарафанами: так приучают их родители для того, чтобы они вставали раньше матерей; попрекают их и тем, что они много едят и не умеют ничего делать, и, желая приучить девушку к делу, говорят: «Ведь уж, слава те господи, невестой смотришь, хошь куды под венец... Попадется вот уже тебе муж — вышколит он тебя». Слова эти более и более врезываются в голову девушки, но она все еще не понимает сущности слова — жена и муж, и хотя она и поет песни любовного содержания, все-таки из этих песен она не понимает ни одного слова, даже не может рассказать на словах, от первого до последнего слова, содержание песни и поет как шарманка, для того что хочется петь. Правда, девушки играют в клетки, в куклы, называют кукол женихами и невестами, клетки — домами, комнатами, но это не более не менее как представление того, что они заметили, что они слышали и чего не могли понять. Но вот матери говорят девушкам, чтобы они не долго ходили туда-то; усиливают над ними надзор так, что частенько доводят их до слез: хочется на улицу выйти поиграть или попеть, и вдруг — не велят, а прежде можно было. И если девушка где-нибудь замешкается или заговорится с каким-нибудь парнем на глазах матери, то ее ругают и даже бьют, объясняя при этом, что она не большая, чтобы ей калякать с парнями. С пятнадцатилетнего возраста, когда девушка обязана делать в доме все, она уже сама стесняется идти одна в лес — сперва за земляникой, потом за грибами и за малиной, потому что, во-первых, в доме ее все называют невестой, взыскивая уже как с большой, а во-вторых, она уже замечает и со стороны других, в особенности парней, другое обращение. Но летом еще весело: теплое время как-то не заставляет девушку много задумываться, потому что тогда у нее есть кой-какие развлечения: есть огород, где она поет; ходит с подругами в лес и там поет; в праздничный хороший день она тоже поет с девушками песни в хороводах и даже играет с парнями в мячик; а зимой она постоянно находится в

доме и в свободное время или прядет, или вяжет, или что-нибудь починивает и в это же время преимущественно думает и думает о том: неужели и она скоро будет замужем и каким образом это устроится? И вспоминает все, что ею усвоено доселе: жизнь ее подруг, летние сцены, прошлогодние вечорки, и при последнем представлении она чувствует трепет и в то же время что-то радостное. Наступает время вечорок. Родители беспрекословно отпускают девиц на вечорки, даже дозволяют им мазать лицо мелом, брови сажей, дают зипуны и т. д. С радостью бежит девушка на вечорку, где участвуют преимущественно молодые люди обоих полов, приглашенные по выбору родителей. Приходит она туда, ее сначала осмеивают, потом садят, угощают орехами и пряниками; парни острят то над той, то над другой девицей, щиплются, потому что здесь это дозволяется, и чем речистее и острее парень, тем он больше нравится девице, так что все его дурные стороны, обиды, какие он нанес девушке до сих пор, теперь забываются. Потом начинаются пляски с различными песнями. Прежде девушка только пела эти песни, не понимая в них ни одного слова; здесь же, после каждого периода, следует поцелуй... К концу вечорки полный разгар: девицы и парни уже выпили не по одной рюмке сладкой водочки, каждая девица к одиннадцати часам получила до сотни поцелуев, лицо ее разгорелось, кровь волнуется, с парнями она как с своими братьями обращается, парни ей милы, ей хочется еще плясать, плясать всю ночь с ними, и она пляшет до устали, кончая последней песней, повторяющейся по нескольку раз. Песня эта заключается в следующем: посреди комнаты поставят стул, на этот стул садится парень, вокруг этого парня ходят девушки со своими кавалерами, так что Марью держит за левую руку Павел, правую руку Ивана держит Саша, левую Павла Прасковья и т. д.; идя медленно, все они поют протяжно песню:

Сидит дрема *(два раза)*,
Сидит дрема, сама дремлет.
Полно, дремушка, дремати:
Время дреме *(два раза)*,
Время дреме выбирати.
Бери, дрема *(два раза)*,
Бери, дрема, кого хочешь.

В это время парень, сидящий на стуле в кругу, должен выбрать девушку из круга, и он схватывает ту, которая ему более нравится. Круг поет:

Сади, дрема *(два раза),*
Сади, дрема, на колени.

Парень садит девицу на колени, обнимает. Круг поет:

Целуй, дрема *(два раза),*
Целуй, дрема, сколько хочешь.

Парень рад случаю, а девица, если ей не по нраву парень, не рада, что попала к нему, но уж порядок такой — надо его выполнять с точностью.

Вечорки и балы одно и то же. На вечорке пляшут девушки необразованные, девушки рабочие, которые еще не состроили себе идеалов, потому что их умственное развитие сосредоточивается на тех же заводских людях, которых они или знают, или видят; цивилизованный класс устраивает балы, маскарады и проч. — и дело все-таки кончается тем же, только в более изящном виде.

После этих вечеринок заводская девушка начинает скучать более прежнего, начинает серьезно подумывать о том парне, который больше нравился ей на вечорке, и если она бывает на вечорках часто, то эти пляски и поцелуи доводят ее до привязанности к молодому человеку, о котором она думает и день и ночь. То же самое происходило и с Прасковьей Игнатьевной. Так как она была самая красивая девушка в своем порядке, то у нее много было поклонников, что очень не нравилось ее подругам, и они постоянно корили ее тем, что она своей *намазанной рожей* всех парней отбила от них. Но Прасковья Игнатьевна не чувствовала особенной привязанности ни к одному парню, так как она не знала, кто из них лучше и милее, к тому же она была девушка гордая, считала себя красивой, а в каждом парне находила многие недостатки. Так было до шестнадцатилетнего возраста, когда ее в Козьем Болоте все стали называть невестой. На шестнадцатом году ей понравился один парень, Семен Горюнов. Она его видела в первый раз, поэтому-то, вероятно, он и заинтересовал ее. Парень этот был из фабричного порядка. Надумавшись раньше, что ее рано или

поздно родители отдадут замуж, она, между прочим, составила себе такой идеал своей любви: жених должен быть моложе ее, красив, речист, умел бы ее ласкать, не ругался бы разными словами, а все бы сидел с нею да говорил ей хорошие речи. Главное, чтобы он не был пьяница и драчун. На вечорке Семен Горюнов явился действительно таким: это был румяный высокий парень, одетый чисто. Вел он себя прилично и с достоинством, при этом, как узнала тут же Прасковья Игнатьевна, он был сапожник и человек трезвый. Прошло четыре вечорки; Горюнов только с нею и пляшет, и она так привязалась к нему, что почти каждый праздник отпрашивалась у матери к обедне и проходила с ним несколько улиц, несмотря на остроты парней и насмешки девиц. Но выйти замуж за него не было суждено Прасковье Игнатьевне; Семен Горюнов после пасхи женился на дочери штейгера...

А в это время в дом Глумовых уже часто ходил Петр Савич и приходил постоянно трезвый.

Замечая привязанность ее родителей к учителю, внимание учителя к ней, частые подарки его и ласковый разговор, она, разобиженная поступком Горюнова, считая всех парней обманщиками, стала подумывать, не лучше ли ей выйти замуж за человека старше ее, такого человека, которого и отец ее любит. Стала она считать женихов в Козьем Болоте и Медведке, насчитала их много, но все они оказались неподходящими: так, Яков Переплетчиков — парень двадцати лет, хоть и видный и водку мало пьет, но она никогда не простит ему, что он ей, пятнадцатилетней девице, угодил мячиком в самый затылок, когда она шла с водой, отчего она упала в грязь и так замарала подол, что мать отодрала ее по спине плеткой. У отца Павла Беспалова денег много, потому он раскольничьим попом был в лесах; да что за радость выходить за хромого? Иван Фотеев тоже недурной парень, но мать у него нехорошая женщина, потому что Маланью Степановну до сих пор считает воровкой, тогда как сама украла у них две курицы с петухом и продала на рынке. Есть, правда, еще жених в Медведке — Василий Глумов; он часто что-то ходил к отцу, но он какой-то гордец, никогда даже слова ей не сказал, хвастается, что он мастер, ругал отца за непорядки какие-то, и, главное, сказывают,

что у него сестра скверная женщина. Все эти женихи, перебранные Прасковьей Игнатьевной, были, что называется, люди стоящие, и о них не один десяток девиц подумывал, но Прасковью Игнатьевну бесило еще то, что ни один из них не сказал ей ни одного любезного слова, не только что не посылал свах к матери...

Отец часто говорил матери Прасковьи Игнатьевны, что Петр Савич золотой человек, как будто бы намекая дочери, что такого жениха не скоро сыщешь, потому что он умен и непременно дойдет до важной должности. А этого Прасковье Игнатьевне было достаточно, и она стала подумывать о Петре Савиче, сравнивая жизнь своего отца с его жизнью. Жизнь рабочего человека она хорошо понимала; нужду и горе она видела на каждом шагу. Выйди она замуж за рабочего человека — заботы будет много, а с ребятами и вдвое. И она стала мечтать о лучшей жизни, приравнивая к рабочим приказных. Приказных она не любила до тех пор, пока не ознакомилась с Петром Савичем, и, однако, находила, что жизнь приказного не в пример лучше рабочего; считаются они на линии мастеров; в рудниках и в лесу не работают; находятся в виду начальства, содержания получают больше рабочих, жены их ходят наряднее рабочих, дома они имеют порядочные, и хоть как ни ругают их рабочие, а все же к ним обращаются с просьбами. Все это соблазнительно действовало на требовательную натуру Прасковьи Игнатьевны: ей захотелось выйти из рабочего кружка, довольно грубого везде, и выбор ее остановился на заводском учителе Петре Савиче. Стала она плясать с Петром Савичем, и на первых порах ей обидно становилось, что он как-то неохотно целует ее, но она это простила ему, потому что он если не поцелуями любезен, то занимателен разговорами: о чем ни спроси, все объяснит как по писаному, да и она, поговоривши с ним в углу насчет поцелуев, согласилась, что действительно много целоваться приторно, и даже сказала Петру Савичу, что она охотно бы вовсе перестала целоваться на вечорках, так как почти от всех, кроме Петра Савича, изо рта или луком, или чесноком пахнет. Мало-помалу молодые люди стали разговаривать друг с другом, стали поигрывать в карты при родителях, острили друг над другом, и Прасковья Игнатьевна все более и более привязывалась к нему и прихо-

дила к заключению, что Петр Савич именно такой и есть человек, какой ей нужен.

Но вот Петр Савич стал жаловаться на скверное житье, что его, бог знает за что, теснят; стала она замечать, что он чаще и больше пьет водку, даже к ним приходил выпивши, отца уводил с собой, и потом отец возвращался домой пьяный и ругался. Сердце ныло у Прасковьи Игнатьевны, она подолгу задумывалась над тем: неужели Петр Савич собьется с толку и выйдет совсем негодным человеком? А таких примеров она знавала много. Но опять ей жалко становилось его, потому что действительно, как он говорил, его понапрасну теснят. Умер отец; Петр Савич лишился должности; соседи говорили, что в этом деле виноват один Петр Савич, как выскочка, который везде суется первый, но Прасковья Игнатьевна находила, что Петр Савич все-таки прав; она на его месте то же бы сделала, и ее, как женщину, скорее послушали бы, потому что с нее взятки гладки. Перед самой смертью отца Петр Савич изъяснился ей в любви, и она поверила этой любви и не находила в ней ничего дурного. После смерти ее отца Петр Савич редко стал ходить в дом Глумовых, на том основании, что нехорошо ходить холостому мужчине в дом, где хозяйка девушка, и Прасковью Игнатьевну часто беспокоило, что делается с Петром Савичем. Спрашивала она вскользь о нем Тимофея Петровича, но тот шутливо отвечал: «Што ему: пьет, поди, да просьбы строчит». Это очень огорчало Прасковью Игнатьевну; она стала сердиться на дядю и подозревать, что он, пожалуй, расстроит ее счастие.

После описанного выше разговора Петра Савича и Прасковьи Игнатьевны она долго не могла заснуть ночью. Ее мучила мысль: каков-то будет дальше Петр Савич? Из разговора его она заметила, что он как будто холоднее, чем был прежде. «А если он все так же будет вести себя, тогда наплевать», — думалось ей. Но ей будет скучно без друга; работы и заботы по хозяйству много, и для чего это? «Хлопочешь, хлопочешь с утра до вечера и ни от кого спасибо не получишь, не с кем даже слова сказать или поговорить толком. Заговоришь с дядей, он отшучивается, считает тебя девкой, с которой не стоит много разговаривать, или начнет говорить о Петре, сведет на Ивана. На улицу выйдешь, бабы смеются,

надоедают спросами да расспросами: «А скоро ли у тя, Игнатьевна, свадьба-то?» Девицы говорят: «Какого ты, Глумиха, женишка-то подцепила: учитель, да еще стеганый». А посоветоваться не с кем: «Крестная мать глухая, все надо кричать, так что еще кто подслушает да передаст с прикрасами... То ли бы дело, если бы я была замужняя... вдова... как бы захотела, так бы и сделала».

Так думала Прасковья Игнатьевна и додумалась, что Петр Савич человек хороший, только водку пьет. «Ну, я буду дожидаться, — говорила она: — как только он получит какую-нибудь должность да не будет пить водку, я объявлю ему, что я согласна быть его женой, и условие такое выговорю: жить в нашем доме, не обижать мамоньку и поблажать ей. Деньги штобы он мне отдавал, а я ужо буду пиво варить, так оно и дешевле будет, и он от водки отстанет, а это конпанство — чтобы его и духу не было. Надо опять и то принять в расчет, што у нас дети будут. А если я замечу, што он все так же будет пьянствовать, я и на глаза его не пущу; потому, коли хочет мне мужем быть, должен любить меня, а што я его прошу, да он не исполняет, — разе это любовь? И ни за кого уж я потом не пойду замуж, потому после этого выходит, что все мужчины обманщики и ни одному ихнему слову нельзя верить. А одна-то я проживу как-нибудь, потому огород у меня неотъемлемый, лошадь тоже своя; захотела — съездила в лес, дров нарубила, руки-то, слава богу, не отпали... корова своя...»

ГЛАВА VI

Петр Савич хлопочет, а Прасковья Игнатьевна сомневается в действительности первой половины ее плана

Петр Савич жил в старом порядке с сродным братом Иваном Яковлевичем. Дом у Ивана Яковлевича был новый и состоял из кухни и комнатки, которая называлась светелкой; в ней было три окна и довольно светло, а стены и потолок оклеены бумагой. Здесь было довольно чисто, даже больше было мебели, посуды и одежды, чем в доме Глумовых. И это потому, что Иван Яковлевич же-

нился не на бесприданнице, получил за нее перину, три подушки, халат и даже самовар, так как родные невесты были православные и любили в праздники пить чай. Иван же Яковлевич еще в детстве отстал от раскола. Жена Ивана Яковлевича нельзя сказать чтобы была красивая, но женщина молодая, здоровая, полная, и главное, у нее в руках дело скоро делалось. У них был уже ребенок — девочка, которая еще качалась в зыбке. Ребенка все любили, даже Петр Савич по нескольку раз <в день> брал маленького червячка, как он называл малютку Марью, и учил ее богу молиться, звать папу, маму и дядю. Ребенок был бойкий, дядю любил даже больше своих родителей; при первом слове отца или матери: «А где боженька?» — ребенок обращал головку к двум образам, висевшим в переднем углу, и колотил правой ручонкой по груди, что очень забавляло не только родителей, но и посторонних.

Иван Яковлевич преимущественно занимался деланием кадок, бочонков и набиванием на те и другие обручей железных и деревянных, а так как во всем заводе было только двое мастеров по этой части, то работа у него была всегда, только половина денег уходила на водку. Впрочем, он пил не постоянно, но если ему попадалась рюмка водки, то его уже трудно было остановить, и если бы жена не приберегала деньги, не запирала накрепко вещи и потом не уходила куда-нибудь, то пришлось бы плохо обоим, так как у них корова еще была очень молода и молока давала мало. Трезвый Иван Яковлевич был славный человек: постоянно занимался делом, не совался в женское хозяйство и, занимаясь чем-нибудь, больше напевал песни; но пьяный он лез драться, хоть будь тут и друг и враг, отчего и сам бывал частенько бит. Жена его, Маремьяна Кириловна, была существо смирное, тихое, так что, если она куда-нибудь сядет с шитьем или с чулком, только и слышно ее, когда она с ребенком возится.

Петр Савич любил эту семью, которую он называл голубями, и завидовал их жизни. Иван же Яковлевич с женой тоже были ласковы с ним, от угла и стола не отказывали; но пьяный Иван Яковлевич кидался на Петра Савича с кулаками и тузил его в спину за то, что Петр Савич будто бы приударивает за его женой, причем, если тут была Маремьяна Кириловна, доставалось и ей на

калачи. Впрочем, трезвый Иван Яковлевич говорил Петру Савичу: «Ну ты, брат, не сердись, что я тебя побил. Нрав у меня уж такой дрянной с детства. Вся моя забава в жизни — напиться и подраться с кем-нибудь, кто на глаза попадется... А што я тут жену приплел, так это тоже шутка, потому я ее знаю и тебя знаю; ведь шила в мешке не утаишь».

На другой день после свидания с Прасковьей Игнатьевной, утром, напившись чаю, Петр Савич принялся было за починку своих сапогов. Поковыряв немного шилом подошвы, он вдруг обратился к Ивану Яковлевичу, затоплявшему в кухне печь, потому что Маремьяна Кириловна кормила грудью ребенка:

— Послушай-ко, брат, што я у тебя хочу попросить...

— Ну.

— Нет ли у тебя с рубль денег?

— На што опять? На водку, поди, — взъелся Иван Яковлевич.

— Нет, мне на дело нужно. Знаешь ли, что я хочу сделать? хочу я угостить нашего казначея и отца Петра.

— Выдумывай. Так вот и пошел сюда казначей.

— Думаешь — не пойдет?

— Даю руку на отсечение. Если бы ты учителем был в школе, и тогда бы он не пошел, а сказал бы: «приду!» — ну, и жди его; покамест бы стали ждать, водку и выпили бы. Да на што тебе непременно казначей понадобился, да еще с отцом Петром?

— Я думаю опять в учителя пробраться.

— Гм! .. Ну, это мудрено што-то после такой истории, как глумовская. Ну, а твоя невеста што?

Петр Савич на это ничего не отвечал.

— Ты, брат, не сердись, право... А вот не лучше ли тебе сходить к Переплетчикову. Приказчиком-то он недавно, теперь принимает всякие просьбы, потому дело новое, нельзя же сразу цепной собакой сделаться. А он, слыхал я, брат, из ученых; в столице бывал. Это что-нибудь да значит.

Петр Савич поковырял еще сапог, положил его под лавку и стал одеваться.

— Не знаю, что будет, — говорил Петр Савич. — После такой истории мне, право, совестно проситься опять туда же, откуда выгнали. Проклятое житье!

— Гордость одна тебе мешает. Ведь тоже жили же до тебя учителя, да еще какие дома настроили: в две да в три горницы.

— А честно ли свое дело-то они исполняли?

— Найди ты честного человека, я тебе полштоф водки поставлю. Право! Да вот хоть бы я: честно это заводское добро воровать? Ведь я железо беру из кузницы, а знаю, что оно воровское и мне попадает почти даром. А што я заклепываю обручи дома, — это тоже разве честно, потому что полиции то и дело боишься; хорошо еще, нет такого молодца, который бы донес. А ведь все нужда. Так и ты с своей гордостью шляйся по миру.

— Да я тебе заплачу за все...

— Ну, друг, я тебя словом не обидел, а только говорю к делу. Вот ты тоже думаешь жениться; ну, и поживи...

— Полно тебе, Иван Яковлевич, толковать-то пустяки! Когда так от него слова не дождешься, а тут так уж больно речист стал, — сказала мужу Маремьяна Кириловна.

Иван Яковлевич замолчал, а Петр Савич вышел.

Невесело у него было на душе. Все, что он видел теперь вокруг себя, казалось мрачно, люди, попадавшиеся ему навстречу, казались какими-то врагами; он злился и сам не зная на что. «Вот даже и сродный брат гонит из дому», — подумал он, и чем больше думал на эту тему, тем более приходил к такому заключению, что действительно Иван Яковлевич прав. Он мастер, бьется изо всех сил, чтобы достать досок, обделать эти доски и сделать вещь так, чтобы она была прочна и хороша и чтобы заказчики не бранили его. И все это он делает за небольшую цену. А надо же прокормить себя, жену, надо же и на черный день запастись чем-нибудь. Мало ли какие могут быть случаи. А он-то, Петр Савич, помог ли Ивану Яковлевичу чем-нибудь? Да, помогал ему выпивать водку. И вот с тех пор, как он лишился учительского места, прошел уже год, а он все живет у брата, ни копейки не отдавая ему, точно тот обязан кормить его. Поневоле человек выскажется.

С такими мыслями дошел он до главной конторы. Там, в первой комнате, он увидел приказчика, который разговаривал о чем-то с казначеем. Поклонившись обоим, он ушел в другую комнату, где занимался постоянно. А так

как у него не было сегодня дела, то он приткнулся к двум писцам, тоже сидящим без дела и разговаривающим о рыбной ловле на пруду.

— Вот ты, Петр Савич, не ходишь рыбачить, а я вчера сорок штук карасей поймал.

Петр Савич промолчал; ему хотелось спросить, в котором часу приказчик принимает просителей, но вдруг его позвал казначей.

— Вот что, Курносов; приказчику нужно переписать одну ведомость, так ты отправься к нему. Да смотри — скажи, что, мол, казначей забыл передать вам, чтобы ему привезли на двор сажен пятьдесят дров.

— Где же я буду переписывать?

— Конечно, в конторе.

— Я все хочу побеспокоить вас насчет учительства.

— Ну уж это, брат, песня старая. Оно хотя и нет учителя и теперь бы это дело можно устроить, да управляющий-то как? Ведь он тебя знает.

— Но вы можете сказать, что смененный приказчик был сам скверный человек.

— Это можно. Ну, а ты что бы мне дал за хлопоты?

— Вы знаете, что у меня ничего нет.

— Я тебя научу. Теперь лето; как только ты получишь место учителя, пошли за мальчишками, кроме моего парнишка, и объяви им, что-де управляющий приказал им: где хотят, а чтобы на другой день было поймано пяток скворцов.

— А если они не поймают?

— Это уж ихнее дело. Скажи как знаешь: в работу или как... Тогда и ты можешь поживиться.

Еще злее сделался Петр Савич, но делать было нечего: Иван Яковлевич говорил правду — добром здесь без хлеба насидишься.

Кончил он работу приказчику и явился к нему вечером. Тот прочитал и довольно вежливо спросил его:

— Ты где воспитывался: в заводе или в городе?

— В городе. Назад тому год я был здесь учителем, но бывший приказчик допек меня за то, что я преподавал геометрию.

— Скотина! Так разве наша школа без учителя?

— Да.

— Хорошо. Я управляющему сегодня же скажу о тебе

и велю назвать школу училищем — с двумя светскими учителями и законоучителем.

— Я еще хочу спросить вас: как я должен поступать в таких случаях, если будут получаться приказания со стороны начальства; например, посылают мальчиков рыбу ловить, велят приносить денег на образ?

— Ну?

— Я нахожу, что это несправедливо.

— Конечно. Я этого не допущу в училище... Завтра же ты собери всех ребят, которые учатся, и объяви им, что я послезавтра буду. Чтобы они все оделись чисто, вымылись в бане и волосы остригли; понимаешь, по-городски... И если я найду училище в порядке, прикажу тебе выдать пособие. Женат?

— Никак нет. Хочу жениться.

— Прекрасное дело. Учитель непременно должен быть женатым. А если казначей спросит дров, так ты скажи ему, что я подумаю. Лес-то ведь не мой, господский.

И весел же вышел от приказчика Петр Савич. Такой справедливости и милости он еще не знавал доселе в заводском крепостном начальстве. А радоваться ему было отчего, потому что уж если что сказал приказчик, так тому и быть; недаром приказчик в заводе первое лицо после управляющего, недаром приказчик всеми заводскими делами заправляет...

Повеселел и Иван Яковлевич, на радостях он купил водки и закутил...

Созваны были мальчики в школу, явился туда и приказчик. Ребята были действительно причесаны, умыты, рубашонки тоже прилажены. При появлении приказчика они, по обыкновению, крикнули: «Здравия желаем!»

— Ну, ребята, вот вам учитель. Школа теперь преобразована в училище, и предметов в ней будет больше. Слушаться учителя! А ты, учитель, дери их, как только можно. Слышите?! Все приказания учителя исполнять, иначе на работы сошлю. Ну, теперь по домам до августа месяца. — Сказав это, приказчик ушел.

Петр Савич был введен в учителя.

Здесь не мешает заметить, что мальчики, образующиеся в школе или заводском училище, не только освобождаются от работ, но получают от заводоуправления, по положению, провиант и даже деньги — несколько

копеек в год. По окончании учения в школе они поступают, если годны, в писаря.

Пошел Петр Савич в главную контору; там казначей, поздравив его с учительской должностью, спросил:

— А скворцы?

— Приказчик объявил ученикам, чтобы они, кроме учения, никаких поручений не исполняли.

— Хорошо. Я спрошу приказчика... Изволь-ка вот это переписать...

Через неделю Петр Савич получил пособия пятнадцать рублей, и ему назначили по должности учителя пять рублей жалованья и двойной паек провианту; выдали также и билет на порубку леса в двойном количестве против количества, назначенного писарям.

Прошло две недели, а Петр Савич не являлся к Прасковье Игнатьевне: он то хлопотал о деньгах, то о провианте, то гулял с приятелями, а тут на неделю уезжал в город за покупкой обнов к свадьбе, но и в хлопотах он все-таки не забывал свою невесту — она была для него теперь дороже всех.

А между тем в эти две недели Прасковья Игнатьевна много передумала худого и хорошего насчет Петра Савича.

В ту ночь, когда она составила план будущности, ей приснилось, что она обрезала свою косу; когда она пробудилась, ее пробрала дрожь от этого сна. Таракановцы верят в сны, и многие из них они отгадывают. Так, обрезать косу во сне — значит быть большому несчастию; взлезать на гору — тоже и т. п. Поэтому Прасковья Игнатьевна, девушка суеверная, очень испугалась и стала думать: какое такое с ней — именно с ней — случится несчастие? Разве корову украдут? Но ведь она себе обрезала косу. Разве мать умрет; но она хоть и мать, а все же жалко на нее смотреть, уж хоть бы она померла. Нет! несчастие должно непременно с ней случиться, и несчастие большое...

Затопила она печь, управилась с коровой, овечками, курами. Тимофей Петрович стал одеваться.

— Ты, дядя, куда?

— Туда, где нас нет.

— Обедать будешь?

— Об этом сорока надвое сказала.

«Толкуй с дураком», — подумала Прасковья Игнатьевна и занялась своим делом, однако спросила дядю:

— Слышь, дядя, какой я сегодня сон видела: косу обрезала... Так-таки по корень обрезала. А куды ее дела, не знаю.

Тимофей Петрович подумал немного, приложил указательный палец правой руки к правой ноздре и, отпятив левую ногу вперед, с достоинством знатока сказал:

— Эко дело! Жених, надо быть, улизнет.

— Уж от тебя не жди хорошего, — сказала обиженная Прасковья Игнатьевна.

Дядя ушел, а Прасковья Игнатьевна стала ходить из горенки в избу, сама не зная зачем. Она, казалось, ни о чем не думала. Потом остановилась у зеркала, поглядела в него и вдруг вскрикнула и убежала во двор. На нее напала дрожь.

— Девка! — услыхала она знакомый голос.

Недалеко от нее стояла мать с охапкой картофельной мякины.

Прасковья Игнатьевна подошла к ней и вдруг кинулась ей на шею.

— Мамонька! голубушка...

Маланья Степановна присела и начала выть. Повыла она немного и стала ругаться. Прасковья Игнатьевна испугалась за мать. В это время пришел Илья Игнатьич.

— Парашка, ись.

— Погоди, с матерью ишь што приключилось.

Илья поглядел на мать издали и пошел в огород, напевая: «Со святыми успокой...».

Так пробилась Прасковья Игнатьевна целый день, и только вечером пришла ей мысль о Петре Савиче.

— Ведь и не икнулось?.. Он, значит, и не помянул обо мне?

Стала она думать о Петре Савиче, и в голову ее лезли мысли одна другой хуже.

— И что я за дура, думаю о нем? Ведь он мне чужой, совсем чужой.

Запела она песню — «Гулинька»; но песня не клеилась.

«Нет, он, пожалуй, после того, што я сказала ему, на другой женится, потому все мужчины обманщики. Видала я их на вечорках-то!!. А мало ли со стороны-то россказней?.. А пожалуй, чего доброго, он все притворяется; у него, поди, есть место, да он, как дело коснулось, и на попятный. — Нет, он совсем, поди, там спился».

Так она продумала до утра. Днем была гроза, и она не пошла к крестной матери. Ночью решилась завтра же идти к ворожее Бездоновой.

К ворожее нужно было идти натощак. Задала она корму корове, лошади, овечкам, выпустила кур, надела на голову платок и пошла, оставив избушку незапертою на тот случай, что, может быть, придет дядя; в Козьем Болоте немногие запирали дома, потому что в отсутствие хозяев воровства не случалось.

Попадается ей навстречу соседка Фокина.

— Куда это ты, Прасковья Игнатьевна, покатила?

— Иду к крестной.

— А што она?

— Да надо проведать.

— А новость слыхала? Вот так новость!

— Ну уж!.. — И Прасковья Игнатьевна пошла.

— Игнатьевна! постой!? про твово жениха новость-то!

Прасковья Игнатьевна остановилась и сказала:

— Врешь али взаболь (вправду)?

— Провалиться... — Соседка подошла к Прасковье Игнатьевне и сказала: — Курносов-то должность получил; сам приказчик дал. Учителем, слышь, сделали.

— Ей-богу?

— Врать, што ли, стану? ребята сказывали, когда я в трахту была... Али это не счастье?

Соседка зорко глядела на Прасковью Игнатьевну, которая не знала, куда ей деваться: она была и рада, и плакать хотелось, но отчего? — она никому бы не могла ответить на этот вопрос в ту минуту.

— Ошалела, родимая, — сказала вполголоса соседка и повернула с дороги влево, к своему дому, а Прасковья Игнатьевна воротилась домой. Пришедши в комнату, она упала на колени, заплакала и стала шептать:

— Матушка! тихвинская божия матерь!.. Спасибо тебе!.. Помоги ты моему счастию!.. Господи, как я рада-то. Дай ты ему, господи, здоровья, да совет, да любовь...

Петру-то Савичу, моему милому... — Она наклонила голову к полу...

— Вона! Племянница!

Прасковья Игнатьевна вздрогнула, обернулась: дядя... Стыдно ей почему-то сделалось. Украдкой отерла она слезы, встала и сказала, сама не понимая что:

— А я думала...

— Думают одни индейские петухи... Ну, племянница, я, брат, того... женюсь!!. Беру, брат, я себе... Шабаш

— Дядя, ложись спать.

— Спать?! Не-ет!.. Во!!. — И он вытащил из-за пазухи косушку... — Ты думаешь, я дурак. Не-ет, краля, нет! Твой Петька вот теперича умен сделался: учитель — ребячий мучитель...

— Правда ли?

— А он, — што ж, не был?

— Я не велела.

— Ну, значит, пьян. Значит, проку в нем нет.

Тимофей Петрович вытащил из-за пазухи чесноку и стал есть его с ломтем ржаного хлеба.

— Ты думаешь, я дурак... Ладно. Слыхал я пословицу: «дураки умных учат». Так вот и я тебя хочу поучить...

— Дядя, спать бы ты лег: ведь ты уж сколько время-то как из дому.

— Светло еще; уснем. Выходи, племянница, замуж, да выходи за ровню. Ей-богу! послушай дурака... А што этот учитель? што в нем проку? Я дурак, а все ж рабочий; мне не стыдно и грязь руками брать; хоть куды меня назначь.

— Недаром ты и плутоват-то, — подсмеялась над дядей Прасковья Игнатьевна.

— Вот именно што сразила!.. Вот теперь поневоле спать надо ложиться... Эх! девка! Сказал бы я тебе много, да слушать-то меня ты не станешь, потому я — дурак!!!

— Отчего дурака и не послушать?

— Ну, так слушай. Твой жених получил место, а отчего он к тебе не является? Погляжу я, как он к тебе явится и што он наговорит тебе... Мое дело сторона... Но вот я бы што тебе посоветовал по своему дурацкому рассудку: выходи лучше за нашего брата, потому свой

человек. Ты на меня гляди: женюсь — и баба-то у меня какая!

— Какая?

— Сказать тебе — захохочешь, и все Козье Болото захохочет, да мне плевать...

Прасковье Игнатьевне очень смешна показалась физиономия дяди, и она расхохоталась.

— Дураку всяк смеется, а если умный напьется, так умнее его и нет... Извини-с, *до дамс,* мы кавалить каляшо не умейт. Мы еще гулять пойдяйт, — заключил дядя, передразнивая англичанина, механика на фабрике; это означало, что он осердился.

И Тимофей Петрович, выпив остаток из стекляницы, вышел из избы.

«Вот с какими мне родными пришлось жить. И что от них хорошего услышишь: пьян как свинья, и я должна слушать его!» — думала по уходе дяди Прасковья Игнатьевна и даже, отворивши окно, с улыбкою смотрела, как дядя идет по грязи в халате, переваливаясь из стороны в сторону.

Она была весела, — весела потому, что Петр Савич получил место, и в этом настроении она впервые думала: «Неужели такой дурак, как ее дядя, может жениться? и на ком? Неужели какая-нибудь девица может полюбить его?» И она гордо смотрела на противоположный дом, в котором жил куренной рабочий с женой и семью ребятами...

Легла она спать; икается.

— Это — Петя. Он обо мне заботится.

Мало-помалу мысли ее приняли другой оборот: «А што же он, в самом-то деле, не пришел ко мне... Мало што я могла ему запретить: он мужчина, а я девка». — Легла спать в одиннадцать часов.

«Дядя говорит, обманет. Не придет, говорит. Дядя дурак, а все ж друзья они. Верно, он дядю напоил и сказал: не хочу, мол, с девкой видеться, потому с самим приказчиком говорил».

Икнулось.

«Это он!.. Ах бы, чихнуть... Ну, загадаю: икнется или нет?..»

Прошло полчаса. Начало светать. Прасковья Игнатьевна села к окну и стала гадать на трефового короля:

всё дороги, на сердце ложится или туз пик — удар, или семерка пик — верные слезы.

«Если бы исполнение желаний». — Выпало: все четыре туза на сердце. И опять гадает, и опять слезы.

«Нет, он не женится на мне; карты верно ворожат: они мне сказали дружка милого, они предсказали несчастие — отец помер. А што я сон видела — это быть мне девкой. А разве это несчастие? А все ж свое хозяйство лучше... Все ж меня никто не упрекнет ничем... Нет, это все дядя. Его, верно, подучили... Нет, Петя пришел бы... Он рад моим словам, я испытала его... Ну, не буду о нем думать, и буду я девкой весь век; лошадь у меня есть, огород неотъемлемый, корова...»

Она, однако, скоро заснула.

А на другой день пошла к крестной матери, живущей в Медведке.

В Медведке ни улиц, ни переулков нет, а дома расположены так, как кому приходила охота их строить; поэтому почти между каждым домом есть порядочный промежуток — что-то вроде канавы. Дома в Медведке построены копытообразно, и хотя у каждого домохозяина есть огород, но в нем, кроме бобов и картофеля, почти ничего не поспевает, потому что, как говорят жители Козьего Болота, земля дрянная. Сообщение с Медведкой в грязное время довольно неудобное: чтобы попасть с тракту к дому, противоположному с Козьим Болотом, надо или сделать большой круг, или перейти несколько оврагов.

Дом Марьи Савишны Пермяковой стоял в самой середине Медведки и состоял из одной избы с сенцами. В избе уже несколько лет царила бедность и грязь. Печь, хотя и большая, но уже несколько раз проваливалась, и ее несколько раз кое-как поправляли; углы избы прогнили; несмотря на сухую пору, пол в избе был постоянно мокрый, вероятно потому, что хозяйка редко выходила на улицу по нездоровью; две лавки были уже очень стары, и на них нужно было садиться с осторожностью. Все имущество хозяйки, состоящее из каких-то грязных, вонючих тряпок, хранилось на полатях, которые хотя и подпирались, но задевать о подножки их было опасно, тем

более опасно было спать взрослому человеку на самых полатях...

Когда вошла в избу Прасковья Игнатьевна, Пермякова спала на печке. Это была низенькая старуха, которая теперь казалась небольшим комочком; на ней надет синий изгребной сарафан и худенький ситцевый платок на голове, да еще виднелся на горле гайтан (шнурок), на который был вдет медный грошовый крест. Больше на ней ничего не было.

В то время как Марья Савишна принимала от купели Прасковью Игнатьевну, она, Марья Савишна, имела достаток, то есть муж ее был лесным объездчиком и с порубщиков лесов, не по билетам, получал кое-какие деньги. Жить было можно, и семейство Пермякова жило хорошо до тех пор, пока мужа Марьи Савишны не понизили за пьянство в лесные сторожа. Тогда уже доходов не стало, и Пермяковы, привыкшие кушать хорошо, начали сначала проживать деньги, потом принуждены были продать и лошадь. Выдался в заводе такой год, в который свирепствовала горячка; все семейство Пермяковых, состоящее, кроме родителей, из трех сыновей и одной дочери, заболело враз; болезнь кончилась весьма печально: муж и старший сын померли, а Марья Савишна оглохла. Положение ее было ужасно; денег нет, хлеба нет, со стороны и воды не допросишься, потому что горячка многих разорила, а заводоуправление рабочим пособия не выдавало, а если и выдавало, то мастерам, — хоть вой... Но вытьем дела не поправишь, вот она и продала корову, продала кур, продала дрова и сено — и могла биться кое-как с полгода. Но когда опять вышло все, когда настала весна, все огородные овощи вышли, она стала жалеть, что напрасно продала корову. Хорошо еще, что помогали Глумовы; они помогли ей рассовать детей: Гаврило попал к кузнецу, с обязательством прожить у него семь лет на его хлебе, а Николай — к торгашу бакалейными вещами в таракановском гостином дворе, находящемся на рынке. Марья служит в кухарках, но ее что-то часто гоняют с мест, и она, назад тому две недели, поступила к таракановскому почтмейстеру за тридцать копеек в месяц.

Так как дети Марьи Савишны помогают ей немного, то и бьется она кое-как. Сама зарабатывать она не в силах. Правда, когда здорова, она вяжет чулки на про-

дажу, но этого все-таки мало: нужно вообразить, что завод не город, а местный рынок не ярмарка, да и кому нужны чулки какой-нибудь г-жи Пермяковой?..

Прасковья Игнатьевна прежде очень любила крестную мать, но когда она подросла, познакомилась с разными семействами и когда крестная мать впала в нищету, ей сначала стала противною изба крестной матери, а потом она стала чувствовать менее любви и к самой крестной матери, почему стала очень редко бывать у нее, и то разве когда ее пошлют проведать. У крестной матери она не была уже с полгода.

В избе пахло нехорошо. Поэтому Прасковья Игнатьевна вышла на крылечко и вдруг подумала: а зачем я пришла?

Пошла она посоветоваться с крестною матерью. Теперь же пришла к тому убеждению, что крестная мать не может ей ничего посоветовать хорошего, да и сама она не маленькая.

Во двор с узлом вошла дочь Марьи Савишны, худощавая девушка лет четырнадцати, с бледным лицом, заплаканными глазами, с непокрытою головою, босая, в одном продранном во многих местах сарафанчике. В левой руке она держала кошель.

— Прасковьюшка! — сказала девочка, подошла к ней и плутовато стала смотреть на нее.

— Аль отказали?

— Четвертые сутки... Ходила, да всего-то четыре ломтика насобирала... Каторжные!.. — И девушка бросила кошель на крылечко, а сама стала мыть в луже правую ногу.

— Ты вчера дома была?

— Чего?

— Дома, спрашиваю, вчера была — весь день?

— Была.

— Никто не приходил?

— Нет; а что?.. Сегодня меня стегали... — Девочка заплакала. Глаза ее сверкали... — Прасковья Игнатьевна, дай копеечку?

— На што?

— Уж ты вечно такая... А слышала я, учитель-то сегодня в школе был, и парней туда скликали.

— А самого не видала?

— Што дашь?

— Машка! ты с кем разговариваешь, — послышалось из избы. Все это произнесено было охриплым голосом.

Прасковья Игнатьевна вошла в избу.

Старуха сидела на краю печки, свесив ноги. Лицо ее было бледножелтое — кожа да кости; горло тоже кожа да кости, волоса седые на голове; в глазах виднелось мало жизни.

«Как она живет, господи! Одна маята только», — подумала Прасковья Игнатьевна; сердце ее больно кольнуло, и ей еще противнее показалась изба, еще жальче крестная мать.

— Ох, старость, старость! .. И скоро ли это господь мне конец пристроит? Легла бы я в сыру землю... Ох-хо-хо... — заплакала старуха, но слезы у нее уже все были выплаканы; это было сухое рыдание, болезненно искажающее лицо, так что больно жалко становилось этого человека. На глазах Прасковьи Игнатьевны навернулись слезы.

— Ох! горю не поможешь... Нет... — И старуха стала слезать с печки. Прасковья Игнатьевна помогла ей спуститься, но затыкала нос одной рукой, потому что изо рта крестной матери пахло как от покойника.

Марья Савишна была еще крепка на ноги. Вышла она на крылечко, спросила у дочери хлеба, села и стала сосать кусок, потому что у нее не было ни одного зуба.

— Вот прежде сахар сосала, а теперь... Все зубоньки, крестница, выпали... Не ешь ты, голубушка, никогда сахару; с него все и разоренье наше вышло.

— Маменька, ты знаешь Петра Курносова? — крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Учителя-то? это казначейского-то сына?

— Ну... сватается за меня.

— И... — Крестная мать закачала головой и задумалась. — Эх, стара я стала, — продолжала она: — много-то уж не хожу... Плохо дело-то!

— А што?

— Да пара ли он те? .. Вот бы тебе из наших жениха-то... Мало ли: вон Глумов... мало ли их.

— Так не ходить, ты говоришь?

— Воля твоя, крестница. Оно, учитель, должность

знатная... Да прок-от будет ли? Будет ли прок, милая крестница... А што у те мать-то?

Разговор принял направление о Глумовых, причем крестница рассказала крестной матери о желании дяди жениться. Это очень удивило Марью Савишну, и она то и дело стала твердить с улыбкой:

— Тимошка-то, дурачок!.. Ах ты, оказия!

Прасковья Игнатьевна стала торопиться домой, но ее удерживала крестная мать, уверяя, что ей скучно одной, а дочь ее нисколько не посидит с нею, все рыскает. Уважая старуху, Прасковья Игнатьевна посидела еще несколько времени; но речи о женихе Курносове ни та, ни другая не заводили.

Дорогой к дому Прасковья Игнатьевна стала каяться, что она только понапрасну ходила к крестной матери.

Прошел после этого день, прошло два и три дня; а Курносов нейдет не только к Глумовым, но и в Козье Болото. Много в это время передумала Прасковья Игнатьевна о своем женихе и каждый раз засыпала с тою мыслью, что если Курносов изважничался, то она не пойдет за него замуж. Пришел дядя, принес с собой две пары сапогов и сказал:

— Ну, племянница, готовься к свадьбе. Курносов кланяться велел.

Прасковья Игнатьевна испугалась; она думала, что он долго жить приказал, то есть помер. Она побледнела.

— Ей-богу! В город за подарками поехал, потому денег много дали дураку за пьянство, — продолжал дядя серьезно.

— Видел али врешь? — спросила Прасковья Игнатьевна, подозревая дядю в обмане.

— Наплевать... Только у нас с ним уговор состряпан.

— Да што ж он?

— Я говорю, уговор: наперед моя будет свадьба.

— Да неужели взаболь? Дядя, ты врешь! («Что за наказанье!.. околеть бы вам всем», — проговорила она про себя).

— Ей-богу! После петрова дня моя первая свадьба назначена, уже прошено-перепрошено; опосля твоя; я это все обделал, — нужды нет, што дурак.

ГЛАВА VII

Две свадьбы

На тракту есть дом непременного рабочего Оглоблина; но этот дом хотя и называется домом Оглоблина, только им владеет мастерская вдова, Дарья Викентьевна Огородникова. Замуж она вышла шестнадцати лет. Скоро оказалось, что муж ее был пьяница и забулдыга, она и нанялась на рудник в качестве кухарки для рудничных рабочих, но прожила там не больше года: работать она ничего не умела, кроме печения хлеба. Сначала нищенствовала на заводе; по научению рабочих подавала на мужа несколько просьб заводскому исправнику, но так как эти просьбы были написаны глупо и бестолково и даже одна просьба была написана в рифму каким-то пьяным писарем, то их и не принимали и стали, наконец, гонять прочь Дарью от исправницкого дома. Наконец, по протекции одного рабочего, она попала в целовальницы и дело свое исполняла добросовестно три года с половиной и в то время скопила кое-какой капиталец. Вот тут-то и познакомился с ней Тимофей Петрович.

Так Дарья и осталась в кабаке до смерти мужа, когда она преспокойно вошла в свой дом, в свой потому, что дом принадлежал ее родителям, умершим еще до ее замужества.

С этих пор Тимофей Петрович сделался своим человеком у Дарьи Огородниковой, но сначала на это не обращал никто внимания, потому что он у нее исправлял иногда обязанности кузнеца, так как она завела кузницу и имела двух работников; а потом хотя и узнали многие, но, потолковав немного, решили, что как и Тимошка-дурачок, так и Дарья Огородникова — люди отпетые и их даже и за людей-то считать не стоит.

Как бы то ни было, но Дарья Огородникова вела дела свои хорошо. Не повезло у ней на кузнице, она стала печь калачи и эти калачи стала продавать проезжающим ямщикам, мещанам и разным людям. Летом, кроме калачей, продавала и ягоды и таким образом получала кое-какой барыш. Потом она стала варить брагу и пиво и зазывала секретно ямщиков, и так приучила их к себе, что они постоянно, под предлогом купить калачей, останавливались у ее дома и пили пиво, даже до того, что запевали

песни. А когда узнали и рабочие, что Огородникова продает пиво, и они стали захаживать к ней, но кабатчикам не сказывали, а если кто и сказывал, то у нее ничего не находили.

Вот эта-то Дарья и есть невеста Тимофея Петровича, которою он удивил теперь весь завод. Только и было разговору, что о дурачке Тимошке и Дарье Огородниковой.

Стоит, например, кучка на рынке у весов и непременно разговор идет о Глумове.

— Слышали новость?

— Как не слыхать: Тимошка-то!! Вот она, задача-то.

— И что это за род такой: чудят, да и только.

— Нет, он, надо полагать, не полоумный: Надо ему поздравлины сделать. — И т. д., все в этом роде.

Прасковья Игнатьевна, как узнала об этом, со стыда не знала, куда и деться. Выйдет на улицу, ее дразнят дядей.

— Што, учительша; дядюшка-то твой какую загвоздку нам задал! Задача — ей-богу!

— Да я-то чем виновата! — взъестся Прасковья Игнатьевна.

Между тем Тимофей Петрович свадьбу свою устроил не зря. Он очень был привязан к Дарье Викентьевне. В ней он видел обиженную женщину, с годами пришедшую в нормальное состояние и привязавшуюся к нему, такому человеку, которому и цены нет. Но он не говорил ей о женитьбе раньше потому, что боялся жениться, да и Дарья Викентьевна ему повода на это не подавала. Привязываясь все больше и больше к Дарье Викентьевне, он находил ее самою лучшею женщиною во всем заводе, и, не обращая внимания на заводских баб, всюду преследуемый насмешками, он только у нее и находил ласку и покой. Случалось — Дарья Викентьевна и поколачивала его, но ему милы были эти колотушки: он знал, что его колотит друг, который в тысячу раз милее ему всех других друзей. Также ему очень нравилось то, что Дарья Викентьевна работает и деньги не тратит попустому, а бережет для хозяйства; он предложил ей такого рода план: «Когда мы женимся, тогда я заведу свою кузницу, и мы откроем маленькую торговлю мелкими вещами; табак будем продавать, соль, говядину...»

Дарья Викентьевна согласилась вполне с Тимофеем Петровичем...

После петрова дня в православной церкви первая свадьба была Тимофея Глумова с Дарьей Огородниковой; но кутеж продолжался у молодых только сутки... Глумов, как водится, поселился в доме своей жены и купил у Прасковьи Игнатьевны лошадь за восемь рублей; на эти деньги Прасковья Игнатьевна сшила себе сарафан, купила ботинки и платок на голову.

С замиранием сердца дождалась Прасковья Игнатьевна дня своей свадьбы, а подруги ее, приглашенные ею и Петром Савичем ради веселья, еще более пугали ее именно самым обрядом. Петр Савич был очень весел и мил не только с невестой, но и с гостями, угощал всех сладкой водкой и разными сластями; во все время до свадьбы смешил всех до слез, даже Маланья Степановна, сидевшая постоянно на лежанке, хихикала. Она вела себя смирно и больше рассказывала Марье Савишне, которую Прасковья Игнатьевна пригласила жить пока к себе, — рассказывала разный вздор, в котором гости не понимали никакого смысла и который Марья Савишна не могла расслышать и, думая, что Маланья Степановна сочувствует ее горю, со своей стороны рассказывала свое горе от тех пор, как она прежде много ела сахару, и заканчивала тем, что теперь принуждена жевать хлеб.

Наступил и день свадьбы — великий день для невесты. Поплакала она — и сама не зная о чем, кинулась на шею матери и расстроила мать, которая убежала в огород, откуда ее никак не могли выцарапать за ноги. Народу в церкви было много, потому что женился учитель; тысяцким жениха был казначей главной конторы, а посаженым отцом сам приказчик. Церковь была битком набита народом, несмотря на то, что полицейские служители энергично толкали и гнали народ от церкви для того, чтобы в церкви было свободнее стоять заводской аристократии.

Жених стоял расфранченный; приехала и невеста в кисейном платье, подаренном женихом. Народ острил то над женихом, то над невестой, доказывая, что невеста целой четвертью выше жениха. Наконец началось и венчание с певчими. Народ, стоявший ближе к жениху и невесте, не спускал с них глаз. Но вот женщины ахнули: из рук невесты упало кольцо, стали искать кольцо — не на-

шли. Для формы казначей дал свое... Повели жениха и невесту венчать — с жениха венец свалился. Невеста была бледна.

— Муж умрет, венец свалился, — гудел народ.

Все-таки свадьба кончилась, но не весела была молодуха; она теперь каялась в том, что пошла замуж за Петра Савича. Во всю дорогу муж не мог добиться от нее слова, — она или плакала, или ей представлялись разные ужасы, и причиною этих ужасов был страшный сон.

— Знала бы — не спала <бы> я в ту ночь, как мне видеть проклятый сон, — говорила она Петру Савичу.

И сколько ее ни развеселял муж, но не добился веселости.

В доме Глумовых молодых благословил иконой и хлебом приказчик и, по выпивке заздравного стакана, сказал:

— Знай я, что в Козьем Болоте есть такая красивая девка, непременно бы женился.

Гости едва умещались в доме, они большей частию были из писарского класса, так что Прасковье Игнатьевне было очень неловко сидеть с ними, к тому же присутствие приказчика стесняло гостей, и они говорили как-то невесело. Но когда уехал приказчик, тогда и пошли гарцевать гости: крики, пляска, песни поднялись такие, что Маланья Степановна, сидевшая до сих пор спокойно на гряде, теперь заползла в яму, находящуюся недалеко от бани, и завыла.

Долго гарцевали гости, многие перепились до того, что не могли тащить ног.

Так и поселился Петр Савич в доме Глумовых, и от сих пор началась другая жизнь Прасковьи Игнатьевны.

ГЛАВА VIII

Семейное счастие

Через неделю после свадьбы привелось Прасковье Игнатьевне готовить кушанье, а запасу в ее погребе и чуланчике было очень немного: муки фунтов десять, отрубей фунтов пятнадцать — и только. Мяса не было, и Петр Савич утешал свою жену, что он завтра непременно купит говядины, так как надеется получить с одного приятеля

небольшой должок. Корова у них была продана, а лошадь, как уже известно, взял к себе Тимофей Петрович. Выскребла Прасковья Игнатьевна остаток муки, заварила квашню, а ночью половина этой квашни сплыла и разлилась по печи и от печи к полу, так что проснувшаяся хозяйка почти в первый раз увидела свою печь с серыми полосами и прокляла свой сон; но все-таки ее успокоил муж, что на это наплевать: от этого хлеба немного убудет, только ей придется немного заняться очисткой печи, на которую нельзя взобраться не испачкавшись. Но это пустяки. А вот когда ушел ее муженек на рынок, она постаралась скорее закрыть трубу и столкать в печь четыре каравая теста, устоявшегося в плетеных чашках, употребляемых единственно для устоя ржаного теста. Повидимому, она совсем забыла о том, что муж ушел за мясом и, стало быть, она рано посадила хлебы, ибо, прибрав все, уселась к столу и стала чинить мужнин халат. Приходит муж, приносит два фунта говядины.

— А я уж хлебы посадила... — сказала хладнокровно Прасковья Игнатьевна.

— Молодец... Значит, сегодня отложим попечение? — проговорил муж полусердито и полунасмешливо.

— Видел, поди, што я печь затопила! Ишь, чуть не целый день шатался! Не бегать же мне за тобой... — проговорила недовольно Прасковья Игнатьевна.

— Изволь сварить где хочешь! — крикнул муж.

— Вари сам...

— Слушай?!

— Ты не кричи — сама кричать-то умею.

И эта сцена кончилась тем, что молодая хозяйка поставила горшок с говядиной, водой, капустой, репой и морковью в печь. Она хотела досадить мужу за его грубость, зная по опыту, что щи не могут свариться в вольном жару.

— Обедать! — скомандовал тот таким тоном, как будто бы обратился к работнице.

— Подожди маленько, Петя, — говорит Прасковья Игнатьевна мужу.

— Есть хочу... живо!

— Тебе говорят — не поспело. Ишь, явился когда с говядиной-то, когда печь застыла... По твоей милости у меня самой ни росинки во рту не было.

Муж смолчал, закурил трубку и лег в постель; но голод не давал ему покою, и он часто кричал:

— Обедать!

— Подожди; не готово, — отвечала жена.

Наконец, видя, что муж начинает не на шутку сердиться и, пожалуй, по любви, задаст ей тряску, она подсела к нему на кровать и стала ласкаться, только мужу было не до ласк. Он вскочил, как дикий зверь, и крикнул:

— Да дашь ли ты мне обедать-то?

— Дам, дам, Петр Савич... — проговорила Прасковья Игнатьевна глухим голосом.

Дрожащими руками она покрыла стол синей изгребной скатертью, наставила и наложила всего, что требуется для еды на четверых. Помолились все богу и уселись.

— Это што? — спросил ее муж, указывая на отрезанный ломоть.

Щеки Прасковьи Игнатьевны покрылись румянцем, она ничего не могла сказать. Братья с улыбкой смотрели то на сестру, то на Курносова.

— Для этого я, што ли, на тебе женился?

— Прости, Петр Савич... квашня убежала... — оправдывалась Прасковья Игнатьевна, не смея почему-то упомянуть о щах.

Щи не сварились. Так обед и кончился небольшой ссорой молодых людей. Петр Савич сердился на жену за то, что она перепортила обед, и за то, что у них нет больше ни капли муки; Прасковья Игнатьевна плакала, досадуя на то, что она, злосчастная, не могла угодить Петру Савичу, хотя и всячески старалась, а он не хочет простить ей ошибку. Но муж еще ничего; а вот пришла Маремьяна Кириловна, которую Прасковья Игнатьевна недолюбливала с самой свадьбы за то, что она громче и дольше всех хохотала, пересмеивала ее походку и хвалила свои сережки так, как будто бы хотела уверить всех, что только она одна может и должна носить их, а всем прочим они не к лицу, — пришла и расселась, да и просидела до вечера, как будто бы у нее дома и дел никаких не было. Тары да бары — и время дотянулось до вечера; вечером Маремьяна Кириловна наконец-то спохватилась, что у нее дома осталась недоенною корова, и стала прощаться, но черт сунул Петра Савича пригласить ее отужинать. Та

было стала отговариваться, по обыкновению так, чтобы ее еще больше попросили. И Маремьяна Кириловна осталась.

— Что-то, молодуха, ем я хлеб-то... а он как будто больно сыроват, — сказала Маремьяна Кириловна и разразилась вдруг смехом; ее примеру последовали муж и братья. А Прасковья Игнатьевна сидела как на иголках и когда затворила калитку за гостьею, то послала ей вдогонку всех чертей.

На другой день все Козье Болото узнало, что молодуха Глумиха, что вышла за учителя Курносова, печь хлебы не умеет.

И вот с этого дня как только она ни выйдет на улицу и как только ни попадется ей навстречу какая-нибудь женщина, то первый вопрос, который она слышит: «А што, молодуха, научилась ли ты хлебы-то печь?» И пошли, как водится, шушуканья и пересуды...

Как бы то ни было, а с этого времени, со времени толков о том, что она плохая стряпуха, Прасковья Игнатьевна начала сознавать, что роль ее в обществе изменилась. Соседки, преимущественно девицы, с усмешкой замечали ей: «Какое, подумаешь, счастье тебе вышло! Вот и видно, ворожея у те была хорошая... И лицо-то у те как-то по-другому выказывается». Это, конечно, Прасковья Игнатьевна принимала за насмешку, но все-таки подмечала в этих словах какую-то зависть и досаду, которую она перетолковывала так: «Все это они оттого на меня зубы точат, что я вышла замуж за учителя, и не за старого какого-нибудь, а молодого». И больше она ласкалась к мужу, высказывая ему насмешки соседок, на что почтенный супруг преважно отвечал: «Стоит о чем разговаривать!»

Одним словом, она была новичком в новой жизни, и ей непонятны казались многие мелкие случаи из мелкой драмы заводской жизни. Однажды соседка обратилась к Прасковье Игнатьевне со вздохом:

— Так-то, молодуха! Всяко бывает в жизни... Эх, молодость!

Прасковья Игнатьевна, — точно последнее слово относилось к ней с укоризной, — потупила глаза.

— Ведь вот, подумаешь, как время-то идет! — сказала она.

— Што и говорить. Вот я уж и за вторым мужем.

— Ну, а я бы в другой раз не пошла замуж, — сказала

вдруг Прасковья Игнатьевна и тотчас же почувствовала, что она что-то неподходящее сказала, потому что у нее слова вышли бессознательно.

— Вот и видно — молода... А каков у те муженек-то?

Не поняв вопроса: относится ли он к насмешке над ее мужем или к тому, каков он с ней, — Прасковья Игнатьевна надула губы и промолчала.

— Не колачивал еще? — спросила вдруг другая женщина, находившаяся тут же.

— С чего ему бить-то меня! Смеет!..

Женщины разом захохотали, а одна сказала:

— Вот отсохни язык, коли вру: придет пора, будешь говорить про него и то и другое... Нам ли уж не знать этого?.. А может быть, ты терпишь? Я тоже куды сперво-началу-то терпелива была. Ну, да оно и то надо сказать: баба я молодая, прожила с мужем неделю, он меня бить... Разе это дело говорить: «Ой, бабы, муж у меня драчун...» Тебя же и осудят и смеяться над тобой будут: глядите-ко, бабы, не успела она замуж выйти, а муженек-то ее костыляет. Значит, это по-нашему выходит што — в молодухе изъян есть... Так ли, молодуха?

Прасковья Игнатьевна покраснела. Нечего таить: раз за что-то Петр Савич ударил ее по спине кулаком. И как же ей обидно-то было. И она вполне согласилась в душе с мнением соседок.

— А ведь и знаешь, что ты чиста, как голубь... Вот и молчишь и терпишь, а потом и привыкнешь и знаешь, с которой стороны он тебя ударить хочет, да и не отвертываешься... Поплачешь-поплачешь, да с тем и останешься, еще за слезы зуботычину получишь.

Между тем девицы указывали пальцами на бывшую их подругу и, с свойственною их возрасту и воспитанию завистью, вспоминали все проказы Прасковьи Игнатьевны, все обиды, причиненные им в детстве, называли ее гордячкой и поэтому говорили, что она непременно овдовеет, так как и доказательство этого уже есть: венец свалился с головы жениха во время венчания. Но главная нить разговоров все-таки состояла в том, что каждой девице хотелось узнать, каков-то у Прасковьи Игнатьевны муж, как-то он обращается с нею. Но как спросить об этом Прасковью Игнатьевну? Раз как-то девицы остановили

Прасковью Игнатьевну, когда она возвращалась от женщин домой.

— Спесива стала, Прасковья Игнатьевна. Нет, штобы посидела с нами.

Но Прасковья Игнатьевна почему-то сочла неприличным сесть с девицами и не знала, что отвечать им.

— Да сядь, — упрашивали ее девицы.

— Ужо когда-нибудь, а теперь некогда.

Так она и ушла, а девицы еще более невзлюбили ее, и дело, наконец, дошло до того, что они при встрече с Прасковьей Игнатьевной перестали кланяться ей и косо поглядывали. Прасковья Игнатьевна с своей стороны не только не считала нужным кланяться им первая, но и ей почему-то было стыдно девиц, и она старалась делать вид, что она слишком спешит по важному делу. Она уже думала: «Наплевать мне на них! .. Я уж теперь не ровня им! Еще, пожалуй, выспрашивать станут, как я с мужем. . .» — и т. д.

На первых порах замужества у Прасковьи Игнатьевны дела было немного. Коровы, как я сказал раньше, у них не было, стало быть, заботы значительно поубавилось: оставались курицы, овечки, огород и стряпня; но странное дело — Прасковья Игнатьевна стала тяготиться огородом, овечками, курами и мало-помалу совсем начала забывать о них. Вся ее забота только в том и состояла, чтобы угодить мужу стряпней, а курицы и овечки оставались по целым дням без корму, надоедали ей во дворе до того, что она швыряла в них чем попало. Огород перешел в руки Маланьи Степановны, которая, вероятно по случаю тепла, постоянно хлопотала над грядками. С утра до вечера можно застать ее в огороде, только дождь вгонял ее в баню или в чулан, и на всевозможные приглашения Петра Савича идти в избу — старуха не шла и даже редко принимала пищу из рук, потому что она хлеб воровала из сеней ковригами, и эти ковриги можно было отыскать где-нибудь в траве или в углу пустого амбара. Впрочем, Маланья Степановна большею частию питалась овощами: молодой редькой, морковью, огурцами и преимущественно картофелем, которым она заваливала полную печь бани тогда, когда прогорят дрова, отчего большая часть картофеля превращалась в пепел, а кое-что съедалось ею, так как она имела обыкновение

остатки зарывать в землю. Муж и жена дали полную свободу Маланье Степановне на том основании, что она давала им полную свободу нежничать, а Прасковье Игнатьевне так было хорошо в своей избе и комнатке, что она только ради забавы выходила в огород. А забавляться ей было чем: то ее смешит, что мать, взобравшись по перекладинам до самой крыши сарая, роется между тыквенными листьями и мурлычет что-нибудь под нос, — значит, находится в веселом расположении духа; то мать лежит между грядками и сладко спит, несмотря на то, что ее облепят кучи мух и комаров. Таким образом, хотя огород и находился не в цветущем состоянии, но Прасковья Игнатьевна была довольна матерью и в огороде почему-то видела теперь немного пользы. Это небрежное обращение с курами и овечками, недосмотр за огородом соседки называли ленью и в глаза высказывали ей это, но она отмалчивалась и думала: «Какое такое им дело до меня! Надо же мне погулять...» Но эта леность стало мало-помалу отражаться на хозяйстве Прасковьи Игнатьевны значительным ущербом: куры и овечки одна за другой, незаметно для нее самой, стали исчезать, капуста в огороде портилась, и это она заметила довольно поздно, а как заметила, то и не знала, что ей предпринять. Поискала она своих кур и овечек — ни у кого нет, да и куда она ни придет, ее же бранят за то, что она не умеет владеть своим хозяйством, подозревает бог знает в чем честных хозяек. Пошла она к Дарье Викентьевне с жалобой, та сказала, что она сама во всем виновата, и указала на себя, как на хорошую хозяйку, у которой есть время на все — и торговлей заниматься и управляться своим хозяйством. Завидно стало Прасковье Игнатьевне, стала она думать, как это так Дарья Викентьевна умеет управляться со всем и у нее еще есть свободное, почти все послеобеденное, время?

И она спросила Дарью Викентьевну, которую назвала не теткой, а по имени.

— Приложи старание — и все тут. Нечего сидеть-то сложа руки. Ну, какая ты есть хозяйка и чему тебя отец-то с матерью обучали?

Очень обидны показались эти слова молодухе. Дорогой она сознавала, что действительно Дарья Викентьевна права, но она почему-то не понравилась ей своей резкой правдой.

— И впрямь я буду стараться! Все они только важничают, а, поди, тоже не лучше нашего живут.

А жили молодые в это время неказисто. Хорошо еще, что было лето и много помогал хозяйке огород. Жалованья Петр Савич получал только три рубля; получал он и провиант, но его хватало только на полмесяца, да и то приходилось обоим есть часто недопеченое, к чему Петр Савич уже стал привыкать и становился менее и менее взыскателен; но ведь одним хлебом сыт не будешь, нужно же и говядины купить, соли и круп купить, и три рубля расходовались Петром Савичем до пятнадцатого числа. Все это Прасковья Игнатьевна знала, но ей неловко казалось говорить об этом мужу, потому что, по ее понятию и по понятию прочих таракановских женщин, о прокормлении семейства должен заботиться муж.

Наконец стала Прасковья Игнатьевна замечать, что муж что-то очень рано уходит на службу, а домой возвращается поздно и навеселе, и как придет, так и ложится спать, а она хочет есть. Братья тоже возвращаются домой поздно. Спросить мужа, зачем он не пришел обедать, — неловко, потому что обедать нечего, и Прасковья Игнатьевна пришла к тому заключению, что Петру Савичу не дают денег и он ест у своих приятелей. «Буду и я тоже так делать». И вот она пошла в пятницу к одной соседке, как раз около обеденной поры; пришла к ней за пригоршнею соли, села и завела речь о том, что мать ее нынче уже тыкву начинает есть сырую. Соседка пригласила Прасковью Игнатьевну есть, что бог послал, она стала было сперва отговариваться, но потом села. В субботу пошла к другой соседке за веретешком — и опять так отобедала. Но в воскресенье идти к третьей соседке ей показалось совестно. В этот день, по случаю ненастной погоды, муж и братья как назло были дома. Утром было скучнее всех прочих дней: муж сердитый какую-то книжку читает, братья играют в карты и ругаются, потому что Павел плутует, а Илья его ловит. Сидит Прасковья Игнатьевна у окна и не знает, за что бы ей приняться; но сколько она ни думает, ничего не может придумать; потом и ничего уже как будто не стало в голове, точно она одеревенела. Наконец братья ей начинают надоедать, и она прикрикнула на них:

— Добрые-то люди в церковь ушли, а вы...

— Так мы не добрые люди! Ну-ка, чем мы хуже тебя? — пристал Илья к сестре.

— Говори — не кричи: и так можно.

— А вот мы еще прибавим на пятак.

И Илья начал неистово свистать.

— Смирно вы, ослы! — крикнул Петр Савич, выведенный из терпенья поведением шуринов.

— Сам осел! — сказал Илья.

— Ах, ты! .. — и Петр Савич поднялся с кровати.

— Ну-ка, тронь! — закричал Илья. Глаза его засверкали.

— Пошел вон, негодяй! — крикнул Петр Савич, подходя к Илье с кулаками.

— Сам вон!

Петр Савич не выдержал, ударил Илью, Илья не спустил и хватил Петра Савича по лицу кулаком, а потом залег в кухне на полати.

Петр Савич рассвирепел, но не мог выцарапать с полатей Илью, так как тот сидел там в углу и отмахивался палкой. Павел был скромнее брата и во время драки вышел во двор. Между Ильей и Петром Савичем началась такого рода перепалка:

— В чужом дому живешь да хозяев гонишь, бесстыжий! — кричал Илья.

— А ты ничего не делаешь, осел! На чужом хлебе живешь.

— Хороши хлебы — и жену-то нечем кормить. Прогоню еще из дома-то. . .

— Илья, перестань! — вскричала Прасковья Игнатьевна; лицо ее побледнело, самую ее трясло и от злости и от испуга.

— Не твое дело! — крикнул муж.

— Петр Савич! разве не правда, что ты меня моришь. . . Што соседи-то говорят, — проговорила Прасковья Игнатьевна и заплакала.

— У! черти!! — проговорил Петр Савич и стал одеваться.

Прасковья Игнатьевна плакала. Вдруг Петр Савич подошел к ней и ударил ее по спине, так что жена взвизгнула.

— Зачем ты ее бьешь-то? — вскочивши с полатей

и подбежав к Петру Савичу, сказал Илья. — И не стыдно тебе... По миру заставляешь ходить.

Петр Савич затих. Он сознавал, что он сегодня сгоряча наделал много глупостей, но просить прощения у шурина и жены ему не хотелось; не хотелось также, в присутствии шурина, утешать жену, и он, не простившись с ней и не сказав ей ни слова, вышел. Когда он поровнялся с окном, Прасковья Игнатьевна отворила окно и спросила робко:

— Петр Савич... купи муки.

— Куплю. — И он пошел.

— Топить печь-то?

— Я почем знаю. — И он зашагал скоро по грязи.

Прасковья Игнатьевна заплакала. В первый раз после замужества она была унижена мужем перед братом; в первый раз ей показалась эта новая жизнь противна... Но никто не мог ее утешить в это время. Илья тоже ушел, и Прасковья Игнатьевна осталась одна, и ей в первый раз показалось страшно сидеть дома. Не могла она ни мыслями, ни работой преодолеть какой-то боязни... В другое время она бы запела, а теперь нельзя — это было во время обедни, и она вдруг вздумала отправиться в церковь. Но когда она дошла до церкви, то народ уже выходил оттуда.

— А, здорово, молодуха! — кричал рабочий, идущий из церкви в тиковом халате, с двумя товарищами, и снял фуражку.

Прасковья Игнатьевна поклонилась.

— Никак Курносов-то гуляет?

Мастеровые прошли.

— Куды это? .. — крикнула молодухе молодая бойкая женщина.

— На рынок иду.

— Покупать волынок! Ну, счастливо, только, надо быть, поздно, — смеялась бойкая женщина.

И много еще пришлось Прасковье Игнатьевне останавливаться и выслушивать насмешки. Слезы душили ее, но она только глотала их и боялась, как бы ей не заплакать. Рынок пустел, торгаши смеялись над ее белым лицом и нахально предлагали купить то, что ей вовсе не нужно.

Пошла она опять к Дарье Викентьевне.

— Што это, молодуха, подглази-то у те какие красные... Ай-ай! — встретила гостью Дарья Викентьевна.

— Ничего.

Так Прасковья Игнатьевна и промолчала и ничего не сказала об утренней сцене. Молчала она и за обедом, молчала и после обеда. И хотя Тимофей Петрович приставал к ней с шуточками, но ей не до смеху было, и она печальная ушла домой, так что Дарья Викентьевна очень была удивлена поведением Прасковьи Игнатьевны и обратилась к мужу с таким вопросом:

— Ты не знаешь ли, што с ней?

— С мужем, поди, не ладит.

— Ну уж и муженек! Давно ли женился, а у Павловых день и ночь трется.

— Ты этого не говори; мало ли што дураки толкуют.

— Положим, пустяки! Мы вон с тобой как маялись... Так то мы, а она другое дело. Нынче вон и порядки-то иные: чуть чего — осрамят, да еще как...

Тимофей Петрович не возражал и немного погодя вдруг сказал жене:

— Дарюха!.. смекаю я — здесь невыгодно торговать-то.

— Это почему так? На тракту, да невыгодно... Ты еще скажешь: и кузницу долой...

— Затараторила... Я вовсе не к тому, што невыгодно. А видишь, суть какая: не худо бы в Козьем Болоте лавочку открыть. А?

— Вот уж! полез туда с торговлей, скажут — новые порядки ввел.

Однако Дарья Викентьевна задумалась.

— И што это ты вздумал непременно лавчонку в Козьем Болоте?

— Знаешь? — начал нерешительно муж. — Я никому не хотел говорить, да уж так и быть, скажу тебе, только ты молчи... Как ты думаешь насчет этого: не худо бы купить у племянницы-то дом?

— Ну?

— Знаешь, дом родовой, да и я с Игнатьем сам его строил... Оно, конешно, у меня робята тоже свои, и у Игнатья свои, пополам, значит...

Жена задумалась.

Вдруг входит к ним Курносов. Пальто загрязнено, о брюках и говорить нечего; его пошатывает.

— Пьян, дядя... пьян! — проговорил Курносов и сел на скамейку к столу.

— Хорош молодой! Диви бы жену какую выбрал — дряннуху, али бы... — начала Дарья Викентьевна.

— Хуже!! — Курносов махнул рукой.

— Чем же она худа-то?

— Стряпать не умеет.

Тимофей Петрович и Дарья Викентьевна захохотали.

— Стыдился бы ты говорить-то! — сказала сердито Дарья Викентьевна.

— Вру я, што ли? Сама, поди, видела, ела.

— Все это, как я погляжу, Петруха, одна придирка с твоей стороны. Право! Ты не обидься моими глупыми речами: глуп я давно, а все ж скажу, што и я тоже не с рынку покупал хлеб-то. Кто пек да щи-то варил? Племянница. О-ох, ты!! — проговорил недовольно Тимофей Петрович и вышел во двор.

Дарья Викентьевна была чем-то занята и тоже вышла вслед за мужем. Петр Савич посидел немного и тоже вышел.

ГЛАВА IX

Прасковья Игнатьевна действует самостоятельно

После описанных выше сцен прошло три недели. Положение Прасковьи Игнатьевны немного улучшилось: Петр Савич перестал пить и ежедневно ходит на службу, после обеда уходит рыбачить с Матвеем Матвеевичем Потаповым, известным в Таракановском заводе стихоплетом. Матвей Матвеич очень смешной человек и трезвый и навеселе, — последнее, впрочем, случается редко: Матвей Матвеич любит выпить на даровщину, да и не только выпить, но и в звании любимца управляющего он частенько обедает у приказных. Глаза у него карие, брови, волосы и усы черные, он еще молод, на жирном лице заметна постоянная улыбка, он то и дело вдыхает носом в себя воздух, а когда смеется, то левую ладонь прикладывает к левому глазу — по привычке, перенятой от приказчика Переплетчикова, с которым он

хотя и не был дружен, но у *хороших* людей сталкивался. Прасковья Игнатьева давно его знала как шута горохового, ей весело было с ним — и только. Она даже не умела подметить в нем ничего дурного, — напротив, она искренно хвалила его за то, что он часто привозил домой ее пьяного мужа и говорил ей, что он всячески старается направить Петра Савича на истинный путь, то есть не дает водки и т. п. Захаживал Потапов и без Курносова, но только болтал вздор и смешил до слез Прасковью Игнатьевну, которая нарочно упрашивала его посидеть. Посещения Потапова только одними шутками и заканчивались. Прасковья Игнатьевна не могла нарадоваться тому, что муженек ее не пьет попрежнему, но ей почему-то и отчего-то скучно становилось. Ей казалось, что рабочие женщины живут лучше ее, у них все есть по домашности, а у нее ничего нет.

— У людей-то, погляжу я, и корова и лошадь.

— Выдумывай, — скажет Петр Савич и замолчит на целый день.

Что он думал и думал ли он что-нибудь — сказать трудно, но все прежнее хозяйство дома Глумовых теперь заменилось присутствием огромного самовара, по всей вероятности попавшего в старый хлам на рынке от какого-нибудь красноносого сбитенщика. Прасковья Игнатьевна, хотя и радовалась самовару на первое время, — «как не радоваться, — говорила она самой себе: — и мы, значит, не мошки какие: ведь Петя-то учитель», — но она никак не могла понять: откуда это Петя мог достать самовар и на какие деньги? И к чему этот самовар торчит на шкафчике, когда он употребляется только при получке Петром Савичем денег, да разве Дарья Викентьевна придет побаловаться? Посидит она немного и говорит:

— Ну-ко, молодуха, угости: поставь самодыр-то, в горле што-то першит.

Поставит Прасковья Игнатьевна «самодыр» как умеет, а Дарья Викентьевна ухаживает за ним, как за дитей. Поспеет самовар, надо чай запаривать, а у молодухи чайника нет, а есть только без блюдечка чайная чашка, принесенная Дарьей же Викентьевной, которая хотя и подарила молодухе блюдечко, но Прасковья Игнатьевна вздумала кормить из него любимую свою кошку и как-то раз наступила на него и раздавила.

— Эко дело! Надо бы посудинку захватить... Экая я дура набитая, ведь из ума вон! — сетует Дарья Викентьевна и смотрит на самовар; а Прасковья Игнатьевна хохочет, хотя и знает, что у Дарьи Викентьевны и дома нет посудины и что она только хвастает. Она знает, что будет теперь делать Дарья Викентьевна, и поэтому ей смешно, но предложить ей что-нибудь — значит разобидеть ту.

— Ну, над чем ты, дура, смеешься? — крикнет вдруг на Прасковью Игнатьевну Дарья Викентьевна, а та живот подпирает руками — до того ей смешна причуда Дарьи Викентьевны.

Наконец Дарья Викентьевна открывает крышку самовара: пар из самовара заставляет ее сторониться; она достает из кармана, сделанного на правом боку сарафана, бумагу, в которой завернуты чайные выварки, смешанные с травою лабазником.

Стали пить чай — налили в две деревянные чашки; вышла желто-красная жидкость. А так как трава заседала в кране, то приходилось часто прибегать к помощи прутика от веника.

Отпили немного молча; сахару нет. Поставили чашки; обе сидят, то глядят в окно, то в чашки.

— Паруша! — говорит вдруг Дарья Викентьевна.

— Ну?

— Не лучше ли с толокном?!

— И то! — И Прасковья Игнатьевна скоро идет во двор, потом в погребушку и приносит мешочек с толокном. Обе они сыпят толокно в чай, и обе хвалят это кушанье, а Дарья Викентьевна, причмокивая, говорит:

— Кабы я была управляющиха — все бы с толокном! Пра-а!..

И точно, заводские женщины очень любят толокно, особенно с пивом; но ведь у каждого человека свой вкус, поэтому и Дарья Викентьевна с Прасковьей Игнатьевной любили пить чай только с толокном, над чем Петр Савич, и в особенности Илья Игнатьич, вдоволь потешались.

Но как ни хорошо было пить чай с толокном, а самовар просто сбил с толку Прасковью Игнатьевну: станет ли она делать что, часто смотрит на самовар, а то и подойдет к нему, возьмет его в руки, оглядит и скажет: «А важнеющий!..» Раз она как-то утром долго пролежала. Погода

была скверная — вот уже третью неделю шел дождь, так бы и не вышел из дому. Петру Савичу нездоровилось, и он не хотел идти в училище. Илья Игнатьич ковырял свой сапог у лавки и насвистывал неистово какую-то грустную песню, а Павел Игнатьич щепал лучину на змеек, который лежал еще недоделанным посреди избы, и разговаривал с поленом, или, иначе сказать, забавлялся, ругая и наговаривая вздор полену и отвечая за него...

— Петя... И что это со мной, право?..— начала вдруг Прасковья Игнатьевна.

— Што тебе еще?

— Да достатки-то наши...

— Погоди; вот приказчик обещался дать должность в конторе.

— И когда это будет... Господи! Уж продам же я этот проклятый самовар. Ей-богу, продам!

— А ты думаешь, дешево он мне стоит: я целый месяц корпел, выводя с раскольнических книг вот эдакие буквы (он показал ноготь на мизинце)... Вот мне и дали только этот самовар.

— Вот так хвастушка; разе кержаки пьют чай.

— Дура! в городе я его достал, а городские раскольники чай пьют втихомолку.

— Ну, а я вот продам, и все тут. Прода-ам? Петинька, дружок, прода-ам...

— Отстань! што привязалась? Будет время — купим и корову и лошадь.

— Ты и самовар пропьешь, тебе только доткнуться до этого проклятого винища — и пошел лакать... И што, в сам деле, за жизнь! Штой-то в сам деле? И чем я хуже других! Сказано, куплю корову — и куплю! — Прасковья Игнатьевна встала, крикнув на последнем слове.

— Смей только, так я тебе бока поломаю!

— И што ты со мной сделаешь? Бить будешь опять? А начальство-то на што! Оно разве не вступится; уж я знаю, что я сделаю.

— Ну-ко, што ты сделаешь со мной, если дойдет дело до этого? — спросил насмешливо муж жену.

— Уж я знаю! — И ушла во двор.

— В самом деле, што я сделаю? Этакой ведь олух! — ворчала Прасковья Игнатьевна и стала думать: зачем она

во дворе стоит? Вот мать ее силится дровни стащить на другое место, — вероятно, ей не нравится, что дровни лежат непременно тут, а не на другом месте, только силенки-то у нее мало. Подошла к ней дочь и наклонилась к дровням для того, чтобы приподнять один конец их и, по желанию матери, оттащить их с ней туда, куда она вздумает.

— Уйди!! — сказала мать и замахнулась на нее костлявою рукою.

— Ведь не стащишь?

— Чего?

— Не стащишь, говорю! — крикнула Прасковья Игнатьевна и прошептала: — О, глухая тетеря! — Но, прошептавши это, она подумала: «Эх, я! мать-то как обозвала...»

Старуха кряхтит над дровнями, а дровни подаются плохо, и так как они хотя немного, а все-таки подаются, то ее это и занимает. Поэтому Прасковья Игнатьевна и не стала ей мешать больше.

Мысль купить во что бы то ни стало корову крепко засела в голове Прасковьи Игнатьевны; желание это с каждым днем все более и более увеличивалось; все думалось, что тогда у нее будет свое молоко, она будет его копить, делать из него масло, творог, она будет есть шаньги. И господи, сколько у нее тогда будет удовольствия, и как она будет любить корову! «Даже вот мамонька — и та, может, от этого придет в чувство». Но как ни хороши были эти думы перед сном и после сна, но они не могли осуществиться; оставалось только продать самовар, а как его продашь, коли он не ее, а мужа?

«А я-то чья? не его разе? разе он не мой?» — пришло ей как-то в голову, и она стала развивать эту мысль, только, сколько ни думала, в действительности оказывалось, что она очень бессильна на то, чтобы бороться с мужем. Это ее стало бесить, и она пошла к одной ворожее в Медведку. Пошла она к ней посоветоваться, как к женщине опытной. После пустяшных переспросов о житье-бытье с обеих сторон Прасковья Игнатьевна робко приступила к делу.

— Не знаю, как помочь тебе... Самовар, говоришь, есть?

— Есть, да не мой, а муж не дает.

— Пошли-ко ты его ко мне, я уговорю его.

— Не пойдет он, а ты сама приди.

Пришла к ней ворожея. А Петр Савич был такого убеждения, что эти шептуньи только деньги выманивают, и ненавидел их.

Старуха вела себя чинно, больше молчала. Петру Савичу она высказала, что пришла с предложением: не купит ли он корову — дешево продают. Петр Савич сказал, что он не так богат, чтобы накупать коров и всякую дрянь, которую надо кормить, и сказал жене, чтобы она не смела и думать об этой дряни; что она его только сердит своими глупыми фантазиями. Прасковья Игнатьевна пустилась в слезы; старуха приняла другой тон и стала корить Петра Савича тем, что он ни рыба ни мясо, пустая башка; Петр Савич выгнал старуху вон и получил от нее название варнака.

Прасковья Игнатьевна была прибита, а ночью пьяный муж прогнал ее из дому за то, что она попрекнула его самоваром, который он с вечера унес куда-то.

Итак, Прасковья Игнатьевна не могла действовать самостоятельно без того, чтобы не быть битой. Но эта сцена не только не прекратила ее желаний приобрести корову, но еще более увеличила. На первый раз, как только муж прогнал ее из дому, она долго плакала и проклинала свою жизнь. В первый раз ей пришла в голову мысль убежать из двора далеко-далеко, но когда она стала успокоиваться, ей жалко было покинуть свое родное гнездышко, свою мать, — да и куда она пойдет? «Не пойду, а буду настаивать на своем: бить будет — сама сдачи дам!» И она храбро вошла в избу.

Петр Савич спал, как мертвый.

— Постой же, черт ты этакий! Сделаю же я с тобой штуку; покажу я тебе, как бить меня.

И она отрезала у него ножницами одну половину усов.

— Стриженый учитель!! — сказала она, и так ей сделалось смешно, так она долго хохотала, что разбудила Илью, который, посмотрев на Курносова, тоже захохотал.

— Полголовы ему обстриги, — кричал Илья.

— Будет и этого.

Но вот Курносов пошевелился, взглянул, что-то пробурчал и опять заснул, но для Прасковьи Игнатьевны

и этого было достаточно для того, чтобы перепугаться: недаром Петр Савич с таким старанием постоянно разглаживает и подстригает свои молодые усы... А что будет с ним, когда он проснется и по обыкновению протянет руку к левой половине усов...

От страху она пошла к дяде. Тот обругал Курносова.

Нечего и говорить о том, что проделка Прасковьи Игнатьевны подняла много шуму в заводе. Дело в том, что Курносов проснулся рано; заметил он спьяна или нет, что у него нет одной половины усов, только, разобидевшись тем, что нет ни в избе и ни во дворе жены, — что случилось в первый раз, — он, надев халат, отправился в первый попавшийся кабак, но дорогой вдруг остановился, удивленный и пораженный.

— Што за дьявол? — говорит он, щупая левую щеку.

По дороге идет шесть рабочих; останавливаются.

— Здорово, дядя Курносов, — говорит один рабочий.

— Здорово! — говорит сердито Курносов.

— Аль торнулся — расшиб щеку-то?

— Глядите!! — показал Курносов на щеку.

Рабочие как взглянули, так и поджали животики.

— Черти!! . дьяволы!! . — кричал он, привскакивая и поворачиваясь.

Но сбежалась толпа, и со всех сторон посыпались остроты на бедного Курносова.

— Хорош учитель, ребячий мучитель! С одним усом... Хо-хо!

— И как это угораздило кого-то! Молодца!

— Это непременно ему женушка соблаговолила! Какова баба?! Микита, бойся своей Акулины, голову отрежет.

— Сам своей бойся: у тебя вон усы есть, а у меня положенья такого и в помине не было.

И рабочие, смеясь, повалили в кабак, куда пошел Курносов.

Весь завод узнал об этом происшествии, и заговорил о том старый и малый, прибавляя, что пьяному учителю Курносову жена усы обстригла.

Каково было положение Петра Савича — может догадываться сам читатель.

ГЛАВА X

Последствия этого забавного происшествия

Петр Савич от природы был честен. Он бы мог иметь пятиоконный дом в заводе, если бы стал подличать, угождать приказчику и делать поборы с родителей вверенных ему учеников; служа в главной конторе и заведывая там лесною частию, он мог бы сколько угодно продавать лесу, но он этого не хотел, считая все это воровством, за что не только не любило его начальство, называя его блохой и ябедником, но и товарищи, из которых Матвей Матвеич Потапов первый смеялся над его *анахоретством,* как он понимал честного человека. При таком положении дел Петр Савич полюбил честную девушку, которая по красоте приходилась, на его взгляд, красивее всех заводских девиц. Но когда он женился, то почувствовал на себе всю тяжесть семейной жизни, потому что перед свадьбой начальство ему много пообещало хорошего, а после свадьбы ничего ему не было дано, и он должен был жить на три рубля да сочинять кое-кому из рабочих прошения, выручая за них весьма немного. К тому же за прошения ему иногда приходилось сидеть под арестом в полиции без сапог. Положение его было довольно неказистое. Оставалось или подличать, или терпеть, а тут еще дома неприятности: жена в первое время стряпать не умеет. Но потом он успокоивал себя, что холостой он жил на квартире, где ему постоянно давали щи и кашу в его вкусе. Там он требовал как жилец, платящий деньги, а теперь он вдвоем, даже впятером: ведь заводоуправление не выдает ни ему, ни маленьким Глумовым ни соли, ни крупы, ни мяса. А уж если он взялся за гуж, то должен быть дюж, то есть коли женился, то должен и семейство свое содержать. Чем же, в самом деле, виновата Маланья Степановна, что она воротилась из горного города сумасшедшею? Чем же виноваты Илья и Павел Глумовы, оставшиеся сиротами?

— И сунуло меня жениться! — ворчал обыкновенно Петр Савич, дойдя, наконец, до настоящей причины своей бедности. Но уже дело сделано, поправить его могут только обстоятельства, главное — ему нужно хорошенько отрезвиться, бросить эту проклятую водку и работать, работать. При последнем заключении вертелись

в голове Петра Савича какие-то хорошие планы, только они вертелись в нетрезвом состоянии и поутру казались неприменимыми или невозможными. А тут жена пристает с коровой. «И не может она, дура набитая, понять того, что нам самим подчас жрать нечего, а она с коровой. Покос вон Тимофей Глумов взял, и я уж давно даже перепил за этот покос, еще, пожалуй, расписку представит в суд. А на что я куплю сена? Ну, как я ей разъясню это? Ведь я понимаю, что корова подруга женщины, как и лошадь для мужчины... Она из-за меня продала корову... Она должна требовать с меня корову; но это опять бремя для меня». Но высказать этого он не умел своей жене, да ему, обязанному ей, было совестно говорить о том, что она сама должна понять.

«Бросить службу и идти в непременные работники!.. Брошу я этих подлецов!» Но перейти в непременные работники — значит упасть, не надеяться на свои силы там, где он мог принести пользы гораздо более, чем в рабочих. А с кем посоветуешься? с женой? Она заплачет; будет говорить, что он ее обманул, подмазавшись к ней учителем; обманул отца ее, дядю, простака и придурня. «И будет она сохнуть, да и я-то — что буду?» Так он думал утром, когда жена просила у него самовар.

Рабочие любили Петра Савича. Любили они его за то, что он был простой человек. Еще мальчиком он умел потрафлять рабочим сочинением писем, еще мальчиком его любили ребята-товарищи за то, что он не был фискалом, а умел хорошо острить и забавлять их, рассказывая из вычитанных книг разные истории, забавные случаи. Когда он поступил на службу, как рабочие, так и товарищи отшатнулись от него, прозвав его *кургузкой*. Идет ли он по улице, ребята ему язык кажут, рабочие над ним острят; случится ли в заводе свадьба богатая, рабочих в церковь не пускают, они толкутся у церкви и на крылечке, а Курносова пропускают; рабочие толкутся у провиантского магазина, а Курносову рабочий везет куль муки... Сблизиться с рабочими в это время Курносову было довольно трудно. Но вот его сильно обидели, обидели его убеждения... а он и раньше с приятелями-приказными пивал не только водку, но и ром, ради веселья; ну, и вздумал отправиться в кабак. Рабочие сперва при входе Курносова замолчали, а потом стали зло изде-

ваться над ним; это его взбесило, и он напился до того пьян, что пустился в драку с рабочими; его отвели в полицию. Мало-помалу Курносов вдавался в пьянство; мало-помалу мнения об нем изменялись, и с тех пор как он попал в дом Игнатья Глумова, его все рабочие полюбили до того, что стали обращаться с ним как с своим братом. Со временем он втянулся в интересы рабочих, и его горе слилось с горем рабочих; но когда он высказывал это рабочим, никто из них не мог понять: как может приказный и для чего сочувствовать их горю, когда это никому из них не принесет пользы? Рабочие пили горькую и его за компанию угощали, а ему, не понявшему сущности чувств и страданий рабочих, казалось, что хотя его и любят они, но издеваются над ним, как над кургузкой, пьяницей... И он старался не пить ради любви к жене, но трудно было остановиться, и его спасала только рыбная ловля; но зато как попала лишняя рюмка в глотку — все нипочем, все горе и зло снова является к нему, и тогда он — «пропащий человек», как выражались о нем рабочие.

— Пойду работать! Кайлом пойду бить! — кричит Курносов, переставши вдруг играть на гитаре, под пляс рабочих, их любимую песню.

— Ой ли? А знаешь ли ты, с которой стороны кайло-то берется? — острят над ним.

— В шахту его, братцы!

И начнут рабочие качать Курносова, взявши его за руки и за ноги, а потом и бросят.

— Воровать стану! — кричит он, хмелея все более и более.

— Ну, это вашему брату, кургузкам, более с руки.

Но это были только шутки, потому что Курносов не мог решиться на такую крайность.

Так и бился он до обрезания усов, а тут опять запил и попал в полицию.

Усов на нем не было: какие-то добрые люди обрили ему усы, но общее впечатление у Петра Савича ясно ему представлялось, когда он лежал в дремоте: жена подходит к нему с ножницами и стрижет... стрижет...

И страшно он зол сделался на свою жену. Все обиды в сравнении с этой ему казались пустячными: его жена осрамила его на весь завод! Ну, как он пройдется теперь

по улице? как явится в контору, в церковь на крылос и в училище? «Лучше помереть, — шепчет он: — противна она теперь мне».

— Нрав у тебя дикий! — говорят ему товарищи-арестанты.

— А если она глупа?

— Значит, вожжи опустил!

«Ну, это не в моем характере», — думает Петр Савич.

— И што за важность — усы? — говорит один арестованный.

— Нет, это все-таки насилие. Кабы она меня любила, успокоила бы меня. Она меня не любит, она еще и не то сделает со мной... Господи! помоги мне... — шепчет Курносов.

Ему стыдно казалось предстать перед Прасковью Игнатьевну — до того он находил себя глупым и беспомощным человеком. Да и Прасковья Игнатьевна, подумав хорошенько, находила свой поступок дурным и крепко запечалилась.

«И с чего это я вздумала ему усы стричь?» — спрашивала она себя. Ей жалко было мужа, стыдно перед людьми, которые ее будут останавливать вопросами: «Не ты ли Курносову усы обрезала?..» Но как изгладить этот поступок, когда общество интересуется от скуки всякою мелочью. «Как я теперь пойду к нему?» Жалко — и больно жалко ей стало Петра Савича, а домой идти боится. Хочется проведать мать — стыдно.

«Пойду! Не боюсь я его!» — думает она иной раз, оденется и опять разденется.

Пробыла она у дяди три дня. Дарья Викентьевна сердится.

— Што ж ты живешь в людях? али дома своего нет?

— Пойду, тетушка!

— Колды подешь-то! Рада на чужом хлебе жить.

А тут пришел Илья Игнатьич, начал говорить, что, коли сестра не придет, ему советуют дом продать. Тимофей Петрович назвал его щенком и сказал, что от дома он еще, может, и щепки не получит.

Пошла домой Прасковья Игнатьевна с братом, сердце щемит у нее. Однако она спросила его:

— А Петр Савич дома?

— В полиции, говорят, сидит.

— Так я, Иля, туда пойду.
— Ты накорми нас наперво.
— Чем?
— Уж это мое дело! Две полосы железа продал. Говядины купил, водка есь.
— Я, Иля, схожу к нему.
Сестра пошла к мужу, а брат направился к дому рабочего Дмитрия Гурьяныча Горюнова, но сестра заметила, что он вошел на пути в питейный дом, и тяжело вздохнула.
«И отчего это раньше я не замечала, што мужики сызмалетства пьют!» — подумала Прасковья Игнатьевна.
— Што нужно? — спросил Прасковью Игнатьевну Петр Савич, сидя на корточках перед лавкой и играя с двумя рабочими и одной женщиной в карты, в дураки.
Прасковья Игнатьевна и позабыла посмотреть: есть у него усы или нет, — ей не до того было.
— Проведать, — сказала она робко.
— Нечего проведывать-то.
— Да ты на что сердишься-то? .. Усы-то тебе Илька обрезал.
Петр Савич посмотрел на нее.
— Как ты меня прогнал, я и ушла к дяде Глумову, а утром прихожу, тебя и нет. Илька копошится у печки. Где, спрашиваю, Петр Савич? .. А он хохочет. .. А Пашка говорит: Илька ему усы обкорнал.
— Рассказывай, матушка, сказки.
— Все это, я мекаю, враки, Савич, што про твою жену толкуют, — сказал один рабочий.
— А коли так, вот мое слово: штобы твоих братьев и духу не было в доме, — сказал дрожащим голосом Петр Савич.
— С тем, штобы ты не пьянствовал! — сказала Прасковья Игнатьевна.
На этом и покончился разговор супругов.
Прасковья Игнатьевна и рада была, что братья не будут с нею жить, и неловко ей было прогнать их, как братьев. Рада она была потому, что они раздражали ее мужа, совались не в свое место, были для нее как бельмо на глазу, и в особенности Илья заявлял право на дом, бывши четырьмя годами моложе ее. Неловко прогнать потому, что они братья, они получают провиант, помогают

ей кое-что делать. Она предоставила разрешить этот трудный для нее вопрос мужу.

Братья перебрались к дяде Тимофею Петровичу, и между ними и Курносовым завязалась непримиримая вражда.

ГЛАВА XI

Заводское училище

Училище стояло на площади. Внутренность этого здания цветом походила больше на кабак, а зимою в нем учителя могли пробыть час, единственно или из любви к делу, или ради того, чтобы показать начальству, что они не берут даром деньги, иначе вонь и грязь хотя кого бы проняли. Настоящее училище существует только для приезда видных гостей. Этот дом — каменный, двухэтажный, и в нем живет нарядчик Площадников, тесть приказчика. В самом же училище, находящемся внизу, находится прачечная Площадникова, а когда нужно показывать училище начальству, то стены белят, полы моют и втаскивают в комнату с двумя окнами четыре парты, шкаф, в котором ровно ничего нет, стол и стул...

В описанном выше здании прежде существовали столярни, но с тех пор как владелец предписал управляющему завести в заводе школу, то управляющий приказал назначить для нее это здание; тогда и назначено было отвести для столярни заднюю половину дома, что за западными дверьми, а так как помещения оказалось мало, то и дали еще другой дом, что находится во дворе.

Семь часов утра. Около восточных дверей сидят пять учеников, мальчики от шести до пятнадцати лет, в тиковых халатах, худых сапогах и фуражках. Это дети зажиточных мастеров. На полянке лежат две засаленных и с сильно загнутыми углами книжки. Двери заперты. Они играют в гальки. Двое парней, по четырнадцати лет, в синих штанах, белых рубахах, босые, недалеко от сидящих играют в кошки, то есть мечут правыми ногами жестяную пуговку с прикрепленным к ней клочком собачьей шкурки с шерстью. Они то и дело кружатся, разевают рты, ругаются, когда кошка не упала на ногу, и очень заняты своей игрой. Недалеко от них десятилетний

мальчик, тоже босой, в рубахе и штанах, около училища выделывает разные штуки мячиком, а другой в огромной теплой шапке, стоя около него и куря воронкообразную *попероску*, то и дело кричит:

— Сорвешься, Сенька! сорвешься! Через руку?.. Через ногу?.. Ну, на лбу сорвешься!!.

У южных дверей четверо ребят, в рубахах и подштанниках, жарят в бабки; у новой столярни двое дерутся.

Все эти ученики по виду нисколько не походят на учеников, но по обращению между ними можно в них заметить училищный дух, дух общительности и дружбы, на том основании, что они играют не в общей куче. Это даже заметно и из того, что вошел еще ученик во двор, в длинной, прорванной во многих местах, рубахе, с болячками на лице и с черными кудреватыми волосами, — и тотчас обратил на себя внимание.

— Кудряшка-мурашка, сколько виц получил? — сострил один из халатников.

— Собака! — сказал кудряш.

Халатник вскочил, подбежал к кудряшу и ударил его по спине, но кудряш вмиг повалил его на землю. К кудряшу подошли остальные приятели халатника и вцепились в него; остальные игроки и драчуны стали заступаться за кудряша; завязалась всеобщая драка, которую рознял сторож, вышедший из училища с метлой.

Ученики, числом до двадцати, повалили в училище и там продолжали те же игры, как и во дворе, с тою, впрочем, разницею, что игравшие в бабки теперь играли в карты и бабки; бабки лежали у каждого в картузе. Само собою разумеется, ребята голосили, немногие, переставшие играть, курили табак и задирали друг друга на драку.

— Курносов идет! — крикнул один парень, вошедший в училище со двора.

Ученики бросили игры, побежали на свои места, на скамейки; понемногу стихли, но потом заговорили опять и опять заиграли.

— Урок?! — крикнул один парень-халатник, подошедший к мальчику без халата. Тот заплакал.

Короче сказать, и здесь, в этой грязной школе, существовали между школьниками те же нравы, какие существуют в городах; но здесь они были доведены до того,

что ребята, страшась учителя больше всего на свете, боялись и старшего, спрашивающего уроки, потому что если ученику нечего дать старшему, то этот ученик непременно будет высечен.

Вошел Курносов и застал учеников врасплох, за играми.

— Смирно! лошади! — крикнул он.

Ученики встали. Один из них стал читать молитву. После молитвы все сели; сел и Курносов на свое место и начал перекликать учеников. Он пришел сегодня в училище с целию заняться добросовестно.

— Старший!

Встал старший.

— Подойди ко мне.

Старший подошел к столу. Курносов спросил его, что такое умножение; тот сказал:

— Умножение есть вычитание и деление.

— На колени на окно, лицом на улицу, — скомандовал Курносов.

Парень стоит, переминается с ноги на ногу.

— Розог хошь?!

Парень пошел к окну и ворчит: «безусый учитель! Курноско!»

— Петр Савич, он говорит: безусый Курноско, — сказал мальчик без халата.

Курносов промолчал. Мальчики стали шептаться, потом заговорили громко, захохотали. Можно было только понять: Курноско безусый...

— Тише! Всех передеру!!

— Сам драный!

— Жена усы обрезала! — галдят ребята, и старший сел на свое место и стал ругать учителя разными бранными словами.

Курносов потерял терпение и ушел в столярную.

— Шабаш? — спросил его рабочий, сидя на верстаке и обтесывая доску. В столярной было до десятка рабочих, из них кто закуривал трубки, кто работал, кто ел.

— Покурить пришел.

— А каково тебе женушка усы-то отчекрыжила! — сострил какой-то молодой рабочий.

Остроты сыпались на Курносова со всех сторон, но скоро кончились. Завязался разговор о казаке Девят-

кине, сломавшем вчера ногу, потом перешел к тому, что Иван Фомин вчера попался на глаза управляющего пьяный, но тот этого не заметил. Пришел казак из полиции, потом полицейский писарь, закурили трубки, заговорили о Девяткине, стали звать Курносова в кабак, но он пошел в училище.

В училище происходила драка.

— Ребята! Али вам не говорили, что старших нужно слушаться?

— Мы сами с усами, — сострил кто-то.

— То-то и есть, что ни у кого из вас нет усов-то.

Ученики переглянулись и улыбнулись.

— А что если мне усы жена или там кто другой обстриг, это дело не ваше. Вы должны то помнить, что я вам хочу принести пользу, хочу научить грамоте лаской, а не розгами. Давайте учиться. Хотите учиться?

Все молчат и смотрят на Курносова.

— Кто хочет учиться — встань налево, а не хочет — направо.

Направо отошел один халатник и семеро бесхалатников.

— Кто не хочет учиться, идите домой и скажите вашим родным: Курносов, мол, нас вытурил за то, что нам лень учиться.

Это была самая резкая мера, принятая за наказание Курносовым, не употребляющим розог. Исключенный из училища, как бы он ни был груб и глуп, исключался и из общества товарищей: его не принимали играть, его постоянно дразнили выгнанным из школы, и исключенный из училища, если он был сын бедного рабочего, посылался в работы на рудник безо всяких отговорок — такая уж почему-то была принята сыздавна мера начальством; если он был сын богатого рабочего, тот приводил его в полицию, немилосердно драл или прогонял из дома, конечно на неделю.

Исключенные ребята не трогались с места.

— Идите, коли грамоте знать не хотите, коли не хотите писарями быть.

— Хочу, — сказал один; за ним другой, наконец — все.

Затем последовало разрешение остаться.

Ребята молчали. Курносов стал объяснять сложение:

спросил бумаги; ее не было, поэтому он сходил сам за двумя листами бумаги в полицию; карандаши имелись. Курносов нескольким дал по осьмушке бумаги и, написав букву или слово, заставлял ребят писать. Ребята старательно выводили буквы, но недолго, потому что в училище не было тихо: двое твердили азы; трое твердили умножение, раскачиваясь, как маятник, от усердия; один читал по складам какую-то сказку, стоя перед Курносовым. Писаки начали толкать друг друга, стали играть в херики и оники. . . .

ГЛАВА XII

Успеньин день

Успеньин день — большой праздник в Таракановском заводе, во-первых, потому, что к этому дню таракановцы кончают со страдою, а во-вторых, в этот день, как и в первые три дня пасхи, нет работы ни на рудниках, ни на фабриках, ни в лесах. И после этого дня трое суток тоже работы нет нигде. Эта вольгота дана сыздавна, еще первым владельцем. Кроме того, в этот день в заводе разговенье и ярмарка, на которую съезжаются татары и крестьяне из окрестных деревень с кожей, лошадьми и тому подобными местными продуктами.

Канун праздника. Утро. Петр Савич топит баню, а жена его моет пол. На лице ее заметна и усталость и беспокойство. Думает она о том: даст ли ей Петр Савич денег на рыбный пирог, да и сумеет ли она состряпать его? Вот коровы нет; курочек завела христом богом парочку с петухом, уж одиннадцать яичек, слава те господи, накопила, пива и браги наварила много. Что бы это состряпать? Придут ли Глумов с женой завтра?

Изба вымыта, постланы в ней половики; глядит свет в окнах ясно, и в избе хорошо — и весело Прасковье Игнатьевне. Главное, Петр Савич не пьет и также весел; значит, и праздник хорошо встретится и проведется.

Где-то Петр Савич достал денег, купил соленого сига в два фунта по пять копеек за фунт, поросенка за двадцать копеек, масла и еще кое-чего. Не нарадуется она; соседки то и дело приходят к ней разузнать, чего она

купила, рассматривают поросенка, хвалят, спрашивают, почем на рынке то и другое, хотя сами хорошо это знают, потому что без рыбного пирога и поросенка какой праздник? А заходят они для того, чтобы пригласить к себе в гости на завтра — и пригласит ли их хозяйка к себе на завтра?

Суетня в заводе всеобщая: мужчины идут на площадь к конторе удостовериться: будет ли завтра угощение, то есть приготовлен ли огромный стол. Приготовлен. Женщины бегают чуть не сломя голову на рынке, кричат и ругаются; там достроивают балаганы, а там толпится праздная толпа у кабака. К вечеру все прибрались, выпарились в бане, надели чистое белье, полежали, походили из дома в дом; мужчины рано легли спать, а женщины и девицы где до утра, а где и до полночи не спали; у них много хлопот: то надо починить, то надо дошить, пригладить, приутюжить, примерить, посмотреться в зеркало, — и хотя все это старо, но хочется завтра себя показать не неряхой какой-нибудь, а исправной хозяйкой или красавицей девицей-невестой... Теперь только и дум: как-то проведется завтра праздник? Все невзгоды, накопившиеся за целый год, забылись.

Рано утром пробудились хозяйки; рано растолкали они дочерей и рано затопили печи. Ругают матери дочерей, ругаются сестры с сестрами, свекрови с невестками, и эта ругань идет все из-за стряпни: то не так, другое неладно, — и ругань пробуждает мужей, братьев, которые, обругав баб, переворачиваются на другой бок и снова засыпают на том основании, что сегодня не будет бить призывной колокол... Мало-помалу в избах раздается треск из печек, начинает пахнуть хорошо жареным и печеным. Стряпает и Прасковья Игнатьевна, а муж ее, помогая ей стряпать, то и дело дразнит ее:

— Не умеешь!

— Да отвяжись ты, чуча, прости господи! — сердится жена.

Курносов щиплет ее.

— Петька, свинья! Оболью щами-то.

Наконец печка у нее истоплена; в печке стоят горшок со щами, латка с поросенком и пекутся два пирога — один с рыбой, другой с малиной. Теперь на душе ее легко, и она вдруг присела, потом вскочила и, подойдя

к мужу, чистившему свой сюртук, обняла и крепко поцеловала его, так что тот испугался.

— Эк тебя! — сказал он.

— Как я, Петя, рада! О-ох, как рада!

— Чему?

— Всему.

— Да одевайся?!

Надела она подвенечное платье, на голову шелковую косынку, вдела в уши посеребренные медные сережки с янтарными язычками, на шею платок — все это продолжалось около часу, и в продолжение этого времени она успела вынуть из печи пироги и положить их на печь.

— Ишь ты, краля какая, Параша! — любуясь на жену, говорил Петр Савич, одетый тоже по-праздничному.

— Што ты!! — И Прасковья Игнатьевна кокетливо посмотрела в зеркало. Щеки ее покраснели.

— И ты, голубчик, тоже хорош. — Голос ее дрожал. Она подошла к мужу, обняла его и еще раз поцеловала.

— Славно, Петя! Всегда бы так. А?

— Да! — вздохнул Курносов.

Ударили к обедне. Курносов стал торопить жену, которая принесла из погреба два жбана: один с брагой, другой с пивом — и поставила их на стол, который предварительно накрыла синей скатертью, вытканною ею же.

Вышли. Идут рядом. На дворе тепло; солнышко так и греет. На небе нет ни одной тучки. Легкий ветерок слегка колеблет концы платка, надетого на шею Прасковьи Игнатьевны. Из ворот многих домов то и дело выходят нарядные женщины — в сарафанах, красных ситцевых платках на головах, девицы с распущенными назади косами, заплетенными в разноцветные ленты. Мужчины в черных и голубых тиковых халатах, опоясанных пониже поясницы разноцветными опоясками.

Со всех порядков и улиц народ стекается к собору; все принимает праздничный вид.

Кончилась обедня; народ хлынул из церкви; давка произошла необъяснимая... Но народ нейдет от церкви, а толпится на площади перед нею. Все чего-то ждут. Вот выходит из церкви все заводское начальство и управляющий. Мужчины сняли фуражки.

— Здорово, ребята! С праздником! — сказал управляющий.

Народ что-то прогудел.

— Выставить у конторы пять ведер водки на мой счет, — сказал он приказчику.

— Покорно благодарим! — гудел народ.

— Три дня гулять! — сказал управляющий и сошел с крыльца.

Невозможно описать, с каким ожесточением рабочие подступили к водке, потому что пришедшего раньше трудно было оттереть от даровой попойки, а всего народу было по крайней мере человек триста, и он постоянно прибывал. Многие даже дрались и от драки опрокинули столы с ведрами.

— Эй вы, анафемы! Што вы наделали! Добрались до даровой водки-то! — кричали стоявшие у столов, тузя и друга и недруга, во все стороны.

— Глядите, Гришка-то? — кричали рабочие, указывая на одного, который едва уплетал ноги.

Когда вся водка была выпита, народ разошелся по домам, где началось всеобщее угощение. Старшие в семействах угощали родню и друзей, не имеющих родни.

Завод загулял на славу. Загулял он потому, что его сегодня обласкали и подарили ему три дня свободы, а заводская свобода значит то, что в эти дни даже мелких воров прощают, в полицию не берут пьяных, народ может грубить начальству сколько хочет, — короче, все прощается, кроме крупных преступлений.

Если бы какой-нибудь новичок попал в это время на завод, у него бы закружилась голова: в домах пляска, пение, крик, ругань; на улицах идут полупьяные заводские бабы под руки с мужчинами и орут песни; танцуют молодые рабочие, играя на гармонийках и балалайках; другие танцуют с девицами, наряженными в лучшие платья, сшитые на заводский манер; полупьяные ребята скалят зубы, аркаются с большими и малыми, играют в мячик, в бабки, кувыркаются на чем попало. Велие веселие в заводе!

Вон у одного новенького дома в два окошка молодой мужчина, в красной ситцевой рубахе и синих изгребных штанах, босой, играет на балалайке «барыню»; около него танцуют три женщины и двое мужчин, — женщины

в сарафанах, сшитых по последней моде, а мужчины в таком же наряде, как и музыкант, с той только разницею, что у одного на голове фуражка с полукозырьком, а у другого на ногах надеты ботинки. Они так впились в танцы, что, кажется, всё свое горе забыли: хохочут, ругаются, насвистывают, прыгают что есть мочи и щелкают друг друга по носу, губам, спине и рукам. Долго на них любовался старик с седыми длинными волосами, безбородый, умный, как видно по лицу; старик улыбался и... вдруг пустился в пляс...

Молодые люди не удивились этому, а каждый из них хотел доказать старику отцу, тестю, что он, то есть молодой человек, не в пример лучше его танцует. У старика устали ноги, он чуть не задохся, а молодые люди танцуют; музыкант две струны порвал на балалайке и перестал играть, — танцы кончились.

Перед господским домом стоят двое рабочих. Один из них немного выпивши, а другой пьяный. Немного выпившего величают Хозяинов, а пьяного Екатеринбурцов.

. . . .

— Нет... Ты думаешь — я пьян! Э!! ты мне теперича представь работу, теперича... да я теперича всю работу сполна сроблю!! Теперича восемнадцать лет роблю... теперича в шахтах восемь лет ползал... Это што?! теперича... — говорил Екатеринбурцов, глядя на господский дом.

— Дядя! полно, голубчик... Полно. Хуже для нас ты сделаешь, — унимал его Хозяинов.

— Теперича справедливость де-е!! А!.. — он заскрежетал зубами и заплакал.

— Дядюшка! милый ты мой... Ну, перестань. Ведь поправимся.

— Поправимся?.. Веди меня к нему; веди! Я спрошу его: што, мол, теперича, ваше благородье, как, мол, теперича... Я ему покажу!

К ним шли четверо рабочих и кричали:

— А вот мы вытребуем ево... каково он теперича — пьян за наше здравие али еще...

— Стой, ребя!! — Я песню какую сейчас про нево сочинил... — И он запел грустно и во все горло.

Далеко за ночь раздавались по заводским улицам песни, которые не могли заглушить и собаки, слышались крики, ругань — и все это смолкло к утру.

На рынке утром происходила давка.

Торгаш обмерил кого-то на гнилом ситце. Это заметила девица, сказала своей родне. Вмиг явился на сцену аршин; смерили — неверно.

— В палицу! — кричит толпа.

— Што в палицу — протрясем его!

Торгаша трясут, взявши за руки и за ноги; народ останавливается и хохочет.

— Пихайте ему в рот ситец!

— Будешь обманывать?

— Ворочайте балаган!

— Потише, братцы! — унимает рабочих казак.

— Веди его в палицу!

— Не могу.

— Качайте казака!

И казака качают; народ хохочет. Но при этом никто и не думает что-нибудь украсть.

Кабаки во весь день пусты. Вечером народ повалил в господский сад. Там играла музыка, заезжие акробаты показывали фокусы; в двух местах продавали водку, в нескольких — кислые щи, которые пили преимущественно девицы, а если у мужчин были деньги, то они прикладывались и к водке. Все смеялись, весело разговаривали, острили, удивлялись акробатам. Стала менее светить луна. Вдруг народ повалил из сада: господский дом иллюминован; на пруду пароход свисток дал, певчие, в том числе и пьяный уже Курносов, садятся в шитик; готовятся пускать фейерверк... Народ столпился на плотине. Пруд оглашается криком, визгом, руганью, свистками и другими звуками; кое-кто играет на гармонийках, кое-кто поет, но голос обрывается... На плотине давка.

Вот тронулся пароход, заиграла на нем музыка: катается управляющий и все должностные люди завода; поплыла по пруду лодка с певчими, грянули певчие — «Вниз по матушке, по Волге...» И как они хорошо грянули!..

— Ай да хваты ребята!

— Слышите Курносов: «у-у-у»? Голосище!

Курносов действительно пел не в такт.

Вдруг что-то зажужжало. Все вздрогнули. Кверху полетел огонек и рассыпался звездами.

— Ай! а-ай! Черти! На ноги наступаете! — кричит народ.

Опять ракета, другая, третья... Вдруг ракета упала в народ. Крик, визг, ругань огласили воздух...

Наконец кончились ракеты, охрипли голоса певчих, пристал пароход к пристани. Народ разошелся по домам пьяный, за исключением ребят и девиц.

На другой день пьянство еще более усилилось. Курносов, получивший за вечернее пение пять рублей, и из-за стола выйти не мог. Гостей у Прасковьи Игнатьевны было много, и все ею остались очень довольны. На третий день Прасковья Игнатьевна с мужем отгащивала у Ивана Яковлевича Курносова и покороче сблизилась с его женою, Маремьяною Кириловною.

На четвертый день весь завод начал приходить в себя: у всех болят головы, надо идти на работу, опохмелиться многим не на что. Очнулись все.

— Што ж это такое было. Все ушло?

— Кануло. Жди год!

— А славное времечко было? И отчего это не вселды так!

Курносов пропьянствовал неделю и пропил все до последней копейки.

ГЛАВА XIII

Тяжелые дни

Прошло три месяца. В это время не произошло никаких перемен ни в жизни Курносовых, ни в жизни Глумовых. Курносов попрежнему рыбачил, пел, ходил в училище и контору; Прасковья Игнатьевна была счастлива, и соседки полюбили ее, как вообще любят молодую нечванливую хозяйку. Корову она не могла купить, потому что все деньги, приобретаемые Петром Савичем в качестве певчего от похорон и свадеб, шли на мясо, настоящий чай, к которому Петр Савич имел большую охоту и к которому Прасковья Игнатьевна мало-помалу привыкла. Но вот Петр Савич стал опять попивать и пропадал из дома по целым суткам. Это сильно беспокоило Прасковью Игнатьевну, тем более что она чувствовала себя беременною; она старалась всячески уговаривать

мужа, чтобы он не пил, упрашивала друзей его, чтобы они ради христа не давали ему водки; но Петр Савич трезвый говорил одно: развлеченья мне нет!

— Да какое же тебе развлеченье? ведь ты певчий.

— Рыбачить нельзя.

— Полно-ко, Петя! Неушто тебе непременно пьянствовать надо?

— Попала рюмка и пошел! Пакости меня бесят. А в училище зуб с зубом не сходится: стужа, угар...

И действительно, как попадет Петру Савичу рюмка, он почнет пьянствовать и играет с приятелями в карты, проигрывает деньги, так что нужно закладывать вещи или займовать, а тут и закладывать нечего стало, и в долг перестали давать. Так прошло до николина дня, а после него стала Прасковья Игнатьевна замечать, что Петр Савич и худеет и скучает; придет со службы домой и не раздеваясь ходит по избе. Она кушанье уже поставила на стол, а он все ходит да папироски-вертелки курит.

— Петр Савич?

Он молчит.

— Хочешь есть-то? — спросит она его шутя.

— Чево? Наплевать!

Очнется как будто Петр Савич, молча сядет за стол, молча и нехотя ест.

— У тебя ровно завязло што-то в роту-то. Али водки давно не пивал?

Он поморщится, сморкнется и ничего не ответит.

— В рабочие хочу идти, — сказал Курносов.

— Ну, так што!.. Я вон уж три пары варежок связала, авось, бог даст, и продам.

— Вот уж! а шерсти-то сколько издержала?.. Здесь не город.

После этого разговора Петр Савич скоро ушел, а немного погодя к ней пришла одна торговка, у которой она покупала мясо.

— Слышала новость: твой-то муженек с Машкой Баклушиной таскается.

Прасковья Игнатьевна побледнела и не могла выговорить.

— Не веришь? Хоть кого спроси.

— Уйди ты от меня. Это ты сдуру.

Торговка ушла.

Прасковья Игнатьевна думала, что этой бабе злые люди наврали по глупости такую нелепость, но как только станет она ласкаться к Петру Савичу, он отворачивается и злится.

— Петя, ты пошто ноне такой?

— Отстань! Фу ты... — крикнет Петр Савич.

Прасковья Игнатьевна заплачет, а Петр Савич уйдет и воротится домой пьяный, но не бьет и не ругает ее.

Опять горе стало душить Прасковью Игнатьевну: то она задумается, то заплачет; надо идти по воду, она идет к соседу, старику Занадворову, и как войдет к нему, плюнет и скажет: «Оказия! штой-то со мной деется...»

— Што, Петруха-то запил? — спросит ее Занадворов.

— Не знаю.

— Ну, да дело-то к празднику, молодой человек. Знамо, с горя.

Дело приближалось к масленице.

— Да денег нет.

— Ну, это другое дело. Советов-то слушать он только не любит. Рад бы я его на путь наставить, да с дураком и бог неволен. Ты бы в контору и к певчим сходила, к этому дураку-балагуру Потапову, и сказала: не давайте, мол, ему денег.

Сходила Прасковья Игнатьевна в контору, — сказали: он уж теперь не учитель, а што поет, так это только его охотка.

Сердце сжалось у Прасковьи Игнатьевны. Потапов сказал, что Петр Савич не послушался его советов не пить в школе водку; говорит: «Не могу, ребят в школе сколько, а возиться с ними холодно». Управляющему подал прошение о перемещении училища в другое место — прошение перехватили, а его уволили непременным работником и только за пение не посылают на работы.

Тон, с каким говорил все это Потапов, сильно не понравился Прасковье Игнатьевне, и она сожалела о том, что пришла к нему, а не к другому. Она даже думала, что он издевается над Петром Савичем, и не хотела верить ни одному его слову.

Наступила масленица; первый день Петр Савич провел дома и жаловался жене, что его обидели. Потапов верно говорил об обстоятельстве, служившем поводом

к увольнению Петра Савича от учительской должности. Слушая его слова, Прасковья Игнатьевна обнимала его и плакала.

Два дня Петр Савич пробыл дома, потом его пригласили на похороны — и исчез Петр Савич. Сосед Занадворов тоже закатился куда-то, и пошла Прасковья Игнатьевна разыскивать своего мужа.

По случаю масленицы большинство рабочих не работает; начальство кутит в это время и раскучивается в пятницу, когда на фабрики и на рудники ни одну собаку не загонишь, да и сторожа там тоже не живут. Короче — с пятницы до чистого понедельника в заводе пьянство всеобщее; об катаньях и говорить нечего; даже сам управляющий поощряет катушку (гору, сделанную на пруду), освещает ее фонарями вечером и заставляет музыкантов потешать публику.

Несмотря на то, что на пруду есть катушка, в редком дворе нет своей катушки; в редком дворе с утра до вечера не катаются ребята на санях, на лубках или просто на штанах. Однако до обеда на улицах редко-редко проедет рабочий на дровнях, только во дворах хохочут ребята.

В одном из таких дворов, около растворенных ворот, стояли две молодых женщины; одна из них жаловалась другой на своего мужа. Увидев Прасковью Игнатьевну, одна женщина остановила ее:

— Постойко-сь, Курносиха! ты не слыхала новость?

— Ну?

— Вчера твой-то муженек с Санькой Подковыркиной кораблем катался!

— Это што! он говорит — мне теперь все одно... Жену, говорит, жалко трогать, потому — убивается оченно.

Прасковья Игнатьевна ничего не могла сказать на это: в глазах ее рябило, в голове была путаница.

— Какая, ты злосчастная. Сходи в палицу.

Прасковья Игнатьевна решилась идти в полицию. Она проведала тетку, дала ей блинов, тетка поблагодарила ее, порасспросила про мужа. Это ее еще больше расстроило.

Небо ясно; солнышко весело глядит. Холодно, дует с пруда резкий ветерок. По фабричной улице, вперед

и взад, точно плывут сани, пошевни, кошевы, запряженные каждые по одной лошади, которые изукрашены для праздника бубенчиками, колокольчиками, сковородками. В каждых санях, пошевнях, в кошевах сидят люди обоих полов и разных возрастов. Мужчины почти все пьяны, женщины полупьяны, сидят в различных позах, в различных костюмах, некоторые без шапок, некоторые без платков, многие играют на гармонийках, балалайках, поют песни. Перейти дорогу невозможно. Прасковья Игнатьевна пошла к катушке. Кое-как Прасковья Игнатьевна добралась до господской улицы. Там, впереди плывущих саней и пошевней, стоят, толкутся, идут люди всяких возрастов, а впереди их едет *масленица.* В небольшой кошеве, запряженной в одну лошадь, сидит человек десять мужчин, которые держат высокий шест с развевающимися флагами; от верхушки этого шеста тянутся к углам кошевы веревки, почему шест походит на мачту, а сама кошева называется *кораблем.* В середине кошевы сидит нарядный человек на колесе. Он и сидящие в кошеве конюхи (рабочие конных машин на рудниках) поют следующую песню:

По горенке похожу,
В окошечко погляжу *(два раза),*
С по-миленьким потужу!
Тужит-плачет девица *(два раза),*
Уливается слезами.
Залила любезная *(два раза)*
Все дорожки и лужки,
Круты славны бережки *(два раза).*
С бережку, с по-камешку
Бежит речка, не шумит
И с по-камешку не гремит! *(два раза)*
Во саду, во садике
Соловей громко поет *(два раза)*;
Ты не пой, соловеюшко,
Громко-звонко во саду! *(два раза)*
Не давай назолушку
К сердечку моему! *(два раза)*
Без тово мое сердечко
Изнывает все во мне *(два раза):*
На чужой сторонушке
Стосковалась живучи *(два раза);*
Чужая сторонушка
Без ветра сушит-крушит! *(два раза)*
Чужое-т отец и мать
Без вины журят, бранят *(два раза),*

Всё побить девку хотят!
Посылают девицу *(два раза)*
На ключ по воду с ведром,
По морозу босиком! *(два раза)*
Прищипало ноженьки,
До ключика идучи *(два раза)*;
Ознобила рученьки,
Свежу воду черпучи! *(два раза)*
Кабы знала-ведала,
Девка замуж не пошла *(два раза)*
За старого старика:
Старой не отпустит никуда! *(два раза)*

Эту песню пела теперь вся гуляющая и едущая заводская публика.

Подъехала масленица к господскому дому, остановилась, снова запели песню. Из дома управляющего вышла прислуга, потом расфранченный лакей поднес масленице, то есть расфранченному рабочему, председательствующему на колесе, трехрублевую бумажку и сказал:

— Карл Иваныч приказал гулять за его здоровье.

— Мы здоровы, как коровы!

— Побольше бы давал! .. Скажи ему поклон от масленицы, — галдили рабочие, и масленица тронулась на плотину.

Прасковья Игнатьевна пошла на пруд к катушке. Посредине пруда сделана большая высокая гора, обставленная елками, разукрашенная флагами на господский счет. По ней катались на санках с стальными полозьями и на коньках ребята, молодые люди; было даже два старика охотников до катанья; а вокруг нее медленно двигались сани, пошевни, наполненные людьми, и толпилось много народу, который щелкал мелкие кедровые орехи. Все катающиеся, гуляющие и смотревшие стоя на катающихся были очень веселы, пели, кричали, хохотали, если кто-нибудь перевертывался на катушке и раскраивал себе нос или губу. Версты за полторы от катушки, налево, шла потеха ребят: они с ожесточением дрались, и на эту буйную толпу с удовольствием смотрели несколько человек рабочих.

Походила Прасковья Игнатьевна несколько времени, горько ей; молодые мужчины то и дело приглашают ее прокатиться, а она спрашивает: где Курносов? Ей отвечают: у Савки в лавке...

Пошла; глядит в разные стороны. «Нет, не найдешь;

народу видимо-невидимо...» Вдруг видит: народ валит от катушки в одну сторону, народ хохочет, кричит: «Хорошенько! так ево! ево выстегать бы!.. Кто это?» — «Курносов Аристархова бьет». — «Увели в полицию». — «Ково?» — «Курносова».

«Экая я несчастная!» — думает Прасковья Игнатьевна и идет домой.

На другой день она отправилась к исправницкому письмоводителю.

Письмоводителем таракановского заводского исправника в это время был урядник горного правления Иван Иваныч Косой. Сам исправник хотя и смыслил следственную часть, но мало занимался делами, потому что честно производить следствия нельзя было. Например: накуролесит много приказчик — ничего не будет приказчику, стоит только подарить исправника; представят к исправнику рабочего с полосой железа — и рабочий, по следствию, оказывается большим вором; если же рабочий сам не промах или заподозрится состоятельный человек, то дело составится так, что в нем виноватого никого не найдено. Если бы исправник был человек честный, такой, каких требовал закон, то ему не прожить бы в заводе ни одного месяца: его бы обвинили во взятках. Поэтому исправник брался только за самые крупные дела, а остальное сваливал на письмоводителя, который сам писал допросы и показания, часто подписывался под руку исправника и даже так ловко вел дела, что о многих исправник вовсе не знал. На этом основании Косого знали больше исправника, и все обращались сперва к нему, а уж потом к исправнику, который, в свою очередь, отсылал к письмоводителю, — и проч. и проч.

Косой, человек лет тридцати, краснощекий, с коротенькими волосами и в форменном сюртуке, отбирал допросы от одного рабочего.

— Ты не рядись.

Рабочий достал из-за пазухи кошель, достал из кошеля неохотно трехрублевую и подал письмоводителю.

— Э-э!

— Ослобони, Иван Иваныч... сам знашь, дело торговое... по насетке (по наговору).

— Ничего не могу сделать: Яковлев подарил лошадь управляющему.

Письмоводитель стал писать, потом, немного погодя, спросил рабочего:

— Подпишешься?

— Прочитать бы.

— Это еще что?.. Эдак всякий будет читать, — у меня времени не хватит. Подписывай.

Рабочий подписался.

— Андреев! — крикнул Косой.

Вошел десятник.

— Запри.

— Батюшко, Иван Иванович...

— Ну-ну!

Рабочего увели. Вошла Прасковья Игнатьевна, низко поклонилась письмоводителю.

— Ты што?

— Ослобони Петра Савича.

— Кто он? чей?

— Курносов.

— В лазарете!

Пошла Прасковья Игнатьевна в лазарет. Это было большое каменное здание, находящееся за фабриками. В нем было две половины: черная и белая. В черной помещались непременные работники и их жены, а в белой — мастеровые. Курносов лежал в белой. Прасковья Игнатьевна едва узнала своего мужа: он лежал в сером халате, лицо изменилось, пожелтело, нос сделался вострым... При виде жены он что-то пробормотал и пригласил ее рукою сесть на кровать.

Она села.

— Петя? голубчик... — говорила, рыдая, Прасковья Игнатьевна; сердце ее словно на части разрывалось.

Но Петр Савич только руками разводил.

Просидела Прасковья Игнатьевна у больного с час и пошла.

— Вылечите его, ради христа, — говорила она фельдшеру.

— Вылечим, — утешал ее фельдшер.

Вышла она из лазарета, ее пошатывает; она плачет.

— Господи, какая я несчастная!

— Што у те, али кто помер? — спросил ее мастеровой.

— Ой, муж хворает!

— Эко дело. Уповай на бога.

Отошла Прасковья Игнатьевна немного, остановилась и не знает, что ей делать. Домой идти страшно. Ноги отказываются тащить; живот болит сильно. «Пойду я к ворожее Бездоновой... спрошу ее...» — и отправилась она к Бездоновой, жившей за лазаретом, в фабричном порядке.

ГЛАВА XIV

Много горя для Прасковьи Игнатьевны

Марфа Потаповна Бездонова жила на самом краю завода, под горой. Дом ее старый, стены кое-как поддерживаются подпорами, и не защищай его гора и противоположные дома от ветра, он давно бы рухнул на которую-нибудь сторону. К этому дому даже заплота нет: заплот был, да понемногу рассыпался, а строить новый Бездонова, говорят, не считала за нужное. Говорят, что на предложение построить заплот она имеет такое свое мнение: построю — помру. Но у нее было, тоже опять-таки говорят, на это несколько причин, и из них самая важная: через ее двор ходили к внуку ее, Корчагину, беглые рабочие, которые приносили ему будто бы золото.

В избе Бездоновой темно и не было никого. Прасковья Игнатьевна кое-как дошла до лавки и села к окну. Она не видывала Бездоновой и думала теперь: как я буду разговаривать с ней, не видавши ее; как да она начнет ругаться... Немного погодя в избу вошла сгорбившаяся старуха с белым морщинистым лицом и седыми волосами. Она кряхтела и охала; казалось, что она утомилась. Прасковья Игнатьевна встала.

— Здорово, баушка, — сказала она.

— А кто тут? темно, не вижу.

— Это я.

— А кто ты?

Старуха подошла близко к ней, стала разглядывать ее.

— Видала. Не ты ли учительша-то?

— Да.

— Вот какая ты!.. А... Ну, садись... Слыхала я, мать моя, о тебе много... Здоров ли Курносов-то?

Прасковья Игнатьевна заплакала.

— Голубка!! — сказала старуха.

Когда Прасковья Игнатьевна успокоилась немного, старуха спросила ее.

— А ты не беременна ли?

— Ой, не могу! Беременна я, баушка.

— Ну, так пойдем. Я те ко внуку сведу.

Кое-как Прасковья Игнатьевна доплелась до дома Корчагина, кое-как она взлезла на полати, а как взлезла, так и почувствовала страшную боль.

Она выкинула мертвого младенца и не могла прийти в себя часа три.

Марфа Потаповна Бездонова много пережила и времени и людей — и много перенесла горя; другие женщины в ее лета забывают многое из пережитого, но она все помнит. Замуж она вышла не рано, но через полгода муж утонул. Другой муж попался чахоточный и тоже скоро умер; только с третьим мужем она прожила двадцать лет и прижила с ним двух сыновей и одну дочь. Но она и сыновей пережила и теперь живет в избе второго мужа, а в доме третьего мужа, находящемся рядом с ее избой, живет дочь — Акулина Васильевна Корчагина, слепая женщина, с сыном Васильем Васильевичем и дочерью Варварой Васильевной. А так как Марфа Потаповна жила в своей избушке одна, да еще на отбойном месте, у горы, то слободчане поговаривали, что она непременно с чертями водится. На это у них было несколько оснований, например — то, что ее в Козьем Болоте не видали уже годов с семь, а в фабричном порядке она к очень немногим ходила; потом Марфа Потаповна еще при первом муже ворожила. Надо заметить, что в Таракановском заводе не было и нет ни одной девушки, которая бы не ворожила бы в карты и не гадала на олове во время святок. Сначала Марфа Потаповна ворожила в карты ради баловства, ребятам, а потом ворожба у нее вошла в привычку, в прибыль. После смерти последнего мужа она была уже известна всем в заводе за отличную ворожею, и к ней приходили не только дети, жены рабочих, но даже сама приказчица и дочери членов главной конторы. Когда у Бездоновой измозолились карты до того, что ни на что не годились, то она никак не хотела покупать новых карт и стала гадать на воде. Уж бог ее знает, что она клала в воду, только приходившие к ней женщины говорили, что они видели в воде то лицо, то дом

или что-нибудь вроде этого. Оттого-то никто в заводе не пользовался такой доверенностью, как она, и никто не имел столько богатых материалов для рассказов, как она; только от нее трудно было выклянчить какое-нибудь слово.

С годами, говорят, меняется в человеке и наружность и характер. Марфа Потаповна, после смерти последнего мужа, значительно изменилась и наружностью и характером. К суровой наружности нужно прибавить еще грубый выговор. Прежде ее можно было застать всегда дома утром, а теперь, как ни придешь, почти всегда у нее избушка на клюшке. И вот к названью колдуньи прибавили еще *векша,* и все люди, от мала до велика, в заводе стали говорить: «Бездонова вчера из трубы векшей вылетела; Бездонова из брюха ребят таскает». Бездонову стали бояться; стали ходить к ней только люди самые храбрые. Бездонова это знала, но, не обращая внимания, говорила одно: «Дуры... мне и на спокой пора, я и без ваших денег прокормлюсь». А у нее деньги были в подполье, в корчаге, и об этом знали только внук и внучка.

Когда Прасковья Игнатьевна пришла в себя, то не могла понять, где она теперь: темно, тепло, мокро.

— Баушка! — произнесла она негромко, но никто не откликнулся. Кликнула она еще раз.

— Што, дитятко? — откликнулась старуха и прибавила: — да ты не кричи!

— Я где?

— Спи-ко со Христом...

— Пошто мне больно?.. неужто я...

— Ты выкинула.

— Кого?

— Мертвого.

Прасковью Игнатьевну словно кольнуло в сердце, по коже прошли мурашки. Ей не верилось, чтобы она могла родить мертвого, ей даже подумалось: ведь она колдунья; съела, поди. — Старуха отворила двери, холод полосам поднимался с полу, в избе стало холодно. Однако старуха пришла скоро, зажгла лучину. Прасковья Игнатьевна приподняла голову и увидела, что изба Корчагина была гораздо больше ее избы и перегорожена надвое: тотчас, как войти в избу, налево, против

печки, — перегородка, выкрашенная желтой краской. Она упирается в полати и идет вплоть до передней стены, так что в кухне собственно одно окно, а в комнате два окна на улицу да третье во двор. На печи лежит дочь Бездоновой, женщина с седыми волосами, с морщинистым лицом. Сестра Корчагина, Варвара Васильевна, сидя у окна, прядет; в комнатке Василий Васильевич строгает доски. Там, в углу между перегородкой и стеной на двор, стоит кровать с войлоком и подушкой на ней; под кроватью сундук, окрашенный красной краской.

Прасковья Игнатьевна пролежала долго; скучно, а в избе никто не говорит, только Василий Васильевич то стружит что-то, то стучит, насвистывая или напевая вполголоса, или ворчит про себя. Соснула она; опять темно, а в избе Корчагин шепчется с сестрой.

— Ну, што?

— Бросил.

— Никто не видал?

— Нет... А увидели бы, так тоже бы присудили: куды с ним, с мертвым.

— Ее бы надо прогнать, штобы опосля ловчее было отпереться.

Прасковья Игнатьевна не поняла этого разговора, но когда она спросила, где мертвый младенец, ей сказали, что похоронили его.

На третий день она слезла с полатей и стала проситься домой, но ее не пустил Корчагин, говоря, что он, уважая Петра Савича, ни за что не отпустит ее. Когда же она сказала, что ей надо проведать его, то Корчагин с удовольствием вызвался сходить к нему. Но в этот день ему не удалось сходить, и он пошел на другой. Прасковья Игнатьевна с нетерпением ожидала его прихода. Пришел он расстроенный, бледный.

— Кланяется, — сказал он.

— Жив ли?

— Поправляется.

Но через час Корчагин ушел и воротился домой навеселе. На другой день ушел из дома рано, сказав, что надо с одного торгаша получить старый долг. Пришел он поздно, тоже навеселе... Курносов помер от тифа и боли в горле, но Корчагин успел заказать всем не говорить об этом его жене, чтобы не убить и ее. Марфа Потаповна

приняла все меры, чтобы Прасковья Игнатьевна пожила у Корчагина подольше и исподтишка приготовилась к такому роковому известию.

В пять дней Прасковья Игнатьевна поправилась настолько, что могла слезать свободно с полатей и ходить. Акулина Васильевна разговаривала с ней с удовольствием; Корчагин хотя и редко отвечал на ее слова, но зато он работал; сестра его куда-то уходила на сутки, и когда приходила домой, то брат косо глядел на нее. Прасковья Игнатьевна теперь уже меньше чувствовала горя. Ей казалось, что она несчастная женщина, но несчастна через Курносова. «И што он за человек, коли пьет, коли мне коровы не мог купить». Но ей все-таки жалко было его, и она каждый день просила Корчагина сходить в больницу справиться: здоров ли он. На шестой день она попросила Корчагина опять об этом, но он промолчал. Она смотрит на него: он посвистывает, а на улице метель. Не терпится ей.

— Василий Васильич!

— Ну! — взъелся Корчагин.

— Сходи, ради христа.

— Некогда мне ходить!

— Так я пойду.

Корчагин молчит.

«Экой какой злой! а работа-то как кипит у него... Ишь, как он пилой-то ширкает скоро! ..» Долго глядела она на Корчагина, завидно ей стало. «Вот, — думала она: — как бы Петька-пьюга так робил! И табак он не курит и завсегда трезвый...»

Отец Корчагина был плотник и кое-чему обучил сына. На восемнадцатом году он уже зарабатывал деньги дома и мог нанимать вместо себя рабочего на фабрику, а за даровую работу заводскому приказчику его причислили к разряду мастеров. Таких хороших мастеров, как Корчагин, в заводе было немного, и он получал большие заказы, но работал один, потому что считал неприличным для себя иметь работников; он не жил в другом порядке, потому что привык к родному гнездышку, к соседям, к тишине, — тут была еще и другая причина, о которой мы узнаем впоследствии. Здесь ему никто не завидовал, и он во всем заводе считался за честного и рассудительного человека.

— Послушай, Прасковья Игнатьевна: и што тебе за охота ходить в лазарет? Помрет — так не важность, — проговорил вдруг Корчагин.

— Ишь ты, помрет!

— Хороша жизнь с пьяницей?

— И не грех тебе обижать меня.

— Чево грех! я дело говорю. Помрет — не важность. Только надо не зря замуж выходить, как ты... А впрочем — ведь приказный... как же!

Задумалась над этими словами Прасковья Игнатьевна, и горько ей, что про ее мужа так говорят, но она почти согласилась с этими словами. «Уж не лучше ли ему помереть, што ли! Не мучился бы... Право».

— Я домой пойду, — говорит она.

— Как знаешь. Если бы ты померла, а то хворать будешь, — говорит ей Корчагин.

Прожила она в гостях еще два дня. На третий день вечером пришли к Корчагину двое рабочих. Они были таракановские, но находились в бегах, работали на золотых приисках.

— Долгонько! — сказал Корчагин весело.

— Ну уж и времена ноне! нигде нет счастья: везде билеты спрашивают, а в городке и без нас много народу. Этта на большой дороге сцапали было нас, да мы утекли.

— Ну, как на промыслах?

— Да што! с месяц робили, заместо крестьян нас считали. Так-ту ватага у нас большая — человек, почитай, пятьдесят, да порядку мало; всяк норовит себе карман набить. Ну, да это пустое, а то вот обидно: заставят работать, да потом шею намылят, — иди, значит, туда, отколе пришел. А кои знают, што беглой, — молчи! представим... Ну, и робишь, как крот. Теперь мы золото сами искали. Придешь к управителю и говоришь: так и так, крестьянин... Знаю, говорит... Ну, говорю: хочу золото искать, почем положишь, ваше благородье? А ты, говорит, представь перво, тогда и положу. Хошь, говорит, по рублю за золотник — а сам от казны, говорят, три рубля за это получает; ну, и срядишься за рубль семьдесят... Получишь кружку с печатью и пойдешь золота искать, выспрашивать у крестьян: нет ли крупки, — или обманешь как ни на есть. Ну, получишь золота там с фунт,

жалко попускаться, да владеть нельзя. Принесешь к управителю, он и рассчитывает по рублю, а спорить станешь, — обыщу, говорит, в палицу посажу и бумагу, говорит, такую дам, што ты никакой работы боле не получишь. . . Ну, и возьмешь по рублю, потому расчет самому нужно сделать с крестьянами да товарищами. . . А потом уж управитель так делает: возьмет в книге и напишет расход: такому-то дано за золото по три рубля, а не то, чтобы начальству угодить, и по два с полтиной напишет. Ему, глядишь, и повышенье, а нам посрамленье.

Стали ужинать.

— А ты, Василий Васильич, не слыхал про волю?

— Про какую?

— В городе были, так там рабочие калякают, только ничего тут не поймешь.

— Пропишут ужо вам волю!

— Истинным богом, говорят: дадут нам такую волю, што на все четыре стороны хоть ступай.

Корчагин захохотал, гости осердились и ушли спать к старухе Бездоновой, отдав Корчагину какой-то сверток.

Утром, прощаясь с Корчагиным, они советовали Прасковье Игнатьевне ехать в город.

— Вам, бабам, ничего: с вас билетов мало спрашивают, а если и спросят, то можно сказать: потеряла, мол. Да и баб разных в городе много, поэтому и вашей братьи там много требуется. Иная барыня сама гроша не стоит, а прислуги у ней бабьей штуки три али больше.

Утром, после этого разговора, Корчагин спросил Прасковью Игнатьевну:

— Тебе который год?

— Мне? . . летом двадцатый пойдет. А што?

— Так. Я тебе тоже советую в город ехать; у меня там есть купец Бакин, я к нему поеду скоро, а если у него нет для тебя места, так у меня там богатые и первостатейные мастера есть. Только ты баба красивая.

— А муж-то?

— Коли он не будет пить, приедет к тебе.

— Ну уж.

Прасковья Игнатьевна обиделась и решилась завтра же отправиться домой.

Когда она пошла, то в ноги поклонилась Бездоновой и Корчагину.

— Коли в город намерена, то приходи, я через две недели еду. И дядя твой едет со мной...

На улице тепло. Солнышко то застилается тучами, то выглядывает снова туманным кружком. Кое-где из труб поднимается серый дым, доказывающий, что в этих домах печки еще истапливаются. Кое-где покажется на краешке трубы сорока, воробышек, посидят, поклюются и летят снова. С крыш каплет, на солнечной стороне со стекол спалзывают все ниже и ниже куржаки, и падают на снег с крыш и рам сосульки.

По улице никто не едет; во дворах кое-где кричат ребята, гогочут курицы, мяукают кошки.

Ноги у Прасковьи Игнатьевны начинает щипать, потому в худые ботинки попадает мокрый снег, подол сарафана вымок до колен.

Дошла она до своего дома и ужаснулась. Три стекла выбито, калитка настежь. Во дворе нет ни дров, ни саней, ни дровен.

Двери в погреб тоже отворены, в погребу точно Мамай воевал: горшки, корчаги перебиты, откуда-то кирпичи принесены. В сенях хоть шаром покати. Дверь в избу отворена, и половинка держится на одном нижнем шалнере; стол опрокинут посреди избы; в избе стужа.

— Што за оказия! — удивлялась Прасковья Игнатьевна.

Взглянула на печь, там сидит парень лет тринадцати и палкой ковыряет дыру в трубе.

— Што ты тут, разбойник, делаешь! — крикнула на парня Прасковья Игнатьевна; парень ей язык показал. Она стала искать, чем бы ей побить парня, да ничего не нашла. Ступила она на приступок печки, парень ударил ее по руке палкой и сказал: «Куда лезешь, шкура! дом-от наш!»

Парень кое-как ушел, грозясь, что он тятьке и мамке пожалуется на нее. Смела она руками снег со скамеек, поискала топора, чтобы порубить что-нибудь на дрова. Нет.

— Где же мамонька?

Пошла в огород, следы есть, только давнишние. Не в бане ли она? Оттолкнула она окошечко, имеющее вид отдушины; в бане все-таки темно, от окошка к полку проходит луч света. Пощупать стены и полок боязно, потому что вдруг старуха может схватить ее и изгрызть. Машинально вышла она за баню, подошла к яме, которую дядя ее прошлое лето копал на завалины к дому, и вскрикнула. Там лежала ее мать вниз головой.

— Мамонька! — крикнула она и, не получив ответа, потащила мать за ноги; но не могла сдвинуть ее.

Не помня себя, она убежала к соседке и сказала, что мать ее упала в яму.

— Где ты была-то?! Ведь муж-то помер, а она по людям шатается.

— А штоб те язвело, проклятую! — крикнула она и выбежала из избы.

Прасковью Игнатьевну это известие до того поразило, что она не могла устоять и села на лавку, потом зарыдала.

Соседка испугалась за нее, позвала еще соседку.

— Ой! ой! господи! мать пресвятая богородица! — рыдала Прасковья Игнатьевна.

Кое-как соседки уняли ее рыдания рассуждением, что чему быть, того не миновать: все мы под богом ходим.

Мало-помалу Прасковья Игнатьевна успокоилась, сказала, что она была все это время у Бездоновой и на другой день после того, как была в лазарете у мужа, выкинула мертвого. Соседки жалели ее, но, как опытные женщины, советовали ей не убиваться; что, пожалуй, она замужеством немного выиграла, потому что вон Семен Покидкин за долги Курносова думает дом у Прасковьи Игнатьевны отнимать.

Прасковья Игнатьевна только плакала. Она ничего не могла теперь придумать хорошего. Сообщила она о смерти матери. Сходили соседки в огород Глумовых, потужили, покачали головами и ушли, не зная, что делать.

— Дяде бы надо сказать, — сказала Прасковья Игнатьевна соседке.

Она не могла идти.

Глумов приехал в санях, старуху вытащили из ямы, принесли в комнату, обмыли, положили на стол.

Через день ее похоронили рядом с Петром Савичем.

Прасковье Игнатьевне страшно казалось жить в отцовском доме, и она пошла к Глумову и две недели пролежала в горячке.

ГЛАВА XV

Что тогда происходило в Таракановском заводе

Жизнь таракановских обывателей текла обычным, медленным ходом... Что было сегодня, то будет завтра — и т. д. Но и заросшее тинистое болото не всегда имеет ровную поверхность, и его волнуют ветры и непогоды. Наши таракановцы имели также свои бури. Невозмутимая их жизнь порою возмущалась разными из ряду выходящими событиями.

Избегая повторений, я постараюсь покороче изложить сущность дела.

Читатели уже знают, что заводскими делами заправлял приказчик с подначальными ему должностными людьми, подобно тому, как это и везде водится. Все они были из крепостных. Настоящего приказчика Таракановского завода зовут Анфиногеном Степанычем Переплетчиковым. Он был сын штейгера, и потому его в детстве на работы не требовали, а ему было дано приличное для сына должностного человека образование. Сначала он обучался в заводской школе и учился очень прилежно, несмотря на то, что учителя о науках смыслили столько же, сколько и заводские ребята, служили заводу для того, чтобы скопить денежки на черный день, и мучили ребят хуже любой бурсы; несмотря на самоуправство наставников, которые могли и не приходить иной раз в школу на том основании, что управляющий считал низостью заглянуть туда, маленький Переплетчиков заучил все, что преподавалось по книжкам; мало этого, у него своего разума настолько хватало, что он учителей взял в руки, то есть придет учитель пьяный, он подговорит ребят кричать, свистеть, — и все-таки был *старшим,* то есть мог сам заменять в училище должность учителей в их отсутствие. — Потом он кончил курс в уездном училище на заводский счет. Таракановские владельцы заботились об образовании своих крепостных. А потом

он занимался делами у таракановского поверенного. Девятнадцати лет он знал очень много, то есть знал все плутни, через которые он прошел, и даже проводил поверенного, плута из плутов.

Как образованного человека, его назвали мастером, то есть человеком свободным от работ, что-то вроде чиновника, и назначили казначеем главной конторы. Должность эта состояла в том, что он записывал на приход деньги, получаемые из разных мест за металлы, выписывал в расход суммы по предписаниям; кроме этого, на его обязанности было выдавать рабочим заработную плату по правилам, установленным *законом и владельцами*. В его время денежные дела были очень запутаны, но он постарался запутать их еще больше. Во-первых, подрядчики по провианту жаловались главному начальнику, что им недодают столько-то денег; по отчетам заводоуправления значилось, что подрядчики перебрали, а к концу исправления им должности казначея заводоуправление оставалось должно подрядчикам несколько тысяч. Во-вторых, соседние заводоуправления жаловались на порубку их лесов таракановцами, заводили спорные дела о землях; таракановское заводоуправление, зная, что тут балуются управляющие, мирились с ними деньгами; а по милости Переплетчикова вдруг завелись спорные дела о землях таракановского заводоуправления с палатой имуществ, — тогда, когда соседние заводские земли за долги перешли в казну... В-третьих, большая часть суммы, следующей за металлы, хранилась в кредитных учреждениях, но это был долг казне; в заводе были свои деньги, но не гласные: их получали, продавая металлы на нижегородской ярмарке; другой способ приобретения негласных сумм был не менее остроумен: металлы тонули в реках, а потом утопленники продавались купцам, и об этом знали казначей, приказчики и управляющий; другим же посторонним лицам знать не полагалось. Под залог земель брались из казны суммы, которые редко отсылались владельцам: они поступали в завод на закупку провианта или другие экономические надобности. Владельцы тратили в год сотни тысяч, но в заводе выходило в пять раз больше; владельцам посылались краткие отчеты, но запросов от них, что много выходит денег, никогда не было. В-четвертых, провианту

закупалось в год тысяч на сто, а люди съедали только на тридцать; по отчетам значилось, что рабочим выдано платы тридцать тысяч, а рабочие говорили, что выдано в год не больше трех тысяч... и проч.

Как видит читатель, должность Переплетчикова была прибыльная, но ему хотелось другой должности, потому, во-первых, — много дела, во-вторых, в последнее время его службы ему пришлось получать выговоры от управляющего *за беспечность;* приказчик говорил ему в глаза, что он первый вор, а рабочие терпеть его не могли и сложили про него такую песню:

И да казначе-ет Переплетчиков
Объегорил всех начальников;
И вот скоро-де не барин наш,
А казначей-злодей,
Сам совестный лиходей, —
Владеть заводом станет — и т. д.

Поступил Переплетчиков караванным смотрителем, то есть следовал с таракановскими металлами, которые сплавлялись в количестве до тридцати пяти барок. Жизнь хорошая: на пристанях ходи от барки к барке, распоряжайся, заставляй бурлаков песни петь и плясать, пей, ешь и спи сколько хочешь. Но дело не в этом. В каждом караване каждый год разбивало барки от быстроты и каменистого дна реки, которая, несмотря на разливы, была мелка; случались эти оказии и с Переплетчиковым караваном, но редко, потому что он лоцманов под суд отдавал за то, что они по ночам слепли, то есть не могли совладать с барками. Тонула одна или две барки, а он писал больше, — и делал так ловко, что утонувшие поступали в его пользу. Заводоуправление знало об этом и получало от него барыши. За хорошее усердие Переплетчикова сделали приказчиком. До него было два приказчика: один по распорядительной части, другой по хозяйственной; он же обе должности сосредоточил в себе. Приказчик — помощник управляющему. Управляющий хотел, приказчик исполнял. Но в большинстве случаев приказчик заправлял делами владельцев, потому что управляющий ничего не знал и Переплетчиков водил его на помочах. К управляющему народ не допускался, управляющего народ видал редко; к приказчику мог

являться всякий, он был как отец. У Переплетчикова были свои любимые мастера, нарядчики, штейгера, игравшие, в свою очередь, роль в заводе.

Здесь кстати пояснить три пункта, упомянутых при описании личности казначея.

В заводе был какой-нибудь купец, который закупал у крестьян муку и заключал с заводоуправлением условия. Мука принималась, но оказывалась ненадлежащей доброты и была с песком. Если купец не хотел брать муку обратно, то ему не выдавали денег, и заводоуправление покупало муку у приказчика, казначея и смотрителя магазинов за дорогую цену, причем рабочим, вследствие дороговизны, выдавали половинное количество муки.

Таракановское заводоуправление вело торговлю лесом, строило из него барки и другие вещи, что в отчетах не показывалось; лесу было мало; рабочим его выдавали за деньги, то есть нужно было подарить. Поэтому рабочие рубили его воровски, выжигали по двадцать верст в год, для того что им дозволяли рубить пальник; пламя переходило в чужие леса, которые также рубили таракановцы; истреблялись межевые знаки, столбы; но виновных, как в этом случае, так и в пожарах, никого не находили. А вследствие истребления межевых столбов и знаков на них те и другие заводоуправления хозяйничали по соседству друг у друга и для очистки совести заводили дела, которые почти никогда не оканчивались по дружбе управляющих и поверенных заводских...

Металлов выплавлялось в год обыкновенно больше показанного в отчетах. Половина поступала на приход, другая шла в пользу заводоуправления и рабочих, с которых не брали денег за гвозди, утюги, браковку, лом и тому подобные вещи; однако рабочим за все количество металла выписывались в расход деньги на господский счет так хитро, что никакой бухгалтер не подкопался бы, потому что тут значились прогулы, наем крестьян втридорога и проч. В отчетах значились поправки зданий, покупка машин, — чего вовсе не было.

Комиссионер, поставлявший муку в Таракановский завод, вдруг отказался поставлять ее. Муки было немного в магазинах, закупать негде, потому что время осеннее, да и в заводской конторе нет денег. Рабочим муки не дают, не дают денег за работу, а дают билеты на рубку леса для дров из самых дальних дач, где и рубить нечего, а потом хватают их за то, что они лишний воз нарубили. Народ голодает, волнуется; целый день не отходит от главной конторы, кабаки пусты, много больных...

Управляющий жил в городе: он дожидался разрешения из министерства о выдаче денег под залог одной дачи и в счет будущих металлов.

Заводское начальство беспокоится. Приказчик роздал рабочим свои деньги и сказал, что они должны винить управляющего за его безалаберность. Рабочие успокоились, но хлеб на рынке был дорог.

Издержали рабочие деньги, перестали работать.

Начальство молчит. «Мы сами два месяца, по милости управляющего, не получали ни жалованья, ни провианта».

Приехал к приказчику нарочный от поверенного из города с таким известием: «Карл Иваныч через день приедет сюда. Денег ему выдали тридцать тысяч».

— Тридцать тысяч вперед за четыре месяца! Да он с ума сошел! Нам нужно восемьдесят... — говорил приказчик и призвал к себе на совет казначея главной конторы.

— Я удивляюсь, отчего владельцы наняли в управляющие такого дурака, что нам и рабочим придется кору глодать; а ему все нипочем, потому он нахапал.

— Да еще как!.. Владельцы изнабазулились (избаловались): они думают, что одни инженеры честные люди... Посмотри-ка, в других заводах, где управляющие из крепостных, там всем рай-житье; все сыты и довольны. Вот бы тебя в управляющие...

— Однако я подверну исправнику такое дельцо... ты только не говори.

— О!

— Мне наплевать: я купец.

— Счастливец!.. Однако надо что-нибудь делать?

— Я хочу выйти.

— Полно, пожалуйста, прималындывать-то (представляться). Тебя никакой шайтан (черт) с этого места не стурит. Тебе заводоуправление сколько должно?

— Да тысяч двадцать семь.

— А мне три тысячи сто. Я думаю продать муки.

— Гм! плут!!. Почем ты думаешь?

— По рублю.

— Возьми семь гривен, ведь мука-то ржаная, сам посуди. На што я — и тут я хочу продать по семи гривен... Безбожник!

— Если вы по семи, я согласен по шести.

— Я по пятидесяти пяти, потому что я имею в виду не одну тысячу кулей.

— У меня сотни, а у вас тьмы сотен... Я не могу меньше шестидесяти.

— Ну, ладно, там увидим. Я доложу нашему дармоеду.

Через день приехал управляющий, явились к нему заводский исправник, приказчик и казначей, поздравили с приездом.

— Ну, что, работают? — спросил управляющий приказчика.

— Да... Только хлеба нет, денег нет.

— Я привез! привез!! Как вы смеете мне говорить дерзости? Я зачем ездил?

— А позвольте вас спросить, сколько вы привезли? — спросил храбро приказчик.

— Тридцать тысяч!

— А нужно восемьдесят.

— Что!!

— Вы имеете донесение.

— Очень нужно мне возиться со всяким хламом!.. — Ну, а вы что скажете: смирно у вас? — спросил управляющий исправника.

— Точно так-с.

— Главный начальник недоволен вами.

И управляющий быстро ушел из залы; значит — с вами, холуями, не хочу больше разговаривать.

— Дурак! — сказал приказчик.

— Тоже об мелочах толкует! — прибавил казначей.

— Попрекает горным членом, а я чем виноват? — говорил болезненно исправник.

В этот день управляющий вдруг изволил приказать заложить сани в одну лошадь и был очень взволнован. Когда ему доложили: «лошадь готова-с», — он спросил лакея:

— Ты кто такой?

— Клюшкин.

— Кто ты такой?

Лакей молчит.

— Ты чей?

— Чего изволите спрашивать?

— Свинья! — прошипел управляющий и вышел на улицу. Когда он сел в сани, кучер не трогался.

— Пошел!

— А лакея нету-ка.

— Не нужно! не разговаривать!!. А ты, приятель, из каких?

— Чево?..

— Погодите, я ужо доберусь до вас!!

— Куда, ваше сиятельство, ехать?

— Вези меня на фабрику, вези по всему заводу...

Кучер удивился: управляющий редко бывал на фабриках — и вдруг прямо с приезда едет туда. Он подумал: верно, генерал (ревизор заводов от правительства) журовит (спешит) ехать сюда; верно, непорядки какие-нибудь пронюхал.

— Это што там? — указал управляющий на порядок Козье Болото.

— А это Козье Болото. Там живет все отпетый народ, всё кержаки.

— Кто?

— Кержаки.

— А что это такое за кержаки?

— Они по старой вере всё: двумя пальцами молятся.

— Ах, помню что-то, в корпусе слыхал. Вези к ним!

Подъехали к кузнечной фабрике. Заперта.

— Это что значит? — спросил управляющий кучера.

— Да провианту нету-ка в магазеях — и не робят.

Поехали в Козье Болото.

— Чей дом? — спросил управляющий кучера, указав на левый угольный дом, когда въехали в улицу.

— Не знаю.

Проехали мимо нескольких домов. Из окон глядят

мужчины и женщины; ребята, никогда не видавшие управляющего, бежали за санями. На улицу из задних домов то и дело выходили мужчины и стали у переулка, выходящего из Козьего Болота к мосту.

Управляющий велел кучеру остановиться, вылез из саней, вошел во двор, потом полез по лесенке на крыльцо, ступеньки трещат. Он никогда не бывал в таких конурах. В сенях он заблудился. Вышла баба в рубахе; от нее пахло потом; в избе кричали ребята, ревел ребенок.

— Осподи Исусе! — вскрикнула баба, столкнувшись с управляющим. — Кто тут?

— Я!

— Да кто ты? — свинья! Приказей! .. Ково тебе?

— Я управляющий.

Баба ушла в избу и заперла дверь на крючок. У ворот галдил народ.

— Чья баба? — спросил управляющий, глядя на одного рабочего.

Рабочие молчат; им что-то сказать хочется, толкают друг друга, переминаются с ноги на ногу, то снимают, то надевают фуражки.

— Кто вы такие?

Рабочие сняли фуражки, но промолчали: они с удивлением смотрели друг на друга.

— На работы!

— Провьянт выдай за два месяца!

— Рощет вели сделать!

— Кто виноват? — спросил управляющий.

— Приказчик Переплетчиков.

Управляющий сел в сани и уехал, а рабочие повалили во двор той бабы, у которой был управляющий.

— К почтмейстеру! — сказал он кучеру. В почтовой конторе кучеру сказали, что почтмейстер ушел белок стрелять. Велено было явиться вечером, а до этого времени все в заводе были в волнении: никто не понимал, зачем управляющий ездил в Козье Болото.

Явился вечером почтмейстер. Это был старый человек, ужасный трус. Он никогда не бывал у управляющего, потому что управляющий считал его ни за что.

— Кто здесь получает периодические журналы?

Почтмейстер выпучил глаза.

— Я спрашиваю: кто получает, — одним словом, кто следит за литературой?

— Прикажете ведомостичку?

— Да вы сумасшедший, или не понимаете меня?

— Никак нет-с.

— Читаете вы газеты?

— Ведомости?.. Никак нет-с. Не люблю-с.

— Я вас прошу молчать, если вас будут спрашивать о воле, всем говорите: никакой воли никому не будет, *понимаете?*

Почтмейстер ушел удивленный и сконфуженный. Пошел к приказчику, рассказал, как его распушил управляющий; приказчик хохотал.

— Дурак ты, а не почтмейстер, право! Ты, брат, большой бы доход мог извлечь из того, что теперь всех занимает.

— Што такое?

— Ну уж, не скажу. А у тебя есть ли овес да сено? Нет. так пошли почтальона.

Почтмейстер опять-таки остался в недоумении. По приходе домой он перебрал губернские и сенатские ведомости, чего-то отыскивая; но так как он их не читал и не знал, что ему нужно, то и потерял даром время.

В этот же день приказчик был позван к управляющему.

— Вы слышали что-нибудь о воле?

— О какой-с? — спросил с удивлением приказчик.

— Я от владельцев имею письмо: они нарочно по этому делу в Петербург из-за границы приехали, зовут меня к себе, просят как можно лучше соблюсти ихние интересы. Пожалуйста, вы побеспокойтесь... У вас большие беспорядки: все жалуются на невыдачу провианта... Выдать! хоть как бы ни дорога была мука; купить! Рабочих заставить силой работать. Слышите?

Ночью сгорел большой хлебный магазин; рабочие работали на пожаре, но зато все воспользовались хлебом и через день пошли на работы.

Однажды в одном кабаке сидело несколько человек рабочих, калякали они между выпивкой водки. Входит солдат.

— А, сера амуниция! — сказал один рабочий.

— Ты не замай моей амбиции, кайло, — ответил солдат.

— Чево и говорить: много ли ты галок-то настрелял?

— Почище вашего брата: на турка ходил.

— А видел ли ты, каков турок-то?

— Одначе, братцы, угостите водочкой.

— И так будет с тебя.

— Не буянь! я царю служу; служба трудная. А ваше дело — што? .. А еще волю хочут дать вахлакам.

— Какую волю?

— Царь вам волю дает.

— Што он сказал? — с изумлением обратился один из рабочих к другим собеседникам.

— Это он, вишь ты, нашарамыжку (на даровщинку) выпить захотел.

— Да верите мне или нет? Я восьмой год верой и правдой царю служу. У меня у самого братья крепостные крестьяне; и что ж мне баламутить-то вас?

— Угостить ево надо!

— Ну-ко, скажи, какую-такую волю хочет нам царь дать?

Вошел другой солдат.

— Да правду ли говорит он о воле? Вот другой солдат... Эй, друг сердешной, таракан запешной, што ты скажешь о воле?

— Не слыхал, што ли?

— Так это верно!

— Про волю-то? .. Сам царь, толкуют, крепостным крестьянам дает...

Рабочие слушали с удивлением, но не понимали, за что воля и в чем состоит эта воля. Просили растолковать солдат, но они говорили, что в городе об этом разно толкуют. Так ничего и не доведались наши тараканововцы, но чуяли они, что будет что-то доброе.

Первую ночь в слободах спали только ребята; большие судили и думали: что это за воля? посмотреть бы на нее... али уж нет ли указа такого?

— Какая же это воля: али напишут билет и потурят нас отсюда на другу землю, что ли?

— Уж не хотят ли заводы уничтожить?

— Нет, вот такую бы волю: и землю бы нам и покосы подарили бы и за работу бы ладно считали да не обижали. Хошь робь, хошь нет.

— Нет, я смекаю, не для того ли это солдаты толкуют, штобы задрать нас на драку с ними? Им, вишь ты, скушно... Надо предупредить товарищей-то.

Через неделю пришел в завод рабочий, бывший в городе. Он клялся, что в городе даже объявленья прибиты на столбах, написано: скоро воля будет.

Опять заговорили, опять полезли в головы предположения различные, то хорошие, то худые, — и эти предположения совсем сбили с толку рабочих. Они сделались задумчивы, мало пели, руки опускались. Некоторые рабочие вовсе не шли на работы; но за ними не приходили десятники, и только, по обыкновению, на них насчитывали прогулы. Всех удивляло поведение начальства: оно было теперь смирное, а штейгера, родня некоторых рабочих, несмотря на запрещение приказчика говорить рабочим о воле, говорили им: «Подождем, братцы; воля скоро будет, порядки у нас иные пойдут».

ГЛАВА XVI

Илья Игнатьич Глумов называется подростком

Читатели уже знают, что дети работали на рудниках, и хотя эти работы и считались, по-заводски, легкими, но для крестьянского мальчика они были бы очень тяжелы, потому что крестьянские мальчики не испытывают того, что испытывают дети горнорабочих: работать на рудниках много значит; таскание тачек с глиной и рудой в шахте, где темно, душно, сыро и приходится пробыть десять или восемь часов, — невыносимо и для взрослого. Мальчики с двенадцатилетнего возраста назывались малолетними и брались на работы тогда, когда недоставало подростков; за это они получали полтора пуда в месяц провианту. С пятнадцатилетнего возраста они назывались подростками, и их брали на работы уже без отцов и обращались как с обыкновенными рабочими; за это они получали в месяц два пуда провианту. Заводоуправлению, с одной стороны, было выгодно заставлять

работать ребят, потому что они работают старательнее взрослых рабочих; но с другой стороны, было и убыточно, потому что чем больше у рабочих ребят мужского пола, тем больше выходит на них муки.

При отце Илья Игнатьич редко работал на рудниках. По метрическому свидетельству он значился пятнадцати, по-заводски — шестнадцати лет, так как ему наступил уже шестнадцатый год; его забыли в прошлом году записать в подростки и назвали этим именем только ныне. Илья Игнатьич очень боялся, чтобы его не послали в рудник, — малолетки работают на поверхности рудников, но подростки непременно в шахтах, и этого избегнуть нельзя, если попадешь на рудник. Рабочие на рудниках распределялись безалаберно; там на болезни не обращали внимания, а исполнялись приказания приказчика, чтобы везде был полный комплект рабочих. А мальчик, работая в сыром месте, слабосильный, не мог, при всем своем старании, сработать столько, сколько могли сработать взрослые, окрепшие рабочие, и поэтому по метрическим книгам таракановских церквей и ведомостям доктора значилось, что большинство умерших и больных в заводе состояло из ребят от одиннадцати до девятнадцати лет; но ни на болезнь, ни на смертность их заводским начальством не обращалось должного внимания, потому вероятно, что семь тысяч заводских женщин исправно рожали каждый год по ребенку, но зато в последнее время стали замечать, что из каждой тысячи ребят умирает если не половина, то по крайней мере две трети, не дожив до совершеннолетия.

Растя почти под присмотром маленьких ребят, дети, еще очень маленькие, выражали свои желания и досаду криком, капризничали и привыкали к разного рода побоям и наказаниям. Колотушки и ругань с годами, вместе с физической силой, развивались в них. Они жили в кругу таких людей, которые довольно грубо обращались со всеми, не умели изъясняться так, как изъясняются образованные люди; от этого и дети, подражая старшим, становясь с каждым месяцем, а может быть — и днем восприимчивее, усвоивали то, что видели и слышали. Так и Илья Игнатьич в настоящее время курил табак, пил водку, ругался как большой и старался во что бы то ни стало переспорить старших. Дома он жил

редко, а больше играл в бабки, дрался с ребятами; не боялся матери, мало слушался и отца, однако побаивался его и не смел ничего сказать ему резкого, хотя бы тот задел его за живое. Кроме отца, он никого так не любил в жизни, и только ему одному высказывал свое горе, и только его советов слушался. Это происходило оттого, что отец работал, добывал пропитание, был глава в доме, где его все боялись и уважали. Привязанность его к отцу была такова, что он скучал, когда отец долго не приходил домой, а когда тот возвращался, он долго терся около него, выспрашивал что-нибудь и немедленно исполнял его приказания. Сестру он не любил, потому что она была не парень и не любила играть с ним в бабки или бороться.

После смерти отца он жил с сестрой, а потом у дяди вместе с братом, и когда его взяли на фабрику на работы, он дома жил только по ночам, а в праздники убегал к соседям или участвовал в артельных играх, заключавшихся в том, что друзья, человек в тридцать, играли отдельно от других, и в эту артель парень из чужой артели не принимался до поры до времени. Павел тоже бегал за ним, но когда оттуда стали его гнать, он пристал к ребятам одних с ним лет.

Поработав на фабрике месяца четыре, Илья Игнатьич редко ночевал дома; но тетка знала, что он терся у засыпщика Горюнова, который был помощником плавильщика на горнах. У него было два сына: Егор семнадцати лет и Иван двенадцати — и дочь Аксинья пятнадцати лет. Жена его умерла от горячки назад тому три года, и теперь хозяйством Горюнова заправляла его сестра, Акулина Савинова. Илья попал в это семейство очень просто: Егор работал около отца вместе с ним; Илья, куря табак из отцовской трубки, всегда угощал Горюновых, которые, с своей стороны, угощали и подростка Глумова. В праздники Глумов играл с Егором Горюновым, с ним же забегал к нему в дом и там играл с Аксиньей и сыновьями Горюнова в карты, а ежели было поздно, то там и ночевал, боясь проспать время работы, а потом вместе с Горюновыми отправлялся на работу.

Часто они играли в карты в носки, а так как интерес этой игры заключается в том, чтобы проигравшему щелкать колодой карт по носу, то без сцен не обходилось:

брат брату щелкали носы без всякого удовольствия, но когда Аксинья принималась щелкать по носу Ильи Игнатьича, ему не нравилось; братья хохотали, хохотала Аксинья, он толкал ее ногами, краснел со стыда, мигал ей глазами, но она наслаждалась щелканием Илькина носа, хохотала и выдавала братьям его подмигиванья. За Глумова братья не заступались. Если же Глумову приводилось щелкать нос Аксиньи, то она щипала его за руку, ругала проклятым, краснела, косила глаза. Глумов прилагал все свое старание, чтобы Аксинье было больнее, но Аксинья убегала в угол или куда-нибудь, дулась на Илью и говорила: «Я тебя тихонько, а ты, лешак, изо всей мочи». Братья не говорили Аксинье, что она неправа, но если Илья Игнатьич силой хотел исполнить полное количество щелчков, то который-нибудь из братьев начинал барахтаться с Глумовым.

Но несмотря на эти размолвки, Илью Игнатьича приглашал даже сам Дмитрий Гурьяныч Горюнов. Приглашал он потому к себе Глумова, что у Глумова не было отца, а спать у Горюнова было где — места довольно.

Время для Ильи Игнатьича шло весело. На фабрике народу много, работа не тяжелая, — он помогал рабочим подвозить к горнам в тачках или руду, или флюс, то есть песок и уголь, или просто песок или уголь — и поэтому назывался *таскальщиком;* эта работа продолжалась недолго; остальное время он терся около рабочих, мешал им, острил и получал колотушки от мастеров; потом, если у его приятеля была получка, приятель приглашал его в кабак; если же не было, то он отправлялся спать. А о праздниках и говорить нечего.

Перед масленицей Илья пришел к Горюновым в обед, когда ему нечего было делать на фабрике. Он сам не знал, зачем он идет туда, где теперь только Аксинья и ее тетка, а может быть, никого нет. Ему хотелось поболтать и поиграть в карты с Аксиньей, а если тетка дома, он выдумал предлог — попросить шила. Оказалось, что дома только одна Аксинья, как узнал об этом Глумов, заглянув в окна. Аксинья его не видала, как он глядел. У Горюновых была изба и горенка; Аксинья мыла в горенке. Илья, крадучись, подошел к двери горенки и вскрикнул: «кукареку!»

Аксинья вскрикнула, выпрямилась, поправила рубаху, полы которой были заткнуты за пояс; лицо ее от работы было красное, в поту.

— Куда ты идешь, сиволапой! — крикнула Аксинья.

Илья Игнатьич улыбался и толкнул ногой шайку, из которой Аксинья бросила в Глумова мочальную вехотку; вехотка попала ему сперва в лицо, потом упала на пол. Вмиг Илья Игнатьич подскочил к Аксинье и стал ее щекотать. Та завизжала, захохотала, забилась и укусила плечо Глумова.

— Што? каково? .. — хохотала Аксинья, когда Глумов схватился за плечо.

— Свинья.

— От свиньи слышу. За чем пришел! Пошел, дурак... — И Аксинья стала толкать его грязными руками из избы; но тот упирался.

— Тетка придет, задаст тебе! Вон! вон! — И она вытолкала его из избы веником.

Илья Игнатьич долго еще дурил у окошек, пока его не прогнала возвратившаяся домой тетка Аксиньи.

ГЛАВА XVII

Новички из подростков в шахте

После масленицы Илью Игнатьича целую неделю не звали на фабрику: там нечего было делать подросткам. Мастера поговаривали, что скоро ребят пошлют на рудники. Жить у дяди было скучно, вот он и терся у Горюновых. Вдруг приходит утром десятник Филатов и говорит ребятам:

— Одевайтесь, живо! на рудник.

Ребята побледнели; ослушаться нельзя.

— А кто тебя послал? — спросил Глумов.

— Указ от приказчика вышел — послать пятьдесят подростков да двадцать малолетков.

— Так ты и отпиши: не пойдем.

— Я тебе дам — не пойдем! Ты знаешь — я тебя так вздеру, што мое почтение!

Десятник имел власть наказывать ребят розгами; поэтому надо было повиноваться. Ребята оделись,

лениво пошли к весам, а Филатов пошел за другими. У весов, у кузницы, боролось ребят тридцать. Все они худенькие, бледные; на них изорванные отцовские полушубки или халатишки; у немногих есть на руках варежки, а у остальных руки голые.

— Господа, буде в шахты будут назначать, не пойдем, законом запрещено, — говорил восемнадцатилетний парень, учившийся в городском уездном училище и живший у поверенного на посылках, но теперь посланный в рудники за кражу ложек у поверенного. Ребятами за слово «господа» он был прозван *пуговицей,* что ему очень нравилось.

— А ты, пуговица, от кого это узнал?

— Знаю. Строго запрещено. Мы на земле должны работать, а не в земле.

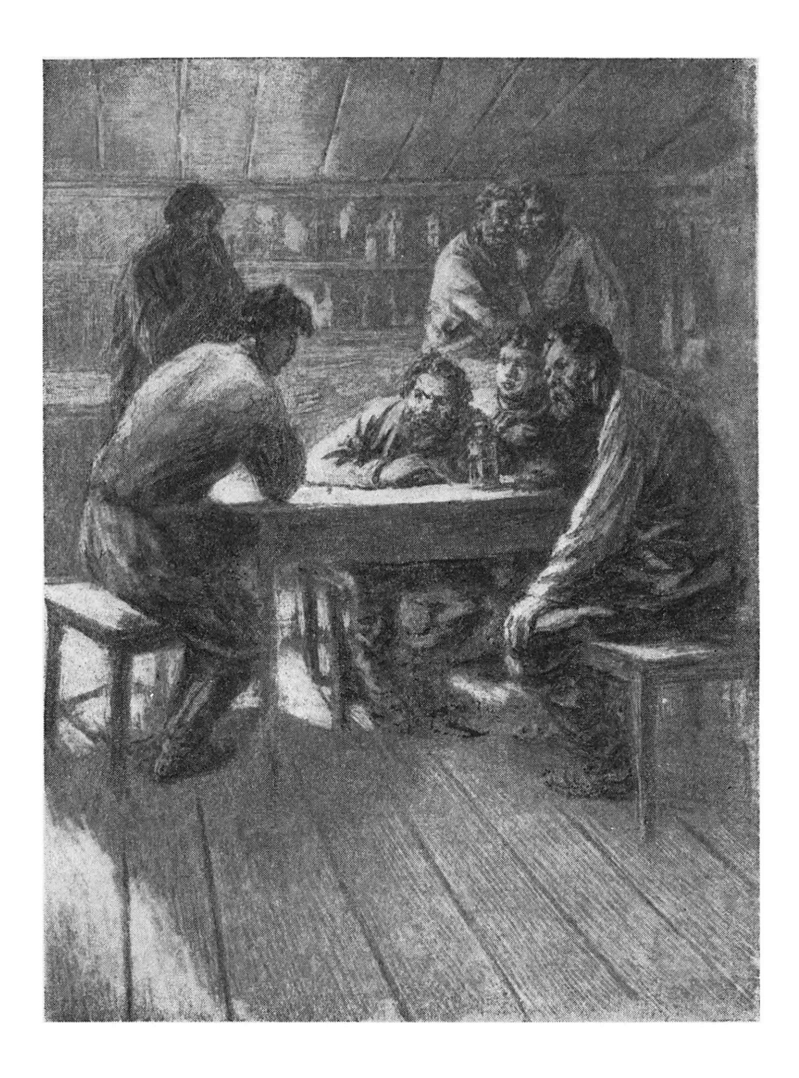
— Ладно! пропишут тебе землю.

Поехали. Дорогу описывать нечего. Не мешает только сказать, что в дороге было очень холодно; ребята то молчали, то смеялись друг над другом, то боролись. Бывших в шахтах немного, они то и дело пугали не бывавших тем, что там нужно ползать на коленях с тачкой, да того и гляди что задавит.

К руднику приехали вечером; солнышка не было, и так как здесь большое поле, то ветер с правой стороны дул сильный, холодный, гоня собою снег на насыпи и вертя его так ловко, что ребята говорили: глядите, как черт-то вертится! Рабочие и ребята медленно катали тачки; а ветер то и дело заплетал ребятам длинные халатишки или у рабочих распахивал их очень широко. В трех местах у насыпей разложены огни, около которых греются запачканные в глине ребята, а большие покуривают из трубок махорку и разговаривают о сегодняшнем рабочем дне.

Ребята вошли в избу. Шесть человек рабочих спят на полатях, пять подростков играют в карты, принадлежащие сторожу избы. Сторож получает <за> карты от ребят. Игравшие ребята многим из приехавших были знакомы.

Отогрелись немного ребята в избе, есть хочется, а нечего, потому что немногие взяли из домов хлеба, да и тот дорогой товарищи съели. В избу стало появляться больше и больше рабочих и ребят, которые, входя, крях-



тели или что-нибудь говорили, вроде: «Ну ж, погодку бог дал!..» Настала пора ужина. Жена сторожа, Прасковья, занимавшаяся печеньем хлеба и варкой щей на рабочих, засуетилась. Принесла она из сеней пять ковриг хлеба. Ее торопили. Вытащила она из печи чугун щей, двое рабочих налили из него в большую деревянную чашку, поставили ее на нары против окон, притащили со двора скамейку, и человек двадцать рабочих уселось на нее. Хлебать было неудобно, потому что приходилось вставать, а ребята то и дело толкали которого-нибудь рабочего. На других нарах тоже ужинали. В избе говор, смех, визг.

После ужина рабочие и ребята, работавшие днем, легли спать, а приехавших нарядчик распределил на работы в шахты. Ночью на поверхности руду не отвозили, потому что начальство боялось, чтобы рабочие не отвозили ее в какое-нибудь место, неизвестное для него, а потом домой. Но такое опасение было напрасно: рабочий немного бы выплавил в избной печи. Все приехавшие подростки и малолетки попали в шахты. Глумовы и еще трое были спущены в одну шахту. Читатели уже знакомы с рудничными работами. Поэтому я от имени Ильи Игнатьича Глумова скажу, что ему показалась ужасно, невыносимо тяжелой эта работа: он точно ослеп, оглох, ползает на коленях, толкая грудью ручку от тачки, голова то и дело стукается в землю, ноги и все туловище до груди промокло, потому что дно шахты неровное, грязное, с ямами, а досок, постланных на дне, в темноте не сыщешь. Не помнит он, как упал куда-то, завяз; кажется, заснул; кажется, так дремал... «Што ж это такое? Долго ли еще я пророблю..» Пошел. Наткнулся на кого-то.

— Хто? — хриплым голосом спросил кто-то.

— Я, — сказал Глумов, но голос точно отнялся. Натужился Илья Игнатьич, крикнул... немного слышнее откликнулось где-то: он стоял против коридора, в котором был ход кверху.

Проработал он четыре дня — и хотя спал по ночам в избе, но в последний день до того изнемог, что не мог катить тачки. Проситься домой невозможно: нужно проработать неделю, и он надумал бежать, не осмыслив — куда. Когда ночью рабочие спали крепко, он взял мешо-

чек с хлебом и солью, принадлежащий какому-то рабочему, и, вытащив из-под головы рабочего полушубок, надел этот полушубок на себя и с замиранием сердца вышел на двор. Куда идти? Темно, звезды светят тускло; ветер режет лицо. Горько заплакал Илья Игнатьич и, плача, пошел в сторону, противоположную от реки. Страшно ему сделалось, хотелось воротиться, но вдруг на него напала злость: он пошел скорее, сжимал кулаки, проклинал громко и снег и полушубок. Но не все же злиться, а надо убираться поскорее куда-нибудь: вот рабочие тоже по ночам убегают и не разыскиваются. Ноги то вязнут в снегу, то он спотыкается о что-то и падает. Наконец — дорога; он повернул налево, стало легче. Ноги давно устали, наконец заболели кости, потом — не может ступать на подошвы. Сел он и стал есть, думая, что он нехорошо сделал, что убежал. Что скажут товарищи, которые наравне с ним работают и не бегают? Задумался он над этим, и стыдно ему сделалось. Драть станут, больно выстегают; товарищи сердиться будут. Встал он, хотел идти назад, но ноги перестали служить, свалился он на снег и не может встать, а уже светать начинает.

Вдруг он от боли просыпается. Перед ним на двух лошадях верхом сидят лесные объездчики.

— Вставай, околеешь! — сказал один из них и слез с лошади.

Илья встал.

— Чей ты?

— Я с рудника.

— А! беглец!!

— Пусти его; плевать!

— Ишь ты! три целковых за него выдадут.

— Дядюшка, отпусти, — заплакал Глумов.

— Не разговаривай!

— Я сам уйду.

Лесные объездчики, сказав «плевать, наш ведь он», — уехали.

Еще стыднее сделалось Илье Игнатьичу; на рудник он идти боится, а делать нечего.

Пришел Глумов на рудник. Рабочие обругали его дураком за то, что он пришел назад, ребята прозвали его вором и беглецом. Пошел он в избушку к нарядчику. Нарядчик еще не знал об его бегстве.

— Прости меня, Максим Пантелеич, — сказал Глумов, поклонившись ему в ноги.

— Што, украл?

— Я, Максим Пантелеич, больно нездоров; леший меня взял — побег ночью...

— Ах ты, мерзавец. Да я тебя вздую!

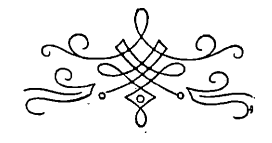
— Прости! не буду...

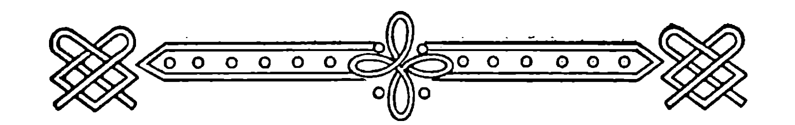
— Ну, ступай; где робишь?

— В шахте.

— Ступай к конной машине! Позови Сеньку Безрылова.

Рабочие удивились милосердию нарядчика, который любил, чтобы тотчас после проступка у него слезно просили прощения. Только благодаря этому Глумов отделался так дешево.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Прасковья Игнатьевна надумывается ехать в город

Возвращаясь к истории Таракановского завода и к печальной судьбе Прасковьи Игнатьевны, я напомню читателю, что он расстался с моей бедной и темной героиней в холодном и всеми покинутом доме Глумовых, у мертвого тела ее матери и у могилы ее мужа. «Все прахом пошло!» — думала Прасковья Игнатьевна, заливаясь слезами. Но чем больше она думала о своем прошлом, тем неотвязчивее представлялся ей пьяный, избитый или лежащий в гробу с страшно изменившимся лицом муж. Сердце ее обливалось кровью; она старалась ни о чем не думать, но Курносов — как тут, как только она закроет глаза; откроет глаза, ей как будто слышатся слова пьяного мужа· «Не тужи, Паруша! обещали». — «Черную немочь!» — скажет с сердцем и шепотом Прасковья Игнатьевна и опять задумается о прошлом. «И что это за жизнь была! и дернуло же меня выйти за приказного. Правда, хорошо было подчас, больно хорошо. . .» И опять обливалось сердце кровью, и она думала о настоящем. «Что мне тут делать, где голову приклонить?» — размышляла Прасковья Игнатьевна и стала серьезно раздумывать о переселении в город.

Рассказы о городской жизни подбивали ее еще больше переселиться из Таракановского завода. «Недаром же

Танька Крыжанова ушла в город еще до моей свадьбы и не возвращается домой, а вон еще слепой матери к пасхе три целковых послала; недаром вон и Кудряшева двоих девок к себе выписала». И Прасковья Игнатьевна стала засыпать и просыпаться с одной мыслию — о поездке в город. «Там меня никто не будет грызть».

На другой день она спросила дядю:

— Ты скоро в город-то поедешь?

— Да к егорьеву дню надо бы. А што?

— Ты меня свезешь?

Тимофей Петрович захохотал.

— Чему ты смеешься! Эка невидаль какая! Не держать же нам ее, — сказала тетка, видно тяготившаяся Прасковьей Игнатьевной, которая в последнее время жила у родных.

Вечером Дарья Викентьевна стала отговаривать Прасковью Игнатьевну, чтобы она не ехала, что в городе она наплачется и будет каяться, что ушла из завода, но Прасковья Игнатьевна и слушать не хотела.

Стала она собираться в дорогу. Братья, повидимому, скучали; Дарья Викентьевна пуще прежнего злилась, но Прасковья Игнатьевна стояла на своем; уже четыре раза ходила в главную контору за получением билета на жительство вне завода, даже продала одёженку Петра Савича за два рубля и эти деньги дала столоначальнику. Посоветовали сходить к приказчику. Пришла, пожаловалась на главную контору.

— Я, душа моя, главной конторой не заведываю и в ее дела не имею права вмешиваться... А тебе что за фантазия пришла идти в город?

— Хочу.

Постоявши немного и посмотревши на Прасковью Игнатьевну несколько минут, приказчик вдруг сказал:

— Иди за мной.

Ни жива ни мертва пошла молодая женщина за приказчиком. Приказчик вошел в гостиную и сел в кресло.

Прасковья Игнатьевна остановилась в дверях.

— Ты женщина красивая. Хочешь я тебя к себе пристрою?

— Покорно благодарю, Афиноген Степаныч.

— Нет, однако. Ты будешь жить барыней, дела тебе будет немного. Чай, Курносов-то шиш тебе оставил?

— Нет уж, вы увольте меня... в город хочу.

— Как знаешь. А знаешь, что я могу тебя и не отпустить — и не отпущу, коли захочу, единственно из-за твоего каприза. Вечером я пошлю за тобой лошадь с кучером.

— Афиноген Степаныч...

— Я тебя же жалеючи говорю это, потому что в городе вашего брата как бесприютных собак... А я человек вдовый. Знаю я, что ты женщина честная; знаю и то, что ты не солоно хлебала замужем. А я могу тебя озолотить.

Прасковья Игнатьевна плакала.

Вдруг лакей приносит приказчику бумагу. Прочитавши бумагу, приказчик побледнел, но немного оправился.

— Так вечером, Прасковья Игнатьевна, я за тобой пришлю. Отговариваться нечего...

Прасковью Игнатьевну бросило в пот от такого предложения. Она всю дорогу плакала, так что все, кто попадался ей навстречу, с удивлением спрашивали ее, что с ней, но она ничего не могла ответить и ушла к Корчагину.

— Василий Васильич! спаси ты меня! — проговорила она, поклонившись ему в ноги, и рассказала все, что говорил ей приказчик.

— Не нужно было тебе к приказчику ходить. Уж он известен этим... Ты бы ко мне раньше пришла, я бы устроил это дело.

Прасковья Игнатьевна осталась у Корчагина.

Между тем вдруг по заводу пронеслась весть о приезде ревизора — весть, взволновавшая все таракановское население. Казаки, или полицейские служители, то и дело переходили из дома в дом и звали свободных от работ рабочих к главной конторе и грозили тем, что если кто не придет, того завтра же пошлют на работы за полтораста верст. Рабочие идут нехотя, ругаются. Они не знают, зачем их зовут к конторе, — да и подобные сходки случались в заводе нередко.

Перед конторой, длинным одноэтажным деревянным домом в девять окон на улицу, против дома <и> около ворот стояли, ходили и сидели на завалинке конторского дома человек сто рабочих разных лет в халатах из зеленой китайки и армяках. Тут были старики, рассказываю-

щие окружавшим их молодым рабочим про прежних исправников, смотрителей и управляющих; тут были люди, серьезно страдающие чахоткой, геморроем и тому подобными болезнями, люди, желающие опохмелиться, люди бойкие, постоянно спорящие, говорящие, хохочущие, которые целый день могут проболтать без устали языком. К ним приходили новые кучи рабочих.

— Опоздали, — говорили им молодые рабочие.

— Нет, не опоздали. А вы што тут, ково караулите?

— Тебя, штоб ты к Окулине в гости не ходил.

В толпе поднялся хохот.

Толки были разные; чем больше прибывало народу, тем больше говор усиливался, так что ничего нельзя было разобрать, кроме заливающегося хохота в разных местах да восклицаний:

— Илюха! Будь ты проклятая, хвастуша — и т. п.

Казалось, народ был весел но это только казалось. Рабочему человеку если что кажется, то он крестится. Нельзя было тремстам рабочим стоять молча, к тому же и люди всё были знакомые.

— Што ж, братцы, долго ль нам ждать-то? Я с самого утра пришел.

— Ну, и до вечера простоишь.

— Это верно. Я ономедни к исправнику пришел еще черти в кулачки не дрались, а домой воротился ночью.

В толпе хохот.

— Братцы, глядите вверх, — крикнул кто-то громко.

Все стали смотреть вверх. Полетели фуражки с голов, снова хохот, многие стали бороться.

А между тем в конторе происходило что-то необыкновенное: там служащие перебегали из комнаты в комнату, сторожа и бабы мыли стекла в окнах. Это заняло рабочих, и они стали острить над бабами.

Приехал к конторе исправник. Ему никто не снял шапки. Он кричал, чтобы ему дали проезд, но рабочие от нечего делать рады были потешиться.

— Ну-ко, проедь. Посмотрим, как ты по нам проедешь.

Исправник сам ударил лошадь, которая рванулась вперед и смяла одного рабочего.

— Уж смеяться, так было бы над кем, а это што! — сказал один мастер.

— Хоть бы не ты говорил, да не мы слушали. Вот над тобой так стоит смеяться. Ведь ты мастер, ну, а мастер, значит, первый плут, сосветный мошенник.

— А вы первые воры: кто железо ворует?..

— Ты первой.

Народ не стоял в одном месте, а бродил по площади, человек по десяти стояли по углам.

— Едет? — кричали им со всех сторон.

— Штаны надевает, — кричали стоящие на углах.

К ним то и дело подходили женщины. Они хотели дознаться сами: зачем мужиков к конторе созвали?

— Куда ты лезешь, востроносая!

— Смотри, запряжет он тебя воду таскать.

Женщины ругались, мужчины их гнали, и они стали отдельно от мужчин и рассуждали по-своему:

— Уж чего доброго, бабоньки, — не волю ли хотят объявлять?

— Я тоже смекаю... Северня во сне видела чистое поле да реку большую.

— Болтай, пустомеля. Совсем не волю, а поди, опять наряды какие-нибудь...

— Ну уж, дураки же будут мужики, если даром робить будут.

Ребята тоже стояли отдельно. Они то острили над бабами, то над мужиками, то боролись.

А дождь все мочит и мочит незаметно.

Наконец, в первом часу, показался из-за угла управляющий, едущий в пролетке, запряженной в две сивых лошади. Народ сторонился, кое-кто из мужчин снял фуражки, бабы поклонились, а управляющий сделал только раз под козырек.

Управляющий вошел в контору, а народ столпился в одну массу, только женщины стояли позади. Ребята забрались вперед.

Вышел на крыльцо управляющий, приказчик и исправник. Исправник крикнул рабочим:

— Шапки долой!

Рабочие лениво сняли фуражки и шапки, женщины перекрестились.

— Ребята, к нам едет ревизор. Слышите!

Рабочие поглядели друг на друга; десять человек надели фуражки, за ними стали надевать и другие. Жен-

щины стояли на носках с разинутыми ртами и рабски-боязливо смотрели из-за голов мужчин на начальство.

— Вам сказано — шапки долой! — крикнул исправник.

В толпе прошел неясный гул, начался шепот, толкотня под бока, молодые прятали свои головы за спины старых рабочих.

— Я вас всех перепорю! Сказано, шапки долой?!

— Сам скидывай с своей башки чучелу-то, — сказал кто-то. Народ заволновался, заговорил.

— Смирно!!

Народ затих, а один старик проговорил:

— Коли ты нас, ваше благородье, за делом звал, дело и говори. Мы народ рабочий, нам время дорого. Мы, как бы то ни было, люди...

— Молчать!

— Нечего стращать-то.

Народ захохотал; женщины, как видно, струсили и далеко отошли от мужчин.

— Слушайте, — начал управляющий: — чтоб ни одна шельма не смела жаловаться ревизору, чтобы никто и пикнуть не смел. Когда он приедет, вы соберитесь на площади и кричите ура...

— Какой бойкой! да нам и не выговорить такое слово, — проговорил кто-то негромко, прочие толкали друг друга в бока, шептали что-то, хохотали.

— Понимаете, что я вам сказал?

— Не глухие ведь, — сказал один. Заговорили все.

— Эй, кто грамотные! в контору! — крикнул исправник, и начальство ушло в контору.

Говор начался неописанный; на что женщины — и те голосили больше всех.

— Эх, вы! еще мужики называетесь! Ну, где у вас рассудок-то, у дураков?..

— Да я бы ему за его слова просто в лицо наплевала. Ишь, говорит: я вас всех перепорю; командер какой!

— Ну-ну, не ваше дело, широкоротые!

— Стыдно, верно. Погоди: ужо я буду тебя страмить.

— Вот, братцы, диво: у нас ревизор-то был годов девять! — говорили старики...

— Да он врет: за каким дьяволом ревизору к нам ехать.

— Нет, тут, должно быть, штука: сменять, верно, он управляющего хочет.

— Хорошее бы дело сделал.

— Эй, бабы! Идите писать в контору.

— Братцы, айда в кабак!

— Подь ты к лешим! Нет, вот он меня совсем смутил: зачем ревизор сюда едет?

— Верь ты им...

— Смотри, ребята, сколько грамотеев-то идет — четверо!

Все захохотали. Из трехсот человек рабочих писать не умели сто человек. Двое рабочих долго ловили одну молодую женщину и притащили ее к исправнику.

— Вот тебе грамота! — сказали они.

— Што ж нам, уходить? — спросили рабочие исправника.

— Завтра извольте на господскую улицу шлаку навозить, — сказал исправник.

— Рубь дашь за сутки?

— Бороды остричь, волосы подровнять, явиться, когда приедет ревизор, не в лохмотьях...

— Толкуй еще: бабам обручи надевать, мужикам кургузки с хвостиками (фраки) надеть. Умен, брат, ты, как поп Семен, а тот, кто делал тебя исправником, еще, верно, умнее тебя... — говорили в толпе.

Рабочие стали расходиться.

Между тем четверо грамотных стояли в прихожей у дверей и ждали, что-то будет. Они смотрели в комнаты, где писцы, изогнувшись на разные манеры, строчили по бумаге перьями. Их это смешило, и они о каждом судили по-своему вполголоса. Их смешило то, как управляющий, важно сидя в председательском кресле, распекал приказчика, потом столоначальника, который вдруг поклонился ему в ноги. В конторе писцы переговаривались тихо, только и слышен был пискливый голос управляющего. Сторожа беззастенчиво подходили к писцам, небрежно обращались с ними; но писцы, как видно, хотели показать нашим грамотеям, что они люди не последние: они, заложив перья за уши, шаркая ногами,

проходили мимо их, курили папиросы в прихожей, пуская дым в форточку.

— Што, боязно курить-то, — сказал один рабочий.

Писцы молчали.

— Ловко, верно, он вас покостылял... А вы скажите, зачем он нас звал сюда?

— Адрес подписывать.

— Какой?

— Не знаю.

Управляющий позвал рабочих в присутствие.

— Только? — спросил он сердито.

— Только, ваше благородие, остальные еще склады учат.

— Подписывай вот тут свою фамилию.

Рабочий не шевелится.

— Што же ты?

— Да как же можно подписывать, коли не знаешь суть. Может, мы на свою голову подписываем.

Управляющий объяснил, что тут заключается благодарность ревизору за... и прочее.

— Не будем мы подписывать.

— Вот вам десять рублей, только подпишите и убирайтесь к черту.

— А што же, подпишем? Десять целковых деньги, ребята, — говорили двое шепотом.

— Не надо нам и десяти рублей, — сказал третий и стал стыдить остальных.

Управляющий приказал приказчику назначить рабочих сейчас же в тяжелые работы, рабочие помялись и подписали бумагу, содержание которой им не дали прочитать.

Весело рабочие погуляли этот день: все заводские кабаки были полны. Рабочие говорили, что день у них, по милости начальства, пропал, и они рассудили закончить его пьянством. Хозяева кабаков говорили:

— Хорошо бы было, если бы эти сходки у нас чаще бывали.

Хозяева этих кабаков были преимущественно отставные мастера, которых рабочие не любили прежде за самосудство, а теперь помирились с ними ради кабака.

— Што ж, братцы, теперь делать: бабы толкуют, ревизор нам чистую волю хочет привезти.

— Ах ты, большая голова! Хорош рабочий — безмозглой бабы слушается.

— Нет, это верно: даром ревизору ехать сюда — все равно што время терять.

— Ты бы лучше говорил: надо ему обсказать все как следует: какие теперича у нас порядки — кто палку взял, тот и капрал!

— Надо про все сказать.

— А до той поры робить не надо!

— Ты вот, как пьян, так боек, а коснись дело трезвому, так во рту каша застынет. Дурак!!

— И ты хорош, штейгеру служишь.

— Кто служит штейгеру?.. Где этот подлец? — закричали человек пять.

— Вот он!

Дело кончилось дракой. И не в одном кабаке была драка. Мужчины далеко за полночь хороводились, а женщины суетились, сами не зная отчего. Не одна из них перерывала в сундуках свои вещи, пересмотрела подвенечное платье, вдела сережки в уши, сбегала к соседкам покалякать о том, что бы приличнее было надеть, когда приедет ревизор, и спорили между собой: седой он или нет, высокий или низкий, толстый или тонкий, злой или добрый...

Многие из рабочих сочиняли прошения ревизору на управляющего и приказчика, читали, переписывали, но выходило и не ладно и не складно. Это женщин очень злило.

— Вы только на словах бойки!.. Вот и видно, что у вас нету ни на грош ума-разума! — кричали они: — а еще хорохоритесь.

Прошла неделя. Начальство успокоилось. Оно ежедневно получало рапорты от поверенного, что ревизор еще не тронулся; но рабочие совсем измучились. Многие из них даже гривенные свечи ставили, чтобы ревизор приехал поскорее.

Приезд ревизора в завод серьезно занял всех таракановцев. Дело в том, что ни один из них не видал нынешнего ревизора. И поэтому каждый, ожидая его, чувствовал какой-то страх. Почти каждый думал: хорошо бы рассказать ему о худом житьишке, ведь он большой человек и все может сделать. Недаром же его так боятся.

У каждого были знакомые и родные, живущие в других заводах, и они рассказывали, что ревизор не кричит на рабочих, а начальников распекает бойко. Надежд у каждого было много, каждый разговаривал только о нем, и всякий из таракановских жителей, не видевший ревизора, уже хвалил его; женщины не давали покою мужчинам.

— Если вы, олухи царя небесного, будете смотреть на него да хлопать ушами, мы вам не жены.

— А вы прытки больно: сами и суньтесь к нему!

Жены совсем сбили с толку мужчин. Мужчины сделались задумчивы, работа валилась из рук, делалась нехотя; прекратились песни, пьянство; в домах воцарился разлад: мужья сердились на жен за всякую всячину, жены корили мужей бестолковостью; ревновали... Одни только ребята не обращали внимания на приезд ревизора, а ждали, что вот и они узнают, что такое ревизор, о котором они, как и женщины, имели сказочное понятие.

Наконец приехал и ревизор. Первая об этом узнала девочка. Она разыскивала корову и мимоходом увидала около господского дома солдата, хотя солдаты были и не редкость в заводе: еще недавно таракановцы кормили две роты, — но у господского дома раньше солдат не стояло, и потому девочка подошла к солдату довольно близко. Она полюбопытствовала.

— Не подходить! — крикнул на нее солдат.

Девочка вздрогнула, но не пошла прочь. Солдату хотелось развлечься.

— Убью! — крикнул он.

— Оо-ой! так ведь и испугалась!

— Тебе говорят — уйди! По тротуарам не велено ходить... Сам здесь.

— Ой, да што это!..

— Пошла! ты думаешь, я калякать с тобой стану! Ревизор здесь! — И он так толкнул девочку, что она два раза перевернулась около тротуара.

У кабака стояли двадцать семь рабочих. В самом кабаке тесно, там песни и пляски.

— Семен, дай на косушку.

— Нету, братец, у самово. Голова во как болит! Э...

— А штоб этого левизора!.. Ничего не сделаешь.

— Толкуй! приказчик што говорил: всем быть на работах, бочку вина обещал.

— Кабы теперь эта бочка...

Подходит казак.

— Ах вы, штоб вам всем лопнуть!.. На работу! Левизор приехал.

Рабочие с испугом обзирали казака, но немного погодя пошли на фабрики.

Бабы то и дело бежали куда-то; но скрытничали друг перед дружкой.

— Ты куда?

— Ой, не говори, некогда.

— Да ты видела?

— Видела. Ружье у него. О!

Подбегали они к тому месту, где кончается улица и начинается площадь. С этого места видно было господский дом. Дальше они боялись идти.

— Девонька... это левизия? — спрашивала баба свою соседку, указывая рукой на солдата.

— Ишь, солдат. Он ево стережет.

— А што ж он, убежит разе?..

— Толкуй! Коли левизоров стерегут... так што после эвтова с нам-то?..

— Дура ты, девонька. Солдаты баяли, што они потому так торчат, штобы не украли. А ты рассуди: наши мужики разе понимают што? возьмут да и утащат.

— Гляньте: он сюда смотрит.

И бабы шли назад и толковали между собой — только бог один ведает о чем. Они были очень довольны, что видели солдата. Ребята были посмелее, те долго стояли против господского дома, но казаки разогнали их.

Толки пошли по всему заводу различные, и разговаривали всё про ревизора. Одни говорили, что видели ревизора, другие третировали солдата.

К первому часу казаки собрали свободных от работы мужчин на площадь. Мужчины не знали, зачем их собирают. За мужчинами пошли бабы, но их прогнали. Они все-таки стояли в улице так, что видели и господский дом и мужиков.

Час простояли, два. Рабочих было до пятисот. Подъехал к рабочим на пролетке исправник.

— Сию минуту ревизор подъедет к вам, ура кричите. — И он крикнул: «ура!» — и поехал назад...

— Кабы те опохмелиться... Крикнули бы — ух как! — рассуждали мужики.

— Што-то будет с мужиками? .. глядите, как исправник горячится: откуда и голос взялся, — рассуждали бабы.

Приехал приказчик и встал около рабочих, заговорил с ними любезно; его окружили. Вдруг вышел из подъезда господского двора тоненький, низенький человек, в горной инженерной форме, и сел в коляску с управляющим. За ним ехали в линейках горные чиновники, скакали на лошадях исправник и казак. Поровнявшись с рабочими, ревизор поднял левую руку к шапке, мужики сняли фуражки и шапки.

— Ура! — крикнул приказчик и протянул правую руку с бумагой. Но никто из рабочих не подхватил за приказчиком «ура».

— Что это? — спросил ревизор приказчика, указывая на бумагу, которую тот держал.

— Рабочие вашему превосходительству подносят адрес.

— Хорошо. Благодарю! — И взяв левою рукою бумагу, он правою пожал руку управляющего и велел ехать на фабрики. Приказчик обругал рабочих и поехал за начальством. Народ повалил за ним.

Бабы были в восторге. Между ними завязался спор. Одни говорили, что лицо у ревизора желтое, другие — зеленое, третьи говорили, что у него глаза блестят. Но все-таки все пошли за мужиками.

Около фабрик, на плотине, стояло много народа. Народ постоянно прибывал, но женщины стояли за мужчинами. Веселости не было, говорили шепотом; время казалось каждому длинно.

Ревизор осмотрел работы, распек для вида заводское начальство и даже показал ему, как нужно для какой-то штуки печь топить; рабочие смотрели на него во все глаза и ждали случая сказать ему что-то; но он, повидимому, избегал даже того, чтобы остановиться близко рабочего. Когда он стал выходить из фабрики, разговаривая с механиком-англичанином, то один рабочий сказал дрожащим голосом:

— Левизор!

Ревизор остановился, поглядел направо и налево и спросил:

— Кто говорит? Сюда!!

Рабочие почувствовали начальнический тон, лица заводского начальства изменились, сказавший слово рабочий поглядел на товарищей и подошел к ревизору, около которого стояло заводское начальство.

— Говори! — сказал строго ревизор.

— Вот что, ваше благо... ваше... теперича... я теперича... тово... — начал оробевший рабочий.

— Что?

— Покажи теперича... теперича обижают: сына застегали... голубчик...

— Он сумасшедший, ваше превосходительство, — сказал управляющий.

— А! Ну, так отослать его в сумасшедший дом. Ах, позвольте, Карл Иваныч: у вас рабочие все, должно быть, сумасшедшие...

Управляющий растерялся.

— Этот по ошибке попал... — сказал приказчик.

— Не с вами говорят! — крикнул ревизор и вышел из фабрики.

Увидев народ, он спросил управляющего:

— Отчего эти не работают?

— Они... они...

— Они... Я вижу, что они давно они... — передразнил управляющего ревизор и вдруг крикнул народу:

— Довольны ли вы??

Все молчат. Молодые пятятся за стариков, бабы начинают выдвигаться вперед. Одна старуха подошла к ревизору и бросилась к нему в ноги с воем:

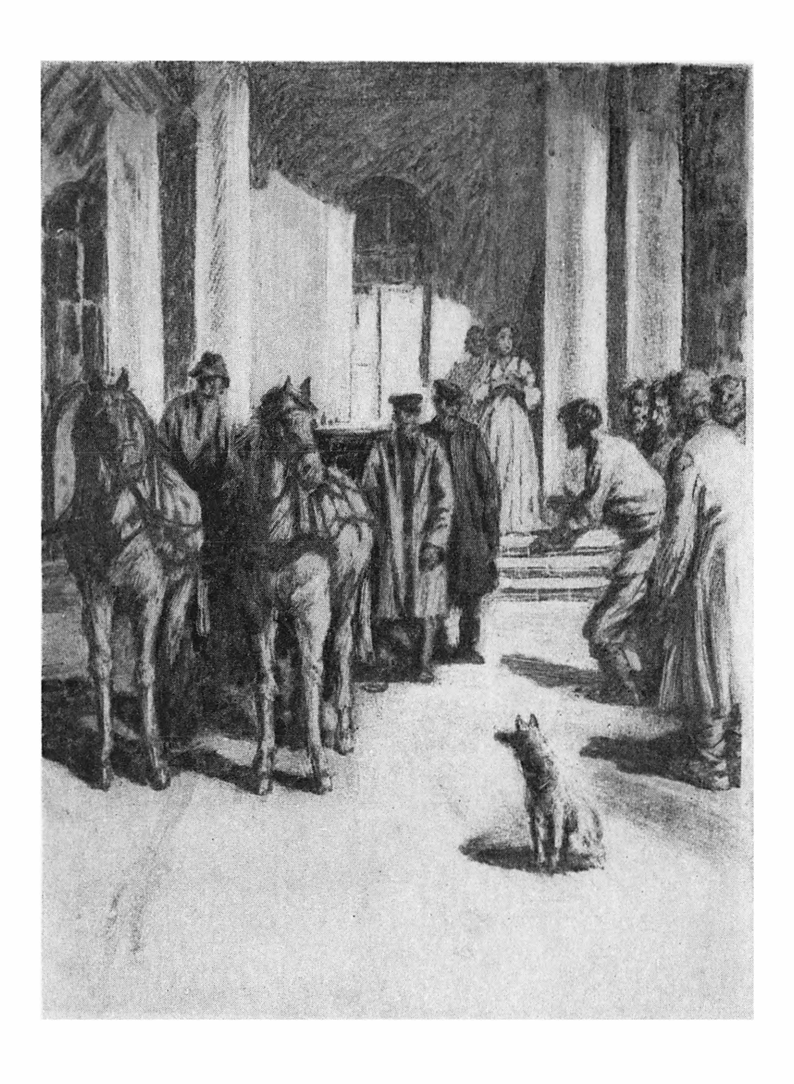
— Батюшка! голубчик!.. помилуй... Всегда покосом пользовались, отняли теперь.

— А!.. Лошадь?!

Вмиг подали лошадь, и ревизор с легкостью резинного мячика сел в пролетку и поехал. За ним поехала свита. Управляющий подошел к народу.

— Я вас, подлецы! я в-вас!!. По домам!! — Потом уехал сам.

Народ заволновался. Больше всех голосили бабы.



— Ну, не правда ли, что вы свиньи! отчего вы не говорили. А?

— Ну-ну, ты первая молчала.

— Ах, штоб вам околеть совсем! Ну, зачем вы, безмозглые, шли-то сюда?

Мало этого, жены стали плевать на мужей, мужчины стали ругаться между собой:

— Ты што говорил? я, говорит, первый начну, — а зачем за Окульку спрятался?

— Да один бы...

— Будьте вы прокляты, хвастуши. Вот и надейся. На словах так города берете.

Половина разошлась по кабакам, из остальных одна половина пошла домой, другая на площадь к господскому дому. В верхнем этаже господского дома играла музыка, перед домом стояли линейки, две кареты. Человек пятьдесят мужчин и женщин подошли к солдату и стали спрашивать его: увидят ли они еще ревизора? Тот объявил, что ревизор после обеда уезжает из завода. Это удивило рабочих.

— Да ты врешь! как же прежде, говорят, левизоры вином поили, а теперь...

— Положенья такого ноне нет, потому бунтуете очень.

— Братцы, солдата надо водкой попотчевать. Солдат, айда в кабак...

— Нельзя...

— Вот тебе раз! Водку пить нельзя? Да он, братцы, смешной какой-то. Пойдем, говорят. Мы тебя угостим.

— Уйти нельзя, караул!

— Дурак брат ты — караул нашел! Да ты чего караулишь-то?

— Служба такая — закон... Ничего я не караулю...

— Жалко его, братцы. Илюха, беги — купи полуштоф.

Через несколько минут один рабочий принес полуштоф. Солдат выпил немного, еще выпил и скоро весь полуштоф выдул, а как выдул, и расположился спать под окнами, ружье положив под голову.

Рабочих это долго смешило, и они целый день разговаривали про этого солдата.

Бабы стали миролюбивее.

Но больше всех перетрусилось заводское начальство. Оно знало, что за ним много есть тайных грешков в уездном суде и в других высших инстанциях, есть много важных дел, по которым оно обвиняется в жестокостях и притеснениях рабочих, в воровстве — и т. п. Но никто так не трусил, как управляющий.

Карл Иванович Риттер был сын горного инженера, человека небогатого, который умер рано. Обучался он в горном институте и, окончив в этом заведении курс наук, был послан с чином поручика на службу в горные заводы. О горнорабочих он имел такое же понятие, как о жителях луны. По теории он знал, где и какой должен быть грунт земли, в каком месте должна быть руда, но на практике выходило иначе. Приказывал он рыть гору в таком-то месте; гору рыли, но руды или было так мало, что разработку должно было бросать, — или руды вовсе не было; в рудники спускаться он боялся, и поэтому оказывалось, что штейгера знали лучше его. Впрочем, он, со слов стариков и штейгеров, описывал рудники, происхождение руды, но над этими описаниями долго бы хохотали рабочие. Прослужил он горным смотрителем два года, нажил порядочный капитал, ему показалось скучно жить в провинции, и он, под предлогом усовершенствования себя в горном деле, уехал за границу. Оттуда он вернулся барином и с пустым карманом, женился на дочери знатного человека в горном мире и был определен горным начальником. Прослужив несколько лет в этой должности, он нисколько не обращал внимания на положение рабочих, требовал, чтобы рабочие не получали *даром* усадьбы, покосы, провиант, и старался нажить себе состояние посредством тихого общипывания казны. Наконец, бывши за границей, владельцы таракановских заводов уполномочили его на управление своими заводами, и он вышел в отставку, потому что владельцы назначили ему жалованье в пятнадцать тысяч рублей серебром, господский дом и определенное количество процентов с выплавленных металлов.

До двух часов ночи управляющий советовался с своею правою рукою — приказчиком, как ему лучше принять ревизора, главное — чтобы не дать заметить беспорядков. Приказчик уверял, что адрес, который он подаст ревизору от имени рабочих, выручит их из беды, потому что

в адресе рабочие очень радуются приезду ревизора, благодарят его за то, что он дал им хорошего управляющего, и потому вечно будут молить бога за него...

Среди хлопот приказчик забыл о Прасковье Курносовой. Рабочие с утра до вечера работали на площадях, на улицах, вычищая и выметая все грязное, замеченное приказчиком; несколько каменных домов белили; училище было переведено из столярни в каменный дом; мальчикам выдали по рублю денег для того, чтобы они хоть как-нибудь обулись и повязали шеи платками; везде была суетня; даже бабы, и те суетились, проклиная свою жизнь... Все готовились, как к большому празднику.

Вот в это-то суетливое время Корчагин и отправился к столоначальнику главной конторы, которому он прошлого года делал рамы и окна.

— Отвяжись ты с своим паспортом! Никого не велено выпускать из завода, — сказал тот.

— Да ведь баба не мужик; с нее на заводе работы не спрашивается.

— Нельзя.

Корчагин положил на стол пятирублевую ассигнацию. Столоначальник на первых порах не знал, что и делать: хочется и деньги взять, а если взять, так надо билет дать, а билеты не велено давать: есть приказ в его столе от управляющего.

— Ну, была не была! только для тебя, Корчагин, делаю это. Да и что тебе за фантазия непременно теперь билет получать?

— Священник просит; а время не терпит; как можно, говорит, скорее посылай мне свою племянницу, — говорил Корчагин столоначальнику.

— Значит, ты его надул.

— Надул.

Ночью Корчагин выехал с Тимофеем Глумовым в город, с ними поехала и Прасковья Игнатьевна. Родственникам их было заказано, что если спросят Прасковью Игнатьевну, то сказали бы, что она пошла третьего дня к приказчику и с тех пор ее не видали, а Корчагин и Тимофей Глумов поехали на ярмарку в Спасский завод, находящийся от Таракановского в семидесяти трех верстах и принадлежащий тоже таракановским владельцам.

ГЛАВА II

Мастер Подкорытов и купец Бакин

До города Корчагин, Глумов и Прасковья Игнатьевна ехали сутки. Дорогой везде, где они ни останавливались, жители были перепуганы известием, что скоро поедет в Таракановский завод ревизор, расспрашивали их, что-то теперь поделывает заводоуправление и зачем они не дождались приезда ревизора. Таракановцы отвечали на эти вопросы нехотя, отрывочно, потому что они торопились в город. У них были свои заботы, и оба они очень боялись того, чтобы их не нагнали, не обыскали и не воротили в завод. А каждый из них ехал в город с известною целию. Так, Глумов вез два куска меди, три полосы железа и разные железные и чугунные вещи за пазухой; кроме того, у него были спрятаны две серебряные ложки, отлитые им в кузнице, а Корчагин вез фунта полтора золота, которое он купил у промысловых рабочих и которое вез теперь известному богачу, раскольнику Бакину, внуку того Бакина, который прежде был управляющим таракановскими заводами. Как Глумов, так и Корчагин уже не в первый раз возили золото, медь, железо и чугун в город и никогда не попадались. Однако и на этот раз они добрались до города благополучно. Прасковья Игнатьевна, сидя посредине долгушки, очень рада была своей поездке и не знала, как благодарить Корчагина за то, что он не допустил приказчика наругаться над ней.

Показались новенькие домики с крышами и без крыш, дворы, ничем не огороженные; потом дворы, огороженные плетнем, дощатыми заплотами; дома лепились друг к другу.

— Ты, Вася, возьми к себе племянницу-то, — сказал Глумов Корчагину.

— А на твоей квартире разе нельзя?

— То-то, што негде. У Потеева-то всего одна конура, а ребят свора. Ведь он птичник, что называется, первый. У него годиц, поди, штук сто.

— Тут тоже ребята; все молодежь. Впрочем, они теперь в мастерской спят.

— Как же мне там? .. Нет, я, дядя, с тобой, — говорила Прасковья Игнатьевна.

— Дура! Там и накормят, а у Потеева-то впроголодь.

Прасковье Игнатьевне очень не хотелось поселиться на первый раз в городе с посторонним человеком; она обиделась на дядю, и когда Корчагин остановил лошадь перед пятиоконным деревянным домом и вылез из долгуши, вылезла и она.

— Так на рынке увидимся! — сказал Глумов Корчагину.

— Увидимся. Пойдем, Прасковья Игнатьевна... Однако, што это такое? — и Корчагин стал смотреть на окна.

Так как был вечер, то в окнах виднелись зажженные свечи, два окна были отворены, и из дома слышались крики, визг, пляска.

— Никак свадьба? — заключил Корчагин и отворил калитку во двор, за ним боязливо вошла и Прасковья Игнатьевна. Тимофей Петрович между тем уже скрылся в переулке.

Двор большой, по бокам крытый навесом. Налево в доме два окна, имеющие расстояние от фундамента полтора аршина, немного подальше окон — парадное крыльцо с полутора десятками ступенек, на которые постлан половик, за крыльцом выходило во двор маленькое окошечко. Против крыльца и окон, у заплота, лежат груды камней, две мраморные плиты; к заплоту поставлены два мраморных креста. Под навесом, у задних построек, бродят две здоровые лошади, запряженные в заводские долгушки, околоченные фигурально железом и выкрашенные голубой краской. Корчагин обошел крыльцо; за углом дом имеет вид двухэтажного полукаменного; верхний этаж недавно обшит тесом, в нем два окна, а в нижнем — три окна и дверь. Далее небольшая решетка огораживает маленький садик, в котором стояли небольшой, простой работы, стол и две табуретки.

Все это, кроме двух лошадей, запряженных в долгушки принадлежит мастеру гранильной фабрики, Гавриле Поликарповичу Подкорытову.

Подкорытов еще с детства приучался вырезывать на камне что угодно, и работа его до сих пор в славе. Обучись он в академии, из него вышел бы известный художник, но он был казенный человек, сын мастерового; родитель не имел и понятия, что если сына обучить делу как следует, то из него выйдет прок, да и родитель видел в сыне усердного работника, помощника себе, и поэтому

ему давались часто работы не по силам. Проработав на фабрике лет десять в качестве мастерового, Гаврило Поликарпыч за одну хорошо обделанную им яшмовую вазу получил звание мастера и теперь начальствует над несколькими фабричными рабочими. Но одно обстоятельство чуть не погубило Гаврилы Поликарпыча. Секретарь конторы гранильной фабрики сказал управляющему, что у мастера Подкорытова есть превосходная вещь — нищий, вырезанный из камня; управляющий приказал принести эту вещь в контору и оставить ее на тот случай, что ее посмотрит генерал, и без сомнения Подкорытову выдадут или награду, или золотую медаль. Но через две недели статуи в конторе не оказалось: ее взял к себе управляющий. Это взбаламутило Подкорытова, он пошел к управляющему; тот сказал ему, что он покупает статую за двадцать пять рублей.

— И пяти тысяч не возьму, — сказал Подкорытов.

— Как знаешь. А ты из какого мрамора делал?

— Из своего.

— А где ты деньги взял?

Подкорытов подал жалобу генералу; управляющий потребовал к себе Подкорытова и сказал ему:

— Ты еще смеешь жаловаться? Изволь отправиться на гауптвахту. Я покажу тебе, как воровать мрамор.

Заплакал Подкорытов, просидел на гауптвахте неделю, а статуи не воротил.

После этого случая Подкорытов ходил на фабрику только для наживы; он взял себе за правило: «коли начальники воруют, воруй и рабочий»... И в качестве мастера он браковал хорошие камни, возил их к себе домой и покупал для себя горный хрусталь, аметист, аквамарин и другие камни от тех рабочих и крестьян, которые или сами находили их, или покупали у беглых заводских рабочих. Живя в заводах и деревнях, они слышали, что эти камни очень ценные, что за них казна дает порядочные деньги, а иметь эти камни решительно нет пользы тому, кто не знает в них толку. Подкорытов знал, что если крестьянин или рабочий объявит о находке начальству, то ему выдадут деньги разве через полгода или объявят через полицию, что представленный таким-то камень оказался горным хрусталем низшего достоинства, за что и не полагается представившему его денег; или, вместо того

чтобы выдать за камень тридцать рублей, выдадут три рубля. Подкорытов знал цену каждому необделанному камню и покупал его с барышом для себя и безобидно для продавцов.

Когда Подкорытов разжился, то передал наблюдение за работами на фабрике другому мастеру, а сам, приходя туда, только шутил с рабочими, в дела не вмешивался, и за это все любили его. Впоследствии он открыл мастерскую дома; в ней работали четыре мальчика: выделывали из плит памятники, из мрамора — кресты, вырезывали на них стихи и разные разности; а так как он считался в городе за известного мастера, то его заваливали работой, только теперь он предоставил мастерскую в распоряжение своему девятнадцатилетнему сыну Ивану, тоже мастеру.

С Корчагиным Подкорытов познакомился назад тому лет шесть. Приезжал он раз на завод купить мрамора, а в заводе жил его тесть, почтальон, часто возивший с почтой мрамор. Этому почтальону Корчагин делал садок для птиц, садок понравился Подкорытову; он разговорился с ним и пригласил навестить его, когда он будет в городе. С этого времени они сошлись так, что Корчагин уже в четвертый раз останавливается прямо у Подкорытова.

Когда вошел Корчагин в избу, в кухне присходило ликование: трое парней, от четырнадцати до восемнадцати лет, сидели за столом в переднем углу, играли в карты, куря воронкообразные папироски; каждый из них что-нибудь говорил, каждый кричал, кривлялся, размахивал руками и хохотал. Посреди кухни парень лет семнадцати, играя на гитаре, отплясывал «сени» — и то и дело подбегал к кухарке, женщине лет тридцати, в ситцевом платье, довольно здоровой, голосистой, которая при каждом подскакивании шалуна шлепала его широкою ладонью то по спине, то по голове. Двое, повидимому рабочих, сидя на скамье под полатями, ели не торопясь по куску рыбного пирога и сдержанно о чем-то толковали. Весь этот гам, хохот ребят, пляска парня, суетня кухарки, то и дело перебегавшей от самовара к тарелкам, привели Корчагина к тому заключению, что у Подкорытова сегодня справляется какой-нибудь праздник.

— Здорово, крещеные, — сказал Корчагин, войдя в кухню и кладя на лавку фуражку. Один из игравших

парней посмотрел на вошедшего; за ним посмотрели остальные, только плясун кружился, не обращая никакого внимания.

— А, Васька Корчагин! — сказал один из игравших и стал играть снова.

— Али у вас бал — черт с печи упал?.. Здорово, Илюха — косые глаза! — проговорил Корчагин, подходя к одному из игроков и ударив его по спине ладонью.

— Ты што, таракановская блоха, долго не бывал? — сказал Илюха.

Прасковья Игнатьевна стояла у дверей и не знала, что ей делать. Пока Корчагин здоровался с рабочими Подкорытова, кухарка Федосья увидела ее и, подошедши к ней, спросила строго:

— Ты што?

— Она со мной приехала, — сказал Корчагин. Рабочие Подкорытова захохотали.

— С законным браком! имеем честь... — галдили они.

Корчагин ничего не сказал на это. Курносова присела на скамейку. Один из рабочих, сидевших на скамейке, спросил ее:

— Ты чья? отколева?

Она молчит.

— Эй ты, долговязый, што у те, у бабы-то, отсох, што ли, язык-то?

Корчагин сердито поглядел на него, а Илюха начал уськать.

— Ты, черномазый, молчи. Не к тебе пришли, не с тобою и знаются. Прасковья Игнатьевна, иди сюда.

Курносова не двигалась с места. Сидевшие на скамейке встали и подошли к Корчагину.

— Видно птицу по полету, кто она таковая! известно, все эти заводские — мошенники... — проговорил один из них, небрежно набивая махоркой трубку.

— Уж и не говори! где фальшивые бумажки делают, как не в заводах? — проговорил его товарищ, заливаясь горластым смехом.

— Как бы ты был умнее, я бы поговорил с тобой. Ты вот што скажи: пошто вас гранильщиками называют? — сказал Корчагин.

— Вы, коли в гости пришли, так должны молчать; а не то подите на улицу, — кричала кухарка.

Несколько времени городские рабочие приставали к Корчагину, но он не обращал на них никакого внимания; они, ворча, сели на скамейку. Здесь не мешает объяснить следующее обстоятельство: городские рабочие принадлежали не помещикам, а казне и потому носили форменное платье. В сущности назначение как казенных, так и помещичьих рабочих состояло в том, чтобы работать, но помещичьи рабочие завидовали казенным, потому что они жили в городе, где находилось главное горное начальство, которому можно было жаловаться; с своей стороны, казенные рабочие относились к помещичьим свысока, как будто думая, что они принадлежат казне или царю, а не какому-нибудь частному лицу. Кроме этого, у казенных мастеровых были еще такого рода преимущества, каких не было у крепостных, а именно: сын мастерового, обучившись в горных училищах, мог сделаться урядником (звание, равное унтер-офицеру) и, по выслуге определенного законом срока, мог получить обер-офицерский чин, который давал право или на переход на службу в другие ведомства, или на выход в отставку.

Между тем Семен сидел около Прасковьи Игнатьевны.

— Какое, слышь, у те лицо важнеющее! .. — И он брал ее за руку. Курносова убежала во двор.

— Ну, ты куды ее? — спросил Илья Корчагина про Курносову.

— К Бакину. В прошлый раз я обещался ему.

— Разве она из гульных?

— Избави бог!

— А баба ничего: можно жениться... Што ж ты не женишься? — проговорил другой рабочий.

Корчагин промолчал. На другой день, проснувшись ранним утром, Корчагин собрался идти к купцу Бакину.

На углу Макулинской улицы и Бакинского переулка стоит большой каменный двухэтажный дом, принадлежащий коммерции советнику Бакину. Как дом, так и хозяин его известны в городе даже ребятам, потому что с именем богача Бакина соединяются самые разноречивые и двусмысленные толки, которых таинственность придает им особенный характер. Никто наверное не знает: что такое Бакин? Человек он лет шестидесяти, лысый, с седою бородой, с задумчиво-смиренным взглядом.

Летом он ездит в купеческом кафтане, носит сюртуки, зимой ездит в собольей шубе и собольей шапке. В магистрате он бывает раз в год; вежлив он со всеми; бывает у высшего начальства на обедах, первый жертвует тысячи на богоугодные заведения, но ни с кем не входит в близкие и интимные отношения. Купцы всячески старались заискивать его расположения, зная, что он имеет несколько миллионов денег; чиновники, особенно горные, хвалили его, как превосходного человека, за то, что он щедро дарил их рублями; таракановцы видели в нем защитника, потому что вся его прислуга была из таракановцев, и Бакин иногда заступался за них под видом благочестия. И все-таки о нем ходили самые странные слухи.

Никто так хорошо не знал Бакина, как Василий Васильевич Корчагин и его бабушка Марфа Потаповна Бездонова. Род Бакиных идет от московских торговых людей. В начале гонения на раскольников Петр Бакин принужден был с своим семейством бежать. Он поселился на соляных промыслах, принадлежавших Строгановым. Там его и его товарищей, пришедших вместе с ним, не принуждали к новизне, а заставляли работать, но так как Бакины торговали солью, то их стали преследовать, потом пытать; однако сыну Петра Бакина, Аристарху, удалось убежать, и он приютился в Таракановском заводе, на Козьем Болоте, выдав себя за раскольничьего архиерея. Но Аристарх никак не думал, что его записали в крепостные; это узнал его сын Семен, торговавший на широкую руку в господском порядке и считавшийся первым богачом и мошенником. Богачом его считали бедняки, получавшие от него по субботам гривенники, а мошенником — начальство, потому что он его ловко обирал и надувал. Наконец Бакин, выпущенный на волю за то, что построил в заводе единоверческую церковь, записался в купцы и повернул дело так, что заводоуправление стало одолжаться у него и в восемь лет задолжало ему более ста тысяч рублей. Деньги он получил, управляющего сменили, а Бакин уехал на золотые прииски, предоставив своей жене построить в городе дом. Сын его, Андрей Семеныч, десять лет жил то в Сибири, то на Урале, то в столицах, и всеми делами в городе заправляла сестра Андрея, Катерина. Будучи хан-

жой и прикидываясь благодетельницей, она принимала у себя бедных, преимущественно таракановских баб. Замужем она не была, потому что называла себя сестрой милосердия; но аристократия, особенно дамы, рассуждали иначе, потому что им ближе было знать это дело, тем более что она иногда и танцевала на вечерах... Одна прислуга не могла понять ее поведения: Катерина ездила на гулянья, на балы, а дома носила вериги и заставляла дворника бичевать себя.

Теперь она умерла. Андрей Семеныч имеет не один десяток золотых приисков и живет безвыездно в городе. По вторникам и субботам он принимает бедных и раздает им деньги; таракановцы, как земляки, получают от него советы, а те, которые имеют с ним дела, приглашаются в его комнаты.

Прислуги у Бакина было вот сколько: повар Елисей с молодой женой Марьей, которая подает Бакину умываться, моет посуду, поправляет ему постель; дворник Петр с женой Афимьей, прачкой; кучер Савелий с молодой женой, судомойкой Матреной; садовники — Кирил и Клементий и коровница Акулина, старая женщина. Есть у него и управляющий — Стружков.

Корчагин пришел в кухню Бакина в девятом часу утра.

— Смотрите!.. Эк ево! — сказал кучер Савелий, показывая на Корчагина правой рукой, в которой он держал ложку.

Начались расспросы. Вся прислуга Бакина была таракановская, и поэтому потолковать было о чем. Корчагина пригласили завтракать.

— А я, братцы, к вам бабу привез: знаете Курносиху?

— Што ж она делать у нас будет? Разе к своей любовнице пристроит...

— А это, сам знаешь, нехорошо, потому пример дрянной, — заметил кучер Савелий.

— Так как вы посоветуете?

— Скажи ему, может он и поможет ей чем-нибудь.

Около часу ожидал Корчагин свидания с Бакиным. Прихожая Бакина отличалась от других барских прихожих тем, что левая ее стена состояла из огромной стеклянной рамы, и за ней затеняли свет разные цветы и деревья. Марья, жена повара, то и дело проходила

в столовую и из столовой в комнаты с серебряным самоваром, фарфоровыми чашками — и гордо взглядывала на Корчагина.

— Ступай... да ноги-то вытри, — сказала, наконец, Марья.

— Чисты.

— Вытри, тебе говорят...

Вошел Корчагин в большую комнату с тремя окнами, с лакированным полом, голубыми обоями, с люстрой посреди потолка, с двумя зеркалами. На мраморных столах стояли золотые подсвечники, вазы; у окон в больших банках росли цветы. Разнообразия так много в этой комнате, что сразу трудно все осмотреть. Из этой комнаты три хода, из которых один шел в оранжереи, которые тянулись из комнаты книзу по лестнице и оканчивались садом. Здесь пахло не то ладаном, не то мускусом. Прошли другую комнату, с белыми обоями на стенах. В этой комнате не было цветов, а были на стенах картины в позолоченных рамах. Картины эти изображали каких-то смиренно-бледных мужей, вероятно мучеников раскола. В третьей комнате, с зелеными обоями, расписным потолком, на котором нарисованы нагие женщины, стоял посередине большой стол, на столе большой серебряный самовар, чайный прибор, несколько фарфоровых ваз с фруктами, яблоками и ягодами; окна завешивались большими занавесами. Комната от мебели, статуй, диванов и разных украшений казалась очень маленькой. Сам Бакин лежал на диване в горностаевом халате, в туфлях и бархатной шапочке, наподобие скуфьи.

Корчагин три раза поклонился ему в ноги и, наклонив голову, сказал: «Благослови, отче...» Бакин перекрестил его голову и сказал: «Будь благословен».

— С миром ли?

— С миром, господь милости послал.

Бакин задумался, потянулся, зевнул, а Корчагин подумал: «Взял бы тебя...»

— Я сегодня нездоров, — сказал вдруг Бакин, потирая левою рукою лоб.

Молчание. Стучат маятники часов, поют соловьи и канарейки. Бакин лениво мешает ложкой в чашке.

— Вы не слыхали, что учитель Курносов помер. Он опился с горя... Жена его хоть и не имеет детей, одна-

ко житье ее плохое... Дядю ее вы знаете... — начал вдруг Корчагин, переменив прежнюю манеру разговоров, заключавшуюся в том, что он говорил с Бакиным как дьячок с архиереем, произнося в нос и нараспев.

— Шла бы работать... Именно работать, сын мой, — прогнусил Бакин.

— Я ее привез сюда. Сделайте такую милость...

— Но... теперь, сын мой... Ты бы обратился к моему управителю.

Корчагина эти слова удивили, потому что прежде он сам давал просителям записки или на имя своего управляющего Стружкова, или на имя какого-нибудь должностного лица. Бакин замолчал, замолчал и Корчагин.

— Правда ли, что нам дадут даром волю? — спросил вдруг робко Корчагин.

— Што?

Корчагин повторил свой вопрос.

— Да... я сам хлопотал об этом.

Бакин встал, стал ходить по комнате. Молчание продолжалось минут пять.

— Еще что? — спросил вдруг Бакин.

— Я крупки привез.

— А! много? — спросил живо Бакин, и глаза его засверкали.

— Не весил.

Корчагин вытащил из-за пазухи платок, развернул его; в платке был сверток бумаги, а в бумаге была баночка, в которой заключалось золото. Бакин взял банку, посмотрел и, сказав: «Только!» — ушел в другую комнату. Через полчаса он вышел и сказал Корчагину:

— Фунт с четвертью. А ты сколько заплатил беглым?

— Сто рублей.

Пришел, крадучись, низенький человек в черном кафтане. Это был управляющий Бакина — Назар Пантелеич Стружков, старый человек, с лысой головой, называемый в городе апостолом.

— Назар, выдай ему полтораста рублей, — сказал Бакин управляющему. Управляющий поклонился и спросил: больше никаких приказаний не будет?

— Нет.

Управляющий ушел. Корчагин стоял, он хотел что-то сказать.

— Ну... мне некогда... я еду.

— Андрей Семеныч, я хотел вас попросить... насчет Курносовой...

— Ну?

— Так нельзя ли ей помочь...

— Приходи завтра, — и Бакин ушел.

— Свинья! — прошептал Корчагин и, сжав кулаки, сердито вышел из комнаты Бакина, с намерением никогда больше не являться к нему.

— Ну, скотина ваш барин, — сказал Корчагин, встретившись с дворником Петром.

— Не замай: такого барина едва ли где сыщешь, — смеялся Петр.

— Приходи завтра... мне некогда, — передразнивал Корчагин Бакина. Прислуга захохотала, и все наперерыв стали рассказывать, какое, когда и кому Бакин сделал замечание. Корчагина между тем пригласили обедать.

ГЛАВА III

Странствование Прасковьи Игнатьевны

Когда Корчагин воротился в дом своего приятеля Подкорытова, Прасковьи Игнатьевны уже не было. Изобиженная и напуганная работниками Подкорытова, обманутая его дочерью в том, что Корчагин больше не воротится, она надела зипун и вышла на улицу, не сказавши никому ни слова. Поворотила она от ворот налево, прошла несколько домов; попался ей мужчина, сидящий в телеге.

— Дядюшка, а где здесь рынок? — спросила она проезжающего.

— Какой? Здесь четыре рынка: хлебный, деревянный, два сенных?

— Ну, хоть хлебный.

— Иди в переулок. Потом налево в улицу, потом направо.

Поблагодарила Прасковья Игнатьевна мужчину и пошла. Долго она шла, несколько раз останавливалась перед большими домами, глядела на кареты, но до рынка не добралась.

Ноги начали уставать, хочется есть; а кругом все пусто... «Никак я заблудилась?» — подумала Прасковья Игнатьевна и остановилась...

Куда идти? на квартиру? А у кого она ночевала сегодня? как она спросит, когда и фамилии хозяина не знает — кажется, Подковыркин? Вот спросила она одну женщину: где находится дом Подковыркина? — не знает. Опять пошла Прасковья Игнатьевна. Вот поле какое-то, горка, дом большой, около него солдаты с ружьями ходят. Пошла она к одному солдату робко. Солдат остановился, глядит на нее.

— Чево глядишь! зевай!! — сказал другой солдат и тоже остановился.

Прасковья Игнатьевна поклонилась солдату низко и сказала:

— Не знаешь ли ты, солдатик, дорогу...

— Знаю... а што дашь?

— Нечего дать-то...

— Две дороги: одна в Сибирь, другая в Расею. Ишь, двери-то! из них в Сибирь ходят, а других ворот из этой домины не полагается, — сострил другой солдат.

— Да мне бы на рынок.

— А! Ну, так иди все прямо, как раз в рынок упрешься.

Прасковья Игнатьевна пошла. Солдаты еще несколько раз кричали ей, но она думала о том, куда бы ей деться: хочется есть, ноги устали. Разве христа ради попросить? Но как? «Я молодая... совестно...» Однако она вошла в одну избу, никого нет. Вышла. Вошла в другую, — чай пьют. Попросила христа ради — бог подаст!

«И отчего это я, дура набитая, раньше не подумала? Он, кто его знает, может назло... Он и в заводе-то какой-то чудной...» — думала она о Корчагине, идя сама не зная куда. «Это все штуки дяди: ишь, говорит, нельзя...» И страшно обиделась Прасковья Игнатьевна на дядю.

Вот рынок. Торгаши складываются, запирают лавки, побрякивают ключами и идут домой. Подошла она к бабе, что пряниками торгует.

— Христа ради...

— Сама, матка, христа ради торгую, — сказала та.

— Тетушка... я заблудилась.

— Где ты живешь?

— Не знаю...

Баба вытаращила на нее глаза.

— Ты беглянка?

— Не...

Подошел солдат.

— Служивой, имай: беглянка!

— Ну их! — И солдат ушел.

— Тетушка, у меня билет есть, ей-богу есть... Пусти ночевать.

— Говорят тебе — сама христа ради живу.

Рынок пустел. Зашла она в пустое место, окруженное лавками. Присела на завалинке и заплакала... Стало темно; залаяли собаки, привязанные к нескольким лавкам, застучали палками караульные. Страшно... Уйти бы... «Держи! держи!» — вдруг услышала она и вздрогнула... Сильно застучали палками, громче прежнего залаяли собаки; кто-то за кем-то бежал недалеко... Она крестилась, молилась... Утихло. Отлегло от сердца у Прасковьи Игнатьевны; она начала засыпать... Опять лай... Стало светать; караульные спали, собаки тоже... Крадучись, вышла из засады Прасковья Игнатьевна и скоро очутилась в улице. Вошла она в пустой двор; в доме, как видно, не живут, забралась на сенник и там пролежала до сумерек. В сумерки вышла попросить милостинку, насилу дали кусок хлеба.

— Теперь у меня место есть; только хлебца бы...

Зашла в кухню пятиоконного дома, никого нет, только на столе лежит коврига ржаного хлеба. Она поспешно взяла ее и спрятала под зипун. Входит кухарка с ведром.

— Чево тебе? — крикнула кухарка.

— Места, тетушка, ищу. Работать хочу... — проговорила робко Прасковья Игнатьевна.

— Я тебе... дам место. А под пазухой-то што?

— Ничево.

Кухарка поставила ведро и отдернула полу зипуна. Взглянув на стол, она закричала: «Матушки-светы!.. ой!.. ограбили!!.»

На этот крик пришла толстая барыня.

— Что такое, Агафья? — проговорила она, сжимая губы и растягивая слова.

— Вот, матушка, воровку поймала... Это она все хлеб ворует.

Барыня принялась тузить Курносову как только могла, грозилась отправить ее в полицию, но вытолкала за ворота, не дав ни куска хлеба.

Бессознательно подошла она к плотине. Пруд... Темнеет. Спустилась она к плоту, поглядела на набережную, никого нет. Спустилась с плота по колена; вода студеная, как в ключе... Вышла она из воды.

— Еще пруд! то ли дело у нас-то!.. — сказала она и пошла к самым вешникам, под крышу. Там она заснула.

Звонят в большой колокол. «Пойду в церкву». Был какой-то праздник, и поэтому в церкви было человек тридцать, а на паперти стояло шесть женщин в ободранных одежонках, с истасканными лицами, протягивающих руки в то время, когда кто-нибудь шел мимо них в церковь или из церкви, и голосящих на разные тоны: милостинку, христа ради, убогой, слепой! — и если которая-нибудь из них получала копеечку, то на нее все нападали, обзывали ее отборною бранью...

Курносова приткнулась к последней.

— Ты куда! нет, што ли, других-то церквей?

— Гони ее, Марья, шкуру белолицую... — голосили нищенки. Курносова молчит. Ее стали выталкивать. Шел купец.

— Ах вы, негодяйки! где вы стоите? — крикнул он на нищих.

Вышла из толпы нищенок корявая и, протянув руку, запричитала:

— Слепой, убогой... подай, купец, — отец-благодетель...

— Свиньи! — сказал купец и вышел.

— Ишь, пузо-то лопнуть хочет! нахапал денег-то: два дома имеешь, а нищим хоть бы грош дал, штоб те околеть! — ворчали нищенки, следя за удаляющимся купцом.

Подал кто-то Курносовой денежку.

— Ну-ко, кажи!

— Дели на всех! — голосили нищенки.

Курносова показала денежку; денежку от нее отняли и ее стали гнать; но из церкви стали выходить люди. Все нищенки протянули руки и заголосили на разные

тоны. Прасковья Игнатьевна дрожала от страху и шепотом просила милостинку, проклиная свою жизнь. Она получила три копейки да два грошика.

Прасковья Игнатьевна очень была рада, что насобирала четыре копейки денег; она пошла на рынок, где и купила хлеба. Отдохнувши немного у гостиного двора, она пошла искать себе места.

Долго Прасковья Игнатьевна бродила по городу. Придет в один дом, говорят — не надо, в другом говорят: мы без рекомендации не принимаем, кто тебя знает, может быть ты и воровка... Ходила-ходила Прасковья Игнатьевна, села на тротуар и заплакала.

— Ты што плачешь? — спросила ее какая-то старушка.

— Ой, тетушка, заблудилась я... не знаю, што и делать.

— Ишь ты! Как же ты это заблудилась-то? Нездешняя, видно?

— Из Таракановского завода приехала с дядей Глумовым да мастером Корчагиным.

— Зачем, матка, приехала-то?

— Место они мне хотели найти.

Мало-помалу старуха разговорилась с Курносовой, пожалела ее и посоветовала ей сходить теперь же наискосок, на постоялый двор, где хозяйка нуждалась в работнице.

Двор был весь загроможден телегами, наполненными разною кладью, лошади распряжены; около них суетятся четыре-пять ямщиков; под телегами снуют курицы, выклевывая овес.

Курносова подошла к одному ямщику, который был поближе других. Она поклонилась ему, когда он поглядел на нее.

— Ты што, ехать, што ли?

— Нет...

— Ну?

— Место ищу, в работу.

Вышла из дому хозяйка, оглядела Прасковью Игнатьевну и спросила от нее паспорт. Та дала. Хозяйка, взяв билет, подала его прочитать грамотному ямщику.

— Красивая! — сказал ямщик.

— Да што писано в бумаге-то? — спросила хозяйка.

— Можно: двадцати лет; баба — вдова!
— Да ты говори, што писано, вислоухой!
Ямщик кое-как прочитал вслух; хозяйка, слушая, оглядывала Прасковью Игнатьевну.
— Стряпать умеешь? — спросила хозяйка Прасковью Игнатьевну.
— Умею.
— Ну ладно, посмотрим.
С первой же минуты хозяйка заставила Курносову мыть стол, посуду, выносить помои. У нее болела голова, она чувствовала то жар, то озноб. Ночью она стала бредить, хозяйка злилась, хотела выбросить ее на улицу, но ямщики посоветовали свезти ее завтра в больницу.
Итак, Прасковью Игнатьевну свезли в больницу.

ГЛАВА IV

На бедного Макара и шишки валятся

Между тем как Прасковья Игнатьевна странствовала в поисках за местом, Корчагин, не найдя ее у Подкорытова, вместе с Глумовым отправился, в свою очередь, ее отыскивать. Но его странствованиям суждено было окончиться очень скоро. Оба приятеля попали в острог, где и просидели три недели. Сначала их обвиняли за кражу у Бакина золотых часов с дорогими камнями. А потом, так как у них не было билетов на выезд из завода, то начальство стало требовать из завода сведения: кто такие Корчагин и Глумов и чем они занимаются. Управляющий Бакина, по приказанию своего хозяина, уведомил таракановское заводоуправление, что Корчагин силою вломился в комнаты Бакина и поэтому Бакин просит наказать *злодея* по-заводски. Итак, завелось два дела: о краже часов, с насилием и со взломом, и о бегстве из завода в город для грабежа. Само собой разумеется, грабителей заковали, а в городе была пущена молва, что Корчагин сидит в остроге уже в другой раз; того и гляди, что он подкупит солдат и убежит.

Против Корчагина были все, кроме Подкорытова, который принимал самое деятельное участие в спасении своего приятеля. Ему вся полиция была хорошо знакома,

и он мог бы поэтому творить всякие дебоши, если бы только был расположен к ним. Однако в этом случае полицейские чины отказались принять его совет: обыскать прислугу Бакина, обыскать разных закладчиков и закладчиц. Они не согласились на это, потому что их, то есть полициймейстера, просил Бакин сокрушить во что бы то ни стало Корчагина. Поэтому Подкорытов стал действовать сам. Ему были знакомы все золотых и каменных дел мастера, главные аферисты, отдающие взаймы и под заклад деньги. Все эти господа никак не знали, да и не могли знать, что Подкорытов знаком с каким-то Корчагиным.

Однако он две недели напрасно подлаживался к аферистам. Только раз приходит в магазин золотых и брильянтовых вещей. Разговорился с хозяином, тот пригласил его к себе вечером выпить пунш. Подкорытов от пунша никогда не отказывался. Пришел; начались разговоры о разных разностях, вдруг Подкорытов вынимает из жилетки золотые часы и говорит:

— А сколько эти часы стоят?

— Да как тебе сказать... Прежде они сто стоили, а теперь не больше шестидесяти; пожалуй, за пятьдесят можно купить.

— Ну, брат, ты врешь! Я их за двести не продам, потому они верно ходят, так верно!..

— А вот часы так часы! Таких, я думаю, у самого вашего генерала никогда не бывало. — И обладатель дорогих часов ушел в другую комнату. Немного погодя он вынес золотые часы, которые и стал показывать Подкорытову.

— Вот, батюшко, — на этой недели из-за границы получил.

— Ну нет, мои лучше.

— Да брильянт-то, брильянт-то один чего стоит!

Подкорытов пошел в прихожую под предлогом плюнуть, так как он в хороших домах всегда плевал в прихожей. Там он записал номер часов и число камней. Брильянтщик то и дело хвалил часы.

— Сколько же они стоят?

— Да три тысячи.

— Фю-ю! — просвистел Подкорытов, развел руками и поклонился окну.

Это означало, что он удивился.

— Тысячу возьми — куплю.

— Куды тебе, мастеру, иметь такие часы. Да тебя убьют!

Вечером Подкорытов сходил в уездный суд, сделал справку из дела: какой номер у бакинских часов. Номер оказался схожим с часами брильянтщика. Подкорытов на другой день утром отправился к Бакину, которому он часто делал вещи из мрамора. Бакин принял его сухо, но пригласил сесть на стул.

— Ну, что, Андрей Семеныч, нашли часы?

— Где найдешь! Уж я знаю, что если таракановцы что украдут, то, значит, в воду кануло.

— Хотите, я сегодня же вам принесу ваши часы?

— Как?

Бакин вскочил с кресла.

— Это уж дело мое. Брильянтщик Лефор продает мне их за три тысячи рублей, так я пришел предупредить вас: согласны вы уплатить мне эту сумму?

Бакин согласился, а вечером получил свои часы. Начались спросы. Лефор купил часы от одного золотых дел мастера, тот купил их от афериста, аферисту они были заложены женою бакинского повара Марьей.

Корчагина и Глумова выпустили из острога, а Марью с мужем Бакин прогнал, но не посадил в острог, по известной ему одному причине.

Денег, какие ему следовало, Корчагин не получил; жаловаться было нельзя, потому что его и Глумова торопили ехать; Потеева угнали в лес; жена его между тем успела продать лошадь и долгушку Глумова... Жаловаться тоже было некому.

Корчагина и Глумова отправили из полиции к поверенному с казаком. Поверенный запер их в темную комнату и послал нарочного в завод: что делать ему с выпущенными из острога беглыми? Заводоуправление приказало поверенному отправить их немедленно связанными и представить прямо к исправнику. Против этого протестовать было нельзя. Сказал Корчагин, что он и Глумов подадут прошение на Бакина, но поверенный заметил, что он в таком случае будет хлопотать за Бакина.

Проехали улицы две, почтарь развязал их и повез к Подкорытову, который угостил их, сочинил им просьбу

на Бакина и обещался хлопотать за Прасковью Игнатьевну, о которой в городе не было никакого слуха.

Поехали. Едут молча; отмалчиваются от почтаря. В голове Корчагина и Глумова так много было нехорошего, что каждый из них ничего не мог высказать с толком, не мог связать ни одной мысли. У каждого было свое горе, и поэтому их соображения менялись одно другим, и оба видели друг в друге не то чтобы врага, а человека с дурными наклонностями. Корчагин сердился на Глумова и никак не мог прийти к тому заключению, что Глумов нисколько не виноват. «Если бы я не поехал с ним, то ничего бы не было: я ему говорил, чтобы он Курносову к Потееву взял, а он не взял. На допросах показывал, что я золото продаю Бакину...» Глумову было досадно, зачем он взял с собой Корчагина. Не будь с ним Корчагина, он не просидел бы в остроге чуть не месяц. А для него, торгового человека, каждый день дорог. Корчагин человек ремесленный, он, как приедет, тотчас примется за работу, а Глумов и лошади лишился. На чем он теперь станет возить в город железные вещи? Но главное — его беспокоит то, что скажет его жена. Как он явится перед ее светлые очи? Он наперед знал, что она ему теперь покою не даст, потому что с собою он ничего не везет. «Пропала моя головушка ни за грош! Пропала и торговля у Дашки, потому промены делать нечем. И все это по милости Корчагина».

— Послушай, Корчагин: теперь я через тебя и лошади и телеги лишился; ты это посуди, — проговорил он, не глядя на Корчагина.

— Сам виноват, — сказал грубо Корчагин, не глядя на него.

— Слушай, што я тебе скажу: заплати мне сорок рублей.

Корчагин промолчал.

— Нет, кроме шуток.

— Жалуйся...

— Будь ты проклятое, стругало!

Приятели замолчали. Глумов негромко насвистывал, но боялся, повидимому, смотреть на Корчагина. Корчагин стал еще злее: ему не только не хотелось говорить с Глумовым, но даже смотреть в его спину. Он даже хотел крикнуть ему: не свисти! — но язык точно присох.

После этой размолвки Корчагин и Глумов не разговаривали друг с другом во всю дорогу. Глумов на полдороге от города к заводу сознавал, что он напрасно обидел Корчагина, потому что Корчагина самого обидели, — он потерял в городе Курносову, с которой он, может быть, жил и на которой, вероятно, он хотел жениться, когда будет воля; у него отняли в городе деньги. Он думал, что теперь Корчагин прекратит с ним всякие дела. «И при случае, пожалуй, скажет, што я делаю серебряные ложки... Ведь вот он не выдал меня, а я, дурак, выдал, што он Бакину золото продает. За это его не потянули, потому что в допросах это не включили; а скажи Корчагин про меня, меня бы обыскали. Он за золото чистые денежки заплатил, у него их взяли в полиции; он ничего — молчит, а я на какие деньги лошадь-ту приобрел? А ведь при случае Корчагин поможет мне». Но сколько Глумов ни начинал заводить с Корчагиным разговор, тот отмалчивался. Да и Корчагину не до разговоров было: его беспокоило то — что сделалось с Курносовой? Подкорытов говорит, не видал. А времени прошло много. Неужели она в завод ушла? А может, она и служит у кого-нибудь... Ах, господи праведный, помоги ты Прасковье Игнатьевне!

В завод приехали ночью. Приятелей заперли в полицию, в одну комнату с арестантами.

— Што нового? — спрашивали арестованные. Глумов рассказал им все, что случилось с ними. Корчагин молчал. Он исхудал и сделался бледнее прежнего.

— А мы думали, вам не миновать плетей.

— Да вот Васюха на меня разъерыжился, молчит, хоть ты как ни заговаривай с ним. Послушай, Вася, ведь я так, сгоряча.

— Все равно! Што сказано, того не воротишь.

— А разве мне не обидно? Сам ты это посуди, друг.

— А! теперь так друг... Нет, я не забуду...

— Постой, Корчагин!.. Это еще што, что вас в остроге морили... Здесь-то што творится, — сказал один из арестованных.

— Ты, Алексей, молчи: не растравляй его.

— А што?.. говорите, братцы, — сказал Корчагин таким голосом, точно он предчувствовал беду.

— А тебе придется, верно, на фатере пожить теперь.

— Как так?

— Да так. Твой-то дом с дымом улетел.

Корчагин побледнел и задрожал.

— Што ты врешь?! — крикнул он.

— На четвертый день, как ты уехал, и загорись в фабричном порядке у Платоновой, ну, так-таки пять изб и спалило.

Корчагин молчал.

— А мой-то дом — жив ли? — спросил Глумов.

— Еще сто лет проживет. Не всем же гореть. А важно, брат, горело, что и подступиться было трудно. Известно, строение старое, сухое, дотронись — так пыль одна. Мы было думали: ну, прощай, фабрика, да хорошо, што ветер-то с озера на гору дул, да и сам знаешь — у нас машины первый сорт, не дали. И так дома четыре разрушили понапрасну.

— Отчего загорелось-то? — спросил Глумов.

— А бог ево знает. Болтают, от сажи будто, да вздор... Болтают еще, што Варвару твою видели во дворе Платоновой; а она говорит, што ее овечку заперли во дворе Платоновой. Не разберешь.

— Где же сестра-то?

— Она теперь на Петровском руднике стряпухой. Болтают — с Подосеновым. А Бездониха от испугу померла... Только мать твою перетащили к Вавиле Фомину.

На другой день Корчагина и Глумова выпустили из полиции. Корчагин помирился с Глумовым, но все-таки, говоря с ним, глядел в сторону.

— Ты, Корчагин, коли там што плохо, приходи ко мне, не откажу, — говорил на прощании Глумов.

— Не откажу! Экая свинья! .. Вот што значит быть в беде: этот скот вчера обругал меня, денег спросил, а сегодня уж поддразнивает... Ты узнай наперед: буду ли я еще тебе, подлецу, кланяться. Еще тебя-то пустит ли женушка? — И при этом Корчагин расхохотался.

Горе Корчагина было велико. Положим, что дом строил не он, а его отец, но он к этому дому так привык, что ни за что бы не вышел из него; и хотя он находил, что он построен на старинный манер, но не тревожил его старых стен, потому что новый дом строить не для чего, да и тогда все старики заговорили бы, что

Корчагин богач. Но и это, положим, ничего, а вот где теперь жить?

Еще не доходя сажен пятьдесят до пепелища, он увидал, что вся фабричная улица налево загромождена досками и бревнами. По этому старью, отчасти уже прогнившему насквозь, можно было заключить, что дома в этом порядке построены очень давно. В двух местах двое рабочих складывают бревна, вытаскивают из досок гвозди. Они спорят.

— Нет, Пантелеев, эта доска моя.

— Ну, коли твоя, так хватай, черт те дери!

— Ты не ругайся: ты и так двумя лишними бревнами завладел.

— А ты-то, ты-то, — целую стену стаскал во двор. Не помнят, што ли, что на одном бревне картинка от конфет была приклеена?

— Здорово, братцы, — сказал Корчагин.

— Ты што, убежал, што ли, из острога-то? Острожная сука!

— Выпустили...

— Рассказывай сказки-то. Вот по твоей милости до чего мы дожили!

— Разве я виноват?

— Вся ваша порода такая.

Корчагин пошел к своему месту.

— Куда? — закричал на него один из рабочих.

— На свое место.

— Я тебе покажу — свое место! После экова дела оно наше. Спроси свою-то сестрицу, зачем она платоновский дом зажгла.

— Кто видел?

— У! чуча... острожная сука-а!

Осмотрел Корчагин пожарище: обгорелые столбы торчат, да печи целы; грядны обгорели, посерели и сделались тверды, как камень. Перебрал он угли в ямах, ничего нет; даже обгорелых инструментов нет.

Зашел Корчагин с горя в кабак, выпил осьмушку в долг и стал думать, что ему делать теперь. Придумал он справиться хорошенько насчет дома Игнатия Глумова, но там его приняли сухо, и он не добился никакого толку. Оставалось хлопотать у начальства. Пошел он к приказчику.

— Скажи, пожалуйста, каким образом ты вхож к Бакину? — спросил Корчагина приказчик.

Этот вопрос озадачил Корчагина. В самом деле, быть в комнатах Бакина такому ничтожному человеку, как Корчагин, много значило, и заводоуправление думало, что он, то есть Корчагин, имеет какие-нибудь вредные дела против заводоуправления.

— Видите ли, Финоген Степанович, я знаком в городе с мастером Подкорытовым, а он вхож к Бакину. В это время, как я приехал к Подкорытову, Подкорытов был нездоров и послал меня с запиской за деньгами к управляющему Бакина. Управляющий сказал мне, что Бакин ему не говорил о деньгах. Подкорытов написал письмо к самому Бакину.

— Не врешь — так правда... Мы это узнаем. А о каких ты деньгах, будто украденных у тебя в полиции, говорил поверенному?

— Я с Бакина ничего не получил за то, что я высидел в остроге. Вот поэтому я и хочу с квартальных взыскать двести рублей... Сами посудите дома нет, инструментов нет, у Глумова лошадь с долгушкой украли. Он на меня сердится.

— Ты должен с Бакина просить, а не с полиции, тем более что у тебя не было денег... Да! Тимошка Глумов показывал на допросах, что ты возил золото Бакину и он купил у тебя на двести рублей; а как ты раз застал его с девкой, то он испугался и дал тебе пощечину. Ты думаешь, я ничего не знаю? Ну-ко, что ты скажешь на это?

— Вы уж на этот счет пытайте самого Глумова, потому что он это сказал со злости. Он вчера еще просил у меня прощения.

— А если я велю тебя пытать? Если я тебя турну в Максимовские рудники пешком и велю тебя назначить в самые тяжелые работы?! Мало этого, велю тебя, не принимая во внимание никакие твои оговорки, наказывать каждый день полегоньку, — перед обедом, этак, по десяточку?! Что ты на это скажешь? — И приказчик скрестил на груди руки.

— Воля ваша. Ведь двух смертей не будет, а одной не миновать.

— Нет, я тебе покажу де-ся-ять смертей!!

Минут пять приказчик ходил молча по комнате, покуривая сигару.

— Ишь, выдумали возить золото в город! .. Вы забыли, что у вас есть приказчик... Нет, чтобы подарить! — проговорил он медленно.

— Все это показывал Глумов со злости. Ведь известно всем, что он дурачок.

Приказчик проходил из угла в угол молча с полчаса.

— Вот што, Корчагин, — можешь ты достать мне золота? — спросил он вдруг.

— Не знаю.

— А чужим знаешь! — крикнул приказчик. — Я требую — и баста!

— Похлопочу, пожалуй.

— Не пожалуй, а чтобы через две недели было хоть с фунт.

Корчагину нельзя было отказываться: отказаться — значит навлечь на себя тяжкое наказание приказчика. Приказчик опять походил с четверть часа — и вдруг спросил Корчагина:

— Так ты точно видел у Бакина девку?

— Молодая, красивая... прелесть, — сказал Корчагин, ударяя в слабую струну приказчика.

— Врешь? — сказал весело приказчик.

— Волоса и платье это... просто картина!

— Ах, будь он проклят!! Поди, никто не видит?

— Кроме жены повара — Марьи, что часы украла, — никто не видит; а знать-то, я думаю, знают

— Удивительная вещь! из торгашей какие тузы сделались. А ты корпишь-корпишь, только неприятности одни.

Приказчик замолчал.

— Афиноген Степаныч? — сказал вдруг Корчагин.

Приказчик был занят чем-то. Он не отвечал минут пять. Остановившись у одного стола перед зеркалом, он стал глядеться в зеркало.

Вошла Пелагея Семихина в терновом платье и в сетке.

— Афиноген Степаныч, обедать готово, — сказала она и пошла.

— Постой! — сказал ей приказчик. Она остановилась.

— А что, Корчагин, — которая лучше: Бакина или моя?

— Ваша несравненно лучше.

— Хоть бы вы при людях-то не страмили меня, — сказала Пелагея.

— Ну, пошла на своем место!! А ты, Корчагин, иди на кухню, там накормят

— Афиноген Степаныч! я хотел попросить вас об одном деле.

— Ну?

— После смерти Игнатья Глумова остались два сына и дочь; теперь домом завладел Александр Покидкин. Позвольте мне в этом доме жить; я им буду платить деньги за житье.

— Это дело исправника. А ты вот исполни мое приказание. Тогда посмотрим.

Исправник послал Корчагина к письмоводителю, а письмоводитель запросил двадцать пять рублей.

Корчагин находился в таком положении, что не знал, как теперь ему жить. Насчет дома Игнатия Глумова он должен был отложить попечение, потому что иск должны начать дети Глумова, а у них на дом не было никаких документов. Теперь у него нет инструментов, нет денег и лесу. Нужно призанять у почтмейстера или у кого-нибудь. А он хорошо знал, каково занимать: займешь рубль, да за этот рубль сработаешь кредитору на десять рублей и спасибо не получишь. Больше всего его огорчало поведение сестры — не потому, что она ушла на рудник и живет с штейгером, а ему много наговорили про нее. Его злило то, что она украла деньги, не приберегла его инструменты, которые он скапливал годами. Но опять и то еще может быть, что она и не украла деньги и инструменты, а припрятала. Он пошел к ней.

В рудничной избе, где обедали и спали рабочие, Корчагин не застал сестры. Ему сказали, что она в это время постоянно уходит к штейгеру Подосенову. Корчагин присел. Половина рабочих сетовали, что они не наелись, проклинали Варвару и ложились спать, другие жевали ржаной хлеб, привезенный ими с завода. Все ругали Варвару как только могли, на том основании, что дома у них всегда исправно, а здесь, где женщина служит для них за деньги, они не получают ни хлеба, ни щей и все это идет в пользу штейгера. Все это они старались как можно злее высказать Корчагину, который во всем соглашался с ра-

бочими. Но вот то, что Варвара хочет выйти замуж за приказного Прохорова и строить в запрудской стороне дом в пять окон, — взбесило его.

В это время вошла в избу Варвара Васильевна, пошатываясь. От нее пахло водкой. Платок с ее головы свалился, волосы растрепались, сарафанишко изодран.

В избе все молчали. Все смотрели то на Корчагина, то на его сестру.

— Здорово живешь, сестричка! — сказал Корчагин ядовито. Многие улыбнулись, но все молчали.

Варвара Васильевна поглядела на брата сурово, толкнулась правым боком об печку, заглянула в печь и упала на пол.

— Камедь! — проговорили несколько человек. Корчагина трясло от злости. Варвара Васильевна встала как ни в чем не бывало, подошла к столу, отворила столешницу, потом пошла прочь. Корчагин подошел к ней и ударил ее по щеке.

— Узнала ты меня? — крикнул он ей и взял ее обе руки в свои.

— Каторжный!.. острожный!!. я тебе... — заголосила сестра и плюнула в лицо Корчагина.

— Сестра! где деньги? — спросил Корчагин ласково.

— Деньги!.. там!! та-а-м... — говорила его сестра, растягивая.

— Отрезвить бы ее...

— Окатить!.. — галдили рабочие, сжимая кулаки.

— Ты замуж выходишь? — допрашивал ее Корчагин.

— И выйду!.. Дом ему построю, потому деньги мне баушка благословила.

— Благословим же ее, братцы?! — кричали рабочие.

— Покажем, как менять нас на Подосенова! — заговорили рабочие и встали. Варвара завопила.

Один рабочий принес охапку розог. Начали операцию над сестрой Корчагина. Корчагин сначала был доволен этим, но когда, по его соображению, казалось, что Варвару довольно наказывать, то он никак не мог удержать рабочих; они кричали:

— Ты деньги берешь! мы хлеб свой носим! По твоей милости в избе холодно! По твоей милости Степка, сын Курносова, околел...

Кончили. Варвара отрезвела и с ревом выбежала

из избы. Немного погодя вошел Подосенов, худенький, низенький человек лет сорока, с свирепою физиономией. На нем был надет тиковый зеленого цвета халат, полы которого были заткнуты за опояску.

За ним шло трое рабочих, из которых один нес охапку розог.

Подосенов назывался рабочими двумя именами — сморчком и винной бочкой; как первое, так и другое название шло к нему.

— Кто кухарку стегал? — крикнул Подосенов, оглядывая рабочих.

Все молчат.

— Который тут брат кухарки?

— Я, — сказал гордо Корчагин.

— Раздеть!! — крикнул штейгер, разводя руками.

С места никто не тронулся.

— Ра-аздеть!! — крикнул во все горло штейгер и вцепился в халат Корчагина.

— Руки коротки, — сказал Корчагин, толкнув штейгера так, что он ударился спиной в печь.

— Ш-што?

— То, што я не под твоей командой состою, — проговорил Корчагин, передразнивая Подосенова.

— Я тебе покажу, покажу!

— Хорош он ноне? — спросил Корчагин рабочих.

— А вот мы поглядим...

— Долой Варвару!

— Не могу... Я... я ее вот как уважаю!

— Уважим!!

И Подосенова выдрали. За операцией спрашивали его: будет ли он жаловаться. Он поклялся и сказал, одеваясь, что он с этих пор уезжает в завод и выходит в отставку.

— В последний раз вы меня дерете, ребята. Волю зачуяли, волю!!. Воля вам будет, ребята, только такого штейгера вам не найти, как я... Я всегда писал, что все исправны, и по моим ведомостичкам выдавали вам деньги сполна...

— Не постегать ли ево сызнова?!

— Посмотрю я, какой будет новый штейгер.

— Поди к... черту!!

Подосенова выгнали из избы.

— Эй?! конец!! шабаш! Все сюда!! — кричал штейгер неистово рабочим.

В полчаса к избе собралось человек полтораста рабочих с подростками и малолетними.

— Вы говорили... Вы проклинали меня?.. Я не хорош!! Ребята?! Эх! ребята!!! Меня заставляли!.. Мне самому невтерпеж было...

— Водку-то пить?.. — ворчал народ.

— Гуляйте!! че-е-ерти!!!

И Подосенов, сев в долгушку, уехал.

— Што он, — очумел?

— С ума спятил! — говорил народ.

— Айда домой, ну их к чертям!

И рабочие пошли домой.

Прошли десять верст; смотрят, лошадь и долгушка Подосенова стоит около лесу, Подосенова нет.

Двое зашли в лес на правую сторону, походили в лесу...

— Висит!

— Кто?

— Подосенов!!

Подосенов повесился.

Этому происшествию все в заводе долго дивились и единогласно заключили, что Подосенов изгиб от пьянства... Но были люди, которые говорили, что Подосенова сильно допекал за что-то приказчик.

ГЛАВА V

Таракановский аристократ и Пелагея Семихина

У бедного человека первая забота о насущном куске хлеба и постоянное желание выйти из-под неволи: но как только бедный человек выбьется из нужды и попадет в начальники, он круто повертывает от своих собратьев по ремеслу и старается подражать тем, кто прежде командовал над ним. Еще хуже, если этот человек из крепостных, сын начальника, не испытавший сам горя. Таков был и Переплетчиков. Прежде, когда он был победнее, — одевался просто, разговаривал с рабочими и принимал участие в их положении; потом мало-помалу он стал отдаляться от своих заводчан: одевался как городской

франт, окружил себя толпой ненужной ему прислуги и смотрел свысока на всех. Вместо одноэтажного деревянного дома он выстроил двухэтажный каменный в двенадцать окон на улицу. Внутренность дома отличалась всеми неудобствами и роскошью первогильдейного купца: полы паркетные, мебель дубовая, везде цветы, в окнах и дверях драпри, на стенах картины, преимущественно соблазнительного свойства, на столах мраморные статуи, в зале стоит мраморный бюст первого заводовладельца под стеклянным колпаком, в кабинете, на столах и в шкафу, лежат резные камни, в клетках распевают соловьи и канарейки. Вместо огорода у него явился большой сад с прудом, в котором водятся караси, ёрши и окуни, ловить которых может только сам приказчик да управляющий. В этом саду раз в год, а именно в троицу, дозволяется гулять рабочим и слушать даром заводскую музыку.

Приказчик Переплетчиков в настоящее время вдов, дочери его с ним не живут; для чего же, спросит читатель, он имеет такой дом? неужели он один занимает его? Верхний этаж занимает он один; половину нижнего занимает его канцелярия, при которой есть даже клетка для виноватых, а другую занимает его прислуга. Стараясь во всем пародировать больших бар и не желая отказывать себе ни в чем, он имеет прислугу, как помещик: у него есть дворник, кучер, садовник, лакей, экономка, горничная, прачка и кухарка. Всем этим людям он ничего не платит, потому что они заводские. Хотелось еще ему завести повара, да в заводе не было таких рабочих, которые бы умели готовить кушанье по карточке, а нанимать в городе повара он не хотел.

Прежде всем хозяйством заправляла жена Переплетчикова и дочь его, Марья Афиногеновна. Когда умерла его жена и дочь вышла замуж за нарядчика Плотникова, тогда хозяйство стала вести двоюродная сестра его жены, вдова Марья Алексеевна, бывшая замужем за чиновником. Говорят, что Переплетчиков и при жизни жены ухаживал за ней, а после стал открыто жить с Марьей Алексеевной, обещаясь жениться на ней. Марья Алексеевна была глупая женщина, читавшая по складам и умевшая кое-как записывать цифры. Она совалась всюду, весь день грызла прислугу, ругалась как базарная торговка, требовала от каждого почтения на том основании, что она дво-

рянка; но ее никто не боялся, вероятно потому, что Переплетчиков нередко бивал ее, теребил за волосы, приговаривая: «Я тебе, шкуре барабанной, покажу дворянство!» Однако, несмотря на то, что во время обедов и балов, даваемых Переплетчиковым, она лезла к заводским аристократкам с разговорами о своих снах и о непочтении к ней прислуги; несмотря на забывчивость такого рода, что, держа в левой руке платок, она искала этот платок, билась, бегала из угла в угол, называя всех ворами и воровками; несмотря на то, что над ней в глаза смеялись заводские барышни, — она была не прочь порисоваться: любила вырядиться, нарумяниться и выставить себя напоказ при всяком удобном случае; и женщина была не промах: без зазрения совести она вытаскивала из карманов приказчика деньги, когда он являлся домой пьяный. Это она называла сбережением на черный день. . .

Переплетчиков, и пьяный и трезвый, потешался над ней вдоволь, но сделать ей ничего не мог. Он ото всех требовал повиновения, а Марья Алексеевна его не слушалась. Это бесило его. «Как? меня все боятся! а эта бабенка и знать меня не хочет; я могу уничтожить ее, а она командует надо мной? . . Сокрушу!» — горячился он и решил постегать ее, но случая к этому не представлялось. Марья Алексеевна прятала концы в воду очень ловко. Зол сделался Переплетчиков, надоела ему Марья Алексеевна. «Прогоню! — думал он. — Нет, я ее наперед выдеру. . .» И эта мысль еще больше раздражала его. Раз он приехал откуда-то ранее обыкновенного. Марья Алексеевна ругалась в кухне. Дверь в кабинет Переплетчиков в этот день забыл запереть, но находящаяся в кабинете шкатулка с банковыми билетами и деньгами всегда запиралась, и он первым делом, как возвращался домой трезвый, подходил к шкатулке, отпирал ее и считал деньги. Теперь, спохватившись, что кабинет не заперт, он кинулся к шкатулке — замок сломан. «А! ладно», — сказал вслух Переплетчиков. Стали обедать.

— Теперь што? — спросил приказчик лакея, подававшего второе блюдо.

— Котлеты-с.

— Позови, каналья, кучера и садовника, а Пантелею вели принести из саду свежих «котлет». Понимаешь? Живо!

Марья Алексеевна думала, что, вероятно, Переплетчиков будет потешаться за обедом над тем, как лакея будут наказывать, — что и случалось прежде.

Вошел кучер, толстый человек, с лысой головой и русой большой бородой, и молодой дюжий садовник. Остановились они у дверей и ждали с нетерпением приказания своего барина. Переплетчиков велел принести из комнаты Марьи Алексеевны сундук, а сам принес из кабинета на сцену шкатулку. Марья Алексеевна побледнела. Все это делалось молча.

— Топор! — сказал Переплетчиков.

Немного погодя был принесен топор. Переплетчиков разломал шкатулку; в ней не оказалось десяти сторублевых бумажек; разломали сундук Марьи Алексеевны: оказалось много вещей, принадлежащих Переплетчикову.

— Пантелей! — крикнул Переплетчиков.

Явился дворник Пантелей, сухощавый человек, с седыми кудреватыми волосами и без бороды. В охапке он держал пучок розог.

— Взять ее! — крикнул приказчик, показывая на Марью Алексеевну.

Как ни кричала, как ни отбивалась Марья Алексеевна, а ее все-таки постегали — и постегали на славу.

— Узнала ли ты теперь свое дворянство? — спросил Переплетчиков, когда перестали сечь Марью Алексеевну.

— Я на тебя, подлец, жалобу подам.

— Вот испужала-то!

И Марью Алексеевну вытолкали из дома приказчика. Жаловаться она не посмела, потому что приказчик подозревал ее в отравлении его жены.

Переплетчиков был женат три раза. Первая жена у него была красавица, и из-за нее он получил должность казначея главной конторы, так как она жила с управляющим, о чем знал Переплетчиков. С начала супружества он любил ее как следует, но потом связался с другой женщиной, на которой потом и женился. Но эту женщину он не мог любить так, как любил первую, бил ее и вколотил во гроб. Третья жена хотя и принесла ему много в приданое, но была женщина больная, и он оказывал больше предпочтения Марье Алексеевне.

Прогнал он Марью Алексеевну, но скоро спохватился: из всех трех жен ни одна так не угождала ему, как эта

чиновница. Правда, она и ругала его, била, но зато все у нее было в порядке, все она делала по его. «Ты ругайся, да делай как я велю». Повиновение жены Переплетчиков считал идеалом добродетели.

После Марьи Алексеевны ему сделалось скучно. Он мог бы выбрать себе в любовницы любую девушку; но кого выберешь? Чиновниц ему больше не надо; не надо ему и грамотных. Ему нужна красавица, неуч, такая, которая бы и пикнуть не смела перед ним. И сколько он ни высматривал подходящих, не находил ни в городе, ни в заводах.

Но вот однажды докладывает лакей, что пришла к нему с просьбой Пелагея Семихина. Он вышел в приемную, взглянул и остолбенел.

Это была высокая, здоровая девушка лет двадцати трех, с очень красивым лицом и голубыми глазами. На голове ее, с причесанными по-городски волосами надет был красный ситцевый платок, на ней самой ситцевый сарафан. На лице заметно выражение грусти, в глазах заметна и робость и покорность.

Такой красавицы Переплетчиков еще не видывал, и он невольно поклонился ей и спросил ее ласково:

— Что скажешь?

— Афиноген Степаныч, отец мой помер, провьянту мне не дают.

— Не положено. А мать есть?

— Нет.

— Дом есть?

— Есть.

— И жених есть?

— Сватается писарь Зюзин.

— Знаю. Ведь он пьяница и картежник? Ты это знаешь ли?

— Слыхала, Афиноген Степаныч.

Семихина вздохнула.

— Что ж, ты по любви идешь за него?

— Не... знаю... Нужда...

— То-то вы дуры! Учить вас некому. А я бы советовал тебе бросить эту фанаберию, потому... Я знаю, что за пособием послал тебя Зюзин... Так?

— Не-ет...

— Ладно. Вот тебе десять рублей.

Приказчик дал Семихиной десять рублей. Семихина поклонилась ему в ноги.

Вечером в тот же день приказчик потребовал к себе Зюзина; Зюзина притащили к нему из кабака. Он был так пьян, что едва держался на ногах, поэтому приказчик велел запереть его в своей чижовке и послал за Семихиной.

— Что, голубушка, — поди, все деньги ухнула?

— Все: долги заплатила.

— И женишку дала малую толику. Где же он теперь — в кабаке?

— Не знаю.

Приказчик крикнул лакея и велел отвести Семихину в чижовку к ее жениху.

Семихина ахнула, потому что Зюзин спал пьяный, на полу лежала разорванная трехрублевая ассигнация.

— Проси прощения у приказчика! он все знает, — сказал лакей Семихиной.

На другой день вечером приказчик позвал к себе Пелагею Семихину. Она кинулась ему в ноги и стала просить прощения.

— Хорошо. Что ж, скоро свадьба?

— Я не пойду за него.

— Что так?

— Пьяница. Он все деньги проиграл.

Она говорила уже свободно, потому что была не из робкого десятка, да и приказчик говорил с ней ласково.

Он опять дал ей три рубля и через два дня позвал к себе. Ее ввели в столовую, где он ужинал.

— Ну, красотка, что ты поделываешь?

— Мне... я сидела... шила.

— Для своего жениха, пьянчуги?.. Вот что: хочешь служить у меня?

Семихина поклонилась.

— С завтрашнего дня тебе будет дело. Хочешь есть?

— Нет.

— Врешь! садись.

— Покорно благодарим.

Однако Переплетчиков уговорил ее сесть; подвинул стул к ней, налил ей рюмку мадеры.

— Пей, красотка! — сказал приказчик негромко и поднес ей рюмку.

— Покорно благо...дарю... — сказала Семихина — и покраснела.

— Ну-ну!

Пелагея выпила, отерла губы платком, а Переплетчиков обнял ее. Пелагея взвизгнула, но Переплетчиков целовал ее.

— Пустите! пустите! — кричала Пелагея, но приказчик держал ее крепко.

Вдруг он выпустил ее и пересел на другой стул. Пелагея вскочила и побежала к двери.

— Куда?

Пелагея, не слушая его, убежала; но выхода из комнат Переплетчикова не могла найти. Приказчик пошел искать ее. В одной из комнат Пелагея стояла и плакала.

— О чем ты, девка, плачешь? о чем ты слезы льешь? — сказал шутливо приказчик.

— Пустите меня, ради христа, — проговорила едва слышно Пелагея.

— На это вашей милости я могу только то ответить, что вы дуры-с набитые, потому единственно, что я тебя хотел испытать.

— Вот уж!

— Право, красотка моя неписаная. Что же ты стоишь, невесело глядишь? Аль Зюзина боишься?

Пелагея замолчала.

— Пойдем ужинать, — и приказчик взял ее за руку.

Пелагея стала отбиваться, но приказчик поцеловал ее, выпустил и позвал лакея.

— Проводи ее. Знаешь? — Да не гляди так. Ужин и вино чтобы были... Понимаешь?

Пелагея пошла за лакеем, который свел ее вниз, в совершенно отдельную комнату и эту комнату запер на ключ, который и отдал приказчику. Из комнат Переплетчикова было четыре хода: один парадный, который вел на улицу и в его канцелярию, другой в кухню — черный, третий в баню, четвертый в отдельную комнату. Эта комната была сделана для матери Переплетчикова, которая любила уединение, или, короче сказать, *спасалась* в ней, а после ее смерти эта комната оставалась никем не занятою.

Утром Пелагея Вавиловна, сидя на мягкой перине, положенной на спальную кровать, завешенную пологом, плакала; Переплетчиков сидел около нее.

— Пустите ли вы меня? — крикнула Пелагея.

— Воля твоя! Иди. Только не лучше ли тебе у меня остаться: ты будешь барыня, ни в чем я тебе не буду отказывать. Только ты будь хороша да ласкова... Ты думаешь, я тебя обидеть хочу! Дура! Если ты будешь хороша, я женюсь на тебе, только ты умей угодить и потрафить мне.

Пелагея Вавиловна слушала и молчала. Когда он кончил, она не знала, что ему сказать; в голове ее бродили неясные слова: приказч... убе... хочет жениться...

Приказчик ушел и запер дверь на ключ. Пелагея опять заплакала. Ее давило горе; но когда она выплакалась, то ей противна показалась прежняя жизнь: прежде ее били, упрекали, смеялись над тем, что она подолгу расчесывает свои длинные волосы; теперь сам приказчик лелеет ее... А если он... так разве не было с ней того же зимой, когда она была с отцом в хлыстовщинской секте... Он — сам приказчик, а Зюзин писарь, некрасивый, пьянюга и батрак; в полиции не один раз драли... Только стыдно... стыдно...

Вошел лакей.

— Афиноген Степаныч приказал позвать вас наверх, — сказал лакей Пелагее.

Пелагея наскоро оделась и пошла.

— Сегодня истоплена баня; ступай вымойся; от тебя как от псины пахнет, а потом я тебе дам женины вещи. Не могу же я смотреть на тебя в такой одежде.

Весь этот день Пелагея Вавиловна провела в неге. На другой день началась служба ее: приказчик, уходя в свои комнаты, сказал ей, чтобы она завтра утром пришла к нему за приказаниями. Когда она пришла, приказчик уже занимался и велел ей достать из комода чистое белье, потом принести с водой умывальник. Нужно было идти в кухню, а Пелагее не хотелось — стыдно. Однако пошла!

Прислуга, бывшая в кухне, косо поглядела на нее, переглянулась, а кухарка сказала:

— С законным браком!

Все захохотали. Лицо Пелагеи Вавиловны зарделось.

— Скоро, девушка, тебя в барыни-то произвели... Вот мы так не можем до такой чести дожиться, — сказал кучер. Все захохотали. Пелагея Вавиловна вспыхнула и, поставив на скамью умывальник с тазом, ушла наверх.

— Что ты? — спросил приказчик Пелагею Вавиловну, видя, что она плачет.

— Обзываются...

Переплетчиков позвонил. Пришел лакей

— Позови-ко сюда Пантелея.

Явился дворник.

— Вы, скоты, как смеете обзывать ее?.. Да я вас всех перепорю, мошенников.

— Мы ничего...

— Я тебе дам — ничего! Скажи всем, что если я еще что-нибудь услышу от нее, не только что перепорю вас, прогоню, в работы сошлю. Пошел!

Прошло дня четыре. Прислуга при входе Пелагеи Вавиловны в кухню шепталась, а молодые люди старались подскочить к ней и, подмигивая товарищам, спрашивали ее:

— Чего изволите, барышня?

— Какое на вас платьице нарядное, — замечал другой.

Пелагея Вавиловна вспыхивала, но молчала и глядела в пол. Идти в кухню было для нее пыткой, и она старалась как-нибудь уговорить лакея, чтобы он заменил ее. А работы у Пелагеи Вавиловны было немного: она мыла чайную посуду, разливала чай, чему она научилась с трудом, гладила белье.

Прошло три недели. Приказчик с ней ласков, прислуга не так надоедает, как прежде.

В пятницу вечером у приказчика были гости: исправник, письмоводитель его и зять Плошкин с женами. Приказчик заставил Пелагею подавать гостям чай. Мужчины сидели в зале, женщины в гостиной.

— А что, какова? — спросил Переплетчиков исправника, когда Пелагея брала от исправника стакан.

— Недурна.

Пелагее Вавиловне сделалось обидно, зачем приказчик хвастается ею и страмит ее. Когда она вошла с подносом к дамам, растягивающим слова по-заводски, то исправничья жена спросила ее:

— Ты на содержании?

Пелагея Вавиловна не поняла этого слова.

— Что ж ты стоишь? — спросила опять жена исправника.

— Чашку...

— Ах ты, дура... Да ты разве не городская?

— Нет.

Пелагею позвал приказчик.

Исправник, Плошкин, письмоводитель и приказчик о чем-то крупно спорили.

Приказчик с исправником жил дружно и нисколько не боялся его, потому что мог во всякое время подкупить его; письмоводителя он считал ни за что, но приглашал к себе как родственника.

— Не бывать! Не бывать! — кричал приказчик.

— Будет! Тогда уж вашему брату отпадет лафа! — горячился исправник.

— А ты думаешь, вашего брата не погонят метлой!

— Не только не погонят, мы строже будем.

— На-ко, выкуси! — И приказчик показал исправнику кукиш.

Завязался спор; каждый считал себя честнее другого, стали корить друг друга.

— Ты за павленковское дело сколько получил, а что делал-то? — кричал приказчик.

— А ты как фабрику-то строил?

— Вы начальство, как можно... Вы рабочих давите, — вмешался письмоводитель.

— Чем?

— Например, глумовское семейство... Кому оно обязано...

— Да что вы меня, скоты эдакие, Глумовыми дразните, чтоб вам всем околеть!

Однако скоро затихли. Подали закуску, вина и водку. За водкой опять стали корить друг друга, опять помянули Игнатья Глумова и Курносова; от них речь перешла ко многим обиженным приказчиком, который свирепел. Гости, не помирившись с приказчиком, ушли по домам.

Когда они ушли, приказчик долго ходил по комнатам и ворчал:

— Вы думаете, я боюсь вас?.. А вот я вам докажу, что я на вас на всех плевать хочу! Вы мне наперед долги заплатите, а потом тащите меня под суд... А хоть я и строг, зато и милостив и доброе дело сделаю, не испугаюсь... У вас есть свои шпионы, а я заведу своих...

Утром на другой день Переплетчиков потребовал

к себе своего письмоводителя и отдал такой приказ: принеси мне список детей Семихина, Ильина, Глумова, Мокеева.

Когда список был принесен, приказчик написал на нем: зачислить в легкие работы на фабрики, выдавать провиант сполна, да пенсии на каждого по пуду в месяц. Доложили ему, что явился Корчагин. Он велел провести Корчагина в кабинет.

— Ну, что, друг сердечный, таракан запечный? Много ли ты нашел золота?

— Две недели, Афиноген Степаныч, пробыл на промыслах. Порядки ноне совсем другие. Всего только полфунта — и то в долг рабочие поверили.

Приказчик взял золото, поглядел и сказал:

— Вот это вернее будет. Можешь нарубить пятьдесят бревен для дому.

И приказчик дал Корчагину записку.

— А что, Корчагин, — Илья Глумов хороший парень, не вор?

— Да.

— Грамоте умеет?

— Плохо.

— Ну, это ничего... Так возьми — почини садок.

Корчагин вышел, не совсем довольный приказчиком, но зато избавлялся от тяжелых наказаний.

По уходе его приказчик позвал к себе своего письмоводителя и, подавая ему список подростков, сказал:

— Гришке Пономареву, что у меня в лакеях, я даю вольготы на полгода, потом записать его в кузницу, а Ильку Глумова записать ко мне. Понимаешь?.. Завтра же быть ему здесь.

ГЛАВА VI

Пелагея Вавиловна делается экономкой у приказчика, а должность Ильи Игнатьича удвоивается

Из предыдущих глав читатель, может быть, заключил о приказчике, что он человек решительно ничего не делающий, а только распоряжающийся на словах. Да и когда, подумает читатель, заниматься ему, если он проводил все время в удовольствиях? Того же мнения был

сперва и Илья Игнатьич, который в кабинет приказчика допускался очень редко. А Пелагея Вавиловна знала, что приказчик деятельно работал, и знала это потому, что она стала доверенною его особой: часто, по его приказанию, она сидела в кабинете, чего не осмеливался сделать никто, даже покойная его жена. Сидела она в кабинете вот почему: приказчик, занимаясь сочинением бумаг, счетами, планами, не любил вставать с места до тех пор, пока не окончит работу, и Пелагея Вавиловна должна была подавать ему то книгу, то упавшую бумагу с полу, то закурить сигару, то почесать спину или ногу... Пьяный он бивал и Глумова и Пелагею Вавиловну, и поэтому Илья Игнатьич рад не рад был улизнуть в прихожую и захрапеть, но Пелагее Вавиловне много было возни с приказчиком. Приходя в кабинет (приказчик, приезжая откуда бы ни было, всегда прямо проходил в кабинет) и бросив на стол бумаги, он садился в кресло и ругал тех, у кого и где он был, — преимущественно начальство.

— Кто, — говорил он, — кроме меня, есть сила? Я командир — я всем орудую! Не будь рабочих, не будь меня, не было бы и вас, скотов: не нажили бы заводовладельцы миллионы, не строили бы в России и за-границей дворцы себе... Вам денежки подай, а мы работай; а от вас што получаешь? того и бойся, што к чертям пошлют... Вы нас за скотов считаете, — хуже!.. Грабить вас нужно...

Пелагея Вавиловна, слушая эти слова, думала: «Хорошо, если бы ты эти речи говорил трезвый: завтра почнешь рабочих обижать да наживать деньги плутнями да обидами...» Она уже не один раз слушала эти слова и имела уже понятие, почему так обращаются с *мастерками* (то есть рабочими). Рассуждали о заводовладельцах и гости приказчика; слыхала она споры о том, от кого пуще достается народу, — но делала вид, что ничего этого не понимала. Раз приказчик спросил ее: умеет ли она читать? — «Нет, не умею». Он ее стал учить, но она ничего не понимала; приказчик наказал ее розгами за непонимание, но и розги не помогли. Призван был к приказчику дядя ее и тайно спрошен: не знает ли он, кто пишет Пелагее Семихиной письма? — но, к счастию Пелагеи, дядя ее сказал: «Кажись, Пелагею никто не учил грамоте, разе у вас выучилась».

— Сними со стены образ, — сказал приказчик.

Дядя Пелагеи принял на себя страшную клятву. Он снял образ, приложился к стеклу и повесил. И приказчик остался доволен. Впрочем, он напрасно беспокоился: Пелагея хотя и умела читать писаное, но никогда не трогала бумаг и была такой человек, которому все равно, есть или нет книги, бумага, перья и карандаши, — да и записывать ей нечего было.

— Палашка! — крикнет приказчик. Пелагея войдет.

— Сказано — стоять! што я — дурак, по-твоему.

— Дурак.

— Почему?

— Потому, не умеешь заставить управляющего в ноги тебе кланяться...

— Молодец девка! Ей-богу, женюсь! целуй меня... А разе я не плут?

— Первая шельма во всем свете, а все же с господами в аду на одну доску не поставят.

— Аминь! Целуй меня, скотина; ноги мои лижи... Озолочу! .. А шельма я, у — какой! Я управляющего, эту пустомелю, в ногах заставлял валяться, а ты все-таки должна мои ноги лизать.

. . . .

Уложит Пелагея Вавиловна спать приказчика и сама ляжет как ей велено лечь: на пол, или вместе с приказчиком, или в кресле. В пять часов она должна будить его. Проснувшись, приказчик выпьет графин воды и принимается за работу, которая продолжалась до девяти или десяти часов. Пелагее было строго наказано, чтоб об его занятиях никому не говорить, а во время занятий, за которыми он выпивал еще два графина воды, никто, кроме Пелагеи, не смел входить в его кабинет. Если у приказчика мало было письменных занятий, то он, лежа, читал бумаги и письма. Если он когда-нибудь не выезжал из дома, то это значило, что он занимался важными делами, и тогда только одна Пелагея входила к нему по звонку.

Илья Игнатьич думал, что приказчик забывает, что он говорит по вечерам пьяный. Но приказчик мог рассказать все, что он говорил и что ему говорили пьяному; но никогда не высказывал этого никому, и только одна Пелагея сумела подметить в нем эту черту, — и как он ни притворялся непомнящим, но она хорошо понимала, что

приказчик любит не лесть и поклоны, а чтоб его приказания тотчас же исполнялись. Если он сказал: лижи мои ноги, — она должна была лизать, иначе это ослушание через день или через неделю припомнится ей, а так как она ни в чем не ослушалась приказчика, то он сначала дивился терпению этой девки и ждал случая, когда она сгрубит ему. Но Пелагея хотя и ругалась, но ругалась так, что приказчик не считал эту ругань за грубость. Приказчик на разные лады испытывал Пелагею, но ничего не нашел в ней худого и раз трезвый сказал ей за утренним чаем:

— Если бы ты не была мерзавка, хорошая ты была бы девка.

— А кто виноват-то: не ваша ли светлость... Кто говорил — женюсь?

— Мало ли что говорится. Говорится, што земля вертится, да я не верю... Скажу тебе откровенно: ты золотая девка, и мне нравится, што ты с таким человеком, как я, умеешь ладить.

— Черт с вами сладит!

— И черт со мной не сладит, а ты тово... За это я тебя жалую в экономки, потому ты теперь при гостях безгласна. Да ты смотри вот што: за тобой будут ухаживать, так ты не отказывайся, приглашай их к себе да выпытывай, што я тебе скажу. Это важно!

Пелагея Вавиловна долго не соглашалась на последнее предложение и доказывала приказчику, что ему врагов нечего бояться.

— Теперь так, а как будет воля — другие порядки будут, — сказал приказчик.

— Пугают вас этой волей...

— А я, думаешь, не знаю, што ты и все рабочие вздыхают по воле. Нет, девка, я человек старый и чувствую, што мне несдобровать. Я люблю командовать, держать в руках начальство... Да не те времена... Вот у меня врагов много, а сокрушить их я неволен. Значит — наступают другие порядки, и бедный смотри в оба и берегись.

— Да как же беречься-то, когда мастерку нет пощады, мастерка без вины обвиняют, — вступалась Пелагея Вавиловна.

— А с нами разве этого не бывает: попадись я — меня не помилуют, если я не имею десяти тысяч. Имей я пять-

сот рублей или будь я честен, мне недели не пробыть приказчиком. Все это я говорю тебе потому, что ты одна умеешь угождать мне. Но горе тебе, если ты хоть одно мое слово кому-нибудь проболтаешь!

Около этого времени приказчик крепко задумал жениться, но куда он ни приходил высматривать невест, ни одна ему не нравилась. «Не прежние годы, когда я был молод да веровал, что жена по нраву всю жизнь будет. Все эти длиннохвостые да бледнолицые — дрянь; ни одна из них не годится мне в жены; все они рады случаю выйти за приказчика, а я вот их удивлю». И выбор его остановился на Пелагее, которой он мог помыкать как его милости угодно. Но он не любил никому высказывать своих секретов, потому что предположения его менялись другими на другой день, когда он был трезвый, да и секреты, высказанные кому-нибудь, могли бы, пожалуй, испортить все дело. Несмотря на скрытое обращение с Пелагеей, ему иногда жалко становилось ее. А это «иногда» бывало с ним утром, когда Пелагея мыла ему ноги, причем ее густые белокурые, как лен, волосы падали на его ногу. Ему хотелось расцеловать ее от души, только гордость не допускала его до этого: он никогда не мог допустить того, что он должен жениться на ней. «Дрянь, ничто!» — думал он о Пелагее.

Бедная девушка уже перестала мечтать о замужестве с Переплетчиковым. Она, проживши несколько месяцев, убедилась, что она для приказчика в одно и то же время — игрушка и хуже последнего слуги. Во всей дворне его она не видела ни одного человека, который бы пожалел ее, с которым бы можно было поговорить от души. В кухне она была предметом развлечения. Когда она ходила на рынок за покупками, на нее как будто все смотрели, и она, поднявши глаза, потупленные от стыда в землю, видела несколько рук, поднятых на нее, и как будто слышала слова: «Вот она, Палашка Семихина, наложница приказчика! Глядите: обручи, обручи!» Ребята бежали за ней и кричали: «Обручи-те всплыли! подними кринку-то!» Бежать ей некуда — да и зачем бежать, когда она сыта, одета, обута, живет в хороших горницах, которые бедной девушке прежде и во сне не грезились? Положим, что она убежит, но что она станет делать с своей несмелостью и робостью? А замуж ее в заводе возьмет

разве тот, кому приказчик прикажет взять, да и этот человек будет бить ее...

Трудно постоянно терпеть, подобно Пелагее Вавиловне. Тут нужно надеяться на будущее, но как надеяться и чего желать?.. Так и билась-мучилась Пелагея Вавиловна и ждала чего-то лучшего. Несмотря на то, что она сделалась экономкой в доме приказчика и была вроде начальницы над прислугою, от этого было не легче, потому что ей приходилось сталкиваться с прислугой чаще, и прислуга постоянно грызла ее тем, что ворона залетела в высокие хоромы. Время шло; она чувствовала беременность, горе душило ее... Поговорить не с кем. Один только Илья Игнатьич нравится ей, да и тот или бегает, или спит. Илья Игнатьич с первого же дня поступления его к Переплетчикову понравился ей. Глумов был рослый парень, красив и всячески старался угодить ей, потому что никто из прислуги приказчика ему не нравился как она, заводская красавица. Сестра его была красивая женщина, но она жила с ним, она родная, а эта чужая; эту обижают все, как и его все презирают. Он понимал, что Пелагея Вавиловна терпеть не может приказчика, как и он, но боялся ущипнуть ее. Вот он стал каждый день помогать ей мыть посуду, но эта работа производилась молча, или они обменивались несколькими словами, относящимися до посуды и мытья ее, в то время, когда был дома приказчик. Когда же не было дома Переплетчикова и Глумов убирал комнаты, она шутя указывала ему, что сделать, хотя и сама мало смыслила; ей нравились споры Ильи Игнатьича, доказывавшего, что это кресло лучше так поставить; нравилось еще Пелагее Вавиловне в Илье Игнатьиче то, что он никогда не жаловался на нее приказчику и ни разу ничем не попрекнул ее. С своей стороны, Илья Игнатьич не слышал от нее таких слов, какие говорят ему кухонные обитатели, и он рад не рад был постоять около Пелагеи, посмотреть ей в глаза и помочь ей чем-нибудь. Оба понимали друг друга, но не заговаривали о том, что их мучило: Илья Игнатьич видел в Пелагее обиженную девушку, опозоренную на весь завод приказчиком, рассуждал об ней так же, как рассуждали и другие рабочие, ненавидящие разврат в должностных людях, находящихся в услужении заводского начальства...

Пелагея Вавиловна ему нравилась более Аксиньи

Горюновой, девушки, постоянно смеющейся, не испытавшей никакого горя. И он стал реже ходить к Горюнову, да и то ненадолго. И Пелагее Вавиловне хотелось говорить с Ильей Игнатьичем, только ей обидно казалось, что он сам не хочет говорить с нею. «Он — лакеишко, а я любовница», — думала она, и сердце ее обливалось кровью... Часто Илья Игнатьич в отсутствие приказчика приходил в комнату Пелагеи Вавиловны, которая сидела за работой, краснел и дрожащим голосом спрашивал:

— Што шьешь? — А потом молчал, более и более робел и злой уходил из ее комнаты.

Пелагея Вавиловна тоже не раз приходила в прихожую и долго стояла, смотря на красивое лицо и на длинные русые волосы спавшего Ильи Игнатьича; но сесть к нему не смела; будить было жалко. Наконец она все-таки не вытерпела. Около Николина дня, после обеда, Переплетчиков уехал из дому. Через пять минут входит Пелагея в прихожую — Глумов спит, растянувшись на рундуке.

— Илья! — крикнула она.

Илья Игнатьич вскочил. Это рассмешило экономку.

— Приехал, што ли? — спросил он, протирая глаза кулаком.

— Нет, не приехал... Да ты што спишь все? только доткнешься до места — и спишь! Вчера, как ты мел полы в комнатах, я ушла в кухню; прихожу через четверть часа, ты сидишь в кресле и спишь и щетку обнял.

Между тем Илья Игнатьич опять лег и заснул. Пелагея Вавиловна посмотрела на него и негромко сказала:

— Илья!

Глумов открыл глаза, посмотрел на Пелагею, сердце его радостно забилось, и он сел на рундуке.

— Хошь в карты играть? — сказала Пелагая Вавиловна.

— Не хочу, — сказал сердито Глумов.

— А што?

— Спать хочу.

— Мне скучно одной-то.

— А мне што за дело... — И он закрылся халатом.

— Экой ты какой неуч! Ну, разговаривать будем, у меня там самовар стоит...

Видя, что Илья Игнатьич не отвечает ей, она ушла.

Но как только она вошла в приемную, Глумов вскочил, вздернул сапоги, накинул халат и пошел к Пелагее Вавиловне. В ее комнате, в два окна, убранной просто, действительно стоял на столе самовар. На блюде лежала сибирская шаньга, разрезанная на кусочки.

Выпили по чашечке молча. Оба глядели друг на друга, оба краснели: у обоих руки тряслись, так что плясали чайные чашки на блюдечках.

— Што же ты молчишь! — спросила вдруг хозяйка Илью Игнатьича.

— А ты што молчишь?

Илье Игнатьичу было неловко. Пелагея Вавиловна была старше его, любовница приказчика, командовавшая над прислугой. Что и как говорить с этой барыней? Если бы она была Аксинья, ту бы можно было ущипнуть, а эту попробуй-ка... Илья Игнатьич сидел как на иголках. Он не смел сказать ей любезности.

— Што же ты не пьешь? — спросила экономка.

— Не хочу.

— Какой ты, право, вахлак... С кухаркой и в карты играешь и разговариваешь...

Илью Игнатьича это взбесило, и он сказал ей дерзко: «Врешь!»

Дня четыре Илья Игнатьич пил чай у Пелагеи Вавиловны, и каждое утро он строил планы, как бы ему лучше объясниться с ней, что она красавица, но, встречаясь с ней, он робел, потому что боялся, — а как она приказчику скажет? Раз сидели они за чаем. Глумов начинает шалить, то есть бросает куски сахару в чашку Пелагеи Вавиловны, та сердится. Напились чаю; Глумов дремлет.

— Илья, — сказала вдруг Пелагея Вавиловна.

Глумов открыл глаза и сел как следует.

— Ты все спишь. Какой ты счастливец.

— А што?

Пелагея Вавиловна не отвечала, а смотрела на Илью Игнатьича. Илья Игнатьич смотрел на нее.

Тем дело и кончилось.

Утром Глумов решил действовать не по-бабьи, но Пелагея Вавиловна вела себя как следует.

Вечером за чаем он вел себя свободнее и уже обхватил Пелагею Вавиловну. Пелагея Вавиловна плакала и говорила:

— Ты не поверишь, как я измучилась.

— Чего тебе мучиться-то? ты столько не делаешь, сколько я делаю.

— Эх, Илья Игнатьич! плохо же ты знаешь... Да и что говорить: ты все спишь. Один только бог знает, что я переношу!.. Даже и во сне я вижу все нехорошее... Прежде я пробуждалась так легко, без заботы, а теперь думаешь, думаешь... Вставать надо, надо будить приказчика, услуживать ему. И кто его знает: может быть, он один раз побьет меня или заставит делать что-нибудь нехорошее...

Пелагея Вавиловна рыдала, Илье Игнатьичу жалко стало ее, но он думал, что его жизнь тяжелее ее.

— А вот ты бы в руднике поработала, как я работал... Это что! Тебе што? ты барыня...

— Не говори ты этого... я сама думала о том, что я глупая. Я думала, што я напрасно мучусь. Ведь не одна я попадаю так насильно к таким людям... ведь мы не виноваты; нам нельзя убежать, ты это знаешь. Одно средство — повеситься.

— Попробуй-ко! нет, я, брат, ни за что не повешусь. Я лучше убью, а не повешусь, — горячился Илья Игнатьич, крепче обнимая Пелагею Вавиловну.

— Кабы я была мужчина, так я бы и в руднике могла робить; ведь и отец мой, и дед мой робили в рудниках, и ты тоже робил. Только нас-то не берут туда, потому нам не вынести, силы у нас такой нет. Все это ничего, да...

— Што?

— Иля, голубчик... Он обещал жениться на мне.

— Рассказывай сказки-то! Переплетчиков не такой дурак, штобы на тебе женился.

— Я тоже думаю.

Скоро приехал приказчик и сказал Глумову:

— В рождество ты поедешь со мной.

А к рождеству приказчик подарил Илье Игнатьичу сюртук и брюки и дал денег на покупку тулупа.

В рождество Переплетчиков, расфранченный, поехал к обедне в собор. Кучер был тоже расфранчен. Илья Игнатьич стоял назади санок. Приказчик важно вошел в церковь. Илья Игнатьич снял с него шубу, которую положил себе на плечо, а калоши и шапку держал в руках. Он стоял около старосты, продававшего свечи.

Давка в церкви была страшная, и рабочие то и дело поглядывали на молодого *лакеишка* и спрашивали его:

— Што, хороша твоя служба?

— Уж коли человек сам не может с себя шубы снять да в руках шапку держать, хорошей службы у него быть не может.

— Ну, я бы ни за што не стал снимать шубы да держать ее. Гляди, какова взопрел парень-то.

— А ты, глумовская выдра, сколько получаешь за такую службу? — спросил Илью Игнатьича один рабочий с усмешкой, желая этим кольнуть Глумова.

— Што ты пристал ко мне, черт? — крикнул Илья Игнатьич. На него поглядело человек пятьдесят. Народ пошевелился; сделалась давка; послышались голоса шепотом: кто?

— Не в отца, брат, пошел, — приказчичья сука... — сказал шепотом один рабочий.

Приехал к молебну управляющий в инженерно-горной форме. Как ни было тесно, полицейские растолкали народ на две половины и устроили проход для управляющего, с которого снял шинель и калоши его лакей в ливрее. Этот лакей стал около Глумова и важно поглядывал на соседа и рабочих. Он принадлежал собственно управляющему, который в числе прочих ста человек купил его у разорившегося помещика. Однако скоро между двумя лакеями начался разговор.

— Ты чей? — спросил лакей управляющего Илью Игнатьича.

— Приказчика Переплетчикова, — отвечал грубо Глумов, глядя исподлобья на лакея управляющего.

— А! — небрежно сказал ливрейный лакей.

— Што, у управляющего хорошо жить? — спросил какой-то рабочий. Лакей промолчал; Илья Игнатьич повторил вопрос.

— Не чета твоему приказчику. Приказчик — подначальный моему барину. Мой барин с ним все может сделать, — говорил громко лакей управляющего. Народ обернулся и зло поглядел на лакея в ливрее.

Оба лакея глядели в разные стороны. Лакей управляющего глядел на рабочих, а Глумов молился.

Немного погодя вышел Глумов на крыльцо, за ним вышел и лакей управляющего.

Этот лакей очень не понравился Илье Игнатьичу тем, что он вдруг начал превозносить управляющего:

— То ли дело мой барин! В город приедет — везде почет, сам главный начальник приятель ему, и мне там большое обхождение... Пьешь, ешь — просто чего хочешь. А этих девок — и не говори!.. Это што, а вот в самом Петербурге мой барин у министра с владельцами обедал, а я с швейцаром был в самых коротких отношениях, за дочкой его ухаживал. Пять тысяч дают, да скверно, что я женат... У твоего приказчика сколько слуг?

— Шестеро, — нехотя отвечал Глумов.

— А у моего барина вот сколько слуг: я самый первый и главный и называюсь камердинером; потом на женской половине — лакей, мальчик и горничная, да на мужской лакей; экономка из дворянок, старушка, потом прачка, судомойка, два повара, два кучера, дворник да для детей гувернантка, потом есть еще буфетчик и швейцар. И все мы жалованье получаем, живем на готовом содержании с семействами, так что нас с ребятишками всего-навсе насчитывается до сорока человек.

После обедни приказчик поехал к управляющему. Перед господским домом стояло десятка два санок. Кучера — непременные работники, прикомандированные к разным *господам,* — или сидели в санях, или стояли кучками и, покуривая табак из трубок и папиросок, толковали о своих господах, о том, какой барин — хороший человек или подлец, о том, как такая-то лошадь не дает себя чистить, запрягаться, и т. п. Здесь они решали разные вопросы, рассказывали сны, хвастались попойками, ухаживаниями за кухарками и горничными, — и узнавали разные новости из заводской и городской жизни.

У дверей в подъезде стоял швейцар, отворявший посетителям двери. Лакеев в приемную не пускали, потому что швейцар снимал с гостей пальто, шубы и шинели тотчас по входе в приемную, большую теплую комнату с колоннами и дубовыми скамьями и вешалками. Из этой приемной шла во второй этаж широкая мраморная лестница с колоннами, с ковром посредине и цветами по бокам.

Илья Игнатьич терся около кучеров и лакеев и в продолжение часа со всеми познакомился. Все они были,

что называется, ухарские, отчаянные, готовые на всякую гадость, и гордились своими должностями. Они ему не понравились и скоро надоели насмешками, расспросами о приказчике; ругали приказчика, как только могли, и относились к нему с пренебрежением. Прошло часа три; холод и голод мучили не одного Илью Игнатьича: стали поговаривать о том, что хочется есть, и — «черт их знает, скоро ли их леший оттуда вытащит». Наконец стали разъезжаться: первый уехал почтмейстер без лакея, и его за это все кучера осмеяли.

— Верно, не пригласил к обеду-то!

— Не за што... Он не стоит того, — кричали кучера.

За почтмейстером вышел асессор казенной палаты, приехавший сюда для освидетельствования торговли. Он уехал тоже без лакея. Опять заговорила толпа. Лакеи говорили, что он хочет жениться на дочери поверенного, а кучера, что ему все купцы не рады: придет в лавку, возьмет дорогую вещь и скажет: деньги пришлю. Тем и кончит ревизию.

Уехали священники на трех санках. Заговорили об единоверческих священниках.

— Теперь што будет у него?

— Обед; то закуска была.

— А обедать кто будет?

— Кто? разумеется, приказчик, поверенный, исправник, горный начальник, инженеры, — да мало ли кто?

— Этак, братцы, до вечера приходится...

— Штоб их всех разорвало там!

Как ни старались кучера и лакеи развлечься суждениями про начальников, насмешками друг над другом, издеваньями над проходящими мимо их, которые говорили им одно: «Погодите тут, а мы уж пообедали и выспались», — однако голод мучил всех. Всем стало обидно: рабочие уже пообедали, а они толкутся на улице, дожидаясь господ, а уехать по домам нельзя. Больше всех запечалился Илья Игнатьич. Прежде в этот день он хорошо наедался, играл и был очень весел. Никто его никак не мог заставить что-нибудь делать или оторвать от игры. Жалко ему сделалось прежних дней; припомнилось много худого и хорошего, припомнилась ему сестра, особенно нравившаяся ему в этот день, когда она играла с ним и с соседними ребятишками в жмурки и тому подобные

игры. Так грустно сделалось ему, что он заплакал, но плакал недолго и незаметно, ругая приказчика как только умел.

Кучера и лакеи часто уходили во двор и выходили оттуда через четверть часа с раскуренными трубками. Пошел и Глумов во двор. Там, направо, в доме было два хода — один в покои управляющего, называемый черным, а другой в кухню. В эту-то кухню и ходили раскуривать трубки лакеи и кучера. Но надо сказать правду, раскуривание трубок было только предлогом войти в кухню: им хотелось узнать, что делают их господа; хотелось погреться и понюхать хотя аромат от кушаний, которыми управляющий угощал своих гостей.

Два повара — один высокий и тонкий, другой низенький, толстенький, с красным лицом, с которого катил градом пот, — суетились около печи, два лакея бегали с тарелками, две женщины мыли посуду — и все они ругались между собой, торопились; посуда звенела, плита шипела; в кухне было темно от пару, несмотря даже на то, что были отворены двери. Из комнат глухо слышалась музыка.

У стола, в переднем углу, обедали и пили водку кучер и лакей горного начальника, которые жили в доме управляющего. Они важно глядели на заводских кучеров и лакеев и на ихние вопросы отвечали нехотя. Поварам, лакеям и судомойкам не нравилось, что заводские кучера и лакеи толкутся в кухне, и они кричали:

— Пошли вон! весь пол изгадили своими лапищами.

— Ничего... мы только закурим.

— А што, скоро? — спрашивал какой-нибудь кучер.

— Што — скоро?

— Отобедают?

— Только второе блюдо, еще шесть осталось.

— Да што они — по часу одно блюдо едят?..

— Пошли, вам говорят!.. Не видите, што ли, — генеральские обедают. Куда вы с вашим суконным рылом да в калашный ряд, — говорили лакеи управляющего. Половина кучеров на свои деньги сходила в кабак и, выпив по косушке, закусила редькой и калачами; другая половина от нечего делать боролась. Часов в шесть гости стали разъезжаться. Последний вышел приказчик.

Когда Глумов стал раздевать приказчика, тот сказал ему:

— А нет ли у тебя на примете какого-нибудь мальчишки, этак лет восьми.

— Есть — дяди Глумова сын, ему будет семь лет.

— Ну, и хорошо. Завтра я уезжаю в город один, и ты можешь гулять эти три дня и приведешь ко мне мальчишку. Как его звать?

— Павлом.

— Пошли сюда Палашку. Скажи мне откровенно: Палашка таскается с кем?

— Нет. Она все плачет.

— Свинья... пошел вон!

ГЛАВА VII

Илья Игнатьич гуляет, Павел становится казачком

Рано утром приказчик, запечатав свой кабинет, уехал. Его провожала вся прислуга.

— Вот и уехал красное солнышко. Гуляем, Илья Игнатьич, — говорила, улыбаясь, Пелагея Вавиловна.

— Ты пойдешь куда?

— Некуда мне идти. Я с тобой хочу гулять. Мы состряпаем хорошие кушанья, прислугу созовем, плясать будем. Я хочу угостить их, штобы они не ворчали на меня.

— А я напьюсь, ей-богу напьюсь!.. Пойду гулять по заводу.

— Дурак!.. Што за удовольствие пить водку?.. Надо, штобы весело было.

— Не хочу я сидеть в комнатах, я гулять хочу.

— Счастливый ты, право... а мне и выйти некуда.

Илья Игнатьич пошел на рынок. Ему хотелось купить шейный платок, такой, чтобы вся приказчичья дворня дивилась, но он, пересмотревши в десяти лавках сто платков, выбрал только один, с рисунком, изображающим лес, озеро и лодку, плывущую по озеру. В этой лодке сидят трое: на корме молодой человек в халате; посреди лодки, лицом к молодому человеку, сидит девушка без платка на шее, а в греблях сидит в шляпе, похожей на горшок, пожилой мужчина. Эта картинка ему очень

понравилась, и он, идя из лавки, долго глядел на платок, рассуждая: «Это Переплетчиков. Так ему и надо! греби, греби крепче... это Пелагея, а это я. А озеро это наше. А вот завода-то и нет». — И он воротился в лавку.

— Ну, што? — спросил его приказчик.

— Да на платке картинка чудесная, одного нет: нашего завода нет; нет ли у те таких, штобы и завод тут наш был нарисован?

— Да ты из каких? — огрел его торгаш, расхохотавшись во всю глотку.

— Давай мне картинку с прудом, — закричал Глумов.

— Экая прыть у лакеишки... пошел, знай! таких картин еще на фабрике не заводилось.

Илья Игнатьич снова исходил разные лавки, но его уже гнать стали, потому что он в одну и ту же лавку заходил раза по три. Платок этот ему так понравился, что он ни за что его не променял бы ни на какие платки в мире. Потом Илья Глумов ходил около магазинов с золотыми и серебряными вещами, разной посудой и думал про себя: «Дрянь все! и деньги были бы, не купил бы. А если бы я был богат, как приказчик, построил бы я около пруда дом, купил бы лодку, сани и лошадь. Летом бы стал рыбачить, а зимой кататься по заводу».

При этом ему вдруг пришла в голову мысль идти к Корчагину, узнать о сестре, но он не знал, где он теперь живет после пожара, бывшего в старой слободе. Он зашел в первый попавшийся ему кабак, под названием «Лапоть», известнейший в заводе по разгулу рабочих.

Кабак для Ильи Глумова не был новостью. Покойный отец его часто посылал за водкой в кабак, посылали его и соседи отца. Дорогой он надпивал водки и приходил домой с посоловевшими глазами. Когда, после смерти отца, он работал на фабрике, то ему часто приходилось бывать с рабочими в кабаках; рабочие угощали его и других подростков на свой счет; случалось, и Илья Игнатьич угощал рабочих, если ему удавалось утянуть от дяди или Дарьи Викентьевны десять копеек. Пил он просто для веселья. Кабак был полон набит рабочими, так что до сидельца с трудом можно было пробраться. Одни рабочие орали песни, наигрывая на гармонийках и притопывая ногами; другие кричали громко,

потому что нужно было кричать, иначе сосед соседа не услышит; третьи сидели уже пьяные. Было тут трое подростков, которые, сидя в разных местах, звонко голосили. От табачного дыму сразу начинала болеть голова, но у Ильи Игнатьича голова не забаливала, только винный и табачный запах казались ему весьма противными.

Один из посетителей, менее других занятый разговорами, дернул Илью Игнатьича за рукав и крикнул:

— Ты што? Братцы, глядите!..

Человек пять поглядели на Илью Игнатьича.

— Илька Глумов?!

— Приказчичий лакей!

— Подслушник!

— Бей его, робя! Што вы тут не примечаете?.. он целый час с нами терся, *тресья вешная!*

Илья Игнатьич притворился пьяным.

— Ах, штоб вас!.. Приказчик, штоб ему околеть совсем, уехал... Вина!.. — кричал во все горло Глумов.

В это время кто-то ударил его в спину.

— Што ты дерешься! за што ты меня бьешь, будь ты проклят? што я тебе сделал?

— Я тебя бью!.. Бьет тебя Гришка Палицын за то, што ты заодно с палицией!..

— Братцы, пустите... Угощу! Всех угощу! — кричал Илья Игнатьич что есть мочи.

Рабочие захохотали.

— Чево вы орете, черти! Вру я, што ли? Я, вот сквозь землю провалиться, украл два целковых и кучу́... Давай штоф! — крикнул он сидельцу.

— Глядите, парень-то?!. Точь-в-точь Игнатко Глумов, дай бог царство небесное...

— Да тебя разве прогнал Фомка-то?

— Боек, коли воровать у приказчика умеет...

— Пейте! — кричал Илья Игнатьич.

Рабочие хохотали, хлопали ладонями по спине Илью Игнатьича и кричали:

— Молодец, Илюха! Ну-ко, сам, сам! Глядите! весь стакан сразу выпил... Ах, черт!

Илья Игнатьич молодецки выпил стакан, покраснел и еще налил стакан.

Рабочие загалдили. Одни говорили об Игнатие Петровиче, другие ругали Тимофея Глумова, скрывшегося

куда-то из завода. Потом около Ильи Игнатьича образовался кружок из двенадцати рабочих, которые расспрашивали его о приказчике и о таких вещах, о чем ему и невдомек было послушать. Илья Игнатьич бойко отвечал на все вопросы: что сам знал, что подслушал, где просто-напросто, по привычке русского человека, врал.

— А про волю не слыхал?

— Будет, говорит приказчик.

Рабочие опять загалдили, а один, наставя кулак над головою Ильи Игнатьича, крикнул:

— Ежели ты еще што про волю скажешь — покойник будешь!.. Потому вы заодно с приказчиком нас мучите, штоб вам околеть...

Немного погодя кто-то запел:

Мое-т миленький да дружок,
Он да уехал
В славный Питер-городок — и т. д.

Человек пятнадцать пели вдруг, присоединился к ним и молодой Глумов. Голос его сильнее звучал прочих.

— А ну ее к черту, эту песню! Плясать хочу! Ситников, играй «Во саду ли, в огороде», — кричал Илья Игнатьич.

— А ты што за командир?

— Ты што за указчик? Али лоб у те чешется?..

— Играй «Сени»!

Скоро заиграли в четыре гармониики «Сени», и вся публика толкалась в тесной комнатке. От выделывания коленями и локтями разных штук многим пришлось не по нутру. Штоф роспили скоро, кто-то взял полуштоф и попотчевал Илью Игнатьича. Он хотя уже и был пьян, но выпил еще стакан.

— Братцы, кто видел Корчагина-мастера? — спросил Илья Игнатьич.

— Корчагин уже не мастер, а куренной рабочий.

Это удивило Илью Игнатьича, но скоро один рабочий крикнул:

— Корчагин!

— Ась! — откликнулся голос Корчагина.

Илью Игнатьича провели к Корчагину. Он, сидя у стола, дремал и ворчал:

— Все мошенники! И Тимошка Глумов мошенник!

В это время он увидал Илью Игнатьича и, не узнавши его в наряде писца, сказал:

— Ты што, чернильная пиявка?

— А то! куда ты мою сестру девал? — крикнул Илья Игнатьич.

— Какую твою сестру?

— Забыл! Ты думаешь, я ничего не знаю? А зачем ты от меня спрятался.

— Да ты-то што за птица?

— Я — Илька Глумов. Говори: где моя сестра Парасковья?

Корчагин был в замешательстве, а Илья Игнатьич вцепился ему в волосы. Корчагин оттолкнул его так, что он расшиб себе нос; но опять вцепился в Корчагина; однако их розняли и поднесли обоим по рюмке водки.

— Не хочу я с ним, подлецом, пить. Он мою сестру увез.

— Дурак ты — и больше ничего. Ты мне обиду большую сделал.

Илья Игнатьич опять хотел вцепиться в Корчагина, но его удержали, говоря:

— Ты не дури! Ты знай, што мы за него все вступимся, а за тебя — никто.

— А разве мне не жалко сестры?

Рабочие захохотали.

— Скажите, какой он в хмелю жалостливый!

— Твой отец не был жалостливый во хмелю, а у тебя, Илька, верно, бабье нутро?

— Нет, братцы, Илька прав: Илька сестру спрашивает, — крикнул кто-то.

— Братцы, виноват ли я, што увез ее в город. Сами знаете, ей не житье бы здесь. . . — говорил Корчагин.

— Верно!

— Што Корчагин скажет — пиши-подписывай: «быть по сему».

— А ты, Илюха, не ершись. . . Твою сестру приказчик хотел в любовницы взять, а я не хотел этого. Взял да и увез в город и к месту пристроил!

— Хора! хора! Ай да Корчагин!

Илья Игнатьич почувствовал уважение к Корчагину.

— Я дал слово жениться на ней и женюсь.

— Хора! хора! . . Водки! Рубаху с себя сниму, а по-

потчую Корчагина, — кричал один рабочий. Все посетители «Лаптя», в том числе и постоянно приходящие, узнав в чем дело, были в таком настроении, что готовы были бог знает что сделать такое хорошее Корчагину; каждый кричал, ругал других; попрекам, кажется, не было бы конца, но тем и кончилось дело, потому что в одном углу двое запели и заглушили своими песнями кричащих; в другом углу двое дрались. Через четверть часа спокойствие водворилось, из гостей одни рассуждали о недодаче денег заводоуправлением, недодаче провианта и дров, а другие плясали, третьи так себе сидели.

Илья Игнатьич сидел рядом с Корчагиным за одной стороной большого стола, за другими сторонами стола сидели по два рабочих, и каждая пара разговаривала между собою, не мешая другим парам. Каждая пара была друзья, еще не совсем знакомые с другими парами, потому что некоторые из них были присланы в Таракановский завод из других соседних заводов.

Корчагин говорил Илье Игнатьичу:

— Ты еще молод и мало испытал горя...

— А разе я не ползал с тачкой в шахте? Што ты хвастаешься-то?

— Не горячись, Илья Игнатьич. То, что ты перенес, еще цветочки. А вот ты с мое поживи. Я еще молод, а смотри, какой я сухой. А отчего все это произошло? Я теперь пьян и потому не умею тебе сказать толком, отчего я такой сделался...

— Ты мастер был первый во всем заводе.

— Был. А теперь куренной рабочий. — А ты думаешь, легко мне досталось мастерство? Эх-ма, да не дома! Я один бился, как рыба об лед. Мне никто не помогал, я сам десять лет учился, десять лет инструменты приобретал. Потом я скопил капитал, надеялся бог знает на что... надеялся завестись своим хозяйством, женой, для того чтобы мне было утешение, развлечение, было с кем слово молвить... Да подвернулась мне в это время твоя сестра... Чего про нее не говорили люди!..

Корчагин тяжело вздохнул, прослезился и выпил стакан водки.

— Так-то, душа моя!.. Я уж тебе говорил, что ей нельзя было жить здесь, и я свез ее в город. И теперь

не знаю, что с ней делается... Приезжаю я сюда... дом сгорел, моя сестра гуляет... А тут и говорить не стоит... А тут меня и в куренные рабочие стурили... Ловко это?

— Што ж ты думаешь теперь?

— Да што думать? Нашему брату только нужно с панталыку сбиться, а тут и пиши — пропало. Когда я теперь поправлюсь?.. Вот я и пью с горя. И глупо я делаю, ей-богу! И Прасковья меня мучит, потому я не знаю, жива она или нет, и положенье мое меня мучит, а все-таки глупо я делаю... А что ж мне делать, будьте вы прокляты все! Ну, скажите што мне делать? Если я задавлюсь, вы скажете: я — дурак, и бросите меня, как собаку... Бежать надо в город, в работники надо идти, вот одно спасенье!.. А как убежишь? Да и не обидно разе мне, што я столь беспокоился? Уж мне не прожить столько, сколько я прожил: прожитые года были хоть и тяжелы, зато я надеялся, а теперь опять нужно сызнова начинать.

— Это верно, — сказал один рабочий, слушавший молча Корчагина; за ним подтвердили и другие, сидевшие за одним столом с Корчагиным. Илья Игнатьич уже спал.

Был уже час одиннадцатый вечера. Посетителей становилось больше и больше. Тех посетителей, которые были при приходе Глумова, в «Лапте» давно уже не было. С тех пор посетителей перебывало много со всех улиц завода. Тут были и приезжие из других заводов и рудников, особенно Петровского, куда к рождеству пригонялись люди из дальних заводов, и эти люди не могли встретить праздник дома, потому что они работали на руднике в первый день рождества и на третий день должны быть на руднике.

Корчагин чувствовал, что он пьян и хочет спать, но вставать с скамейки не хотелось, хотелось еще послушать рабочих, потолковать с ними. Вдруг входит в кабак его сестра Варвара, в оборванной шубейке и с шалью зеленого цвета на голове, а за ней еще какая-то женщина в одном сарафане, с непокрытой головой, — обе пьяные. На шали Варвары, на волосах другой женщины, на плечах и спинах обеих лежал снег; на пришедших за ними рабочих тоже снег, — значит, идет снег.

— Варвара! А штоб те разорвало, — кричат рабочие.

— Угостите водочкой! — И Варвара запела какую-то песню, начала притопывать левой ногой.

Ее обнял какой-то черноволосый рабочий, утащил в угол; другую женщину никто не брал.

Корчагин поднялся с места, надел фуражку и, растолкав Илью Игнатьича, сказал ему:

— Пойдем.

— Я... спать... Я гуляю...

Корчагин взял подмышку его голову и потащил вон из кабака. Ему дали дорогу.

— Видел! — спросил его один рабочий.

— Што же такое? дуру не образумишь.

— Так оно... сам испортил.

Корчагин утащил Глумова в свою квартиру, находящуюся в доме казака Занадворова.

Корчагин хотя и встал поздно, а именно когда уже широко рассвело и не нужно было зажигать лучину или свечку, однако встал раньше Глумова. Глумов пробудился тогда, когда уже отзвонили к обедне; в это время Корчагин обделывал садок для птиц. Кровати у него в избе не было, а изба его украшалась простым столом, небольшой скамейкой, стулом для гостей, сделанным самим Корчагиным, и чурбаном, на котором сидел сам Корчагин. На одной стене висел зипун; с полатей свесилась одна штанина, да виднелась пила. Недалеко от зипуна в стену были заткнуты два небольших ножа, подпилок и долото; около печки лежало несколько поленьев и топор. В переднем углу висел небольшой медный крест, или распятие.

Илья Игнатьич, лежа на полу, долго глядел на Корчагина, удивляясь его ловкости всовывать палочки в перекладинки, но ему хотелось лежать; голова болела, он не мог встать.

— Ты чего... кому это? — спросил он Корчагина.

— Да так... На базар снесу, может купят.

— А ты бы другое што...

— Што я стану делать-то? Смотри — вот все украшение, даже самых главных инструментов нету. А покупать — не скоро купишь, потому капиталов нету. Опять и робить некогда...

— Плохо.

— Плохо, Илья Игнатьич, больно плохо. Горе берет так, что и не знаешь, что бы над собой сделать. Водки выпьешь, еще того хуже: делать не хочется, денег жалко, а поправиться нету сил...

— Ну, я, брат, погулял-таки вчера. Никогда так не гуливал... В чем это я сюртук-то вывалял?

— Больно, брат, ты пьян был... Не годится так пить, потому раз — здоровье свое испортишь, а другой — у тебя еще не такое большое горе: ты еще жить начинаешь.

— Нет, я, Корчагин, гулять хочу. Деньги есть!.. Недостанет — тулупишко пропью.

— А как ты с приказчиком-то будешь ездить?

— Наплевал бы я на него. Што я свинья, што ли, какая? И так все сукой меня называют... Корчагин! давай стряпать пирожки с говядиной... Право. А?

— Ошутел! ха! ха! Ежели бы я был семейный человек — так, а то у меня всего одна деревянная чашка да ложка, да и те где-то на печке валяются.

— Ну ко мне пойдем.

— Не пойду.

— Пойдем, сказано — гуляю! Угощу! У нас, поди, тоже гуляют. Вася, пойдем...

— Нет, мне нельзя, у меня дело есть, а завтра надо на работу идти.

Сколько Илья Игнатьич ни уговаривал Корчагина идти к нему в гости, Корчагин не пошел. Глумов обругал его и направился домой.

Дорогой до своей квартиры, или до господского дома, он еще зашел в кабак и пришел домой без тулупа, совсем пьяный.

— Где у тебя тулуп-то? — спросил его дворник.

— Пропил, и сюртук пропью... Все пропью! — говорил Илья Игнатьич, хохоча и махая руками.

У переплетчиковской прислуги были гости, но он не обратил на них никакого внимания и, кое-как взобравшись на полати, уснул под пляску и песни гостей. Оставался еще один день гулять Илье Игнатьичу, но ему было не до гулянья. Когда он проснулся, ему стыдно стало перед прислугой и перед самим собой. Мысль, как он покажется перед светлые очи приказчика, ужасала

его, и он думал, что хорошо, если он отделается одной поркой, — а если он прогонит его? куда тогда пристроится Илья Игнатьич? .. Нос болит, на нем не то шишка, не то засохло что-то, сюртук и брюки замараны, разорваны; полушубка нет. «Ведь и нос не заживет до завтра?» — думал он.

— И не стыдно тебе так напиваться, мальчишка ты этакой, — грызла его Пелагея, у которой, впрочем, был над левым глазом большой синяк, неизбежный после вечеров.

— Погоди ты, страмец, скажу я приказчику. . . Он те! Куда ты тулупишко дел? — ворчал дворник.

— Он его продал, должно быть. Ну, как не драть их, шельмецов, — поддакивал садовник.

Илье Игнатьичу тошно было слышать все эти слова.

И начал Илья приводить себя и свой нос в порядок, но до порядка еще было далеко. Пелагея Вавиловна починила ему одежонку, и он весь день сидел с ней, играя в карты, причем, вместо того чтобы бить Илью Игнатьича по носу, Пелагея Вавиловна щелкала его по лбу пальцами, отчего к вечеру у него на лбу вскочил порядочный волдырь.

Вечером они пили чай вместе. Пелагея Вавиловна достала из кладовой для Ильи Игнатьича бутылку рому, а для себя бутылку хересу, сказав при этом: «Гуляем! Хоть без него-то погулять!»

Толковали они о пустяках, потом опьянели, развеселились. Илья Игнатьич стал ее щипать за бока, она колотила его кулаком по плечу. Эта игра так понравилась им, что они стали играть в ладошки, то есть щелкать руками друг друга. Потом Илья Игнатьич обнял Пелагею. Она не препятствовала и только сказала дрожащим голосом:

— Ты што — второй приказчик, што ли?

— Ну его! А вот, Пелагея, какой я платок купил — прелесть!

Стал он искать платок и нигде не нашел платка. Это горе проняло его до слез, вся веселость пропала, но Пелагея скоро развеселила его, и оба невольно дошли до того, что стали целоваться, а потом вместе легли спать.

Напрасно ждали на другой день приказчика. Он не приезжал целую неделю, и во все это время прислуга

сидела дома, не смея никуда отлучиться. Зато когда он приехал, то был ужасно сердит, но ничего не заметил Илье Игнатьичу насчет его подбитого носа.

— Он о чем-то думает. Как ни погляжу, сидит с пером и думает, лежит и думает, — говорила Илье Игнатьичу Пелагея Вавиловна.

— Поди, под суд попал, — заметил Глумов.

— А хорошо бы, если б он нас прогнал. Мы бы повенчались и в город поехали. Я бы белье стала стирать, а ты бы в лакеи пошел.

— Гляди, он женится на тебе, — смеясь, говорил Глумов.

Через неделю по приезде приказчик взял с собой Илью Игнатьича и спросил его:

— А тулуп где?

— Меня рабочие избили на пруду: говорят — лакей приказчика; стали бить, я вырвался и тулуп оставил.

— Ну, так и ходи в сюртучишке!

А вечером того же дня приказчик спросил Илью Игнатьича:

— Што ж, где мальчишка?

— Кузнец Саватеев не пускает его; говорит, пусть уплатят мне двадцать пять рублей за обучение.

— Хорошо!

Через час послана была с Ильей Игнатьичем к исправнику записка такого содержания:

«Покорнейше прошу ваше высокоблагородие наказать непременного работника Таракановского завода Ивана Саватеева за ослушание и неявку на работы двадцатью пятью розгами и выслать его на Петровский рудник».

На другой день Павел Глумов был уже на кухне приказчика.

Переплетчикову вздумалось иметь казачка для того, чтобы удивить управляющего, и он действительно удивил его.

Около крещенья у Переплетчикова был бал, на который были приглашены все сановитые особы завода, в том числе и управляющий с семейством. После танцев стали ужинать. Прислуживали только Пелагея, Илья

и Павел Глумов, который был одет в красную рубаху, подпоясанную ремешком с медной застежкой, и в плисовые штаны, засунутые за сапоги. Гости обращались с приказчиком фамильярно и только к одному управляющему относились с подобострастием и уважением

— Послушай, Переплетчиков, неужели у тебя только прислуги? — спросил управляющий.

— Моя прислуга расторопная.

— А это что, любовница твоя?

— Так, по малости... А вы поглядите на этого мальчика — это казачок.

— Казачок! Ах ты, плут! Я только что хотел казачка завести... Что же он у тебя делает?

— Все делает. Павел, пляши.

Павел стал плясать и пыхтеть: пот с него так и лил; гости хохотали.

— Молодец, — сказал управляющий.

— Пой! про волю — пой... как ее: «Уж ты, горе мое...»

Павел пропел. Управляющий остался недоволен.

— Откуда ты эту песню выучил?

— Робята поют.

— Кувыркайся, шельма ты адская! — сказал приказчик, и казачок стал кувыркаться. Это кувырканье опять рассмешило гостей, только нелегко доставалось Павлу. Павел был еще мал, он никогда не был в хороших домах, не видал такого собрания: на него стоило только крикнуть, и он готов был голову сломать, чтобы угодить начальству.

Весь ужин Павел проплясал, прокривлялся и пропел.

— Молодец мальчишка! подойди! возьми косточку, — сказал управляющий. Павел взял косточку и не знал, что делать с ней. Будь на ней мясо — он бы не задумался.

— Грызи.

— Я не собака... — сказал Павел и куксил глаза.

— Тебе приказывают! — крикнул приказчик.

Павел стал грызть, но зубы не брали. Гости хохочут.

— Шельма этот Переплетчиков... Я тобой недоволен, — проговорил управляющий приказчику.

— Отчего?

— Оттого, что я не имею казачка, и никто, кроме

меня, не смеет иметь казачка, — горячо сказал управляющий.

— А почему так?

— Потому, что я здесь глава.

Однако эта вспышка заглушилась скоро тостами за управляющего, и он стал просить Переплетчикова подарить ему казачка.

— Не мой он — господский.

— Я могу сделать, что он будет мой.

— А я не продам, да и воля скоро будет.

— Когда еще будет! Послушай, я могу всю твою прислугу отобрать от тебя.

— Покуда я приказчик, никто у меня прислуги не отымет, а с этой должности вы меня не имеете права сместить.

— Имею.

— А должок-то, двадцать-то тысяч?

— Возьми вексель.

— Нет-с! что написано пером, того не вырубишь топором.

— Подлец! Вот судьба навалила мне черта на шею! ..

Так Павел и остался у приказчика казачком. Должность его состояла в том, что он должен был спать в дверях спальни Переплетчикова, подавать ему то, что Переплетчикову было лень поднять, подавать ему спички, сигары, трубку, разносить чай гостям. Но кроме этого, у него много было дела: Илья Игнатьич заставлял его чистить сапоги, подсвечники и т. п., прислуга заставляла чистить посуду, Пелагея Вавиловна — мыть чашки. Павел все делал безропотно. У него еще много оставалось свободного времени. Раз он как-то прибежал к приказчику в кабинет на его зов. Лицо его было грязное, в слезах.

— Отчего ты такой чупарый?

— Панкрат пьяный дерется. Настьку всю избил; меня избил... Я говорю — скажу, мол, приказчику, што лошадь храмлет, — он как...

— Што? какая лошадь?

— Сегодня говорили, куриц собака съела. Пелагея ругалась сколько... Ключ, говорят, потеряли.

Приказчик позвал Пелагею Вавиловну, распек ее и отправился сам в кухню, в которой он не бывал пять

лет. В кухне выла Настасья, кучера не было, дворник и садовник были пьяные. Приказчик позвал их идти по кладовым, каретникам и сараям. У приказчика было три лошади и четыре коровы; оказалось только две лошади и две коровы.

Приказчик промолчал. А на другой день всю кухонную прислугу потребовали в полицию, наказали розгами, и на место ее явилась новая. Все вещи прежней прислуги и деньги их приказчик велел разделить Пелагее и Илье Игнатьичу, которому внизу была отведена одна пустая комната.

К масленице Илья Игнатьич ходил щеголем и обзавелся друзьями между лакеями, которые ходили к нему в гости и к которым он сам ходил.

ГЛАВА VIII

Тревога в Таракановском заводе и несчастие с Ильею Игнатьичем

Великим постом, в воскресенье, Василий Васильевич Корчагин был дома и чинил почтмейстерскую шкатулку. Ему хотелось кончить работу скорее, а так как работа подходила к концу, то он и не обедал до окончания ее. Часу к четвертому шкатулка была поправлена совсем. И хотя в это время дни уже длинные, но день выдался пасмурный и снежный, отчего в избе Корчагина было темновато. Корчагин пообедал, то есть съел два ломтя черного хлеба да похлебал соленой капустки с солеными огурцами и картофелем. Он не торопился есть, а с умилением поглядывал на шкатулку.

— Слава богу, — говорил он вслух: — кончил. Полтинник получу — и то ладно... Кабы прежняя пора, я бы за эту работу меньше двух целковых не взял... право... ну, да наплевать! Одно горе — долгов пропасть. Вот теперь получу я полтинник, — ну, што я из него сделаю. Хоть я вещей и не закладывал, потому не гуляю, как товарищи, а все-таки долгов много, и деньги взяты на слово. Как бы это расплатиться-то? Маремьяне нужно непременно бы отдать четвертак, штобы совсем совесть очистить, а то шутка — с покрова дожидается,

и дело-то ее больно некорыстное (то есть бедное). Емельянову вон полтора целковых должен, — и тому давно пора возвратить. Эко горе мое горькое! — Потом он лег на печь отдохнуть и раздумался о Прасковье Игнатьевне. Вдруг к нему пришел рабочий Фомин, только что воротившийся из города.

— Здорово, крещеные! — сказал он, входя в избу, снимая шапку, покрытую снегом, и не замечая Корчагина на печке.

— Здорово, Фомин, с приездом! — сказал Корчагин. Немного погодя он соскочил с печки.

— Ну, брат, и город, будь он проклят! — ругался Фомин.

— Што так! али обжегся?

— Куда ни поворотись — везде давай деньги и берегись мошенников... — Фомин немного помолчал и, улыбнувшись, начал:

— Ты ведь ничего не знаешь, а я много вестей привез.

— Што? — спросил, удивляясь, Корчагин: он не знал, какую такую новость мог сообщить ему Фомин.

— Поставь, брат, жбан пива. Ей-богу — штуки!

— И ведро бы поставил, Петр Павлыч, да в кармане-то великий пост.

— Ну, пойдем, я те поставлю от себя; только надо говорить по душе и не хмурясь.

— Да ты скажи.

— Нельзя!

Кое-как Василий Васильевич уговорил Фомина.

— А первое я те скажу — воля вышла.

— Ну! — И Корчагин махнул рукой. — А другое што, — спросил он Фомина, недовольный им.

— Нет, ты слушай: вчера было воскресенье, сам был в соборе, где сам архиерей служил. Манифест читали. Народу што это — и не говори! только рабочих долго не пускали в собор-то, потому начальство ждали.

— Што ж ты — врешь, али нет?

— Што я, подлец, што ли, какой? говорю, манифест читали об воле! Протодьякон читал, голос у него не нашему теперешнему соборному дьякону чета... Важно рявкал!

— Кому же это воля?

— Да тут сказаны крестьяне господские, а об мастеровых ничего не сказано.

— Значит — нам воли нет.

— Толковали тут приказные, што в манифесте-де пропустили нас,— в горном правленье дополненье об нас есть.

— Ну, это все враки! А другое што?

— А другое: иду я это утром в церковь-ту — и встречаю Прасковью Глумову. Худая такая, в шубейке. Ну, вот я остановился против нее и говорю: здорово, Прасковья Игнатьевна. Она как будто не узнала меня, тоже остановилась и глядит на меня. «Не узнала?» говорю. «Да ты, говорит, таракановской... Ты не Петр ли Фомин?» — «Так», говорю, — ну и разговорились. «Где, говорю, ты живешь?» — «А я, говорит, живу в куфарках у столоначальника правленского, Панкратова, три рубля на ассигнации, говорит, в месяц получаю; кормят, говорит. Башмаки, говорит, к новому году подарили, к пасхе тоже, говорит, обещались башмаки купить». Я говорю — мол, Корчагин соболезнует об тебе. А она говорит: «Скажи ему, што он мерзавец, потому меня бросил. Я, говорит, по его милости три месяца в лихоманке была, в больнице лежала».

Это известие очень обрадовало Корчагина. Что касается до воли, то он верил и не верил Фомину.

На другой день Корчагин был у почтмейстера, тот поздравил его с волей и сказал, что к управляющему приехал чиновник от губернатора и привез манифест об воле. Почтмейстеру Корчагин поверил, на том основании, что, по его мнению, почтмейстер должен знать, как почта, что делается во всем свете. Он узнал от почтмейстера только, что всех рабочих уволили из крепостного состояния и что теперь будет от них зависеть — работать на заводе или нет. Больше почтмейстер ничего не знал, но и этого было достаточно Корчагину. Он шел из почтовой конторы веселый, так и порывался сказать каждому встречному: манифест об воле привезли! Но его мучили вопросы: «Что же это такое? какая такая воля? Прежде нас тиранили-тиранили, суда никакого на них, подлецов, не было, а теперь вдруг воля? И кто это схлопотал нам волю?»

Слово «воля» он плохо понимал. Вольный человек — значит человек, никому не подначальный и т. д... Но он думал: не будут ли за эту волю деньги с рабочих взыскивать? или вместо теперешних рабочих пригонят из других мест новых, а нам скажут: вы не годитесь, уходите, братцы, отсюда, вы вольные, люди, много страдавшие прежде, а теперь никому не подначальные... и потому ищите другой работы.

Навстречу к нему летела молодая женщина. Она размахивала руками; на лице ее виднелся испуг, губы дрожали.

— Эк те проняло! што ты, угорелая? — крикнул ей Корчагин.

— Ой, беда!

— Што доспелось?

— Воля!.. — И баба пробежала.

— Дура, — сказал Корчагин и подумал про себя: «Как, право, мы падки до диковинок! надобно доподлинно узнать это дело», — и он повернул к господскому дому. Перед подъездом господского дома стояли трое саней, около них стояли трое кучеров, которых окружали человек пятнадцать рабочих и горячо о чем-то рассуждали.

Подойдя ближе к ним, Корчагин узнал, что это кучера приказчика, исправника и поверенного Тараканова.

— Вон Корчагин!.. Василий, иди скорее! — прокричал один рабочий.

— Ну, што?

— Воля вышла!

— Слышал.

— От самого губернатора, слышь, чиновник манифест привез. Почтовый ямщик об этом сказывал. Он, этот чиновник, ямщику-то бумагу читал.

— Станет чиновник с ямщиком разговаривать... христа ради разе.

— Тебе говорят, разговаривал...

— А ты видел?.. Одно слово — нас пытают, вот што! Ведь уж давно об этой воле говорят.

— Теперь мы совет держим: зачем приехал сюда исправник да приказчик с поверенным.

Вышел из подъезда исправник. Он был сумрачен, к нему подошли рабочие, сняли шапки.

— Ваше благородье, объясни ты нам это дело: вышла воля, али нет?

— Кучер?! — крикнул он своему вознице.

Кучер исправника, ругавший до сих пор своего хозяина, стал ругать рабочих, замахиваясь кнутом, вероятно по привычке угождать исправнику.

Исправник уехал. Так прошло время до воскресенья. Рабочие были в таком настроении, что головы у них точно были не свои, руки опустились, ноги ослабели, мало елось. Дома, на работе — только и было говору, что о губернаторском чиновнике и о манифесте. Теперь все верили тому, что получена воля, но каждый понимал эту волю по-своему и старался узнать общее мнение об ней. В толпах рассуждали розно. Это еще более приводило в смущение рабочих; они после работы долго не могли заснуть, и если спали, то часто просыпались: воля не выходила из головы, человек чувствовал и дрожь и радость... Бабы тоже голосили, ходили от соседки к соседке и рассуждали об этом случае опять-таки по-своему, по-бабьи, и при этом каждая, думая, что она говорит дело, горячо отстаивала свое мнение, вслушиваясь, между прочим, в суждения толковой бабы... Мужчины и женщины то и дело понаведывались, то есть ходили по одному и по два к господскому дому, к исправническому дому и к конторе. Им хотелось узнать: уехал или нет губернаторский чиновник. А это для них много значило. Но чиновник не уезжал еще. В пятницу стали наполняться кабаки, и рабочие советовались: ходить или нет на работы. Надо просить, чтобы им прочитали манифест. Решили начать это с понедельника. Но в субботу утром попался одному рабочему соборный дьячок.

— Слышал ты новость — воля вышла?

— Слышал, да што толку...

— Завтра читать будут царский манифест в соборе.

— Так от царя воля-то?

— Да. А ты от кого думал? Тут, брат, только царь и может уволить вас, потому вон у ваших господ сколько заводов да людей, говорят, тысяч пятьдесят, а у других и по двести тысяч есть.

— Да как же толкуют: воля не нам, а крестьянам?

— Всем — кто крепостной.

— А казенные?

— Казенным воли нет, потому они казенные.

В этот же день все рабочие узнали, что завтра будут за обедней в соборе читать царский манифест о воле, и на работы никто не пошел.

Мужчины вымылись в бане, надели чистые рубахи и штаны с вечера; женщины тоже с вечера приготовили для себя подвенечные сарафаны, а худые сарафаны и шубейки постарались поскорее починить.

В воскресенье, еще далеко до обедни, площадь перед собором была полна народа. Тут были и старые и молодые, мужчины, женщины и дети, в заводских одеждах, пестревших и резавших глаза всевозможными яркими цветами.

Народ гудел. Каждый говорил, и разговоры касались заводского начальства. Отперли двери в собор, народ хлынул к собору, но у дверей стояло восемь солдат, неизвестно каким образом попавших сюда, которые заперли дверь извнутри.

Собор окружили со всех сторон, а боковые двери были заперты. Толки пошли разные; ругательства слышались далеко.

Приехал дьякон с дьяконицей и детьми. Их впустили в церковь. Начались рассуждения о дьяконице.

— Смотри, какая худоба, а как вырядилась!..

— А вот ее пошто пустили?

— Напрем, братцы!

Приехал священник с женой и детьми, рабочие стояли у паперти и на лестнице, и как только отворили двери, человек пятьдесят ворвались в собор. Так, за священнослужителями и чиновниками, которых пускали беспрепятственно, рабочие мало-помалу врывались в собор, и скоро в соборе было очень тесно, несмотря на кулаки солдат и сабли двух казаков, приехавших сюда будто бы с бумагами из города... Казаки объясняли рабочим, что и в городах так ведется, что наперед в соборы должны попадать начальники, а если праздник царский, то простой народ вовсе не допускается... Народу вокруг собора было очень много; все они походили теперь на богомольцев, сошедшихся в престольный праздник на ярмарку. Прошел час, и никто из стоящих и толкущихся вокруг собора не знал, что делается в церкви; стоявшие у крыльца с завистью глядели на начальников,

проходящих в собор, и жалели о том, что они раньше не пробрались к крыльцу; стоявшие на ступеньках крыльца то и дело заглядывали в собор сквозь стекла, сделанные в дверных рамках. Они ждали, когда дьякон будет читать бумагу.

— Што?

— Нету. Надо быть, скоро.

И все плотно столпились перед крыльцом собора; но места было немного, поэтому многие стояли за оградой.

Отворили двери. Пар хлынул из собора и рассеялся скоро над головами народа; из церкви слышалось пение, как издали.

— Ну, што? — кричали рабочие, стоявшие перед крыльцом.

— Значит, обманули! — говорили задние.

— Погоди... Попы в ризах на средину идут, — подсказывали стоящие в дверях собора.

— Што ты! Молебствие, значит.

— Шш... шш... цс!.. — произнесли стоящие в дверях и замахали руками.

Началась толкотня.

«Божиею милостию...» — послышалось глухо из церкви. Мужчины сняли шапки и фуражки, женщины открыли уши, все привстали на цыпочки. Водворилась гробовая тишина.

— Кабы Курносов был жив, славно бы прочитал, — заметили некоторые из рабочих, недовольные сиплым голосом дьякона. Стоявшие назади рабочие мало-помалу стали шептаться.

— Эко горе! Ведь и сделают же такие церкви, што все люди не умещаются.

— Говори! а сколько тысяч-то издержано, страсть!

— А долго читают!.. Эка оказия... Вот тем счастье. Хоть бы пробиться как... — И говоривший это пролезал, но на третьем шагу его останавливали.

— Куда лезешь!

— Молчи!..

— Накладем в спину-то!..

— Мы стоим же! ишь, какой барин! — крикнула звонко женщина.

— Ишь ведь какая широкоротая! Сейчас видно — старослободская! — проговорил ражим голосом рабочий,

желая восстановить тишину. Но тишина уже не возобновлялась. Стали говорить громко, все были недовольны.

— Ничего не слышно, а дьякон бумагу держит, губами шевелит.

— Охрип, значит!

Наконец чтение кончилось, кончилась и обедня.

Народ заволновался и повалил из собора; на площади, за оградой, поднялся шум и говор; одни широко размахивали руками, делая крестное знамение, другие махали шапками и платками; ребятишки, глядя на оживленную толпу своих отцов и небывалую суматоху, присмирели; народ пуще и пуще волновался на площади, площадь загудела.

— Слышали; своими ушами слышали: воля, братцы, — всем крепостным крестьянам, — говорили бывшие в церкви, отпыхиваясь.

Изумление было на всех лицах.

— Воля! воля! воля! — слышалось в воздухе, и больше ничего нельзя было разобрать. А бывшие в церкви говорили:

— Уж так много там написано, что и не разберешь. Всем крепостным, сказано, воля, и все отойдут в крестьяне али куда хошь; отберутся от помещиков через два года. . .

— Слышь! Даром отберут!

— Куда отберут?

— На волю. Куда хошь: хоть в купцы! — кричали со всех сторон.

— А покос?

— Покосы и земля наша!

— Одно, братцы, худо: об мастеровых не сказано, и казенных рабочих нет.

— Не нам, бают, воля! . . Врут! . . Это они оттого, что обслышались: сами бают, дьякон много читал.

— Надо дьякона просить снова прочитать.

Между тем начальство уже разъехалось, не обратив внимания на волнующийся народ, которому теперь никакого не было дела до управляющего, приказчика и прочего начальства.

В этот день весь рабочий народ загулял на радостях; но не случилось ничего худого, даже не было драк. А на другой день никто не пошел на работы.

Это встревожило заводоуправление. Оно стало бояться того, чтобы рабочие совсем не перестали работать и не сделали бы каких-нибудь беспорядков в заводе. Уговаривать их теперь было поздно. Приказчик, бывший у управляющего, говорил ему:

— Я теперь ничего не могу сделать, потому вы сами старались отклонить мысль от воли. Все рабочие еще в прошлом году слышали об воле. Они ее ждали.

— Это всё вы разожгли рабочих.

— Не я, а вы требовали, чтоб я не говорил им ничего. Вы думали, что строгостью вы что-нибудь сделаете. А теперь я вам не слуга. — И приказчик ушел. Он очень боялся беспорядков и в эту же ночь уехал в город со всеми бумагами и деньгами, оставив дома прислугу, в том числе и Глумовых с Пелагеей Вавиловной.

Когда узнал об этом управляющий, то сделал приказчиком Назара Плошкина, зятя Переплетчикова, всеми рабочими ненавидимого, но умевшего ладить так с рабочими, что они были не очень взыскательны.

Прошла неделя, а рабочие на работы нейдут, под тем предлогом, что они даром работать не хотят. Заявили приказчику, что они не желают быть под командой нынешних мастеров, нарядчиков и штейгеров. В понедельник рабочие стали советоваться, что им делать: есть нечего. Пошли толпы к конторе, вошли в контору и стали просить провианта, денег, заработанных за прошлый месяц, обещаясь сегодня же идти на работы. Им отказали. Вечером толпы народа самовольно вытащили из магазина всю муку и потом разошлись по домам.

Ночью послан был нарочный к главному начальнику горных заводов с донесением о беспорядках.

Дела рабочих были в скверном положении: взятая ими мука в кулях оказалась с песком, эту муку они высыпали перед господским домом; у них не было ни сена, ни дров. Многие захворали, дети и скот начали издыхать; толпы народа ходили по заводу, карауля Плошкина и управляющего. Жены ругали мужей за то, что вся беда произошла от них, потому что прежде, когда они работали, ничего подобного не было. Рабочие разделились на партии: одни хотели работать, другие нет.

Между тем как Переплетчиков уехал из завода, Илья Игнатьич опять загулял. Домой он приходил через день

или дня через два. После попойки он всегда ласкался к Пелагее Вавиловне, и мысль жениться на ней росла в нем все больше и больше.

Однажды они пили чай.

— Я, Пелагея, вчера ходил к попу. Он говорит: я не могу обвенчать тебя с любовницей приказчика. Я к другому, тот ничего, только говорит: ты молод, принеси свидетельство да бумагу из конторы. А в конторе даром не дают... А славно бы без него-то обвенчаться!

Пелагея была опытнее. Она знала, что приказчик долго не приедет, но она не доверяла молодому человеку, несмотря на все его клятвы.

— Послушай, Иля, а чем мы жить-то станем?

— Вот — чем! Поедем в город. Я в лакеи наймусь. Ведь я теперь вольный.

— Кабы у те бумага была такая.

— А манифест для чего читали?

— Все-таки без бумаги неловко. Да и какое у те имя будет: крестьянин ты будешь али мастеровой?

— Все равно, хоть кто.

— Ну, а на что мы поедем?

— А разе мало у приказчика вещей?

— Нет уж, ради христа — не воруй!

В этот день они ничем не решили.

Илье Игнатьичу скучно было без дела, и он гулял.

Куда он ни приходил, везде говорил, что он скоро обвенчается с Пелагеей Семихиной, и об этом узнали все в заводе, а новый приказчик, Плошкин, переселился в дом Переплетчикова как родственник, прогнал Пелагею Вавиловну, а Глумова назначил в работы на рудник. Пелагею Вавиловну никто не принимал жить в заводе, и она ушла на кордон, находящийся близко от рудника, где работал Глумов и куда Пелагея Вавиловна ходила ежедневно. Она знала, что у Ильи Игнатьича есть пятьдесят рублей, которые он приобрел продажею серебряных ложек и шубы Переплетчикова разным заводским торгашам. Кончил Илья Игнатьич работу на руднике и стал собираться в город. Все было приготовлено, молодые люди нашли попутчика — и вдруг все расстроилось. Зашел Илья Игнатьич в кабак с своим попутчиком, взял полуштоф и отдал двадцатипятирублевую бумажку. Бумажка оказалась фальшивою. Все бы это

ничего, но в кабаке сидели два солдата, которые обязаны были наблюдать за порядками; они, несмотря на мольбу Ильи Игнатьича, сидельца и вой Пелагеи, представили Глумова к исправнику вместе с Пелагеей Вавиловной.

Там они ночевали до утра в разных местах. Накануне от Пелагеи отобрали узел с бельем и платьями, а от Ильи Игнатьича шкатулку с чаем и сахаром. Позвали Илью Игнатьича к исправнику в канцелярию, где был исправник, письмоводитель и двое писцов.

— Кто ты? — крикнул исправник.

— Глумов.

— А, это не тот ли? не родня ли Курносова? — спросил он письмоводителя.

— Тот самый...

— Ну, и ты туда пойдешь! Где ты взял фальшивую бумажку?

— Не знаю.

— Казак, сведи его в баню. Алексей Александрыч, допытайте его.

Под ударами розог Илью Игнатьича заставляли сознаться: сам он делал фальшивые деньги или от кого получил. Но Илья Игнатьич не помнил ничего. Ночью приехал Переплетчиков с новым исправником. Допросы отложили, Плошкин был отставлен, выгнан из дома Переплетчикова и должен был заплатить за самовольное завладение чужим домом деньги. Глумова стали судить только за фальшивые билеты. Он сперва показывал, что нашел, только где — не помнит. Его отослали в городской острог. Пелагею Вавиловну наказали снова, и она на другой день оказалась в бегах; Павел был прогнан и жил пока у Корчагина.

ГЛАВА IX

Затруднения

Вскоре после этих происшествий в завод приехал горный начальник с двумя чиновниками, из которых одному было поручено произвести следствие о бунте рабочих, которые будто бы были усмирены солдатами, тогда

как рабочие восстановили порядок сами, до прихода солдат. Объявлено было рабочим, чтобы не занятые работами собрались в главную контору. В контору пришло очень немного рабочих, потому что они боялись расправы.

Поругав рабочих, горный начальник прочитал им дополнительные правила о приписанных к частным горным заводам ведомства министерства финансов. Голос у него был сиповатый, и так как он читал скоро, то рабочие очень мало поняли.

— Поняли? — спросил горный начальник, кончив чтение.

— Поняли, да не совсем! ты читал: одни увольняются теперь, а другие через год, третьи через два года...

— Ну! Чего же вам еще надо?

— А как же тут сказано: называть нас мастеровыми? мы и теперь мастеровые...

— Мастеровой — тот же крепостной!

— Вы... как вам сказать?.. Если вы будете работать на заводе за плату, тогда будете называться мастеровыми, потому что нельзя же назвать вас мещанами или чиновниками...

— Да мы, ваше благородье, и не желаем в мещане. Нам волю надо, чистую волю...

— Так что же вы меня спрашивали? Ну, называйтесь сельскими работниками.

— А это што?

— А хлебопашеством занимайтесь, коли не хотите на заводе работать.

— Рады бы заниматься, только никто из нас испокон веку этим не занимался, потому, кроме покосов, мы земли не имели, да и времени не было на это дело.

— Ну, теперь можете идти по домам, — сказал горный начальник.

— Позволь, ваше благородье, еще побеспокоить... — начал один рабочий. — Теперь вот тут в бумаге сказано: брать с нас за усадьбу шесть целковых. А где же я эти деньги-то возьму?

— Мы испокон веку пользовались усадьбой-то...

— Если кто из вас казенный, то есть числится дан-

ным от казны в вспомоществование владельцу, тот не будет платить деньги.

— А чем я виноват, коли я в крепости состою?

— Опять за покос — што тут сказано...

— Вам после растолкуют. Идите.

Рабочие вышли и долго толковали у конторы.

— Это просто выдумки. Это они душу нашу дотягивают.

— Может, это он врет. Ну, как теперь: я дом построил на Филатовой земле; деньги ему, значит, заплатил, а с меня будут брать сызнова.

— За покос, сказано, урок надо отбывать.

Недоумение во всем заводе росло все больше и больше. Дополнительные правила и самый манифест были прочитаны несколько раз в каждом доме. Но понять положение могли немногие. Особенно на первых порах положение рабочих было трудное: идти из завода в другое место они не могли, потому что везде один исход — работа, нужно было работать на таких же условиях, — и приходилось оставаться тут же, где они родились. Провианту не отпускали, деньги выдавали через две недели и через месяц, но выдача по-старому производилась неаккуратно, потому что касса заводоуправления была пуста.

Всех особенно мучило то: как назвать себя? Приехал мировой посредник, прочитал рабочим в три недели положение об устройстве крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, и стал спрашивать: будут ли они робить на завод.

— Как не робить? робить надо, потому мы без работы не можем жить.

— Так кто желает в мастеровые?

— Никто не желает в мастеровые.

Долго бился с рабочими посредник, но он — сын помещика, смотревший на крестьян как на крепостных, — не понимал жизни горнорабочих, о которых он до сих пор не имел никакого понятия. Оказывалось то, что его не понимали рабочие, и он не понимал их, а из этого выходило то, что рабочие думали, что посредник держит сторону заводоуправления.

Сначала посредник горячо принялся за свое дело, но потом так охладел, что заставлял подолгу ждать себя, резко говорил с рабочими, пропуская мимо ушей жалобы на стеснение их мастерами, наказания без вины розгами. На просьбы рабочих объяснить им что-нибудь посредник говорил: «Я уж вам говорил!» — и уходил в другую комнату, а потом уезжал к управляющему. Кроме этого, он часто разъезжал по другим заводам (катался, как выражались рабочие), и его редко можно было застать дома, где всеми делами заправлял писарь, плут из плутов, а потом его долго не видали рабочие и посылали просьбы к нему за триста верст.

Те, которые выслуживали срок, были уволены, но попрежнему занимались работами. Это были уже совсем вольные, и, глядя на них, рабочие стали дожидать себе чистой воли. Но эти вольные не считали себя чисто вольными, на том основании, что они должны платить за усадьбы деньги, за покосы работать.

Непонимание с одной стороны, неумение объяснить — с другой породили неизбежное брожение в массах. Явились люди, которые старались мутить и без того мутную воду.

Чаще прежнего стали повторяться убийства и грабежи, так что начальство приходило в затруднение: что делать с рабочими и какими мерами водворить порядок? Заводоуправление решилось для примера разыскать и наказать виновных. Виновных, по указанию Плошкина, нашлось много: тут были все его враги, и в число их попал Переплетчиков; тут же оказалось человек тридцать рабочих, в том числе и Корчагин. В деле много было собрано улик против Переплетчикова, но он так легко отделался, представил такие записки управляющего и разные счеты, что следователи стали в тупик. Они жили в господском доме, играли в карты с управляющим и инженерами, и поэтому им неловко казалось запутывать дело во вред управляющему.

Думали-думали они и свели дело к тому, что несколько человек рабочих, напившись пьяны, растаскали ночью муку из магазина и что эти рабочие уже сданы в солдаты до приезда следователя; затем власти уехали, а Корчагин с двумя рабочими ушел в город.

ГЛАВА X

Прасковья Игнатьевна — работница

В больнице Прасковья Игнатьевна пролежала три месяца в двух палатах. Соседи ее были женщины разных званий, возрастов и характеров. Крик, разговоры и оханья не прекращались целый день, так что большинство больных постоянно протестовало против кричащих и хохочущих девиц, проводящих время в курении папирос, игре в карты и в разговорах с разными *родственниками*. Как проводила время Курносова в больнице — описывать не стоит, только, как водится в каждом обществе, она имела на третий месяц своего пребывания в больнице хорошую приятельницу, швею, но ханжу, хваставшуюся знакомством с молодыми монахинями. Эта женщина очень была дружна с ней, много надавала ей хороших советов и доказывала, что если она будет робеть, то никакого места не найдет. Курносову стали выписывать из больницы, приятельница дала ей записку к своей сестре, но та была пьяна в этот день и очень не понравилась Прасковье Игнатьевне.

Опять начались ее похождения по городу, выпрашивание милостыни и ночевки под небесным навесом. В это тяжелое для нее время она много видела гадостей в городе... Не раз вечером она слышала от дам в шляпках и кринолинах такие слова, которые говорят с досады мужчины, не раз к ней приставали мужчины, и, как она ни была бедна, она не допустила себя пасть, и к ней не приставала никакая грязь.

Однажды вечером она шла домой. По ее одежде видно было, что она нищенка. Она очень устала и села на тротуар против одного деревянного пятиоконного дома с белыми занавесками в окнах. Одно было отворено, и около него сидели две, повидимому, девушки и, играя в карты, звонко хохотали. Курносовой обидно сделалось. Ей припомнились прежние годы, когда она так же играла с подругами и хохотала. Потом у нее забилось сердце: припомнился Курносов, которого из-за нее замучили... Наконец вздумала она и о Корчагине.

«Кабы не он, — думала она, — не была бы я в этом проклятом городе. Сколько горя-то, господи, я приняла здесь? И зачем это он бросил меня, окаянный...»

— Эй, ты!.. — вдруг услышала она и оглянулась; нет никого, только девицы хохочут. В это время их было три.

— Ты чево тут сидишь? — сказала одна Прасковье Игнатьевне.

— А што?

— А што? Али мужчин от нас отбивать вздумала? — Прасковья Игнатьевна встала и поплелась, но ее остановила одна из девиц.

— Заходи к нам, — сказала она.

— Зачем?

— У нас весело.

Прасковья Игнатьевна постояла, подумала и пошла дальше... На другой день, часу в первом, она зашла в один дом попросить милостыни. Там немолодая женщина сказала ей:

— Чем по миру-то шататься, шла бы на место.

— Не принимают, тетушка; я нездешняя.

— То-то — нездешняя; поди, заводская какая?

— Таракановская.

— Уж это сразу видно. У меня вон четыре девки живут, все — таракановские. Каждая из них по рублю, а когда и по три в день зарабатывают.

Курносова удивилась.

— Хорошее у те, тетушка, место... А вот я, дура набитая, и копейки медной не достану. Я бы, тетушка, уж тебе в ноги поклонилась!.. Я бы все стала делать, только бы ты кормила меня... — говорила со слезами Курносова.

— Поди туда, в номер.

Курносова поклонилась ей в ноги, за что и получила название дуры.

— Поди, говорят, в номер.

— Уж как я тебе благодарна... — говорила со слезами она, не слушая хозяйку. В это время из двери налево вышла девушка лет восемнадцати, в одной рубахе, с растрепанными волосами. Она, как видно, только что пробудилась.

— Катя, уведи ее в номер.

— Это на место Сашки?

— Ну да. Да не болтай ей много-то, она *еще дура.*

— А! — проговорила Катя и увела удивленную Кур-

носову узеньким темным коридорчиком, с четырьмя дверьми налево, в темную и небольшую комнату.

— Посиди здесь, я умоюсь и приду.

— Ладно.

— А ты из каких?

— Я заводская, таракановская.

— Замужняя али девка?

Прасковья Игнатьевна сказала. Катя ушла. Стала Прасковья Игнатьевна смотреть на свое новое жилище. «Уж чево-то больно темно. Што ж это они в теми-то такой делают?» И вдруг ей почему-то страшно сделалось, почему-то противна сделалась эта комната. Она задумалась; на нее нашел столбняк. Через несколько времени, осмотревшись кругом и наслушавшись скаредных речей Кати, Курносова догадалась в чем дело и опрометью пустилась бежать из позорного дома.

На другой день снова Прасковья Игнатьевна ходила по рынку и, протягивая руки барыням, говорила:

— Матушка-барыня, не возьмешь ли ты меня в работу.

Много она переспросила барынь, и только одна заговорила с нею:

— Какую тебе работу?

— Хоть какую-нибудь.

— Да ты заводская, што ли?

— Да... возьми, матушка.

— Мне нужна работница... Ты умеешь белье стирать?

— Дома стирала. А у вас не знаю, как; ты покажи — я все сделаю.

— А сколько бы ты взяла?

— А сколько дашь, то и ладно. Я много буду тебе благодарна, матушка.

— Ты не причитай: я не люблю этого. Не первую я тебя нанимаю. А ты не воровка?

— Ой! убей меня царица небесная, штобы я когда што-нибудь у маменьки без спросу взяла!

— А ты не живала в людях-то?

— Нет.

— То-то, смотри... Хорошо будешь служить, три рубля на ассигнации положу... Работы у меня немного.

Курносова, несмотря на грязь, повалилась в ноги

барыне. Это изумило барыню, и она, подавая ей корзинку, в которой лежали говядина, яйца и капустный вилок, сказала:

— Возьми это да иди за мной. Смотри, не отставай. А я тебя забыла спросить — как зовут-то? — спросила вдруг барыня.

Курносова сказала.

— А вот я еще забыла спросить: билет есть?

— Как же, матушка.

— То-то. Ономедни этак без пачпорту взяли одну, так она шаль у меня украла. Муж ругал-ругал меня из-за канальи. А у тебя муж есть?

— Нету, помер.

— Ну, это ничево. Смотри, штобы к тебе не ходили разные любовники эти...

— Ой, как можно!.. я ведь нездешняя.

— Будешь хороша, мы не обидим тебя. Мой муж сам столоначальник горного правленья, титулярный советник.

«Уж я так сразу поняла, што она большая барыня... Эко горе! Если бы мать знала, муж ее похлопотал бы...» — думала Прасковья Игнатьевна.

У этой чиновницы дом был свой, то есть купчая совершена на нее, а деньги платил муж. Дом полукаменный, в пять окон в каждом этаже, с вида очень приглядный, а внутри расположенный по вкусу хозяина, так что в каждом этаже было по две квартиры, и потому считавшийся для некоторых состоятельных людей неудобным, а бедным — очень дорогим по квартирам. Однако хозяева не обижали себя: они занимали три комнаты, самые лучшие в доме, с окнами, выходящими на площадь. В кухне, с обыкновенной большой русской печью, полатей не было, да и кухня была устроена так, что окно выходило в коридорчик, из которого был ход в другую квартиру в две комнаты с кухней, отчего в кухне было не совсем светло.

Семен Семеныч Панкратов был уже десятый год столоначальником горного правленья и считался за доку и дельца. Он любил играть в преферанс по копеечке, так что у него раз в неделю собирались сослуживцы. Гости были друзья, вели себя смирно, и никогда тишина в доме не нарушалась Семен Семенычем или его гостями, потому что, начав службу с писца и прошедши все мытар-

ства до столоначальника, он на все смотрел здраво и просто, никогда не выходил из себя. Даже в его одежде выказывалась овечья кротость: он постоянно ходил на службу в форменном сюртуке с оловянными пуговицами и стоячим воротником с голубым кантом; летом надевал шинель, тоже с стоячим воротником и с оловянными пуговицами, зимой — в тулупе из сибирских мерлушек; дома, при небольших или равных ему гостях, носил халат и вязаную ермолку на голове, при больших гостях надевал форменный сюртук, который застегивал на три пуговицы: верхнюю, среднюю и нижнюю; без гостей всегда ходил в ситцевой рубашке и черных штанах, босиком.

Вставал он ровно в пять часов утра; в шесть пил чай, а в семь он уже занимался сочинением докладов и в десять уходил в правление. После обеда он постоянно спал до шести часов, когда в гостиной уже шипел самовар. После чаю, если он не уходил играть в карты или если у него не было гостей, занимался чтением канцелярских бумаг. Книг он никаких не читал. «Терпеть не могу эту фанаберию», — говорил он.

Совсем другое — Варвара Андреевна, его супруга. Она с самого утра была на ногах, и это не нравилось кухаркам, потому что она везде совалась, кричала, постоянно указывала.

Сколько ни перебывало у нее кухарок с тех пор, как муж ее сделался столоначальником, все удивлялись, что она вставала раньше их и постоянно будила их пинками, говоря: «Ишь, тресья! Барыня встала, а она спит! Вставай, ставь самовар!» Если сам Панкратов не спал, то кричал из спальни: «Опять!.. Пошла язык чесать ни свет ни заря». Одним словом, эта женщина не могла, кажется, ни одной минуты жить без дела: во все входила сама, за всем надзирала; ей казалось, что она только одна хорошо делает, и прислуга ее никак не может понять того, что она сама ей тысячу раз указывала. От этого происходили частые ссоры с кухарками, оканчивавшиеся всегда тем, что кухарка уходила. Умаявшись и накричавшись досыта, она после обеда всегда ложилась спать часа на два, и в это время ее никто не смел будить, да и к ней в это время никто не ходил. Впрочем, бывали и исключения у обоих супругов: летом, в хороший день, они любили подышать свежим воздухом,

прокатиться по озеру, находящемуся от города в четырех верстах, порыбачить, напиться чаю на свежем воздухе и съесть уху из свежих карасей. После вечернего чаю Варвару Андреевну томила скука, и она подзывала к себе кухарку и, разговаривая с ней, починивала или вязала чулок, причем и кухарка должна была, глядя на хозяйку, что-нибудь делать, а если у кухарки не было работы для себя или она, утомившись, хотела спать, хозяйка давала кухарке надвязывать ей чулок, носки или взбивать сметану в кринке для масла. Варвара Андреевна очень ласкова была с прислугой вечером, так что прислуга забывала все неприятности, сделанные хозяйкой днем, и удивлялась: отчего хозяйка утром злая такая, что от нее хочется бежать, а вечером такая добрая, что ни за что бы не отошел от нее? А все это происходило оттого, что вечером у нее не было заботы: пообедала она хорошо, ужин стоит в печке, варить и мыть нечего, все сделано; на душе легко; она чувствует довольство и хочет с кем-нибудь отвести душу.

Таковы были Панкратовы, жаловавшиеся своим гостям, обремененным большими семействами, что господь бог не дает им детей. На это гости, слышавшие от несчастных супругов сто раз эту песню, в последнее время стали говорить им, что у них зато есть две отличные коровы, двадцать одна курица и пять петухов.

Кроме этого, у Панкратовых был огород в двадцать пять сажен длины и в десять ширины; половину огорода засаживала Варвара Андреевна разными разностями, и поэтому летом ее заботы и хлопоты, а равно и кухарки удвоивались.

Еще есть одна черта в Варваре Андреевне: она ни за что не пустит в свой дом девицу или холостого мужчину, будь он хоть столоначальник. Она очень хорошо знала, что большая часть столоначальников — люди женатые или вдовцы, а другие, холостые, живут шикарно и не пойдут в ее дом. Почему не пойдут, — она предполагала из того, что вот уже семь лет она владеет домом, и ни один холостой столоначальник не являлся нанимать у нее квартиру. Холостых мужчин и девиц она потому не желала иметь своими квартирантами, что они испоганят ее дом, то есть к мужчинам будут ходить любовницы, а к девицам любовники, и против этого никакой надзор не

будет иметь силы. Теперь у нее вверху, в другой половине, живет семейный секретарь магистрата уже два года, а внизу, в одной половине, семейный помощник бухгалтера казначейства; другая половина стоит пустая, и окна закрыты ставнями, — что означает, что квартира отдается. Бумажки над воротами или на стеклах в рамках не введены еще в этом городе.

Прослужила Прасковья Игнатьевна у Панкратовых две недели. Первые три дня хозяйка была с ней очень любезна: показывала ей, как посуду мыть, как самовар ставить, как гостям чай подносить; учила ее, как ей говорить по-городски. А Прасковья Игнатьевна многих слов не понимала. Скажет ей хозяйка: поди-ко принеси кастрюли, или: принеси миску, — она выпучит глаза, а спросить стыдится. Бьется-бьется хозяйка, насилу растолкует. Над ее выговором до слез смеялись не только Панкратовы, но и гости, и все прозвали ее в насмешку *чарапарушкой,* потому что слово *черепушка* она никак не могла выговорить.

Работы ей было много, она все делала, хозяйка только толкалась, указывала, горячилась, кричала, причем Курносова не одну тарелку и не одно блюдечко разбила. Но работа ее не мучила, ей досадно было, зачем хозяйка постоянно трется около нее, когда она сама знает, что делать; зачем хозяйка сердится и говорит, что она неряха, что она не умеет даже полов мыть, в поганой воде посуду полощет и проч. Все это сносила Прасковья Игнатьевна молчаливо, и это нравилось хозяйке. Раз Прасковья Игнатьевна подслушала разговор хозяйки с гостями.

— Славная мне кухарчонка попалась! Все у нее кипит в руках, — проворная! И какая смирная: кричишь-кричишь — молчит. Однако раз заметила слезы... Инда жалко стало! Не знаю, что дальше будет.

Это утешило Прасковью Игнатьевну, и она заплакала от радости. Она сама находила, что место ее хорошее: утром ее поят чаем с булкой, обедает и ужинает она вволю, и хотя она одна кушает — зато ей спокойнее одной кушать. Одно обидно, хозяйка попрекает, что она без спросу хлеб ест. А Курносова часто хотела есть, и за ней водился такой грешок, что она ела воровски. Зато вечером хозяйка была с ней любезна и говорила

ей кое-что о своей жизни. Курносова уже рассказала ей свою жизнь, и хозяйка жалела ее.

— Я уж теперь, барыня, ни за кого не пойду замуж, — говорила обыкновенно Прасковья Игнатьевна, когда разговор касался этого предмета.

— Ну, ты этого не говори. Только без старых людей ни шагу... Это я на себе испытала. Мало ли, что тебе человек наговорит. Вот ты испытала — и казнись.

— Нет, барыня, ни за что в свете не пойду замуж. Я от вас ни за что не уйду.

Так и привыкла Прасковья Игнатьевна к Панкратихе. Несмотря на то, что Варвара Андреевна всячески налегала на нее, она все сносила молча, несмотря на разные испытания, вроде того, что на полу лежали медные деньги, — но Курносова тотчас отдавала находку. Курносова безропотно работала и вставала без ропота часто ночью, если кошка скребла двери.

Панкратов тоже хвалил Прасковью Игнатьевну и однажды сказал ей:

— Молодец ты, баба! хорошо, если б вышла замуж за хорошего человека; я, пожалуй, посватаю.

— Я, барин, ни за кого не пойду.

— Ой ли! Сердце, брат, не камень, с ним не совладаешь — вот что! Не век же тебе в работницах жить. Поди, сама любишь своим хозяйством заниматься?

— Где уж мне...

Разговоры об этом стали повторяться чаще. Панкратов, видя упорство Курносовой, стал поддразнивать ее замужеством, а ее это злило. Она думала, что на свете нет справедливых, то есть честных, людей, и в ее голову крепко засела мысль никогда не доверяться мужчинам. Однако ей хотелось самой заниматься хозяйством, иметь корову, овечек, куриц. А так как для этого ей нужно быть женой, то нередко ее брало раздумье, и счастье женщин вроде Панкратихи приводило ее в долгое уныние, в котором она жаловалась на свою судьбу.

Прасковья Игнатьевна и в праздники сидела дома. Хозяйка иногда говорила ей, чтобы она шла на бульвар, но ей не хотелось идти.

— Што мне там? и так хорошо, — говорила она обыкновенно. Ей не хотелось идти на гулянья потому, во-первых, что ей совестно было выйти из дома: «Я ни-

щенкой ходила по городу, все меня обзовут нищенкой»; а во-вторых, как-то она пошла на бульвар, послушала музыку, посмотрела, как люди веселятся, — сердце у нее защемило, сделалось так грустно, так грустно, что она дала себе слово ни за что не ходить на гулянья.

К пасхе хозяйка подарила ей платок на голову и ситцу на платье, и это так ее обрадовало, что она со слезами долго разглядывала свою обнову, и ничто ее на празднике не веселило, как новое платье, сшитое ею по указанию хозяйки.

Она считала себя счастливою женщиною, и когда ушли из дому хозяева, она долго пела прежде любимую ею песню: «Все-то ноченьки я, млада, просидела. . .»

Потом ей вздумалось посмотреться в зеркало. Она посмотрела и удивилась:

— Господи! Экое лицо-то у меня нехорошее: кожа да кости!

Но на этот раз она не заплакала, а запела опять свою песню. Только под вечер ей сделалось скучно, и она с нетерпением ждала хозяев, думая, что они добрые люди и бог сжалился над ней, потому что без них она пропала бы.

ГЛАВА XI

Новый и последний шаг Прасковьи Игнатьевны

Летом Корчагин приехал в город и скоро разыскал дом Панкратова. Хозяйка суетилась около печки, Курносова мела в комнатах пол.

— Бог на помочь! Доброго здоровья, — сказал Корчагин хозяйке.

Хозяйка слегка поклонилась, утерла губы фартуком, посмотрела на него пристально и спросила:

— Чево тебе?

— Прасковья Курносова здесь живет?..

— Здесь. На што тебе?

— Я таракановский!

— Ну?

— Так поговорить бы мне хотелось с ней насчет ее братьев.

— Подожди, она полы выметет.

Скоро пришла Курносова с веником; пристально посмотрела на Корчагина, поморщилась и пошла к печке. Корчагин удивился: лицо Курносовой худое, бледное, глаза впали, но она бойка, одета чисто.

— Принеси-ко воды-то! не знаешь, што ли, што в кастрюли воды надо налить... Ишь, ржавчина. Всю кастрюлю, негодная, испортила! смотри, не течет ли уж?

— Хозяюшка, нельзя ли отпустить Прасковью Игнатьевну сегодня к мастеру Подкорытову, — сказал Корчагин, которому можно было слышать ворчанье хозяйки.

— На што это? — крикнула хозяйка.

— Важные дела, хозяюшка.

— Говори здесь.

— Такие дела, што страсть: с братьями ее несчастие случилось.

— Какое? — спросила Прасковья Игнатьевна, посмотрев на Корчагина.

— Приходи после обеда — отпущу. А теперь уходи с богом, — сказала хозяйка. Корчагин вышел, хозяйка проводила его до ворот.

«Что бы это значило, што Курносова даже и глядеть на меня не хочет. Али она больно на меня рассердилась? Ну, и жизнь же ее!.. Если это все так каждый день, то, должно быть, больно скверно... Надо ее выручать», — думал Корчагин, стоя у ворот Панкратова; сердце его сильно билось. Он очень обрадовался, что увидел Курносову, но ему было досадно, что он не мог с ней ничего поговорить, и идя на квартиру, он думал, как бы начать разговор о том, что он весь измучился об ней; и как бы было хорошо, если бы она вышла за него замуж. Эти думы не покидали его до четвертого часу, и часы эти он проводил тревожно, хотя и разговаривал с знакомыми.

Курносова тоже мучилась; ее беспокоили братья, о которых в последнее время она очень много думала, и особенно думала о меньшем, Павле, которого ей хотелось пристроить в город. Расположения или привязанности к Корчагину теперь у нее никакой не было, но она не сердилась уже на него, и ей только хотелось высказать то, что она по его милости перенесла много горя.

В четвертом часу, сходив в кухню, для того чтобы Курносова одевалась, Корчагин стал поджидать ее за воротами.

На Курносовой надето было платье, подаренное ей Панкратихой, и платок на голове. Сердце точно сжалось у Корчагина при виде исхудалой Прасковьи Игнатьевны.

— Здравствуй, Прасковья Игнатьевна. Ты нынче барыней поживаешь... Давеча и смотреть-то не хотела на меня.

— Стоит на этакого смотреть.

— Что делать, Прасковья Игнатьевна! У меня сестра не только что дом сожгла, а даже научила дядю и место отнять. Совсем я разорился по ее милости.

Они шли.

— Так и надо! — сказала Курносова.

— За что ты на меня сердишься, Прасковья Игнатьевна?

Она прервала его, но он не дал ей говорить.

— И зачем тебе было выходить из дому, зачем было не подождать меня?

— Да вы с дядей нарочно меня туда привезли и бросили... Не забуду я этого... Што же ты не говоришь о братьях? вызывать вызывал... а... Ишь! оправдание нашел. Поди, и их сгубили...

— Говорю тебе — напрасно сердишься... А с братьями твоими горе случилось великое. Не надо бы об этом и знать-то тебе.

— Небось, опять травить хошь! Нет, теперь уж не та пора.

Василий Васильевич начал сердиться, но не подавал вида, что сердится.

— Видишь ли ты, какое дело случилось, — и всему этому виноват приказчик... Как мы тебя свезли в город, он и давай меня давить: в куренные протурил.

— Так и надо. Мой отец тоже в руднике робил.

— Ты слушай!.. Ну, после того как он не мог тебя выцарапать из города, взял к себе Пелагею Семихину.

— Пелагею! Господи! — чуть не крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Ну, а потом он взял к себе Илью, твоего брата, в лакеи.

— Ну?

— Ну, вот так и жили Илья и Пелагея у приказчика до той поры, как волю объявили в заводе, и понравились они друг другу.

— Што ты? Это Илья-то? Ведь ему еще девятнадцати лет нету.

— Ну, это пустяки, потому Илья-то и раньше хотел жениться на Аксинье Горюновой. Все это было ладно, да грех случился. Как волю прочитали, приказчик рассорился с Назаром Плошкиным и с управляющим и уехал в город. А управляющий сделал приказчиком Назара. Ну, Илья загулял и говорит всем, что он жених Пелагеи Семихиной, и стал продавать приказчицкие вещи, да ему надавали фальшивых денег, за которые он и сидит в остроге.

— Господи! Да што это за напасть... — Курносова заплакала. — Этого еще недоставало! Господи, когда это конец-то будет, право... Я и раньше думала, что из Ильки не будет толку.

Потом Корчагин собрал ей заводские новости, сказал, что он в завод не поедет, а Подкорытов рекомендовал его одному мастеру, и он будет получать в месяц рублей пятнадцать. Но это не развеселило Курносову.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна. Мне надо с тобой еще кое о чем поговорить, да ты теперь встревожена больно... Попроси своего-то хозяина, штоб он выхлопотал тебе бумагу от поверенного, — да не поможет ли он твоим братьям... На Тимофея-то Петровича надежда плоха, он ноне, после жены, все пьянствует.

А тем временем перевели Илью Игнатьича в городской острог, о чем Корчагин немедленно известил Курносову. Илья Глумов заболел и отправлен был в лазарет. Курносова навещала его и плакала. Корчагин молчал. Его тоже давило горе.

Вдруг Илья Игнатьич сказал сестре:

— Ты не реви!.. Вон Вася, твой жених, не ревет же. Жених, скоро у те свадьба-то?

Корчагина подернуло, он побледнел, Курносову затрясло — и оба они скоро вышли из острожного лазарета, а выйдя на улицу, Курносова сказала Корчагину:

— Ты с какой стати меня невестой называешь?.. Ишь, мне даже не сказал...

— Прасковья Игнатьевна, радость моя, — говорил со слезами Корчагин.

Прасковья Игнатьевна пошла от него чуть не бегом.

Корчагин стоял, как помешанный, и не знал, что ему сказать Прасковье Игнатьевне.

Прошел месяц. Корчагин и Курносова нигде не встречались. Корчагин заработал еще, кроме хозяйской платы, пять рублей и весьма похудел оттого, что все его хлопоты за Курносову не стоили даже благодарности. «Не люди, так бог знает, сколько я мучился, как любил ее и для чего. . .» Но он все-таки надеялся добиться чего-нибудь. Случай скоро представился: работал он на одного панкратовского жильца и бывал у него часто. Скоро он познакомился с старой кухаркой, и так как мастер, у которого он работал, жил близко от дома Панкратовых, то он с кухаркой виделся часто.

— Ну, что? — спрашивал он раз старуху.

— Да говорила во дворе: што, говорю, нейдешь, девка, замуж? Она этто глаза вытаращила и говорит: «Уж я дала себе слово ни за кого не выходить замуж — и не выйду. Будь тут хоть кто. Все, говорит, мужчины плуты. . .» Ну, я говорю: ты еще мало знаешь людей. «Видала, говорит, много». Я и говорю: ну, вот ваш Корчагин — чем не жених? Одно слово, мастер, да и старался сколько для тебя. Она и говорит: «Все это я передумала, да кабы он одну штуку не сделал, пошла бы за него». Какую? спрашиваю. «Про это, говорит, он сам знает. А я, говорит, проживу и без мужа, потому работой буду весь век кормиться». И на меня указала: «Ты, говорит, Пантелеевна, уж старуха, а все-таки в людях живешь, работаешь. Так и я буду маяться. . .» Горда, вишь, она больно, — заключила старуха.

Корчагин очень разобиделся этим, но мало-помалу, как раздумался, стал приходить к тому заключению, что Курносова, пожалуй, и права и ее теперь упрашивать не стоит. «Я ей не полюбился, должно быть, сначала. А это я знаю потому, что она и прежде неохотно со мной разговаривала. Значит, я насильно хотел жениться на ней. А насильно милому не быть. . . Што ж такое! Девочек много. . . Только, кроме нее, мне ни одна девка не нравится, да и она честная, работящая девка, с ней легче бы было горе мыкать. . . Досадно, что та, кого ты любишь,

считает тебя ворогом... И что я за дурак, не сообразил раньше об этом?.. А што я для нее сделал — сделал бы то же всякий с моим характером».

Корчагин не загулял с горя, а стал крепче работать. Товарищи, прослышавшие от кухарки помощника бухгалтера о его интриге, подсмеивались над ним, но с ним шутить было неловко, и они изредка только, от нечего делать, язык чесали.

Шел как-то Корчагин по городу, неся стол на голове. Попалась ему навстречу Курносова. Он даже не мигнул и прошел мимо ее молча. Курносова также не поклонилась ему, а когда он прошел, оглянулась и долго стояла, глядя на удаляющегося Корчагина.

«Осердился... А ведь я дура: он много заботился обо мне. Не он — так что бы было со мной». Эти мысли день ото дня мучили ее, но ей не хотелось думать о нем, не хотелось видеть его: в нем было что-то противное, он напоминал ей обо многом.

«Ужо я ему скажу: пусть он не попадается мне на глаза. А то уж он больно близко живет; нехорошо по улице пройти: все на тебя глядят».

На другой день она пошла за табаком для Панкратова. Идет Корчагин навстречу, а как ближе стал подходить, отвернул лицо в сторону. Курносова остановилась.

— Василий Васильич...

— Ну?

— Ты што все меня караулишь? Я не люблю, кто надо мной подглядывает.

— Это отчего? — сказал свирепо Корчагин.

— Оттого, што мне тошно на тебя глядеть; больно... Не то — я на другое место уйду.

Корчагин перешел к другому мастеру, и Курносова не видала его год.

Ее мучило то, что она обидела Корчагина, ей жалко его, он такой добрый был, ласковый... Поговорить бы с ним ладком... нет... не надо... не люблю я его — и сама не знаю, отчего... Через год Корчагин вдруг пришел в кухню Панкратова. Курносова побледнела.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна, — проговорил он. Голос его дрожал.

— Ты куда?

— Теперь я вольный — пятнадцать лет кончилось моей службы на заводе. Теперь иду в Мотовилихинский завод, там пушки будут лить. Прощай. Не поминай лихом.

— Прощай... — едва слышно сказала Курносова; сердце у нее обмерло, голова отяжелела, и она не заметила, как вышел Корчагин.

Она хотела бежать, догнать его, броситься ему в ноги и благодарить его много-много за все, что он сделал ей, но на нее крикнула хозяйка:

— Што стоишь, рот-то разинула?.. Ишь, любовника завела, сука! — Курносова поглядела на нее так зло, что та сказала:

— Это что такое значит, матушка?

Курносова заплакала, а хозяйку это больше взбесило, она начала ругаться.

— Матушка-барыня, ведь он много для меня сделал... Он жениться хотел на мне, да я отказала: он опротивел мне.

— Ну, и беги за ним. Пошла хоть сейчас, плакса ты проклятая...

— Куда я пойду... Если бы я такая была...

— Нечего нюнить-то, барыней-то сидеть, шевелись!

Весь этот день Прасковья Игнатьевна провела как помешанная: то у нее в глазах двоилось, то она не понимала наказов хозяйки, то за одной вещью ходила по три раза и не находила ее... И досталось же ей от Варвары Андреевны!

Вечером хозяйка, сидя с мужем около стола и наслаждаясь чаепитием, вдруг позвала Курносову. Курносова плакала, ей жалко было себя, и она думала, что она гордая и от гордости обидела Корчагина.

— Смотри, Семен Семеныч, все плачет, — сказала, улыбаясь, хозяйка.

— Надо ее замуж выдать.

— На! пей чай-то. Пей здесь, — проговорила хозяйка Курносовой, подвигая чашку с чаем. Она думала этим оказать ей большое благодеяние.

— Покорно благодарю... — сказала едва слышно Курносова.

— А девка — дура, што не пошла замуж. Муж —

мастер, значит, житье хорошее. Смотри, наши мастера припеваючи живут, — говорил Панкратов.

— А ведь мужичка, и та любовь разбирает: не люблю, говорит, его.

— Значит — другой есть на примете.

Курносова глотала горькие слезы и думала: уйду же я от вас!

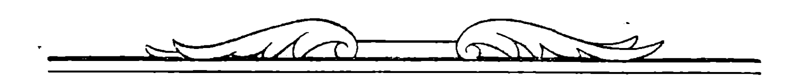
Хозяйка после чаю заставила Курносову надвязывать чулок и говорила: «Хорошо ты делаешь, что не выходишь замуж. Я уж знаю, што мужчины только до свадьбы ангелы, а после — беда. А ты такая подхалюза (то есть смирная)».

А Курносова думала: «Вот твой муж смирный, и куда ты как бойчее супротив него», — но молча слушала наставления хозяйки.

Прошел мучительно месяц; Корчагин действительно уехал далеко, а Прасковья Игнатьевна осталась мыкать свое горе у Панкратовых.

ГДЕ ЛУЧШЕ?

РОМАН
В ДВУХ ЧАСТЯХ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПРОВИНЦИИ

I

Путники

Зима. Небо заволокло тучами. Дует резкий ветер. На большой дороге, близ села Моргунова, никто нейдет и не едет; только полесовщик, сидя у своего шалаша, имеющего вид пирамиды, занесенного и убитого для тепла с трех сторон снегом, покуривает из трубки махорку и, поплевывая направо и налево, сосредоточенно смотрит на толстое сосновое дерево, одиноко стоящее от опушки леса, сквозь который в некоторых местах теперь, в зимнее время, видятся пустые пространства, покрытые толстыми слоями снега. Вот проехала тройка почтовых лошадей, запряженная в повозку с заледенелою поверх ее накладкою, с почтовым ямщиком и каким-то чиновником в шинели и фуражке с кокардою; но если бы не колокольцы, то полесовщик, казалось, и не обратил бы внимания на этих проезжающих. Когда повозка уже скрылась с изгибом дороги из вида, полесовщик встал, засунул трубку в карман полушубка и сказал, глядя на дерево:

— Кабы не начальство, срубил бы я тебя! Ей-богу... Два бревна бы из тебя сделал, и полтинник был бы у меня в кошеле... И знатный бы я купил платок хозяйке!.. А срубить нельзя, потому все деревья на перечете.

И полесовщик, почесавши спину, ушел в шалаш.

Немного погодя на дороге, с западной стороны, показалась небольшая группа людей, шедших врассыпную.

Когда из шалаша вышел полесовщик с чутунным ломом, эта группа, состоящая из пяти человек, уже приближалась к нему.

Полесовщик, положивши лом на левое плечо, стал разглядывать приближавшихся путников. Впереди шел мужчина лет сорока восьми, с корявым широким лицом, на правой щеке которого был большой шрам, с кудреватыми пепельного цвета волосами и маленькой бородкой тоже пепельного цвета, с большими глазами, густыми сросшимися бровями, с толстым носом и бородавкой на левой ноздре. На нем надет был тулуп, сшитый из овчин и покрытый синим, уже облинявшим сукном. На ногах сапоги, на голове фуражка, на шее ситцевый платок, свернутый наподобие галстука. За ним шел человек лет двадцати восьми, с бледным, привлекательным лицом, голубыми умными глазами, с небольшими усами и пепельного цвета волосами на голове, остриженными в скобку. На нем тоже был тулуп, крытый черным сукном, с закинутыми полами за красную тканую опояску; на голове фуражка, на ногах сапоги. Шагах в двух от него шла женщина лет двадцати, с румяным правильным лицом, карими глазами. Голова ее была покрыта желтым шерстяным платком с радужным кружком, в виде колеса, на затылке; на ней надет шугайчик, подбитый куделею и покрытый зеленым тиком. Этот шугайчик покрывает только грудь и спину, а ситцевый серый с цветочками сарафан служит дополнением одеяния; но и сарафан этот не совсем прикрывает ноги, обутые в шерстяные чулки и ботинки. Все трое несли на спинах по мешочку или узелку разных величин, а у второго мужчины, кроме этого, к мешку была привязана пила. За женщиною шли рядом два мальчика, из коих одному было лет осьмнадцать, другому пятнадцать. Лицо старшего было очень бледно и худощаво, на нем выражалась боль; лицо же младшего было полно, румяно и красиво; в глазах старшего замечалась злость, презрение, в глазах младшего — хитрость и плутоватость. Костюмами оба мальчика не щеголяли: на обоих надеты были тиковые халаты одинакового зеленого полинявшего цвета, продранные под пазухами и на локтях, отчего у старшего виднелась загрубелая сине-

красная кожа локтя, а у меньшего — рукав красной изгребной рубахи; на обоих были надеты фуражки с разорванными бумажными козырьками; на ногах старшего были худые сапоги, на ногах младшего — ботинки.

Первый мужчина поровнялся с полесовщиком.

— Здорово, живая душа! — проговорил он, сняв фуражку, и пошел к полесовщику.

Остальные скучились в одном месте, но второй мужчина пошел за первым.

— Куда бог несет? — спросил, улыбаясь, полесовщик, глядя на лицо подошедшего мужчины.

— Туда, где лучше.

— Ха-ха!

— Да! Вот ты и раскуси!.. Небось много лет по лесу шатаешься, а не выдумал другого места?

— Што и говорить! — и полесовщик задумался.

Мужчина стал накладывать в трубку табак; полесовщик тоже вытащил свою трубку и подставил левую ладонь к мужчине; тот, не говоря ни слова, насыпал на ладонь полесовщика немного табаку.

— Скоро ли вы там? — сказала женщина по-заводски, растягивая последнее слово.

На нее никто не обратил внимания. Мальчики пошли к шалашу, за ними пошла и женщина.

— Издалека идете? — спросил мужчин полесовщик.

— Да верст двести будет...

— Сперва ехали по-цыгански — все вместе, то на дровнях, то на дровах, как придется. Да больно тихо и холодно. Пехтурой-то лучше! — говорил молодой мужчина.

— Так вы туда, где лучше! Гм!! Где же это такое место? — говорил в раздумье полесовщик.

— Искать будем.

— Это все вместе — все пятеро?! Это хозяйка, молодуха-то? — спросил полесовщик молодого мужчину.

— Хозяйка.

— То-то: лицом-то схожи.

— Врет! Какая я ему хозяйка: он Короваев, а я Мокроносова.

Молодой мужчина поглядел сердито на женщину.

— Чево лицо-то корчишь? Ты наперед женись на мне, да потом и хвастайся! — проговорила женщина.

— Однако баба-то у вас вострая. А должно быть, неаккуратная, што у нее башмак развязался и завязка — эвон де болтается! — проговорил полесовщик и захохотал.

Щеки женщины покраснели более обыкновенного, и она, отошедши немного, стала завязывать ботинок.

— Што ж, али у вас своего хозяйства нету, што вы пошли? — спрашивал полесовщик путников.

— Было, да разъехалось, — сказал пожилой мужчина.

— А ты, видно, столяр?

— А што? Есть здесь где работа?

— Да оно, пожалуй: столяр не полесовщик... Вам об этом говорить нечего — люди заводские, как и я, грешный человек. Только у меня в селе Демьяновом есть шурин; так, братец ты мой, он этим рукомеслом так разжился, что мое почтение! Сызмальства к этой работе приучился.

— А ты-то што же торчишь тут?

— Э! То-то ты заводский человек, а ума-то у те мало. Што и говорить, коли, раз, я не обучен к такому рукомеслу... топором я мастер, а стругать — нет; а другой: здесь все ж вольготнее.

— Так он как — один или с рабочими работает?

— Один, один, без рабочих, как перст... Да и окромя его есть мастера, да уж те супротив него далеко не в ходу. А ты не к нам ли искать-то счастья идешь?

— Нет... я посмотрю.

— То-то. Если к нам, так ты ожжешься. Народ у нас вот какой: все бы взять... А што до отдачи, так на этом покорно благодарим... Вот што!

— Што ж мы здесь на житье, што ли, пришли? — крикнула женщина.

— Так, ты говоришь, место дрянь? Эдак нажить капитал нельзя? — спросил полесовщика пожилой мужчина.

— Ха-ха! Да откуда нажиться-то? Ежели торговлей, так торгашей — как червей!

— Ну, это еще надо узнать. Прощай, друг; спасибо за огонь!

И путники пошли не торопясь, разговаривая друг с другом.

Полесовщик долго стоял в одном положении, глядя на удаляющихся путников.

— Ишь ты! Пошли искать, где житье лучше! Ока-

зия! — сказал он и, как только скрылись путники, пошел в лес, говоря сам с собою: — где лучше? .. Посмотреть на вас, так плевка не стоите. А тоже чево-то ищут... Ах, горе, горе! ..

II

История путников

Пожилой мужчина, Терентий Иванович Горюнов, — отставной мастеровой Терентьевского горного завода; женщина, Пелагея Прохоровна Мокроносова, — мастерская вдова, племянница Терентья Ивановича Горюнова; мальчики — ее братья: старший — Григорий Прохорович Горюнов, младший — Панфил Прохорович Горюнов. Другой мужчина — мастеровой Терентьевского горного завода, Влас Васильевич Короваев.

Все эти лица назад тому год жили в Терентьевском частном горном заводе и имели различные занятия. Терентий Иваныч с самого детства слыл в заводе за чудака, потому что забавлял всех своей непонятливостию и своею смешною физиономиею, которая, говорят, с детства была очень уродлива. Поэтому, может быть, он вместо рудничных работ попал на посылки к разным должностным лицам завода — и в таком положении проболтался до двадцатипятилетнего возраста, когда у него явилось непреодолимое желание жить своим умом, своим хозяйством и иметь самостоятельный род занятий. На первых порах он мог выдумать только музыкальное занятие, то есть игру на гармонике, на которой лучше его во всем заводе никто не играл. Стал он разыгрывать в кабаках разные заводские песни; а так как кабаки в то время существовали от откупа, водка была дорогая и скверная, почему в будни покупателей ее было мало, то целовальники придумали такое средство: за каждое посещение Терентия Горюнова с музыкой и за игру для посетителей, не менее десяти человек, платить ему гривну меди. И Терентий Горюнов ежедневно по вечерам, как раз к тому времени, как рабочие возвращались с работ из фабрик домой, садился на крылечко кабачка и, завидя какого-нибудь рабочего, начинал играть какую-нибудь заунывную заводскую песню, зная наперед, что у рабочего и без музыки невесело на душе. Поровнявшись с Горюновым, рабочий останавливался.

— Што, Тешка, горе великое, плачешь? — спрашивает рабочий.

— Горе мое великое, выпить хочется, да денег нема! — говорит Горюнов и продолжает наигрывать.

— Будь ты проклятая, пакля!

Рабочий плюнет и пойдет.

— А ты заходи: в долг поверит, а я развеселю.

Рабочий подумает-подумает; руки и ноги болят от работы, кости ломит, на душе невесело — и зайдет в кабак, и если нет денег, целовальник отпустит водки на мелок.

Мало-помалу музыка Горюнова производила свое действие: за одним рабочим шли в кабак другие и, выпивая водки, заставляли его играть на гармонике. И редкий день проходил без того, чтобы Горюнов не получал от целовальников по гривне. Но зато эти деньги не легко ему доставались. Не говоря уже о мозолях на пальцах, ему постоянно приходилось сносить насмешки и ругательства рабочих, заключавшиеся в том, что он, Горюнов, нарочно прикинулся дурачком для того, чтобы ему не работать, что он вовсе не дурак, а первый плут во всем заводе. Хотя Горюнов и старался доказать, что он тоже работник, потому что играть целый вечер для одного или нескольких рабочих не шутка, что, забавляя рабочих, он этим самым, так сказать, выкупает фабричную работу, — но его не хотели слушать ни пьяные, ни трезвые. Доходило до того, что пьяные его били за малейшее ослушание или просто за то, что он не умел угодить им игрой, так как музыка доводила некоторых до остервенения. Однако, как ни ругали его рабочие в пьяном виде, он все-таки слыл в заводе за отличного игрока, и только не пьющие водки называли его пропащим человеком.

Своею гармониею, а главное игрой, Горюнов произвел мало-помалу такое действие, что не было в заводе мужчины, который бы хоть раз не посетил кабак и не выпил там чего-нибудь. Если кто до тех пор имел о кабаке дурное понятие, тот с этого времени находил много в нем утешения; не пьющий водки человек заходил туда потешиться над пьяными товарищами и выпить за компанию кружку пива, которая стоила грош; дома убийственное однообразие, писк детей, ворчание старухи-матери; в кабаке — пляски, дружественные разговоры, игра Горюнова на гармонике, песни .. И Горюнов прославился. Но силь-

но зато его невзлюбили женщины и девицы. По их понятиям, Горюнов был самый развратный негодяй, которого непременно нужно каким-нибудь образом вытурить из завода, потому что он развращает мужей, отцов, братьев, сыновей и женихов. Прежде, бывало, мужчины в свободное время что-нибудь делали дома, а теперь все время проводят в кабаке, и если не пьянствуют, то играют в карты или в шашки. Кабак не только для взрослых, но и для подростков стал лучше дома. Прежде, бывало, подросток играет с девками на улице в мячик, а теперь сидит в кабаке и сосет трубку или папироску... И чего-чего не делали бабы и девки заводские с Горюновым! Мало того, что они ругали его в глаза, но частенько из-за угла выливали на него ушат с водой, хлестали по нем из окон мокрыми вениками, жаловались на него полицейскому начальству — ничто не помогло... Но в жизни всегда бывает так, что то, против чего мы протестуем во время нашей скуки, в другое время нам нравится. Так и без Горюнова не проходила ни одна богатая вечеринка или свадьба на заводе, ни одно народное гулянье; тогда Горюнов нравился всем своею игрой, нравился женщинам своей остротою, девушкам — шуточками и уморительными рассказами, иногда даже очень некрасивого свойства, да притом он не протестовал, когда над его лицом и манерами издевались хуже, чем над куклой.

Горюнов был добрейшее существо: никто не слыхал от него никогда не только бранного слова, но и неудовольствия; он всегда казался весел, доволен своею судьбою; но никто не знал того, что такое занятие не нравится Горюнову. Никто не знал, что Горюнов замышляет другой род занятий, копит гривны, собирает всякие бросовые вещи (что относили к его дураковатости)... И каково же было удивление терентьевцев, когда Горюнов к масленице соорудил для заводчан катушку с горы! .. До тех пор катушка существовала на пруду, то есть ее делали на столбах; теперь же Горюнов разыскал в горе такое место, которое как раз было для этого удобно. Все заводчане бросили старую катушку, кинулись к Горюнову... Горюнов торжествовал целую масленицу и собрал немало денег Деньги эти он употребил на покупку дома своей любовнице, вдове Тюневой, которая торговала на Широкой улице калачами и секретно — пивом и брагой.

Все в заводе знали про эту связь, но не обращали внимания, потому что Горюнова считали за дурачка, а Тюневу за самую последнюю женщину, от которой уже нечего ожидать хорошего. Горюнов днем терся в ее доме, изредка зазывая гостей, угощая их пивом и брагой и наигрывая на гармонике, а по вечерам как ни в чем не бывало являлся к брату. Семейство брата не только не было недовольно тем, что Терентий Иванович ничего не помогает в хозяйстве, но ему даже приятно было то, что он приносит ему то свечку сальную, то булку и утешает маленьких ребят своими прибаутками. В семействе все любили его, особенно дети.

Горюнов никогда ничем не хвастался и ничем не гордился, да и нечем было; однако рабочие заключили, что он не такой дурак, как об нем думают бабы. Они думали, что Горюнов неспроста перестал играть в кабаках на гармонике. Другие на его месте непременно стали бы пьянствовать, попрошайничать, а он нет. Он своей любовнице дом купил, а это что-нибудь да значит! И хоть бы любовница была молодая да красивая, а то корявая, длинноносая, низенькая ростом — такая, что ее возьмет замуж разве такой рабочий, которому не на ком больше жениться; мало этого, любовница даже бьет Горюнова. «Нет, — говорили рабочие: — Тешка выкинет какую-нибудь штуку и удивит нас всех чем-нибудь, на то он и при полиции и при разных начальниках на посылках состоял и от них, вероятно, что-нибудь да перенял. . .» Пробовали было рабочие советоваться с ним — никакого не вышло толку: Горюнов несет такой вздор, что смешно становится, а как засмеются рабочие, и он захохочет. Тем советы и кончатся.

Брат Горюнова был совсем другой человек. Он сызмалетства работал в рудниках, прошел все тягости горнозаводской обязательной на помещика службы, был человек горячий, справедливый, никому не льстил и от этого много терял, — и, наконец, за одну жалобу, сочиненную писарем Мокроносовым и подписанную им, его назначили в самые тяжелые работы, где он и умер, а жена его, ходившая с жалобой по этому случаю к главному горному начальству, не только ничего не выходила, а ее привезли из горного города связанною, избитою и сумасшедшею.

В это время Горюнов женился на любовнице, а пле-

мянница его вышла замуж за писаря Мокроносова. Пелагея Прохоровна была девушка смирная, работящая. Ей нравился писарь не потому, что он умел играть на гитаре, говорил складно, умел рассказывать непонятные для нее вещи так, что она понимала их, но за то, что его любил ее отец. Сам Мокроносов ничего хорошего не мог обещать своей невесте, а только уверял, что он ее будет любить, будет стараться для ее счастия всеми силами, а главное — не станет пить водку, которую он незадолго до свадьбы стал употреблять в большом количестве. И действительно, месяца три супруги жили хорошо, но потом Пелагея Прохоровна стала замечать, что муж ее тоскует, попивает понемногу водку, не говорит с ней ласково, а если и скажет, так с сердцем. Узнала она, что мужа ее притесняют за то, что он восстает против разных несправедливостей, делаемых рабочим заводоуправлением. Всячески старалась молодая женщина утешить своего мужа, — муж запил, нагрубил кому-то, и его назначили куренным рабочим; а тут еще стали бабы говорить, что он связался с какою-то женщиною. В это время умерла ее мать; за долги отца ее с братьями выгнали из дома, и она на первых порах поселилась у дяди, который тогда уже занимался торговлею.

Наконец муж Пелагеи Прохоровны захворал и умер; она осталась беременна и без средств, но, к счастию, попала на квартиру к доброй старушке-ворожее, у которой и родила мертвого ребенка. Но этого ребенка не удалось ей увидать, потому что старуха-раскольница бросила его в пруд, — на что она имела свои причины. У этой-то старухи Пелагея Прохоровна познакомилась с внуком ее, Власом Васильевичем Короваевым, которого она и прежде несколько раз видала с отцом.

Короваев — столярный мастер. Он работал чисто, хорошо и честно. Человек он был добрый, и малейшая несправедливость волновала его чересчур, но он никогда не задирал и не вооружал начальства, зная хорошо, что из этого ровно никакой не будет пользы ни ему, ни рабочим, а произойдет один вред. Работу он имел всегда; был вхож и к заводскому приказчику — двигателю всего заводского дела. Он был холост и не хотел жениться до тех пор, пока не будет иметь средств откупиться на волю. Пелагея Прохоровна прожила в его доме две недели; как

он, так и она друг другу нравились, но между ними даже и речи не заходило ни о любви, ни о женитьбе. Короваев видел в Пелагее Прохоровне женщину молодую, слабую, неопытную, завлечь которую стоило небольшого труда; но ему совестно было говорить ей о том, чтобы она приискала себе какой-нибудь труд, что у него жить она долго не может; сказать же ей, что она ему нравится и что он думает жениться на ней, он не решался до тех пор, пока не выкупится на волю. Пелагея же Прохоровна думала: «Он хороший мастер, но человек гордый. Вот бы такой мне муж... Только он не ласковый». А тут вышло такое обстоятельство, что ей нужно было идти к приказчику хлопотать о провианте братьям. Приказчик предложил ей быть его любовницей и хотел даже послать за ней лошадь вечером, но вечером же, по заводу разнеслась весть, что в завод *привезли волю*. Переполох по этому случаю в заводе был страшный и продолжался недели три, и в это время Пелагею Прохоровну дядя Горюнов и Влас Васильевич увезли в город Заводск, где и нашли ей место кухарки, но сами попали в острог по подозрению в краже вещей у одного богатого купца. В остроге они просидели больше месяца, их нашли невиновными, но зато они не получили назад денег, взятых у них при арестовании; у Терентия Ивановича пропала в городе лошадь с телегой; когда же их привезли в завод как беглых, то Короваев узнал, что его сестра Василиса сожгла его дом, уехала на рудник и живет там с нарядчиком, что Григорий Прохорыч работает на руднике в шахте, а Панфил — в фабрике; Горюнов застал свою жену больною, жена сказала ему, что его дом отбирает начальство за его прогулы.

Дом от Горюнова действительно отняли, за то, что он прежде не работал на завод и не поставлял вместо себя работников, и выдали ему чистую волю. Горюнов поехал жаловаться, но ничего не выходил, а прожил все деньги. Без денег в заводе ему нечего было делать, а заниматься на фабрике или в лесу он не хотел; Короваев тоже не мог никак поправиться, потому что ему месяца три нужно было заработывать деньги на инструменты. Обоим друзьям жизнь опротивела в заводе; везде они видели несправедливости; народ стал беднеть, воровать, пьянствовать; многие пошли искать счастия в другие места.

Поэтому Горюнов, после смерти жены, решился идти в другое место искать счастия; с ним согласился идти и Коровaев. Племянники Горюнова тоже обрадовались этому и стали проситься с ним. Горюнов и Коровaев решили поосмотреться в городе. Но в городе рабочих рук оказалось так много, что не только нашим терентьевцам, но и многим другим трудно было достать какую-нибудь работу. Нельзя сказать, чтобы работы не было, но при наплыве рабочих со всех сторон плата за работу дается небольшая, прежние рабочие стараются держаться прежних мест, а более ловкие оттирают от работы простаков. Горюнов и не искал для себя работы, — ему хотелось торговать, потому что и прежде он торговал гвоздями, медною посудою, фальшивыми серебряными вещами, — но так как теперь у него ничего не было для продажи, то нечего было и думать о торговле. Походил он по городу с неделю; навестил знакомых мастеров, которым прежде продавал камни — аметист, топаз и проч., хотел купить у них выделанные вещи, но мастера страшно дорожились. Поступить же куда-нибудь в лавку приказчиком Горюнов не мог, потому что в приказчики принимают людей знакомых, по рекомендациям. Так Горюнов и прожил без дела с месяц. Коровaев тоже не мог найти выгодную работу, потому что в городе очень много цеховых мастеровых и работать на продажу бесполезно. Счастливее их были Григорий и Панфил: они попали в извозчики, с платою в месяц по три рубля.

Положение Горюнова и Коровaева было довольно неказистое: деньги выходили, а достать неоткуда...

— Здесь сколько хошь живи, ничего не наживешь. Этот город просто помойная яма! — говорил Горюнов.

— Да, Терентий Иванович! Были мы с тобой люди опытные когда-то.

— Не мы этому виноваты... Однако надо идти в другое место. Вот что я придумал: ведь у тебя много знакомых с золотых приисков. Не махнуть ли нам туда?

— Знакомые есть, только разве они помогут?.. Разве в ихной воле давать нам плату?

— Ты не то судишь! Мы будем иметь золото...

— Я на это не согласен. Лучше идти в другое место, где меньше городского народа.

— Постой! Я мальчиком был в селе Моргунове, — там соль добывают. Работы страх как много.

— Не лучше ли нам идти на пушечный завод? Он, говорят, только что начинается.

— Нет, уж я туда не пойду: там рабочих теперь много. Уж если здесь их много, то там и еще больше, а в Моргунове должны быть свои люди.

Через два дня после этого разговора, порасспросивши у разных рабочих, где лучше жить, Короваев и Горюнов решили идти на соляные промыслы. Но оставалось еще одно затруднение.

— Мы как пойдем: одни или нет? — спросил Короваев Горюнова.

— Это ты насчет наших-то спрашиваешь... Оно, конечно, лучше, если все вместе будем жить. Только, сам рассуди... баба!

— Ну, с Палагеей Прохоровной мы, может быть, и поладим.

— То-то, чтобы не вышло чего-нибудь...

Горюнов пошел на квартиру Пелагеи Прохоровны. Она еще очень недавно поступила в кухарки к жене столоначальника и говорила, что хуже этого места она нигде в городе не имела. Но как ни тяжела была жизнь в кухарках, ей все-таки не хотелось уходить из города, к которому она начинала привыкать. Поэтому, когда Горюнов сделал ей предложение, чтобы идти вместе с ним, братьями и Короваевым в другое место, она долго не соглашалась, и Горюнов убедил ее только тем, что она будет сама хозяйка, не намекая, впрочем, на Короваева.

В это время у Пелагеи Прохоровны был уже короткий знакомый, дворник соседнего с ее хозяйкою дома, Егор Максимыч. Ему было годов под сорок, но он был еще красивый мужчина. Часто, как только Пелагея Прохоровна пойдет куда-нибудь, Егор Максимыч выходил из калитки, кланялся ей и говорил любезности. Случалось, по вечерам, когда не было дома хозяина и хозяйки, Пелагея Прохоровна сидела на лавке рядом с Егором Максимычем и разговаривала о заводской жизни, о своей барыне и т. п.; но Егор Максимыч вел себя прилично и никогда не дозволял себе сказать какое-нибудь неприличное слово. Егор Максимыч был вдов и имел уже взрослую дочь. Поэтому ей никак не приходило в голову,

чтобы он мог предложить ей выйти за него замуж; ей просто нравилось говорить с хорошим человеком, посоветоваться с ним.

Собралась Пелагея Прохоровна совсем, распростилась с хозяйкой и пошла к Егору Максимычу.

— Куда это? — спросил тот, точно в испуге.

— Искать доброе место — где лучше!

— Здесь, в городе?

— Нет. Дядя с собой зовет.

— Напрасно, Пелагея Прохоровна... А я на тебя надеялся...

— Хуже этой барыни уж едва ли я еще кого найду... Уж теперь я в кухарках не буду жить.

— Ну, это еще вилами писано!.. А я на тебя крепко полагался...

— Что так?

— Да так... Думаю, баба молодая, красивая... работящая... А я вдов...

— Ну?!

— Неужели ты не догадываешься?

Пелагея Прохоровна захохотала и сказала:

— Полно-ко, Егор Максимыч! Ровня ли я тебе: мне двадцатый год, а тебе сорок четвертый...

— Только тридцать восемь... Подумай, Пелагея...

— Покорно благодарю.

— Напрасно ты идешь! Обманет тебя дядя, — помяни меня!

Пелагея Прохоровна ушла. Дорогой сперва предложение дворника смешило ее, но потом ей сделалось стыдно: «И как это я не замечала, что он лебезит около меня для того, чтобы опутать меня. Поди, там все про меня говорят нехорошо... А я, дура, говорила ему обо всем, думала, что он хороший человек. А он — на́, поди! Женишок!.. Уж если идти замуж, так за молодого, а то... И выдумал же ведь, что я пойду за него: ты-де бедная, а у меня деньги есть...»

Через день после этого они отправились с Григорьем и Панфилом в дорогу.

Дорогой они больше молчали, потому что о прошедшем говорить не стоило, а в будущем неизвестно что будет. Все, каждый порознь, надеялись, что где-нибудь да найдут они хорошее место. Теперь у каждого из них

более прежнего было привязанности друг к другу и ко всем вообще, потому что прежде они жили порознь, каждый приобретал средства сам собой, а теперь идут они все вместе, и бог знает, кому из них будет лучше? Но никто так не нравился Пелагее Прохоровне, как Коровaев. Ей нравился его высокий рост, его широкие мерные шаги, его лицо и глаза, с любовью смотрящие на нее в то время, когда он оборачивается, но не нравилось ей то, что он ничего не говорит с ней, а если и говорит, то при дяде... И хочется ей самой сказать ему, что за нее сватался дворник, ждет она удобную минуту, но когда дядя и братья отойдут далеко, ей сделается неловко: «Ну, хорошо ли говорить ему об этом? Стыд! Еще подумает бог знает что». А если и взглянет на нее Коровaев, встретятся их взгляды, — сердце Пелагеи Прохоровны точно ожжет что.

III

Коровaев отделяется от Горюновых

— А скверно, что мы не спросили, где лучше остановиться, — сказал Коровaев, когда он и его сотоварищи свернули с большой дороги на проселочную, идущую между мелким кустарником березника.

— Э! Мы не богачи какие!.. Обглядимся, тогда и устроимся, — сказал Горюнов.

Мало-помалу стали редеть и кустарники. Наконец путников охватил резкий сильный ветер с левой стороны, и перед ними открылась широкая равнина. Это ровное место походило не на поле, а скорее на озеро, потому что справа и слева виднелись небольшие возвышенности, частию покрытые кустарником, а в середине равнины виднелась вода; в одном месте даже рос тощий мелкий кустарник, и от него до какого-то места стояли столбы. Но не это заняло путников. Налево от дороги строилось много барок; там и сям пилили доски, обтесывали бревна; народ копошился, и воздух оглашался стуком топоров, шарканьем пил, дружными возгласами нескольких голосов враз: «Дернем, подернем...» Наши путники не сводили глаз с рабочих и, наконец, подошли к одной кучке.

— Бог на помочь! — сказал Горюнов.

Рабочие посмотрели на пришедших, не переставая работать, и ничего не сказали.

— Почем робите?

— По шести рублев в месяц...

— Маловато.

— И это слава богу. А вы не здешние, што ли?

— Как не здешние? Любопытно стало — вот и спросили.

— Есть тут чего любопытного!

И путники пошли.

— А эта работа нам не с руки... У нас тоже строят барки, да только от них много не поживишься! — проговорил Короваев.

— Я помекаю: нельзя ли мне тут какую выгоду приобрести, — сказал в раздумье Горюнов.

Мало-помалу перед ними вырастало село, расположенное частию на низком, частию на холмистом месте; но виднелись только крыши и колокольни двух церквей, остальное же закрывалось рядом множества высоких столбов с перекладинами, насосов, варниц и высоких, в три яруса, амбаров.

Наши путники подошли как раз к промыслам, находящимся на берегу реки Дуги. По самому берегу, на невысоких, убитых деревом со сваями, набережных стоят огромные соляные амбары; на воде стоят затянутые льдом два парохода, несколько судов и готовых уже барок или барок строящихся; между амбарами и набережными везде едут или с дровами, или с порожними дровнями. Далее, внутри от амбаров, идут длинные лестницы к варницам; между ними стоят насосы, а расстояния между лестницами и насосами заняты дровами, бревнами, досками, кирпичом. Здесь рабочих почти не видать; но зато здесь пахнет серой, и, несмотря на холод, кое-где с насосов и крыш сочится рассол и сосульками отваливается на сырой снег.

Походили путники по варницам, высмотрели все, что им дозволили посмотреть, и, между прочим, узнали, что и здесь рабочие перебиваются кое-как, и здесь плата за труд небольшая, а поэтому редкий рабочий не находится в долгу у тех, которые нанимают его работать.

— Везде, верно, одно, — сказал Короваев.

— Посмотрим. Земля-то не клином сошлась, — заметил Горюнов.

— Коли у тебя денег много — можно весь свет, пожалуй, обойти.

— И не ходи! — сказал Горюнов, обернувшись к Короваеву.

Прошли они церковь; недалеко от церкви увидали постоялый дом. На постоялом никого теперь не было, и хозяйка очень обрадовалась, что к ней пришло много гостей.

— Ну, что ты с нас возьмешь за постой? — начал Горюнов.

— А долго вы проживете?

— Не всё же мы у тебя будем жить... Мы надолго пришли сюда, своим домком надо будет заводиться...

— Что ж, дело хорошее. Прежде у нас всё свои робили на промыслах, а после воли столько наехало заводских, что беда! Есть даже и такие, кои и дома себе настроили.

— Ишь ты!

— Ей-богу! Только народ — собака, нашим промысловым не уступит: наш-то еще думает, как бы ему мешок с солью утащить, а тот уж этот мешок утащил. Право!

— И всем дело есть?

— Теперь помене стало, потому с волей господа крепко прижались: где бы нужно все варницы пустить, а они только четверть. Оттого и соли помене, и рабочим мало дают. Теперь-то мало работы; а то весной и бабам много работы.

После обеда молодежь, в том числе и Пелагея Прохоровна, улеглась спать, а Короваев с Горюновым пошли в село.

— На постоялом дворе невыгодно жить, Терентий Иванович, — сказал Короваев Горюнову.

— Надо будет поискать квартиру.

— Только я с вами жить не буду.

— Это дело твое, а я тебя не неволю. Только мы с тобой еще походим, поглядим, что за народ здесь.

Отправились они в харчевню. Там четверо мастеровых пили чай.

Короваев и Горюнов сели к столу, недалеко от мастеровых.

— Ежели мне теперь Усольцев не заплатит, я его камнем.

— Ну, не горячись. Уж ты эту песню давно поешь!

— Не веришь?

— А помнишь, как он с Агашки-то платок содрал, как ты расходился? И ничего!

— Агашка сама с ним разделалась.

— Полно!! Агашка, известно, поругалась-поругалась, да и только. А што наша ругань? Нет, ты бы его смазал хорошенько.

— Я его с лестницы!

— Дурак! С лестницы спустишь — в острог попадешь! Не так ли? — спросил мастеровой, обращаясь к Короваеву.

— Чево и говорить.

— А вы не здешние? Видно, на работы пришли?

— Да.

— То-то!

— Ну, и обожглись, значит. Заводские?

— Заводские. Только жить-то там нельзя: покосы и дома отняли; совсем разорили.

— Скверно. А все ж на одном месте лучше, я те скажу, потому всё свои, свои и выдадут и выручат. Так ли?

— Это так. Только больно неприятно, когда есть нечего.

— Полно-ко! Коли бы жрать нечего было, не пил бы чай...

— Это можно себе позволить. Иной последние деньги на водке пропивает.

— Дело, братец, говоришь. Каким же ты ремеслом думаешь заняться?

— Да надо приглядеться. Я столяр.

— Барин!

— Почему барин?

— Потому что тяжелой работы не знаешь, с господами знаешься. С такими людьми мы компанство не водим; а потому — дабы повелено было, не доводя до греха, убираться вашему брату, стругалу, подобру-поздорову! — И мастеровой подошел к Короваеву.

— Однако ты, видно, по гражданской печати обучен? — проговорил, смеясь, Короваев.

— А это видишь? — сказал мастеровой, показывая черный кулак.

— И свои имеем.

— Тебе говорят — уходи, потому эта харчевня наша: здесь всё промысловые, с Поносовского промысла.

— Чем же мы вам мешаем?

— Мешаете, да и все тут.

— Послушайте! Уходите добром... Наши скоро придут; их много: их не заговоришь и не переборешь.

Короваев и Горюнов не шли.

Мастеровые стали шептаться. Немного погодя один из них вышел.

— Понимаешь? — сказал шепотом Короваев Горюнову.

— Гармонийку-то я забыл, вот што скверно! — отвечал Горюнов.

Вдруг в харчевню вошло человек пять рабочих. У двоих за кушаками были засунуты сырые серые мешки, остальные ничего не имели при себе.

— Где? Эти?! — крикнул дюжий рабочий и подошел к Короваеву и Горюнову, которые держали в руках блюдечки с чаем.

— Кто вы такие? — крикнул рабочий, уперши руки в бока и разодвинув ноги.

Остальные окружили стол, за которым сидели Горюнов и Короваев.

— А ты из каких, из полицейских? — спросил Короваев, поставив блюдечко.

— Из полицейских.

— Ну, так иди туда, откуда пришел!

— Ты зубы-то не заговаривай, а коли тебя турят (гонят), так пошел! — проговорил другой рабочий.

— Никто меня не волен гнать, потому я такие же деньги плачу, как и все.

— То-то, не такие. Афанасьич не возьмет с вас того, што он с нас берет.

— Известно. С не-наших всегда вдвое, — сказал хозяин харчевни и захохотал.

— То-то и есть. Вы должны быть благодарны, что мы вашему хозяину барыш доставили. Не приходи бы таких дураков, как мы, — пришлось бы закрывать заведение.

— Ох ты, осел! .. Много ты передашь! .. Хороший человек водку берет, а то пришли, взяли чаю на гривенник, да и сидят целый день! — проговорил хозяин и подошел к столу.

— Эй! кто из вас водку пьет — угощу! Знай терентьевского Горюнова! — сказал Горюнов вставши, — и сделал такую гримасу, что все смотревшие на него захохотали.

Скоро явился полуштоф; по выпитии из него по стаканчику рабочие уже не ругались с терентьевцами, а дружно разговаривали.

От них они узнали, что соляные промыслы находятся в трех селениях, отстоящих в недалеком расстоянии одно от другого, — Моргунове, Притыкине и Демьянове. Из них первые два принадлежали пяти разным владельцам, а Демьяново — казне. Сами господа никогда не жили в своих селах, а некоторые из них даже и не бывали в них. Они жили или за границей, или в столицах, и поэтому всеми делами заправляли управляющие с приказчиками, которые были или местные купцы, или отставные чиновники и обращались с рабочими как настоящие господа. Но этих господ рабочим приводилось видать на промыслах очень редко, раз или два в год; настоящими же хозяевами были смотрителя, нарядчики и тому подобная мелюзга, которая из каждого рубля, из каждой рогожи или куля старалась приобрести в свою пользу копейку. Они обсчитывали рабочих ежедневно; жалобы на них не принимались или оставались без уважения, и если, несмотря на это, рабочих всегда много было на промыслах, так потому только, что им нечего было есть; куда ни пойди, все работы находятся в руках этих пиявиц, например — постройка барок, судов, караулы, очистка льда и т. п.; даже торговлю всю они забрали в свои руки. Из всего этого Горюнов вывел то заключение, что ему здесь ничего не приобрести, и крепко призадумался.

Печальные вышли из харчевни Короваев и Горюнов: не того они ждали здесь. Им хвалили промысла.

— Надо попробовать, — сказал Горюнов.

— Нечего тут и пробовать, — проговорил сердито Короваев.

— Што ж делать-то?

— А я думаю идти в другое место. Пойду в М. завод. Если там не повезет на столярном ремесле, я буду пушки лить.

— Полно-ко, Влас Васильич!

— Это будет вернее... Говорят, там дают семьдесят пять копеек поденщины.

— Враки!

— Ну, а если не повезет там, и дальше пойду... Мне мастер Подкорытов сказывал, что, кроме Петербурга, нигде нет таких мест, где бы можно хорошо заработать деньги одинокому человеку. Только идти туда далеко.

— И все-таки твой мастер нажился на гранильной фабрике, не в Петербурге...

— Што ж ему было делать, когда он был сослан туда?

— Как знаешь, а я здесь останусь... Попробую.

Домой они пришли часу в девятом вечера. Григорий, Панфил и Пелагея играли с хозяйкой в карты у зажженной лучины.

— Ну уж и село... Дрянь, говорят, — сказал Горюнов.

— Кто это сказал? Небось мастерки! О, они никому добра не пожелают, — сказала хозяйка, сдавая карты.

— Да это и видно. Самые строения, что есть, нисколько от наших домов не отменились. Да вот мы давеча шли, почти на каждом углу нищий.

— Стоит на это обращать внимание; известно, нищий — лентяй!

— А если он на костылях?

— Мало ли их вон пьяных: зимой, как обрубки какие, на улицах валяются. Поневоле не только ноги, а и руки отморозишь.

— А я, Палагея Прохоровна, завтра в путь, — сказал Короваев, обращаясь к Пелагее Прохоровне.

— Куда? — крикнули Григорий и Панфил.

Лицо Пелагеи Прохоровны побледнело, и она не могла ничего выговорить.

— Пойду в М. завод.

— А как же ты все тараторил: в Моргунове хорошо, лучше Моргунова другого места нет... — сказал Григорий Прохорыч.

— Мало ли что говорили мне люди.

— Попросту скажи: с вами, мол, не хочу вместе робить, — сказала Пелагея Прохоровна изменившимся от внутреннего волнения голосом.

— Ну, это еще не доказано, — сказал Короваев и стал укладываться на лавке.

Хозяйка спросила, будут или нет они ужинать. Ужинать никто не хотел. Всем было не то скучно, не то неловко. Горюнов курил трубку за трубкой; Короваев лежал на лавке и что-то соображал, часто перебирая пальцы; Григорий и Панфил лежали на полатях на животе и, глядя на Пелагею Прохоровну, старались рассмешить ее. Пелагея же Прохоровна складывала желтый платок, который у ней в дороге был надет на голову. По этому складыванию заметно было, что у ней мысли не в порядке.

«Это он нарошно уговорил дядю идти сюда, штобы потом самому легче уйти в другое место. Он знает, што дядя уж не пойдет в другое место. Он и прежде такой был: все бы ему лучше, все особливо от других робил... И деньги большие имел... И теперь у него должны быть деньги, потому он хотел раньше на волю откупиться, только, говорит, деньги сестра украла. Врет! Нет, он боится, штобы мы у него не попросили денег. Должно быть, дядя просил у него денег».

И она вызвала дядю на крыльцо.

— Дядя! Ты не просил ли у Короваева денег? — спросила она Горюнова.

— С какой стати я у него буду просить денег, — сказал тот сердито.

— Я думаю, он боится, штобы мы не попросили у него денег, потому и идет в другое место.

— То-то ты, баба, не в свое дело вмешиваешься. Иди лучше спать, а завтра пойдем в варницы, может быть какую-нибудь работу достанем. — И Горюнов ушел в избу.

Пелагея Прохоровна успокоилась немного. Она знала, что дядя хотя и прикидывается дураком, но всегда говорит правду. И ей стало досадно, что она до сих пор так много думала о Короваеве, который, как надо полагать, о ней вовсе не думал, потому что если бы он думал о ней, то не сказал бы ей, что идет отсюда в другое место, не

проживши здесь даже и суток. И сказал-то как, точно он куда-нибудь в лавку или на улицу уходит. А она считала его за своего человека; он ей нравился, человек молодой, высокий, степенный, непьющий, работящий...

И как ни старалась Пелагея Прохоровна успокоить себя, а заснуть не могла долго. Коровaев разобидел ее.

«В самом деле, што я о нем думаю? Он мне чужой, и я ему чужая. И што я сержусь-то на него? Мало ли кто нравится, да я-то ему не нравлюсь».

Пелагея Прохоровна ворочалась с боку на бок, так что полати скрипели. Дядя и братья ее храпели.

— Оказия!.. Это оттого не спится все, что даве спала... — проговорила шепотом Пелагея Прохоровна.

— Не спишь?— произнес негромко Коровaев.

Пелагея Прохоровна притаилась, то есть старалась не шевельнуться, не вздохнуть тяжело, чтобы Коровaев думал, что она спит.

«Погоди!.. Коли ты гордец, и я буду такая», — подумала Пелагея Прохоровна.

— Не спишь, говорю? — произнес так же негромко Коровaев.

«Ладно!» — подумала Пелагея Прохоровна улыбаясь. Но через полчаса она уже пожалела о том, что не отозвалась на голос Коровaева, а потом, пораздумавши, пришла опять к тому заключению, что хорошо сделала.

«Если он хочет говорить со мной, отчего он не говорит днем?.. Ишь, нашел время! Проснется дядя или который-нибудь из братьев, што они подумают? Ему ничего, а мне каково?.. Может, он при них не хочет говорить...»

Тут припомнились ей сцены с писарем, который старался как-нибудь поговорить с ней наедине; припомнилась ей сцена, как писарь полол с ней гряды в огороде. Сперва на другом конце гряды был, а потом мало-помалу все приближался к ней, полз, полз — да и обнял ее... Посмотрела она после на гряду, писарь только вид делал, что он выдергивает траву, потому что травы нисколько не выдернуто.

«Ну, так зато тот был жених. Тот раньше говорил мне, что он жить без меня не может».

Так всю ночь и не спалось Пелагее Прохоровне. В четыре часа поднялся Коровaев. Ночь была лунная, и луна хорошо освещала избу. Коровaев одевался. Пелагее

Прохоровне хотя и хотелось спать в это время, но она вышла во двор, чтобы ей не спать. Она сама не могла хорошенько понять: зачем ей нужно прощаться с Короваевым...

Вышла она во двор. Во дворе, крытом навесом, было темно, хоть глаза выколи. Наткнулась она на что-то, уперлась и заплакала.

Одно только она думала, что несчастнее ее нет женщины. С детства она не видала светлых дней, с мужем было еще больше горя, и только живя у Короваева она отдохнула немного, а потом опять пошла тяжелая жизнь... Не с кем ни поговорить хорошенько, не с кем посоветоваться как следует, никто не приласкает ее.

— Палагея Прохоровна! Ты где? — услыхала она голос Короваева.

Слезы более прежнего пошли из глаз Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

— Ну, о чем ты плачешь, Палагея Прохоровна? — проговорил Короваев, ущупав в темноте Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно и досадно сделалось, что ее поймали на месте, в слезах.

— Тебе што за дело? — проговорила она неровным голосом.

— Может быть, и есть дело... Ведь я слышал, што ты не спала всю ночь.

— Потому и не спала, что кусали.

— Полно-ко, Палагея Прохоровна... Однако вот что я тебе должен сказать один на один. Тебя я знаю давно, и ты меня знаешь... Палагея Прохоровна... Пошла ли бы ты за меня замуж?

— Вот уж!.. — сказала Пелагея Прохоровна, не зная, что сказать в эту критическую минуту.

— Скажу тебе одно, что теперь я не могу жениться, потому что у меня ничего нет, кроме пилы да долота. Теперь я пойду добывать себе капиталы, и если бог мне поможет да ты не выйдешь замуж, тогда... А до той поры — прощай... Дай мне руку... — Голос Короваева дрожал; он говорил точно, у него давно накипело в душе.

Когда Пелагея Прохоровна протянула ему руку, он крепко пожал ее и сказал:

— Твой дядя едва ли долго проживет здесь... Он думает идти на золотые, но я тебе идти туда не советую... Здесь будет лучше, потому что здесь и бабы работают... Подожди с месяц, а я поживу в М. и перешлю тебе в варницы с кем-нибудь весточку о своем житье. Прощай! — Коровaев пожал крепко руку Пелагеи Прохоровны, выпустил ее и пошел к калитке.

— Ты уж разве совсем? — спросила с испугом Пелагея Прохоровна.

— Совсем. Кланяйся дяде и братьям... Там, на столе, я оставил хозяйке деньги за постой.

Последние слова Коровaев говорил уже на дороге.

Пелагея Прохоровна остановилась в калитке и стала смотреть на Коровaева, который, мерно и широко шагая, удалялся все дальше и дальше от нее и, наконец, скрылся в переулке.

Грустно сделалось Пелагее Прохоровне, голова ее отяжелела, слезы душили ее.

— Кто тут стоит? — крикнула грозно хозяйка с крыльца.

— Это я... — сказала, едва оправившись от испуга, Пелагея Прохоровна и заперла калитку.

— Чего ты тут торчишь?

— Товарища нашего проводила — Коровaева.

— Как? Да он мне деньги не заплатил!

— Он на столе оставил... Будить тебя не хотел.

— Што меня будить, когда я всегда в это время встаю.

Хозяйка зажгла лучину и, удостоверившись, что на столе действительно лежат медные деньги, подобрала их.

В это время Горюнов проснулся и через минуту сел, спустив ноги с печки.

— Ушел? — спросил он с удивлением и полуиспугом.

— Ушел совсем, — сказала Пелагея Прохоровна.

— И хорошо сделал.

И Терентий Иваныч слез с печки.

Пелагея Прохоровна долго думала над словами дяди, но спросить его не решалась; однако он сам разрешил их, сказав хозяйке, что, разошедшись, они не будут мешать друг другу и сойдутся вместе там, где отыщут хорошее житье.

IV

Горюновы поступают в рабочие на промысла и опять встречаются с полесовщиком

С рассветом Горюнов с племянниками вышли из постоялого дома. Горюнов сказал им, что надо искать квартиру, потому что в постоялом доме жить невыгодно, и нужно присмотреться к селу, которого они еще не знают. Пришли они на промысла; там работы были только в варницах, да и то половине рабочих нечего было делать, почему одни из рабочих отскабливали снег от дверей, другие починивали сапоги. От них они узнали, что работа бывает временно, и тогда народу требуется много; а в такое время, как теперь, работы едва хватает и на сельских жителей, потому что варницы не все пускают в ход в одно время.

— Вам лучше приделиться помесяшно, потому тогда все же какая-нибудь работа будет. Только надо смотрителю взятку дать, — советовали рабочие Горюновым.

— А сколько он положит жалованья?

— Да глядя по человеку, как понравится. Попытайтесь — может, он и примет... На него полоса приходит, ино время примет, в другое нет. Вон он у той варницы с саженью ходит.

Горюновы выждали, когда смотритель смерил поленницу, отпустил возчиков и пошел к насосу. Горюновы подошли к нему.

— Почтенный!.. — начал Горюнов.

Смотритель обернулся, оглядел Горюновых.

— Мы слышали, у тебя работа есть.

— Ну? — промычал сурово смотритель.

— Почем ты платишь в месяц?

— Это зависит от того, кто что делает и как делает. Только теперь на моих варницах полный комплект. Хотите даром?

— Кто же даром работает?!

— Ну, и убирайся...

И смотритель пошел.

Зол сделался Терентий Иваныч. Злило его то, что ему хвалили Моргуново, и вдруг там нельзя найти работы, а если есть, то за нее нужно платить.

Однако Горюнов решился сходить в квартиру смотрителя.

Смотритель жил недалеко от варниц и занимал целый дом в несколько комнат. Горюнов вошел в прихожую, где мальчик годов двенадцати чистил сапоги. Ему пришлось простоять часа два, до тех пор, пока смотритель не вышел в прихожую, затем чтобы надеть тулуп и идти.

— Мне бы по секрету надо поговорить с твоей милостью... — сказал Горюнов и сделал гримасу, которая вызвала улыбку смотрителя.

— У нас нет секретов.

— Видишь ли: я все могу делать, могу и за рабочими смотреть.

— Э! какую ты несешь песню. Да ты знаешь ли порядки-то наши?

— Долго ли узнать: я сам заводский человек, и учить меня нечево... Я и подарить в состоянии вашу милость, если должность будет хороша.

— Однако ты метишь-то ловко! Ну да ладно, приходи послезавтра и приноси двадцать пять рублей. Если найдется место — назначу, нет — подожди.

— А позволь спросить: сколько жалованья?

— Да жалованье казенное: есть и семьдесят два рубля в год и пятьдесят четыре рубля, меньше тридцати шести нет.

Смотритель вышел, за ним вышел и Горюнов, думая, как это можно жить на такое жалованье. «Значит, воровать нужно, — думал Горюнов. — Но что воровать? В чем состоит та должность, за которую нужно дать смотрителю деньги? Если эта должность приносит большой доход от расчетов с рабочими — бог с ней... Лучше я на золотые тогда пойду прямо».

Два дня потом Горюновы присматривались к селу. Хлеб, мясо и прочие продукты были здесь дороже терентьевского; народ отличался от терентьевского большею плутоватостью, и здесь труднее было сбыть вещь вроде железа и чугуна. Квартиры Горюновы не находили, потому что сторонние дома были заняты семейными рабочими, а в порядочных домах, где жили небольшие семейства, просили дорого. Хозяйка же постоялого двора стала притеснять их за то, что они не стали брать у нее кушанье, и запросила вдруг за постой по пяти копеек

с человека в сутки, без права пользования полатями и печкою, да и у нее в это время стояли возчики, которые, впрочем, только обогревались и скоро уезжали. Эти возчики были жители соседних селений, и дальше своего места они ничего не знали. Поэтому от них Горюнов ничего не мог узнать для себя полезного.

Горюнов явился к смотрителю в назначенный день.

— Ну, место я для тебя нашел, давай деньги.

— Назар Пантелеич, я человек пришлый, издержался дорогой.

— Запел! Эти песни мы знаем. Ну, да, впрочем, мы после сочтемся. Ты только дай мне расписку и свой билет.

Горюнов отдал свой билет смотрителю.

— Ты будешь наблюдать за вываркой соли и за тем, чтобы рабочие не таскали соль с варницы. Вот твоя варница: седьмой нумер.

Смотритель ввел Горюнова в варницу, сказав рабочим, что он отказал Яковлеву и что они должны теперь слушаться Горюнова.

— Каждый день ты мне должен представлять отчет: сколько под варницу брошено дров, сколько в ходу было лошадей, ребятишек, — и чтобы соль была в исправности.

Итак, Горюнов был принят в варницу уставщиком с платою в год по усмотрению смотрителя варниц. Условия между Горюновым и смотрителем заключено не было.

Племянники и племянница пошли тоже в варницы. Им полагалась плата поденно, как и прочим рабочим, которые получали за двенадцать часов двадцать копеек. Но так как в варнице был полный комплект рабочих, то рабочие изъявили Горюнову свое неудовольствие.

— Ну, братцы, как-нибудь... Покажем, што нужно было больше рабочих, — говорил Горюнов.

— Нечего тут и показывать, когда Назарко и так обделивает рабочих.

— Ну, у меня не обделит. Много будете мной благодарны.

Рабочие в первый день долго смеялись над Горюновым, который в соляном деле решительно ничего не смыслил. Так, например, он чуть не задохся от дыма,

который шел из-под ямы, над которой сделана четырехсаженная квадратная цирень, или, по-промысловому, сковорода. Дымоотводных труб от этой ямы сделано не было, и поэтому дым расстилался облаками по всей варнице и потом уходил в отверстия, сделанные в крыше варницы. И хорошо еще, что рабочие были хорошие, знали дело как следует, и Горюнову не нужно было понукать и указывать. По их понятию, Горюнов здесь был совсем ненужный человек, и если он терся около когонибудь, то ему советовали идти спать, а не мешать. Племянникам его и Пелагее Прохоровне ничего не давали делать; но так как они мешали им, то и заставили их кидать в печь под цирень дрова, что им на первый раз казалось очень тяжело, — во-первых, потому, что им приводилось бросать полутороаршинные поленья, а во-вторых, у печи было слишком жарко. Смотритель навестил по вечеру нового уставщика и распек как его, так и рабочих за то, что в цирень было пущено очень много рассола.

— Што ты делаешь, разбойник! Вы-то што, олухи эдакие, делаете? Ах, беда! — кричал и бегал смотритель около цирени, наполненной рассолом.

Горюнов ничего не понимал, но, однако, сказал:

— Ну, да што ж такое?

— Ты што, спалить, што ли, хошь варницу? Ты знаешь ли, што как пустишь на привод, она вспыхнет? Понял ли ты это?

Горюнов почесал затылок.

Ночью варницу пустили *на привод,* то есть прекратили топку, заперли варницу и печь закрыли, для того чтобы соль из густого и горячего рассола осадилась. В таком положении варницу оставляют на двенадцать и шестнадцать часов. Утром Горюнов стал проситься в село, так как у него не было хлеба.

— Оставь у варницы двоих для караула, а сам приходи часа через три, потому надо будет рассол, который прокипит теперь, на полати скидывать.

Горюновы вышли из промыслов. Они хотели идти на рынок за покупкою хлеба на остальные деньги, но с ними встретился тот самый полесовщик, с которым они виделись недалеко от села. Он нес на спине три пары глухарей.

— А! знакомые! Што, уж робите? — спросил он.

— Меня в уставщики взяли, — сказал Горюнов.
— Сколько взял?
— Просит двадцать пять, да я еще не дал ничего.
— Смотри, брат, не плошай! Он уставщиками как лошадьми меняет. Где вы живете?
Горюнов сказал, что еще не нашел квартиры.
— Э! Ты бы меня спросил, когда мы встретились на большой дороге. Хошь у меня жить? Я к своей избенке пристройку сделал для сына, да он помер, дай ему бог царство небесное!
Полесовщик начал рассказывать про умершего сына, который был и силен, и умен, и красавец. Против его сына не было во всем селе такого зубоскала и насмешника. И к работе он был прилежен, и случалось, что прокармливал все семейство, когда отец и мать хворали. И совсем было парень чуть не женился на первой заводской красавице, да бог его знает, отчего с ним такая притча случилась: осенью он плыл на лодке, в которой было два мешка с солью. Плыл, как и всегда, как ни в чем не бывало, ночью, — и вдруг наплыл на кол. Засела лодка на колу, ни вперед, ни назад; вертится во все стороны, хоть ты што хошь делай! Встал Никитка, лодка и перевернись. Очутился Никитка в воде, думал стать, да ногами дна не мог ощупать. А лодка перевернулась, набои зацепляются за кол, место быстрое, вода бурлит, дует резкий ветер, льдинки маленькие так и стучат об лодку... Кое-как справился, сел в лодку и поплыл мешки разыскивать. Про соль-то уж он и не думал, мешков жалко было. Плавал долго: ему кажется, будто мешок плывет, а то — льдинка. Все-таки один мешок отыскал. Ну, и захворал и дня через три помер...
— Ну, да чему быть, тому не миновать! Все под богом ходим, — заключил полесовщик, утерев правый глаз кулаком.
— А вот дома-то я уж полторы недели не бывал. Мяса вовсе не едал, и глухари были, да жалко. Сожрать не долго, а пользы никакой не будет. Моя старуха привозила простокваши да хлеба, — питался славно... А тут и перестала. Ну, голод-то не тетка, плюнул на все и пошел.
Полесовщик повел Горюновых на рынок и проходил там около часу, потому что за глухарей не давали того,

что он просил... Кое-как он продал их за тридцать копеек.

На рынке встретились с ним его приятели. Приятели эти были такого рода: они рубили воровски лес на дрова в соседней делянке и провозили дрова мимо полесовщика, которому и давали кое-когда что-нибудь. Приятели позвали его в харчевню напиться чаю, потому что они хорошо продали дрова. Полесовщик стал звать и Горюновых, те отговаривались тем, что им некогда.

— Толкуйте! Это смотритель для того велел приходить так рано, штобы дать вам за ту же все цену другую работу.

И приятели полесовщика тоже стали приглашать Горюновых для компании. Они пошли.

В харчевне никого не было, кроме хозяйки, молодой женщины, которая, как пришли посетители, спала, сидя на лавке и положивши голову на руки, которые лежали на столе. При входе посетителей она проснулась.

— Вот она лень — продать ее на ремень! — проговорил один из приятелей полесовщика.

— Никого нету, — скука, я и заснула, — проговорила хозяйка, широко зевая.

— Али мужа-то нету?

— А штоб ему поколеть! Вчера утром приехал из Демьянова пьяный-препьяный и давай драться... Кое-как скрутила его, привязала за голову да за ноги к кровати, — уснул. Пробудился, — я ему косушку поставила... Ну, думаю, поправился человек, пошла на рынок. Прихожу, а он, штоб ему чирей в горло! — сидит пьяный у стола, а на полу перед ним разбитая бутыль валяется...

— А какой славный был мужик!... — дивились приятели полесовщика.

— Ну уж... Никакого удовольствия не может доставить! Што это за муж!

Приятели угостили полесовщика водкой и сами выпили. Горюновы не принимали никакого участия ни в разговорах, ни в угощении. Мужчины закурили трубки; хозяйка подозвала Пелагею Прохоровну, расспросила все и стала ей изливать свое горе. Горе, по ее рассказам, заключалось в том, что харчевню она открыла на свои деньги, а так как ей одной трудно управиться со всем без

мужчины, — как, например, купить водки, — а братьев или свободных родных у нее нет, то она и согласилась выйти замуж за товарища детства. Но он ее обманул, потому что и не любит ее, и ленив, и пьяница.

— Думаю-думаю, мать моя, как бы мне лучше сделать, — ничего не выходит! А если эдак все будет, пожалуй в долги войдем. А у нас, я те скажу, стоит только раз попасть в долги, так запутаешься, что не приведи бог. Наше дело такое, что займовать приходится не копейками, а рублями... А если взял рубли, так говорят — отдай в срок, да все сполна, а не то и опечатают, а потом и потянут к посреднику на расправу: тот и приговорит работать на того, кто деньги дал... Так заведение и перейдет в чужие руки. А будь-ко бы помощник хороший, мужчина, — не то бы было.

— Ты бы наняла.

— Наняла? — хозяйка покачала головой и прибавила: — вот и видно, што ты еще мало мытарств прошла. Вон мужчины знают меня.

— Как не знать, Степанида Игнатьевна! Давно знаем и дивимся твоему уму-разуму. А дай-ко нам еще по стаканчику.

Выпили еще по стаканчику.

— Ах, кабы да воля была! Срубил бы я дерево! — сказал полесовщик, отчаянно ударив кулаком об стол.

— А ты и сруби — кто тебе не велит.

— Нельзя, — дерево приметное.

— А ты сруби, да и скажи: ветром, мол, сломало.

— Не то вы толкуете... А это дерево у меня как бельмо на глазу. Много оно мне причинило горя. Вот хоть бы, к примеру, сыну помереть, так што бы вы думали? Как ночь — оно и выть. Ей-богу!

— Может, там клад какой есть?

— Копал. Хоть бы камень.

Начался разговор о кладах. Рассказывали, как один мастеровой, копая яму для погребушки, вырыл чугун старинной формы с старою золотою монетою. Взял да и объявил начальству, потому что был дурак; начальство куда-то представило монеты. Так ничего и не получил мастеровой, а только после этого помешался — весь огород изрыл, так что огород ни на что не стал годен.

— А вот так на золотых рабочие лучше поступают...

— Как?

— Промоет золото — золотников десять — и завяжет в тряпку, а как идти с приисков, и заткнет его... Да! Такие, братец ты мой, есть богатеи, — чудо! Дома какие настроили!

— Это где же? — спросил Терентий Иваныч.

— В наших местах. Под одного мужика начальство долго подкапывалось, — ничего не могло сделать; и угрозы не подействовали. Вишь ли! Он дом большой в селе имел; внизу сам жил. Ну, и постоялый двор держал. А сперва куда как беден был. Ну, начальство думает: на какие капиталы наш мужик разжился? Соседи тоже удивляются и завидуют. И земли много приобрел и деньги вносит без принуждения. Только в город ездит и там подолгу живет. Раз даже становой обыскать его велел среди дороги. Так, братец ты мой, он губернатору жаловаться стал, станового и сменили. А тут, слушаем, вдруг говорят: он фальшивые деньги делает, потому что у него нашли фальшивый золотой в пять рублей. Ну, и посадили в острог, а потом в городе плетьми драли... И человек ни за что погиб! А погиб он потому, что ему какой-то раскольник дал вместе с золотом и монету. Хотя он и говорил, што нашел монету, однако его и драли, и били, и есть не давали, чтобы он сознался, што сам делал деньги... Однако говорили, што он убежал еще до каторги, и где теперь — неизвестно.

— А надо бы попытаться на приисках.

— Я бы непременно пошел, кабы не ребятишки.

— И с ними можно.

— Ну, нет. Надо сперва самому попробовать: если хорошо, и семейство взять, а худо — наплевать.

Посетители вышли из харчевни, и приятели расстались с полесовщиком и Горюновыми.

Полесовщик пошел рядом с Терентием Иванычем. Оба шли сперва молча, полесовщик первый проговорил:

— Охо-хо! Жизнь она — жизнь!

— Што и говорить.

— Верно, нашему брату, мужику, нигде нет счастья?

— Ну, это еще надо изведать.

— Изведать! Хорошо тебе говорить, коли у тебя нету жены и ребят... Ты встал да и пошел!.. А я на твоем месте, ей-богу бы, на золотые пошел.

— Да я и думаю.

— Ах, кабы я один был! Уж давно я об этом предмете думаю! Эх, горе, горе! Вот теперь только и есть всего капиталу, што тридцать копеек... А срублю же я это дерево, будь оно проклято! — заключил с отчаянием полесовщик.

V

Семейство полесовщика

Дом полесовщика, Елизара Матвеича Ульянова, ничем не отличался от прочих домов своею наружностью: такой же высокий фундамент с высокими завалинами на случай потопа, то есть разлития рек Дуги и Ульи, идущей мимо дома Ульянова и впадающей в Дугу верстах в двух от его дома; так же высоко от завалин сделаны в доме два окна, находящиеся друг от друга на расстоянии одной сажени, из которых одно выше другого целым пол-аршином. Одним словом, наружный вид дома свидетельствовал, что хозяин его был человек практический, и если сам не испытал неприятности, причиняемой разливом рек, то видал по крайней мере это. Внутри дом имел избу с печкой и полатями и горницу с одним окном, выходящим на реку, с лежанкою без тепла, устроенною потому, что все промысловые так устроивают, и потому еще, что кирпич некуда было девать. Две стены в этой горнице оклеены бумагой, третью еще только начали оклеивать, да бумаги не хватило. В горнице стоит крашеный стол, два стула простой работы, тоже окрашенные; на окне стоят два горшка, из коих в одном растет лук, а в другом красный перец, а на шкафчике, стоящем в углу против лежанки, стоит самовар, покрытый большою тряпицею.

У Елизара Матвеича было, кроме жены Степаниды Власовны, четверо детей, из коих дочери Елизавете теперь шел восемнадцатый, а самой меньшей дочери, Марье, — четыре года.

Принадлежа помещику, Елизар Матвеич рано был взят на работы. Управляющий имением и людьми, думая угодить помещику и стараясь сам со временем сделаться солепромышленником, так сказать, выжимал весь сок из крепостного человека. Мало того, что заставлял

мужчин работать без отдыха, он требовал, чтобы и бабы, девки и ребята не шалберничали дома, а были на промыслах, и если на промыслах его хозяина не было работы для всех, то работали бы по найму для других управляющих, преимущественно его тестя. Работая на варницах, Ульянов ничего не нажил. Правда, жена принесла ему в приданое самовар, но чай он пил только в самые большие праздники, и то для того, чтобы не отстать от товарищей, которые все-таки считали себя почему-то выше горнозаводских людей, хотя и разнились от них только родом занятий да свободным обращением с мелким начальством, которое сильно трусило рабочих, потому что бывали примеры такого рода, что одного смотрителя столкнули в амбар, где он и задохнулся в соли; другого начали качать для того, чтобы бросить в ад, или печь под циренью; третьего хотели сварить с рассолом... Ульянов, как и прочие, жил день за днем, не сыто и не голодно, и поэтому у него даже и праздников не бывало, то есть праздники или свободные дни хотя и были, но ему не было весело, и если он пил водку, пел песни, так потому, чтобы не отстать от товарищей и показать, что и он промысловый рабочий... А тут пошли дети, с детьми увеличились еще более прежнего нужды, но все-таки хозяйка его умела управляться так, что дети не умирали с голоду. Провиант, то есть мука, получаемая за работу мужа и ее, шла для еды, а то, что давала корова, шло в продажу; а хотя Елизар Матвеич и делал берестяные бураки, лубочные наберухи, лукошки, но за них давали очень мало, потому что мастеров этого рода было в селе много. Пашен промысловым рабочим не давали, покосы были небольшие, и сена с них едва-едва хватало для коровы.

Когда же Елизар Матвеич поступил в полесовщики — по протекции его жены, которая носила лесничему молоко и, как толковали злые бабенки, имела с ним любовную связь, — тогда для Елизара Матвеича настала другая жизнь. Дело в том, что назад тому десять лет лесу было так много в дистанции Елизара Матвеича, что он называл его непроходимым; на этот лес все, начиная от лесничего и кончая сторожем, смотрели как на доходную статью, потому что никому и в голову не приходило, что от порубок лес будет сперва редеть, а потом и совсем

исчезнет. Лесничий заставлял лесных сторожей рубить для него лес на дрова и бревна, заставлял строить ему дом, помощник его тоже — и т. д.; сторожа знали, что начальство не стесняясь продает лес, а потому и сами распоряжались деревьями по своему усмотрению. Годов шесть Елизар Матвеич блаженствовал: в будни носил ситцевые рубахи, к каждому воскресенью дома варилось пиво, но Елизар Матвеич не хотел пить пиво: ему нравилось сидеть в харчевне или в кабаке за косушкой сивухи с веселой компанией, от которой он узнавал новости и происшествия, случившиеся в его отсутствие; у жены его было две коровы, много гусей, уток и куриц; в большие праздники супруги не садились за стол без пирога с просоленным сигом и без жареного поросенка; дети ходили не оборванные. И деньги водились как у мужа, так и у жены, которая хорошо работала на промыслах, или, вернее сказать, от скуки и от нечего делать проводила там целые дни. Одно только не нравилось тогда Елизару Матвеичу, что в кордоне находилось двое полесовщиков, которые чередовались понедельно, отчего Елизар Матвеич говорил, что его товарищ собирает его доходы в свою пользу. Но и тут, по просьбе его жены, прогнали другого полесовщика, и он остался один. Но в это время лесу уже стало меньше; начальство стало строже; чаще и чаще оно стало придираться, а раз даже лесничий приказал дать ему двадцать пять розог за то, что он недосмотрел, кто стравил в просеке межевой знак со столба, хотя Ульянов и знал, что знак стравлен по приказанию того же лесничего. Доходишки все-таки были, потому что чем строже лесные сторожа, тем лесоистребление и кража идут успешнее и ловчее, а стало быть, и плата за пропуск мимо кордона дров и бревен увеличивается. Напоследок, однакоже, доходы стали уменьшаться, и хотя он был и один на кордоне, но ловить было некого, так как крестьяне и мастеровые предпочитали удобнее и выгоднее производить порубки в других местах. С приездом нового лесничего, из молодых и ученых, трудно было поживиться чем-нибудь. Дистанция была размерена на площади, в каждой площади деревья сосчитаны, выправлены столбы. Теперь и для себя было опасно рубить лес, и если Ульянов крепко нуждался в деньгах, то со страхом и трепетом принимался за

рубку, часто останавливаясь и прислушиваясь то к эху, то к шелесту листьев. К счастью его, новый лесничий не заглядывал уже больше в лес. Только раз перепугался Ульянов: наехали землемеры, натянули цепи, наставили треножник, но и от них он отделался, угостив их селянкой из яиц и полштофом водки.

Трудно было отставать Ульяновым от хорошей жизни. Приходилось сперва закалывать уток и нести их на продажу, потом пришлось продать не только гусей, но и одну корову. Надеялся Ульянов на то, что его переведут в хорошее место за его честную службу, но не переводили. Износились ситцевые рубахи, пришлось покупать лен, чесать, прясть, белить нитки и ткать; дети вырастали, в селе все подорожало, за труд детям давали мало; пришлось и лошадь продать, из боязни, чтобы ее не замучили в варницах, куда ее часто брали по требованию.

Но вот вышла воля. Объявили и Ульянову, что он теперь временнообязанный, и если хочет, то пусть остается полесовщиком за десять рублей в год. Подумал Ульянов с неделю, потолковал с приятелями — и остался, потому что ему нравилась уединенная жизнь, и он выдумал *огаливать* толстые деревья, растущие внутри дистанции, то есть обрубать толстые отростки на дрова и рубить тонкие дерева и кустарники. Времени у него было много свободного, и он эти отростки и кустарники рубил на дрова, которые и продавал. Кроме этого, он мог стрелять птицу, забираясь в чужие дистанции, доставать бересту, лыко, лубки на разные поделки. Но и это в последнее время до того оскудело, что он подумывал заняться каким-нибудь другим делом; однако выгодного и сподручного пока не находилось. Прежде на детей давали муку, и Елизар Матвеич радовался появлению на свете нового *бахаря* и горевал, когда этот бахарь проживал полгода или еще менее; но теперь он и четверым детям не рад, а что было бы, если бы у него все одиннадцать детей были живы! Хорошо еще, что Лизавета носит на промыслах соль и получает поденщину от пятнадцати до двадцати копеек, — но велики ли эти деньги, если работы на промыслах для баб и девок бывают раза четыре в месяц! А разве она на восемь гривен съест? Ей надо и одеться, и башмаки нужны, потому что она девушка-невеста, про-

мысловая красавица, которой стыдно в люди показаться босою с грязными лапищами. Хорошо еще, что Степан работает на промыслах и получает от пяти до десяти копеек в день, — все же хоть сам себя кормит и таскает матери кое-когда сальные огарки, и мать его имеет от них кое-какую выгоду. Но еще двое детей у Ульянова: Никиту отец давно бы пристроил куда-нибудь, да он какой-то хилый, точь-в-точь как чахоточный лесничий, а Машка еще недавно только бегать начала.

Когда Ульянов вошел в избу с Горюновыми, жена его, худощавая женщина с изнуренным лицом, но еще не совсем утратившим прежнюю красоту, сидя на печке, пряла шерсть; Никита и Марья, сидя на полу перед матерью, чесали куделю, отчего в избе было очень пыльно, а на полу по всей избе много сору. Лизавета Елизаровна ткала в комнате половик. Она была высокая, здоровая девушка, так что по загорелому, или красному от ветра и от огня, лицу ее ей можно было дать года двадцать два. Руки ее были довольно развиты, крепки и жестки, что доказывало, что она уже давно знакома с тяжелою работой, а прямой надменный взгляд ее карих глаз как будто говорил, что она не боится никого.

— Здорово, старуха! .. Ах вы, проклятые! Разве нету вам бани? .. Нашли где куделю чесать, — проговорил хозяин, обращаясь сперва к жене, потом к детям.

— Ну, гости дорогие, садитесь. Вот она, моя-то хата! Тесновата, да зато тепло, как в раю.

— Уж не говорил бы! Не то время... — проговорила хозяйка, слезая с печки.

Она оглядела вошедших подозрительно, слегка поклонившись им.

— Прежде жарили, знашь как, печь-ту, потому учету не было, а теперь берешь полено-то, да и ожигаешься.

— А ты бы взяла да и расколола его напятеро, — сказал Терентий Иваныч.

Хозяйка посмотрела на него с презрением, сложила руки на груди и сказала дочери:

— Лизавета, накорми-ко отца-то.

Лизавета сидела у окна против двери в избу и смотрела на вошедших гостей, особенно на Пелагею

Прохоровну и Григория Прохоровича, которые смотрели то на нее, то на прясло.

— Сама корми, — некогда... Еще бы он привел чуть не полную избу, — проговорила недовольно дочь.

Хозяйка ушла в сени, а Пелагея Прохоровна не утерпела и вошла в комнату, где между нею и хозяйскою дочерью скоро завязалось знакомство.

Немного погодя хозяйка приготовила кушанье для мужа: натерла редьки в большую деревянную чашку, налила в чашку квасу и ложку конопляного масла. Хозяин стал приглашать есть и гостей, но они отказались, говоря, что еще с осени закормлены.

— Как ты думаешь, Власовна, — начал нерешительно муж после того, как жена узнала, кто такие гости: — я хочу их пустить в ту половину.

— Уж ты вечно так. Уж если ты думаешь, так уж чего и говорить.

— А ты как думаешь?

— Чево мне думать!? Ты всегда хорошо делал: по твоей лени да пьянству вот мы до чего дошли! Мне што! Хочешь, штобы сгноили — пускай.

— Слышал, дядя Терентий, какова у меня баба-то? Ежели я что захочу, не нравится, и нос кверху вздернет, а если она што захочет, так так тому и быть следует.

— Дурак...

— Съел меду бурак.

— По чьей милости ты в полесовщики-то попал? — сказала жена обидчиво.

— О! Все знают... Сказать ли?

— Уйди, бессовестный!.. — И жена ушла в комнату, где Пелагея Прохоровна уже свободно разговаривала с хозяйской дочерью.

Горюновы поселились в другой половине дома Ульяновых, но первую ночь ночевали на промыслах, потому что квартиру нужно было протопить, а дров Степанида Власовна не давала, говоря, что их очень мало и для себя. В квартиру они вернулись на другой день вечером, и каждый из них нес или по два длинных толстых полена, или по одному, смотря по силам каждого. Но только что они вошли во двор, как услыхали крик в хозяйской

половине, а Лизавета Елизаровна, стоя у рукомойника, плакала.

— О чем, девка, плачешь? О чем слезы льешь? — сказал шутя Терентий Иваныч.

— Ох! тятенька пьяный пришел! Уймите вы его, он убьет мамоньку.

— Проводи-ко ты, голубушка, в квартиру-то, а я ужо пойду погляжу, что хозяин творит.

Лизавета Елизаровна повела жильцов в новую половину, а Терентий Иваныч пошел к хозяину.

Елизар Матвеич, сидя у стола и держа в одной руке маленький пузырек, ругался. Он был пьян.

— Э! Сосед!! . Посмотри-ко, што моя-то благоверная творит! — Отравить хочет! — кричал Ульянов.

— Полно-ко, Матвеич, дурить-то!

— Не веришь? Ты мне не веришь, што она с лесничим жила?

— Мне какое дело!

— Тебе нет дела, а мне есть. . . Теперича ты не веришь, што она меня хочет отравить; а ты еще, верно, забыл, што я твой хозяин и могу теперича тебя взашей!

— Да с чево ей отравлять-то тебя?

— Нет, ты послушай...

В избу вошла Степанида Власовна с избитыми щеками, из носа ее сочилась кровь.

— Варвар ты! Разбойник... — кричала Степанида Власовна.

Муж поднялся с лавки, но Горюнов усадил его.

— Постой! ты знай, что я в рудниках робил и не эдаких еще скручивал... Ты поглядел бы на себя-то, на кого ты похож?..

— Я? Ты думаешь: кто я? Я лесной князь, потому я над лесом командую.

Ульянов вошел в свою сферу и стал говорить о своей лесной службе — и, наконец, вошел в такой пафос, что, размахивая руками, бросил склянку, не заметив того сам, а Горюнов подобрал и положил в карман своего тулупа.

Между тем Степанида Власовна вышла на двор. Там Григорий Прохорыч возился с толстым сучковатым поленом. Как он ни ухитрялся расколоть его, оно не раскалывалось, а только топор крепче прежнего заседал в нем.

Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна стояли недалеко от него и хохотали.

— Да скоро ли, Гришка? Заморозить, што ли, нас хочешь?! — говорила сестра

— Где ему, вахлаку, расколоть! — говорила, смеясь, Лизавета Елизаровна.

— А вот расколю! Уйдете ли вы?! — горячился Григорий Прохорыч.

— Ох ты, заводская лопата! И полено-то расколоть не умеешь.

— Ты бойка! Ну, расколи! Расколи!..

— Затопили печь-ту? — спросила Степанида Власовна.

— Да вот дожидаемся, когда этот вахлак расколет, — сказала Пелагея Прохоровна.

Хозяйка пошла в квартиру Горюновых, за нею и Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной.

Григорья Прохорыча пот пробирал крепко, и ему очень было стыдно, что его осрамила хозяйская дочь, красивая девка, которую так и хотелось ему, по заводскому обыкновению, ущипнуть. И выбрал же он такое полено проклятое... нужно же было ей войти во двор с сестрой; но не будь ее, он скорее бы расколол полено, а то никак он не может попасть куда следует.

Однако все-таки он расколол полено, и когда пошел в квартиру, хозяйка уже выходила из нее.

— Гляди, девка, наше полено взял, ей-богу! — сказала Лизавета Елизаровна.

— Есть што брать! Погляди на щепки сперва, потом говори.

— Будь ты проклятая, хвастуша!

Девицы занялись разговорами, но недолго: кто-то застучал в стену, и Лизавета Елизаровна убежала, оставив своих сестру и брата у Горюновых.

Елизар Матвеич, объявив своей супруге, что завтра чем свет он отправляется в лес и поэтому ему нужно напечь хлеба, отправился с Горюновым в варницы. Это путешествие в варницы супруга объясняла тем, что он нашел по себе приятеля — пьяницу, а так как у нового приятеля нет денег, то он повел его разыскивать других приятелей, чтобы напиться пьяному.

— И откуда это он все таких приятелей приобретает? — спросила дочь.

— Небось ты рада!

— Есть чему мне радоваться.

— То-то будешь опять строить лясы-балясы...

— Мамонька...

— Думаешь, не знаю, как ты с Ванькой Зубаревым... Смотри-кось, брюхо-то вздуло... Варначка![1]

Лизавета Елизаровна надула губы, села к окну, задумалась, утерла появившиеся на глазах слезы.

— Чево там прихилилась (притаилась)... Я думаю, надо квашню заводить, — крикнула мать.

На другой день утром Ульянов отправился в лес, взяв с собой три ковриги хлеба и бурак с простоквашей. Он было начал придираться к дочери насчет склянки, но дочь успокоила его, что склянку ее матери приносил фельдшер и в этой склянке был спирт, которым мать терла себе левую руку.

— То-то, смотрите вы... Доведете вы меня до того, што я брошу вас, — сказал Елизар Матвеич.

Но так как эти слова доводилось и жене и дочери слушать не в первый раз, то и теперь им в семействе Ульянова не придали никакого значения.

VI

Рабочий день на промыслах

Через неделю после того, как Горюновы водворились в доме Ульяновых и после ухода на кордон Ульянова, Терентий Иваныч сказал, что завтра будут носить из прокопьевских и алтуховских варниц в амбары соль. А так как эта весть распространилась по всему прибрежью от других рабочих, то все население прибрежья и других улиц, в домах которых живут преимущественно бедные семейства, еще с вечера стало готовиться на работу на завтрашний день. Еще с вечера в домах происходили ссоры братьев с сестрами из-за того, что братья хотели оставить работы в варницах и других местах и заняться соленошением. Сестры говорили, что это занятие бабье,

[1] Каторжная.

а не мужское, потому что бабам нету такого положения, чтобы работать в варницах. Отцы и матери старались прекратить эти ссоры тем заключением, что на промыслах, с самого основания их, соль носили бабы, что это дело бабье и только в случае недостачи баб прихватываются мужчины. Но самая вражда женщин к мужчинам еще больше выразилась утром на промыслах.

Утром, в шестом часу, перед домом смотрителя, на площадке, стояло сотни две женщин и с полсотни мужчин. Было темно, шел снег, и по тесноте происходила толкотня, тычки, щипки, взвизгиванья, руганье и хохот. Здесь ничего нельзя было разобрать: голосили женщины на разные лады, кричали и свистали мужчины, пищали ребятишки.

— Бабы! Гоните прочь мужиков! — кричит женщина.

— Отгоняйте их к поленнице! — кричит другая.

— Попробуй, коли бойка...

— И как это не стыдно: чем баловать, шли бы в другое место.

— Без баб и робить скучно, — крикнул молодой парень.

— Только никак не с тобой, косорылым... Отчего вы на варницы баб не пущаете?

— Што легче, за то и берутся! — кричали бабы.

— До обеда проносят, а потом и ноги протянут, — сострил мужчина.

Все захохотали.

Началась свалка: женщины стали толкать мужчин; мужчины начали сердиться не на шутку и стали употреблять в дело кулаки; женщины схватили кто полено, кто подпорку от поленницы, отчего некоторые поленницы рассыпались. Послышались взвизгиванья, стоны, оханья, ругательства: одного мальчугана придавило поленницей, трех женщин изувечило, одному мужчине переломило ногу.

— Варвары! Што вы наделали? В острог вас мало посадить! — кричали со всех сторон женщины.

— Кто поленья-то взял? — кричали мужчины.

У женщин уже теперь не было поленьев.

— Бабы! Кто из вас бойчее? идите к смотрителю.

Несколько женщин отделилось, составили кучку и стали держать совет.

— Олена, ты бойчее, ты первая говори.

— Нет, он меня терпеть не может. Лизку надо заставить.

— Пожалуй, я пойду, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Сказать ему, мужчин нам не надо; пусть в алтуховские идут.

— Чего и говорить: первая со своим женишком кривобоким пойдет...

Начались попреки, и дело опять дошло чуть ли не до драки, но вышел смотритель. В это время уже светало.

Пять молодых женщин, и в том числе Лизавета Елизаровна, подошли к нему.

— Назар Пантелеич, што это за порядки: мужчины за бабами хвостом бегают.

Смотрителя окружили все — и мужчины и женщины.

— Мужчин нам не надо.

— Заставь их поленницы складывать: они поленницы уронили, народу сколько изувечено.

— Ну-ну... пошли!

— Да ты выслушай.

— По гривне с бабы! — сказал смотритель и пошел.

Народ повалил за ним: мужчины хохотали, женщины злились.

— Ну, где это справедливость?

— Тащите его к дровам. Пусть он посмотрит, што мужчины делают!

Женщины стали напирать смотрителя к дровам, мужчины отталкивать.

— Стой! Што это такое? Али я не начальство? — кричал в бешенстве смотритель, размахивая кулаками, но женщины скрутили ему руки.

— Кто меня смеет трогать! — кричал смотритель.

— Бабы, до коих ты больно лаком! Пустите его!.. Покажите поленницы!.. — кричали женщины.

Поленницы были близко, смотрителя пустили. Он хотел как-нибудь уйти от них, но его удержали.

— Послушай, Назар Пантелеич! Если ты с нами так будешь вежлив, мы и к управляющему пойдем, — кричали бабы.

— Нет сегодня работы!!

— Если ты мужчин не заставишь складывать поленницы, мы к управляющему пойдем.

— Убирайтесь к черту! Кто поленницы рассыпал? Кто народ искалечил? — кричит смотритель, увидя охающих больных с перешибленными руками или ногами.

— Бабы!..

— Мужчины!!.

— Пошли вон! Свиньи!.. Везите в лазарет больных, — управляющий неравно приедет...

Мужчины пошли прочь, к варницам.

— Куда пошли? Эй, вы?! — кричал смотритель мужчинам.

Мужчины разбежались.

— Што, не правду мы говорим, што вы трусы?..

— Ну-ну! Каждый раз с вами мука. Идите к варницам, да этих уберите.

Все женщины стали к двери в варницу, откуда предполагалось носить соль по длинным, не очень крутым лестницам, тянущимся до амбара сажен на сто. Дверь была заперта. На одном плече у каждой женщины болтался мешок; большинство из них ели черный хлеб. Немного женщин держали в руках небольшие бураки с квасом. Все голосили кто о чем хотел, но особенно о недавнем геройском подвиге; сожалений об изувеченных слышалось немного, потому что все были в таком настроении, что каждой хотелось непременно попасть на работу.

Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни в ссорах, ни в разговорах; ее удивляла смелость промысловых женщин и то, что они здесь имеют-таки превосходство над мужчинами. Особенно ее удивляли резкие выражения, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здесь не походила на хозяйскую дочь, девушку смирную, какою она ее видела дома в течение недели. А так как она молчала и женщины видели ее на промыслах в первый раз, то ей часто приводилось быть далеко от Лизаветы Елизаровны, которую она теряла из вида, но которая, впрочем, ее сама звала и потом держала то за руку, то за шугайчик, то за сарафан.

— Я тебе говорю, не отставай! Оттрут — не попадешь! — говорила она каждый раз.

Но вот подошел смотритель. Женщины старались выдвинуться вперед и оттерли Пелагею Прохоровну.

— Мокроносиха! — крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь, — и, увидав голову Пелагеи Прохоровны аршинах в двух от себя, рванулась к ней, столкнув с мостков женщин десяток, и крепко схватила шугайчик Пелагеи Прохоровны.

— Какая ты разиня! Держись! — крикнула она сердито, толкая ее вперед.

— Да толкаются...

Вмиг Мокроносова с Ульяновой очутились перед смотрителем, который отбирал от женщин мешки. Сзади смотрителя стояли Терентий Иваныч, Григорий и Панфил Горюновы и двое других рабочих. По лестнице поднимались припасный, или приемщик соли в амбар, с огромными ключами и один рабочий.

— Куда ты ее поставила? Куда?!.

— По морде ее свисните, — голосили бабы, обращаясь к Лизавете Елизаровне.

— Ну-ко, попробуй...

— Ты, Лизка, опять буянить... А это што за баба? — спросил смотритель, оглядывая Пелагею Прохоровну и отбирая от нее мешок.

— Тебе што за дело!

— А баба ничего... Ну, на эту будет. Пошли туда!.. — проговорил он остальным женщинам с мешками.

— Назар Пантелеич! Родименькой!.. На эту... — голосили женщины.

— Ну-ну... Пошли! Считайте мешки! — И смотритель швырнул отобранные мешки к двери в варницу.

Терентий Иваныч стал считать мешки.

— Смотри: которые с клеймами, те только бери. Нет ли сшивок внутри, дыр?

— Всё в исправности, — сказал Горюнов. Непринятые женщины побежали к другой варнице.

— То-то... Они, толстопятые, всегда все лестницы обсыпают, как снегом... Ну, сегодня вам плата по гривеннику за сто мешков.

Женщины заголосили.

— Ну, не хотите, так пошли прочь.

— Всегда четвертак платил...

— Ну-ну! Пятнадцать копеек — и делу начин. Начинайте благословясь.

И смотритель, не слушая криков женщин, стал отпирать варницу.

В варницу нахлынули чуть не разом все принятые сорок женщин, в числе коих оказалась принятою и Степанида Власовна, которую до сих пор ни дочь, ни Мокроносова не замечали в большой толпе.

На стене варницы, противоположной амбарам, были на большом пространстве начерчены мелом кресты и палочки. Некоторые женщины присели и стали есть, бесцеремонно захватывая соль с полатей; посыпав ее немного на куски, остальную заталкивали в большие карманы, заметно оттопырившиеся на боках сарафанов.

— Не нажрались еще, штоб вам треснуть! — говорил смотритель, отталкивая женщин от полатей.

— Начинай! Будет вам шалберничать-то, сороки!

Женщины похватали мешки, причем без криков не обошлось, потому что каждой хотелось свой мешок получить, но пришлось брать какой попало, так как смотритель торопил, бесцеремонно колотя по спинам баб.

Смотритель разделил баб на две смены, по двадцати в каждую. Начали насыпать мешки, потом весить соль в мешках. Смотритель требовал, чтобы каждый мешок тянул не менее двух пудов; излишек, как бы он ни был велик, то есть как бы сильно ни перетягивал двухпудовую гирю, не сбрасывался.

Теперь только и слышалось в варнице: «Поменьше сыпь! Скинь, христа ради, — как перетянуло гирю... Ладно... упрешь! Толста больно... Поднимай!»

Молодые Горюновы только и делали, что поднимали мешки на плечи женщин, и когда Лизавета Елизаровна поставила мешок на носок левого сапога Григорья Прохорыча, он ущипнул ее, да так больно, что она взвизгнула, а смотритель, захохотав, сказал:

— Што, Лизка, верно не на нашего наскочила.

Лизавета ударила всей пятерней по лицу Григорья Прохорыча, так что у него на щеке образовалось четыре полоски с солью. Положив мешок на плечо, Лизавета Елизаровна пошла как ни в чем не бывало, но Пелагея Прохоровна почувствовала, что у ней мешок как-то не

так, как у людей, лежит на плече, и кажется ей тяжела эта ноша.

— Ну-ну... Чево вертишься с мешком-то, не отставай, — крикнул смотритель и начертил на стене крест...

Этот крест означал число разов, или число мешков, этой смены.

Потом насыпанье соли для второй смены началось таким же образом. Эти женщины пошли к амбару тогда, когда на верхней площадке лестницы, перед дверями амбара, показалась женщина с порожним мешком на плече.

Все двадцать солоносок шли по лестницам врассыпную, в расстоянии друг от друга на сажень и на пять сажен. По многим из них можно было заключить, что они уже давно привычны к этому занятию и им нисколько не тяжела эта работа — подниматься постепенно с ношей кверху по скользким и шатким доскам. Ступеньки сделаны кое-как на крутых подъемах и поворотах. Все они идут скоро, держа одною рукою мешок, а другою размахивая или подперев бок. Одна только Пелагея Прохоровна отстала сажен на тридцать от них. Из варницы на нее крикнули, она вздрогнула; солоноски оглянулись и подняли ее насмех... Теперь уж не так тяжело ей, а только скользко. Ей так и кажется, что ноги у нее подкашивает, что ноги ее катятся, что она упадет, или вдруг переломится доска, и она провалится, а ухватиться не за что, — перил нет... И чем дальше она идет, тем резче ее пробирает ветер; чем выше она поднимается, тем больше увеличивается ее пугливость: она боится глядеть вниз, и только вид других женщин, уже возвращающихся с пустыми мешками, не позволяет ей вернуться назад или бросить мешки с лестницы и бежать с промыслов.

— Спаси, царица небесная... Дойду, может... — шепчет она.

Взошла она на верхнюю площадку; там перила сделаны, ухватилась за перила и остановилась.

— Обломай перила-те! Ишь, неженка какая! Мы почище тебя рожей-то, да не отдыхаем же.

«Будь оно проклято, житье!» — думает Пелагея Прохоровна и идет в амбар.

— Што, Мокроносиха, устала? — спросила вдруг Лизавета Елизаровна.

— Ой, голова кружится.

— Привыкнешь, и на крышу влезешь. Скорее, пойдем вместе назад-ту.

Амбар имел вышины сажен шесть. В нем потолка не было, а только около стен на перекладины были положены доски; несмотря на то, что против двери в крыше сделано слуховое окно, ставень которого теперь был отодвинут, в амбаре все-таки было не совсем светло. Здесь соль не перевешивали, а двое рабочих только снимали мешки с плеч женщин, брали мешки за дно и вытряхали соль внутрь амбара, а припасный, сидя напротив дверей за небольшим столиком, на котором, кроме счет и листа бумаги, стоял еще графин с водкой, клал на счетах каждый мешок и каждую смену, отмечая на бумаге карандашом как самую смену, так и число мешков в смене, заставляя во время своей выпивки с холода водки погодить бабам ссыпать соль и часто путаясь поэтому в сменах, за что его, конечно, ругали как кто умел.

Сперва все ходили скучные, оттого что не совсем размяли свои члены. Через час женщины стали живее, скорее прежнего шли вперед к амбару и с подпрыгиваньями бежали назад. Все острили то над какой-нибудь неловкой женщиной, то над Пелагеей Прохоровной, ее дядей и братьями, о которых теперь уже все узнали, кто они такие, задирали на ссору, изощрялись в ловкости самим закидывать мешки на плечи, хохотали и старались, во что бы то ни стало, разозлить мужчин. Мало-помалу и Пелагея Прохоровна попривыкла и к ходьбе и к ноше, и она сделалась сообщительнее; хотя ей и совестно было шутить с мужчинами, все-таки она ввернула два-три словца в отпор смотрителю, который на нее, как замечали солоноски, обратил милостивое внимание. И ей казалось весело носить соль после того, как она раз двадцать поднялась кверху; прежний страх прошел, так что она сама смеялась над своею трусостью. Одно ей не нравилось в это время — это то, что солоноски чересчур говорят нехорошие вещи... Чего-чего только они ни говорят о мужчинах, да и себя-то не очень жалеют. Такого свободного обращения, таких свободных выражений она и отроду не слыхивала в Терентьевском заводе. Правда, и там народ обращается свободно — в масленицу, на гуляньях, как, например, в троицын день, когда молодежь

на горе березки хоронит, — так зато время такое, праздничное, а не рабочее. Стали попрекать Пелагею Прохоровну нехорошим житьем; Пелагея Прохоровна старалась молчать, понимая, что никаким ее оправданиям не поверят; наконец-таки рассердили и ее, и она крикнула:

— Мало вы меня знаете, бессовестные вы эдакие!

Молодые женщины на смех подняли эти слова, а пожилые отстали.

Надоели женщинам остроты, насмешки, издеванья друг над дружкой; все начали чувствовать усталость, а отдыхать некогда: надо хоть сотню выверстать, а уж смотритель пошел обедать, значит, двенадцать часов, а всего снесено только по тридцати восьми мешков...

Затянула одна голосистая женщина на лестнице песню, песню подхватили еще три женщины — и запели все, исключая Пелагеи Прохоровны, которая не понимала этой промысловой песни про тяжелое промысловое житье, из которого выход только одна быстрая реченька, уносящая волюшку к милому дружочку, уплывшему куда-то в море-окиан, на остров хлебородный, на который бедную, несчастную рабу злые люди-лиходеи не пускают и, кроме того, ей про волюшку и об милом и думать не велят.

После того как смотритель ушел, женщины стали приставать к Горюнову, чтобы он не весил соль, на том основании, что припасный ее не перевешивает; Горюнов сперва не соглашался, но к женщинам пристали и рабочие, насыпавшие соль. Горюнов уступил и даже пять лишних крестов прибавил на стене. За это он так понравился всем женщинам, что они его превозносили до небес; Пелагее Прохоровне говорили, что дядя у нее отличнейший человек, а из девиц некоторые охотно заигрывали с его племянниками, из коих Панфилу прибавляли лишних три года, так как он на вершок только был ниже ростом Григорья.

Первая смена стала обедать, то есть есть ржаной хлеб, запивая его водой. В это время стали приходить в варницу взрослые парни. Появлению парней девицы обрадовались, потому что они теперь могли замениться ими. Парни вели себя чинно, стараясь ввернуть какое-нибудь мудреное словцо женщинам, не показывая, впрочем, вида, что оно произнесено для того, чтобы его

похвалила его зазноба. Но это была вежливость вообще к дамскому полу: парни здесь не осмеливались подойти прямо каждый к своей подруге, начать с ней разговор, потому что это было неприлично, так как тут находились даже и матери нескольких девиц, и такого парня подняли бы на смех все женщины.

Пелагея Прохоровна сидела рядом с Лизаветой Елизаровной. Обе они посматривали на парней, но первая смотрела на них с любопытством, а вторая — с презрением. Пелагея Прохоровна заметила, что парни не вызываются сами носить соль, а напротив, их сами дамы вызывают.

— Поняла ли? Это наши кавалеры. Гляди, вон пятеро уж понесли, а вот те двое, што стоят, — облизываются, с носом остались...

— Што так?

— Один-то с Одувановской все хороводился, да она сегодня о поленницу ушиблась... И стыда нет у человека: ведь знает, што она нездорова, пришел.

— А другой?

— Ну, тот погодит... У него губа больно толста.

И Лизавета Елизаровна с негодованием встала и пошла с Мокроносовой.

— Ох вы, вахлаки! А еще парни прозываетесь, — сказала она Григорью Прохорычу, с неудовольствием взглянув на него.

— Собака, так собака и есть! — ответил Григорий Прохорыч.

— Осел! Нет, штобы заменить, — сказала Лизавета Елизаровна.

Григорью Прохорычу сделалось стыдно, и он, когда сестра и Ульянова подошли к нему, сам вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.

— Давно бы так! А ты неси за сестру, — сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.

Мокроносову и Ульянову заменили молодые Горюновы, но Панфил сходил только два раза: больше идти у него не хватило сил; поэтому обе женщины стали чередоваться. Два парня, про которых говорила Пелагее Прохоровне Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы как оплеванные и молча переносили насмешки. Один из них было попросил Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:

— Не стоишь! У меня другой есть помощник.

— Ну, погоди!.. Каков ни на есть, дам твоему помощнику.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Ноги я ему обломаю. — С этими словами парень ушел.

В одну из смен Лизавете Елизаровне пришлось идти сзади Григорья Прохорыча.

— Што, небось устал? — спросила она его.

— Ничего.

— То-то и есть! Ваше дело только хвастаться... Только и слышно от мужчин: ох, как *чижало!* А вот мы и бабы, да не говорим, што нам тяжело.

Григорий Прохорыч только промычал. Тем и кончился разговор в эту смену.

В другую смену женщины запели песню, им подтягивали и парни, голоса которых резко отличались от женских голосов. Лизавета Елизаровна пела немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поет или нет Горюнов.

— Ты што ж не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?

— Как бы умел, запел бы...

— Ну, и парень! Чему вас в заводе-то обучали?

— У нас другие песни, на другой голос.

— Ну-ко, спой!

Горюнов не стал петь.

К вечеру стали появляться на варницах и мужчины — братья, дяди и мужья, покончившие с работами на других варницах; в числе их было шесть человек возчиков и Елизар Матвеич, который обыкновенно приезжал с кордона прямо в варницы, так как дорога до дома шла мимо промыслов.

— Дайте-ко, бабы, мы поносим, разомнем косточки, — напрашивались мужчины, бесцеременно хватаясь за мешки. Женщины хотя и изъявляли свое неудовольствие за то, что мужчины не в свое суются дело, однако с радостию отдавали мешки и садились, говоря:

— Ох, устала!

— Не ты бы говорила, да не мы бы слушали. С самого с обеда не носила.

— Ах, ты... Сосчитай, сколько теперь-то на баб мужчин, — перекорялись женщины.

Мужчин с парнями было и теперь наполовину меньше всех женщин.

Женщины, числом девятнадцать, стали чередоваться с теми, которым некем было замениться, более прежнего острили над мужчинами и парнями, которые к вечеру уже без церемонии обращались с *своими предметами,* щекотя и щипля их, перекидываясь с ними любезными словцами вроде: «Матрешка толстопятая», «Офимья безголосая», — на что и им отвечали соответственными выражениями. Горюнов старший скоро заметил, что соленошение идет не так успешно, как раньше, и прибавил еще два креста по просьбе одной тридцатилетней здоровой женщины, которой он частенько отпускал каламбуры, что и смешило ее чуть не до слез. Он не обращал внимания на шалость молодежи, но когда уже невозможно было определить, кто из какой смены, а молодежь стала дурачиться больше и бегать по варнице, тогда он крикнул:

— Таскай, пока светло!

— Ставь крест! — ответили ему.

— Да я и так десять крестов лишних поставил.

— Спасибо на этом, прибавь еще десяточек.

— Кроме шуток говорю — робь! Смотритель придет — кто будет в ответе, как не я?

— На празднике угостим! Считай за нами.

Так Горюнов ничего и не мог сделать и относил всю причину беспорядков к присутствию мужчин, до которых бабы работали усердно. «Впрочем, — думал он: — мне какое дело? Они будут получать деньги, а не я», — и он подозвал племянницу.

— Ты што же села?

— А што мне идти, когда никто нейдет. Што скажут?

— Да ведь еще сотни нету... Подумай, сколько тебе придется денег. Я и так уж много лишних крестов поставил.

— Бабы! сходите раз, да и баста! — крикнула Пелагея Прохоровна.

— Смотрите, как наша-то заводчанка разохотилась! Пойдемте не то, — проговорила одна женщина.

На этот раз пошли все сорок женщин враз, отстранив мужчин; в продолжение всего хода пели.

Это был последний раз.

Припасный, несмотря на то, что в графине уже не было водки, бодро держался на ногах и, по мере того как его пробирал хмель, становился придирчивее и ругался, по привычке, — без меры, но не от сердца. Сколько его ни просили женщины сделать прибавку в своей бумаге, он твердил одно: нельзя!

Заперев дверь амбара, припасный с рабочими сошел вниз. Там, около варницы, собрались солоноски, около них терлись мужчины и парни. Дверь в варницу захлопнули за припасным. Там был в это время приказчик, приехавший с мешком медных денег, смотритель и Терентий Иваныч.

— Противу прошлых разов сегодня больше отнесено соли. Не видите разе, что соли осталось чуть ли не на полсуток, — говорил приказчик, указывая на полати.

— Да и я сомневаюсь. Больше восьмидесяти мешков по зимам не вынашивали, а сегодня выношено девяносто девять, — говорил смотритель.

Припасный стал считать на своей бумаге палочки. По его записке оказалось, что первая смена прошла шестьдесят девять раз, вторая — семьдесят.

— Черт вас разберет тут! Сколько же всего разов-то схожено? — кричал приказчик.

— Я сам считал! Я не мог ошибиться, — проговорил смотритель, строго смотря на Горюнова.

— А я даром сидел? — горячился припасный.

— Взятошники! Мошенники! Живодеры! — кричал приказчик.

— Помилуй, Иван Сидорыч! С чего тут взято!

— Вы думаете, надуете меня? Не-ет! — И подошедши к стене, он стер половину крестов.

— Вот, коли так! Не плутуйте потом... Подай мне свою бумагу да зовите баб, — проговорил приказчик, обращаясь к припасному и к остальным.

Когда женщины вошли в варницу, в ней уже был зажжен в фонаре сальный огарок.

— Плохо же вы, бабы, нынче работаете. Прежде по полутораста мешков вынашивали, а теперь и плата больше, а вы и пятидесяти мешков в день не можете

вынести... Вольные нынче стали!!. Свободу вам дали!!.

Женщины плохо понимали слова приказчика.

— Што рты-то разинули? Сказано, всего по сорока пяти мешков вынесли.

— Не грех тебе, Иван Сидорыч, обижать! — завопили женщины.

— Ничего не знаю, так записано. Хотите получить по десяти копеек? И так уж целых три копейки делаю накладки.

Женщины было начали возражать, но приказчик прикрикнул на них и припугнул их тем, что они и этих денег не получат. Женщины согласились, ругая смотрителя и припасного.

Рассчитавшись с женщинами, приказчик приказал смотрителю непременно очистить завтра варницу от соли, сказав ему, что он завтра не будет и он, смотритель, может сам прийти или приехать к нему за деньгами для расплаты с солоносками. Потом приказчик уехал.

— Эк, черт его принес! Я хотел сам рассчитать своими деньгами, а его сунуло... Однако ты, Горюнов, ловок приписывать! А знаешь ли ты, што стоит эта приписка? Сколько ты слупил с баб?

— Провалиться на сем месте, штобы я приписал.

— Клятвам мы, братец, не верим. Эту вину я тебе прощаю на первый раз, потому единственно, что тебе на первых порах разжиться немного не мешает.

— Назар Пантелеич...

— Не заговаривай... За тобой еще есть должишко?.. Вперед попадешься, не плачь. Спроси вон припасного, как эти дела нужно обделывать, штобы и волки были сыты и овцы целы.

С этими словами смотритель вышел из варницы, заперев дверь.

Терентий Иваныч долго стоял в раздумье у варницы. Ни одной веселой мысли не приходило ему в голову. Жизнь казалась ему такою противною, приказчик, смотритель и припасный такими гадкими, что он готов был в эту же ночь уйти в другое место.

А солоноски, в сопровождении мужчин, с песнями выходили с промыслов в село. И далеко раздавалась их протяжная, бестолковая, невеселая песня.

VII

Терентий Горюнов и Ульянов уходят на золотые прииски

Так же начался и второй день на промыслах; только к обеду смотрителя соль была вся выношена из варницы, в которой служил Терентий Иваныч; но женщины не шли по домам, а дожидались расчета. Теперь они положительно знали, сколько каждою снесено мешков, потому что записывал сам смотритель, который, прежде чем идти домой, объявил, что каждой бабе приходится за сегодняшнюю носку по шести с половиною копеек. Женщины от нечего делать, в ожидании смотрителя, сперва хвастались тем, кто сколько из них принес вчера домой на рубахе и на загривке соли, насыпавшейся туда от мешков, кто сколько принес соли в мешковых складках; каждая старалась убедить другую, что она постоянно ворует соль, а одна девица укоряла тоже девицу, что та даже вся пропитана солью, как татарка козлятиной. Но тут не было и тени неудовольствия; говорили потому об этом, что говорить было не о чем, к тому же на промыслах без воровства нельзя жить — это даже говорит и Терентий Иваныч, который рассказал уже женщинам несколько раз про вчерашний урок, данный ему смотрителем. Наконец надоело болтать, стали бороться, а более молодые и вертлявые даже начали кататься с лестницы, как будто у них и заботы никакой не было. Но смотритель не приходил долго; женщины стали зябнуть; развлечений нет никаких. Пошли на берег; там по льду кое-где ребята катаются на коньках, на санках или просто бегают, кидаясь в то же время и снегом. Скучно и здесь, так бы и не глядел ни на что, не так, как летом. Тогда так и рвутся солоноски на берег. Усядутся они на набережных или на сходнях и начинают петь... И чем дольше сидит женщина, тем ей кажется легче, она сосредоточивается сама в себе. Нравится ей этот простор, эти бурые волны, лодки, слегка колеблемые ими; сердце у ней бьется, ноет — и ей хочется куда-то... И долго-долго тогда сидят женщины, до тех пор, пока их не перевезут всех на другой берег или пока не покатает кто-нибудь в лодке.

Пришел смотритель, рассчитал женщин, а Горюнову сказал, что с понедельника нужно пустить варницу в ход; до понедельника же он будет свободен.

Горюнов попросил у него денег.

— Какие такие тебе деньги? — спросил с неудовольствием смотритель.

— Я уже восемь дней прослужил.

— Стыдился бы ты говорить-то! Ведь ты уж содрал с баб шесть целковых?

— Не стыдно тебе говорить-то это? Не знаешь ты меня...

— Еще говори спасибо, что я держу тебя... А што касается до жалованья, так ты должен помнить условие.

— Но чем же мне жить? .. Сам рассуди, я нанялся не для того, чтобы даром служить.

— Даром! Ха-ха! .. И он мне еще говорит! .. Ступай-ко, братец ты мой, домой, сходи в баню, а завтра помолись богу за наше здоровье: может, поумнее будешь.

Смотритель ушел.

— И это у человека нет совести. Ну, хорошее же я житье нашел. Двадцать пять лет по крайней мере я жил своим умом, а теперь... Нет, правду сказал Короваев, не житье здесь...

Задумался Горюнов крепко. Денег у него всего только рубль, идти в другое место нет тоже резона, потому что нужно наперед отыскать место... Идти на золотые прииски — пожалуй, дело рискованное. Казенные прииски и прииски богатых людей ему известны; они обставлены так, что там трудно чем-нибудь поживиться, а хотя и платят за работу, то тоже и там, в глуши, начальство самоуправничает как ему хочется, потому что, имея деньги, во всякое время может найти рабочих из беглых, ссыльных и других людей за бесценок. Остается идти на такие прииски, которые только что открываются, хозяева которых, люди неопытные в этом деле, вручают разработку мошенникам, которые только высасывают у хозяев деньги и, по нерадению своему и неумелости, доводят прииски до того, что их потом или бросают по негодности, или продают за бесценок.

— Надо разузнать об этом, во что бы то ни стало... И лишь бы попасть мне только на такой прииск, забрал бы я его в руки! ..

Елизар Матвеич был дома, и когда семейство его ушло в баню, Горюнов сообщил ему свои мысли.

— И я, брат, думаю об этом уж давно. Недавно мимо меня проходил один беглый. Попросился погреться. Я впустил и стал спрашивать: не знает ли он, где жизнь лучше? Ну, конешно, он захохотал, как и я в те поры, как впервые вас встретил... Ну, он все-таки сказал: супротив, говорит, того места, где я жил, не бывать лучше! Стал я от него добиваться правды, — нельзя, говорит: сказывать не велено, потому, говорит, штука!.. Раскольники тем местом пользуются; золота, говорит, там больно много, только про то раскольники и знают... Ну, я думал, он врет, стал пытать: коли, мол, правду говоришь, зачем не жил там? Скажи да и только мне место, и говорю ему: живи, мол, ты у меня хоть сколько... Ну, он уезд сказал, а место — нет. Там, говорит, верстах в пятидесяти уже моют золото, только непорядков много. А убежал он из острога и опять туда же пробирался.

— Не махнуть ли нам туда, Елизар Матвеич?

— Махнуть!.. Легко сказать. А пойди, и до половины не дойдешь.

— Оно, правда, верст четыреста будет... Только я на твоем месте не так бы думал.

— Как же?

— А взял бы да и срубил остальной лес.

— Ну, нет! Легко срубить, а отсчитываться-то как?

— О, Елизар Матвеич! Я думаю, нечего тебя учить отсчитываться.

Скоро приятели расстались, но оба они не спали целую ночь, думая, каким бы образом им разжиться деньгами, как лучше сделать относительно семейств: оставить ли их здесь или взять с собой? У обоих только и было мысли о золотых приисках... «Шутка — работать на приисках, своими руками доставать и промывать золото! Да тогда нужно дураком, олухом быть, чтобы пропускать этот металл в чужие руки даром. Вот теперь дозволено даже крестьянам самим искать золото, за это им деньги платят, только иметь его у себя или продавать его нельзя. Вот бы тогда я стал богач; сперва бы сделался доверенным, потом записался бы в купцы...» И много-много хорошего шло в головы

обоих искателей счастия; много приходило несбыточного, и много такого, что могло осуществиться при особенном счастии и при ловкости человека.

Утром, в воскресенье, в домах происходила стряпня. За неимением больших денег Степанида Власовна пекла яшные ватрушки и пирог с грибами. Пелагее же Прохоровне нечего было печь: не на что было; хотя же Степанида Власовна и предлагала ей капусты, но у нее не было муки, и она еще рано утром купила на рынке две ковриги хлеба и фунт мяса. Терентий Иваныч сидел у окна задумчиво, племянники рассуждали о бабах и часто ссорились. Все эти четыре лица, казалось, не обращали внимания друг на друга и, за исключением братьев, не относились друг к другу ни с каким вопросом и как будто тяготились друг другом. Братья еще плохо понимали жизнь; дядю считали за человека, равного себе относительно работы, и только потому, что он теперь уставщик на варнице, думали, что он должен иметь деньги и им придется работать на варницах шутя. Пелагея Прохоровна думала, что, пришедши сюда, она променяла кукушку на ястреба. Здесь она хотя и свободная женщина, зато у нее ничего нет, а приобретет ли она что-нибудь впоследствии, сказать трудно. Работа тяжелая, люди чужие, обращение у них нехорошее. И все это случилось по милости дяди и Короваева. Терентий Иваныч думал, что ему не надо бы было брать племянницу и племянников: пусть бы они жили как хотят, и пусть ищут себе счастья сами. А то завел он их в такое место, где они совсем собьются с толку, потому что люди молодые...

Зазвонили к обедне. Пелагея Прохоровна стала чесать голову. Пришла Лизавета Елизаровна.

— Ты пойдешь? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Чего я там забыла!

— Пойдем. У нас певчие очень хорошо поют.

— Ну уж! против городских вряд ли споют.

— У вас только и хорошо в городе, а сами... Пойдем!

— И я пойду! — сказал Терентий Иваныч.

— И я! И я! — прокричали два брата.

Через полчаса Горюновы, Пелагея Прохоровна

и Лизавета Елизаровна отправились в православную церковь.

Церковь была битком набита народом; но мастеровые стояли направо, а заводские женщины и девицы налево; исключение составляли аристократки, которые стояли впереди на правой стороне, и их как будто отгораживали от рабочего класса купцы, чиновники и вообще люди высшего сельского общества. Пожилые рабочие молились усердно, можно сказать от всей души; но молодежь промысловая, надо сказать правду, пришла сюда ради развлечения: послушать певчих, дьякона, посмотреть на девиц, на их наряды и, при случае, подмигнуть и скорчить лицо.

После обедни холостые мужчины отправились или в гости к своим невестам, на капустный или грибной пирог, или в харчевни; семейства шли отдельно, кучками, молодежь говорила незамужним дамам любезности, но из приличия не выходила, потому что в селе все семейства были на перечете и никто не хотел, чтобы про него или его дочь говорили дурно. Кто шел через рынок, тот покупал мелких кедровых орехов, но других не потчевал и сам не угощался, так как праздник состоял в том, чтобы сперва пообедать, потом поспать, потом поиграть до вечера в карты, развлекаясь, между прочим, и орехами.

Скуден был обед Горюновых. Пелагея Прохоровна и Терентий Иваныч молчали, но не молчали братья.

— У людей дак пироги, а у нас все редька да редька! — говорил Григорий Прохорыч.

— И это хорошо, — заметил дядя.

— Робишь-робишь, а поесть нечего!

— Уж молчал бы лучше! сколько ты выробил денег-то! — проговорила Пелагея Прохоровна.

— Што ты меня упрекаешь? разве я не заплачу вам! Ты своего-то Короваева упрекай, што он бросил тебя...

— Гришка! — крикнул дядя.

— Я давно Гришка!.. нечего кричать-то!

— Кабы ты был умнее, не говорил бы! — И Терентий Иваныч вышел из-за стола.

— Ты, дядя, што же? — спросила с испугом Пелагея Прохоровна.

— Я сыт...

— Да щей-то похлебай!

— Не хочу.

И Терентий Иваныч, одевшись, ушел к хозяину, но Ульянов тотчас после обеда куда-то ушел.

Сестра и оба брата доели обед молча; потом братья ушли. Пелагея Прохоровна прилегла было немного, но ей сделалось страшно скучно. Она отправилась к хозяйке, которая в это время уже лежала на печи, а дети ее, кроме Марьи, играли в карты.

— А што же братья? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Ушли.

Но она ничего не сказала о сцене за обедом.

— Я вот прошу мамоньку, штобы вечорку нам устроить... — начала Лизавета.

— Толкуй еще! — проговорила мать с печи.

— Ну, мамонька! люди устроивают, а нам отчего не устроить.

— Не выдумывай.

Лизавета Елизаровна дала гостье горсть орехов, и они стали играть на орехи. Пришел Григорий Прохорыч.

— Непременно куплю себе коньки! Все катаются, — сказал он.

— Голову сломишь. А угощенье принес? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Какое?

— Невежа. А еще в городе жил. Убирайся!

Григорья Прохорыча не принимали играть.

— Дайте, не то, взаймы денег! — стал просить Григорий Прохорыч.

— Хорош мужчина: у хозяев денег просит на угощение. Степан, гони ево!

— Лизка, не дури! — проговорила с печи мать.

— Не твое дело, мамонька. Спи там.

— Дадите вы уснуть!

Мать слезла с печи и уселась тоже играть в карты; Григорий Прохорыч был принят.

Горюнов между тем вошел в одно питейное заведение, которое по случаю праздника было битком набито рабочими. Но пьяных в нем не было еще ни одного человека, потому что все пришли сюда только что после обеда покалякать или провести весело время. Хозяин

заведения не был в претензии за то, что никто не брал водки, а только курил махорку. Он знал, что чем больше будет в его заведении посетителей, тем больше будет к вечеру выручки. Рабочие толковали о разных делах, обращаясь часто за подтверждением своих мнений к хозяину; двое насвистывали слегка; двое тоже слегка наигрывали на гармониках, один играл на балалайке, но никто никому не мешал, потому что если разговор касался держащего в руках гармонику, то он громко отвечал, не выпуская из рук гармоники.

— Што, говорят, Назарко тебя надул? — спросил один рабочий, обращаясь к Горюнову, когда тот вошел.

— А ты почему знаешь?

— Это не секрет. Тут, братец, шила в мешке не утаишь. Што ж ты теперь думаешь делать?

— Подожду еще неделю, тогда...

— Тогда он и скажет: покорно благодарим! Задаром-де служили нашей милости...

— Хоть ты и заводский человек, а практики у тебя ни на грош нет!

— Чево ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумал? — прокричал другой рабочий.

— Уговорить других: не хотим-де за эту цену робить!

— Дурак! Да он тебя прогонит. Разе мало нашего брата, што без работы шляются? Разе ныне мало развелось нищих?

— А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

— Как?

— А так. Нету у нас согласия. Так-ту мы по отдельности тараторим, а сбери нас всех, и сало во рту застыло.

Народ загалдил.

— Коснись дело до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что ж, мне одному в петлю лезти? Один в поле не воин. А вот мы даже насчет платы не можем сговориться! Што сказано в положенье-то: рабочие должны выбирать старост, а где они, старосты?

— Поди-ко сунься!

— Нет, можно бы собраться хоть сотне-другой и выбрать припасного, смотрителя...

— Што ты толкуешь, братец, — выбрать!.. Тебя еще,

верно, не дирали хорошенько-то. Помнишь ли ты прошлогоднее дело?

— А кто им велел барки рубить да муку топить?

— Так и следовало!

— Вовсе не так. Собраться всем селом к управляющему и требовать платы.

Эти рассуждения продолжались еще долго, и расписывать их нет никакой надобности, потому что они решительно не приводили рабочих ни к какой цели. Дело в том, что согласия между рабочими не существовало, потому что они работали на разных варницах, принадлежащих разным господам, и жили дружно только с теми, которые работают с ними вместе и которые горой стоят за товарища. А так как на одних промыслах было несколько лучше других промыслов и требования первых были больше последних, то последние, завидуя первым, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себе, чем о товарищах, только работающих от них отдельно. Кроме этого, одни из рабочих были слишком робки; они привыкли сносить все терпеливо, и если у них спрашивали мнения, то они, наученные опытом, ничего не могли посоветовать, находя все толки бесполезными; другие старались как-нибудь подделаться к какому-нибудь мелкому начальнику из-за личной выгоды; третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только в своей компании были бойки. Молодежь была, конечно, смелее, ей бояться было нечего, но так как она не могла обходиться без любви, увлекалась девушками и женщинами, то и от нее, то есть от всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушия, если одна половина ее ревновала другую к предметам своей любви. При этом надо еще взять во внимание то, что рабочие живут в селе в нескольких улицах или порядках, носящих названия, соответственные или местности, или какой-нибудь личности, или данные какому-нибудь событию, и в них православные смешиваются с единоверцами и отчаянными раскольниками, которые только в частности заботятся о себе, о своих родных и партиях. Поэтому если бы и пришлось потребовать голоса от всех рабочих всего села, то разноголосица вышла бы большая, и у начальства недостало бы терпения выслушать мнение каждой партии, каждого

промысла еще и потому, что это начальство делилось на несколько лиц, из коих каждое оберегало свой пост, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь к другому лицу.

Споры, как водится, прекратились за выпивкой водки по стакану. Несколько человек хотели было возобновить их, но нашлись другие разговоры — о женщинах, о том, сколько бы можно было при постоянной работе выварить соли; что можно бы было устроить варницы каменные, а не деревянные, потому что деревянные легче сгорают, отчего уменьшаются работы. Говорили о том, что можно бы было по всему берегу сделать такие же набережные, как против собора, для того чтобы село не затопляло, а то выстроили набережную для бар, а рабочих ходить туда по вечерам не пускают, будто они невесть какие воры. Много было говорено в заведении; много было сказано хорошего, практического, до чего иному барину пришлось бы долго додумываться. В этом заведении редкий человек не был практическим человеком, приобретшим практику долголетним опытом, работою на варницах, где он развивался с детства около добывания и обработывания соли, но тем и заканчивалось его умственное развитие, и он ничего уже больше не мог выдумать, кроме того, что лошадей в насосах можно бы было заменить какою-нибудь машиною, как это устроено на пароходах, что если и существуют еще коноводки, большие баржи, сплавляемые с солью, действующие посредством лошадей, так для того, чтобы хозяевам и их главным помощникам сберечь в свою пользу капитал. Но и эти разговоры были не больше не меньше как препровождение времени.

Терентий Иваныч не удивлялся понятливости рабочих, находя их даже развитее своих терентьевцев. Но чем больше разговаривали рабочие, тем больше Горюнову казалось, что он здесь человек лишний, так как всякому рабочему хотелось бы занять его место, и что те же рабочие издеваются над ним, потому что смотритель хочет пользоваться даровыми деньгами, назначив в уставщики человека, незнакомого с соляным делом, такого, который еще не умеет воровать.

Рабочие мало-помалу оживлялись более и более. Хотя теперь и играли уже на гармониках как следует,

но эту музыку заглушали крики рабочих, которые, начиная хмелеть, уже ругались, задирая на драку. Горюнов взял гармонику и начал играть. Он, как прежде, старался привлечь публику своей игрой, но так как он играл песни заводские, то на его игру никто и не обратил внимания. Пришлось возвратить гармонику.

— Што ж ты нас не потчуешь! — подошедши к Горюнову, сказал рослый черноволосый рабочий.

— Рад бы угостить, да не на что.

— А зачем даром служишь?

К Горюнову подошло человек шесть.

— Мы и в крепости состояли, даром-то не служили. А ты пришел, бог знает, откуда...

— Ты этим наш кредит подрываешь!

— И нам не станут платить из-за тебя, — кричали рабочие.

— Кто вам говорит, што я даром работаю? — спросил Горюнов.

— Сам ты говорил, што Назарко не дал тебе денег.

— Даст.

— Не даст, помяни меня: он не тебя одного надувает.

— А вот што: коли храбер, подем с нами теперь к нему.

— Нет, братцы, я теперь не пойду. Идти придется рекой.

— Ты нас за кого считаешь?

Начался крик. Горюнова стали бить, но в это время в заведение вошел Ульянов с мужчиной в полушубке.

— Стой!! Команду слушай! Братцы! Поберегитесь — сила! — кричал Ульянов навеселе.

Рабочие затихли и подступили к Ульянову.

— Прощайте, братцы! Прощай, моя служба!

— С ума сошел, Ульянов! — кричали рабочие.

— Глядите, как нализался! Дай-ко, Фадей, ему косуху!

— Я вас потчую... Фадей, полуштоф!.. Кон-чен-но!!. — И Ульянов крепко ударил рукой о стойку, так что посуда на полках задребезжала.

Рабочие хохотали, ругали Ульянова шутя, и сколько ни допытывались от него сути, он ничего не сказал никому, кроме Горюнова, которому сказал на ухо, что

завтра чем свет он идет на прииски, и если Горюнов хочет, то он его приглашает с собой.

— Послушай, брат, тулуп-то у тебя хорош; только если пойдем, он тебе будет мешать. Променяемся, — проговорил вошедший с Ульяновым мужчина Горюнову.

Ульянов угощал своих приятелей, и поэтому на Горюнова и вошедшего мужчину не обращали внимания.

— Ты не беспокойся. Я, братец ты мой, подрядил Ульянова на прииски и тебя подряжу. Хоть сейчас пять рублей задатку, — говорил мужчина.

— Об этом мы потолкуем завтра.

— Завтра надо ехать... А вот тулуп-то я бы у те взял.

— Как же без тулупа?

— Ох ты, кайло! Ну, променяемся. Пять рублей придачи!

— Десять!

— Шесть!

— Семь!

Горюнов променял свой тулуп на полушубок и получил придачи шесть с полтиной.

Немного погодя Ульянов, Горюнов и мужчина вышли из заведения.

— Ну, други, решено? — спросил мужчина по выходе из заведения.

— Я плохо што-то понимаю, — сказал Горюнов.

— Узнаем всё — не покаешься, — сказал Ульянов.

— Уговор такой: никому не говорить, куда мы идем, и никого больше не брать, — сказал мужчина.

— Ну, так завтра мы к тебе придем в заутреню.

— Ладно. Прощайте. Помните: никому не говорить!

И мужчина пошел налево; Горюнов с Ульяновым пошли направо.

Дорогой Ульянов вполголоса рассказал Горюнову, что этот человек кум его кумы, Кирпичников, которого он не видал годов пять и о котором не имел никакого известия. Теперь он встретил его у кумы и узнал, что он ездил с приисков к одному купцу, которому обязался разыскать кокой-нибудь прииск, и находится на одном прииске доверенным. Ульянов стал соболезновать о своей жизни, и Кирпичников предложил ему работу на

прииске с платою в месяц по пятнадцати рублей и согласился принять даже Горюнова за ту же плату, как человека грамотного, который может ему сводить счеты. Эту плату он обещал дать только на первый раз. Ульянов заикнулся было о семействах, своем и Горюнова, но Кирпичников сказал, что семейство и здесь может жить, а что туда идти далеко, и хорошо еще, уживутся ли они там с беглыми.

Дома, ложась спать, они ничего не сказали своим семействам о предстоящей поездке. Но утром без сцены у Ульянова не обошлось.

Ульянов пробудился в четвертом часу, встал и зажег лучину, что удивило Степаниду Власовну.

— Ну, хозяйка, ставай благословясь. Далеко сегодня пойду.

— Будь ты проклятая, хвастуша, — отвечала хозяйка и отвернулась к стене.

— Кроме шуток... На золотые иду.

— Наплевала бы я тебе!.. Еще не всю водку-то вылакал в кабаках!

Елизар Матвеич стал сбираться не на шутку в дальний путь. Жена следила за ним сперва прищурившись, но потом ее стало брать раздумье: неужели он так рано идет?.. У меня и хлеба-то для него не напечено...

— Как же ты на кордон без хлеба идешь?

— Шабаш! Деревья еще вчера куме продал. Баста!.. Ставай, говорю, кроме шуток.

Жена села и проговорила:

— Да ты чего?

— На золотые иду с Кирпичниковым.

— А он разве здесь?

— Вчера приехал к куме, а сегодня едем с ним.

— Да ты в своем ли уме-то?

— У тебя, што ли, стану займовать?

Жена все еще не верила.

— Да ты это взаболь али...

— Ну-ну! Нá вот тебе десять рублей, — сказал Ульянов, подавая жене деньги, и постучал в стену к Горюнову.

Оттуда послышался голос Терентия Иваныча: «Сейчас!»

Дети Ульянова, кроме Марьи, тоже пробудились и глядели на родителей.

— Ты, тятенька! Как же это?.. Ничего не сказал... — проговорила Лизавета Елизаровна.

— Тятька, я с тобой! — сказал Степан.

— Давно я знала, што это твое знакомство с Машкой до добра не доведет... Подлый ты человек! — проговорила Степанида Власовна.

— Послушай...

— Нечего мне слушать! .. Дети на возрасте, сами должны иметь понятие... Што, небось и Машку с собой берешь?

— Послушай, жена...

— Убирайся, подлая рожа! .. Господи! И зачем я за эдакого подлеца вышла замуж? — заплакала жена.

— Мамонька... — сказала дочь.

— Кроме горя, ничего не было... Ну, чем я кормиться-то буду? Че-е-м?

— Прокормишься... дети прокормят...

— Хорош отец, што семейство бросает... Кормитесь, говорит, сами...

— Дура ты, и больше ничего! Прощай, мила дочка! .. Хорошо будет, я приеду за вами.

— Да ты, тятенька, не шутишь?

— Я, знаешь, не люблю шутить... Береги мать...

— Нечего меня беречь. Меня хорошие люди накормят, а дочь мне не кормилица. Я знаю, што она...

— Мамонька! — крикнула дочь в испуге и упала на колени перед матерью.

— Это еще што такое? Што за комедьи? — спросил Елизар Матвеич в недоумении.

— Ты бы дочь-то наперед устроил, а то куда мне с ней, с...

— А-а!!. В матушку, значит, пошла!

— И батюшко-то хорош! ..

Елизар Матвеич сел в большом волнении на лавку. Его лицо выражало и горе и злость, но он старался преодолеть себя. До сих пор он еще не знал, что его дочь беременна, что не редкость в селе, на промыслах, где девчонки часто, особенно летом, увлекаются молодыми парнями и даже смотрителями и приписными.

Ему досадно было, что он об этом не узнал раньше... Но что бы он мог сделать тогда?.. Ему и противны казались в это время жена и дочь, но ему и жалко было их, жалко было покидать свой дом, потому что бог знает, что может случиться в его отсутствие. Жена и дочь плакали, сидя первая на кровати, вторая на печке, куда она спряталась из боязни, чтобы отец не сделал ей что-нибудь худое; Степан, сидя на полатях около лежащего Никиты, смотрел то на родителей, то на сестру, думая, что такое сделала сестра; Никита тупо глядел на всех, ковыряя пальцем в носу, и готов был заплакать каждую минуту.

Вдруг все вздрогнули. Кто-то шел на крыльцо, отчего ступеньки скрипели.

— Ну!.. Делать нечего. Слово дал, — нельзя. Собирайтесь.

В избу вошли: Горюнов, Пелагея Прохоровна и два ее брата. Пелагея Прохоровна плакала. Дети Ульянова слезли с печи и полатей.

Теперь всем стало ясно, что Ульянов не шутит, но ни вошедшие, ни хозяева ничего не проговорили друг другу.

— Сядьте, — сказал Ульянов.

Все сели. Женщины заплакали, парни смотрели друг на друга, стараясь не плакать; но эта немая сцена пробрала даже и отцов: даже они утерли по разу ладонями свои глаза и, как бы устыдившись этого, встали. За ними встали и остальные.

— Ну, хозяйка, прощай! Не поминай меня лихом... А ты, мила дочка... Эх! не думал я, не думал! Ну, Степка! Взял бы я тебя с собой, да сам не знаю еще, хорошо ли там. А вы не баловать у меня, слушаться старших... Эх, горе, горе! — говорил хозяин, целуясь с женой и детьми, которые рыдали, да и сам Ульянов плакал.

— Прощай, Степанида Власовна. Покорно благодарю за ласки... Моих-то не обидь. Будьте вместе... — говорил Терентий Иваныч, прощаясь с хозяйкой.

Ульянов и Горюнов вышли; за ними вышли семейства и стояли за воротами до тех пор, пока тех не стало видно в темноте.

VIII

Разорение

Степанида Власовна была оскорблена. Ее бесило то, что мысль о золотых приисках подала мужу не она, а, как ей думалось, торговка Машка, или Марья Оглоблина, с которой она подозревала Елизара Матвеича в связи.

Забрав себе это в голову, Степанида Власовна в Оглоблиной уже видела непримиримейшего врага своего и старалась всячески нанести ей какую-нибудь обиду и словом и делом.

На первых порах она отправилась на кордон — удостовериться в том, действительно ли ее муж продал лес Оглоблиной. Увидала она вот что.

Перед входом в шалаш был разведен огонь, но, как видно, он был разведен давно, потому что дрова уже догорали и легкий дымок едва заметно развевался ветром в разные стороны. В шалаше она нашла чью-то котомку, худые рукавицы и кусок ржаного хлеба. Значит, здесь уже хозяйничали чужие люди — здесь, в том самом шалаше, в котором ее муж жил десять лет, командуя над лесом и сбирая гривны с порубщиков, где она не одну ночь провела в продолжение десяти лет.... Обидно сделалось Степаниде Власовне... Она сразу почувствовала, что и воздух в шалаше иной и она точно невесть куда забралась. И слышится ей стук топоров и ширканья пил, чего она во все десятилетие не слыхала около шалаша.

Нарушилось спокойствие леса, настало варварское разорение, и все это по милости Машки Оглоблиной, которую она не дальше как прошлым летом, в именины мужа, первого августа, на полянке между шалашом и лесом угощала пивом и пирогом с малиною!..

Вышла она из шалаша и стала смотреть по сторонам. Направо стоят двои дровней, на каждые положено по два длинных бревна; недалеко от них крестьянин в рубахе обчищает бревно от сучков, другой, в полушубке, так и хлещет топором в дерево, которое только как будто вздрагивает немного; третий уже наклал целый воз долготья и все еще накладывает, ругая мальчугана за то, что он еле-еле шевелится; налево стоят трое

дровней, а около них тоже идет потеха... А на том самом месте, где в третьем годе Степанида Власовна нашла много рыжиков, двое — повидимому, мастеровых — пилят за раз две березы...

— Мошенники! Варвары!!. Кто вам дозволил хозяйничать здесь? — прокричала, не помня себя от злости и обиды, Степанида Власовна и подбежала к пильщикам.

Те поглядели на нее, захохотали и ничего не сказали, продолжая свою работу.

— Откуда это явилась? — проговорил крестьянин, увязывающий воз с долготьем.

— Да кто вам позволил, говорю, лес рубить? — кричала Ульянова.

Порубщики захохотали и начали отпускать на ее счет насмешки и сарказмы.

— Да ты-то кто такая? — спросил ее один из порубщиков.

— Не узнали?! Теперь и знать не хотите, а прежде боялись...

— Глядите, баба чья-то с цепи сорвалась!

— Связать ее надо — искусает.

Степанида Власовна разъярилась, но скоро заметила, что чем больше она ругается, тем больше смешит порубщиков, которые нарочно еще старались разозлить ее. Но двое порубщиков знали ее, их очень удивляло присутствие здесь жены Ульянова.

— Послушай! Тебе чего здесь надо? — спросил ее серьезно порубщик, подошедши к ней с угрожающим видом.

— А то и надо, што я не дозволю рубить лес, не дозволю!! — кричала Степанида Власовна.

— Хо-хо! Видно, ноне баб стали приделять в полесовщики? А есть ли у те форма? — начали острить над Ульяновой порубщики.

Степанида Власовна совсем растерялась. Она не знала, что ей еще сказать порубщикам; она даже забыла, зачем она пришла сюда!

— Хорошо! Я не я буду, што не пожалуюсь на вас! — сказала она и пошла домой.

— Свяжемте ее, ребята!

— Пожалуй; штобы худа не было, всамделе?

— Стоит с бабой связываться! Не видите, што ли, што она полоумная. И без нас околеет дорогой.

— Ну, нет. По-моему, надо допросить ее. Эй, тетка, иди-ко сюда!

Степанида Власовна, ускорившая шаги от первых слов порубщиков, теперь остановилась.

— Иди, говорят, сюда. Может, ись хошь?

Степанида Власовна, успокоившись, что порубщики ей ничем не угрожают, подошла к ним.

— Послушай, тетка, ты зачем пришла сюда?

— Я к мужу пришла на кордон...

— Ай, врешь! Твоего мужа, коли он Ульянов, уж нет теперь, и тебе это должно быть известно.

— Связать ее да зашибить!..

— А вот я зачем пришла... Правда ли, што Ульянов продал лес Машке Оглоблиной?

— Мы почем знаем... А тебе што из эвтого?

— А то и дело, што Оглоблиха похваляется этим передо мной.

— Ну, значит, ты дура, што веришь этому.

Порубщики поехали — кто направо, кто налево. Степанида Власовна пошла за возом с дровами и всячески старалась выпытать от порубщика, действительно ли Ульянов продал лес Оглоблиной, но тот отмалчивался.

Пришла она в село, рассказала Пелагее Прохоровне о виденном и заплакала.

— Нет, — говорила она, — я не попущусь! Я пойду к лесничему.

— Чтобы худо не было, мамонька, — сказала дочь.

Однако Степанида Власовна пошла к лесничему и сказала, что ее муж неизвестно куда скрылся. Пришла она на кордон и видит, мужики рубят лес без разбора. Спросила она о муже, те сказали: спроси, говорят, у торговки Марьи Оглоблиной. Теперь, говорят, уже не Ульянов караульщик, а Машка Оглоблина; она нам и лес продала.

Лесничий плохо понял жалобу Ульяновой и через неделю поехал осматривать лес. Потребовал Ульянова; Ульянова не оказалось, а в дистанции его много оказалось порублено лесу. Притянули к суду жену, Степанида Власовна повторила свою жалобу. Потянули и Оглоблину, но та отперлась не только от того, что

давала деньги Ульянову за лес, но и от всякого знакомства с ним. Она говорила:

— Ходить, может быть, он ходил ко мне за калачами, потому ко мне много ходят. А што если его жена приплела меня в это дело, кумовства ради, — так по одной злобе и потому, что-де легче на куму свалить всю беду... А имела ли я право покупать и продавать лес, так это в ее безмозглую голову могла зайти такая дурь.

Завязалось дело: было спрошено множество разных крестьян и мастеровых, но остался по делу виноват один Ульянов, а так как его в селе не было, то у него и описали дом и все его имущество и стали гнать из дома его жену и жильцов. Скоро нашелся и покупатель. Купив дом, он пустил за деньги на квартиру Ульяновых с Мокроносовой и Горюновыми.

Все это обделалось в два месяца после отсутствия Елизара Матвеича, и все в селе говорили, что о продаже дома Ульянова особенно хлопотала вдова Оглоблина за то, что Степанида Власовна не хотела покориться ей, не хотела извиниться перед нею за нанесенные ею Оглоблиной оскорбления.

Можно себе представить гнев госпожи Ульяновой, когда она, вскоре по въезде в ее дом нового хозяина, узнала, что Оглоблина исчезла из села. Ульянова нарочно сходила в ту улицу, где жила Оглоблина, и увидала, что в ее дом въезжает ее племянник из Демьяновского селения.

— Хоть бы узнать мне, куда мой муж спроважен! Уж я пошла бы туда.

Теперь Степанида Власовна казалась помешанною не на шутку: она целый день с утра и до вечера бродила то на промыслах, то на рынке и все выспрашивала: нейдет ли кто на золотые.

IX

Признания Лизаветы Елизаровны

Со времени отъезда Ульянова и Горюнова Пелагея Прохоровна с каждым днем все больше и больше сближалась с Лизаветой Елизаровной. Пока еще был здесь дядя, она могла гордиться им, человеком, попавшим в

уставщики, — значит, имеющим кое-какое значение на промыслах; но теперь, когда дядя исчез, она очутилась совершенно одна с братьями. Но что ей братья? Братья хотят жить сами для себя, и от них не жди помощи. Вон даже когда дядя подарил ей пять рублей, Григорий стал укорять её в том, что ее больше любят, и деньги следовало бы дать не ей, а им. Чтобы отвязаться от братьев, она отдала эти деньги Григорью, который ей за это и спасибо не сказал. Отдала она деньги и стала горевать, ругая себя глупою. «Ведь мне с этими деньгами можно бы было дойти до города!» — думала она на первых порах. Но как она пойдет в город одна, не зная дороги? Еще нападут на нее, ограбят и бог знает что сделают с ней. Другое дело, если бы она была пожилая женщина. Но и не это еще удерживало ее в селе: она дожидалась известия от Короваева. Уйди она из села — и не узнает ничего о Короваеве, о котором она думала теперь больше прежнего, зная, что он любит ее и не хочет жениться на ней зря.

Сознавая, что она здесь чужая, она рада была поговорить с кем-нибудь от души. Но говорить было не с кем, кроме Лизаветы Елизаровны. Лизавета Елизаровна тоже рада была своей соседке и старалась раскрыть перед ней свои тайны, надеясь на то, что она её не выдаст, потому что Пелагея Прохоровна не ищет знакомства с другими женщинами и вообще женщина молчаливая. И они скоро сошлись, понравились друг другу и стали приятельницами. Хотя Пелагея Прохоровна и много странного находила в поведении своей подруги, но приходила к тому заключению, что здешняя жизнь не похожа на заводскую в том отношении, что там девушки до выхода замуж большею частию живут дома, и если знакомятся с парнями, то в церкви, на гуляньях и на вечорках, — здесь же они рано сталкиваются с мужчинами и парнями на промыслах. По промысловым понятиям ничего не было странного в том, если пары заходили слишком далеко и девушка делалась беременною, потому что скоро после беременности она выходила замуж. Но Лизавета Елизаровна не говорила о своей беременности. Однакоже Пелагея Прохоровна стала замечать, что Лизавета Елизаровна дуется на одного парня, который любезничает с черноволосой

невысокой девицей и носит за нее соль, и при этом парне старается оказывать большие ласки Григорью Прохорычу, который от парня получает насмешки и угрозы. Ясно казалось Пелагее Прохоровне, что или парень разобидел чем-нибудь Лизавету Елизаровну, или Лизавета Елизаровна разобидела парня. Пелагее Прохоровне, со свойственной женщинам любознательностию, хотелось расспросить свою подругу об этом, но было неловко начинать прямо, и она только намекала на парня; но та или сердилась, или отмалчивалась.

Дело в том, что Лизавета Елизаровна была гордая девушка. Она требовала, чтобы тот, который любит ее, исполнял малейшие ее капризы: например — уронит она с лестницы платок, Ванька Зубарев должен сходить за ним; нужны ей к празднику сережки — Ванька Зубарев должен купить их, хотя бы и в десять копеек. Ванька Зубарев хороводился с ней полтора года и целый год угождал ей беспрекословно. Сперва, конечно, поломается, поогрызется, но все-таки исполнит приказ Лизаветы Елизаровны. Никто так не мог угодить Лизавете Елизаровне, как он, и зато как было хорошо и весело с ним, особенно летом! Хотя Зубаревы и жили в Демьянове, только Иван Демьяныч работал на Моргуновских промыслах, потому что на них было больше требования на рабочих и плату давали больше на целых десять копеек против Притыкинских промыслов. У него была своя лодка, в которой он каждый летний день переплывал два раза речку Улью и в которой после работы катал и Лизавету Елизаровну. Очень любил Зубарев Лизу Ульянову, и та любила его, как только может любить шестнадцатилетняя промысловая девушка, дочь бедных родителей. Бывало, сидят они ночью в лодке обнявшись, а лодка плывет как попало по течению, и далеко так уплывут они; случалось ворочаться им домой верст из-за пятнадцати, и тогда Зубарев или *пластался* на веслах, или шел бечевой, а Лизавета Елизаровна правила на корме веслом, подсмеиваясь над возлюбленным. Случалось возвращаться им и в грозу, и тогда Лизавета Елизаровна, сидя на берегу с Зубаревым под опрокинутой лодкой, от страха молила всех угодников, каялась в грехах и клялась, что она в последний раз плавает с Зубаревым. На промыслах, само собою разумеется, все

знали про связь Лизаветы Елизаровны с Иваном Зубаревым и не обращали внимания на них, потому что у каждого или у каждой были любовницы или любовники; мать тоже знала, что Зубарев ухаживает за ее дочерью, и, думая по себе, что он на ней женится, не очень бранила ее за поздние возвращения домой; отец же, живя на кордоне, конечно, ничего не знал, а если и замечал отсутствие дочери, то удовлетворялся каким-нибудь ответом своей жены. Все шло хорошо около года, а потом Лизавета Елизаровна стала замечать, что Иван Зубарев стал холоднее с нею, меньше исполнял ее прихоти и капризы. И случилось это с ним с тех пор, как они были в чаще леса, где провели всю ночь с полным удовольствием. Правда, после этого Лизавета Елизаровна сильно привязалась к Ивану Зубареву и в первое время из гордой девушки сделалась до того кроткой, что дозволяла прикрикивать на нее Зубареву, исполняла его приказания; но потом заметила, что Зубарев не только взял над ней верх, но и обращение его с нею стало уже не то: точно она ему надоела. И вот стала она замечать, что Зубарев реже показывается на промыслах, а если и придет, так дожидается, чтобы она его из милости попросила поносить соль. Наконец он ее весьма оскорбил: снес два мешка соли и ушел, а немного погодя стал носить соль за другую девицу.

У Лизаветы Елизаровны, как она увидала это, чуть мешок с солью не свалился с плеч, и она сама не помнит, как она доносила до вечера соль, получила расчет и пришла домой раньше обыкновенного, так что мать ее, не носившая в этот день соли по нездоровью, удивилась и спросила:

— Али Зубарев не был?

Но Лизавета Елизаровна ничего не сказала. Она никак не могла понять поведения Ивана Зубарева. Этот человек так любил ее, так много обещал ей впереди хорошего, обещался после рождества жениться на ней, а как прошел Екатеринин день, вдруг выкидывает с нею такую штуку. Это что-нибудь да значит. Хотелось ей переговорить с Зубаревым, но он целую неделю не являлся на промыслы, а на другой неделе на всех промыслах не было работы для женщин. На третьей неделе об этом парне заметила Лизавете Елизаровне Пелагея

Прохоровна. Тогда Лизавета Елизаровна думала, что Зубарев подойдет к ней, возьмет ее мешок, но он как будто сам хотел, чтобы Лизавета Елизаровна поклонилась ему. Когда Григорий Прохорыч понес за нее соль, хотелось Лизавете Елизаровне поговорить с ним, высказать ему, что она беременна, — но не время было, а вызвать Зубарева в другое место во время рабочее неприлично, потому что таких примеров еще не бывало на промыслах.

Григорий Прохорыч видал девушек и покрасивее Лизаветы Елизаровны; он уже два раза был влюблен и в последний раз даже хотел жениться на любовнице приказчика, у которого он был лакеем; но вместо женитьбы угодил в острог по обвинению его в краже вещей, а его невеста задавилась — не от любви к нему, а не желая более переносить каторжную жизнь. Острог его не испортил, так как он из него скоро был выпущен по просьбе приказчика, имевшего обыкновение прощать всех своих врагов в свои именины, но научил смотреть на жизнь более практически, чем прежде. Еще бывши в остроге, он поклялся не увлекаться *девками*, не слушать ихних любезностей, но, встретившись с Лизаветой Елизаровной, он не мог устоять. Она с первого же дня огорошила его, задев его самолюбие пустяком — неуменьем расколоть сучковатое полено. Столкнувшись на промыслах с женщинами, он, как молодой человек, не мог не вглядываться в них и не вслушиваться в их слова. Как он ни крепился, как ни заключал по-своему, что все эти бабы и девки отчаянные, но кровь в нем волновалась, и ему нравилось употреблять в дело щипки. Не зная никаких отношений между девицею Ульяновою и парнем, погрозившимся обломать ему ноги, он думал, что Лизавета Елизаровна легко ему достанется. Но не так вышло на самом деле. Еще в воскресенье, перед отъездом дяди, он очень разыгрался с Лизаветой Елизаровной, и когда она вышла зачем-то в сени, то догнал ее, обнял, но получил за это такую пощечину, что ему долго было совестно показаться на глаза перед Лизаветой Елизаровной, да и она сама, завидя его во дворе, отворачивалась от него и уходила скорее домой.

Наступило рождество — и прошло весьма скучно в обоих семействах. Лизавета Елизаровна очень редко

захаживала к Горюновым, и то в такое время, когда Григорья Прохорыча не было дома, а Пелагея Прохоровна, узнавшая, что брат ее сделал глупость, и не настаивала на том, чтобы она ходила при брате. Прошли и святки скучно. Прежде, бывало, у Ульяновых перед крещеньем всегда вечорка устроивается, а нынче нет. Прежде отбоя нет от девиц: приходи ради христа на вечорку, — нынче только разве на улице попадется Лизавете Елизаровне девушка и спросит: «А што это ты не была на вечорке? — и тут же прибавляла: — а Ваньку Зубаревского не видала?» Братья, впрочем, ходили на вечорки, ходил и плясал на вечорках и Григорий Прохорыч, только к нему не благоволила ни одна девица, так как у каждой был свой кавалер, и каждый из этих кавалеров старался разругать девицу Ульянову для того, чтобы выжить из компании Гришку Горюнова, как пришлеца. Невесело было Григорью Прохорычу на этих вечорках, чужой он был на них, неприятно ему было слышать, как конфузят и обзывают девицу Ульянову, говоря даже про нее, что потому-де у них в доме, в *приделе* (в новой половине, где жил Григорий Прохорыч), нет вечорки, что Лизка брюхата и любовник ее бросил, так как она горда некстати и с пороком, — но обо всем слышанном там он ничего не говорил сестре.

В крещенский сочельник обе женщины гадали в новой половине. Пришел Григорий Прохорыч; гаданье прекратили.

— Погадайте на меня, — сказал он, подойдя к гадальщицам.

— Не стоишь, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Тебя, што ли, просят! Палагеюшка, погадай!

— Какой ты сегодня ласковый сделался!.. Гадай сам, — сказала Пелагея Прохоровна, отдавая поварешку брату, и обратилась к Лизавете Елизаровне: — пойдем к тебе.

— И я с вами.

— Очень нужно! — сказала Лизавета Елизаровна.

— Важна уж что-то больно стала некстати!.. Послушала бы ты, што говорят-то про тебя!

— Ну, дак што? Язык-то ведь без костей...

Подруги пошли к двери.

— Што мне, околевать, што ли, здесь!

Подруги захохотали и ушли.

Григорий Прохорыч бросил поварешку под лавку, потушил лучину и лег на печь. Брата дома не было: он со Степаном Ульяновым еще не приходил из села. Спать ему не хотелось, и он стал думать, может быть в тысячный раз, о том, как бы ему хорошо было найти где-нибудь клад и потом жениться... жениться на Лизке. Чем больше думал он о девице Ульяновой, тем больше она ему нравилась. Нравилась ему в ней ее гордость, ее речи, труд, и он ставил ее выше первых двух своих любовниц, из которых первая ничего не умела делать, а только хныкала; вторая, живя у приказчика, сделалась барышней и едва ли бы перенесла с ним тяжелую жизнь. А на Лизе жениться хорошо: она будет работать, и он тоже, да и дома строить не нужно. Тут мысли его приняли другой оборот: он находил себя ничтожным человеком в сравнении с Лизаветой Елизаровной; халатишко у него худой, починить его нечем, да и не стоит: станет затягивать нитку — так рвется; полушубка нет, сапоги оборвались, подошвы на них отпадывают, а новые купить не на что, потому что сестрины деньги он издержал по пустякам. «Вот сегодня у одного сапожника я украл шило и дратву выпросил, завтра надо будет починить как-нибудь. Опять кожи нет. Кабы было лето, можно бы где-нибудь найти в грязи или в назьму кусок кожи...»

Вдруг он услыхал стук в стене от Ульяновых. Стал слушать. Еще застучали, и, кажется, сестра произнесла его имя.

— Не пойду! Сам хотел — обругали. А теперь не пойду. Не смейся горох, не лучше бобов! — проговорил про себя Григорий Прохорыч.

Его так и порывало идти к Ульяновым, но и не хотелось ему уступить. «Брюхо толще, так губа тоньше», — сказал сам себе Григорий Прохорыч и решил не идти, хотя бы они там все кулаки об стену отбили. Однако он не утерпел, слез с печки и, подошедши к стене, наставил левое ухо, чтобы услыхать оттуда что-нибудь, но стена была бревенчатая; он слышал, что кто-то говорил, — и вдруг захохотали, сперва Ульянова девица, потом его сестра.

«Это они надо мной смеются».

Опять смех.

«А черт с ними!.. Нечего мне там делать...»

И Григорий Прохорыч лег на печь, но лежать было скучно, хотелось идти; он злился и на себя, и на Лизавету Елизаровну, и на сестру.

Пришла сестра.

— Ты што же не пришел? — спросила она брата.

— Очень нужно.

— Ну, брюхо толще, так губа тоньше.

— Послушай, Палагея, што это она надо мной издевается?

— Кто?

— Кто?! Лизка!

— Да и как не издеваться над дураком. Зачем ты ее в сенях-то обхватил?

Григорий Прохорыч замолчал. Теперь ему стало понятно, что сестра его стала приятельницей Лизаветы Елизаровны.

— А што, Палагея, как ты думаешь, пойдет она за меня? — спросил вдруг брат сестру, когда та уже стала засыпать.

— Выдумывай.

— Нет, всамделе!

— Спи-ко лучше. Скоро утро.

Легли спать. Пелагея Прохоровна заснула скоро, но Григорий Прохорыч не мог заснуть. Утром брат и сестра молчали: брат стыдился сестры, сестра что-то обдумывала. Григорий Прохорыч уселся за сапог около окна, повертел его: починить без кожи нельзя — как ни верти, а нужна заплата.

— Поговоришь? — сказал вдруг дрожащим голосом брат сестре. Щеки его покраснели.

— И што ты это выдумал, брат! Какая она тебя ровня?

— А тебе што за ровня?

— Я другое дело... Говори сам... это твое дело.

— Как я буду говорить, коли она такая фря...

После обеда Пелагея Прохоровна зазвала к себе Лизавету Елизаровну. Лизавете Елизаровне, вероятно, уже было известно о намерении Григорья Прохорыча, потому что она поклонилась ему неловко, щеки покраснели более обыкновенного и голос ее был неровный.

Стали играть в карты. Все молчали. Каждый хотел что-то начать, но что-то удерживало.

Наконец первая начала Лизавета Елизаровна.

— Какие нынче женихи-то молчаливые... — проговорила она, сдавая карты, как бы про себя.

Григорий Прохорыч покраснел как рак и не знал, что ему делать: сидеть или бежать?

Минут пять никто не промолвил слова.

— Женишок! Што же ты молчишь? — сказала вдруг Лизавета Елизаровна.

— Я... — сказал Григорий Прохорыч, вздрогнув.

Обе женщины захохотали.

— Хорош же ты будешь муженек, нечего сказать... Однако, Григорий Прохорыч, позвольте вас спросить: какие вы имеете на меня виды? — сказала уже серьезно Лизавета Елизаровна.

— Лизавета Елизаровна...

— Убирайся!!.

И Лизавета Елизаровна, бросив карты, ушла от Пелагеи Прохоровны.

— Поди к ней, пока матери нет дома, — сказала сестра брату.

Брат послушался сестры.

Когда он пришел к Ульяновым, Лизавета Елизаровна, сидя у пялец, плакала и, казалось, не заметила вошедшего Горюнова, который остановился в дверях и не смел тронуться дальше.

— Лиза! — сказал он.

Лизавета Елизаровна вздрогнула.

— Зачем ты пришел? — крикнула она.

— Лизавета Елизаровна!.. Я люблю тебя.

Лизавета Елизаровна захохотала.

Григорий Прохорыч подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Она не сопротивлялась, но плакала.

— Голубчик Гриша! Ты мне нравишься... Но...

— Лизанька!.. — говорил Горюнов, прижимая Лизавету Елизаровну.

— Гриша!.. Я не хочу тебя обманывать... — говорила, рыдая, Лизавета Елизаровна.

— У! Дура! Ее целуют, а она плачет! Лиза, не смей плакать!.. — говорил шутя Григорий Прохорыч, утирая слезы с глаз и щек Лизаветы Елизаровны.

Лизавета Елизаровна боролась сама с собой, наконец встала и сказала:

— Подумал ли ты о том, што про меня говорят на промыслах и на вечорках?

— Што?

— Ты веришь тому, што говорят про меня?

— Нет.

— Так я тебе скажу: што про меня говорят — верно... Я говорю тебе потому, штобы ты знал и после не каялся, што я обманула тебя... Одна голова не бедна!.. Я себя с ребенком прокормлю как-нибудь, зато меня никто не укорит.

Григорий Прохорыч стоял как оплеванный. Он не знал, шутит с ним Лизавета Елизаровна или говорит правду.

— Али ты не веришь моим словам? Поди спроси свою-то сестру, мне от нее нечего таить, да и тебя я не боюсь. Подумай-ко лучше о том, хорошо ли жениться на девушке с накладом?.. Хорошо ли получить в приданое ребенка?

Григорий Прохорыч стоял пораженный, не зная, что сказать.

Лизавета Елизаровна села за пяльцы, нагнулась и закрыла лицо руками. С четверть часа она сидела в таком положении, и когда открыла лицо, то увидала, что Григорий Прохорыч все еще стоял, разглядывая свою фуражку.

— Не веришь? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Обманула ты меня... Тяжко ты меня обманула! — сказал он со вздохом.

— Я тебя не завлекала; ты добровольно носил за меня соль.

Григорий Прохорыч вышел. Пришедши домой, он швырнул в угол фуражку и сказал сестре:

— И тебе не стыдно!.. Будто я пятилетний ребенок, штобы меня так дурачить. Свиньи!

— Што, — верно, губа-то не дура!

— Молчи! Убью!!!

— Дурак!.. Только вы, мужчины, и хороши. Припомни-ко, не лебезил ли ты около Горбуновой.

— У-у!!. Зме-я!.. — проговорил со злостью Григорий Прохорыч и, отыскав фуражку, вышел из избы.

X

Промысловый суд

Григорья Прохорыча ужасно разобидело то обстоятельство, что он влюбился в такую девушку, которая уже беременна. «Двух девок я любил, а такой штуки со мной не случалось... Хорошо еще, что она сама сказала», — думал он. Он теперь целые сутки терся на промыслах и терпеливо сносил насмешки молодых рабочих, которые смеялись над тем, что пришлец Гришка Горюнов хочет жениться на бывшей любовнице Ваньки Зубарева, и когда уж его выводили из терпения, он кричал, что они напрасно чешут языки, потому что он не дурак и даже не живет в ульяновском доме. Рабочие, видя, что Горюнов живет безвыходно на промыслах, даже на рынок не ходит, а покупает хлеб у торговок, приносящих хлеб на промысла, удивлялись его терпению и в то же время говорили, что Горюнова, вероятно, отщелкала Лизка Ульянова. Словом, Горюнову казалось, что рабочие всячески старались разбесить его. Все шло в таком порядке целую неделю, до тех пор, пока не открылось на варницах солоношение. К этому времени редкий холостой рабочий не знал о пороке Лизаветы Ульяновой, а знали все об этом от Марьи Оглоблиной.

Явились на промысла женщины, по обыкновению явились и мужчины, для того чтобы или пошалить, или самим попасть в работу с женщинами. Все голосили о семействе Ульяновых, и теперь было меньше спора о том, чтобы мужчины не работали с женщинами, потому что каждой хотелось узнать дело во всей подробности и выслушать мнение мужчин — и затем поругать мужчин за нанесенное женскому полу оскорбление.

Говоры шли разные по этому делу.

— Я давно замечала, што Лиза беременна, да молчала, — потому не мое дело.

— Потому, мол, сама беременна.

— Сука, дак сука и есть!..

— Не правду, што ли, говорю! Скрывать-то, матушка, нечего. Ты знаешь пословицу: отец да мать не знают, а весь мир знает. Вот што! А вот это надо рассудить, што Лизка теперь?

— Не видать ее. Поди, не явится.

— Стыдно.

— Ну, она не такая!

— Слышала? заводской Гришка за нее сватался!

— Слышала, да што-то он, говорят, все здесь живет. Должно быть, как узнал в чем дело, то и на попятный.

— Смотрите, бабы и девки: заводского Гришку Горюнова в компанью не принимать.

— Тебе не надо, не принимай.

— Отсох бы у те язык-то. Говорят, Гришка этот зубаревскому примеру последовал!

— Сама первая, смотри, не бросься ему на шею.

— Славу богу, еще в рассудке.

— Вас слушать надо уши зажавши. Правду говорит пословица: две бабы — рынок, а три — так ярмонка.

— Известно: много голку, да мало толку!..

— Не суй перста в рот, — пожалуй, откусишь... А вы вот што скажите, умные головы: дело ли это — обмануть девку?

— Што ж такое! Мы пример с бар берем. Коли бара обманывают, нам и подавно можно.

— Не слушайте его, дурака. От него никогда не дождешься доброго слова.

— Зачем не дождаться. Кричать-то только не для чего: известно, немного попето, да навек надето.

— Хорошо. Теперь ты скажи: не обидно ли девке, если ее обманывают?

— А как же мужья-то умирают?

— Што с дураком и говорить!.. Осел, так осел и есть. Ты бы то подумал: што бы ты сказал, если бы твоя дочь родила?

— Я бы ее взашей!

— То-то и есть, чужое страхом огорожено; в чужих руках ломоть велик... Ох, вы! Ну, не мужское ли это дело — пристать за баб? Ведь вы с начальством-то хороводитесь, а не бабы.

— Поди сунься, так двадцать пять и запросит.

Пришла Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной. Все, как увидали ее, смолкли.

— Што-то не видать тебя давно, Елизаровна? С новой подругой спозналась, нас и знать не хочешь? Али замуж скоро выходишь? — кричали ближние женщины.

— Это уж мое дело! Лучше дома сидеть, чем слушать выкомуры.

— То-то, женишка-то нового и подсылала подслушивать. . .

— Какого женишка?

— А Гришку-то.

— С чего вы взяли, што он мне жених? И не стыдно вам говорить-то! .. По себе, видно, судите. . .

— Хотела, видно, обмануть молодца, да не на таковского напала.

— Хоть бы не ты говорила, Офимья! .. Не тебя ли стыдили в прошлом годе! .. Я молчу. И какое вам дело, бабы, до меня? Экая важность, што я беременна! Будто уж девке и родить нельзя! Будто и за вами нет грехов. . . Я знаю, што делаю.

— Бесстыдница, так бесстыдница и есть! Ты бы мужчин-то постыдилась.

— Нечего мне их бояться. Один из них хотел же на мне жениться, не дальше, как в крещенье, в ногах у меня валялся, а как я сказала ему, што я... ну, он и драло.

Женщины молчали.

— Это не заводской ли Гришка? — спросил мужчина.

— Ну, хоть бы и он, так вам-то што?

— Славно он нарезался.

Женщины вооружились против мужчин; мужчины доказывали, что никому неохота жениться на беременной, и стояли больше за свою братью. Но теперь все были вооружены против Ивана Зубарева. Все грозились, как только он покажется на промыслах, свернуть ему голову; но Лизавета Елизаровна упросила не делать ему никакого вреда, потому что не стоит из-за него быть в ответе, а лучше сказать ему, чтобы он не смел больше показываться на промыслах; приневоливать же его жениться на ней не надо, потому что он ей теперь противен.

Тем разговоры и кончились. Начали носить соль, и об утреннем разговоре никто не заводил речи, даже не говорили и о том, что Горюнов при входе женщин в варницу ушел, не поклонившись ни сестре, ни Лизавете Елизаровне. Хотя же сестра и спросила Панфила, куда ушел брат, но он ничего не мог сказать положительного. Григорий Прохорыч ушел в другие варницы. Он дал себе

слово всячески стараться избегать встречи с Лизаветой Елизаровной, которую он любил, обнимал и которая так жестоко оскорбила его.

В полдень показался на промыслах Иван Зубарев. Он нерешительно шел к варнице, то и дело оглядываясь и озираясь по сторонам, как будто боялся, чтобы его не зашибли откуда-нибудь поленом. Он дошел благополучно до варницы, вошел в нее, постоял немного и подошел к одной девице, за которую в последнее время носил соль.

Та обругала его, упрекнула Ульяновой.

— Не хочешь ли ты и со мной такую же штуку сделать, как с ней? — сказала она и ушла.

— Гляди, бабы, — Зубарев! — начала Лизавета Елизаровна: — стоит, как оплеванный! На него никто и внимания не обращает, а он стоит... Спросите, чево ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающий вид.

— Лучше уходи добром в свое село. Нам ты теперь, после твоих пакостей, не товарищ, — сказала одна девица.

Парни окружили Зубарева.

— Не троньте его!.. Я больше вас имею права бить его, да не хочу рук марать об этакую гадину... Посмотрим, удастся ли ему еще надуть такую дуру, как я, — проговорила Лизавета Елизаровна.

— Посмотрим: кто возьмет тебя замуж! — крикнул Зубарев.

Все заголосили, парни начали бить Зубарева, но Лизавета Елизаровна уняла их. Зубарев ушел, освистанный и обруганный.

— Теперь уж он и близко не подойдет к нашим промыслам, — говорили женщины, довольные своею храбростью.

— Ну, и нашим на Демьяновском не совсем ловко будет теперь, — проговорили парни.

О Зубареве можно сказать не много. Он был сын бедных родителей. Сперва он увлекся и полюбил девушку искренно. Но когда заметил, что она беременна, он ужаснулся своего поступка, думая, что его заставят жениться на Ульяновой, а отец выгонит его из дома. Он очень хорошо знал правила промысловых обычаев, что парень

или мужчина, давший обещание девушке жениться на ней, должен был исполнить его, если она беременна от него. Отговорки не принимались. Лизавету Елизаровну он знал хорошо, но ему было неловко сказать ей, что ему не нравится ее беременность, и он стал думать, нельзя ли как-нибудь выпутаться из этого дела. Объяснил он это дело своей замужней сестре, сказав ей, что его невеста беременна, но, может быть, и не от него. Та посоветовала ему ходить пореже на Моргуновские промыслы, ревновать невесту к кому-нибудь. По ее совету и действовал Зубарев. После двухнедельного отсутствия он заметил, что за Лизавету Елизаровну носит соль другой парень, и этого было достаточно ему, чтобы заподозрить ее в неверности. Он не взялся помогать Лизавете Елизаровне и даже не поговорил с ней. Но он любил ее, ему жалко было ее, ему хотелось поговорить с ней; но гордость и подозрение, что она действительно, может быть, променяла его на заводского парня, удерживали его, да он и радовался, что на место его подвернулся другой парень. В этот день он шел на Моргуновские промыслы за тем, чтобы сказать Лизавете Елизаровне, что он давно следил за ней и узнал, что она ветреная, почему он с нею и не хочет быть больше знаком.

XI

Материн сын

После этого события случилось то, что дом Ульяновых перешел во владение приписного Онуфриева, который до той поры не имел своего дома. Его нельзя было никак уговорить, чтобы он пообождал немного въезжать в дом. Он ничего не хотел слушать и очень скоро перетащился со своим семейством, состоявшим из жены, сестры и пятерых детей, в старую половину, то есть в ту, где жили Ульяновы, потому что она была поместительнее новой, так как в ней была изба и комната. Новую половину он отдал в распоряжение Ульяновых с платою ему в месяц пятнадцати копеек и с тем, чтобы Ульяновы таскали на семейство Онуфриевых воду. Итак, Ульяновы поместились в новой половине с Пелагеей Прохоровной и ее братом Панфилом.

Теперь все хозяйство осталось на руках Лизаветы Елизаровны, которая никак не хотела, чтобы Пелагея Прохоровна считала себя хозяйкою. Степанида Власовна теперь совсем переменилась. Раньше она была строгою хозяйкою, требовала, чтобы у нее все было исправно, чисто, все лежало на своем месте; прежде рано истапливалась печь, рано испекались хлебы, и остальное время было занято или пряжею, или вязаньем, или тканьем. Теперь же, считая себя более прежнего обиженною и оскорбленною, она и в дочери, и в сыновьях, и в маленькой девочке подозревала врагов. Вставала она рано, будила всех рано и начинала ворчать, что ее все обидели, ни от кого ей нет почету, никто ее не хочет слушать.

— Да кто тебя, мамонька, не слушает? Все мы тебя любим, — скажет Лизавета Елизаровна.

— Это и видно. Я што говорила: не топи печь — дров нет...

— Это уж не твое дело. Не ты заботишься о дровах-то.

— Ну, вот! Я стала теперь не хозяйка в своем доме?.. То бишь выгнали... — И начинала она разводить историю о том, как она, по милости злых людей и неповиновения детей, дошла до такой бедности.

Выйдет Лизавета Елизаровна к корове. Корова тощая, есть хочет, а сена нет, купить не на что, украсть совестно, потому что и так уже сколько дней пробавлялись чужим сеном. Просто мука с одной этой коровой!.. Кабы она молока не давала — господь бы с ней... И ночь-то спокойно не заснешь; проснешься — корова на ум: «Как бы ее прокормить сегодня, как бы украсть где сена...» Думает-думает Лизавета Елизаровна — и полезет на поломанную телегу к соседнему сараю, засунет в щелку руку, пошарит-пошарит — труха одна. И хорошо еще, что никого сегодня нет там во дворе, а то ей не один раз уже приводилось слышать: «И какой это черт сено ворует? Сколько было сена — одна труха только теперь. Уж поймаю же я кого-нибудь из Ульяновых, штоб у них отсохли руки!..»

— Мамонька! Уж продать бы, што ли, корову-то! Нечего ей есть-то.

— Ну, вот! все я виновата во всем... Нет уж, околею я, а корову не продам.

Делать нечего, пойдет Лизавета Елизаровна к соседям, кои подобрее, кои прежде побирались у Ульяновых. И чего, чего только она не выслушает от них? От одних слов убежал бы человек... Но не поколевать же корове из-за людских неприятностей? «Пусть говорят что хотят, пусть конфузят и страмят нас как хочут, — все снесу, только бы дали сена...» Зато как рада, с каким восторгом несет домой Лизавета Елизаровна охапку сена, точно она несет несметные сокровища... Зато во всем околодке про нее стали говорить: «Ни у кого нет такого бесстыдства, как у Лизки Ульяновой. Известно, отпетая... Ведь знает, что у нас не горы золота, а лезет, и только уж по человечеству жалко и животинку: потому чем бедная коровенка виновата, что ее морят голодом...»

А Степанида Власовна не понимала всего этого. И много, много было таких недостатков, через которые почти на каждом шагу приводилось получать Лизавете Елизаровне неприятности. Мать же если и сидела иногда целый день дома за пряжей или тканьем, то от нее житья не было: все ворчит и говорит вздор, а уйти некуда; да и когда мать дома, нужно больше хлеба; мать требует щей, а если Лизавета Елизаровна говорит ей, что у них семья большая, дай бы бог, чтобы на всех до лета картофеля да свеклы хватило, так она начинает укорять ее женихом:

— Небось, брюхо нажила, а женишку поблажку дала!.. Нет, мы не так прежде делывали.

— Хоть бы ты этого-то не говорила, мать! — взъестся Лизавета Елизаровна.

— Как я тебя начну щепать! Ты разве не моя дочь? Не я тебя вспоила, вскормила, на ноги поставила? Ну, дура же я была, што не швырнула с полатей тебя... Только бросить, мокренько бы стало.

— Мамонька! Да чем же я виновата?

— А! Теперь — дак чем виновата! Нет, матушка: коли кататься любишь, люби и саночки возить... Изволь теперь кормить меня.

«Мать права, — думает Лизавета Елизаровна. — Чем в самом деле она виновата, што я беременна? Какая

мать в состоянии уберечь свою дочь на промыслах?.. Вот теперь я знаю, што от такого баловства можно нажить горе на всю жизнь, а тогда я и верить этому не хотела, потому что молода еще очень была... Если мать и ругала меня, я думала, она зла мне желает. А все же и она виновата: отчего бы матери лаской да с любовью не научить девчонку, как действовать, если парень умасливает девку? Отчего не сказать: бойся, мол, мила дочка, парней и до тех пор, как парень не женится на тебе, не спи с ним... Чем виновата мать, что у нас такая бедность? Ведь знает она, што ни я, ни Степан не сидим без дела, и все-таки наших денег не хватает на неделю. Чем и отец виноват был, если у него доходов не стало... И зачем она всю вину теперь на меня сваливает, зачем сама об своих детях не заботится?»

Семейство отдыхало, когда Степаниды Власовны не было дома. Но и в это время у Лизаветы Елизаровны щемило сердце. «Лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про нас». И действительно, Степанида Власовна ходила не за делом, не для работы, а так, бог знает зачем. На нее нашла апатия; делать ей ничего не хотелось; при виде знакомых она горячилась, подозревая их в отравлении ее, мужа ее и ее семейства... На улице, в домах, куда ее принимали из жалости, она не могла найти себе покоя. Дома ей было душно; ее семейство давило ее. И вот она стала попивать водку, и так крепко, что на нее уже нечего было надеяться.

Панфил жил очень дружно с Степаном. Хотя же они и ссорились часто, потому что во многом не сходились друг с другом, и дрались частенько из-за того, что который-нибудь из них воровал у друга кусок хлеба, надевал ботинки или фуражку, но если не было дома одного, другой скучал. Степан работал на вороту, то есть погонял лошадей, и за это получал платы за день десять копеек. Случалось, что он от устатка сваливался и сладко засыпал, но за это его колотили без пощады, не считая еще его за человека. Такая работа, впрочем, не всегда бывала, да и она мальчику очень надоедала, и поэтому он с охотою шел в варницы, и если там за броску дров в печь, за складку дров в поленницу или очистку снега

откуда-нибудь на промыслах — ничего не давали, то он все-таки днем не шел домой, потому что ему дома бывало скучно, он отвыкал уже мало-помалу от дома и считал себя большим человеком, почему и не любил, чтобы его дома ругали. Поэтому часто случалось, что или Степан прибежит к Панфилу покурить табачку, погреться, или Панфил к Степану убежит от рабочих, которые за что-нибудь хотят бить его, или просто покалякать со скуки. А у Панфила новостей или рассказов было больше, потому что он терся с людьми, а Степан только около лошадей.

Раз Панфил приходит к Степану, который от нечего делать изощрялся попасть хворостиной в глаза которой-нибудь из лошадей. Увидя Панфила, Степан бросил хворостину и подошел к нему. Лошади стали.

— Слышь, Степка, што мужики говорят: мы напрасно деньги-то отдаем дома.

— А им што за дело?

— Вы, говорят, дураки, уж не маленькие теперь. Сколько, говорят, вы ни принесете, всё возьмут, а вам ничего не отдадут. Не надо, говорят, отдавать деньги. Лучше, говорят, на сапоги копить.

— Дурень! как не отдать-то?

— А ты возьми и не отдай — не дали, мол... Я дак не отдам, потому сестра сама большая. Сама замужем была, и я ей больше не помощник. Вон Гриша тоже не живет с нами. А мы, Степка, на квартиру пойдем.

Степан ничего не сказал. Он задумался. Слова Панфила его точно ошпарили; он, вытараща глаза, смотрел на метелку — и долго простоял в таком положении, до тех пор, пока не вывела его из оцепенения одна лошадь, начавшая чихать. Панфила уже не было в насосе.

Степан был совсем сбит с толку своим приятелем. Находясь постоянно среди рабочих и считая себя тоже рабочим, только еще небольшим, он понимал все, что творилось вокруг него; но он был в таком возрасте, в котором легко подчиняются влиянию товарищей и взрослых. Свое ничтожество перед взрослыми он сознавал из того, что он не имел такой силы, как взрослые; взрослый легко мог стиснуть ему руку так, что он чувствовал сильнейшую боль; на многие слова он не мог ничего отвечать; не мог многого сделать так, как делают взрослые: взрос-

лые ругали его мальчишкою, не дозволяли ему дотрогиваться до таких вещей, до которых ему не следовало дотрогиваться, умеряли его любопытство, толкали его оттуда, где ему, по его летам, быть не следовало, теребили за уши, если он забирался в кабак и тянул из рюмки водку. Поэтому, отстраняемый всюду, даже в церкви, на задний план, он всячески старался добиться того, от чего его отстраняли, и старался во всем подражать взрослым, для того чтобы его не считали мальчишкою. Вообще ему, промысловому мальчику, приходилось переносить много, и надо удивляться живучести его натуры.

В отце Степан видел домохозяина, главу, но он его нисколько не боялся, потому что его не боялась мать, которая, как он понимал, держала отца в ежовых рукавицах. От рабочих он слышал, что его отец *мокрая курица,* которую мать его может загнать куда угодно. Кроме этого, он слыхал от брата, что он незаконный сын, что отец его другой, и поэтому он не имел особенной любви к отцу, относясь к нему как к хозяину. Мать была для него не то: он ее всегда видел дома, мать одевала его, давала есть, кричала на него и колотила его, когда он ее не слушался. Степан не боялся посторонних людей, которые его бранили и били; а мать скажет слово — он боится, чтобы она его не ударила, а станет огрызаться, ему же достанется. Из ее разговоров он понимал, что мать если работает на промыслах, прядет куделю, ходит куда-нибудь, то все это она делает для детей. Но, видя, как рабочие обращаются с пожилыми женщинами на промыслах, он все-таки сознавал, что женщина не мужчина, ее власть над ним нейдет дальше ее дома и что поэтому мать его только в своем семействе имеет верх над детьми, но на промыслах существо довольно слабое, ничем не рознящееся от других женщин, с которыми кто хочет, тот и заигрывает, которых кто хочет, тот и обругает. Все-таки он свою мать уважал, и если кто при нем говорил про нее нехорошо или ругал ее, он заступался за нее, что очень смешило молодых рабочих. И соседи говорили, что у Ульяновых из детей только один Степка покорный, который со всех ног бежит туда, куда пошлет мать, и относили его к тому, что он был любимец Степаниды Власовны. Знакомые Степаниды Власовны говорили, что Степан походит лицом и манерами на нее.

И действительно, Степан, вымывшись в бане и принарядившись, казался очень красивым мальчиком. В характере его было много женственности, и он был мальчик, как говорили девушки, *завидущий*. Но однако, несмотря на то, что зависть свою он проявлял перед всеми родными и любил поесть сладкого, он каждую копейку отдавал матери, и если покупал пряник, то не знал, что ему соврать матери, которая знала, сколько Степан получает заработка. Так было до отъезда отца. При прощании в его голову врезались непонятные слова родителей и сестры; он заметил, что в семействе что-то от него скрывают. Он долго думал об этой сцене и ничего не мог выдумать, а пришел только к тому заключению, что его отец человек нехороший, сестра тоже нехорошая, потому что она что-то сделала нехорошее, коли плакала. Но отчего, спрашивается, ушел отец? Отчего он его не взял с собой, если на золотых хорошо? Отчего отец плакал и все плакали, когда прощались с ним?.. Уж не обидел ли кто его отца? Думал Степан и старался подслушать, что про него говорят рабочие. Из этих подслушиваний он узнал, что его мать ругают все мужчины за то, что она сама не умела беречь деньги, когда отец имел большие доходы; что не трать она деньги на угощения своих любовников, Елизар Матвеич не сидел бы понапрасну три года в лесу без дела, а мог бы заняться торговлей; что от такой сварливой жены поневоле побежишь куда-нибудь. И много-много Степан услыхал от рабочих. Горько ему было, плакал он, что обижают его мать, и при первом же случае хотел пожаловаться ей, но в первые дни мать была очень сердита, к ней нельзя было и подступиться, ругала его, гнала вон, говоря, что теперь ей и самой нечего жрать, не только что кормить еще такую ораву.

— А, мамонька, мои деньги... — сказал Степан, думая, что он этим угодит матери.

— Ты што меня коришь своими-то деньгами? Ах ты, мерзавец! Он только што в работу поступил, а уж начал укорять меня, што я на его деньги живу.

Долго ругалась мать и даже побила Степана в этот день. Степана это разобидело. Ему думалось, что матери не жалко его. Она не понимает того, как ему тяжело на работе.

Мать день ото дня становилась сердитее; если сын отдавал ей деньги, она ругала его, зачем он мало принес, что он, вероятно, сошелся с мошенниками, которые обирают его. Станет возражать Степан, мать так крикнет на него, что он вздрогнет и не найдется, что сказать.

Крепко стал Степан подумывать о том, как бы угодить матери. Прежде мать по голове его гладила, когда отдавал он ей недельный заработок, кормила его досыта; если что пекла сладкое, то сама не попробует, а даст ему; теперь бьет за то, что он мало носит денег, хотя он теперь целыми двумя копейками получает больше прежнего, сладкого ничего нет, да и хлеб даже покупает с рынка. Прежде мать заботилась: нет ли на халатишке дыры, целы ли у него ботинки; теперь все разваливается, мать не спрашивает, а поди-ко сунься к ней, когда она все ворчит! Хорошо еще, что сестра кое-как заштопает. О Лизавете Елизаровне он тоже был дурного мнения, но она в последнее время стала ему больше нравиться, потому что она с ним разговаривала, играла с ним в карты, расспрашивала его, кормила и заштопывала дыры на халатишке и на ботинках; когда сестры и Пелагеи Прохоровны не было дома, туда хоть не показывайся: ни корки оглоданной не найдешь нигде. Кроме этого, ему нравилось то, что она отказалась быть женою Григорья Прохорыча, которого он терпеть не мог за его хвастовство и надменность.

Степану мало приводилось работать с рабочими. Он больше находился в насосе около лошадей, один или с каким-нибудь рабочим, который больше молчал. В таком уединении у него много было времени думать, к тому же он не был охотником петь один песни. И он думал много. Но главною его думою ежедневно было о том, что будет из него, когда он сделается богачом, и каким образом ему достичь до того, чтобы сделаться богатым человеком? Все это он развивал на разные лады; каждый новый предмет давал ему тему для новых дум. Летом он думал, что найдет деньги под лодкой, в которой он или кто-нибудь перевозил состоятельного человека через реку; на эти деньги он завел бы несколько лодок, в которых его семейство стало бы перевозить весной людей через реку дешевле, чем берут на перевозе, и таким образом нажил бы много денег и из них половину брал бы

себе, а половину отдавал матери — и т. д. Зимой он думал: хорошо бы заработать деньги на лошадь, которую бы можно было запрячь в ворот, и тогда он стал бы получать платы по четвертаку в день, по праздникам бы стал на этой лошади возить дрова на варницы и мало-помалу разжился бы — и т. д. И чем больше казалась ему невыносимою брань, тем больше он проводил время в думах о багатстве и даже мало спал по ночам. А тут еще новое горе: промысловая Варька, пятнадцатилетняя девушка, с которой он с трехлетнего возраста играл вместе, стала ему нравиться более прежнего. Варьки он стал почему-то бояться и при мысли о ней по всему телу чувствовал что-то приятное: так вот и хочется видеть ее, сидеть с ней и смотреть на нее. Уж он ее раз обнял в чулане, да она его так оттолкнула, что он сильно ушиб об косяк левый локоть. А как раз обнял да получил толчок, захотелось и в другой раз, только она сказала:

— Не стоишь! Подари мне платок с картинкой, так я тебе позволю обнимать меня часто. Тогда и я тебе варежки подарю.

Задумался Степан крепко над словами своего приятеля. «В самом деле, — думал он: — если я не стану отдавать денег матери или сестре, я накоплю денег. Куплю себе ботинки, Варьке платок; Варька мне подарит варежки и чулки». Но как это сделать? Что сказать матери, куда деньги спрятать?

По окончании работы он зашел за Горюновым в варницу, тот уже спал. Ульянов разбудил его.

— Не пойду. Гришка вон тоже не ходит, и я не пойду. Не ходи и ты, коли хочешь быть мне товарищем, — сказал Панфил Степану.

В первый раз пришлось Степану ночевать в варнице. Случалось ему спать и в шалаше у отца, и в лесу, и на берегу реки, зато он спал там в виду матери или с разрешения ее; теперь же ему пришлось покидать мать и сестру по своему капризу. Но отстать от Панфила ему не хотелось; рабочие говорили: где Степке спать в варнице, он ни на шаг не может отойти от матери и спит на перине. Степан лег к Панфилу, но долго ворочался с боку на бок, и если бы не ночь, то давно убежал бы домой.

На другой день ему было очень скучно об матери, и он боялся теперь показаться ей. Чем больше он думал

о своем поступке, тем больше находил себя неправым, потому что никто, кроме матери, так не любил его раньше. А если теперь она не любит, то, может быть, это недолго будет продолжаться. Вечером Степан направился домой, но Панфил попался ему навстречу. Он нес на веревочке двух налимов.

— Степка! Иди уху хлебать!.. Славная будет уха, с луком, с перцем... Славно будет! Гуляй, Степка!!.

У Степки слюни текли от желания похлебать ухи; ему слышался запах рыбьего навара. Он уже с покрова не едал рыбы. Тогда мать пекла пирог с сигами, а об налимах он только слыхал, что они хороши. И он пошел за Панфилом.

Панфил Горюнов справлял сегодня свое вступление в товарищество рабочих. Хотя рабочие и не считали его за большого рабочего, но так как он работал наравне с ними, то же, что и они, то они и не гнушались с ним водить компанию, обедать вместе — и в некоторых случаях даже *затыкались* им, то есть просили его в случае отсутствия товарища заменить того, за что он, кроме спасиба, пока ничего не получал. Товарищество состояло в том, чтобы работать вместе, в случае утайки кем-либо какой-нибудь промысловой вещи всем молчать, хотя бы при этой утайке не было произведено между товарищами никакого дележа, не выдавать товарища, если он почему-нибудь ушел из варницы с полдня или с полночи, а требовать, чтобы ему была положена плата, как и всем, за полное число урочного времени. Товарищество составляли большею частью друзья, и поэтому в компанию к ним попасть было нелегко. Панфил же попал потому, что он был мальчик бойкий, *вострый* на словах, умел угодить всем, раза два уже обругал смотрителя, и тот ничего не сделал за это мальчишке, потому что не нашел, что возразить на его резкие замечания. Особенно же рабочим нравилось в Горюнове то, что он отказался жить с сестрой и, стало быть, будет иметь деньги, которыми легко можно будет им позаимствоваться от него. Рыбу же Панфил достал довольно смело. Напротив амбара, недалеко от берега, он заметил утром какого-то мужчину, вытаскивающего из маленькой проруби палку, потом какую-то плетушку. Это его заняло. Он подошел к нему и узнал, что мужчина становит морды и снасти,

которыми ловят рыбу. Вот вечером Панфил и пошел ловить рыбу. Морду он не мог поднять, а бечевка с вершковыми крючками была так велика, что он ее едва на четверть вытащил из дыры. И тут с ним чуть не случилась беда: один крючок зацепил за халат, его стало тянуть к дыре; ладно, что он ножик взял с собой и обрезал бечевку, — и потом схватил бечевку с налимами, пустился бегом к варницам, потому что услыхал недалеко от себя крик рыболова, который хотел его побить. На промыслах он был в безопасности, потому что туда рыболов идти побоялся бы.

Уху хвалили все, несмотря на то, что к ней недоставало водки. Степан ел с жадностию, и после ужина у него прошла охота идти домой.

Так прошло до субботы. В субботу утром ребята задумались: где им выпариться и где провести воскресенье? Утром Панфил высказал это затруднение товарищам. Те тоже призадумались.

— В бане выпариться беспременно надо, и рубаху надо тоже попарить, да вымыть надо... У нас-то нету бань, сами паримся где попало, а вам, ребятишкам, и подавно негде... Мы, пожалуй, с собой возьмем, только куды после бани вам деваться? Ведь не все же на промыслах быть? Ведь бывает же и свинье праздник...

Так рабочие вопрос о том, где провести ребятам праздник, ничем не решили.

В субботу была работа и женщинам на промыслах. Как водится, там были Лизавета Елизаровна с матерью и Пелагея Прохоровна. Степанида Власовна проработала немного и пошла разыскивать сына.

— Варвар! В добрую землю, видно, вошел! — кричала она на Степана.

Степан молчал.

— С этаких лет от дому стал лытать (бегать)! Где ты был?

— Здесь!

— Врешь! Не поверю!

— Я, мамонька, не пойду больше домой. Мне и здесь хорошо.

Мать разразилась ругательством, но на нее прикрикнул рабочий:

— Што кричишь-то! Только парня-то от дела отнимаешь. И так уж чуть не все жилы из него вытянула, — проговорил он вслух и оттолкнул ее от насоса.

Степанида Власовна пошла жаловаться на рабочих смотрителю, что они совсем развратили Степку, и просила его заступиться за нее, то есть отодрать его хорошенько сейчас же при ней, как это было прежде.

— Не могу. На то есть полиция.

Степанида Власовна заплакала и поклонилась смотрителю в ноги, прося его выдать ей заработок за Степана.

— Ты, матушка, сама в состоянии робить! От тебя и теперь разит водкой.

И смотритель вытолкал от себя Степаниду Власовну.

Степанида Власовна не унялась, а пошла к полицейскому начальству, которое отказалось наказать розгами ее сына, но дало ей бумагу, чтобы заработную плату сына ее Степана выдавали ей.

Смотритель позвал к себе Степана и объявил ему о проделке его матери. Степан стоял бледный, молчал.

— Не ты первый... Эти пьяные бабы меня совсем сбили с толку, и я не знаю, как помочь тебе... Если я всем стану помогать, самому придется голодом сидеть! А супротив полиции я ничего не могу сделать, потому наши порядки с ее порядками не сходятся.

Вечером Степанида Власовна получила за Степана деньги за всю неделю, так как Степан работал всю неделю на одном месте. Рабочие ее стыдили; уговаривала ее и Лизавета Елизаровна не брать деньги, если Степан не хочет их отдавать им для хозяйства; плакал Степан, — ничто не помогло. Степанида Власовна ушла с деньгами.

— А ведь, ребята, с ней ничего не сделаешь. Она мать! — говорили рабочие.

— Да парню-то от этого не легче! .. Надо бы его пристроить куда-нибудь.

— Кто станет даром кормить? .. Слушай, Степка... Твоя мать берет за тебя деньги, значит, полиция думает, што она живет на твой счет и семью кормит... а всем теперь после Елизара известно, што кормитесь вы Лизкой. И дурак ты будешь, если не станешь требовать свое... Ступай домой хозяином. Знать, мол, не хочу;

давай мне мое; одевай, обувай меня... — проговорил один рабочий.

— Хоть бы кормила, и то ладно, — заметил кто-то в толпе.

Настроенный таким образом рабочими, Степан пошел домой с сестрою, Панфилом и Пелагеею Прохоровною, которая говорила, что хорошо он делает, что не живет дома, потому что ее и так корит Степанида Власовна углом. И если бы она, Пелагея Прохоровна, имела больше заработка, то ушла бы на другую квартиру, да и теперь живет только потому, что ей веселее с Лизаветой Елизаровной.

Степаниды Власовны дома не было. Она пришла уже в то время, когда все выпарились в бане, — и пришла пьяная, но ворчала недолго и, свалившись на пол, скоро заснула. Лизавета Елизаровна пощупала карман в сарафане Степаниды Власовны — ничто не брякало.

— Как есть все уходила! — сказала она с горестью.

Вскоре легли спать все обитатели этой квартиры, и через полчаса, как погасили лучину, в избе настала тишина, прерываемая храпом Степаниды Власовны. Не спали только Пелагея Прохоровна и Степан, но оба они, занятые своими мыслями, думали, что спят все.

Вдруг Пелагея Прохоровна, спавшая на кровати рядом с Лизаветой Елизаровной, услыхала, что кто-то слез с печки и подошел к Степаниде Власовне. Немного погодя что-то стукнуло под лавкой. Пелагея Прохоровна задрожала, встала и на цыпочках подошла к столу, на котором она ущупала спички. Она чиркнула спичкой, спичка зажглась — и в этот момент она увидела Степана, поднявшего руки кверху с топором. В тот момент, как осветило избу, топор выпал у Степана назад от него и попал на голую ногу Пелагеи Прохоровны, но, к счастью, не острием, а обухом.

Пелагея Прохоровна схватила за руки Степана.

— Што ты делаешь, разбойник? — крикнула она в испуге.

— Ничего... Пусти... — И Степан стал барахтаться.

— Лиза! Помоги мне.

— Што такое? — проговорила в испуге Лизавета Елизаровна.

— Братчик-то твой...

Лизавета Елизаровна вскочила, зажгла огня на лучину и увидала: Пелагея Прохоровна борется с Степаном, который старался вырвать свои руки из рук Мокроносовой, а ртом старался достать или локоть, или плечо ее, чтобы укусить.

Увидя топор, Лизавета Елизаровна крикнула, и с ней сделалось дурно.

В это время проснулся Панфил, и открыла глаза Степанида Власовна.

Степан вырвался и выбежал из избы.

Пелагея Прохоровна оттолкнула ногой под лавку топор.

Степанида Власовна присела, огляделась, потом выбежала на двор и закричала:

— Караул!.. режут!..

На ее крик сбежались хозяева — и, узнав от нее в чем дело, хотели идти спать, потому что на нее не стоило обращать внимания, но вышла Пелагея Прохоровна и стала звать хозяйку на помощь Лизавете Елизаровне, которой с испугу сделалось дурно.

Хозяин, узнав о покушении на жизнь матери Степаном, никак не хотел прекратить это дело, и как его ни упрашивали Мокроносова, Горюнов и Лизавета Елизаровна не разглашать о нем, он, для своей безопасности, созвал двух соседей в квартиру своих жильцов и утром заявил полиции.

Лизавета Елизаровна к утру выкинула мертвого ребенка. К утру же разыскали Степана и посадили в полицию, где он сказал, что хотел убить мать за то, что она отняла у него заработок.

XII

Голодные дни

Степанида Власовна два дня ходила по селу как ошалелая. На первых порах ей так и казалось, что весь свет вооружился против нее. Уж если ее родной сын, ее любимец, поднял на нее руку, чего же можно ждать ей от чужих! Она не хотела себе верить, что она сама своими глазами видела сына. Но его держала за руки ее жиличка, Пелагея Прохоровна; дочь ее выкинула от

испуга; сын в глаза сознался ей в преступлении. Много слез пролила Степанида Власовна наедине и при людях, жалуясь на то, что она самая несчастная в селе женщина. Поступок Оглоблиной в сравнении с поступком ее сына, по заключению Степаниды Власовны, был капля в море: Оглоблиной она могла сделать вред, могла ее срамить, как ей хотелось, но сын... сын, которого она любила, на которого возлагала большие надежды, ее родной сын поднял на нее руку... Слыханное ли дело в селе? Она никак не могла понять, что за причина, что сын поднял на нее руку? Что бы он выиграл, убив мать свою? Уж ему острога не миновать, как он ни скрывайся. Разве ему жизнь надоела в селе? «Я не держала; иди хоть на все четыре стороны; я бы держать не стала... Отчего бы ему не сказать мне: я, мол, не хочу отдавать тебе деньги, и я бы ничего... Стала бы сбирать христа ради и прокормила бы как-нибудь ребятишек...» Так говорила Степанида Власовна всем спрашивавшим ее с удивлением об сыне, стараясь услышать от них сочувствие, жалость к ней, всеми обиженной. Но они говорили одно: сама, матушка, виновата; ты сама довела до того сынка, што он поднял на тебя руку. Отчего наши дети не поднимают на нас рук? А ведь и наше-то житье не барское!

Теперь Степанида Власовна уже не ругалась дома, где она проводила бо́льшую часть времени, потому что ей тяжело было показываться в селе, где она как будто чувствовала себя оплеванною. Напротив, она старалась держать себя дома хорошею хозяйкою, доброю матерью. Она теперь уже не бранила и дочь за то, что та выкинула младенца, а заботилась о том, чтобы та выздоровела, сообщала ей результаты своих похождений насчет продажи коровы, насчет слухов про Оглоблину, которая, как она узнала от приезжающих на рынок из деревень крестьян, торгует в городе калачами, пряниками и орехами; сделалась ласкова с Пелагеей Прохоровной, которая спасла ее от смерти. Все это удивляло молодых женщин, и они не знали, к чему отнести такую перемену в Степаниде Власовне.

Недостатки Ульяновых увеличились еще более. Это Степанида Власовна видела и особенно ощущала при наступлении пасхи. И она раскаивалась в том, что после

отъезда мужа тратила понапрасну время на нанесение оскорблений Оглоблиной, пропивала почти половину заработка Степана. «Хотя бы польза была из этого», — думала она. Хотя Оглоблиной и нет теперь в селе, но ей-то от этого не легче. У нее нет своего дома, не на что купить даже льну, для того чтобы из него извлечь какую-нибудь выгоду, и, стало быть, не на что купить хлеба. А теперь еще Никита и Марья захворали, нужно звать лекарку, ей нужно платить... Сбирать христа ради совестно, потому что у нее есть взрослая дочь, которая одна в состоянии своими заработками прокормить целое семейство. Но и дочь расхворалась. Иные женщины так на третий день после родов в силах работать, а Лизавета Елизаровна вот уже целый месяц с кровати не встает, худеет, ничего не ест. Ходила Степанида Власовна даже к доктору посоветоваться насчет болезни дочери, да доктор ее не принял. Ходила Степанида Власовна и к начальству разному, прося его выпустить Степана, потому что она прощает его поступок и не желает, чтобы его судили; но над ней посмеялись и сказали ей, что теперь она над сыном не имеет уже никакой власти, потому что он находится в руках правосудия.

Походит-походит Степанида Власовна по селу, поищет во многих домах работы, нигде нечего ей делать. Куда ни придет — везде удивляются, что она ищет работы, тогда как иную женщину не скоро заманишь на работу в какой-нибудь дом, потому что женщины любят только носить соль, отчего, вероятно, в богатых семействах и выработалась поговорка: «Тяжела на подъем, как солоноска». Да и что ей работать на домах? Богатые семейства имеют прислугу, большею частию из девушек, которых держат из-за хлеба; бедные делают все сами. В одном месте ее, впрочем, заставили вымыть пол, но хозяйка после обеда шаль потеряла, и Степаниду Власовну свели в полицию. Шаль нашлась, а Степаниду Власовну выпустили. В другом месте заставили белье стирать, да увидала хозяйка, что Степанида Власовна не умеет стирать белье, прогнала ее, не заплатив за потраченное время ни копейки. Придет она домой усталая, задумается. Дети стонут, дочь лежит исхудалая.

— Господи помилуй! Господи помилуй! — шепчет с отчаянием Степанида Власовна и посмотрит на дочь.

«Неужели она помрет?» — спрашивает сама себя Ульянова.

Возьмет прялку, на прялке замотан клочок кудели, — и положит назад прялку.

И только одна Пелагея Прохоровна спасала эту семью от голодной смерти.

Пелагее Прохоровне давно опротивела здешняя жизнь. Не раз приставали к ней мужчины с любезностями, не один уже делал ей предложения «скоротать с ним жизнь». От всех она отделывалась или молчанием, или резкими возражениями, за что ее и стали все звать гордячкой; а так как она ни с кем компании не вела, то преимущественно женщины стали считать ее женщиною злою, старающеюся только о своей пользе, и смеялись над тем, как она целый день носила соль одна; если же от устатка она прислонялась к стене или садилась, ей говорили, что она ленится, что если она своим усердием хочет выслужиться перед смотрителем и получить как-нибудь больше денег, то не должна приседать и прислоняться к стене. Мало этого, про нее стали говорить, что она метит попасть в любовницы приказчика, который постоянно на нее заглядывается и один раз даже передал ей лишний гривенник по тому поводу, как он сам сказал при возвращении этого гривенника Пелагеею Прохоровною ему, что ему угодно сделать ей *призент*. Наконец женщины стали отталкивать Пелагею Прохоровну от дверей варницы для того, чтобы она не попала в солоноски. Но Пелагея Прохоровна, к удивлению женщин, все-таки попадала в солоноски; но зато ей приводилось много выслушивать от них и брани и насмешек. Все это тяжело было переносить Пелагее Прохоровне; она проклинала тот день, в который согласилась идти с дядей из города, и давно ушла бы из села обратно в город, если бы не было холодно. Кроме холода, ее удерживало то, что Короваев хотел известить ее о своем житье в М. заводе, и она дожидалась чуть не каждый день вести об нем, да и Григорий Прохорыч, ушедший туда же через две недели после признания Лизаветы Елизаровны, хотел написать ей подробно о тамошнем житье, и если найдет Короваева, то и об нем. Но ни Короваев, ни брат ничего ей не писали; ни об них, ни об дяде не было никакого известия, точно они в воду канули.

«Все они обманщики, они только о себе заботятся. Ишь куда завели меня! Это они нарошно завели меня сюда, штобы я им не мешала, штобы избавиться от лишнего человека. Так погодите же! Дождусь я лета, и сама пойду искать себе счастия. Уж не поклонюсь я вам! Мой дедушка тоже никому не кланялся, сам в люди вышел, с нашим господином в Петербурге жил, и если бы не набедокурил там, не то бы было с нами. Будете вы домогаться, штобы я потом по вашей дудке песни пела, да уж поздно. А што Короваев злой человек, это из того видно, што он и дядю мово сюда затащил и разошелся с ним на другой же день. Уж если бы он захотел жениться на мне, мог бы с кем-нибудь грамотку послать: хорошо ли, худо ли ему».

Так думала Пелагея Прохоровна — и твердо решила летом непременно идти опять в тот же город, в котором она жила раньше. «Говорят, городов много на свете, только в разных местах разные порядки. А в этом городе порядки мне знакомы; у меня есть там знакомые, и я скоро попаду на место, и Лизавете можно там скорее найти место. Ну, а если не понравится там, накоплю денег и дальше пойду: не всё же и там злые люди живут».

На заработанные деньги Пелагея Прохоровна сперва покупала муки, крупы и мяса; но трудно было сводить концы с концами, то есть рассчитывать так, чтобы денег достало до работы; и потому она стала отказывать себе в мясе и рубль тянула на полторы недели; Степанида Власовна, получив деньги, с своей стороны старалась что-нибудь состряпать, сварить, но Пелагея Прохоровна удерживала ее, говоря:

— Мы, Степанида Власовна, не померли же и с редьки да с хлеба. А без горохова-то киселя проживем.

— Полно-ко толковать-то! Мне разве не обидно, што ты нас кормишь!

— А ты не трать деньги на кисели да на ватрушки, — глядишь, дня три и впереди.

Степанида Власовна так и не пекла и ничего не варила. Только тогда и варились щи, когда Панфил приносил сам мяса.

Панфил по целым дням жил на промыслах, зарабатывал от десяти до двадцати копеек. На хлеб у него выходила половина этой суммы, а если ему удавалось

украсть рыбы, то его угощали и хлебом. В две недели он мог накопить очень немного денег, которые и ушли на покупку больших старых сапогов, хозяин которых уже не нуждался в них, так как, получивши порядочный заработок, купил себе другие; но и эту обновку нужно было починить, и Панфил опять копил целую неделю деньги на починку сапогов, а остаток употребил на угощение своей сестры в воскресенье. Рабочие удивлялись терпению молодого Горюнова, называя его железным человеком, старались выпросить у него денег, приглашали его пить по вечерам в трактирах чай, но Горюнов денег не давал никому с той поры, как его обманули двое рабочих: они обещали отдать ему долг при получении расчета, но тогда к ним явились другие кредиторы, которым они были должны давно, — и не пять и не десять копеек. Впрочем, Панфил не отказывался от посещения харчевен; ему, напротив, нравилось быть там, где происходили оживленные споры, ссоры, а иногда и драки. Там он садился в угол и из угла вслушивался в разговоры рабочих, которые ставили последнюю копейку ребром, хвастаясь тем, что у них, благодаря бога, руки здоровы и они вперед могут заработать и больше этого. Ему нравилось следить за хозяином харчевни или хозяйкой и подручным, как те наливали неполные рюмки водки и присчитывали на посетителей деньги. Его удивляло то, что эти семейные рабочие почти все свободное время проводят в питейных домах, посещая непременно один какой-нибудь кабак или одну харчевню, пропивают иногда свои халаты, сапоги, жалуясь в то же время на обманы начальства и на судьбу, обременившую их большими семействами, от которых дома нет никакого покоя. В этих заведениях он, между прочим, заметил еще и то, что сельские уроженцы хвастались перед пришлыми своею удалью, смышленостью и каким-то благородством; они ненавидели пришлых за то, что те отнимают у них заработок, и лишь только в каком-нибудь заведении сойдутся пришлые с коренными, — быть драке, которая, впрочем, закончивается тем, что одна которая-нибудь сторона угощает другую. Мало этого, Горюнов заметил, что и коренные не живут в ладах. Не говоря уже о том, что в кабаках происходят драки между рабочими разных варниц, принадлежащих разным

хозяевам, — и в домах, на именинах или в праздники, когда рабочие идут в гости в ту часть села или в то село, где празднуется церковный престол, — и там дело без драки не оканчивается, хотя и начинается дружно. Поэтому немудрено, что Панфила, который не угощал никого ничем, курил табак на чужой счет и был не прочь выпить на чужой счет пива, браги или водки, крепко недолюбливали рабочие, и когда дело доходило до ссоры и драки, его постоянно выгоняли. Панфил ничего не мог поделать с пьяными; защитников за него не было даже из среды тех, с которыми он работал вместе, потому что в компании всем хотелось разбесить заводского выродка, который стихи сочиняет, то есть думает; но на другой день, когда рабочие являлись на работу с больными головами, он все накипевшее в нем за ночь зло старался выместить на них.

— Што, пьяная рожа! Болит голова-то! Опохмеляться хошь? — И Панфил показывал рабочему пятак.

Рабочий впивался глазами в монету и чесал голову.

— Што, небось пропил все деньги! Ишь, женины башмаки надел...

— Молчи!.. Убью!!. У! штоб те околеть! — ругался рабочий и кидался на Горюнова; но тот убегал.

Немного погодя Горюнов опять дразнил рабочего:

— Хошь опохмелиться?

Рабочий молчит.

— Трещит голова-то? — И Горюнов приготовлялся бежать, следя за движением членов своего врага.

— Послушай...

— А ты возьми да скушай! — И Горюнов отвертывался или бежал, смотря по тому, замахивался ли на него враг, или бросался к нему.

Случалось, Панфил покупал водки косушку, разбавляя ее водой и насыпая в посуду для крепости немного махорки. В этом случае он показывал склянку.

— Видишь?

Рабочий подходил к Горюнову и хотел вырвать склянку, но тот отвертывался.

— Вода! — говорил рабочий, не веря мальчишке.

— Понюхай!

— Да дай в руки...

— Нет, ты из моих рук понюхай.

Рабочий нюхал.

— Доволен ли?

— Панфил Прохорыч!.. А... Дай... чуточку! — И рабочий начинал плевать.

— А! Тут дак Панфил Прохорыч!.. А вчера кто меня вытолкал?

— Не буду. Пьян был... всё тебе отдам, — дай испить.

Но Горюнову было невыгодно отдать склянку одному рабочему. Он начинал травить двух или трех рабочих и, отдав им склянку, получал за нее хлеба, которого и доставало ему дня на два, на три.

Деньги он хранил в известном только ему одному месте, потому что при себе их иметь было опасно, так как рабочие к вечеру всегда приставали к нему, а ночью нередко он просыпался от производившихся кем-нибудь обысков в его одежде.

В субботу он забирал остаток денег, брал одно или два толстых полена, которые обвязывал веревкой и нес на плече до квартиры Пелагеи Прохоровны. И если он шел рано, то заходил на рынок и покупал муки и мяса. Приходу его все были рады, не потому, что он был редкий гость, но с его приходом появлялись щи, и воскресенье проводилось весело. Если же и в воскресные дни случались работы в варницах, то Горюнов не пропускал и этих дней, и тогда отдавал деньги сестре на кушанье, и шел на работу, надеясь получить за нее вдвое больше, чем в будни.

Первые дни пасхи Пелагея Прохоровна и Панфил Прохорыч провели вместе. Как у всех православных, и у них был сыр и состряпан кулич на заработанные деньги Степаниды Власовны, Горюнова и Мокроносовой. Лизавета Елизаровна начала поправляться, так что могла ходить по избе, и подумывала после пасхи выйти на промысла, но она все-таки была слаба.

На третий день пасхи нашим приятельницам опять-таки нечего было есть. Все, кроме Лизаветы Елизаровны, пошли искать работы, но на промыслах работы не было, потому что начальство только что раскучивалось. Решено было общим советом во что бы то ни стало продать корову, которая еле двигала ногами, но за нее давали

мало, потому что время было такое, что ни у кого не было денег. Кое-как продали ее за пять рублей. Но когда появилось столько денег, Степанида Власовна первым долгом отправилась в кабак и хватила водки, до которой она уже давно не дотрогивалась, а выпивши водки, пошла на рынок и купила две пары ботинок — себе и Лизавете Елизаровне — и опять спрыснула эту обнову, так что домой пришла пьяная и принесла всего только два рубля.

Пелагея Прохоровна высказала ей свое неудовольствие.

— Будто ты никогда не имела больших денег? Никитка помирает, а ты пьешь. Не сама ли ты жалела, што мы напрасно купили поросенка? .. А тут, как добралась до водки, и напилась!

— Виновата... Мои деньги, потому и выпила.

— Придется, верно, мне уйти от вас.

— И с богом, матушка! Хоть сейчас. Эдакое ведь сокровище!

И Степанида Власовна долго ворчала, высказывая то, что она сама себе указчик и очень будет рада, если Пелагея Прохоровна уйдет от нее; что вся эта бедность происходит от нее, так как раньше с Ульяновыми еще не случалось такой напасти. Но утром Степанида Власовна стала извиняться перед Пелагеей Прохоровной, прося ее забыть все то, что она наговорила пьяная, и даже отдала все деньги на хранение Пелагее Прохоровне.

Трудно было Пелагее Прохоровне придержать деньги. Степаниде Власовне было скучно, и она к вечеру же стала просить у нее десять копеек на куделю. Кудели не купила, а пришла домой выпивши, а так как она не была пьяна, то ей было совестно перед Пелагеей Прохоровной, и она молча легла спать. На другой день она выпросила тридцать копеек на лен, сказав, что она куделю забыла у какой-то женщины. Панфил вызвался сестре следить за Ульяновой — и, вернувшись домой часа через два, сказал, что Степанида Власовна действительно заходила в одну лавку, но оттуда вышла без льна и потом, купив два калача, отправилась в харчевню. Домой она пришла на другой день немного выпивши и, подавая Пелагее Прохоровне и Лизавете Елизаровне крендельки, сказала:

— А льну-то я опять не купила: попалась мне Безукладникова и говорит: ныне богата стала, нет, штобы должок отдать. Ну, я взяла и отдала.

Обе женщины промолчали и молили бога, чтобы скорее прошли праздники.

Соседи тоже узнали, что у Ульяновой появились деньги, и от них отбою не было: одна просила гривну, другая крупы чашку, третья сена — и т. д. Те, которые пришли раньше других, получили немного денег, а от других стали запирать двери, потому что денег на шестой день пасхи осталось только две копейки.

На восьмой день умер Никита.

XIII

Письмо и вести с приисков

Смерть Никиты опечалила все семейство. Все бегали по селу как угорелые: Степанида Власовна хлопотала о том, чтобы схоронить его даром. Но куда она ни приходила, все — от гробовщика до могильщика — отказывались оказать какую-нибудь помощь без денег, ссылаясь на свою бедность и на то, что теперь мрет мало народа. Другое дело, если бы мальчишка помер весной, когда больше мрет взрослых, тогда можно было бы от обрезков сколотить гроб для мальчишки и заодно уже отпеть даром и по пути вырыть для него яму. Пелагея Прохоровна ходила к начальству, прося его о пособии, но оно сказало, что мальчишка ничем не заявил себя таким, чтобы на похороны его можно было ассигновать от управлений какую-нибудь сумму; к тому же мальчишка не важная особа; другое дело, если бы он был сын какого-нибудь смотрителя или хоть писаря, тогда можно бы выдать родителям пособие. Успешнее были хлопоты Панфила Прохорыча. Хотя он был и не очень красноречив, но все-таки сумел убедить рабочих в том, что Ульяновой нечем хоронить сына. Рабочие поворчали-поворчали и все-таки от помощи не отказались: один сколотил из старых досок гроб, другой вызвался ему выкопать могилу, причем без драки с кладбищенским сторожем дело не обошлось, а на похороны пожертвовали кто сколько мог: кто копейку, кто грош.

Схоронили Никиту. В квартире точно кого недоставать стало. Давно уж в ней никто не хохотал громко, а теперь и разговаривали не громко: всех словно что-то давило.

— Что это, как долго нет нынче работы? Ах, как бы я рада была, если бы только поскорее открылась для баб работа. Я бы и лед колоть пошла на реке, — говорила Лизавета Елизаровна.

— А я все думаю: куда бы мне пристроить Марью? Уж я давно хожу по селу, никому не надо. Уж я бы даром отдала, — говорила Степанида Власовна.

— Конешно, нужно отдать даром, только я бы не советовала тебе отдавать, потому я и Лизавета пойдем в город.

— Куда в город?

— Уж это мое дело. В городе гораздо будет лучше, потому что там по крайней мере будем сыты и квартира будет теплая.

— В самом деле!.. И отчего это ты мне раньше не сказала? А далеко?

Пелагея Прохоровна сказала и объяснила, почему она дожидается лета:

— Я бы давно ушла, только подумай: могу ли я, ободранная и босая, идти... А летом мы туда всегда найдем попутчиков... Одних богомольцев сколько ходит по большой дороге, только бы выйти на нее.

— Так и я с вами пойду. Только как с Марьей-то?

— Надо весны дожидаться. Вот, как будут грузить коломенки, тогда мы накопим денег. Только ты, мамонька, ради христа, не пей.

— Вот те Христос! провалиться мне, штобы я стала пить.

— А Машу мы там можем легко пристроить. Там она может мастерству обучиться.

— Дай бы ты, господи!

И все стали ждать тепла; даже Маша надоедала всем, спрашивая: «А скоро ли мы пойдем далеко-далеко?..»

Панфил одобрял эти намерения и рассказал сестре, что он в город ни за что не пойдет и что он уже надумал идти в М. завод и только дожидается лета, когда он может даром доплыть туда с барками.

Пелагея Прохоровна задумалась.

Панфил Прохорыч не говорил ей раньше о своем намерении идти туда же, куда ушел Коровaев и Григорий Прохорыч. Она думала, что М. завод ничем не отличается от других ей известных заводов, и хотя нередко ей приводилось слыхать похвалы о М. заводе, куда будто бы со всех сторон стекаются рабочие, потому что там производятся какие-то спешные постройки, но Пелагея Прохоровна замечала, что те, которые говорили об этом, не трогались с места, а жили попрежнему в селе, и ей казалось, что эти люди говорят об этом для того, чтобы соблазнить молодежь и простых людей. Пелагея Прохоровна любила Панфила за то, что он не грубил ей и всегда старался ей чем-нибудь угодить; в городе он навещал ее чаще Григорья и иногда приносил даже лакомства. Здесь, кроме его, у нее не было родни, и с ним ей было все-таки веселее, так как они друг друга понимали, друг другу сочувствовали. Вдруг ей пришла в голову мысль — не получил ли брат письма из М.? .. Стала она от него выпытывать об этом, но тот божился, что он идти туда уже давно задумал, напрашивался идти даже с Григорьем, но Григорий его не взял. Он говорил, что Коровaев неспроста ушел туда, и если ничего не пишет ей, так, может быть, потому, что копит деньги.

— А мы, Палагея, пойдем туда вместе.

— Нет; уж я туда не пойду. Лучше уж здесь остаться, чем туда идти: здесь по крайней мере для баб работа есть, а в заводе, подумай, какая может быть бабам работа?

— А если Коровaев женится на тебе?

— Што мне на шею ему вешаться? Уж, пожалуста, не говори мне про него.

Так брат и сестра и не стали говорить больше ни о Коровaеве, ни о походе в разные места, но оба все-таки думали о М. заводе.

Стала Пелагея Прохоровна ворожить в карты на трефового короля. Всё выпадают дороги да печаль на сердце, а письма нет...

Наконец прошел лед; вода на обеих реках прибывала по часам и заливала прибрежные сельские улицы

так, что в них плавали на лодках. Широко разлились реки, по целым дням дул холодный ветер, и бурлила вода. Погода стояла сырая; везде было грязно, мрачно; зато на набережных происходила деятельная работа. Там с утра до вечера грузили в коноводки соль, скрепляли бревна в плоты, на плоты складывали дрова, причаливали другие плоты с дровами или с камнем, преимущественно точильным. В это время только одни богатые люди, сидя на балконах своих домов, любовались широким разливом рек и деятельностию людей на пристанях, рабочий же класс старался как можно более заработать денег, редко останавливаясь, чтобы выправить свои члены из согнутого положения, часто бегая к воде, чтобы напиться, и на ходу закусывая. Зато вечером многие из рабочих, мужчин и женщин, садились на набережные и затягивали свои грустные песни.

В один из таких вечеров Пелагея Прохоровна сидела с Лизаветой Елизаровной и ее матерью отдельно от других рабочих. Все три женщины, уперши руками головы, смотрели на волны, высоко поднимающиеся и с шумом разбивающиеся об набережные. Они уже вдосталь наговорились о том, как им лучше сделать насчет житья. Ульяновы уговаривали теперь Пелагею Прохоровну остаться с ними до осени, потому что летом на промыслах больше работы, чем зимой, и Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать, потому что она получала заработка по тридцати копеек в день. Но, несмотря на этот заработок, у всех было тяжело на душе, всем чего-то хотелось, но чего — они не могли себе объяснить. Им хорошо казалось сидеть здесь, хотя ветер и дул прямо в лицо. Недалеко от них рабочие, мужчины и женщины, голосов в двести поют-тянут промысловую песню, слов которой вдали почти невозможно понять. Сердце надрывается от этой песни, хочется другой жизни; в этом плеске волн как будто слышится отзыв, что лучшая жизнь есть. Но где она?

«Нет уж, я пойду в город», — подумала Пелагея Прохоровна, и ей так сделалось горько, что из глаз закапали горячие слезы, но она постаралась поскорее вытереть их.

— Пелагея! Гляди, што-то бабы и мужчины в кучу собрались, — сказала ей Лизавета Елизаровна, тронув ее за плечо.

Никто не пел. Рабочие столпились в одну кучу и галдили. Приятельницы подошли туда.

— Ишь, ловок! Песни наши, говорит, нравятся... Спой ты ему веселую?! — галдили рабочие.

— Небось даром хочет? — кричали женщины.

Скоро мужчины и женщины разошлись, рассуждая о том, как управляющий Егорьевскими промыслами подошел к рабочим и стал просить их спеть веселую песню и тем нарушил ихний спокой, потому что они пели от души. А петь на заказ никому не хотелось даром, да и что за пенье на заказ, когда на душе невесело!

Дома Ульяновы застали Панфила Прохорыча с каким-то пожилым человеком, сидевшим за столом в ситцевой рубахе и молча курившим из трубки махорку.

Гость поклонился вошедшим и сказал:

— Елизар Матвеич приказал кланяться.

Начались расспрашиванья.

Оказалось, что мужчина пришел сюда нарочно из Удойкинских приисков, на которых работали Ульянов и Горюнов. Ульяновы очень обрадовались ему. Обрадовалась и Пелагея Прохоровна.

— А дядю нашего видаешь? — спросила она.

— Как не видать? Вместе робили, только он ноне все больше особо от Ульянова.

— Хорошо ли там? — спрашивали гостя.

— Ничего, жить можно. Только глушь! С одной стороны — кержаки, с другой — лес да горы, да звери... Всяк себе хозяин, потому хоть и есть начальство, только мы на него и внимания не обращаем.

— Так ты неужели нарошно пришел? — спросила Степанида Власовна, совсем растерявшись и утирая глаза. Она уже успела поблагодарить бога, что муж ее здоров и ему там можно жить.

— Дал слово, так надо исполнить. И так крюк, почитай, двести верст дал.

Хозяйка не знала, с чего и начать расспрашивать гостя, да и ее предупреждали остальные, которые то и дело спрашивали его то об Ульянове, то о Горюнове. Гость отвечал отрывочно. Из слов его хозяева узнали, что на приисках хорошо и Ульянову и Горюнову, потому что они служат казаками, но Горюнову лучше, так как

он кержак и дружен больше с кержаками (то есть — раскольниками).

— А што, хозяйка, угости-ко меня водочкой, да нет ли у те жаренова мочалка?

Степанида Власовна начала плакаться на свою жизнь и рассказывать о том, как, по милости Машки Оглоблиной, у нее отняли дом, но не спросила его: не видать ли Оглоблиной на приисках?

— Неужели у вас ни у кого нету денег? А я вам грамотку привез от Ульянова.

Степанида Власовна вскрикнула от радости.

Гость не торопясь вытащил из-за голенища что-то завернутое в тряпицу, не торопясь развязал тряпицу, развернул засаленную бумагу и подал хозяйке.

Дрожащими руками взяла Степанида Власовна письмо, перекрестилась и стала вертеть его в руках.

— Што, небось рада! Небось еще не так обрадуешься, как деньги получишь!

— Што ты... Деньги?

— Да. Ульянов велел дать тебе пять целковых и росписку ему представить. Умеет ли кто грамоте-то?

— Да мы по-церковному, — сказали Пелагея Прохоровна и Панфил Прохорыч.

— Ну, а я только цифры и умею писать. Подемте к грамотеям.

Немного погодя все вышли во двор, сели в лодку и подплыли к одной харчевне, в которой хозяин, по отсутствию гостей, уже ложился спать.

Через четверть часа хозяин, надевши огромные очки в медной оправе, прочитал следующее:

«Дражайшей моей супруге и сожительнице, Степаниде Власовне, свидетельствую мое нижайшее почтение с пожеланием доброго здравия и в делах хорошего успеха. Наипаче же здравия телесного и душевного. Дочери моей Лизавете Елизаровне посылаю мое родительское благословение, навеки нерушимое, каковое посылаю Степану, Никите и Марии, и всем по поклону. С сей верной оказией посылаю вам денег пять рублей. Прошу их беречь и на меня не рассчитывать, потому мы все под богом ходим, а наипаче на приисках того и бойся, штобы черемис, али татарин, али какой беглый каторжник не

укокошил тебя. Нижайшее мое почтение и поклон Пелагее Прохоровне и братцу ее родному Григорью Прохоровичу. При сей верной оказии Терентия Иваныча здесь нет, а хотел написать. Живите хорошенько. Больше всего уповайте на бога. О себе скажу, што мы с Терентием Иванычем ссоримся редко и доверенный нам благоволит. Хорошо бы Степку иметь при себе, да далеко. От сего письма остаюсь жив и здоров.

Ульянов».

Слушая это письмо, Степанида Власовна плакала, прочие смотрели на лицо читающего. Когда хозяин кончил чтение и свернул бумагу, Степанида Власовна попросила его повторить, но хозяин отказался от повторения, потому что его интересовала приисковая жизнь, и он, налив принесшему письмо стакан водки, стал его расспрашивать о приисках.

Степанида Власовна взяла у хозяина полштоф водки и кусок семги домой. Она хотела угостить дома, да и самой ей хотелось выпить, в харчевне же никто не хотел оставаться, потому что от нее до квартиры нужно было плыть в лодке, которую между тем могли украсть.

За водкой гость разговорился с хозяйкой и, между прочим, высказал, как ближе идти на прииск, потому что Степанида Власовна, узнавшая, что на приисках очень мало баб, изъявила желание идти на прииск, и это желание гость одобрил. Панфил Прохорыч сидел недалеко от них молча; его весьма занимали слова гостя, который рисовал приисковую жизнь с хорошей стороны, и ему захотелось, во что бы то ни стало, идти туда скорее.

Гость вынул из-за пазухи рубашки бумажник, завернутый в тряпку, и вынул из него пачку ассигнаций.

Степанида Власовна ахнула, увидя столько денег.

— Это, тетка, не мои деньги: тут хозяев много. Видишь ли, я сбывал крупку и получал деньги! Только вы смотрите — молчок! Потому тут и ваши главы имеют часть.

Панфила Прохорыча трясло при виде такой кучи денег.

Гость вынул пятирублевую бумажку и подал ее хозяйке.

— Дай мне бумажку! — сказал дико Панфил Прохорыч.

— Да стоишь ли ты еще бумажки-то? — проговорил, смеясь, гость.

— Право, дай. Дядя заплатит.

— Да тебе на што?

— Я на прииски пойду.

— А медведей не боишься?

— Чего бояться? Видал.

Но гость не дал денег Панфилу, а завязал их крепко и спрятал опять на груди, под рубашкой.

Всю ночь Панфил не мог уснуть. Ему хотелось украсть у гостя бумажник, но гость хотя и крепко спал, а при каждом прикосновении руки Панфила переворачивался на другой бок и сжимал на груди которую-нибудь руку.

Рано утром гость распрощался с хозяевами.

— Дядя! Возьми меня, — упрашивал гостя Панфил.

— Воровать не умеешь. Ты думаешь, што я не чувствовал, как ты ночью около меня шарился. Ну, да што об этом говорить!

И гость ушел.

Хозяйка очень радовалась неожиданной получке денег, а когда она явилась на промысла, там уже все знали о получении ею денег и приставали с расспросами о муже.

Панфил не пошел на промысла. Он целый день ходил по рынку и в харчевни, надеясь найти приискового рабочего и уговорить того взять его с собой. К вечеру он увидал его выходящим из одного полукаменного дома.

— Дядя! Возьми...

— Куда я тебя возьму?

— Я тебя поблагодарю после.

— Што мне твоя благодарность! Взять я тебя не могу с собой, а коли хошь, дорогу могу указать. Согласен?

— Я и один пойду.

— Ну, ладно, коли у те есть такая охота. Пойдем.

Рабочий зашел в питейный, рассказал Панфилу, как идти до такого-то города, из этого города до такого-то села, а в селе всякий знает дорогу на Удойкинский прииск, потому что рабочие закупают в нем провизию.

— Есть ли у тебя деньги-то?

— Немного.

— Ну, я тебе дам, пожалуй, пять рублей под расписку.

Горюнов поблагодарил.

Содержатель кабака написал расписку за Горюнова и подписался за него.

Рабочий угостил водкой хозяина и Горюнова, разговаривая о чем-то шепотом с хозяином.

Выпивши водки и посидевши с четверть часа с рабочим, Горюнов болтал без умолку, ругал здешнюю жизнь, благодарил рабочего за то, что он указал ему дорогу на золотые, лез целоваться с ним и хотел угостить его, но тот поставил ему еще косушку, вышел ненадолго на улицу и потом уже не являлся.

Горюнов раскутился. К вечеру стали появляться рабочие, он хотел угостить их водкой, но хозяин давал пятирублевой его бумажке цену только рубль, доказывая, что эта бумажка фальшивая. Горюнова вытолкали из кабака — до того он сделался назойлив.

Утром он объявил сестре, что идет к дяде; сестра посмеялась над ним, думая, что он шутит. Горюнов обругал сестру и пошел покупать сапоги. Купивши сапоги, он пошел купить платок сестре; но в лавку вошел хозяин кожевенного товара и крикнул на него:

— Ты где это научился фальшивые бумажки стряпать?

Горюнов побледнел, но не обернулся.

— Тебе говорят?

— В чем дело? — спросил хозяин лавки.

— Да вот я ему продал сапоги за два рубля. Он и дает пятирублевую. Я сослепа-то не разглядел, передал племяннице, та и дала ему сдачи, а как ушел он, я и стал разглядывать и сравнил с своей бумажкой. Смотри! — И он показал бумажку лавочнику.

— Сс!.. фальшивая и есть! — проговорил лавочник.

— Сам накопил фальшивых, — начал было Панфил, но его ударил в спину хозяин лавки, так что он выскочил на улицу и пустился бежать.

— Держите! Ловите! — кричали оба лавочника.

Горюнова остановили; около него собралась куча народа. Продавший сапоги рассказал, в чем дело, с прикрасами.

— Не давал я ему фальшивой бумажки!..

— Ах ты, пес!.. А сапогов ты тоже не покупал?

— Я на другие...

— А откуда ты взял такую бумажку?

Толпа между тем росла.

— Э! Да это тот и есть, што вчера у Евстигнеева Бориса в кабаке был! Он и есть. Ведите его в полицию! За это я отвечаю! Я у него вчера видел фальшивую пятирублевку.

Горюнова стали бить и отправили в полицию.

XIV

Острожная жизнь

Горюнов решительно ничего не понимал, попавши в полицию. Ругательства, остроты сыпались на него со всех сторон, так что он никак не мог обдумать, что ему сказать, зная, что он ни в чем не виноват.

Стали его допрашивать; явилось много свидетелей, которые показывали на него различно. На первых порах Горюнов хотел отделаться одними словами: «ничего не знаю... сапогов не покупал». Словом, Горюнов одурел совсем, ему не давали одуматься, и только под розгами заставили его сказать, что бумажку он получил от рабочего с Удойкинских приисков при сидельце. Этим сознанием и закончили первые допросы и не тревожили его больше двух недель. Хотя он и был посажен в секретную, но в этой комнате вместе с ним заключалось несколько мужчин и женщин, которых некуда уж было посадить. Большинство его товарищей состояло из мелких воров, представленных сюда сельскими состоятельными людьми, из бродяг и лиц, не помнящих родства, — таких людей, которым или нечего было есть, или которые искали себе различными способами лучшей, свободной жизни. Он с первого же дня не мог ни в чем сойтись с ними, не мог отличить из них ни одного человека, с которым бы можно было поговорить; но насмешки их над ним, издеванья над его простотою заставляли его огрызаться с ними, ругаться и даже драться. Короче сказать, ни Горюнов не понимал своих товарищей, ни они не понимали Горюнова.

Скука была невыносимая Панфилу среди этих товарищей. Он проклинал свою жизнь, а равно дядю за то, что тот уговорил его прийти сюда, плакал; но все-таки, не считая себя виноватым, думал, что недолго проживет в этом аде, и всячески старался избегать товарищества, лежа то под лавкой, то сидя в углу с закрытым ладонями лицом. Много ему привелось увидать тут различных сцен, много такого, чего он не видал до сих пор, но ему некуда было деваться, да и его часто сталкивали с места, и он очень обрадовался, когда его вывели на свежий воздух.

— Панфилушко! Што ты наделал? — спрашивала сестра, увидавшая его выходящим под стражею из полиции.

— Ничего не знаю, — отвечал брат.

— Правда ли, говорят, что ты убил того рабочего, который был у нас?

— Врут!

Тем и кончилось свидание и разговоры брата с сестрой, потому что Горюнова торопили к следователю. Через две недели ему, однако, удалось ночью убежать из полиции. Зашел он к сестре, но Пелагея Прохоровна, как сказала Лизавета Елизаровна, уже ушла в город. Панфил вышел из ворот бывшего ульяновского дома и задумался: куда ему идти теперь? Ни в селе, ни на промыслах ему нельзя показаться, — там его схватят. Оставалось одно: наняться на плоты — и он пошел туда; но плоты хотели пустить через день, а днем его увидал один промысловый рабочий, и его свели обратно в полицию. Началось новое следствие о побеге Панфила и продолжалось с месяц, в течение которого он уже стал привыкать к этой жизни. По окончании следствия его повели с другими арестантами в город, но дорогой он захворал и только через полтора месяца, пришедши в чувство, узнал, что находится в тюремном лазарете.

Жизнь в лазарете ему казалась лучше полицейской, потому что он лежал на отдельной койке, мог ходить по комнате, сидеть, не мешая другим, насмехаться над солдатами, караулившими у дверей больных арестантов. В известное время ему приносили пищу и лекарства.

Сперва его пугали трудно больные, скоро умирающие арестанты, за которыми уже не было никакого надзора и которых ничем не лечили; пугали операции, доктор, производивший эти операции; но потом он привык и скоро отличил фельдшера от лекаря, находя, что в фельдшере больше силы, чем в лекаре, потому что фельдшер может выписать больного в тюрьму, куда идти никому не хотелось. В палате были всякие больные, судимые и судящиеся за разные преступления, которые часто сменялись новыми, так что Горюнов ежедневно боялся, чтобы его не выписали. Но в палате были такие больные, которые лежали в ней по целым годам. Одни из них действительно были больны, другие выписывались в тюрьму только дня на три — и являлись в палату со свежими новостями. Эти люди находились с фельдшерами в дружественных отношениях. А так как они почти жили постоянно в палате, то считали себя чем-то вроде дядек, без умолку говорили, насмехаясь над различными болями, которые им привелось испытать. Их любили больные за шутки и заискивали их расположения на том основании, что они иногда держали перед доктором чернильницу. Вот к этим-то людям и старался подделаться Горюнов. Несмотря на то, что они казались ему смешными и чересчур хвастливыми, он старался угодить которому-нибудь из *стариков* тем, что подавал кружку с водой. Он думал, что эти больные — большею частию состоятельные раскольники, обвиняемые в делании фальшивых серебряных вещей, жившие доселе в скитах и отправлявшие обряды по-своему, тайно от начальства, и что они могут много хорошего сделать для него. Однако, как он ни ухаживал за ними, сколько ни просил их о себе, они, как он замечал, заботились более всего о себе, вели себя заносчиво, а к нему относились как к ничтожному псу. Это, наконец, стало злить Панфила. И какова же была его радость, когда начальник лазарета велел двух из них непременно выписать из лазарета и больше не принимать, так как он заметил их уже давно здоровыми! И как же злы были эти люди на все и на всех, надевая арестантские одежды и подставляя ноги для того, чтобы на них надели кандалы! .. Но после них вскоре все стали чувствовать какую-то пустоту, чего-то как будто недоставало. И все это произошло оттого, что

как бы надменны ни были старики-лазаретники, при них было как-то весело: они умели рассказывать разные анекдоты, развлекали больных смешными сценами, остротами и т. п. Скучно сделалось и Панфилу: больных много; больные разговаривать не любят, выздоравливающие разговаривают или играют в карты, бог весть каким образом попавшие в лазарет; подойдет он к ним, они его называют щенком и гонят прочь. Хорошо еще, что сестра, жившая в это время уж в городе, навещала его по воскресным дням. Она приносила ему сдобные кушанья, тайком унесенные от барыни, у которой она жила, рассказывала о своих господах или о том, что она уже теперь живет на другом месте, и хотя все эти рассказы и городские новости сообщались в течение четверти часа, а потом, в продолжение получаса, брат и сестра молчали, все-таки Панфил был в тысячу раз веселее при сестре, чем без нее. Но вот не пришла сестра в праздник, не пришла и в воскресенье. Справился он об этом, сказали: больно она уж смазливая; начальство не приказывает пущать. Как ни обидно было слышать это брату, но делать было нечего, — сестра уж больше не показывалась в лазарете.

На третий день после этого события к Панфилу подошел пожилой больной. С этим больным Горюнов никогда не вступал в разговоры, потому что он и сам почти ни с кем не разговаривал. Это был высокий, худощавый мужчина, с рыжими курчавыми волосами. Глаза его постоянно принимали серьезный вид, лицо с небритыми волосами постоянно, когда он сидел задумчиво, передергивалось множеством складок. К этому надо еще прибавить то, что он свои желтые щеки постоянно утирал грязным платком, что даже удивляло докторов, которые не находили не только на его лице, но и на всем теле пота. Он говорил басом, глухо.

— Ты за что сидишь? — спросил он Горюнова.

Горюнов молчал. От этого вопроса его покоробило. В самом деле, за что он сидит? Горюнов сознавал, что он взят за фальшивую бумажку и за побег из полиции, но кому какое дело до этого?

Этот больной разозлил его, и он закрыл глаза.

— Што закрываешь глаза-то! Не съем, — проговорил задумчивый больной. В палате сделалось тихо.

— Фальшивые бумажки делает, — сказал кто-то.

— Эдакой мальчишка!.. Ха-ха!..

— Сызмалетства в механику пустился! — слышалось с разных коек вперемежку с хохотом.

Серьезный больной присел на кровать Горюнова. Тот не противился этому.

— Нет, однако?.. Ты ведь Горюнов?.. Про Горюновых я слышал, — говорил неотвязчивый больной.

Панфил со страхом глядел на него: такой у него был суровый вид в это время.

— Ты кто? — спросил неловко Панфил неотвязчивого человека.

— Слыхал про никитинского письмоводителя Гусева?

— Нет.

— Ну, так это я... А за што я сижу, про это я знаю. И им не удастся меня словить! Не запугают... Не-ет!.. Трех управляющих, первых плутов, провел... Нет!!. — И лицо Гусева сделалось очень страшно, на щеках выступили багровые пятна.

— Хочешь, я научу тебя писать? — спросил вдруг Гусев Панфила.

Но Панфил не отвечал. Гусев что-то пробурлил и ушел от него недовольный. Больные стали издеваться над ним.

С час после этого пролежал Горюнов, сердясь сначала на Гусева за то, что он, может быть, с худым намерением выспрашивал про его дело, но потом, как обыкновенно бывает с молодыми людьми, покинутыми и презираемыми даже теми, преступления коих, может быть, тяжелее его, он стал сожалеть, что так грубо оттолкнул человека, который его, неопытного в делах, может быть, хотел научить. Ему теперь самому хотелось поговорить с Гусевым, но как заговорить с ним после такого грубого обращения? Что скажут больные? «Снюхался!» — скажут и станут насильно выпроваживать его из лазарета.

Весь этот вечер Панфил провел мучительно, думая, как бы ему поговорить с Гусевым. Да и что это за человек такой? Кроме того, что говорили об нем больные, он ничего об нем не знал. Да и больные говорили об нем разно, потому что он уже давно находится в больнице. А коли давно, значит, он боится попасть в острог, откуда, как говорят больные, одна дорога: или в каторгу, или на

поселение. Одни из арестантов говорили, что это бывший писец никитинской заводской конторы и что он находился в бегах из острога несколько лет, жил по фальшивому паспорту и сам делал фальшивые паспорты. Другие говорили, что он обокрал заводскую контору и составил фальшивую расписку под руку приказчика, — и т. п. Одним словом, общее мнение больных состояло в том, что Гусев хороший мастер делать фальшивые билеты.

Между тем дело Гусева было очень простое и вместе с тем нешуточное. Он считался при главной заводской конторе писцом. По знанию заводского дела во всех отношениях он давно бы мог получить должность столоначальника, но никак не мог угодить начальству, которое на должности столоначальников определяло или за большие деньги, или свою родню. У Гусева было большое семейство; извлекать доходы он ни из чего не имел возможности, потому что сидел в таком столе, где никаким образом не мог получать их. Вот он и выдумал давать рабочим паспорты. Бланки и печать достать ему было плевое дело, оставалось только сделать подпись; и это не трудно — тем более что на подписи мало обращают внимания. Он занялся этим ремеслом и даже возбудил со стороны товарищей удивление тем, что скоро обшил свой дом тесом, завел лошадь и приобрел еще одну десятину покоса. Это, конечно, дошло и до начальства, которое стало допытываться до настоящей причины. И вдруг получается в главной конторе бумага от заводского исправника; при бумаге приложен билет отыскиваемого уже полгода рабочего. Исправник просит донести ему: давала ли контора билет рабочему, и если давала, то почему она доносила ему раньше, что этот рабочий находится в бегах? В конторе забегали, стали справляться, сличать почерки рук — и решили, что это дело Гусева, но по случаю именин управляющего его так и замяли. Гусев с этих пор стал еще осторожнее, но товарищи то и дело корили его тем, что он постоянно выдает фальшивые билеты и этим самым наживает много денег. Гусеву не давали покоя, Гусева старались согнуть в бараний рог; он все сносил терпеливо, но, наконец, доконали-таки его. Гусев часто ходил на почту за получением писем и посылок на имя конторы и управляющего; денежные же письма всегда полу-

чал казначей. Раз как-то управляющий приходит в контору и спрашивает: а кто получал в такое-то время из почтовой конторы на имя мое посылку? Казначей справился и сказал, что посылку получал Гусев. Гусев струсил, сказав, что он не помнит, получал или нет такую посылку. Справились в почтовой конторе — посылку получил, по доверенности управляющего, Гусев. Но Гусев признал почерк руки и расписку в книге за казначейские. А так как в заводе все писцы и должностные люди, учившиеся писать по одному почерку от одного учителя, за небольшими исключениями писали почти одним почерком, то и заключили, что Гусев доверенность на повестке сделал фальшивую и посылку украл. Его стали судить, не принимая никаких оправданий, тем более что как началось об нем дело, главная контора Никитинского завода представила заводскому исправнику два фальшивых билета, выданных Гусевым двум рабочим.

Во весь вечер Гусев не подходил к Горюнову, да и он все лежал, переворачиваясь часто с боку на бок. Горюнов часто смотрел на него. Он несколько раз намеревался подойти к нему, но самолюбие удерживало его и вечером и ночью, в продолжение которой в арестантской палате горела лампа. Утром, однако, он не мог преодолеть себя и, под предлогом напиться воды, подошел к нему; Гусев лежал на спине, заложивши обе руки под голову. Панфил робко взял кружку, открыл — воды не было.

— Ты говоришь... Ты хочешь писать учить... — начал нерешительно Панфил.

Гусев молчит; смотрит сердито на Панфила.

— А можно?

— Што можно? Научиться? — пробурлил Гусев.

— Ну? Научи...

— То-то... Зазнались уж вы больно... Предлагают, так чванитесь.

— А для чего учиться-то?

— Дурак! Ты што показывал-то? Помнишь ли ты, что ты показывал на допросах? Подписывал?

Горюнов плохо понял его слова и стоял, вытаращивши на него глаза.

— Вот то-то и есть. Ведь ты не подписывал?

— Нет.

— Ну. А там, может, такие крюки вписаны, што тебя, может, в убийстве обвиняют. Дурак!

Панфил Прохорыч улыбнулся бессознательно.

— Чему смеешься? Дело говорю. Што ты показывал, помнишь ли?

Горюнов не знал, что сказать. Он действительно не помнил, что показывал. Ему только хорошо памятны были наказания. Он все-таки не понимал, к чему это Гусев хочет учить его писать и какая от этого может быть ему польза.

Весь этот день прошел в советах Гусева о том, как он, Панфил, может много выиграть от обучения письму. Он на допросе может сказать, что его даже и не спрашивали прежде, а только постоянно наказывали. А что он был наказываем, так доказательством этому служит то, что он вскоре по прибытии в город попал в лазарет. Показаний он никаких не подписывал. Несколько больных, слышавших советы Гусева, одобряли это.

Но как учиться писать? Не только у Гусева, но и во всей палате не было ни куска бумаги, ни карандаша. Так прошло мучительных два дня, в которые Гусев учил Панфила писать его фамилию и имя углем на столе. Панфил почти все угли издержал из печки, черкая на столах и стенах, и на третий день удивил докторов тем, что под его подушкой найдено было несколько углей, а стол его весь исчерчен. Когда Панфил объяснил, что он учится писать, то доктор улыбнулся и сказал, что он или хитрит, или сходит с ума. Панфил стал просить у другого доктора бумаги и карандаш; доктор сказал, чтобы он обратился за этими вещами к начальству, и обещался поговорить об этом кому следует. О Панфиле, и в особенности его занятиях, заговорили все в палате, и некоторые даже приставали к фельдшерам, чтобы те принесли бумаги; но они грубо отговаривались от этого тем, что доктор еще *не прописал* для мальчишки таких вещей, а если не прописал, то и думать об этом ему нечего, а нужно лежать спокойнее до тех пор, пока его не выпишут в тюремный замок. Однако к вечеру один из служителей достал где-то два листа серой бумаги и карандаш, что больным стоило недешево, так как они все гроши свои выложили для того, чтобы им выучиться писать. Когда была принесена бумага и карандаш, охотников

учиться писать выискалось так много, что между ними чуть не произошла драка: подняли такой гвалт, что часовой, следивший за больными сквозь окошечко из коридора, принужден был позвать начальство, а оно послало солдат. К счастью, это событие кончилось ничем, потому что при входе в палату солдат больные затихли и успели припрятать бумагу и карандаш, а потом хотя некоторые из них и принялись учиться писать, но это занятие скоро надоело им, и они, послав его к чертям, скоро забыли о нем и с хладнокровием смотрели на Панфила, выводящего карандашом на бумаге разные *кривулины*. Панфил усердно занимался новым для него делом. Правда, он еще в заводе учился писать и читать, но занимался шутя, от нечего делать; потом, пробывши все лето на руднике, а зиму — на промыслах, он забыл почти все. Поэтому неудивительно, что в одну неделю, исчертив два листа бумаги, он уже мог разбирать печатное. И какова же была его досада, когда на другую же неделю учения его выписали из лазарета!.. Он плакал, молил фельдшеров и служителей оставить его еще на недельку — ничто не помогло. Пришлось расстаться с Гусевым, который учил его говорить на допросе следующее: фальшивый билет дал ему рабочий с приисков при хозяине кабака Борисе Евстигнееве, который сам и подписался на расписке; об этом рабочем знают Ульяновы, которые получили от него тоже пять рублей; из полиции он не бегал, а ушел потому, что двери были не заперты, и на том основании, что его хотели выпустить из полиции на свободу в тот же день, но не выпустили потому, что у него не было денег, которые просил за это квартальный, и что он никогда не подписывал никаких показаний, хотя и умел писать. На прощанье Гусев дал ему бумагу, на которой было написано черновое прошение.

В огромной каморе со сводами, находящейся во втором этаже, с двумя небольшими окнами, выходящими наружу к полям, с крепкими решетками, сделаны были нары как у двух стен, направо и налево, так и посередине каморы. В этой каморе помещался тридцать один арестант, большинство которых состояло из воров, беглых и непомнящих родства; были тут и обвиняемые

в убийствах, но только двое, и попали они сюда потому, что в других каморах для них уже не было места. Все они еще судились.

Утро. В каморе темно, сыро, душно. Хотя и полагались для арестантских камор ночники, но они исправно уносились в шесть часов вечера, тотчас после переклички. В окнах форточек не имелось, вероятно потому, что начальство считало роскошью для арестантов чистый воздух. Впрочем, некоторые арестанты имели свои свечи, и хотя строго запрещалось курение табаку не только в каморах, но и на дворе, однако арестанты свободно курили, вероятно потому, что само начальство курило в каморах.

В каморе тихо. Только изредка кто-нибудь пробурлит что-то; изредка кто-нибудь простонет или кашлянет — раз, два, три, охрипло, за ним последует кашель фистулой, потом кашель сухой, свистящий, и вдруг камора огласится смесью разных кашлей, ворчанием и плевками людей, бряцанием цепей, и немного погодя все это смолкнет — и опять или послышится кашель, или бряцанье цепей, или храп кого-нибудь... Зато в коридоре, за дверью, не умолкают шаги часового и изредка слышатся какие-то возгласы.

Лунный свет глянул сквозь оконные стекла и тускло осветил камору: в ней образовались две широкие косые полосы с темными черточками. Эти полосы, ложась от окон до печи и двери, тускло освещали только один угол каморы: они освещали несколько голов и кандалы, на которых только блестели заклепки; остальное было все мрачно. Но и этот свет вдруг исчез за густыми громадными тучами. Он никого как будто не разбудил.

Но вот слышится, кто-то как будто скребет и скребет — то скоро, то сильно, то тихо — и вдруг перестанет. Вдруг что-то как будто треснуло, посыпалось, и опять настала гробовая тишина.

Опять кто-то скребет.

— Какой тут дьявол?! — слышится чей-то голос в углублении каморы, почти в самом углу.

В каморе тихо. Немного погодя слышится скрип нар, зевки, царапанье кожи.

Панфил лежит под нарами. Он только третьи сутки как прибыл сюда из лазарета и в это время не успел еще обзавестись своей *квартирой* в каморе. Положение его в

тюрьме весьма беспокоило; во-первых, он не находил себя ни в чем виновным; во-вторых, ему было досадно, что он, убежавши из полиции, не сел в любую лодку и не уплыл по течению реки. Но куда бы он уплыл? У него не было ни денег, ни хлеба! Без паспорта его никто бы никуда не принял, потому что в тех местах жители не особенно жалуют беглых, боясь, чтобы они их не обокрали, и предпочитая получить за поимку беглого платы от казны три рубля. «И за что такая напасть мне? Ну, хоть бы я украл что!» — думал Панфил.

Общество тюремных товарищей по каморе пугало его, потому что он почти ни в одном человеке не встретил сожаления к себе; все они ругались по-острожному, называли друг друга ворами, корили друг друга всем; у них, казалось, не было уже ни стыда, ни совести; они говорили такие вещи, от которых мороз по коже Панфила подирал. Ложь, обман, нахальство, грубость царили во всей каморе; ни с кем нельзя было посоветоваться, поговорить от души, потому что никто никому не только не сочувствовал, а ждал с нетерпением, когда кого-нибудь из товарищей, сидящих рядом и хлебающих прокислые щи из одного ушата, поведут на эшафот и будут наказывать плетьми. Это была любимая тема для заключенных, вероятно потому, что каждый, думая, что и ему не миновать тяжелого наказания, приготовлял себя к нему и тем самым утешал себя несколько. Панфил считал это общество за ад, ненавидел всех, и его язык не поворачивался говорить с кем-нибудь. Кроме этого, он видел, как грубо обращались с его товарищами даже солдаты, как эти заключенные всячески старались выслужиться перед солдатами для того, чтобы выйти во двор, получить лишний кусок хлеба... Панфилу, не привыкшему к такому обществу и неиспорченному еще, до того казалось оно противным, что он проклинал свою жизнь, грызя рукав своей грязной рубахи, пропитанной всякою гадостью. Ему хотелось даже разбить голову об стену, хотелось повеситься. Будь один, он придумал бы что-нибудь и лучше, но при теперешнем положении он лучше этого ничего не мог выдумать и только не приводил своих мыслей в исполнение потому, что повеситься не на что, бить свою голову об стену — больно; попробовал он руками давить шею — боли не вынес...

А кандалы на ногах брянчат; ноги словно разбухли, отяжелели... Даже в каморе он не нашел себе порядочного места: на нарах и так тесно, да и ими владеют люди — иные уже год, а иные и больше. Может быть, они и уступят ему место, но за деньги, а денег у него нет ни гроша. У него уже третий день, как болит желудок, и он никак не может хлебать прокислых щей; сухие корки ржаного солдатского хлеба опротивели ему... Одно его немного утешало в это время — это то, что вчера ему писарь переписал прошение и сегодня он надеялся подать его стряпчему.

Вдруг слышит он, что кто-то над ним не то шепчет, не то сопит... И слышит он вдруг слова: «Богородица дево, радуйся, благодатная Мария, осподь с тобою... Милосердия двери... обрадованная дева, матерь божия, раба своего защити и помилуй...»

Стало тихо... Вдруг кто-то зарыдал над ним... Рыдает кто-то — и долго, долго, тяжело рыдает, точно вся внутренность его хочет перевернуться.

Слушал, слушал Панфил, грустно, тяжело ему сделалось, сердце сдавило, горло точно кто обхватил ему... Выполз он кое-как из-под нар, встал на колени, заплакал, зарыдал... Ничего он не чувствует, ничего не слышит; стоит он, понуривши голову, а слезы, жгучие слезы, так и льются из глаз.

— Осподи! Осподи Иисусе Христе!! — вопит Панфил и ничего больше не может произнести от неудержимых слез. Сердце давит, голова отяжелела, глаза не могут глядеть в темноту.

— Кто это сопит? — крикнул кто-то вблизи Панфила.

Панфил вздрогнул, и рыдания его еще больше усилились. Он положил голову на пол и плакал пуще прежнего.

— Никак мальчонко плачет.

— Не трожь! Молитву творит.

— Господи, спаси и помилуй!

— Мальчонко! А мальчонко! Што воешь-то? Али поможешь горю?

— Вот ты, собака, николды крестом образины не перекрестишь.

— Сам хорош, сволочь! — говорили с разных сторон арестанты.

— И как вам, братцы, не стыдно! Али у вас совести ни на грош нету-ка? И из-за чего вы это крик-то подняли, бесстыжие люди, прости господи? — говорил кто-то далеко от Панфила.

— Молчи!

— Где у вас, у мерзавцев, бог-то? Еретики вы проклятые!

В каморе настала тишина. В это время Панфил уже не плакал, а усердно молился, прося бога и богородицу избавить его от великой напасти. Ему было теперь легче.

Раздался продолжительный звонок по коридору. Арестанты уже разговаривали. Разговоры вертелись около острожной жизни и воспоминаний прошлого, и все это приправлялось хохотом, остротами, руганью со всех сторон, так что говорили почти все разом. Теперь уже Панфилу молитва не шла на ум. Он стоял около нар. Ему хотелось заговорить с тем, который молился, но тот лежал неподвижно.

— Дядюшка! — сказал он, дернув что-то попавшееся ему в руку.

— Ах ты, собака! Што ты теребишь, аспид!

— Пусти посидеть.

— Есть вас всяких. Пошел!!.

Панфил удивился: этот человек молился недавно — и вдруг теперь даже слова не хочет сказать как следует.

Осердился Панфил и крикнул:

— Съел я у те место-то! Черт!

— Што чертыхаешься-то, щенок! Давно ли молился-то?

— А ты-то? Кто даве быком-то ревел?

Арестант замолчал и подвинул ноги. Панфил сел. Разговоры арестантов нисколько не интересовали его; он понимал, что они всё врут, бахвалятся. Ему хотелось бы приказать им, чтобы не кричали так... Ему потом завидно стало, что они так речисты, скоро находят остроты, и он думал: «Куда нашим мастеровым против них! Сто слов на одно слово скажут, закидают словами. И бабы наши в подметку им не годятся, нужды нет, что речисты и куды как горласты...» Наконец ему надоело слушать, голод мучит, хочется пить.

— Ах, убегчи бы! — шепчет он и сжимает кулаки.

— Чево? — спрашивает его арестант, лежащий около него на наре.

— Убечь!

— Хо-хо! Молод, брат!

— А ты бегал?

— Известно... дело привычное. На шафоте пробовал, опять буду пробовать — и опять утеку в леса.

— Ты из лесу?

— Ну да.

На этом разговор и покончился.

Загремел замок. Отворили дверь. Пар хлынул в камору и скоро наполнил ее до того, что огонь на свечке мелькал тускло.

— На ноги! — крикнул унтер-офицер.

Арестанты заговорили. Послышались шлепки; унтер бил по щекам арестантов обеими ладонями.

— Руки отобьет! — кричат арестанты и хохочут.

— Равняйсь!!. — кричит унтер.

Арестанты ругаются, половина из них равняется, то есть подходит на середину каморы и становится перед унтером.

— А вы? а вы? я вас! Розог! — кричит унтер на остальных.

Два человека нейдут с мест. Унтер записывает их и начинает перекличку. Все.

За унтером запирается дверь; опять гремит замок. Арестанты ругаются.

— Уступи ты мне местечко, — просит Панфил того арестанта, который утром молился.

— Што дашь?

— Да што дать-то?

— Ну, и убирайся.

Идет Панфил к другим, его гонят прочь. Некуда ему приютиться... Светает.

Опять гремит замок. Входят двое солдат с ружьями, унтер и еще двое солдат без ружей, палач в красной ситцевой рубашке и плисовых шароварах и смотритель. Арестанты встают на ноги.

— Которые?!. — кричит унтеру смотритель.

Унтер вызывает двух арестантов.

— Раздеть!

— Ваше благородие... Я... ноги отекли.

— Ра-а-з-деть!!. Я вам покажу! Эй, ты, мальчишко! мальчишко?!. — крикнул вдруг смотритель на Панфила, который, сидя на нарах, смотрел с разинутым ртом на смотрителя, которого он видел еще в первый раз, так как он являлся в каморы только в экстренных случаях.

Все оглянулись на Панфила.

— Взять! — кричит смотритель.

Один из солдат подошел к Панфилу и потащил его к смотрителю; Панфил стал барахтаться.

— В секретную! — кричал смотритель. — Ты што? шельма! разбойник! — кричал смотритель.

— Розог! — крикнул вдруг неистово смотритель.

Явилось четыре солдата с охапками розог. Началась секуция. Наказывали двоих арестантов и Панфила. Смотритель был недоволен тем, что их наказывали концами розог, он то и дело кричал:

— Комлем! Крепче! Я вам!

Кое-как Панфил встал с полу. Он не понимал, за что его наказали.

Арестанты хохочут.

— Молодец, мальчонко..., стерпел! Вынесет и плети...

Панфил заплакал; над ним еще пуще стали смеяться. В каморе делается светлее. Яснее и яснее обрисовываются лица арестантов, бледные, исхудалые, с различными выражениями, с бритыми затылками, с черными от грязи холщовыми рубахами. Большинство арестантов копошилось на нарах, меньшинство или ходило, или сидело в различных позах.

Опять отворили дверь. Вошли два часовых, унтер и писарь.

— Безукладников! Соловьев! Кузьмин! Возьми!.. — кричал писарь, обращаясь при последнем слове к солдатам.

— Одевайся! На работу! — кричал унтер и потом, обратясь к писарю, сказал: — трех мало с этой каморы. Вон этого мальчишку еще надо.

— Мальчишко? чей?

— Горюнов, — сказал негромко Панфил.

— Пошел на работу!

Панфил чувствовал сильную боль, но не протестовал против такого распоряжения, потому что ему очень

хотелось выйти на свежий воздух, увидать людей. И он скоро вышел на двор, в сером арестантском полушубке, покрывавшем его ноги ниже колен, с черным клеймом на спине, в круглой серой арестантской шапке, тоже с клеймом на верхушке, и в худеньких сапогах, тех самых, в которых он был привезен из завода в город. Тяжелые кандалы еще более усиливали его страдания; он шел коекак, но солдат, шедший сзади его, толкал его кулаком в спину.

Скоро они вышли за острожную ограду.

Хотя в тюремном замке и было много таких арестантов, которые уже были присуждены к тюремному заключению и употреблялись на городские работы, но смотритель находил для себя выгодным назначать в работы еще не присужденных к тюремному заключению решением судебных мест и назначал преимущественно обвиняемых в кражах — во-первых, потому, что эти арестанты не бегали, а во-вторых, — он деньги, которые платили им за работы по закону, получал себе. Впрочем, арестанты рады были тому, что они целый день пробудут несколько на свободе, не в остроге, и увидят свободных людей, которые дадут им хоть копейку денег. Так и Панфил, несмотря на то, что был измучен, дышал на улице свободнее. И как ему хотелось не ворочаться больше в тюрьму! Только, встречая людей, ему стыдно было смотреть им в глаза; когда товарищи его протягивали руки, прося христа ради подать несчастным, ему совестно было протянуть свою руку. Но когда он, проходя мимо рынка, увидал, что товарищи его купили себе по копеечному калачу, у него пропал стыд, и он сделался назойлив. Но благодетелей было мало.

Работа была не очень трудная: арестанты пилили дрова и могли свободно разговаривать с крестьянином, раскалывавшим поленья. Для них незаметно прошло время до обеда, они работали охотно и, казалось, совсем забыли про тюрьму, только солдаты с ружьями, кандалы и арестантские полушубки напоминали им, что они опять вернутся туда, а обращение с ними хозяйской прислуги, которая уделяла им из жалости заплесневшие корки хлеба и обглоданные кости, приводило к тому тяжелому сознанию, что они преступники. Здесь не было тех ругательств, какие происходили с утра до ночи

в тюрьме, а все они больше молчали, вздыхали тяжело, обдумывая прошлое и настоящее и содрогаясь о будущем, которое им рисовалось в довольно неказистом виде. Даже солдаты были не так грубы с ними и от скуки помогали им пилить дрова.

День приближался заметно к концу, нужно было опять идти в тюрьму; арестанты сделались ожесточеннее и молчаливее. Один только Горюнов надоедал солдатам тем, что ему хочется достать бумаги и карандаш. В доме у хозяина, у которого работали арестанты, ни того, ни другого не оказалось. Однако Панфил, выходя из кухни, успел стащить с полки, находившейся в небольших сенях, булку — и сделал это так ловко, что солдат не заметил. А сделал это он бессознательно: увидал булку, сдернул ее и спрятал. И только дорогой на него напал такой страх, что он не знал, что ему сделать с кражей и куда ее девать. Что скажут арестанты, которым он говорил, что он сам не знает, за что сидит? Ему несколько раз хотелось бросить булку, но голод брал свое, и он крепче прижимал булку, так что на него обратил внимание солдат.

— Што ты ежишься, собака? — крикнул солдат на Панфила.

— Ничего, — отвечал тот.

— Стой-кось?!.

Солдаты остановились, все окружили Панфила — и вдруг все захохотали.

— Ах, вор! Ах, мошенник! — говорили они и во всю дорогу заставляли рассказывать Горюнова о краже. Но в тюремном коридоре солдаты отняли у него булку, говоря, что они берут ее за труды.

Нечего и говорить о том, что о Панфиле вся камора рассуждала как об молодце, который в таких делах далеко уйдет вперед. Теперь уж ему дано было название *булочный вор,* и этим именем его все называли вместо фамилии.

Ни на другой, ни на третий день Панфила не посылали на работу. Камора отворялась только в известное время, да разве какого-нибудь арестанта выведут из нее для отобрания в суде допросов или введут этого арестанта после допроса. Скука была страшная; арестанты повторяли ежедневно всё одно и то же и ругались всё злее и злее. Малейшее происшествие в остроге, узнан-

ное как-нибудь случайно, малейшее событие, переданное арестантами, требовавшимися в суд, и, может быть, неверное, изобретенное самими же арестантами, — все это оживляло камору, двигало мозги каждого. Говорили все, каждый старался отличиться перед другими остротами, шутками, каждый старался доказать, опровергнуть и переспорить ругательствами. Через неделю после того, как Панфил ходил на работу, в камору приходил прокурор, и Панфил подал ему прошение. Арестанты говорили, что за эту жалобу достанется Панфилу, но он надеялся, что дело его, может быть, кончится скоро, потому что сестра его в это время жила у судейского заседателя. И в самом деле, через неделю он был выпущен, обокрал сестру и исчез неизвестно куда. Пелагея Прохоровна очутилась без денег и к тому же, по неудовольствию с хозяевами, лишилась места...

XV

Удойкинские золотые прииски

Горюнов и Ульянов очень радовались своему путешествию на прииски; первый предполагал забрать какой-нибудь прииск в руки, то есть сначала оглядеться, расположить рабочих к себе, познакомиться с раскольниками, которые непременно, по его мнению, должны были жить недалеко от приисков, и потом самому сделаться доверенным. Ульянов радовался тому, что давнишнее желание добывать золото исполнится. Он не хотел быть доверенным; нет, ему хотелось только иметь золото, продавать его — и в то же время жить ни от кого независимо. Он мечтал о том, чтобы ему дожить свои дни в покое, чтобы у него была жилая избушка, непременно около ключа, и в лесу водилось бы много птиц, за которыми, от нечего делать, можно было бы поохотиться. Хозяйка варила бы ему пиво и брагу, дети бы подросли, сыновья поженились, а дочери вышли замуж, жили бы недалеко от него и каждый большой праздник приходили к нему. Славно бы было Ульянову! Но Горюнов и Ульянов, думая каждый сам о себе, в то же время не хотели ни работать, ни жить вместе, находя, что если они будут жить вместе, то никогда не достигнут своих целей; этого друг другу они, однако, не высказывали. Вообще как Горю-

нов и Ульянов, так и Кирпичников редко говорили друг с другом. Когда они останавливались ночевать (по ночам Кирпичников боялся ехать), то говорили хозяевам, что они люди торговые, ездили в город, да оттуда воротились ни с чем, потому что их обокрали. А дорога была дальняя, тем более что они ехали по проселкам, во многих местах занесенным снегом и узким до того, что, сидя в санях, нужно было постоянно нагибаться, чтобы по лицу не хлестало широкими ветвями дерев. Чем дальше они ехали, тем местность была лесистее, гористее, дороги были хуже и хуже, приходилось раза по три, по четыре переезжать через узенькие речки с крутыми берегами; меньше и меньше им стало попадаться сел и деревень, самые деревни были очень бедны на вид, да и гористая местность, повидимому, очень мало приносила пользы людям. Здесь, в этих деревнях, с пятью-шестью домиками, в это время жили только старики и старухи, не могущие ни пройти далеко, ни дома работать. Они уже отработали и доживали свои дни в нищете, водясь с внучатами. Молодых людей в избах не было — все они ушли на прииски. Здесь только и было речи, что о приисках, и местный житель не знал больше другого ремесла. Поэтому нашим путешественникам редко попадались встречные мужчины. Эти люди, идя по одному или не больше трех, завидя сани, заворачивали с дороги в сторону, несмотря на то, что вязли по живот в снегу. Если же какой-нибудь человек, большею частию татарин, с дороги не сворачивал, то Кирпичников брался за ружье и зорко следил за движениями пешехода и оглядывался часто, до тех пор, пока, по его мнению, опасность не миновалась.

— Время теперь самое опасное, — говорил он: — того и бойся, штобы кто не выскочил из лесу и не ударил тебя быстрыгом (толстой палкой). Теперь самое удобное время бегать из тюрем али из каторги, потому снег. Мы вот едем по дороге, а беглый бежит по полю али по льду на речках на лыжах целый день, и если нет лесу, верст шестьдесят может откатать... Тоже с приисков бегают таким манером. Я в первый раз так ехал — не берегся, да как напало на меня четыре человека, стал бояться. И ружье не помогло!

Наконец путешественники въехали в холмистую местность, без леса, с изрытою во многих местах землею,

с высокими в разных местах насыпями, в которых торчали или шесты, или просто палки. Кое-где на ней были разбросаны обгорелые бревна, торчащие из-под снега, кое-где лежали в кучках дрова, кое-где виднелись разоренные постройки с высокими полуразвалившимися трубами. В одном месте жгут дрова, обсыпанные землею, а недалеко от этого навалены в беспорядке в большом количестве угли; в другом сделано подобие кирпичного сарая, на досках которого в разных местах лежат кирпичи. Это был покинутый прииск. За ним, по обеим сторонам дороги, стали появляться столбы с выжженными буквами, просеки с обгорелым редким лесом, с накладенными в нем во многих местах кучками дров; дальше — справа лес густел, слева был только кустарник, который, чем дальше ехали путешественники, тем больше и больше редел. Тут начинались Удойкинские прииски. Холмистая местность казалась как будто загороженною с запада и севера высокими грядами гор, на вершинах которых белелись снега, а бока поросли черным лесом; с юга и востока пространство застилалось лесом, который чем дальше, тем становился как будто бы выше. Издали казалось, что горы как будто шли прямым треугольником около приисков, преграждая дальнейший путь, но между тем чем дальше путешественники въезжали на прииск, тем больше этот угол расширялся, серел и принимал разнообразный вид. Тут же, при подошве гор, текла быстрая речка Удойка с очень холодной летом и весною водой. Все пространство большею частию было изрыто, и холмы были прокопаны. В этих местах постройки уже были частию сложены, частию заброшены, но по ним можно было судить, что они построены недавно. В настоящее время у подошвы горы была выстроена большая изба с четырьмя окнами, выходящими на речку Удойку. К этой избе наши путешественники и подъехали, так как она служила жилищем доверенного, в ней останавливались земская полиция, ревизор и другое начальство. Около крыльца с пятью ступеньками, по которым ходили в избу, стояла паровая машина, ничем не покрытая и без всякого призора. Недалеко от нее, направо, у самой речки, стоял дом в три окна с фигурными ставнями у окон. За домом, вплоть до подошвы горы, все пространство было огорожено плетнем. Тут жил мастеро-

вой Костромин, торгующий водкой, пивом, хлебом, калачами. Наискосок от этого дома, за речкой Удойкой, стояла большая изба для рабочих. За нею, в одной версте, стояло что-то похожее на амбар, но с трубой на крыше. Тут была баня с полком, в которой, на полку, жили преимущественно женщины, не желавшие жить с мужчинами в большой избе, а внизу, около полка, — лошади, справлявшие работы на погонах, употребляемых для растирки песков. За этими постройками, окруженными каналами с перекладинами на них для ходьбы, в двух местах стояли четыре большие избы, сколоченные из досок, каждая с тремя большими окнами, из коих было два по бокам, аршина на два от земли, а одно в середине, сделанное почти вровень с землей, и с железными трубами, из которых шел или дым, или пар. Из этих избушек, где производилась промывка золота, слышался стук, как от действия машинами, и песни нескольких мужских голосов. Около каждой избушки, между четырьмя столбами, вокруг каждого столба ходят, погоняемые мальчиками, по четыре и по пяти лошадей, которые приводят своею ходьбою в движение два каменные круга, вделанные у стены в перекладину и приводящие, с своей стороны, в движение толчею, находящуюся в избе и имеющую вид молота, медленно, но грозно опускающегося в середину большой чаши, в которую сверху сыплют из тачек руду. Около краев чаши стоят рабочие с молотами и граблями или боронами, и первые из них разбивают мелкие куски руды, а вторые сгребают размельченную руду в трубу, откуда она поступает в вашгерт, или деревянный ящик с нагретою водою, приводимою в движение посредством ручного колеса. Через дно этого ящика вода просачивается с мелкими частицами руды в корыта, или желоба, сделанные немного наклонно. Осаждающийся на дне этого желоба золотой песок рабочие подбирают совочками и кладут в небольшие жестяные кружки с печатями. Несколько человек накладывают промытую землю, в которой не содержится золота, в тачки и отвозят по доскам прочь.

Дом доверенного, или *изба,* как его называли попросту, состоял из прихожей, двух чистых комнат и кухни. Он принадлежал владельцу прииска, какому-то дворянину, как и все прочие постройки. Кирпичников был

встречен приказчиком, исполнявшим на приисках должность нарядчика, и ревизором-чиновником, обязанным следить за тем, чтобы золото вымывалось как следует и не поступало в руки рабочих.

— Ну, братец ты мой, насилу мы дождались тебя! — проговорил приказчик.

— Што так?

— Да золота очень мало. Вон Яков Петрович придирается: говорит, плохо следишь! А я говорю, чем бы на птиц ходить с ружьем, взял бы сам и стоял да смотрел, как и что промывают.

— Нет, Гришка, воруешь! — сказал чиновник.

Начались перекоры.

— А вот мы посмотрим. Надо узнать, сколько промыто грязи.

— Весили, братец ты мой! Изо ста пудов вышло только две доли.

— Ха-ха! да кому ты говоришь?

Между тем рабочие подходили со всех сторон к избе, и через час их было уже человек до пятидесяти. Тут были и татары и башкиры в серых войлочных зипунах и меховых бараньих треугольных шапках, или *малахаях*, черемисы, зыряне и калмыки — в полушубках, зипунах и просто в рубашках, в разнообразных меховых шапках; тут были мужчины и без шапок, с завязанными тряпицами или платком щеками и ушами, и раскольники в востреньких плисовых шапочках; тут было до десяти женщин, из которых двух можно было сразу назвать татарками по широким шароварам, с повязанными холстом головами и в продранных бараньих шубах. На большинстве надеты лапти, на меньшинстве — валенки из войлока. На руках у мужчин надеты или кожаные, или большие собачьи и бараньи рукавицы с вывороченною наверх шерстью; у женщин — шерстяные варежки. Некоторые держали на плечах лопаты; некоторые упирались ломами, как палками; большинство переминалось, не держа ничего в руках. Все голосили, каждый на своем языке, и не обращали никакого внимания на крики и угрозы казаков.

— Работать надо! Пушла, руска мужик, пушла! — кричали казаки, грозясь нагайками.

— Нечего гнать русских! Свою братью гони.

— Погонять моя твоя будит скоро на булшой дорога! Собак!

Но, повидимому, казаки только для вида исполняли свою обязанность и кричали по привычке командовать.

Народ, несмотря на то, что стоял в одной куче, разделялся на несколько небольших кучек по нациям: так, татары стояли с татарами, русские с русскими, рассуждая только между собой; с другими они только огрызались. У всех на лице виднелось нетерпение, ожидание чего-то, и только по нескольким башкирским лицам можно было заключить, что, кроме башкир, всем не очень-то хорошо здесь; лица же башкиров, кроме выражения суровости, не изображали ни горя, ни радости.

Вышел Кирпичников с приказчиком.

— Здорово, ребята! — сказал он, сняв шапку.

Кое-кто снял шапки, кое-кто произнес что-то.

— Вы ленитесь, шельмы! — проговорил приказчик.

— Расчет подай! Деньги дай!

— Приказчик говорит, что он отдал деньги, — сказал Кирпичников.

— Што он отдал? Хлеба нет. Для того, што ли, мы пришли сюда?

— Никто не держит, голубчик. Знаю я, откуда ты!

— Деньги подай! Што нам голодом, што ли, быть?

— Сегодня, братцы, мне некогда, — и приказчик ушел.

Рабочие заговорили, приняли угрожающий вид; казаки хватились за винтовки; Кирпичников засунул правую руку за полу тулупа.

— За что вам платить, когда вы ничего не делали! Много ли золота-то без меня промыли? Всего только четверть фунта! — кричал Кирпичников.

— Врут! Они воровали!

— По местам!

— Деньги подай! — И рабочие подошли к избе.

— Это видите! — крикнул вдруг доверенный, вытаскивая пистолет. — Смей только кто подойти!

— Приказчика вытребуй! Зачем он ушел? Трус!

— По местам! Я сейчас буду на приисках!

И доверенный ушел в избу. Рабочие пошли в свою.

Изба рабочих имела большие полати, на которых

умещалось до двадцати человек; под ними и около стен стояли широкие скамейки из тонких досок.

В избе было темно, дымно, угарно и сыро; на полу лежала грязь, да и скамейки не отличались особенною чистотою. Придя сюда, рабочие стали ругаться.

— Отчего ты, татарская образина, молчал?

— Моя все сказал. Твой куда язык девал?

— У тебя был лом!

— У тебя лопата. Боялся — собак стрелит!

— Вам бы только ругаться друг с дружкой, а до дела коснись, вы и ни тяп, ни ляп. Уж добро мы, бабы, христа ради робим, и денег нам дают меньше вашего, потому уж везде права наши одинаковы. А вы-то, вы-то, мужики!.. — кричала одна женщина.

— Сунься — коли он стрелять хотел.

— Не выстрелил бы, а лиха беда, один бы околел — не важность!

— А если бы в тебя...

— Не беспокойся! В тебя скорее бы попал! Вот уж некого было бы жалеть-то!

Рабочие захохотали.

И здесь рабочие разделялись на партии... Татары, башкиры и часть русских забрали себе полати; на печи спали казаки и бабы, исправлявшие здесь должность кухарок на рабочих, за что ни рабочие, ни доверенный им ничего не платили, так как они и сами ели готовое и имели время работать на приисках, недалеко от избы, за что им и выговорена была плата по пятнадцати копеек; на скамейках спали остальные, которых не пускали ни на полати, ни на печь. В числе этих были две татарки с своими мужьями и двумя парнями-татарчонками, пришедшие сюда недавно, и несколько человек беглых, которых, впрочем, никто, кроме доверенного и приказчика, не спрашивал, кто они такие, но которым часто приводилось брать место с бою; ребята спали на полу, а если было свободно, то и в большой печке.

Эти разнородцы постоянно ссорились друг с другом, смеялись друг над другом, задирали на ссору, высказывая каждый свое умственное и физическое превосходство. Попрекам не было конца, потому что каждый считал другого за вора, мошенника и пройдоху и доказывал это тем, что честный человек не пойдет в работу на при-

иски. Но какова ни была жизнь в избе, все сходились в нее, каждый ложился на приобретенное им место, и никто не выдавал перед начальством другого, если замечал за ним что-нибудь. Так, если татарин знал, что русский клал между складок лаптей несколько песчинок золота, он никому не говорил об этом, а старался как-нибудь обменить этот лапоть. Если проделка татарину удавалась и об ней узнавали рабочие, то татарина долго грызли русские, преследовали за воровство ругательствами везде, — и наоборот. Но никто не смел объявлять об этом начальству, опасаясь за свою жизнь, потому что здесь суд был короток: ябедник на другой же день оказывался убитым где-нибудь во рву.

Две женщины стали доставать из печи котлы с кислыми капустными щами. Один котел принадлежал христианам, другой — иноверцам, потому что ни те, ни другие не хотели есть вместе, чтобы не опоганить себя.

Начался крик, свалка; рабочие кинулись за чашками, лежащими под печкой. Чашки были грязны. Кто не брал чашки, развязывал узелок с хлебом.

В избе стал подниматься пар от нескольких чашек, которые держали на коленях рабочие.

Пришли женщины со своими чашками и ложками. Опять крик, свалка; женщины голосят пуще мужчин, а у одной пищит на руках грудной ребенок. Женщинам некуда было сесть.

— К чему ты эту куклу-то с собой взяла! — крикнул один рабочий.

Женщина не обратила на него внимания и полезла за щами, но ей уже не досталось щей.

— Дайте хлебнуть христа ради, — просила женщина.

— Што делала?

— Мальчонку кормила... Дайте ложечку...

— Самим мало.

— Погодите же... Припомню же я вам.

— Машка! Иди, дам ложку.

Женщина рванулась в ту сторону, откуда послышалось приглашение.

Молодой рабочий стоял с чашкой у железной печки, то нагибаясь, то приседая, то ворочаясь и закрывая руками чашку для того, чтобы в чашку не загребали ложками.

— Хлебай скорее! — и он присел на пол, не обращая внимания на толкотню.

Женщина с жадностию стала хлебать, не обращая внимания на то, что щи простыли и прокислые. Ребенок пищал.

— У! — произнес мужчина и ударил по голове ребенка ложкой.

— Варвар! не жалко тебе своего-то ребенка! — крикнула женщина, ударив по лицу мужчины кулаком.

— Говорю, расшибу!

— Смей...

. . . .

. . . .

— На работу!.. Доверенный идет осматривать, — крикнул приказчик, входя в избу.

— Скажи, не пойдем.

— Братцы! Мне-то разве охота неприятности получать! Ведь он говорит: дери их чем попало...

Рабочие стали ругаться, и немного погодя половина ушла на работу, из другой половины одни легли, жалуясь на нездоровье, другие прикладывали к головам снегу и валились в снег: они угорели.

Добывка руды происходила в это время в трех местах, в логах и в небольшой площади, по обеим сторонам речки Удойки. В логах рабочие копали слой глины параллельно площади, следя за полосой, в которой, по их мнению, должно находиться золото; на площади же копали внутрь. Доверенный осмотрел работы и позвал рабочих к своему дому.

Через час он раздал деньги и велел завтра гулять. Рабочие, в том числе и женщины, отправились к Костромину.

Это был седой высокий старик. Ему было более ста лет. Он очень рано начал работать в рудниках и с приисками был знаком больше, чем кто-нибудь. Настоящий прииск он уступил теперешнему хозяину за тысячу рублей и выговорил себе право торговать на прииске хлебом, водкой и т. п. В городе у него был сын купец, а здесь с ним жил женатый племянник, который ему помогал торговать. В город он не ездил, потому что, как он говорил, не любил городской жизни и порядков, не любил и сына, который стал совсем другим человеком, отстав от дедовских обычаев. Рабочие любили старика

за то, что он забавлял их рассказами. Особенно он любил рассказывать о Пугаче, который чуть-чуть его не повесил на колокольне за то, что он, бывши старостой в единоверческой церкви, держал икону вниз головой в то время, как Пугач прикладывался к ней.

От дома Костромина не было отбою; племянник, племянница и он сам то и дело высовывали руки из окна, спрашивая бумажку. Рабочий подавал бумажку, на которой был записан забор. Костромины, сосчитав долг, писали цифру и объявляли ее в окно.

Костромины не пускали к себе в дом вечером, потому что при свалке ничего бы им не поделать с рабочими. Они уже были научены опытом, что рабочие при получении денег прежде уплаты долгов старались забрать что-нибудь от содержателя лавочки и очень скоро опрастывали даром бочонок с водкой.

Народ между тем с ожесточением толкался перед окнами, ругая друг друга, колотя в спины, не разбирая личностей, потому что каждому хотелось просунуть свою руку с бураком в окно.

— Пива! Водки! Кумыс! .. — кричат рабочие.

— И што это за порядки такие — дверь запирать! Што он за барин! — кричат недовольные Костроминым.

Мало-помалу рабочие были удовлетворены. Каждый, отдавая с запиской долг, просил отпустить ему на столько-то копеек чего-нибудь. Костромины уничтожали старую записку, получая деньги, и, если денег недоставало, говорили:

— Десяти копеек недостает.

— Получай!

— Пиши в долг! — отвечал покупатель.

Через час каждый мужчина нес к избам по разнокалиберному бураку, в котором заключались водка, пиво или кумыс. Кроме бураков, мужчины несли кто калач, кто витушку, кто крендельки, кто кусок мяса, кто несколько огурцов, кто табаку. Женщины несли бураки с пивом и брагой. Вся эта толпа шла до избушек с хохотом, визгом и руганью. И если бы не этот гвалт, то всю эту публику можно было бы сравнить с тою, которая в крещенский сочельник идет домой с крещенскою водою.

Начапась попойка в мужской избе под свет сальной свечки, едва освещающей избу. Ребята сидели в кучке

у дверей, попивая пиво и водку из своих бураков и покуривая табак.

Невозможно описать тот гам, который происходил здесь. Говорили, кричали все, стараясь каждый похвалить себя и обругать другого чем-нибудь. Теперь здесь не было ни над кем никакого начальства, всяк чувствовал себя свободным человеком, не боясь никого. Все пьющие казались веселыми, и тех, которые казались скучными и которые отказывались принимать участие в попойке, заставляли пить силой.

— Ты што сидишь-то? О чем ты такую думу задумал?

— Лей на него! Лей в него — Костромин ответит!

— Не могу, братцы! — говорил больной.

— Слышите! Вытащимте его вон. Он худое замышляет!

И больной поневоле должен был пить.

У доверенного тоже происходил пир, но он сказал Горюнову и Ульянову, чтобы они отправлялись в избу к рабочим, так как он назначает их в работы наравне с прочими, и выдал им вперед по пятидесяти копеек.

Когда Горюнов и Ульянов пришли в избу, в ней было ужасно накурено махоркой; свет едва мерцал, рабочие — мужчины, женщины и ребята — пели разные песни, кричали, наигрывали на балалайках и гармониках и плясали.

— Штейгерскую! — Татарскую! — Кержацкую! — кричал народ во все горло.

Вдруг один запел:

Во Шадринском во селенье
Живут люди-староверы,
С давних уже лет...

Все подхватили последний стих и продолжали во все горло:

Они пастыря не знают,
Сами требы исправляют
Во всем Шартоше (bis).
Вот родятся, умирают
И усопших отпевают
Сами без попа (bis).
Вдруг является причетник,
Называется священник
Старообрядческой (bis).

Не спросив его письма —
Недовольно ведь ума! —
Приняли его (bis).
Не спросив его природу,
Лишь бы был долгобородый,
Тот у них и поп (bis).
Отвели попу квартиру,
Пребогату и не сыру...
Стал поп поживать (bis).
Ни об чем их поп не тужит;
Во часовне у них служит,
Как должно попу (bis).
Его слишком принимают;
Что попросит, награждают, —
Всё ему дают (bis).
Еще сведало начальство
Про попово постоянство —
Взяли попа в суд (bis).
Вот судить попа не можно,
Посадить-то его должно
В келью, за замок (bis).
Поп по лестовке спасался,
С кержачками жить ласкался...
Ты с ними простись! (bis).
Они все про то узнали
И не много толковали —
Прогнали его (bis).
Мы теперь тебе не други:
У тебя есть новы слуги,
Ходят за тобой (bis).
Комендьянты все, при лентах,
Всё лакеи в позументах,
Стерегут тебя (bis).
За серебряны монеты
Сокуют тебе браслеты
На ручки твои (bis).

Во время этой песни четыре раскольника, с стриженными напереди чубами, вышли на улицу.

— Што, братцы? — проговорил Ульянов.

— Всегда так! .. От пьяных покою нет. А ничего не сделаешь, потому как запретить? .. Всё же по крайней мере свои. А вот как татары заталамкают — хоть вон беги.

Шесть человек вышли из избы и увели Горюнова и Ульянова в избу.

— Угощай же! .. Вы с доверенным приехали! — кричали со всех сторон.

Отговориться нельзя было, и Горюнов с Ульяновым послали двоих рабочих по общему совету за водкой и пивом.

Началось опять пьянство с песнями и пляской. Горюнова и Ульянова приняли в товарищи, предоставив им самим выбирать место в избе для себя. Несколько человек уже ложилось спать, женщины, одна за другой, уходили.

— Татара-то! Татара-то! — прокричала одна женщина, восторженно вбегая в избу.

— Што? — спросило несколько голосов.

— Кобылу доверенного жарят.

Рабочие вышли из избы; недалеко от дома горел большой костер, и оттуда слышались татарские песни и пляски. В воздухе пахло нехорошо.

Рабочие долго удивлялись над проделкою татар. Каждый из пришедших давно уже не едал мяса, и каждому хотелось попробовать кобылятины, несмотря на отвращение в трезвом виде к этому кушанью, но обладатели кобылы не давали.

— Мы вам не мешаем, вы нам не мешай! — говорили магометане, засовывая в рот большие куски мяса и с наслаждением чмокая губами.

Русские стали приставать; магометане подсмеиваются.

— Вы с нами не хотите знаться, и мы не хотим с вами.

— Собаки! разве мы не делимся с вами!

— Много вы делитесь! Не вы добыли кобылу. Купите!

— Поделимтесь, — сказал казак.

— Што дадите?

— Водки хотите?

Магометане заговорили между собою. Одни говорили, что водку пить грешно, другие говорили, что они живут в таком месте, где водку пить можно: коли русским кобылу есть можно, и нам водку пить можно.

— Давай! — кричали татары.

— Садись, бабы, с нами, — лебезили около баб башкиры.

Бабы, опьяневшие от водки и желавшие перекусить горячего мяса, не противились. Русские начали ругаться.

— Што кричать! К нам же пришли кобылу *ашать!* — дразнили русских татары.

— Што взяли!! . Небось коровы не утащите! — дразнили, с своей стороны, женщины, входя в кружок иноверцев.

Появилась водка, начались пляски, песни — и долго-долго за полночь раздавались на приисках эти отчаянные песни, уносимые далеко по направлению ветра.

В мужскую избу возвратились немногие.

Горюнов и Ульянов легли на скамейку и долго не могли уснуть. Раскольники, не принимавшие участия в оргиях, говорили им, что прииски сначала были богаты золотом, а теперь с каждым днем золота становится меньше, так что эти прииски надо бы давно бросить, а начать в другом месте. О здешней жизни они говорили, что она хороша только понаслышке. «Вы видели, — говорил один из них, — как рабочие справляют получение заработка. А все оттого, что рабочим платят не каждые сутки, а когда случаются у доверенного деньги. Получивши деньги, рабочие не знают, что с ними делать, а отдать их на сбережение некому. Вот они пьянствуют, закупая провизию у Костромина, который их надувает не хуже городского торгаша, а самое ближнее село, откуда бы можно было получать провизию, находится в пятидесяти верстах. Истративши в два-три дня деньги, рабочие берут в долг хлеб и водку, мясо же у Костромина не всегда бывает».

— Обожглись, верно, мы, Терентий Иваныч, — сказал Ульянов.

— Посмотрим, — отвечал Горюнов, думая о том, как бы ему понравиться и доверенному и рабочим.

XVI

Горюнов действует заодно с практическими людьми

«Нет, так жить нельзя! — думал Горюнов, лежа утром на скамье: — если я все так буду только глазами хлопать, я и здесь ничего не приобрету. В заводе мне нельзя было ничего добиться, потому что там меня все знали, я ничем себя не мог заявить перед начальством.

Здесь дело другое. Здесь я могу выиграть... Стану я служить и начальству и рабочим...»

И Горюнов задумал сделаться казаком сперва, потом расположить в свою пользу рабочих прибаутками, кротостью и простоватостью, ласкать ребят для того, чтобы они его любили и сообщали всё, что они знают о приисках. А по его мнению, ребятам должны быть больше известны места золотого песку, так как они летом шляются по лесам. Не мешает также подделаться к какой-нибудь бабе, сойтись хорошенько с Костроминым и найти товарища из раскольников, которые говорят, что эти прииски нужно бросить, — стало быть, они знают другие места.

Утром Горюнов отправился к доверенному. Доверенный, приказчик и ревизор играли в стуколку, записывая выигрыши и проигрыши на бумаге. На другом столе стояла водка и жареные пельмени.

— Ты што? — спросил доверенный охриплым голосом Горюнова.

— Да наведаться пришел. В избе-то нечего делать... А вы не слыхали, что с кобылой?

— Ну? — спросил в испуге доверенный.

— Ее съели.

— Как? — доверенный вскочил; остальные захохотали.

— Так. Вчера ваш казак ее заколол.

— Отчего ж ты не сказал мне?

— Я только сегодня узнал.

Начальство перестало играть. Все отправились сперва в кухню, но там никого не было; в конюшне действительно не оказалось кобылы.

Приказчик и ревизор усердно хохотали над Кирпичниковым, который злился и доказывал, что ему за кобылу давали семьдесят рублей, да он не продал ее.

— Што же ты теперь делать станешь? — спрашивали Кирпичникова его приятели.

— Да што делать-то станешь? теперь все пьяны, сегодня остальные деньги пропьют. Пойти теперь к ним — на клочки растерзают, потому народ всякий... Но я им покажу, какова кобыла! Я их проморю.

— Смотри, чтобы другую не съели.

— Нет уж, дудки. Вам што... Хочешь быть казаком и состоять при мне? — спросил вдруг Кирпичников Горюнова.

— Если жалованья...

— Жалованья я тебе дам шесть целковых в месяц на всем готовом. Ну, да кроме того, ты будешь пользоваться доходами от рабочих, так что тебе придется получать в месяц рублей двадцать пять. Только смотри, держи ухо востро... Я знаю, што эти проклятые татаришки и башкиры только вид делали, что они усердно исполняют свою службу, а я думаю, они немало накопили денег и золота. А твоя обязанность будет состоять в том, что ты одну неделю будешь спать и находиться с рабочими, а другую — у меня... А теперь призови ко мне девок.

Горюнов стоял, улыбаясь.

— Што? смешно? Поди к бабам в баню и скажи: доверенный, мол, зовет... Да потом скажи... Ну, да уж я сам скажу...

О первом времени должности Горюнова и Ульянова, которого Кирпичников сделал тоже казаком, говорить много нечего. Башкиры и татары сильно их невзлюбили, бунтовали товарищей и даже в драке вышибли левый глаз Горюнову, вследствие чего доверенный должен был отобрать нагайки и винтовки от татар и заменить татар русскими.

Все русские обрадовались тому, что они выжили инородцев, а если теперь и остались черемисы, то они были и прежде очень смирны. Но больше всех радовался Терентий Иваныч, который своею добротою уже начинал привлекать к себе рабочих, работая с ними заодно на промыслах и забавляя их какими-нибудь смешными рассказами. Несмотря на то, что рабочих было меньше против прежнего наполовину, работы все-таки не хватало на всех, так что иногда нескольким человекам вовсе нечего было делать, потому что в действии были только две промывальни и раскопка земли производилась в одном месте, так как в остальных золота не находили и их бросили. Но и в этих промывальнях очень мало промывалось золота. Доверенный сердился, распекал казаков за то, что они даром получают деньги и действуют с рабочими заодно. Он никак не хотел верить тому, что

золота мало. А зима между тем свирепствовала, рабочие голодали и ежедневно осаждали избу доверенного, прося денег. Горюнов видел, что дело плохо, и говорил об этом Кирпичникову, но тот хотел взять строгостью, хотя от этого дело не поправилось: рабочие, в том числе и женщины, разошлись; с ними ушел и Ульянов. На прииске осталось только двое рабочих, Иванишев и Анучкин, и два брата Глумовы, из коих первые чего-то выжидали, а последним некуда было деваться, потому что их дядя, с которым они пришли на прииски, был кем-то убит прошлою осенью. Горюнов обласкал ребят и поместил даже жить с собой в кухне доверенного, где он уже имел приятельницу, тридцатипятилетнюю женщину Офимью Голдобину, которая и прежде стряпала здесь на начальство.

Доверенный очень запечалился и не знал, что ему делать. Чиновник уехал сдавать золото, уехал и приказчик разыскивать рабочих. Но дня через три после их отъезда — ночью уехал и доверенный с Иванишевым.

Запечалились и остальные, потому что доверенный забрал все свои бумаги и все вещи и ничего не сказал Горюнову.

— Бросили! экая оказия... — горевал Горюнов.

— Зато теперь мы поживем... Давайте сами промывать золото! — сказала неожиданно Офимья.

— Будь ты проклятая, чуча!.. Где мы его возьмем? — сказал Анучкин.

— Полно-ко, батюшка!.. Будто я не знаю, што у тебя на уме...

— Ну, коли знаешь, так молчи. Однако, где же это ты нашла такое золото?

— Как где — а вверх по речке!

Анучкин побледнел.

— Што, небось отгадала... Я, брат, все знаю, как ты оттуда по ночам руду носишь мешками на промывальни.

— Ну уж, молчи, пожалуйста.

— Небось один хочешь все себе забрать?

Хлеба у них было еще недели на две; Костромины сбирались уезжать, но Анучкин их отговаривал тем, что надо подождать до лета, авось прииск перейдет в другие руки, — и объявил, что он знает, где есть руда, и руда богатая, только нужно достать лошадей и телеги.

На другой день явилось на прииске шесть крестьян с шестью телегами. На общем совете было решено, чтобы золото делить поровну между Костроминым, Офимьею, Горюновым и Анучкиным, как главными руководителями этого дела, с тем, что они должны об этом молчать и хранить золото в секрете; остальным назначена была плата: при хорошей вымывке по пятидесяти копеек, а при плохой — по двадцати пяти копеек в сутки. За работу принялись все: Костромины, Офимья с Горюновым, Анучкиным и Глумовыми. Одни из них копали и возили руду в пошевнях к ближней промывальне. Каждый отдыхал не больше двух часов в сутки; о пище заботились тоже мало. Руда была действительно богатая, так что в первые дни намывали золота до десяти золотников, а на второй неделе в каждые сутки получалось не менее четверти фунта. На третьей неделе наши рабочие захотели отдохнуть и разделить между собою без спору золото. На долю Терентия Иваныча пришлось четверть фунта. Костромин уговорил своих товарищей свезти золото на хранение к своему приятелю, живущему в двадцати верстах от приисков, старцу Якову.

Старец Яков жил в таком месте, что летом добраться до него мог только человек, знающий одну тропинку. Он жил в небольшом домике с двумя сыновьями, которые работали на разных приисках летом, а зимою приходили к нему. Дом был окружен густым сосновым лесом; этот лес, с своей стороны, был окружен очень топким болотом. Поэтому к обиталищу Якова были положены в одном месте в траве жердочки, по которым мог ходить только человек привычный, понимающий, что такое равновесие, потому что в эту тину уходила целая сажень, если не больше. В ветер по этой импровизированной дороге никто не решался идти, потому что держаться приходилось только за тонкий камыш. Весною вся эта местность, верст на пятнадцать ширины, заливалась водой, и среди ее красовалось несколько островков. К этому времени Яков и его сыновья запасались на весь год мукою, приплавляя ее в лодке, и в это же время Яков ездил к одному богатому городскому купцу, тоже раскольнику, которому и сбывал золото. Впрочем, Яков не постоянно сидел в своем гнезде. У него много было дела и зимой и летом, но зимой его труднее было застать дома, потому

что тогда он больше всего опасался *облавы*. Летом он знал, что до него невозможно добраться; зимой же на его гнездо могли набежать беглые и разболтать о нем. Кроме же беглых, в эту местность, по его соображению, попасть было некому, так как кругом жили раскольники, и только разве могли зайти сюда еще землемеры, или межевщики, но и от них пока бог миловал. Яков был известен на большом пространстве; Яков держал, так сказать, на помочах раскольников; без Якова ни один раскольник не смел заявить о каком-нибудь открытом им месте золотого песку, — в противном случае с таким человеком разговаривать недолго. Яков заботился о том, чтобы раскольники были сыты, и если уж им было плохо, то он разрешал объявить о таком-то месте человеку на́большему, но ничего не смыслящему в приисковом деле, и этого человека указывал сам, так как он имел от своих большие сведения о всем, что главнейшим образом творится в государстве. Яков был известен и начальству, которому давно хотелось словить его; оно подозревало Якова в делании фальшивых денег, фальшивых серебряных и золотых монет, приписывало ему грабежи и убийства, хотя он во всем этом нисколько не был виноват; полиции вступали одна с другою в полемику из-за него, но Яков свободно жил в своем гнезде, гостил там, где ему было хорошо, и являлся на приисках. Якова любили все те, кто имел с ним дело, считали его за добрейшего человека и берегли его.

Зимой постоянных дорог к Якову не было проложено, потому что те, которые знали его, ходили к нему на лыжах, чтобы не оставалось следа. Лошади оставлялись на привязи в лесу под чьим-нибудь присмотром, недалеко от узенькой дорожки, проложенной дроворубами.

Костромин сказал Горюнову и Анучкину, что он пойдет один для переговоров с Яковом.

— Хорошо еще, согласится он видеть вас. Ведь в вашу душу не залезешь, — говорил он строго.

— Пожалуй, Дорофей Леонтьич... Мы понимаем, — говорил Анучкин.

— Тебя-то возьму, пожалуй, а ты, Терентий, подожди... Ты, пожалуй, дай мне на всякий случай золото-то.

Терентий Иваныч задумался: «А если они меня обманут?»

— Неужели ты думаешь, что мы с худым намерением взяли тебя с собой?.. Умеешь ли ты на лыжах-то ходить?

— Умею.

— Однако нам нельзя покинуть лошадь... Так как?

Горюнов отдал золото. Костромин и Анучкин ушли... Скоро Горюнов потерял их из вида и как ни заглядывал во все стороны, заходя в лес, не мог отыскать их.

Избушка Якова была бревенчатая, с двумя окнами, выходящими на юг и запад. В углу, против южного окна, была большая печь с лежанкою. На стенах, между окон, были наставлены один на другой медные образа. При входе Костромина с Анучкиным Яков, высокий худощавый старик, с черными волосами и бородой, в скуфейке и черном кафтане, опоясанном бечевкой, сидя на скамье, разговаривал с двумя раскольниками, ушедшими недавно с Удойкинских приисков.

— Иссякли?! — сказал, улыбаясь, Яков после обычных обрядностей.

— Бог не без милости, — проговорил Костромин.

— Благодарение богу. Надежный ли там караульник-то?

— Кто его знает... Мы с ним работали, так он нам нравится... Впрочем, я его взял для того, чтобы он не убежал и не объявил... А ведь мы намыли немало, с помощью божиею... Ну, а отсюда он не уйдет. Там в бураке пиво. Мы его смешали с табаком для крепости.

— Ну, так как же ты, Дорофей, думаешь?

— Да вот Тарасу Трифонычу Анучкину теперь очередь.

— Я давно знаю об этом месте, и другое у меня есть на примете... А дело наше такое, того и жди, чтобы не наехали... Только навряд ли и там будет много золота, потому доверенный, известно, в этом деле не смыслит. Столбы наставят, начнут рыть канавы, настроят изб и промывальни там, где не следует... Неужели я стану указывать!

— А если тебя сделают доверенным? Полно-ко морочить старых людей! Давно тебе, как видно, хочется в начальство попасть, да воли нет... Охо-хо!.. Замечаю я, нет нынче в людях той крепости, как в прежние годы; ненадежны стали нонешние люди. Отчего прежде об

этом крае и разговору не было? Отчего нынче здесь уже до сотни приисков разработывается?

— Но ведь все почти брошены, хоть и в них есть золото.

— Нет, ты мне скажи, отчего прежде-то об здешнем крае не было и речи? Все считали здешние места за самые негодные... Оттого, что жадность человека такова: ты ему дай щей, он захочет каши; ты ему рубль, он просит два... Обычаи городские стали нравиться, водка стала лучше браги; мало одной жены, по две завели... Поневоле жадность явится.

— Пожил бы ты в мире! — сказал недовольно Анучкин.

— Слава богу, сорок лет выжил, — это мне не укор, да и я не про тебя говорю. Ты беглый, тебе едва ли ловко в город-то явиться!

— Я на Дорофея полагаюсь. Пусть он будет доверенным.

— Избави бог! Пусть лучше внук мой будет.

— Делайте как знаете. А все бы обождать не мешало, потому что теперь многие из господ поостыли... ха-ха! Смешно мне, право, на этих людей: заслышали они, што есть в здешнем краю золото, и думают, что его можно лопатами грести. Что ж? Подождите немного; может, какой-нибудь денежный барин и решится доверить, Костромин, твоему сыну, ну, а ты, Тарас, помогай, да больше о своих старайся; делай так, штобы и тебе было хорошо, и барину, и нам.

Скоро гости расстались с хозяином, который дал за золото денег и обещался известить, когда пронюхает про простоватого, но денежного барина.

— Я ужо сына своего, Никифора, пошлю по весне разведать, и если он узнает, то предложит барину так: скажет, что он пошлет ему и мужика, который знает место, и доверенного. Ну, разумеется, объяснит все как следует, и Тарасу нечего будет бояться, потому богатство милее порядков: и беглого с почетом принимают где нужно.

С ними вышли и другие два раскольника, которые обещались хранить в секрете совет Якова с тем условием, чтобы им плата производилась больше других и у них не отнимали бы золото.

Костромин дал Терентию Иванычу двадцатипятирублевую бумажку. Терентий Иваныч посмотрел на свет бумажку, тщательно ощупал ее и, повидимому, не решался брать.

— Думает, фальшивая! Ошибаешься, друг. Яков этими вещами не занимается, — голову могу положить на отсечение, вот што.

— Нет... мало...

Костромин захохотал. Товарищи торопили Костромина ехать.

— Ты знаешь ли толк-то в деньгах? — спросил вдруг Костромин Горюнова.

— Не ты один... — начал Горюнов; но Костромин опять захохотал.

— Говорил бы, слава богу, што и это дали! В своем заводе тебе и во сне не приснились бы такие деньги, — говорил Анучкин, садясь в пошевни, в которых уже сидели остальные. Костромин стегнул лошадь.

— Дорофей Леонтьич!.. Подожди меня-то, — сказал Горюнов, догоняя лошадь.

— Нет, мы тебя не возьмем! Ты недоволен...

— Што делать... я ничего...

— Иди куда хошь, а ты нам не товарищ.

Целый час Горюнов шел за пошевнями, упрашивая, чтобы его взяли, говоря, что он доволен всем; целый час Костромин и его товарищи не хотели брать его с собой, советуя ему идти туда, где лучше и где больше дают денег.

Но все-таки, проехавши верст пять, они посадили его, взяв с него клятву, чтобы он молчал об этой поездке и не выдавал их начальству.

Теперь у Горюнова исчезли все мечты о забрании в свои руки прииска. Он ясно понимал, что попал в ежовые рукавицы и должен будет работать на тех же, которых он считал своими товарищами и в руках которых находились прииски; эти люди знают приисковое дело, в сбыте золота не затрудняются, да и по прекращении работ найдут поддержку, как вот и эти двое раскольников, ушедшие с приисков назад тому месяц. Они и рабочих найдут, потому что в окрестности все жители знают их... А он, пришлец, мечтал... «Да, нелегко, Тереха, деньги достают и на золотых приисках. Уж, кажется, ничего нет

дороже золота, а и тут золото ни во что мне поставили. И как я надеялся, што на золотых непременно накоплю большой капитал и умру я не в бедности! а дело-то выходит, што здесь еще, пожалуй, хуже: того и бойся, што или убьют тебя, или ты поробишь-поробишь — да с тем же и уйдешь, с чем пришел».

Но где же лучше? — спрашивал себя Терентий Иваныч. Что скажут ему его приятели, родные, когда он воротится к ним и когда ему нечем будет похвастаться... Ведь и сам Терентий Иваныч видал у беглых мастеровых золото, и Короваев с ним нередко ездил в город с золотом. «Не надо было мне отдавать золото Костромину; надо бы мне было спрятать его, а потом и я бы привез золото в город», — подумал было он, но потом ему представились все опасности, каким подвергают себя на каждом шагу рабочие вне приисков, имея у себя золото, и то, как им дешево платят за него ловкие люди...

Что же делать? Неужели идти назад? Но куда идти с этими двадцатью пятью рублями, которые, может быть, еще и не деньги, а просто фальшивая бумажка? Да опять и то надо подумать: ведь он только что начал жизнь на приисках! Люди живут на приисках десятки лет, и все-таки не тянет их в другие места... А Костромин еще берет его к себе в компанию.

Все эти размышления убедили его, что ему надо пожить и потерпеть на приисках: «Авось, может быть, бог и поможет мне выйти из бедности в люди».

Костромин с товарищами застал на приисках земскую полицию, несколько человек из прежних рабочих, в числе которых был и Ульянов, приказчика, Иванишева и какого-то пожилого низенького человека в енотовом тулупе. Они бродили около речки и около ископанной недавно Костроминым местности. Несколько новых рабочих с крестьянами, работавшими с Костроминым, тесали бревна, копали землю и в разных местах ставили столбы. Какой-то господин в легком пальто что-то чертил на бумаге.

— Выдал, подлец!.. Ах, разбойник! — говорили Анучкин и Костромин, услыхав от одного нового рабочего, что сюда приехал открывать новый прииск сам главный доверенный и что Кирпичников уже не приедет, так как

Иванишев на него насказал много нехорошего главному доверенному.

Костромин и Анучкин очень сердились на Иванишева за то, что он, не спросясь их, *продал телку;* теперь оказалось, что и Костромин и Анучкин — оба знали об этой телке, каждый рассчитывал на нее, считая ее неистощимым богатством, которое они берегли много лет и к которому приступили только потому, что им нечего было есть. Про это-то место они и говорили Якову. И вдруг их же товарищ, свой человек, передал это место в руки того же барина, которому указал Удойкинский прииск Костромин. . .

По отъезде полиции главный доверенный выдал всем рабочим не в счет жалования десять рублей, для того чтобы расположить их к себе, и приказал им начать работы на новом месте.

Костромин с товарищами махнули на все рукой и остались на прииске.

С вечера началось пьянство на всем прииске, только Костромин с товарищами, в том числе и Терентий Иваныч, принятый в их компанию, долго вели между собою беседу, заключавшуюся в том, чтобы Костромину попрежнему заниматься с семейством торговлей, а прочим работать; но так как и этот доверенный назначает плату поденно, то если кто-нибудь из них узнает, где находится богатое место, стараться скрыть его и копать в другом месте.

XVII

Катерина Васильевна

Пелагея Прохоровна, как читатели видели, жила уже несколько времени в городе. Читатели также, надо полагать, заметили, что она жила в разных местах в кухарках. Жизнь ее была везде нехороша, и ей приходилось часто менять места, но все-таки хорошего места на ее долю не выпало. На последнем месте она жила долго, но вдовец хозяин стал ей предлагать очень нехорошие условия, на которые она не согласилась, а именно — быть его любовницей. Поэтому она решилась удрать от хозяина, и так как паспорт был у нее в руках, то она, завязавши свое имущество в платок, вышла из дома, в котором жила. Было еще очень светло, когда Пелагея Прохоровна

вышла с узелком на улицу. Солнце уже село, и над северо-западной частью города на небе отливались золотистые, фиолетовые и розовые гряды гор. Несколько городских барышень, стоя у городского пруда в одиночку, упершись в чугунную решетку, задумчиво смотрели на отражающиеся в тучах лучи солнца — и мечтали. Вечер был тихий, прохладный; пыль, поднятая днем с улиц, постепенно садилась на строения и на землю. Езды было не слышно; служащий народ, чиновники, после дневных занятий, большею частью холостые и семейные, без жен и детей, вышли к пруду и на бульвар, а некоторые из них садились на пароход и плыли к даче, от которой слышалась музыка и часть которой была освещена фонарями. Очень немногие шли в собор посмотреть, не свадьба ли там, потому что у собора стояло два извозчика. Нельзя сказать, чтобы народ этот был весел; на всех лицах заметно было или уныние, или тоска, или зависть.

Пелагея Прохоровна робко шла до пруда. Ее нисколько не удивила гуляющая публика, напротив, она занята была своим положением, чувствовала, что теперь она свободна, но что-то такое тяготило ее, в голове ее как будто пусто стало. Она шла, сама не зная куда.

На пруду в это время плыл пароход очень медленно. На пароходе песенники орали уже полупьяными голосами «Вниз по матушке по Волге». За пароходом плыла лодка, в которой пели несколько человек приказных из соборных певчих «Возле речки, возле мосту». Впереди парохода и рядом с ним плыло тоже несколько лодок с любителями духовных и светских песен, которые старались подтянуть певчим со всем усердием.

Все это издалека привлекало сюда праздный народ вроде чиновников, девиц с шляпками и без шляпок; сюда шли подмастерья, покончившие со своею работою, как и другие любители приключений. Народу было много. Народ толкался, хохотал, острил насчет других, особенно насчет молодых незнакомых женщин. Кончилась песня, сотня голосов закричала: «Фора! еще!» — и начались ругательства, крики. Пелагея Прохоровна пошла прочь, не обращая внимания на любезности халатников, предлагавших ей пройтись с нею. Она шла задумавшись. Вдруг она увидала на тротуаре сидящую женщину, которая держала на коленях ребенка.

— А! это ты! — сказала женщина, узнав Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна была очень удивлена тем, что эту женщину она где-то видала, лицо ей довольно хорошо было памятно, но где она видала ее, кто она такая, она никак не могла припомнить.

— Аль не узнала? Богата, верно, стала нонче. — И женщина так поглядела на узелок Пелагеи Прохоровны, что та стала сама не своя. И голос знакомый, резкий, и улыбка, от которой ее когда-то коробило, знакомая ей. Вдруг она вскрикнула ей:

— Катерина Васильевна!

— То-то... Ты куда идешь?

— На гулянье была...

— Счастливая! — и Катерина Васильевна тяжело вздохнула, потом сказала:

— Ты без места? Иди ко мне ночевать!

— Покорно благодарю.

— Полно-ко дурить! Иди... Ах ты, прокляненный! Смучил ты меня, — говорила она, тормоша ребенка, который ежился и охриплым голосом кричал и часто кашлял.

— Царица небесная! — проговорила женщина с отчаянием.

Пелагее Прохоровне жалко стало прежней Катьки, которая назад тому полтора года часто была прогоняема от разных господ за воровство и дурное поведение, слыла между кухарками за самую отчаянную девку, не имевшую ни стыда, ни совести. И каково же было удивление всех прачек и кухарок, когда она объявила, что скоро выходит замуж за мастерка, и даже назначила день свадьбы! Сначала думали, что это так, мало ли что может наболтать бешеная Катька, но через неделю все кухарки и прачки узнали, что в церкви уже было два оглашения о свадьбе Катерины, и Катька стала называться с тех пор Катериной Васильевной; ею стали больше прежнего интересоваться, заискивать ее расположения для того, чтобы узнать ее жениха, о котором ходили разные слухи. Одни говорили, что он в городе первый *гранильщик,* то есть отчаянный вор и головорез; другие — что он для того только и женится на Катерине, чтобы жить на ее счет, так как она работящая баба. Как бы то ни было, а Катерина Васильевна вышла замуж, и свадьбу ее имели

удовольствие видеть около десяти прачек и кухарок, и эти смотрины пришлись им не по сердцу, потому что Катерина Васильевна их вдосталь удивила: жених ее был высокий, здоровый, красавец — и, главное, молод, так что на взгляд ему было не больше двадцати лет.

С этих пор в тех порядках или частях города, откуда собирались на пруд прачки и кухарки, никто уже не видал Катерины Васильевны, точно она уехала куда-нибудь. Поэтому и не мудрено, что Пелагея Прохоровна, не принимавшая и прежде явного участия в суждениях об ней, мало была знакома с нею и не любила ее, как женщину бойкую и болтливую.

Теперь же, встретившись с нею на улице ночью и видя ее плачущею и проклинающею ребенка, она решительно не понимала, что такое случилось с этой бойкою женщиною.

— Горе мое! горе мое! — стонала Катерина Васильевна. Но слез уже теперь у нее не было, только лицо ее подергивалось. Пелагея Прохоровна при лунном свете заметила, что лицо ее — кожа да кости, а прежде какая она была здоровая!

— Катерина Васильевна! Дай мне ребенка-то: простудишь... ветрено.

— Пусть колеет.

— Как тебе не стыдно? Бога-то ты не боишься!

— Што мне с ним, совсем разорилась. Хоть бы собака была в доме-то!.. Хоть бы старуха какая... Голубушка, ночуй ты у меня эту ночку: ничего я не могу сделать с ребенком-то.

Пелагея Прохоровна молча согласилась. Катерина Васильевна шла рядом с нею и тоже молчала. Ребенок хрипел. Пелагея Прохоровна думала о настоящем положении этой женщины, но заговорить ей было неловко. Ей самой ясно припоминалась ее первая жизнь в городе и очень хотелось помочь Катерине Васильевне, которая уже тем несчастнее ее, что имеет на руках ребенка.

Катерина Васильевна жила совсем в противоположной части города и почти в трех верстах от пруда. Дом Хорохорова был низенький, деревянный, с тремя окнами на улицу. Он еще издали обращал на себя внимание тем, что внутренность его казалась провалившеюся и что если он еще не развалился весь в разные стороны, так оттого

только, что по углам бревна были частию скреплены железными толстыми полосами и частию упирались в столбы. Всякий, кто шел мимо этого ветхого дома, с заколоченными двумя окнами, с прогнившею крышей, на которой там и сям росла трава, без тротуара, с засоренной канавкой, — всякий улыбался и говорил: а должно быть, дом-то старее заплотов! Да это отчасти и оправдывалось тем, что ворота запирались хорошо и доски на заплоте были еще довольно крепки, и даже на верху заплота были вбиты гвозди, так что дом походил на развалившееся укрепление, в которое гораздо легче войти не через заплот, потому что стоит только дернуть за доску крыши, как крыша и рассыплется. Во дворе было еще хуже: задние постройки и крылечко у дома провалились. Огород только отчасти огороживался, и поэтому соседи рады были случаю пустить в него свою скотину. Только одна баня, с крышей на ней и маленьким окошечком, была крепче обиталища хозяев. В огороде хотя и были посажены овощи, но гряды все перетоптаны и из них все повыдергано. Кроме этого, полицейское начальство давно уже делало распоряжение о том, чтобы этот дом с задними его постройками, в видах искоренения безобразия, был сломан, но этот приказ не был исполняем не только новыми его хозяевами, Хорохоровыми, но и прежними. Впрочем, и соседям не нравился этот дом, и они постоянно говорили, что в нем уже несколько лет живут или беглые, или мошенники, и поэтому трое соседей зорко следили за ним.

Пелагея Прохоровна удивилась, увидав, что, несмотря на то, что в кухне пол кривой и половицы шатаются, везде было очень чисто, светло и глядело приветливо. Так что, судя по убранству кухни, можно было подумать, что хозяйка не так бедна, как она говорит. Стол хотя и простой работы, но окрашенный, стены оклеены сенатскими ведомостями, кровать занавешена, и за занавеской висит мужской халат, исковерканная проволока от кринолина, зимний женский шугайчик и еще что-то вроде тулупа; в переднем углу два образа с посеребренными окладами, перед ними в бумажном плетеном кошельке висят два позолоченных пасхальных яйца; по обе стороны этих образов и под ними стена изукрашена картинами духовного содержания.

В кухне не было жарко, как бывает в других кухнях, в которых топят печи, жарят и пекут; просыпающиеся мухи жужжали, но, как видно, и их было немного. Пелагею Прохоровну еще более прежнего удивило отсутствие не только мужчины в кухне, но даже и летней мужской одежды, кроме халата. Однако она не решалась спросить хозяйку об этом предмете, да и хозяйка укачивала ребенка, напевая усыпляющие песенки. Хозяйка прилегла на кровать и проговорила:

— Одно к одному так и идет: вот корова теперь перестала доить, и изволь ее дожидаться, скоро ли она отелится. Опять тоже и кормить ее надо, а корма́-то ныне, не приведи бог, как дороги! Купишь сена пуд, глядишь — на другой день уж и нет, потому заплотов нет. Николай-то Иваныч так и купил место без заплотов. Соседи всё и таскают... А своего покоса нет, потому мещанам не дают покосов.

Обе молчали несколько минут.

— Где же у те муж-то? — спросила вдруг Пелагея Прохоровна и почувствовала, что она нехорошо сделала.

— В остроге.

— Што ты?

— Оказия вышла... Не шуточное дело! И совсем не виноват, а все своя оплошность дурацкая. Вишь ты, он больно любил рыбу ловить и летом часто уходил рыбачить — или сюда на пруд, или куда-нибудь на озеро. И лодку свою имел и припараты рыболовные имел всякие, только теперь я их все распродала почти задаром. Так тут однова раза летом, почитай в то время, как малину носить, он и отправился с одним своим приятелем верст за семь от города... Через двои сутки приезжают они — Николай Иваныч и приятель, оба подпивши; рыбы было порядочно. Разделили они рыбу меж собой; я сварила уху, приятель сходил за водкой, выпили все, и я тоже. Только я и спрашиваю: а што, мол, Петрову много вы отдали? Приятель и говорит: наш, говорит, Иван стал болван, потому, говорит, што как только мы утром пробудились, его и след пропал. А он, говорит, с вечера был хорошо пьян. Муж говорит: мы искали-искали его — и следов нет. Знать, говорит, ушел в село; там есть девицы, с которыми он знаком. Ну, мы тогда посмеялись — тем дело и кончилось. Только на третий день после этого

и приходит к нам работник Петрова и спрашивает про Ивана. Ну, знамо, не искать же нам его. Сказывает, посылали и в село, да и там не нашли. Вот и привязались к моему мужу и его приятелю: куда девали Ваньку Петрова? А потом вдруг и объявили мастерки, что они нашли его убитым в кустах. Повезли наших молодцов туда, они сбухты-барахты и покажи то место, где они ночевали в последний раз, а от этого места, на расстоянии какой-нибудь полверсты, текла в озеро речка, в ней и нашли Петрова. Уж так, говорят, он изуродован, не приведи бог! Кто-то так хватил его по голове, что голова на две половины рассечена... Мой муж и приятель говорили, что они в этом деле ни капельки неучастны и што никакого крику не слыхали, потому што спали крепко, а што, верно, Петрова укокошили мастерки, потому они до него давно добирались: раз — он обсчитывал их деньгами за камни, другой — они давно хотели задать ему мятку за своих баб и девок. Но как они ни отпирались, а их все-таки посадили в острог, потому што придрались к мужнину топору и его халату: в крови — так, значит, и человека убил. Мы хоть и говорили, што около этого времени муж теленка колол в халате, а топором отрубал голову, кою я сварила на студень. А што топор был не вымыт, так потому, што не было в нем больше надобности. Нет, не поверили! И вот уж год скоро кончится, как он сидит... Сказывали мне на прошлой неделе, што в суде чиновник решенье пишет и што хочет обоих в каторгу... Я испугалась... Ох, мать пресвятая богородица! знаю я, што мой муж не только убить не в состоянии, а даже и поколотить человека. Он ежели курицу заколет, так ни за что есть не станет; даже и теленка не ел, я уж обманом кормила его... Бегала я и к секретарю — нельзя, говорит. Я прошу: вы бы следствие там, в селе, произвели, может кто из тамошних убил. Он меня прогнал и сказал: курицу яйца не учат. Бегала к судье — никак не могла застать дома, а наконец — и гнать стали от дома. Сколько одних прошеньев носила стряпчему — не принимает... А народ там, в селе, ох! — такой злой и из воды сухой выдет; поэтому, верно, и побоялись пытать их. А он, мой голубчик... спичка спичкой стал!.. В воскресенье была у него — кашляет беспрестанно, кровью харкает... Просился в лазарет — не пускают: для убийц там, сказывают, нет местов.

Катерина Васильевна замолчала, но она не плакала, а сидела, уперев левою ладонью щеку, и качала головой; лицо ее немножко подергивало. Пелагея Прохоровна сидела бледная и смотрела в угол. Ей жалко было очень Катерину Васильевну, которая была, по ее мнению, в тысячу раз несчастнее ее. Вот она, бойкая-то женщина... О, владычица!..

— Катерина Васильевна! — сказала шепотом Пелагея Прохоровна, потому что у нее во рту было сухо.

Та не только не отвечала, но даже и не поглядела на нее. Она повторила. Та промычала.

— Ты бы заснула! Успокойся маленько, пока ребенок-то спит.

— Не хочется мне спать-то... Светло уж.

Между обеими женщинами было много разницы. Хозяйка была хотя и высокая, но, по народному выражению, худа, как спичка. Она, казалось, нисколько не заботилась о своем наряде: платьишко во многих местах продралось, подолы заскорбли от грязи, рукава оборваны, руки, лицо и шея давно не мыты, и только если чем она может кому-нибудь понравиться, так это разве правильным очертанием бледного лица, которое, несмотря на отпечаток на нем горя, все-таки еще было красиво. Но зато это была жена обвиненного в убийстве, жена будущего каторжника, жена опозоренного и не имеющего никаких прав и преимуществ человеческих в жизни... Пелагея Прохоровна теперь уже не могла сравниться с прежнею девятнадцатилетнею заводскою красавицею, какою она пришла в город в первый раз и какою ее встречала в первое время Катерина Васильевна. Она была двадцатидвухлетняя женщина, с загрубелым и покрасневшим от работы лицом, с твердыми здоровыми руками. Она пополнела, в глазах ее выражалось более осмысленности, губы ее, казалось, мало складывались для улыбок. Ее ситцевое платье теперь не сидело на ней, как прежде, мешком, и к ней уже не шел сарафан, который она уже два года как перешила на юбку и который надеть ей теперь казалось стыдно. Правда, ее пепельные волосы как будто немножко пожелтели и поредели, зато всякий городской рабочий мог сразу сказать про нее: «Вот баба, так баба! Только бы ей купчихой сделаться, разжирела бы на отличку».

Ребенок начал пищать в люльке. Катерина Васильевна взяла его на руки и стала качать, сказав, что у нее у самой молоко высохло.

— Я уж четыре раза носила его в люди. В первый раз отдала на вскормленье нищей и денег ей дала рубль серебром вперед за месяц. Только прихожу как-то к заутрене, гляжу: на паперти чей-то ребенок плачет, я поглядела — мой. Жалко мне стало. Взяла я его и пошла в церковь, а нищая-то, коей я дала ребенка, стоит в углу между дверью и стеной и дремлет. Я ее ткнула, она разинула рот, изо рта, как от лаханки, так и разит винищем. Стала молоком кормить — покою нет. Да и сама посуди, што за работа с ребенком? У меня нет здесь родни, а у мужа и подавно. Пригласила было одну чулошницу к себе жить; так она весь день рыскает по городу, а ночью и не добудишься. Взяла девчонку, та платье утащила. А жильца куда пустишь? Там вон есть комната, да кто в нее пойдет, потому потолок провалился. А как Николай-то Иваныч покупал его еще до свадьбы, так и не думал, што случится этакая оказия. Хорошо еще, што нас самих не задавило, мы в те поры ходили за малиной. А ведь семьдесят пять рублей отдал. Я и то уж продаю его — как на смех дают не больше десяти рублей. Рабочий народ в этом краю не живет. Так и ума не приложу, што делать теперь... Кабы не ребенок, я бы знала, што мне делать. Сегодня вот весь день рыскала: всех докторов здешних обегала — ни одного дома не застала... И какая я прежде была спокойная! А как вышла замуж — и не то стало. Раз, у мужа не всегда была работа, а если была, то он деньги забирал вперед, а попробуй-ко, каково брюхатой бабе белье стирать или полы мыть? Вот от этого, должно быть, я первого-то ребенка и выкинула мертвого. А все же и весело было с мужем: он такой смирной и никогда супротив меня не шел, и трудились мы, надо правду сказать, друг для дружки. И каково мне было терпеть позор-то, как его посадили в острог! Как я сказала об этом господам, на которых я работала, они и сказали: ну, матушка, теперь мы тебя увольняем от работы! можешь на других, потому ты жена такого-то... И молоко перестали брать, говорят: может быть, в молоке-то находится кровь... И чего-чего только я не перетерпела!.. Да не уступлю им! Буду терпеть, а по

миру не пойду. Здесь не будет житься, в другой город пойду.

— Катерина Васильевна, знаешь ли что? Я сама хочу робить: стирать и гладить я умею; полы мыть — плевое дело, — сказала дрожащим голосом Пелагея Прохоровна.

— Ты? — спросила хозяйка и с удивлением посмотрела на гостью.

— Я затем сюда и пришла в город, да без толку. Сама знаешь, сперва я ничего не понимала по-городски, и денег у меня не было. . .— И она рассказала про жизнь на промыслах.

— Трудное дело. А много ли у те капиталу-то?

— Да тринадцать рублей. А кабы брат не украл, было бы много.

— На эти деньги можно. . . Корову можно рублей за восемь купить; ну, сена хоть на два рубля.

— Так ты пусти меня к себе, — проговорила робко Пелагея Прохоровна.

— Ловко ли это будет? . . Места нам хватит, только как насчет коровы-то? где ты ее держать будешь? . . Соседки не пустят: это дьяволы, а не люди.

— Ничего, как-нибудь.

— Нет, не как-нибудь, а это загвоздка: все соседки смотрят на меня как на пугалу какую. . . Однако. . .

— Али ты боишься меня, Катерина Васильевна? — голос ее дрожал. . .

XVIII

Женский труд

Часов через пять после этого разговора корова Катерины Васильевны отелилась. Пелагее Прохоровне не спалось; она думала о том, каким образом ей найти работу, и пришла только к тому предположению, что хорошо бы ей продавать хоть ягоды. У коровы не было сена. Мокроносова вызвалась купить его и утром пошла на рынок, но дорогой, недалеко от дома Хорохоровых, встретила девочку лет восьми: эта девочка шла тоже в середину города из самой крайней улицы и несла три маленькие наберушки с земляникой.

— Почем ягоды? — спросила она девочку.

Та сказала. Сравнительно с заводскими эти ягоды оказались слишком дороги, но она решилась купить их. Девочка уступила на целые десять копеек и даже продала наберушки.

Пелагея Прохоровна повернула на главную улицу. И как ей стыдно было крикнуть в первый раз: «Ягод не надо ли! Ягод купите!» Однако кричать нужно... Крикнула раз — покраснела, крикнула в другой — голос дрянной... Но на улице никто не покупает ягод; стала она заходить во дворы — собаки кидаются на нее; но зато тут купили одну корзинку очень выгодно для Пелагеи Прохоровны, так что она целые десять копеек нажила от той наберушки. Кухарки она не заметила и поэтому спокойным голосом спросила купившую у нее ягоды, когда та стала отдавать ей деньги:

— Не надо ли вам, барыня, прачку?

— Да вот я не знаю... У меня стирает Авдотья, я ей велела прийти вчера вечером, а она и по сих пор мне глаз не показывала... А ты, поди, вовсе не умеешь стирать-то?

— Што вы, барыня, я давно этим ремеслом занимаюсь. — И щеки Пелагеи Прохоровны покраснели.

— На кого же ты стираешь?

— Я-то?.. Да у меня много... один бухгалтер, другой — в правлении служит.

— Што же, мало, што ли, стирки-то теперь?

— Да видишь ли: я корову купила; все деньги истратила.

— Замужем или нет?

— Как же, замужем, за Курносовым... Плохое наше житье.

— Ну, ладно, я подумаю; приходи вечером. Если не придет Авдотья, так уж делать нечего.

Пелагея Прохоровна вышла с сильным биением сердца, голова ее отяжелела. «Што я такое наврала?» — думала Пелагея Прохоровна, выйдя за ворота. Она сама не понимала: каким образом она могла соврать? Она вдова и на поприще прачки вышла в первый раз. А уж если она соврала, то, значит, нужно теперь врать и врать, а это нехорошо. А если узнают?

Однако дело сделано; Мокроносову выручили ягоды. Она заметила дом и пошла дальше, думая о том, как

сказать, если спросят: «А как зовут того или другого, на которых она стирает?» Надо так сделать, чтобы имена не забывались. «Экая я дура! Вот теперь и хлопочи».

Продала она и остальные ягоды и нашла работы еще в одном доме: вымыть полы сегодня же. Она занялась и боялась, чтобы ее не спросили: кто она такая? Однако избежать этого было невозможно, и здесь она уже не врала, а говорила правду. Когда после господского обеда, которым ее, впрочем, не угостили, она стала собираться домой, то хозяйка пригласила ее стирать белье на следующей же неделе, и работы предвиделось на целые три дня.

Пелагея Прохоровна была очень весела. Она, кажется, не была так весела даже и в первый день свадьбы.

Она радовалась тому, что нашла работу, будет получать деньги и будет жить самостоятельно, никому не подчиняясь, никого не боясь. Когда она пришла на рынок, — это в первый раз, как она живет в городе, — она заходила во множество лавок, заглядывалась на дорогие, красивые вещи, смотрела ситец — и до того надоела купцам и приказчикам, что ее почти из каждой лавки выгоняли насмешками. Теперь ей больше прежнего хотелось угодить Катерине Васильевне, и она купила ей платок на голову с картинками, осьмушку чаю и полфунта сахару, и даже едва не забыла купить сена корове. Катерина Васильевна не очень разделяла радость своей жилички, говоря, что это начало еще ничего не может обещать хорошего в будущем и, по ее мнению, ни больше ни меньше, как одно разорение. Но Пелагея Прохоровна подумала, что Катерина Васильевна завидует потому, что она не только не получала работы, но помощник аптекаря не отдал ей денег за то, что она будто бы потеряла одну хорошую манишку. Подарок она спрятала до более удобного времени, потому что Катерина Васильевна весь этот день была сердитая. Когда же Пелагея Прохоровна сосчитала свои деньги, то их оказалось только девять рублей с копейками. Это очень встревожило ее, и она сказала Катерине Васильевне:

— Сколько я денег-то истратила! И куда? кажется ничего такого не покупала.

— И остальные проживешь.

— Нет, уж я теперь беречь буду.

— Сколько я тебе должна?

— Полно-ко, Катерина Васильевна. Неужели у меня нет креста на вороту... Я вовсе не к тому говорю, штобы...

В воскресенье Катерина Васильевна пошла в острог, с нею пошла и Пелагея Прохоровна. Там, в конторе, им объявили, что убийца Хорохоров помер еще в понедельник и похоронен как собака, в острожном месте. Это известие так ошеломило бедную женщину, что она не могла устоять на ногах, села на лавку и долго дико глядела на одно место, так что ее вывели из острога солдаты. Пелагея Прохоровна, держа на руках ребенка Катерины Васильевны, всячески старалась утешить ее, но не могла.

С полчаса они шли молча. Катерина Васильевна высказывала немножко, как бы про себя: какие, в самом деле, в жизни беды бывают? Ну, разве думала она, встретив в первый раз Николая Иваныча на похоронах у своей приятельницы Евдокимовой, — думала ли она, что такой красивый молодой человек, к которому товарищи и грубые мастеровые обращаются с уважением, потому что он грамотный, через год будет обвинен в убийстве, умрет и будет похоронен как собака?.. И вдруг все как будто исчезло. Для кого она теперь будет стараться? С кем и для кого будет работать? Теперь пусто; сердце не бьется радостно, а обливается кровью... И зачем такое несчастие приключилось именно с нею, а не с другим человеком, который бы имел порядочный дом, порядочное хозяйство, родню, которая бы хотя помогла ей с ребенком водиться?

Пелагея Прохоровна брала дешевле других за стирку и мытье полов, и у нее работы было больше. Мало-помалу она приобрела уже несколько домов и могла предоставить часть работы своей подруге, Катерине Васильевне.

Но и стирка белья было дело не совсем легкое и выгодное для наших женщин. Неудобство состояло главным образом в том, что они не имели возможности брать белье на дом, потому что иной день им обеим не приводилось бывать дома и белье могли украсть, да если бы и обе они были дома, то и тут углядеть невозможно без того, чтобы не караулить его постоянно которой-нибудь из них. Поэтому они и стирали у небогатых семейств в их квартирах. На третий месяц, несмотря на то, что они стали брать

дороже, работы у обеих женщин было так много, что они сходились только по вечерам, а иногда даже и ночевали в людях. Только воскресные дни они бывали дома. И несмотря на такой усиленный труд, средства обеих женщин увеличивались очень мало, так что к концу августа у Пелагеи Прохоровны было капиталу только семнадцать рублей, а у Катерины Васильевны только двенадцать; правда, рубля по три еще было не получено каждою с разных господ, но они и не надеялись получить долг, так как некоторые лица уже выехали из города.

Обе женщины жили дружно; обедать им приводилось вместе только по воскресным дням, и они расходовали деньги сообща. Но все-таки, несмотря на дружбу, обе они высказывали мысль, что хорошо бы было как-нибудь избрать другой род труда, например — завести еще корову. Но завести корову хотелось каждой, и обе не соглашались купить корову сообща.

От этого произошло то, что Катерина Васильевна стала поговаривать, что она хозяйка и ей никто не может препятствовать делать то, что она хочет. Так мысль о корове и кончилась опять ничем.

Между тем в Старой улице, где жили наши работницы, на них стали смотреть как на нечто особенное. Эта улица была населена мелким чиновным людом и мещанским сословием. Люди эти жили тем, что занимались каким-нибудь ремеслом дома или отдавали комнаты служащим в присутственных местах лицам. Им не нравилось, что на их улице живут какие-то две женщины, которые бывают дома только по ночам и по воскресеньям. Особенно не нравилось их женам, что при встрече с ними Мокроносова и Хорохорова не только не кланялись им, но даже и не глядели на них. Они знали, чем занимаются эти женщины, но никак не смели простить им этого неуважения, а особенно того, что даже в воскресенье и в будничные хорошие вечера, когда обитатели от мала до велика высыпали на улицу посплетничать и отвести душу разговорами, наших работниц не было видно на улице. Все это их злило, и они всячески старались изловить их в чем-нибудь.

Раз Пелагея Прохоровна шла домой вечером. У многих домов сидели женщины. Посереди дороги мальчуганы

играли в городки, Пелагея Прохоровна глядела вперед и слышала, как про нее говорили, но она не повернула головы.

— Поломойка! — окликнул ее женский голос, но она и не поглядела в ту сторону, откуда ее спрашивали, и прибавила шагу.

— Известно, самая последняя женщина. Тварь!.. А какого она поведения! — крикнули справа и слева.

Это разозлило Мокроносову, и она остановилась.

— Што, небось неправду говорят? Сколько у тебя любовников-то?

— Отсохли бы у вас у всех языки-то, — крикнула Пелагея Прохоровна, плюнула и пошла.

— Как!!. што!!. Василь Иваныч! — слышалось из разных мест.

В Пелагею Прохоровну кинули мячик, она забросила его за чей-то двор. Это разозлило еще больше праздный народ, к ней подбежали женщины и стали ее ругать. Никаких оправданий никто не принимал.

— В полицию ее! Бейте ее! Она гульная...

Это оскорбление до слез проняло Мокроносову, однако ее не побили, потому что все остались и тем довольны, что оскорбили беззащитную женщину. Но дерзости стали повторяться больше и больше и, наконец, дошли даже до того, что в одну ночь несколько пьяных писцов стали стучаться в ворота хорохоровского дома и, не получивши никакого ответа, разбили стекло в кухонном окне. Улица от этой шалости пришла в ярость: утром рано несколько человек пришло в кухню Катерины Васильевны и стали гнать ее из дому, а так как она доказывала свои права купчею крепостию, то три человека стали разламывать крышу с дома, разломали трубу и стали выбрасывать ее вещи на улицу.

Такое самоуправство соседей поставило наших работниц в такое положение, что они решительно не знали, что делать... Но это недоразумение кончилось тем, что пришел квартальный надзиратель и повел их в часть, как того требовали все близкие соседи Катерины Васильевны, велел прекратить разборку дома, снести обратно вещи, но, не доходя до части, освободил их от ареста за пять рублей. У части Пелагея Прохоровна распростилась с Катериной Васильевной.

Нанявши у одной мещанки комнату с кухней за рубль серебром в месяц, Пелагея Прохоровна пустила на квартиру за полтинник женатого писца и попрежнему стала заниматься стиркой белья. Через месяц после этого она встретила на речке Катерину Васильевну.

— Ну, как живешь, Катерина Васильевна? — спросила она свою подругу.

— По-твоему: дом продала за двадцать рублей, наняла квартиру — две комнаты с кухней и прихожей. В кухне-то белье стираю, а комнаты отдаю холостым приказным.

— Холостым, говоришь?

— Так што такое? Я им и стряпаю. Дрова только дороги, и квартира студеная... По пяти рублей с них получаю. Одна мебель пятнадцать рублей стоила. Сынишко со мной теперь.

— Отчего мы прежде с тобой не подумали так жить?

— Я думала, да проку не видно... Не знаю, что дальше будет! А корову не купила?

— Сено ныне дорогое, с коровой возни много.

Кончился месяц, писец с женой съехали. Осталась Пелагея Прохоровна одна во всей квартире. Квартиру никто не смотрит. Однако платить за нее надо — заплатила, купила дров. Правда, она дома бывала редко и поэтому могла сберечь деньги от пищи, которою ее угощали господа, но все-таки одной ночевать в квартире ей было скучно. Опять стали появляться в голове мысли у ней, что не худо бы было иметь свой дом. Припомнились ей слова Короваева, его прощанье с ней. «Где-то он теперь? Поди, женился!» И она старалась перебирать в своей памяти всех мужчин, которые заигрывали с ней. Но ни один из них не нравился ей так, как нравился Короваев. Она старалась не думать об нем, ей хотелось забыть его, но и при работе и лежа дома она раздумывалась о своей настоящей жизни, в которой чего-то недоставало. «Нету у меня здесь родни, нет ни кола, ни двора, и работаю я только для того, чтобы мне жить для самой себя... Поглядишь на бабенок, все же им есть с кем от души поговорить. А я одна, и любовника я не хочу иметь...»

Так думала часто Пелагея Прохоровна за работой и без работы.

Наконец зимой она впустила к себе чиновника за рубль. Чиновник прожил у ней тихо неделю, и когда она уходила из дому, то брал ключ с собой. Потом чиновник изъявил согласие, чтобы она готовила ему кушанье. Пелагея Прохоровна согласилась за пять рублей в месяц и стала стирать белье на дому на холостых чиновников того присутственного места, в котором служил ее жилец. В первый месяц, за всеми расходами, она выручила два рубля и нашла, что жильца с пищею держать выгодно, потому что, готовя на чиновника, и она будет сыта.

Между тем ее беспокоил вопрос, что-то поделывает ее дядя и где-то братья. Ей хотелось съездить в завод, показаться в нем не прежней Мокроносовой, а теперешней, городской Пелагеей Прохоровной, но у нее не было больших денег, а с этою поездкою она потеряет прежних господ, на которых стирает теперь, должна будет лишиться квартиры и, с тем вместе, самостоятельной жизни, хотя и тяжелой.

И она ограничилась тем, что послала в Терентьевский завод письмо к одной своей подруге, которая недавно приезжала в город хлопотать о доме, доставшемся ей по духовной от мужа, но ответа не получила.

Раз, идя домой под вечер с взятым от одной чиновницы грязным бельем, она поровнялась с обозом, передние возы которого уже заходили в постоялый двор. Обоз был большой и загородил дорогу. Пелагея Прохоровна стала огибать обоз и около одного воза увидала лицо, которое ей было знакомо. Обоз остановился, Пелагея Прохоровна подошла к извозчику. Это был Панфил Прохорыч.

Пелагея Прохоровна ему очень обрадовалась.

— Да ведь ты на прииски хотел идти? — спросила сестра брата.

— Мало што я хотел... Я было и пошел, да настращали: говорят, на какой прииск попадешь... Если прииск хороший и платят — ладно, если нет — друг дружку обкрадывают. А вот я теперь в извозчики нанялся... И это не нравится, потому все в дороге ходим... Думаю на железную дорогу идти робить, говорят, там очень, очень хорошо, потому работы много... Вот если бы я имел деньги, хорошо бы было. Говорят, там много приказчиков, и каждый помногу наживает.

— И ты этому веришь.

— Ей-богу! Если бы я накопил десять рублей, непременно ушел бы туда. Вот и Короваев с Гришкой ушли на той неделе туда.

— Што ты! И Короваев?

— Врать, што ли, я стану? — Возы в это время двинулись.

— Да ты врешь!!. Где ты Короваева-то видел?

— В городе, в Прикамске. Мы с обозами на пристань ехали, а он с Гришкой и с Лизкой Ульяновой...

— Нет?!.

— Ей-богу... Лизка Ульянова с матерью и ребятишками шла. И другие тоже какие-то с ними... Куда? — спрашиваю. На железную дорогу, говорят, далеко... А Короваев и говорит: а Пелагею Прохоровну видел?

— Нет? ..

— Видел, говорю. Он и говорит: замужем, поди, она? Нет, говорю, в куфарках живет...

В это время возы были все во дворе. Панфила крикнули, и он ушел в дом.

XIX

Переселение Пелагеи Прохоровны

Сообщенные Панфилом новости очень поразили Пелагею Прохоровну. Она никогда не думала, чтобы Короваев ушел из М. завода, чтобы Лизавета Елизаровна, привыкшая к промысловой жизни, и мать ее могли пуститься в незнакомые им местности с посторонними мужчинами. Ей не верилось, чтобы это было так, что они ушли. А если они ушли, то тут есть какая-нибудь причина. Но какая? Правда, она видела людей, натягивающих телеграфную проволоку, слыхала, что где-то строят железную дорогу, а в одно время только и было разговоров, что о постройке от города железной дороги, вследствие чего на рынке по воскресеньям не одна сотня бродила мастеровых, думая, что их будут уже нанимать на железную дорогу; но того, чтобы кто-нибудь из знакомых уходил далеко для работы на железной дороге, чтобы кто-нибудь хвастался хорошим заработком, она не слыхала. Да и что такое железная дорога? .. Все это маклаки

смущают рабочих. Но теперь Панфил совсем ее сбил с толку.

«Этот парнишка, как посидел в остроге, совсем испортился», — думала она, стараясь не верить ему.

«А если они в самом деле ушли? — спрашивала она себя, и ей делалось обидно. — Я вместе с ним шла... Я помогала Лизке... и вдруг ушли одни. Ох, злые люди! Они только о себе заботятся... Тут непременно штуки какие-нибудь... Верно, Лизка сманила мать в завод, потому-де Григорий очувствуется и женится на ней али в любовницы к себе возьмет ее!»

Немного погодя она думала иначе:

«Нет, Григорий Прохорыч не такой... Как помоложе-то он был, ну, тогда, пожалуй бы, Лизка ему села на шею и поехала бы. Уж коли он на приказчицкой любовнице хотел жениться... Ну, а как посидел из-за этой голубушки в остроге, опытнее стал... На Лизке уж он не женится... Эдакая, подумаешь ты, бесстыжая! человек ее ненавидит, а она за ним... А Короваев-то? Короваев-то?»

Но про Короваева она не знала, что и подумать, потому что этот хитрый, по ее мнению, человек ничем не связан с ней. Ей хорошо помнятся его слова: «У меня ничего нет, кроме долота и пилы. Я иду, — говорил он, — добывать себе капиталы. Если, говорил, ты не выйдешь замуж, я, говорил, буду свататься за тебя...»

«Вот он, женишок-то любезный!.. Он, поди, теперь посмеивается: жди, мол...» — говорила чуть не громко Пелагея Прохоровна.

На другой день она нарочно сходила на постоялый двор, но не в тот, в котором остановился ее брат, а в другой. Тут она узнала от ямщиков, что действительно из М. завода многие идут на железную дорогу, потому что в М. теперь работы стало меньше против прежнего.

— Как начали фабрики-то строить, народу навалило в М. изо всех заводов и деревень! Работа была всем, платили хорошо; а теперь работы стало меньше, и то парни больше самые трудные работы справляют — около огня али около машин, пожилые не выносят, хворают; ну, и плата, значит, стала небольшая. Вот кто скопил немного деньжонок, заплатил за год оброки — и пошел на железную дорогу. Там, говорят, и по полтора целковых

за сутки платят. Это выходит в месяц сорок пять целковых... — говорил Пелагее Прохоровне один ямщик.

— Но вот ты нейдешь же туда?

— Эх, деваха! Ты думаешь, хорошее наше житье-то? Кабы не привычка от измалетства к этому делу, удержал бы кто меня на одном месте? Ни! И так всё грозят, што и у нас такую дорогу построят. Ну, и урываешь: чуть излишек какой будет, надо бы к дому али откупить землю, возьмешь да и купишь еще лошадь... А ты не туда ли хошь?

— Нет.

— То-то. Вы в городах-то как поживете, так вас и рукой не достанешь. Хоть есть нечего, а в городе лучше нравится жить.

— Какое житье!

— То-то. Поди, *предмет* есть?

Теперь уж Пелагея Прохоровна не сомневалась в том, что Коровaев ушел на железную дорогу. Ей припомнилось обещание Коровaева написать ей в село через месяц. «Значит, и там нехорошо. Поэтому он и не извещал меня и не хотел, чтобы я шла туда».

Она не обвиняла Коровaева; напротив, он был прав. И в самом деле, что за жизнь, когда и одному-то есть нечего, а тут еще будут дети... Прежде вон в заводах на детей провиант давали, а теперь не только не дают провианту, а отымают и покосы и дома; теперь за все плати деньги, а платы за труд едва достает, чтобы покупать муку, которая с каждым месяцем везде дорожает. На рынке только и разговору, что богатые люди скупили муку, что в таком-то месте неурожай, а от этого и мясо и прочее стало дорого. Поневоле будешь искать места, где лучше. Вот она теперь и квартиру свою имеет, а едва сводит приход с расходом. Хорошо еще, что у нее чиновник живет нетребовательный: сам сапоги себе чистит, сам в лавочку за табаком и калачами ходит и ничего не говорит, если она подает ему вчерашние подогретые щи. В скоромные дни и она сыта от этого чиновника, потому что он *за хлебы* платит в месяц пять рублей, а вот в пост — не знаешь, что и варить: чиновник просит уху из окуней или ершей, жаркое тоже из рыбы, а рыба дорога, фунта едва на обед достанет. Не станешь же кормить его горошницей али картофельной похлебкой... Хотя же она

и получает деньги за стирку белья и мытье полов, так мало ли и расходов по хозяйству? — то дров надо купить, то мыла, то синьки, то крахмалу, свеч; горшок какой-нибудь разобьется, надо новый завести — и т. п. И вся жизнь только в том и заключается, что с четырех часов утра до девяти вечера работает, так что в иной день и сидеть-то редко приводится; и хотя бы спокой был, а то все думаешь о том, как бы тебя похвалили, а не обругали, как бы все было цело. Ведь это редкость, чтобы барыня при отдаче денег не обругала. От соседей тоже неприятности; не многие верят, что она не имеет любовника, — и распускают разные толки. Все эти толки с разными прикрасами передавала ей хозяйка дома, к которой каждый вечер приходил отставной вахтер, значительное лицо в приемной одного высшего в этом городе присутственного места. Так уж сложилась городская жизнь, что о бедной рабочей женщине не верили, чтобы она могла жить самостоятельно и не обращая внимания на любезности жильца. И вот Пелагее Прохоровне город стал казаться противным со всеми его обывателями.

Но куда уйти? Вот вопрос, который заставлял ее крепко призадумываться, потому что все те, у которых она спрашивала о том, где строится железная дорога, не знали об этом, а говорили, что где-то далеко. Даже ее жилец, изредка читающий газеты, говорил, что по железным дорогам у нас уже ездят и строятся другие, только он не обратил внимания на местность, потому что дороги строятся *не в нашей губернии*. «Стройся дорога в нашей губернии, меня никто не удержал бы в правлении, потому я человек трезвый, имею три чина, и мне там дали бы хорошую должность. А далеко ехать не стоит, потому что и в тех губерниях много таких чиновников, как я».

«Кабы близко! . .» — думала Пелагея Прохоровна. . . Чем больше она думала, тем больше ей противна казалась теперешняя работа, тем сильнее хотелось уйти из этого города. Только куда уйти? Кроме этого, ее затрудняло то: лучше ли там? Ведь Короваев не бывал там, а если он шел в М. завод, то потому, что ему этот завод хвалили. . . «Что будет, то и будь, а здесь я не останусь. Если здесь не знают дороги на железную дорогу, пойду в Прикамск. Ведь ходят же бабы на богомолье и в Киев

и в Ерусалим, а сперва тоже не знают дороги. А чем я-то хуже их? Они ходят потому, што им ходить нравится и ханжи потакают им, а я пойду на работу. Што мне, в самом-то деле, на одном месте жить? Будто я чем связана здесь. . .»

И она объявила жильцу, что идет на железную дорогу работать.

Это очень удивило жильца, и он сказал:

— Полно-ко, Пелагея Прохоровна, умом-то мутить. Пословица говорится: на одном месте камень обрастает. Ну, куда ты пойдешь и зачем? Чего еще тебе здесь мало?

— То-то, вы — мужчины и не понимаете, што нашему брату трудно деньги достаются.

— Ну, матушка. . . Што ж делать: через силу и конь не скачет.

Жилец стал отговаривать ее. Катерина Васильевна пугала ее, говоря: как она пойдет одна такую даль? Но она твердо решила идти, и ее останавливало только безденежье. Налицо у нее было денег около рубля; посуда, корыто и тому подобные принадлежности для белья стоили ей три рубля; два платья стоили на худой конец рублей десять; ну, и другие вещи можно распродать, как то: платок шерстяной, купленный ею к пасхе, теплый шугайчик, — может, и дадут рубля три. Кроме этого, ей должны были две барыни за стирку и за мытье полов и четыре прачки, которым она давала по мелочам дня на два, на три, и они не отдавали денег уже целые месяцы. Пошла она к барыням, те просили подождать до получения пенсии; прачки, узнав, что она хочет идти в Прикамск, не сказали, когда они могут отдать долг. Прошел месяц. В продолжение его Пелагея Прохоровна работала изо всей силы, но за работу получила денег даже меньше прежнего; из слов тех, на которых она работала, вроде таких: «Скоро ты богаче нас будешь», — она поняла, что ей не хотят платить потому, что надеются отделаться от нее ничем, так как она хочет идти. За вещи давали тоже почти десятую часть, зная, что она очень нуждается в деньгах.

Это еще более раздосадовало Пелагею Прохоровну. В свободное воскресенье она сама стала продавать на толкучке платья, платок и шугайчик — и только к вечеру

продала их за пять рублей. В понедельник она получила некоторые долги, и у ней составилось капиталу семь рублей.

Распростившись с чиновником, с хозяйкой и соседками, она пошла на постоялый двор. Там она узнала, что на железную дорогу идти гораздо короче и гораздо дешевле не через Прикамск, а на город Поярков, откуда она за рубль может уплыть на пароходе до Нижнего.

Так и сделала Пелагея Прохоровна, отправившись за полтинник до Пояркова с обозами.

В Пояркове она увидала людей, выговаривающих уже иначе, людей развитых настолько, насколько жизнь на большой реке и постоянные столкновения с людьми из разных мест могут развить их умственную деятельность, — людей здоровых, сильных, красивых, людей, преимущественно прокармливающих свои семейства работою на пристанях, — словом, людей смышленее Пелагеи Прохоровны.

Дело в том, что город находился на таком месте при реке, где было удобно, как по глубине реки, так и отлогому берегу, приставать пароходам, судам, баркам, плотам, грузить в них и выгружать из них товары на берег, на котором постоянно на несколько сот сажен были покладены товары, покрытые цыновками, а дрова тянулись и не на одну версту. Здесь постоянно, даже и по ночам, когда приставали к городу для нагрузки дров пассажирские пароходы, работы было много и для мужчин и для женщин, но так как город был небольшой и татарский и татары занимались больше садоводством, земледелием и скотоводством, то рабочих рук все-таки было немного, так что не редкость было увидать на пристани работающих стариков и мальчиков от четырнадцатилетнего возраста. Пелагее Прохоровне нравилось оживление на пристани, оживление в ближайших к реке улицах. Здесь она не видела той вражды, происходящей на промыслах между мужчинами и женщинами, напротив — здесь мужчины и женщины, работая вместе, свободно обращались друг с другом и хвастались одни перед другими, кто больше получил денег. Но и здесь она не заметила особенного довольства. Недостатки были у всех, и она относила это к тому, что здесь везде пили чай, везде обед состоял из

щей и каши, у редких не имелось скота, а главное — все жаловались на большие оброки и другие взыскания. С первого же дня по прибытии в город она стала работать на пристани, а так как она была здесь лицо новое, то ее стали расспрашивать, и все хвалили ее за то, что она пошла сюда. Ей приводилось носить товары или дрова на носилках вдвоем, и она носила с женщинами, из которых одна и приняла ее на квартиру. У этой женщины она не заметила нищеты: все у ней было хорошо, дети ее не ходили оборванные, она пила чай; с мужем, работающим тоже на пристани, она не ссорилась. От них она узнала, где строится железная дорога, — только они не советовали ей идти туда, потому что там рабочих очень много и женщинам приходится только копать и возить землю, за что платят мало. Лучше будет для нее, если она пойдет в Москву.

«В самом деле, што мне делать на железной дороге?» — думала Пелагея Прохоровна. Здешняя жизнь ей казалась лучше заводской, и она думала, что чем дальше она пойдет, тем больше она увидит нового, хорошего, и останется там, где ей лучше понравится; ее тянуло дальше, и она спросила:

— А далеко Москва?

Ей сказали.

Выручивши на пристани три рубля, Пелагея Прохоровна отправилась на барке до Костромы. О путешествии Пелагеи Прохоровны говорить нечего. Чем дальше она плыла, чем ближе подвигалась к Москве, тем больше она видела хорошего: города были красивые, люди говорили свысока, не глядели так робко, как в Заводске, где она жила в кухарках; реже она стала встречать лапотников, да и по берегам реки попадались хорошие пашни. Здесь никто не бранил ее за то, что она пошла искать место, где лучше, напротив — ее хвалили за это, хотя и говорили, что бог знает, где лучше... Многие вон все больше в Петербург идут, и как зайдет человек туда, так и живет там, — говорили ей в заключение.

В Ярославле она увидала нескольких мужиков и одетых по-деревенски женщин. Любопытно ей стало, потому что у каждого человека был узелок, сундучок или сума, и она спросила одну из женщин, куда они едут.

— В Питер, матушка. А ты?

— На железную дорогу.

— Ой, голубушка... Оттоль идем...

— Худо там?

— С голоду помрешь. Такой жизни никому не пожелаешь.

— А я в Москву тоже думаю.

— В Москву наводить тоску! — сказал один мужчина, захохотав.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать, куда идти. В Нижнем она пробыла четыре дня, но здесь она большею частию сидела на барке, потому что от нее на берег нужно было плыть в лодке. В Нижнем в это время была ярмарка, Волга была почти наполовину запружена судами и пароходами, по подгорью кишел народ; отовсюду, и с берега и с реки, слышался говор, возгласы, шум, треск и свистки пароходов. Ее, робкую женщину, все это поражало; на все она смотрела с удивлением, обо всем расспрашивала... Впрочем, она раз сходила с судорабочими на ярмарку, но, воротясь оттуда, ничего не могла сообразить. Они видела только огромную толкучку всяких людей, смесь всевозможных товаров, она была оглушена неописуемым говором и треском; она ходила там как угорелая и когда вернулась на судно, у нее долго болела голова... «Господи, — думала она: — сколько тут народу! И откуда только народ этот взялся... Хорошо-то как здесь!» Но тут она не осталась. «Где уж мне тут жить! Вон купила я булку — десять копеек заплатила; за вишенье дала двадцать копеек... В платке у меня была завязана рублевая бумажка, платок я положила в карман — вытащили... Здесь только на берег выйди — непременно чего-нибудь купишь... Нет, бог с ним и с большим городом». За Нижним она видела много народу только на пристанях больших городов, где рабочих было все меньше и меньше на берегах; больше и больше ей приводилось видеть бурлаков, тянущих кверху суда; везде только и было разговору, что о больших оброках, о плохих урожаях, строгих господах, недодачах жалованья и платы за труд, обманах приказчиков, живущих на счет рабочих людей... Чем дальше она плыла, тем больше она видела фабрик с дымящимися высокими трубами, винокуренных заводов, и тем больше слышала жалоб на худое житье, — и видела людей, куда-то идущих с котомками на плечах... И кого она ни спросит: куда

идет этот народ? — ей отвечали: туда, где лучше! на заработки... Но где такое место, ей не могли ответить, а только говорили, что они идут в Петербург.

Но отчего же ей советовали в Пояркове идти в Москву, а здесь народ с пренебрежением отзывается об Москве, идет в Петербург?

— А што, разе не хорошо в Москве? — спросила она одного мужчину, хваставшегося на постоялом дворе тем, что супротив такого города, как Петербург, нигде нет таких городов, и ему Питер известен и вдоль и вдоперек.

— Москва-то? Што Москва? — дрянь, окромя святых угодников... Супротив Питера далеко не доросла... — старался объяснить мужчина.

— Да ведь она столица?

— Об этом кто спорит!.. Москва большая деревня — вот што! — сказал мужчина, довольный тем, что он объяснил-таки, почему Москва хуже Петербурга.

— Вовсе не то ты толкуешь: в Питере завсегда работу достанешь, а в Москве не то, — сказал другой мужчина.

— Ну, нет: Москва приторна... Там живешь как будто не на своем месте, в Питер хочется, а как поживешь в Питере, не заманишь тебя в Москву и калачом московским, — так разе, когда домой пойдешь, зайдешь к святым угодникам помолиться.

— Хорошо ли там-то? — приставала Пелагея Прохоровна.

— Бабам там хорошо, — говорили мужчины.

Женщин, живавших в Петербурге, здесь не видно было. Туда шли женщины на заработки в первый раз с мужьями, шли девицы, говоря, что у них там, в Петербурге, живут родные.

И Пелагея Прохоровна решилась плыть до Твери, откуда, как ей говорили, до Петербурга железная дорога.

В Твери она в первый раз увидала и железную дорогу и поезды, третьеклассные вагоны, которые были наполнены большею частию простым народом. Здесь она увидала и приезжающих из Петербурга. Стала она расспрашивать женщин о житье в Петербурге, но одни из них хвалили петербургскую жизнь, другие нет. Она заметила, что даже и те, которые ругали Петербург, все-таки ехали домой ненадолго.

«Должно быть, там хорошо, — думала она. — Уж много я шла, сама не зная куда, а теперь вон сколько народу-то едет, и кого ни спросишь: ты куда? — он говорит: куда! знамо, в Питер!»

И Пелагея Прохоровна, взявши билет, села в вагон третьего класса.

Скоро поезд пошел, и еще скорее она познакомилась с своими соседями.

XX

Счастье Горюнову улыбается

Вся зима прошла на приисках в постройках на новом прииске, который был назван Ново-Удойкинским. Золото в это время не промывалось, потому что приходилось много времени употреблять на копание канав, которые проводили к новым постройкам, устроенным по совету Костромина и других рабочих. Денег у главного доверенного было не много, рабочим он выдавал по малости, так что им едва доставало в течение недели на хлеб. Рабочие ругались, но сознавали, что, пожалуй, доверенному не из-за чего платить много денег, не получивши золота, да и бог знает, будет ли еще много золота на новом месте. Поэтому старые рабочие уходили на другие прииски, новых прибывало мало, а из оставшихся большинство хворало, и им не оказывалось никакой медицинской помощи. Весной вода залила почти все пространство как на старом, так и на новом приисках, и с ней было много хлопот, но все-таки золота промывалось гораздо больше, чем на старом прииске, и поэтому на новом прииске было до шестидесяти мужчин и до двадцати женщин. Но у доверенного все-таки не было денег, и он давал Костромину расписку за распиской в должных ему деньгах, потому что Костромин снабжал всех рабочих хлебом, капустой, солью и другими овощами. Хотя же полпуда золота и было отправлено в горное правление, но оттуда денег не выдали.

А тут разнеслась по прииску весть, что старец Яков помер; дети увезли его в село, разломали избу и сами скрылись неизвестно куда. Костромин съездил туда удостовериться и вернулся больной; через три дня и он помер. Запечалились на приисках все рабочие, потому что

Костромина они любили, он многих выручал из беды, давал за крупинки золота деньги, так что некоторым рабочим незачем было уходить в другие места для продажи его. Кроме этого, рабочим не нравился другой Костромин, Степан, и его жена Анисья, которые постоянно присчитывали на рабочих деньги; все думали, что теперь хоть живой ложись в землю. Особенно все почувствовали, как нехорошо жить без хорошего человека на приисках тогда, когда Костромины увезли хоронить старика в село, заперев дом. Два дня еще прошло ладно, на третий ни у кого не было хлеба, даже из дома доверенного по нескольку раз посылали к дому Костромина узнать, приехали ли торгаши; некоторые рабочие так даже и сидели у дома Костромина, думая, что если приедут Степан или жена его, то они наперед отпустят доверенному; но Костромины не являлись. Терпение рабочих и доверенного истощилось, почему первые выломали двери в доме Костромина, но в доме не нашли ни куска хлеба, а забрали всю водку, пиво и брагу; доверенный послал в село Горюнова за покупкой муки и другой провизии, о чем его просил сам Горюнов, думая двадцать пять рублей, полученные им от Костромина, употребить в дело.

Горюнов, приехав в село, первым делом купил за десять рублей лошадь и за три крестьянскую телегу, потом уже закупил муки, крупы, соли и мяса. Едва он въехал на прииски, как его окружили рабочие, требуя муки. Никакие увещания Горюнова не принимались, и он должен был дать им целый мешок муки, доказывая, что мука принадлежит ему.

По окончании дневных работ, когда одни из рабочих сидели на горе и песнями старались немного развлечь себя, а другие сидели под горой, рассуждая о приисковой жизни в Сибири и на Урале, о жизни каторжных и о прежних хороших временах, когда торговать золотом было не в пример лучше теперешнего, Горюнов подошел к ним и, поговорив немного о бывшем его заводском начальстве, начал:

— А што-то Степанко Костромин не едет...

— А што?

— Должно быть, нашел добрую землю. Уж не продает ли он какое-нибудь место.

Рабочие загалдили. Увидавши волнение внизу, рабо-

чие, сидевшие на горе, спустились вниз и подошли к этим.

— Да ты это откуда узнал? — спрашивали пришедшие Горюнова.

— Я только предполагаю, потому, сами рассудите, сколько они с нас брали за все.

— Брали действительно дорого.

— А можно бы и без них обойтись, — сказал Горюнов.

— Как так?

— Очень просто. Вот обошлись же и без них, не померли. А муку я покупал наполовину дешевле, чем они нам продавали.

— Ты к чему это, Тереха, речь-то ведешь? — спросил вдруг Анучкин, не принимавший доселе участия в разговорах.

— К тому, што и самим можно покупать муку. Стоит только человека надежного выбрать.

— Не думаешь ли ты, што ты один надежный человек? — говорил Анучкин.

— Я только к слову сказал... я говорю — выбрать...

— То-то... Не хочешь ли ты, кривая собака, костроминское место занять?

— Может быть, тебе угодно, потому ты и спрашиваешь.

— А позволь-ко тебя спросить: откуда ты деньги взял? На какие ты деньги муку купил?

— Про то я знаю... Может, у тебя есть деньги, да ты небось не купил муки... Братцы! — обратился Горюнов к рабочим, с недоумением смотрящим то на Анучкина, то на Горюнова: — хорошо ли я сделал, што муку привез?

— Кто об этом спорит!

— Ну, а вот ему хочется, штобы мы с голоду мерли.

Одни из рабочих захохотали, другие стали ругать Анучкина. Анучкин пошел. Горюнов пошел за ним.

— Послушай, Тарас Трифоныч, из-за чего ты на меня зубы-то грызешь? — спросил Горюнов Анучкина: — насчет этого у нас уговору не было... Ведь ты не захотел же почему-то купить муки, а теперь, как другой купил, ты и завидуешь... Послушай, Тарас Трифоныч. Я давно насчет этого думал, и думал именно заняться торговлей с тобой. А што я не объявил об этом раньше тебе, так не знал, как это понравится рабочим. Хочешь вместе торговать?

Анучкин не соглашался, но к утру, когда на приисках все спали, уехал на горюновской лошади.

— Вор! Посмотрим, как он нам шары свои покажет, — говорили утром рабочие про Анучкина, узнавши об его проделке.

— Бог с тобой, Горюнов! Не я ли тебя взял с собой на прииски, а ты другому предоставляешь барыши, — говорил Ульянов.

— Елизар Матвеич! Я ли не друг тебе...

— Так друзья не делают: ты от меня все особо, все особо...

— А кто виноват? Не ты ли больше всех ходишь в лес стрелять птиц... Кто велел тебе зимой отсюда уходить? Сам ты не хочешь со мной якшаться. Насильно милому не быть.

Скоро после этого приехал Анучкин. Анучкина обругали, но он сказал: меня просил Горюнов съездить, я и съездил.

— Так, Тарас Трифоныч, нельзя... — начал Горюнов.

— Почему? По-моему, удобнее попеременно ездить, штобы друг другу незавидно было.

Так и стали Горюнов с Анучкиным торговать, переселившись в дом Костромина с Офимьей и Глумовыми, на которых Офимья готовила кушанье, даже на доверенного, и пекла хлебы на рабочих, а последние, в отсутствие Горюнова и Анучкина, продавали рабочим табак, водку и калачи. Теперь вечера рабочие стали проводить в доме Костромина.

Явился приказчик в сопровождении солдат — значило, что он вез деньги, — и Костромины.

Костроминых не пускали в их дом, они условиями и расписками доказывали право на владение домом, и хотя потом пустили их, но никто не стал у них покупать ничего. Доверенный рассчитал рабочих, рабочие не стали платить долгов Костромину и дали Горюнову денег на закупку съестных припасов и водки. Горюнов побоялся ехать в село, передал деньги Анучкину; Анучкин командировал Ульянова, не сказав об этом Горюнову Ночью Костромины уехали со всем имуществом с прииска и зажгли свой дом. Анучкин поехал за ними следом и к утру наехал на мертвое тело: Ульянов лежал поперек дороги с простреленной головой. Денег при нем не оказалось.

Об этом происшествии объявлять не стали, а из среды раскольников-рабочих нашелся один поп, который и отпел Ульянова по-своему. Все здоровые рабочие сопровождали до могилы Ульянова, изредка перекидываясь словами, но никто так не был печален, как Горюнов, который всю вину в смерти Ульянова сваливал на себя и на Анучкина.

Итак, теперь Горюнов и Анучкин сделались маркитантами. Дела их шли хорошо тогда, когда были на приисках деньги, и худо тогда, когда на приисках не было денег. Но зато теперь на приисках уже было меньше больных, потому что оба торгаша брали с рабочих небольшие проценты на свой затраченный капитал, на приисках больше и больше стало расходиться водки, больше появилось гармоний и балалаек, но было уже меньше таких оргий, которые происходили при Костромине, потому что большинство здоровых рабочих все свободное время проводило в лавочке.

Прошла зима, в течение которой золота добывалось мало и начальство часто уезжало недели на три из приисков. Весной доверенный запил.

Раз, во время отсутствия Анучкина, прибегает Николай Глумов и говорит Терентию Иванычу, что он, перейдя гору Троскурицу, в пяти верстах вверх по реке от построек Ново-Удойкинского прииска, нашел самородку. Самородка весила четверть фунта. Горюнов тотчас же предложил за нее мальчику десять рублей. Тот отдал и даже вызвался показать ему место, которое им замечено тем, что он воткнул в гору палку.

С горы, с того места, в котором Николай Глумов воткнул палку, представлялся великолепный вид: на несколько верст под горой волнами рос лес; кое-где казалось, как будто сделана просека, но между тем оттуда выходила зигзагами речонка, начало и конец которой терялись в лесах; кое-где виднелось большое озеро, как будто отлого положенное разбитое стекло на зеленеющую массу леса; справа и слева возвышались, точно луковицы, горы — или с черным лесом, или с белою или глинистою почвою. Здесь царила тишина, прерываемая только чириканьем птичек, карканьем ворон и щебетаньем сорок.

В полуторе верстах от горы Николай Глумов указал на небольшой холм, поросший невысокими соснами, который был окружен кустарником березы, редким до того, что к нему свободно проходило солнце, и около него с одной стороны журчал узенький источник. Здесь, в кварцевых породах, Горюнов увидал золотоносные россыпи, которые чуть-чуть были видны для глаз и тянулись по лугу сажен на двести.

Горюнов заприметил место и пошел на юг по течению источника, но источник вдался вправо, местность была холмистая; между холмами не было воды; ему пришлось проходить через густой лес, потом наткнуться на аршинную змею, на болото, на речку — и только к вечеру на другой день он вышел с Глумовым на Старо-Удойкинский прииск.

Анучкин был дома и подозрительно смотрел на Горюнова, расспрашивая, где он был так долго, но Горюнов говорил, что он искал свою лошадь.

Доверенный между тем пьянствовал, так что всеми делами заправлял приказчик с ревизором. Через неделю после того, как Горюнов нашел *телку,* приказчик, оставив Анучкина при доверенном, для того чтобы если доверенному понадобится водка, то Анучкин подавал бы ему ее, ушел с ревизором на охоту.

Анучкин редко приходил к Горюнову, а когда вечером Горюнов пришел наведать его, то нашел его запершимся в комнате. Сквозь замочную скважину Горюнов увидал, что Анучкин что-то делает, наклонившись к полу.

— Вижу, все вижу, — бессовестный. Вот те и товарищ! — проговорил Горюнов.

Анучкин вздрогнул, подошел к двери и тоже взглянул в замочную скважину, но так как в нее глядел Горюнов, то он увидал только черный зрачок.

— Отпирай! — шепнул Горюнов.

— Не донесешь?

— Провалиться!

Анучкин отпер дверь.

Доверенный лежал на спине с посинелым опухшим лицом и открытыми глазами, на которые уже были наложены медные гривны. Он умер. В комнате было душно, жарко; но Анучкин работал усердно: он уже до половины разобрал вещи в чемодане, принадлежащем доверен-

ному, и только на дне его увидал кожаную сумку, наполненную золотом.

Анучкин разделил золото пополам с Горюновым, рассыпав его в плитки; затем сумку положил на место, склал вещи, запер чемодан и положил ключи под подушку доверенного. Затем они вышли из избы, чтобы спрятать золото.

— Ну, Терентий Иваныч, молчок!

— Ты только молчи. Не удрать ли нам теперь?

— А в лавке кто?

— Возьмем с собой Кольку Глумова.

— Это на какой предмет?

Горюнов спохватился.

— Ты, брат, не коли. Я за Колькой давно слежу... Знаю, брат, куда он ходит в лес-то.

— Куда?

— А за пять да за шесть верст... Однако, Горюнов, нам надо решиться с тобой: нам с тобой обоим после этого не ужиться на прииске. Мы и раньше ссорились друг с другом. Нам надо разойтись: или тебе, или мне вон отсюда. Ты думаешь, я без цели допустил тебя ограбить доверенного? Да если бы я тебя понимал так, што ты человек нерассудительный, я бы тебя у дверей же убил бы и забрал бы все золото... Ты человек неопороченный, а я беглый, мне только и можно жить что здесь... Уж ты предоставь мне умереть в спокое!

Горюнов молчал. Он думал, что Анучкин прав.

— С деньгами ты везде можешь заняться чем угодно, а покажись я — меня схватят и посадят в острог. Правду ли я говорю?

— Я не буду мешать тебе, Тарас Трифоныч. Я уеду.

Анучкин крепко пожал ему руку, утер навернувшиеся на глаза слезы и проговорил дрожащим голосом:

— Спасибо, Терентий Иваныч... По гроб не забуду тебя. Ей-богу! — И они разошлись.

Пришедши домой, оба они ни слова не говорили никому о смерти доверенного и не возобновляли разговора относительно дележа и находящейся руды в известном им обоим месте.

Горюнов соболезновал о том, что сделал оплошность. И к чему ему было говорить об отъезде с Колькой Глумовым с приисков? Ему бы надо молчать и выжидать

удобного времени, потом ехать в город, продать золото, записаться в купцы, как и сделали самостоятельные мастеровые Терентьевского завода, еще находясь в крепостном состоянии, а тогда, в случае решения по справедливости дела об их каверзах, он мог бы избегнуть телесного наказания. Горюнов не мог теперь иметь прииска, потому что он считался мастеровым; но только стоило записаться в купцы... «Эдакой я дурак! И отчего это я не сообразил сегодня? А ведь я думал раньше об этом. Все это от радости произошло: шутка ли, найти самородку...» Но обещание уже было дано Анучкину; Анучкин еще в прошлом году говорил, что он знает богатое место, и если это место у него украдут, то ему не для чего больше и жить.

«Нет, не туда ты попал, Тереха! Здесь народ сборный; надо много воли, штобы што-нибудь забрать в руки... Тут надо десятки лет жить, штобы потом считать своим какое-нибудь место... Недаром сколько здесь живет народу, которым, кроме приисков, некуда деваться... Вот она и приисковая жизнь! Пришел я с двумя глазами, а уйду с одним. А уйти надо, пока цел. Бог с ним и с золотом...»

В это время на приисках только и было разговоров, что о строящихся железных дорогах, о чем постоянно сообщали вновь прибегающие беглые. Жизнь на железных дорогах они хвалили, но говорили, что пробраться туда очень трудно, потому что нужно пройти непременно те губернии, через которые редко кому удается пройти благополучно.

Горюнов сообразил, что там ему будет лучше, именно потому, что там он будет находиться вблизи больших городов; так обсчитывать и творить расправу, как на приисках, там едва ли можно, да и он продаст золото и будет хлопотать, чтобы его сделали каким-нибудь приказчиком или надсмотрщиком, которые, как говорили беглые, получают там большое жалованье.

Итак, Горюнов решил идти на железную дорогу.

В доме доверенного без сцены не обошлось. Когда пришли утром с охоты приказчик с ревизором, Анучкин сказал им, что доверенный ночью, выпивая из стакана водку, поперхнулся, с ним сделались корчи, так что Анучкин держал его за ноги, но скоро доверенный захрипел и помер; оба приятеля очень обрадовались, сказав: туда

дорога! — а приказчик, заперев дверь, сказал Анучкину, чтобы он объявил о смерти доверенного рабочим и съездил в село за становым приставом. Анучкин стал смотреть в замочную скважину. Приказчик достал из-под подушки ключи, отпер чемодан и с чиновником стал выбрасывать из него вещи.

— Тут, проклятая... цела! — говорил с яростию и радостию приказчик; но, отперев сумку и поглядев в нее, вдруг побледнел, разинув рот, не то от испуга, не то от удивления, и ничего не мог выговорить.

Чиновник, сидя, как и приказчик, *на карачках,* улыбнулся и спросил:

— Пусто? — и взял сумку.

— Полюбуйся-ко! — проговорил приказчик.

— Чего и говорить... мерзавец! — И чиновник швырнул сумку в приказчика.

«Ну, слава богу! Теперь они подерутся; надо скорей отослать Горюнова... А то после они опомнятся и будут оба подозревать меня», — подумал Анучкин и объявил Горюнову, чтобы он ехал как можно скорее в горный город и взял с собою Глумовых.

— А их зачем?

— Они знают телку.

Ребята беспрекословно согласились ехать в село за закупкой провизии, как им объявил Горюнов.

Через пять дней Терентий Иваныч был в городе. Первым делом он отправился к одному богатому купцу раскольнику, но управляющий сказал, что купец умер, а всеми его делами заправляет его брат, который имеет несколько приисков в разных местах и принимает золото от беглых людей из других приисков через посредство управляющего, потому что ему самому неловко разговаривать или рядиться с мужиками.

— За самородку я тебе дам тридцать рублей; золота тянет два с половиною фунта... Хочешь получить по полтораста рублей за фунт? — сказал управляющий, отдавая сверток Горюнову.

— Вы меньше казенной цены даете. На казенных приисках управители платят по два с половиною за золотник.

— Берешь или нет?

— Да хоть пятьсот рублей дайте.

— Ни копейки. Двести рублей сейчас, двести через

шесть месяцев, когда получатся деньги из петербургского монетного двора. Согласен?

— Если расписочку дадите.

— Ничего я тебе не дам. Ты знаешь ли, мне только стоит позвонить и позвать служителя... и тебя сейчас же арестуют. Понимаешь?

— Кабы вы понимали, как нелегко достается золото! Нельзя ли хоть через месяц, потому не мое золото.

Управляющий подумал и сказал:

— Если хочешь получить триста рублей сейчас, приходи за остальными через полгода.

Горюнов согласился.

Получивши деньги, Горюнов записался в городские мещане и стал разыскивать свою родню, но нигде никто из его знакомых об его родне не имел никаких сведений, почему он и уехал в М. завод. Узнавши там, что Коровaев с Григорьем Горюновым и какою-то молодою женщиною ушли на железную дорогу, Терентий Иваныч поплыл на пароходе в Нижний, радуясь, что Пелагея Прохоровна вышла-таки замуж за Короваева.

XXI

На железной дороге

По приезде в Нагорск Терентий Иваныч с Глумовыми долго искал главное управление железной дороги, от которого, как он узнал на пароходе, зависит определение должностных лиц. Отыскавши правление, Горюнов не скоро добился в нем толку, от кого зависит определение. Дальше хорошо обставленной и хорошо меблированной приемной, в которой сторожа были отставные рослые унтер-офицеры с медалями, его не пускали, да и в приемной он не мог добиться никакого толку прежде, чем не подарил сторожей, занимавшихся приготовлением для членов чая и снимавших и надевавших на членов верхние одежды. Сначала сторожа гнали его, но потом, когда он подарил их, сказали, что едва ли правление может что сделать для него, так как оно определяет и увольняет только главных лиц, ведет дела с конторами, — и обещали похлопотать за него перед одним снисходительным членом. Но сколько ни приходил Горюнов в приемную, он

только и видел, как служащие с важностию приходили и уходили мимо него, презрительно смотря на его смешную фигуру. Наконец-таки сторожа выхлопотали ему аудиенцию с одним членом на лестнице.

— Мы не принимаем! — сказал важно член и стал спускаться.

— Ваше благородие, я могу залог внести...

— Без рекомендации мы не принимаем.

— Я, ваше высокоблагородие...

— Что ты меня останавливаешь, скотина!

Горюнов опять прибегнул к помощи сторожей, но те посоветовали ему лучше обратиться в какую-нибудь контору, подчиненную правлению, но успеха не обещали, потому что теперь уже все должности заняты.

Проехавши Нагорск, Горюнов увидал другую жизнь. До этого города он видел жизнь прибережную, людей, занятых преимущественно сплавом по рекам товаров, леса, металлов и камней; эти товары и люди давали средства к существованию городам, селам, деревням; там люди или жили постоянно в одних местах, или все лето находились на реках; здесь же, напротив, несмотря на то, что ему попадалось много фабрик, он проходил хорошие луга, превосходные пашни; народ, большею частию в лаптях, куда-то шел и ехал, то с котомками, то с каменьем, товарами, — и народ этот торопился; на всех лицах виднелось какое-то нетерпение; пешеходы говорили мало, и если говорили, то часто вздыхали, как будто в словах их заключалась и надежда и сомнение.

— Куда вы? — спрашивал Горюнов.

— На железную дорогу.

— А товары?

— Кои на железную дорогу — им пешеходом-то осталось не больше ста верст, а там они скоро в Москву попадут, — а кои в другие краи.

Встречные, большею частию в телегах, отвечали, что они тоже с железной дороги и едут за провизией, или за камнем, или за кирпичами.

Наконец не стало ехать по дороге товаров. Толпы народа больше и больше прибывали из разных мест на дорогу, идущую к железной; больше и больше стало ехать по тому же направлению телег с камнем и кирпичом, так что часто их шло до пятидесяти телег; больше

и больше везли туда бревен. Больше и больше по дороге попадало нищих, которые или шли навстречу Горюнову, или сидели кучками около дороги... Пашни казались заброшенными; в деревнях виднелись только дети, глухие, слепые и больные старые люди да тощий скот; меньше и меньше становилось по дороге лесу, и там, где было поле, земля была ископана на несколько футов внутрь. А дороги не видать.

— Где же дорога?

— А во! Направо-то, видишь, песок, как гряда сделана! — указывая на насыпь, говорили Горюнову шедшие на железную дорогу.

Насыпь была ровна; она то была выше дороги, по которой шел Горюнов, то ниже ее; но на насыпи суетился народ, к ней подвозили песок, недалеко от нее, на площадке, складывали каменья, кирпич; в разных местах копали землю, разбивали крупные камни, кое-где распиливали бревна, что-то тесали. По одной стороне насыпи белели телеграфные столбы. Кругом было мрачно; от рабочих слышались громкие восклицания, да стук топоров там и сям оглашал местность. На расстоянии шести-семи верст около опушки леса или около насыпи сделаны были небольшие избушки из досок, или балаганы, служащие помещением для рабочих в ночное время и местом для склада топоров, пил, лопат и других вещей, принадлежащих строителям железной дороги. Дорога шла параллельно железной дороге между редким лесом и полями, на которых только была кое-как вспахана земля. Пересекши насыпь, дорога шла по ровному месту, около дороги. На этой стороне лес был вырублен сажен на десять от края уступа, и отсюда дорога казалась как бы вырезанною между холмами. Далее дорога заворотила вправо и версты полторы шла лесом, а потом пошла опять в виду насыпи, которая отсюда казалась высокою стеною.

— Прежде здесь никакой дороги не было, а теперь, гляди, какую проложили дорогу, и дорога-то эта выходит короче трактовой, только по ней не велят ездить с товарами али проезжающим, потому эта дорога компанейская, — объяснили Горюнову пешеходы.

Здесь уже меньше ехало телег с принадлежностями дороги, зато попадались навстречу телеги, наполненные больными мужчинами и женщинами.

— Господи помилуй! Ни одного дня не пройдет без того, чтобы не попадались хворые.

— Куда же их везут?

— Куда? Известно, куда! Вывезут на большую дорогу — и иди, откуда пришел. Хорошо, если село свое или деревня близко, а то так и помрет иной человек на дороге. У компанеев денег много, только не станут же они с хворыми возиться, когда, говорят, они подрядились дорогу к сроку сделать... Коли в силе человек — робь, и отдыха нету, а коли помирает — домой его. Раз было привязались к управителю, он и говорит: у нас-де люди не умирают, а коли они умерли за чертой — дело не наше, а божье.

Товарищи Горюнова были крестьяне недальних губерний. Все они жаловались на большие подати.

— Поневоле пойдешь в тяжелую работу. Прошлое лето мы всей семьей ходили... Только если бы не тяжелая работа да не болезнь, ничего бы. И так все повинности уплатили, а зиму дома промаялись кое-как.

Мало-помалу местность по обеим сторонам насыпи делалась оживленнее. По одной или по обе стороны насыпи лежали, на несколько верст длины, перекладины для полотна; на насыпи укладывали перекладины, засыпая песком полотно; по бокам насыпь кое-где убивали щебнем. Дальше на полотне лежали рельсы, а еще дальше рельсы уже укладывали на полотно; в промежутках речек уже оканчивалась кладка фундамента и приступали к кладке устоев для мостов; через одну реку, шириною в шестьдесят сажен, береговые устои были уже готовы, и один речной гранитный бык был выведен наполовину; окрашенные металлические части к этому мосту лежали на полотне. На протяжении по крайней мере тридцати верст как на полотне, так и около него работало много народа, преимущественно мужчин; женщин же было очень немного. Работа шла разнообразная: кто действовал лопатой, кто молотом, кто киркой, кто топором, кто ломом... Здесь никто не сидел без дела, а если и курил трубку, то старался сократить это удовольствие или работал, держа трубку во рту. По полотну и около насыпи ходили мастера и приказчики, большею частию немцы или чухонцы, в куртках или пальто или в черных рубахах, опоясанных ремнем, и черных засаленных брюках, в длинных

сапогах, застегнутых повыше колен ремнями, и в фуражках наподобие крышек, с длинными козырьками и с пуговками на верхушках их. Они, покуривая трубки или сигары, понукали народ работать скорее, распоряжались тем, как и что нужно сделать, куда, что и как приложить. Близ двух деревень, между которыми проложена дорога, около дороги построено несколько балаганов: в одних хранились инструменты, в других находились кузницы, в третьих помещались рабочие. За этими балаганами стояли целые поленницы кирпича, а против них был устроен большой бассейн, строили каменное водоемное и водокачальное здание и производили каменную кладку зданий. Всюду между этими постройками валялись коробки с гайками, крючьями и молотками, рельсы, перекладины, мужские зипуны, полушубки, лопаты и всякие инструменты. Кое-где около дороги догорали щепки... Народу везде было так много, что его трудно было сосчитать. Работа, что называется, кипела; здесь не слышалось песен и веселых разговоров, но зато воздух оглашался стуком чугуна и стали, как на какой-нибудь большой фабрике.

«Ну, Тереха, здесь много не разживешься. Народу-то, народу-то!!. Недаром столько его валит сюда», — думал про себя Горюнов, удивляясь.

Но никто так не удивлялся, как Николай и Петр Глумовы.

— Славно здесь, Терентий Иваныч. Только ребят здесь что-то не видать.

«Где-то мои?» — думал Горюнов и, подошедши к одной кучке рабочих, обтесывающих каменья, спросил:

— Не знаете ли, братцы, Короваева или Горюнова?

— Таких не слыхали... Какой губернии?

Горюнов сказал.

— Таких не знаем. Здесь много всяких.

— Кто же у вас в работу принимает?

— А вон чухна, что с цыгаркой ходит.

— А русских разве нет?

— Русских-то? Русские только подрядами занимаются: муку, кирпич да другие материалы поставляют и от себя приказчиков нанимают, только компанеям-то немцы лучше нравятся. Прежде, бывало, были русские, да прогнали их, потому они пить стали да крепко поворо-

вывали. Ну, а эти хоть и воруют, всё же люди свои, а если и пьют, так на ногах крепки. Теперь вон погляди: кто мосты делает? Чухны да немцы! .. И платят им целковых по три и по пяти в сутки.

— Есть же у вас кто-нибудь главный-то?

— Как нету. Он вон в деревне живет; поди, теперь с инженерами в карты дуются.

Горюнов из этих разговоров понял, что ему тут не сделаться приказчиком. Он видел, что приказчики распоряжаются даже над тем, что и откуда взять, и спорят с мастерами; он же в постройке железной дороги ничего не смыслит. Поэтому он затруднился в том, что ему выбрать для занятия. Не обидно ли будет ему, промывавшему золото, делать то, что ему прикажут? Он соглашался работать вблизи деревни; но боялся, чтобы его не послали туда, где только что начинают облаживать полотно дороги.

Горюнов подошел к приказчику и изъявил желание работать.

— Что можешь? — спросил его приказчик.

— Да все, что угодно.

— Так нельзя... Ты должен знайт один ремесло — каменщик, плотник, токарь али машинист... Э! не годишься!

— Почему?

— Мы с одним глазом не принимаем.

— Так возьми ребят.

— Силы у них нет. Можете дыры сверлить? Вон как тот сверлит...

— Мы на горных заводах робили, — сказал Горюнов.

— Ну, а здесь не завод, а железная дорога.

Однако приказчик принял Горюнова и Глумовых, заставив их сверлить дыры в рельсах.

Сперва Глумовым эта работа нравилась: им приходилось сидеть на горбине около рельсовой полосы и двигать к себе обеими руками резец. Они работали попеременно: сперва сидел Николай, а Петр стоял перед ним, подливая масло в резец, потом садился Петр, но к вечеру они устали, и когда увидал их приказчик сидящими без дела, то погрозился прогнать. Горюнову досталась тоже нетрудная работа: разбить рельсовую полосу к вечеру, когда ее хотели пригнать на полотно; но сколько ни усердствовал

Горюнов, ударяя молотом в долото, он только до половины разбил полосу, и приказчик, отобрав от Горюнова марку, велел ему уходить прочь.

Все-таки Горюнов с Глумовыми проработал на рельсах неделю. В воскресенье он захотел отдохнуть, но увидал, что на железной дороге праздников нет, напротив — даже по ночам стали работать, зажигая фонари. За сутки давали платы рубль серебра.

Все рабочие умещались в нескольких балаганах, сколоченных на скорую руку из досок; в этих балаганах пекли для них хлеб и варили щи, да в них лежали и больные. Все остальное время рабочие находились на работе. Каждый рабочий, получивший утром марку с нумером, должен был носить эту марку при себе и потом, вечером или на другой день утром, предъявить ее приказчику для отметки в его записной книжке; если какой-нибудь рабочий не в состоянии был работать, приказчик отбирал от него марку и, если были у него деньги, рассчитывал его, что, впрочем, случалось очень редко. Колоколов на железной дороге не было, но каждая смена или остановка работы, время обеда и ужина, конец обеда и ужина — извещались свистками приказчиков. К обеду и ужину приказчики подносили рабочим по чарке водки, и рабочие ели под открытым небом там же, где они работали, несмотря и на дождь. Работа не прекращалась на рельсах ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в гром, только в град и грозу рабочие уходили в балаганы, потому что бывали случаи, что нескольких рабочих убило при работах около железа. В дождь приказчики надевали кожаные пальто, а рабочие свои зипуны или полушубки вверх шерстью. Когда не было дождя, рабочие спали на открытом воздухе, на сухих местах: усталые, измученные и голодные, они скоро засыпали. Кормили всех скверными щами, потому что мясо привозили из города, и хлеб был недопеченый. . . От этого редкий рабочий был в состоянии проработать кряду два месяца, забирался в балаган, и если ему становилось легче, он опять шел на работу; а если ему становилось хуже, его отвозили в компанейских телегах на трактовую или проселочную дороги, в села или деревни, смотря по тому, что было ближе к железной дороге. Это делалось и потому еще, что в городах больных с железной дороги будто бы не принимали,

так как там или вовсе не существовало больниц, или в больницах помещались только городские обыватели. Больше всех доставалось рабочим, устроивавшим мосты. Им хотя платили и больше, но редкие из них могли в ненастное время проработать месяц или три недели, не захворав потом.

Но как ни тяжела была работа, здесь каждый надеялся на получение хорошей платы, и это удерживало рабочих на железной дороге. Хотя же они однажды и требовали от управляющего улучшения пищи, но он им сказал: не хотите компанейских хлебов, можете сами печь хлеб и варить щи, — и велел прекратить корм рабочих. И все рабочие остались без хлеба и без щей, потому что сельским и деревенским жителям строго было приказано не продавать ничего на железную дорогу, под опасением взыскания большого штрафа; также никто не смел и с дорог подвозить провизию к железной дороге. Пришлось обратиться к компанейской пище, за которую вычитали по пятнадцати копеек в сутки с человека, не ставя, впрочем, разбавленную водой водку в счет. Если же кто хотел выпить более двух чарок в сутки, тот платил по четыре копейки за чарку. Однако, несмотря на разные строгости, рабочие напивались в селах и деревнях на ночь и покупали там табак. Чтобы прекратить такое самовольство, приказчики стали хлопотать о том, чтобы им было дозволено вычитать из платы рабочих каждое путешествие в село и деревню, но управляющий разрешил приказчикам заниматься торговлею в селах. Сельским жителям было трудно конкурировать с богатыми людьми, которые всячески старались разорить своих противников каким-нибудь образом. От этого и вышло то, что в селах цены на все, кроме водки, поднялись очень высоко, и рабочие, получавшие деньги от приказчиков, половину или две трети их отдавали им же.

Прожил Горюнов на железной дороге месяц, а своих не разыскал. Он так и думал, что Коровaев непременно ушел куда-нибудь, и подумывал махнуть в Петербург попытать счастья. О Петербурге и здесь ходили хорошие вести... Но его удерживало то, что такого-то числа назначена была от станции проба на протяжении пятнадцати

верст: хотели пустить локомотив с пятнадцатью вагонами, наполненными рельсами. Этого дня ждали с нетерпением; большинство рабочих хотело удостовериться в полезности их труда и сомневалось, чтобы поезд мог пройти по рельсам, не свалившись в овраг, так как рельсы были положены в одном месте на пол-аршина от края, а полотно было устроено на три сажени выше от земли.

Наконец настал и этот день. Приказчики и мастера бегали как угорелые с раннего утра, смотря направо, откуда должен был идти поезд; все инструменты были убраны с рельсов и полотна, тормозы были несколько раз испробованы и приведены в порядок, рабочих гнали с полотна. Но к вечеру их известили, что у двух вагонов лопнули два колеса и поезд придет завтра. Вечером, впрочем, показался вдали локомотив, свистнул и медленно прошел один по рельсам. На третий день он привез двадцать вагонов-ящиков с рельсами, отцепил вагоны и ушел обратно по другому пути.

— Каково прет-то! В каждом ящике, чать, пудов двести будет... Штука!

— И не упал!

— Знатно, значит, устроили.

С этого дня началось движение между двумя станциями, из коих на одной постройки уже приводились к концу, а на другой еще только что оканчивали кладку фундамента. Локомотив по два раза в сутки привозил сперва вагоны-ящики с песком, на которых уже сидели с лопатами по два человека, и, выбросив из ящика песок, отправлялись назад, — потом камень и другие принадлежности для железной дороги. Теперь работа шла еще сильнее прежнего и, как говорится, проводилась уже *набело.*

Горюнов уже хотел идти совсем, да захворал Николай Глумов, которого ни за что не захотел покинуть брат. На другой день захворал не только брат, но и Горюнов и человек пятьдесят рабочих; от них горячка распространилась и в другие балаганы, а время было дождливое, осеннее, дул резкий ветер. Приказчики струхнули, донесли управляющему, который распорядился построить на скорую руку большой балаган вблизи села. Пока отстроили балаган, рабочие умирали десятками в старых, сырых и угарных балаганах на полу и в грязи. Начальство вызвало несколько фельдшеров с одним уездным лекарем,

которые, надо правду сказать, больным рабочим не принесли ровно никакой пользы, потому что при них не было лекарств и они могли только пустить кое-кому кровь. Между тем управление железной дороги хвасталось публично, что у него около станций устроены больницы на несколько кроватей и больные пользуются всеми медицинскими средствами на счет управления. Избу состроили скоро, но в ней еще больше стало умирать. Однако, несмотря на то, что больные не умещались в избах, валялись там и сям десятками, в рабочих недостатка не было; они то и дело заменялись другими, и большею частью уже такими, которые давно работали на дороге, перенесли болезни и, так сказать, обтерпелись и которых привозили в ящиках уже по железной дороге из других промежуточных станций, где рабочих уже требовалось немного.

Горюнов выздоровел, то есть он мог едва-едва бродить, а на железной дороге те, которые были в состоянии немного ходить, уходили в села или в деревни, где и поправлялись. Так и Горюнов ушел в село один. Глумовы померли еще в старом балагане. К этому горю прибавилось еще другое: во время его беспамятства у него украли платок с деньгами, который он постоянно носил за рубахой на груди. В декабре месяце он поправился совсем. В это время дорога в том месте, где работал первое время Горюнов, была уже окончена совсем, на дороге рабочих уже не было, а рабочие были только у станции, красивого каменного здания с фигурчатыми окнами и стенами.

— И черт же меня сунул сюда, прости господи! — ворчал Горюнов. — Купил бы я на родине дом, устроил бы постоялый двор... Нет! Жадность поганая! Денег больше захотелось иметь... Што я теперь? Нищий... Уж лучше бы было помереть, как ребятишки глумовские померли. Бедные ребятишки! А как я вас любил-то ведь... — И Горюнов утирал слезы с глаз.

Горюнов не знал, что ему делать? Работать на дороге в эдакой мороз ему не хотелось. Раньше у него была по крайней мере надежда, что он к имеющимся у него деньгам накопит еще хоть рублей пятьдесят или семьдесят — и потом поедет по железной дороге в Петербург, где, по его мнению, с деньгами он мог бы чем-нибудь заняться. Но теперь что он за человек без денег? Теперь у него

и охоты не было работать. Но надо же было что-нибудь делать. И он пошел к станции, там рабочие доделывали платформу. Горюнов поздоровался с ними, те молча кивнули головами и сделали между собой нелестное на его счет замечание, состоящее в том, что этот кривой человек, вероятно, накопил порядочно денег, что без работы шляется. Недалеко от них двое рабочих в полушубках стругали балку.

— Бог на помочь! — сказал Горюнов.

Оба рабочие, держа струг в руках, стали глядеть на Горюнова.

— Кажись... Ах вы, христовые! — проговорил вне себя от радости Терентий Иваныч, и по заскорузлому его лицу пробежали две слезинки.

Рабочие были Короваев и Григорий Прохорыч.

Радость всех трех была неописанная, но они пожали только друг другу руки. После расспросов, как живется, Горюнов уселся около них на доски и стал накладывать трубку табаком.

— Ну, а где же, Влас Васильич, твоя молодуха? — спросил Горюнов Короваева робко, боясь услышать неприятное о своей племяннице.

— Какая? — спросил в свою очередь Горюнова с удивлением Короваев.

— Как?.. Мне сказали в М. заводе, што ты ушел с Палагеей...

Короваев улыбнулся и сказал:

— Я сам об ней хотел спросить у тебя... Где она?

— Оказия!.. Как же это?

— Это вон Григорий шел с Лизаветой, а я с ними для компании, — сказал Короваев.

— Я сестру оставил в селе... Потом я встретился с Лизаветой в Прикамске: она кладь там таскала... Ну, она сказала, что Пелагея ушла в город Заводск вскоре, как Панфила стали судить за фальшивую бумажку... Панфила потом выпустили... Я его видел и звал сюда. Хотел идти, — говорил Григорий Прохорыч.

Запечалились земляки. Но горю не поможешь. Рассказов было так много у каждого, что они до вечера проговорили, сидя вместе.

Короваев говорил, что в М. заводе он никак не мог заниматься столярною работой, потому что ему не на

кого было работать, и он работал на литейном заводе. Но работа у огня расслабила его силы так, что он пролежал около двух месяцев в больнице. Жизнь в М. заводе ему не нравилась по дороговизне и потому, что он там начинал порядочно попивать, не желая отстать от товарищей, да и работа была такая, что выпить хотелось. Поэтому он никак не мог скопить много денег. Подумывал он и выписать туда Пелагею Прохоровну, которая могла бы купить корову и продавать в городе молоко, чем даже прокармливают себя иные тамошние женщины, но для этого нужно было непременно иметь свой дом, огород, покос, да и он не знал, понравится ли Пелагее Прохоровне такое занятие. «Тамошние женщины, — говорил Короваев, — сызмалетства привыкли ходить в город, отстоящий от завода в трех верстах, по два и по три раза в день, во всякую погоду. Они женщины бойкие, и у них не пропадет ни одна копейка. А Палагее Прохоровне ко всему этому нужно бы было привыкать». А тут чуть было его не женили: стала за ним очень ухаживать сестра хозяйки, у которой он жил на квартире, и дошло даже до того, что самовольно стала распоряжаться его деньгами. Вот поэтому Короваев и решился идти на железную дорогу.

Григорий Прохорыч говорил, что ему тоже не нравилось житье в М. заводе, потому что там много было всякого народа и каждый человек то и дело что хвастался уменьем взяться за все; в сущности же ленились все, надеясь на других. Кроме этого, в М. так было много воров, что по ночам было опасно ходить от города в завод. Тамошние девицы ему не нравились, потому что предпочитали халатникам сюртучников, наряжались по-городски и вообще, на его взгляд, не могли бы ужиться с одним мужем, тем более что они сами заработывали себе пищу и одежду от огородов и коров. Хотя же он и сердился на Лизавету Ульянову, но с тех пор, как он увидал ее на пристани, его тянуло поговорить с ней, так как до нее у него не было там знакомых женщин, в которых бы он мог влюбиться, а у нее тоже там не было приятелей. Мало-помалу они сошлись, но обещались друг другу жениться, накопив капитал на железной дороге, куда пошла с ними и Степанида Власовна с детьми. Но Степанида Власовна испугалась далекого путешествия и осталась с детьми в Пояркове.

Вечером все земляки ушли в теплую избу. Изба здесь была светла, просторна и имела большую русскую печь. Это была образцовая изба, которую компанеи показывали начальству путей сообщения, уверяя его, что здесь помещается большинство рабочих, которых привозят сюда на машине. В избе было несколько женщин, и в том числе Лизавета Елизаровна. Она была говорливее всех, и по голосу ее далеко было слышно. Она тоже обрадовалась Терентию Иванычу; но известие о смерти отца ее недолго печалило: ей уже много приводилось видеть, как здоровые люди умирали скоро.

— Я, дядя, хочу в Петербург. Хвалят тамошнее житье-то. Лизка мне покою не дает, — проговорил Григорий Прохорыч.

— Да как! Што это за жизнь?.. Здесь с голоду помрешь и околеешь как собака... Да я и одна найду туда дорогу, — говорила Лизавета Елизаровна, лежа с Григорьем, около которого лежали Короваев и Терентий Иваныч.

— А есть ли деньги-то, Гришка? — спросил дядя племянника.

— Мы с Лизкой уж накопили тридцать рублей.

— Да и я тоже думаю, — сказал Короваев.

— У меня были деньги, да украли их. Ведь пятьсот рублей было, — приврал Горюнов.

— Ну, мы дадим, после сочтемся.

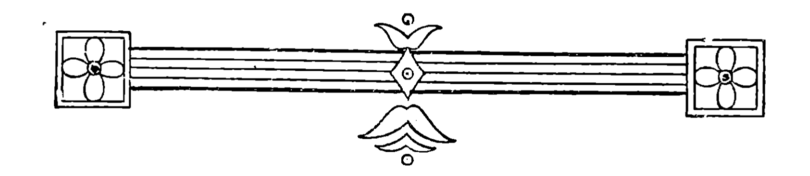
— Не хотелось бы мне так-ту, ребята...

— Полно-ко, Терентий Иваныч!.. Я вон тоже на Гришкины деньги ехала сюда, — сказала Лизавета Елизаровна.

— То ты... Нет, я лучше поработаю.

И земляки остались; но прожили только до апреля месяца, потому что сперва захворал Григорий Прохорыч, потом Лизавета Елизаровна выкинула младенца, которого и зарыли в землю, как вещь негодную, на что приказчики не обращали внимания.

В апреле земляки поехали в Питер попробовать: не лучше ли житье в столице?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

I

Пелагея Прохоровна находит Петербург не таким, каким ей малевали его раньше

Июнь месяц, полдень. Несмотря на то, что идет дождь, деятельность и всеобщее движение не прекращаются в Петербурге. Как и в хорошую погоду, многолюдные улицы полны народом; торгаши булками, рубцами, печенкой, яблоками и другою мелочью стоят около своих подвижных лавочек, накрытых клеенкой; артельщики несут на головах или рояль, или по полдюжине стульев, диваны и тому подобные громоздкие вещи; ломовые лошади, сопровождаемые понукиваньем и руганью извозчиков, везут шагом, часто останавливаясь, кули, тюки хлопчатой бумаги, пеньки, железо, машины, ящики с водкой и с пустыми бутылками; бесчисленные городовые, стоя на углах улиц, или отгоняют кого-то, или распекают ломового извозчика за то, что у него упала лошадь или остановился огромный воз не в указанном месте. Из высоких труб фабрик и заводов, по окраинам столицы, поднимается черный дым и потом, рассеиваясь, наполняет и без того удушливый воздух смрадом. Реки и каналы запружены барками и судами, из которых выгружают на берега дрова, камни, кирпичи, доски. Много судов и барок медленно пробираются по рекам и каналам дальше. Огромные дилижансы и пароходы битком набиты пассажирами, едущими

с дач и на дачи. На Невском не редкость встретить двух мужиков с завязанными бечевкой назад руками и сзади их городового, держащего под левой мышкой книгу, а в правой руке концы бечевочки... Везде движение, суета, восклицания яблочников, шток-фишников, спичечников, татар с халатами, поясами, платками или просто с узлами — и т. п.; треск, не умолкающий ни на одну минуту, жалобный стон и рев фабричных и заводских труб, неслышный в середине города. Никому, кажется, нет дела до того, что дождь мочит и мочит; только на панелях пешеходы стараются обойти лужи, ругая тех, которые задевают их зонтиками разных объемов, и дворников, которые, сметая с панелей грязь и воду, без церемонии задевают метлами по ногам пешеходов. Каменщики преспокойно спускаются и поднимаются с тележками по лесам около недокладенных каменных домов; кое-где приколачивают над окнами новенькие вывески, кое-где поправляют штукатурку и красят стены на домах; там и сям мужики в оборванных поддевках разбивают на мостовой камни, вколачивают один к другому или выбрасывают из ямы на поверхность черную вонючую грязь и выкачивают воду, пробуя, хорошо ли действует водопроводная труба. Без умолку пристают к пешеходам извозчики, беспрестанно ходят вокруг каланчей два сторожа, взглядывая изредка на вывешенные два черных шара. Но никто никому не мешает, всякий идет своей дорогой, ничем не интересуясь, останавливаясь разве там, где много собралось в кучу народа; все куда-то спешит, торопится; на лицах не заметно радости; каждый при своем месте и считает себя находящимся *при деле*.

Поезд, следующий из Москвы, опоздал. Весь двор запружен извозчиками, извозчичьими и городскими каретами; барские кареты стоят особо. Извозчики сидят смирно, толкуя друг с другом; кучера с огромными бородами, покуривая из трубок табак, тоже разговаривают с лакеями и с презрением поглядывают на меньшую братию. По двору ходит несколько городовых. В вокзалах народ, барыни, разодетые по погоде, баре, купцы, купчихи, чиновники и чиновницы, полиция, бедно одетые люди. Некоторые из солидных людей свободно расхаживают по платформе, то и дело натыкаясь на жандармов, квартальных и городовых. Все эти люди пришли и приехали встречать

поезд. И в этой встрече есть две цели: одни встречают родных, знакомых, друзей; другие стараются поживиться на счет приезжающих; не говоря об извозчиках, в вокзале находится до сорока квартирных хозяев, которые только тем и живут, что прямо с железной дороги берут к себе на квартиры жильцов.

Но вот показался поезд. Задрожала мостовая по линии железной дороги. Поезд идет тише и тише, наконец он остановился. Весь народ, бывший в вокзалах, рванулся на платформу, извозчики скучились на подъезде и перед подъездом. Народ стал выходить из вагонов, — и боже мой! сколько в течение четверти часа вышло из них народа, *народа простого!* И куда денется весь этот простой народ — мужики, бабы, девки? .. Все суетятся; разиня рот, разыскивают своих товарищей по деревням, свою родню, хватают за руки или полы полушубков, кацавеек, поддевок... Слышатся восклицания вроде следующих: «Митрей! а Митрей! .. Не видал ли, любезный, мою бабу? .. О, штоб тебе околеть! сказано — держись за меня! Держи крепче мешок-то: оборвут!» Каждый из приехавших простых людей что-нибудь да имеет при себе: кто котомку или попросту полушубок, обмотанный ремнем и надетый на спину, кто мешок, кто пилу, кто лоток — и т. п. Но вот мало-помалу платформа опустела, опустел и вокзал.

Около ворот на панели стояла молодая женщина с узлом под левой мышкой. По всему видно было, что она только что приехала и не знает, куда идти. Казалось также, что ее все удивляло: и большие дома, построенные вплошную, с вывесками сверху донизу, точно облепленные картинками, и треск, и многолюдство, и крики торгашей под самым ухом, предлагавших и спичек, и яблоков, и других сластей... Она стояла разиня рот, ничего не понимая; голова ее кружилась.

— Прикажете отвезти-с? — надоедали ей извозчики.

— Што стоишь-то? — крикнул на женщину городовой, должность которого состояла в том, чтобы стоять у ворот Николаевской железной дороги, и который, видя стоящую женщину с узлом, хотел развлечься.

Женщина очнулась и вдруг спросила:

— А где у вас тут бог-то?

— Не видишь, што ли! Ослепла. — И городовой показал ей на Знаменье.

Женщина, отличивши, наконец, церковь от больших домов, перекрестилась и поклонилась на церковь.

— Скажи, ради христа, куда мне идти? — спросила опять женщина городового.

Этот вопрос немного озадачил городового, но он думал недолго.

— Всякой дряни в столицу хочется! .. а дороги не знает! Ты, поди, ехала с кем-нибудь?

— Как же! Только не понравились они мне. .. Укажи, ради христа, я тебе гривну дам.

— Иди на постоялый.

— Да тут ко мне приставали какие-то фармазоны: мастеровые — не мастеровые, кто их знает. Так они просили с меня тридцать копеек в сутки.

— Как зовут?

— Меня-то?

— Ну да! — прикрикнул городовой.

— Палагея Мокроносова.

— Што за узел? Развяжи-ко?!

— Стану я для тебя развязывать!! Ишь, што выдумал!

— Ну-ну!! В полицию сведу. Извозчик?! — крикнул вдруг городовой и потом прибавил: — узнаешь!

Пелагея струсила и стала развязывать узел. В узлу оказалось два сарафана, одно ситцевое платье и шерстяной платок.

Пока она показывала и трясла свои вещи, народу вокруг нее и городового собралось много. Народ этот был большею частию простой, занятой, но останавливающийся там, где собирается в кучу человек десять.

Народ говорил:

— Воровку поймали!

— Господи, какая молодая, и. . .

— Ну-ну!! Пошли! Чего не видали? — крикнул на народ городовой. Но народ только попятился от городового.

Куча росла.

— Паспорт?! — спросил вдруг у Мокроносовой городовой.

— Ишь выдумал!! Он у меня далеко. . . вот где. — И она указала на грудь.

— Доставай!

Мокроносова засунула руку за пазуху и с большим усилием достала платок, на котором было нарисовано сражение при Синопе. Развернувши платок, она подала городовому паспорт. Городовой стал читать про себя, то есть не поднимая губ и не открывая рта. Несколько голов заглянули на паспорт с обеих сторон головы городового.

Просмотревши паспорт и проверивши его с личностью Мокроносовой, городовой возвратил ей его, сказал: ступай! — и пошел прочь.

Народ тоже разбрелся в разные стороны.

«Што же это такое? што ему нужно было от меня? и што он за человек такой есть? Такой оказии со мной еще нигде не случалось!» — думала Пелагея Прохоровна.

А народ идет и едет по площади по разным направлениям; треск, стук, крики сливаются в одно; на домах пестрят вывески, точно картинки; извозчики, видя стоящую с узлом женщину, то и дело предлагают свои услуги прокатить ее по Питеру за полтинничек; прохожий народ то и дело сталкивает ее то с панели, то в лужи на панели. Голова закружилась у Пелагеи Прохоровны: все ей кажется ново, непонятно, удивительно.

— Куда я приехала? Много я городов видала... а здесь... Што же это такое?

— Московские калачи хороши! — прокричал пожилой мужчина, неся на голове корзину, и обратясь к Пелагее Прохоровне, сказал ласково: — не желаете ли купить?

И, не дожидаясь ответа, он снял с головы корзинку и откинул клеенку. В корзине оказались булочки французские, русские и польские.

Пелагее Прохоровне хотелось есть. «Отчего не купить и не попробовать питерских булок?» — подумала она и стала рассматривать булочки.

— Какую желаете? .. эти московские, эти французские, это пеклеванный.

— Што это за пеклеванный?

— Мука такая есть. Господа его очень любят... В трактирах все тоже пеклеванный.

— Значит, питерской.

— Именно! И дешевле против этих и сытнее будет.

Пелагея Прохоровна купила целую булку и спросила у торгаша: куда ей идти? Тот, расспросив ее, откуда она и когда приехала, указал путь.

— Вот теперь ты поверни налево, будет Лиговский канал. Направо через канал будет идти переулок, ты в переулок не ходи, а иди прямо. Тут ты увидишь постоялый двор, только туда не ходи, потому там извозчики живут, а иди дальше. Там спросишь: где, мол, постоялый двор, што для приезжающих с машины...

— Покорно благодарю.

И Пелагея Прохоровна пошла. Дождь в это время перестал идти.

Когда она вошла по указанию налево в улицу, картина представилась ей уже другая: дома попроще, мало красивых вывесок, много питейных заведений; из дворов несет чем-то нехорошим; мало идет и едет народа. Но главное, что ее заняло, — это Лиговский канал, посреди улицы, с мутною вонючею водою и огороженный деревянными перилами. Здесь было много грязи, проход через канал — узенький, деревянный мостик. Налево деревянные тротуары с провалившимися досками, а кое-где просто канава. Пелагея Прохоровна поглядела в канаву. Она забыла слово канал, потому что не понимала его, и поэтому думала, что это река. Но какая же это река: из нее так и несет чем-то нехорошим, и узенькая она, и вода в ней, должно быть, стоит, ни судов, ни лодок нет на ней.

— Этот калашник надул меня: потому какой это Питер?

Она оглянулась назад. Там дома, как на картинках писано, — красивые... Ишь там как трещит и гудет... И она пошла назад туда, где трещит и гудет. Навстречу ей шел мужчина, держа подмышкой фунта два черного хлеба, а в правой руке булку и печенку, которые он откусывал понемножку. Он был уже выпивши и шел неровно. Одет он был в оборванный полушубок, синие изгребные штаны, в лапти и меховую рваную во многих местах шапку, промокшую до того, что с нее и теперь изредка капали на лицо капли, которые, протекая по лицу до бороды, оставляли на той или на другой щеке черные полоски. Он прошел мимо Пелагеи Прохоровны молча, даже посторонился от нее.

«Это из наших! Непременно. Бурлаки у нас так-то ходят», — подумала Пелагея Прохоровна и пошла за ним. Немного погодя она догнала этого человека.

— Дядюшка! — сказала она, став с ним нога в ногу.

— Што? — сказал он охриплым голосом, глянул на нее — и потом, мотнув головой, стал глядеть на мостовую.

— Питер ли это?

— Знамо, Питер.

— Где бы мне остановиться?..

— Остановиться?.. Известно, где люди останавливаются... — Он глянул на нее и опять стал глядеть на мостовую.

— Укажи ты мне дорогу.

— И укажу! провалиться...

— Да ты мне скажи, куда идти-то?

— Куда идти?! Подем к Артемьевне... Я у ней живу.

— А есть ли там бабы?

— Как не быть бабам... А ты, брат... Кабы мне такую бабу!..

— Пустое говоришь. Ты доведи до места. — Они пошли.

— Разве я пес?.. Нет, у меня душа христианская... Я к слову: потому у меня жена в деревне. Да какая она теперь жена мне?

И крестьянин остановился.

— Почему теперь я в Питере? — спросил он сердито. Лицо его подернуло, брови сдвинулись.

— Все вы таковы. У вас все только жены виноваты.

Крестьянин махнул рукой, и из руки выпал недоеденный кусок булки, который и попал в лужу. Крестьянин взял его, обтер грязь полушубком, поскоблил пальцем и откусил.

«И здесь тоже, видно, хорош народец», — подумала Пелагея Прохоровна.

Крестьянин вошел во двор одного из деревянных домов.

Пятиоконный деревянный дом, обшитый тесом, с питейным заведением, принадлежал, как гласила голубая дощечка над воротами, купчихе Фокиной. Он стоял особняком от других домов, потому что с одной стороны находился дровяной двор с возвышающимися около самого забора и заслоняющими с одной стороны свет к дому рядами еще не распиленного на дрова леса, с другой же стороны находилось пустопорожнее место, на котором, впрочем, купчиха Фокина летом садила капусту и картофель. Как перед домом Фокиной, закоренелой староверки,

так и перед дровяным двором и пустопорожним местом вместо тротуара существовала канава, которая, впрочем, только отчасти походила на канаву, но зато к каждым воротам были сделаны деревянные мостки. В настоящее время, в дождливую погоду, около низеньких окон дома нельзя было вовсе ходить: хотя грязи было и не очень-то много, но почва была такая, что ноги скользили. Несмотря на то, что наши староверы чистоту любят, двор купчихи Фокиной не оправдывал этой славы: он был очень грязен и вонюч до того, что в нем пахло как из бочки с протухлой рыбой или говядиной. Впрочем, это объясняется, может быть, тем, что Фокина сама в доме не жила, а приезжала в него только изредка. Кроме дома, во дворе был флигель с двумя окнами по бокам и дверью в середине, выходящими к воротам.

Помещение в этом флигеле тоже не отличалось изяществом; войдя в дверь, даже простой человек мог заметить, что внутренность его устроена с расчетом. А именно: большая изба с двумя окнами — одно недалеко от двери к выходу, другое налево. Но с первого раза нельзя отличить, изба ли это или горница: во-первых, потому, что в ней не было полатей; во-вторых, направо, в углу на заднем плане стоит *чугунка,* и от нее проведена через все помещение железная труба, идущая, над дверьми направо, в помещение хозяйки; и в-третьих, в этом помещении нет ни нар, ни скамеек, ни стола и ни стула. Прокоптелые сырые стены, когда-то оклеенные желтыми обоями, которые в иных местах уже отпотели и отпали, а во многих местах висят клочками; грязный, никогда не моющийся пол; в углу маленький образок, который с первого раза трудно заметить; серый потолок с дранками крест-накрест и штукатурные карнизы; сырой табачный и иной неприятный воздух — вот и все в этом помещении, которое содержательница флигеля, солдатская вдова Софья Артемьевна, называла постоялою избою. Так и нам следует называть это помещение.

Когда Пелагея Прохоровна вошла в эту избу, она заметила, что несколько мужчин в поддевках, зипунах, а более в полушубках, различных лет, высокие и низкие, сидели на полу около стен, точно собирались петь «Вниз по матушке по Волге». Такое предположение, впрочем, в настоящий момент было неверно, потому что они гово-

рили почти все разом, передавая глиняные и деревянные трубки с коротенькими чубуками соседям. Подалее от двери лежало четверо крестьян во всем как есть, подложивши под головы свои узелки; в переднем и противоположном ему углах лежало несколько котомок. Тут же можно было заметить кирку, пилу, лоток. Из хозяйской комнаты слышались крики женщин.

— Ермолаю Евстигнееву! — крикнуло несколько голосов вошедшему крестьянину. Несколько человек слегка приподняли шапки. Пелагея Прохоровна ушла в хозяйскую половину.

— Ну, как дела?

— Нашел ли место?

— И не спрашивайте!.. Народу нонича страсть. На Сенной-то нас собравши, почитай, было ста два. Дождем так и мочит. Ну, стояли-стояли, топтались-топтались, — хоть бы кто!!

— Нет?!

— Провалиться!

— Надо по заводам походить.

— Да што на заводах-то делать? На фабриках — другое дело.

— На суда бы.

— То-то, братцы; там всё стояли, кои на суда... Вот в маляры да в каменщики спрашивали. А таких, штобы на суда, — не было. Народ галдит: чать, поздо! Пошли к рекам — в полной препорции! судов страсть — и народу страсть.

— Мы тоже по рекам-ту ходили — народу в препорции. Надо рядиться песок плавить или хоша камень.

— Вре?!

— Семьдесят пять надыть просить. Мы в прошлое лето с дядей Митрием ходили в Питер, так у него деньги были, он и купил лодку — семьдесят пять выложил да нанял четырех работников: так он еще в барышах остался и лодку имеет. Только помер теперь.

— А лодка?

— Што лодка? я ходил к тому месту, где мы ее под караул оставили, караульщик и не дает. «Дай, говорит, такую бумагу, што лодка тебе предоставлена, и плыви, говорит, с ней по Неве». А у меня бумаги нет. Ночевал я там, а утром уж лодки и нет. Ну, што ты поделаешь?

— Ничего не поделаешь. Известно, простота не доводит до добра.

Помещение хозяйки — кухня и комната, как хотите называйте его, — было уже мужского, которое отделялось от него перегородкой до потолка и имело изразцовую печь, похожую на русскую. Все пространство, вровень с печкою, было занавешено ситцевой драной занавеской, сквозь которую виднелись кровать и комод. В переднем углу стоял стол со шкафом; на столе красовался самовар, не чищенный более месяца; по обеим сторонам стола стояли три стула с решетками. Над столом, в углу, укреплено три образа в фольговых украшениях, которые от времени и от копоти уже отлиняли. Стены оклеены голубыми обоями, которые хотя и прокоптели, но еще целы. На стене, противоположной дверям, висит небольшое зеркальце и две картинки, из которых одна изображает девочку, держащую в руках книгу, а другая немца, отправляющегося на охоту с ружьем и двумя собаками. Потолок здесь выштукатурен, пол чистый.

В то время как в это помещение вошла Пелагея Прохоровна, шесть женщин в коротеньких шугайчиках и полушубках, в сарафанах и в платках на головах, от восемнадцати до сорока пяти лет, сидели на своих узелках в ряд на полу у стены, закусывали кто хлебом черным, кто белым хлебом с соленым огурцом и селедкою. Тут же была и хозяйка, низенькая, толстенькая женщина, с распухшим красным лицом, с широким ртом, с подбородком, заплывшим до того, что с первого взгляда казалось, нет ли у нее тут грыжи, с толстым красным носом, свидетельствующим, что она в день употребляет не малое количество водки, с маленькими карими глазами, то и дело перебегающими с одной женщины на другую и успевающими заглянуть в мужское помещение. Одета она была в это послеобеденное время в старенькую черную терновую юбку, которую жильцы называли платьем, потому что она носила еще такую же черную кофточку с широкими, немного поменьше поповских, рукавами. В ушах ее сережек не было; но на левой руке, на указательном пальце, находилось постоянно кольцо польского серебра — знак ее вдовства.

Пелагея Прохоровна помолилась на образа и поклонилась хозяйке и женщинам, которые при входе ее в комнату замолчали.

— Што тебе? — спросила хозяйка охрипшим голосом, наливая в чашку кофе.

— Пусти на квартиру.

— Тесно! — ответила хозяйка и принялась пить кофе, не спуская глаз с Пелагеи Прохоровны.

Пелагея Прохоровна ступила шаг вперед и оглядела женщин. Женщины всё незнакомые: в том вагоне, в котором она ехала, этих не было.

«И куда это народ делся? Сколько ехало баб одних, а здесь ни одной нет», — подумала она и обратилась снова к хозяйке:

— Скажи, пожалуйста, хозяюшка, Питер ли это?

Хозяйка засмеялась, разлила кофе и закашлялась так, что принуждена была выйти вон, во двор; женщины захохотали; щеки Пелагеи Прохоровны покраснели.

Оглушенная дружным хохотом всех женщин, Пелагея Прохоровна ничего не нашлась сказать. Она чувствовала, что ее щеки горят. «Нет, это не Питер», — подумала она и взглянула на женщин; женщины шепчутся и хохочут. «Экие гадкие!»—подумала Пелагея Прохоровна и пошла было к двери, но ее ухватила одна женщина за сарафан.

— Ты куда приехала-то? — спросила она Пелагею Прохоровну, закрывая рот рукою, чтобы не хохотать. Наречие у этой женщины было тверское.

— Знамо, куда: в Питер везли на чугунке, — сказала сердито Пелагея Прохоровна.

— А заместо Питера ты куда попала?

— К чертям! — крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины снова дружно захохотали.

Пелагея Прохоровна вышла во двор и столкнулась с хозяйкой.

— О, штоб тебе!.. Чуть-чуть из-за тебя не подавилась! — крикнула хозяйка на весь двор.

— Ты это куда пошла-то? — крикнула она снова, увидав, что Пелагея Прохоровна идет с узлом к воротам.

— Уж я в другое место.

— В другое? Да ты заплатила ли мне за постой-то? — И хозяйка подошла к Пелагее Прохоровне.

— За какой?

— А вот за какой! — И она толкнула Пелагею Прохоровну к флигелю.

В это время из дому в оба окна смотрел народ — в одно мужчины, в другое женщины.

— Да ты што дерешься-то всамделе? — крикнула Пелагея Прохоровна и замахнулась, но хозяйка успела отвернуться.

— Хошь, я городового позову?

— Зови хошь черта! — Пелагея Прохоровна пошла.

— Послушай, белоручка, куда ты пойдешь-то? — сказала хозяйка ласково.

— Куда-нибудь... Только с такой драчуньей и с такими зубоскалками я ни за что не останусь.

— Ладно...

Пелагея Прохоровна вышла за ворота и задумалась: куда ей идти, направо или налево.

В это время из кабака вышел молодой здоровый кабатчик, с длинными, гладко причесанными волосами, с небольшими усиками, закрученными кверху, в ситцевой белой рубашке, в жилетке, в драповых брюках и в белом холщовом фартуке.

— Дура ты, дура оголтелая! Ты должна спросить добрых людей, где можно пристанище иметь. Ты посмотри, все ли у тебя цело в узлу-то? — проговорил он скороговоркой, обращаясь к Пелагее Прохоровне, и Пелагея Прохоровна подумала, что и в Питере есть добрые люди.

— Ну, что ты стоишь-то? Ты посмотри: все ли цело в узлу-то.

— Да я его все в руках держала.

— Должно быть, ты еще не знакома с питерскими мазуриками?

На улицу из двора вылетела хозяйка Артемьевна и, остановившись около самого крыльца перед кабатчиком, плюнула ему в лицо и с яростию проговорила:

— Подлый ты человек! Мазурик!!. Кто воровские вещи принимает?

— Ты сперва уличи... У кого, как не у тебя, по ночам обыски делают. Слушай, баба: иди наискосок; там ты будешь спокойнее, — проговорил кабатчик, обращаясь к Пелагее Прохоровне, и потом ушел в кабак.

Артемьевна рванулась было в кабак, но кабатчик толк-

нул ее с крыльца, проговорив с достоинством, приличным хозяину питейного заведения:

— Куда?! . Ты сперва в баню сходи, потом лезь ко мне.

Ярость Артемьевны была велика. Она несколько минут топталась перед крыльцом кабака, ворча как собака, не могущая изловить кошку, забравшуюся на крышу после большой царапины, которою та угостила собаку.

Пелагея Прохоровна не стала дожидаться конца этой сцены. Она была рада, что избавилась от такой хозяйки, у которой и в самом деле, может быть, случаются нехорошие вещи. Ее еще все удивляло: отчего это здесь и дома дрянные, и народу мало, и народ какой-то нехороший, точь-в-точь как в каком-нибудь уездном городишке... А ей дорогой говорили, что Питер отличный город, что в нем и грязи никогда нет и народ вежливый... И все оказалось напротив. Даже и народ, простой народ, говорит как-то иначе, непонятно. Тут и толку никакого не добьешься... Знала бы, не поехала бы такую даль! Уж если начин такой, то и жизнь здесь, поди, худая... хорошо, видно, там, где нас нет! ..

Однако уж дело сделано, денег много истрачено на дорогу и в дороге, и теперь у Пелагеи Прохоровны денег только пятьдесят семь копеек.

С такими мыслями Пелагея Прохоровна подошла к каменному двухэтажному дому в пять окон, с подъездом в середине и с двумя лавками в подвале, из коих в одной продавался хлеб, овощи и другие съестные припасы, а в другой — водка. Пелагея Прохоровна поглядела кругом — чуть не в каждом доме красуются на дверях вывески с словами: «Распивочно и навынос».

«Вот где пьяное-то царство!» — подумала Пелагея Прохоровна и вошла во двор.

Двор большой, грязный, вонючий; здесь пахло еще хуже двора купчихи Фокиной. Но зато здесь несколько извозчичьих колод, опрокинутых, изломанных; на заднем плане построены давным-давно какие-то клетушки с запертыми на замки дверями. Налево, против каменного дома, выходил деревянный флигель с пятью окнами на улицу, двумя во двор и с крыльцом.

Войдя в темные сени, Пелагея Прохоровна услыхала говор нескольких голосов, мужских и женских. Постуча-

лась налево — никто не отпирает, но за звонок она не взялась: она еще не понимала этой мудрости.

— Тебе кого? — спросила ее вышедшая из правых дверей худощавая, высокая пожилая женщина.

— Да на постоялый...

— Разе тут постоялый? Не слышь, што ли, в которой стороне мужичье орет? — проговорила эта женщина сердито.

— Можно туда идти-то? — спросила смиренно Пелагея Прохоровна.

— На то и постоялый, штобы народ шел... Я сичас приду.

Женщина позвонила, и когда ей отворили дверь налево, она вошла туда.

Большая комната с двумя окнами против двери и с неоклеенными стенами; двое широких нар по правую и по левую сторону с проходом между ними, имеющим вид площадки; в углу большая круглая печь, обитая железом сверху донизу; далее дверь в темную комнату с русскою печью, вероятно кухню, — вот постоялая изба, куда вошла Пелагея Прохоровна. На обеих нарах сидели в разных позах и лежали — направо мужчины, налево женщины. Мужчин было человек двадцать, женщин до десятка; как те, так и другие говорили, и поэтому в избе говор происходил неописанный, так что сразу нельзя было понять, в чем дело или о чем люди толкуют. Но хотя здесь были нары и на полу лежать не приводилось, зато табачный дым заставлял кашлять, и несмотря на то, что в избе было два окна, в ней от дыму было темно.

— Эк их, как накурили, словно в казарме! — сказала Пелагея Прохоровна и закашлялась; потом, отмахивая правою рукою дым, подошла к женщинам.

— А! суседка! А я тебя искала-искала... Ну, полезай! — проговорила радостно одна молодая женщина с веснушками на лице, в розовом шугайчике и ситцевом платке на голове; она подвинулась.

— Куда?! И так тесно.

— Пусть на мужское отделенье идет, — проговорили две женщины.

— Со мной в одном вагоне ехала.

— Мало што!..

— Бога вы не боитесь. Полезай!!

Пелагея Прохоровна присела к женщине, но та уговорила ее залезть на средину нар для того, чтобы *устроиться,* — «потому-де, может еще с машины народ найдет, и тогда, пожалуй, придется под нары лезть». Пелагея Прохоровна заметила, что шесть женщин сидят у самой стены на своих узелках, увидала свободное место, полезла и тоже села на свой узелок. Пришла хозяйка, Марья Ивановна, та самая высокая, худощавая женщина, которая встретила ее в сенях.

— А где тут новая? — спросила она, прищурила глаза и стала разглядывать и считать женщин.

— Здесь! — Пелагея Прохоровна встала.

— А!!. Ловко ли?

— Ничего. Я вон тут наискось была, так там на полу...

— Не-ет?! — произнесли несколько раз женщины, удивляясь.

— Это уж такая женщина! Она бы и не имела жильцов, потому што же за сиденье или спанье на полу, да ейной любовник на машину ходит и оттуда народ заманивает... Ну, баба, надо с тебя за квартиру три копеечки. Здесь, в Питере, сами жильцы знают, што деньги нужно вносить вперед.

— Сколько же? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да уж мы со всякого берем по положенью — три копейки. Ночуешь — ладно, не ночуешь — деньги не возвращаются, было бы тебе это известно. Потому я женщина бедная, за квартиру-то двадцать рубликов в месяц!

— Што ты? — удивились женщины.

— Што делать!

Пелагея Прохоровна отдала три копейки.

Хозяйка положила монету в карман своего ситцевого платья и посоветовала Пелагее Прохоровне иметь на всякий случай поближе паспорт.

— Потому ночью, может, полиция придет, она часто по ночам шляется, воров да беглых разыскивает. Прежде бог миловал, спокойно было на этот счет, да черт подсунул к нам в соседи эту Артемьевну. Раз у ней беглого из тюрьмы нашли — ну, стали и к нам ходить с тех пор.

— Да ведь она почем знала, что он беглый?

— А отчего она паспорта не спросила? Теперь тоже у них с кабатчиком постоянно ругань; она своим

мужикам говорит: не берите у нашего кабатчика водку, потому-де нехорошая та водка, с дурманом; ну, а мужика долго ли застращать, они и идут в другой кабак, а он за это отгоняет от нее жильцов: она-де воровка, у нее постоянно по ночам обыски делают...

Пелагея Прохоровна стала есть пеклеванный хлеб. Пожевавши немного, она выплюнула на ладонь, посмотрела и понюхала хлеб.

— Бабы! Какой это я хлеб купила?— проговорила она, с удивлением смотря на женщин и часто отплевываясь.

— Ну-ко?

Пелагея Прохоровна передала хлеб одной женщине. Хлеб пошел гулять по наре. Одни из женщин находили этот хлеб хорошим, другие никуда не годным и спрашивали:

— Где купила?

— Какой-то булошник продал там, недалеко от машины. Он еще говорил: господской, говорит, самый питерский.

— Ну-ко?

Опять пошел хлеб гулять и прогулял до того, что мало-помалу от него остался маленький кусочек.

— Как вам, бабы, не стыдно! — сказала Пелагея Прохоровна, получив кусочек.

— Нехороший хлеб! Напрасно только деньги истратила.

— Нет, хлеб ничего; кабы анису поменьше, еще бы лучше был! — говорили женщины.

— Однако, бабы, не мешало бы похлебать чего-нибудь.

— Я вот цельную неделю ничего горячего в рот не брала.

— Марья Ивановна, нет ли чего похлебать?

— Нету. Сама двои сутки ничего для себя не варила. Кофеем питаюсь.

— А где бы эдак похлебать?

— Не знаю... Уж, верно, до тех пор не придется, как на места поступите.

— Экое дело!.. А ты, Прохоровна, непременно сведи нас туда, где принимают на места, — сказала одна молодая, худенькая, низенькая женщина лежащей на животе, в углу, длинной женщине, ноги которой уходили под стол.

Эта длинная женщина повернула от стены лицо молодое, но желтое, и проговорила:

— Ох, не могу! Живот так и колет.

— Ты бы клубок подложила.

— Ох, клала коробочку, — не действует.

— И с чего это заболел-то?!

— Должно быть, с селедки: такая нехорошая попалась.

— Бабы! хоть бы капусты похлебать. Марья Ивановна, одолжи чашки и ложек. Мы заплатим.

Хозяйка заворчала, но все-таки сжалилась над бедными женщинами, дала им бутылку под квас, большую деревянную чашку и пять ложек деревянных, сказав при этом: смотрите, не изломайте! По получении этих вещей женщины учинили складчину и командировали одну из своей среды за капустой, квасом и солеными огурцами.

Надо заметить, что из числа этих одиннадцати женщин только одна бывала в Петербурге, а именно та, которая всех длиннее и лежит на животе в углу. Дарья Прохоровна своей фамилии не знала, и в ее паспорте значилось: крестьянка Дарья Прохорова, замужняя, — а в паспорте ее мужа значилось: крестьянин Конон Дорофеев, женатый. Дарья Прохоровна жила в Петербурге два года, но в это время ей Петербург так опротивел, что она воротилась в деревню. В деревне она прожила года два и вышла замуж за молодого крестьянина, у которого был в доме хромой отец и сестра-вдова с ребятами. Этот молодой крестьянин с другими крестьянами на лето уходил на заработки в Петербург. Так он и нынче ушел еще в апреле месяце, а в конце мая жена получила письмо, что ее муж в больнице. Дарья Прохоровна испугалась, оставила своего шестимесячного ребенка и маленьких сестренок на попечение золовки и поехала в Питер. Мужа она нашла в больнице; он только что начал поправляться. Поэтому она решилась не уезжать из Питера до тех пор, пока не выздоровеет муж. Но вот она вчера целый день ходила по старым местам, спрашивала лавочников об местах, но утешительного мало: сегодня ходила в Никольский рынок — тоже неудачно. Остальные женщины, как и Пелагея Прохоровна, приехали в Петербург в первый раз вчера и сегодня. Две приехали с мужьями (тоже

в первый раз) из Тверской губернии. Мужья хотят торговать чем-нибудь, и с ними три сестры, которым на родине делать нечего, так как на кирпичном заводе, где они раньше работали, теперь работы стало очень мало. Остальные две девушки — одна из Новгородской, а другая из Витебской губернии; сестры этих девушек живут тоже в Петербурге, а они раньше работали на фабриках и жили в городах. Две женщины, одна из Калужской, а другая из Костромской губернии, были солдатские жены, но мужья их писали им редко откуда-то издалека, и они жили в губернских городах, а потом вздумали попытать счастья в Петербурге.

Мужчины так накурили махоркой, что у женщин начали разбаливаться головы, и они стали жаловаться друг дружке на головную боль, но ни одна не понимала причины. Наконец кашель стал душить всех женщин. У Пелагеи Прохоровны тоже разболелась голова, и она закрыла платком рот.

— Ты што закрываешься-то? — спросила ее соседка.

— Смотри, што дыму-то от табачища... От него, знать-то, и голова болит! Им што: они напьются водки и курят!

Женщинам этого было достаточно: они поняли причину головной боли. К тому же редкий из мужчин не был выпивши. Они закричали на мужчин, но тех унять было трудно.

— Мы здесь сами себе господа, денежки за фатеру наравне платим.

— Можно, я думаю, и на улице курить.

— Не замай! И так дома-то жены нам все уши прожужжали. Здесь-то нам и повольготнее.

— Мы вам не мешаем, — сидите, курицы, на яйцах.

— Што с ними, с дураками, говорить. — И сказавши это, одна женщина отворила дверь. Дым немного вышел, но против такого самоуправства восстала Марья Ивановна.

— Кто вам приказал дверь отпирать? У меня там благородные люди живут.

— Што нам коптеть тут? Отчего у те окна не отпираются и отдушин нет?

— Идите на улицу, теперь лето.

— Ну, и Питер! — заметила с сердцем Пелагея Прохоровна, не зная, что и как возразить хозяйке.

Стали хлебать капусту с квасом. Квас и капуста оказались нехорошими, огурцы гнилые; но на тощие желудки и это было слава богу.

Мужчины то уходили, то приходили. Были тут и посетители, которые говорили, что в Питере житье год от году хуже, и рассказывали о своих делах. Женщины, особенно Пелагея Прохоровна, вслушивались в эти разговоры. Разговоры были до того невеселые, что не одна женщина призадумалась над тем: что-то с ней будет! не худо ли она сделала, что поехала в Петербург, который ей там, в глуши, казался прекрасным местом, в котором, как она слышала, умирать не надо? И зачем эти самые крестьяне, жившие в Петербурге, испытавшие жизнь петербургскую, обманывали их?

— Не врут ли они? — спросила Пелагея Прохоровна соседку.

— Кто их знает? Только што же им врать-то... А не погуляем ли по Питеру?

— Нет, еще заблудишься.

После скудной трапезы женщины сидели немного. Они легли и лежа слушали толки мужчин. Однако сон брал свое, и Пелагея Прохоровна уснула.

Когда она проснулась, было темно. Мужчины галдили, а двое пели:

Ах, московская дорожка,
Шириною два аршина.
По ней бегает машина —
Настоящий соловей!
Не качает, не трясет —
Словно вихорем несет...

Но Пелагею Прохоровну не интересовала эта песня, у нее болел живот. Соседки охают. Долго крепилась Пелагея Прохоровна и тоже заохала.

— Што, живот? .. Это с капусты да с огурцов, — проговорила соседка.

— Што и есть-то мы будем! с рыбы живот болит, с капусты тоже! — проговорила другая соседка.

— Да будь он проклят, этот Питер... Хоть бы водки выпить с перцем! — сказала Пелагея Прохоровна.

Она не могла уснуть до утра. Утром пошла она в заведение — заперто.

Был какой-то праздник, и водки нельзя было достать до окончания обедни.

Пелагея Прохоровна захворала.

II

О том, как и где в Петербурге бедные женщины нанимаются в работу

Мужчины и женщины рано разбрелись по Питеру из избы Марьи Ивановны. Женщины, в том числе и оправившаяся Дарья Прохоровна, пошли на Никольский рынок *продаваться,* как они выразили Пелагее Прохоровне свое желание наняться в работы. С собой они захватили и узелки. Мужчины тоже, захвативши свои котомки, мешки и инструменты, у кого какие были, пошли на Сенную *наниматься.* Изба опустела; в ней не было ни одного узелка, и только сор, хлебные и огуречные корки и табачный дым давали знать вновь вошедшему жильцу, если бы такой появился, что здесь *Русью* пахнет. Пелагея Прохоровна осталась одна, потому что и хозяйка куда-то ушла, затворив двери в сенях на замок. Невыносимо скучно сделалось Пелагее Прохоровне; много она передумала в отсутствие хозяйки, длившееся часа два. Она думала и о том, что-то с нею дальше будет, и о том, что где она ни жила — везде было плохо. Из виденного ею во многих городах и даже здесь, в Петербурге, она смутно понимала, что едва ли есть где на земле такой уголок, где бы хорошо и весело жилось. Но отчего это? Кто в этом виноват? Она было подумала, что виноваты мужики тем, что пьянствуют и не берегут деньги, но в жизни она видела совсем не то: она, трезвая женщина, начинала мало-помалу приходить к тому заключению, что пьянство происходит не от баловства, а совсем от другой причины. Ее отец всегда пил по неделе после того, как его наказывали розгами. Ее муж пил всегда после ссоры с начальством. В вагонах мужики ехали трезвые — отчего же они в столице напились все до пьяна? И тут есть какая-нибудь причина. Какая же причина? Пелагея Прохоровна доискиваться не стала, потому

что мысли ее приняли другой оборот. Ее теперь не удивляла ни грязь, ни вонь петербургских улиц, ни Артемьевнина, ни эта, Марьи Ивановны, постоялая изба; ее удивило то, как это бабы пошли на рынок продаваться? Правда, они объяснили ей вскользь смысл этого слова, но зачем же именно продаваться, когда человек пришел в Питер для того, чтобы нажить деньги? Нет ли в этом слове нехорошего чего-нибудь? Ах, как ей самой хотелось поскорей побывать на этом рынке и узнать доподлинно суть дела! Да и неужели иначе нельзя найти работу?

Пелагея Прохоровна присела. Живот болит; в избе душно. Солнце ярко освещает двор.

«Тут совсем околеешь! Нет, не утерплю я: пойду как-нибудь на этот рынок».

Вошла хозяйка.

— Ну, што, белоручка?

— Ох, не могу!

— Вижу я, ты очень нежного воспитания. Вон у баб тоже животы болели, да они пошли продаваться.

— Пойду и я. Далеко рынок-то этот?

— Ты бы еще до вечера пролежала: гляди, где солнце-то! А до рынка-то, пожалуй, часа полтора будет ходьбы... Што, у тебя, видно, много денег-то?

— Марья Ивановна... Напрасно ты обижаешь меня. Бог с тобой! Виновата ли я, что пища у вас здесь нехорошая?

— Э-э! Ко всему надо привыкать. Подмети-ко лучше избу-то, чем так сидеть.

И Марья Ивановна принесла из своей кухни метлу.

Пелагея Прохоровна начала мести, но хозяйка, посмотрев на нее, с сердцем выхватила метлу и сказала:

— Я так и поняла, что ты белоручка! А тоже хочет в людях жить. Поди ложись лучше на свое место.

Пелагея Прохоровна не стала возражать и легла. Хозяйка тщательно вымела пол, спрыснула его водой и опять вымела. После этой операции она сходила за кипятком, который принесла в большом медном, почти черном чайнике, и уселась в избе пить кофе, севши за стол на маленькую скамеечку, которую она притащила из кухни.

— Хочешь кофею? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Покорно благодарю; я его отродясь не пивала.

— Ты выпей, легче будет.

— Нет, не хочу я этого пойла.

— А здесь ты должна привыкать ко всему. Если ты поступишь в кухарки или прачки, тебе будут давать кофею. Куда хочешь девай; таково уж здесь положенье.

Пелагея Прохоровна попросила Марью Ивановну разъяснить ей, что значит ходить на Никольский рынок продаваться. Марья Ивановна, находясь в хорошем настроении и имея свободное время, объяснила подробно этот вопрос. В чем дело — читатели скоро узнают.

Солнышко манит на улицу; в избе душно, несмотря даже и на то, что Марья Ивановна отперла дверь в сени; без дела скучно. Вошла Пелагая Прохоровна во двор, присела на крылечко, солнце так и палит, как из печи; во дворе душно, тяжело дышится, в горле першит.

«Нет, у нас не в пример лучше. У нас если жарко — окно отворим, и ничем не пахнет. А если на улице жарко, схоронимся куда-нибудь в сторону; здесь и схорониться некуда, и пахнет нехорошо, и в горле першит!» — думала Пелагея Прохоровна и ушла в избу.

Марья Ивановна, моя чашку, напевала духовные песни. После этого она не торопясь оделась в своей кухне.

— Ты никуда не пойдешь? — спросила она Пелагею Прохоровну

— Куда я пойду? Кабы я в силах!

— Ну, так запрись на крючок, а я пойду на железную дорогу.

— Зачем?

— Надо мужиков зазвать.

— И ты каждый день так ходишь?

— Как же! Под лежачий камень вода не побежит, говорит пословица.

И Марья Ивановна вышла.

«Какая она добрая и старательная. Вот бы мне до такой жизни дожить!»

Но Пелагея Прохоровна не понимала того, как нелегко Марье Ивановне достаются медные гривны. Она не знала того, что если Марья Ивановна не пойдет сегодня на железную дорогу да не будет там, по приезде поезда,

заманивать честным и нечестным образом приезжающих крестьян, то с железной дороги к ней придет разве или уже останавливавшийся у нее, или заблудившийся, случайно забредший сюда горемыка; а на этих людей, что ночевали сегодня, надежда плохая, потому что половина из них, может быть, поступит на места, а другая половина разбредется по другим постоялым дворам, которые ближе к Сенной площади.

Пришла Марья Ивановна и привела с собой пятнадцать мужчин и шесть женщин. Мужчины и женщины галдили; но на лице Марьи Ивановны выражалось неудовольствие. И немудрено: сегодня ей меньше вчерашнего пришлось набрать народа.

— Никто не бывал? — спросила она сердито Пелагею Прохоровну.

— Нет.

— Вот што: ты бы шла в другое место, — сказала она шепотом на ухо Пелагее Прохоровне.

— Зачем?

— Кто те знает, какая у тебя болезнь? Может, холера.

Пелагея Прохоровна побледнела. Хозяйка ушла. Женщины стали знакомиться с Пелагеей Прохоровной. Из них две бывали в Петербурге и утешили Пелагею Прохоровну тем, что, может, к завтрему болезнь пройдет. Они думали так потому, что в Петербурге с непривычки почти у всех баб бывает эта болезнь в первый день по приезде, если только они напьются питерской воды или поедят чего-нибудь соленого.

В избе происходило то же самое, что и вчера: мужчины и женщины сидели отдельно; мужчины курили, выходили, приходили навеселе; женщины от скуки часто ели или черный хлеб, или булки, у одной даже оказался розанчик. К вечеру все женщины переговорили между собой много, успели раза два поссориться; мужчины успели к вечеру выпить — кто по косушке, кто по две косушки — и накурили, как вчера. К одиннадцати часам уснули все, кроме Пелагеи Прохоровны, которая, лежа в углу, вертелась с боку на бок, что ужасно беспокоило добрую Марью Ивановну.

— Ты не спишь? — спросила она тихонько Пелагею Прохоровну, подойдя к ней.

— Нет.

Хозяйка вышла из избы и немного погодя привела городового.

— Ну, што ж я сделаю? — ворчал сквозь зубы городовой.

— Отправь ее в больницу.

— Не могу. Ведь у нее нет адресного билета?

— Один паспорт.

— Ну, значит, без адресного и днем в больницу не примут.

— Што же делать? А если у нее холера?

— Если будет худо, завтра объяви в квартале. Тогда посмотрим.

— Боже ты мой! Вот наказанье-то!

Городовой вышел. Хозяйка ушла в свою кухню, села на кровать и задумалась.

— Слышите, ребята, — холера! — проговорил один крестьянин.

— Што ты врешь! — сказал другой, проснувшийся от слова «холера».

— Ей-богу! Сейчас полиция приходила и объявила хозяйке, што если помрут мужики — объявить.

— Господь с нами! Да где ж эта холера! — говорили проснувшиеся крестьяне.

— Што вы его, дурака, слушаете! Он нализался вчера и бредит.

— Своими ушами слышал — провалиться!

— То-то, вчера едва на ногах держался! Спал бы лучше, а не мутил народ.

Женщины тоже проснулись, слышали весь этот разговор и струсили не на шутку, но больше всех трусили Пелагея Прохоровна и хозяйка: первая трусила не потому, чтобы боялась холеры или смерти, — нет: она боялась, чтобы женщины не подумали, что холера с ней, и тогда ей не попасть завтра на Никольский рынок, что ее, пожалуй, в самом деле свезут в полицию, тогда как с ней просто слабость, маленькая головная боль и бессонница, а живот перестал болеть с тех пор, как она выпила осьмушку перцовки вечером; хозяйка, по простоте своей, думала, что с Мокроносовой действительно холера. А умри-ка у нее кто-нибудь, хлопот и возни не оберешься.

Женщины не могли уснуть до утра. Они рассказывали разные ужасы из деревенской, сельской и городской

жизни; говорили о покойниках, о колдунах, о том, как ведьмы новорожденных ребят в трубу вытаскивают, — и проч.

Утром Пелагея Прохоровна ходила по избе бодро. Хозяйка подошла к ней и спросила шепотом:

— Прошло?

— Слава богу. Перцовка, знать-то, помогла.

Немного погодя после этого женщины, в том числе и Пелагея Прохоровна, вышли на набережную Лиговского канала со своими узелками. За ними вышли и мужчины. Мужчины и женщины столпились в кучки.

— Куда идти-то? — спросил один мужчина товарищей.

— Пойдемте по Глазовской. Я там робил... Оттуда Сенная-то близко, — проговорил мужчина в толпе.

— Пойдемте прямой дорогой по Невскому да по Садовой, — сказала одна женщина другим женщинам.

— Веди! только штобы к месту...

Бывалая женщина тронулась, за ней пошли остальные, в том числе и Пелагея Прохоровна.

Когда они вышли на угол Невского и Лиговского канала, Степанида Антиповна (так звали бывалую женщину) взглянула на часы на башне, устроенной над зданием московской железной дороги. Стрелка показывала половину шестого часа.

— Как раз в пору: половина шестого. Покуда идем, да што... — проговорила Степанида Антиповна.

Женщины тоже поглядели на башню и подивились над тем, как это часы высоко приделаны, да еще так, что их издалека видно!

Солнце уже высоко стояло и грело слегка. Легкий ветерок с моря освежал воздух. Теперь дышалось легче оттого, что пыль к тому времени осела на строения и мостовые.

В это раннее время деятельности и движения в Петербурге мало. На Невском пусто; изредка разве проедет карета или извозчик с загулявшимся кутилой. Извозчики, сидя в пролетках, дремлют и поднимают головы тогда, когда мимо их проедет извозчик или с седоком, или без седока. Мало стоит на перекрестках городовых. Заперты магазины, но уже отворены мелочные лавки и питейные заведения, в которые захаживают и из которых уже

выходят: из первых — женщины-кухарки, женщины-прачки, швеи; из вторых — мастеровые, подмастерья, рабочие. Дворники в розовых вязаных фуфайках, или просто в ситцевой рубашке и черной жилетке, в фуражке и с фартуком, метут мостовые, панели. То и дело со всех сторон стекаются на Невский разные рабочие. В одном месте уже выбрасывают из ямы черную вонючую землю, размокшую как грязь. В другом месте, по левую сторону Невского, десять человек рабочих бросили на недоконченную мостовую два лома, мешочки с хлебом, молотки и стали снимать — кто рваные полушубки, кто поддевки. В это время дремлют на мостах торгаши булок, печеных яиц, кренделей, яблоков и разных разностей; они почти круглый год живут около своих лавочек; в это время не гремят мостовые, не кричат мальчики со спичками, торгаши яблоков, рыбы и т. п.; только откуда-то слышится свист, как от локомотива или как из фабричной трубы.

Женщины шли и удивлялись. Их все удивляло: громадные дома, построенные вплотную, и множество вывесок на них, и то, что в каждом доме, исключая немногих, весь нижний этаж занят лавками, и зеркальные стекла в окнах, и большое число рабочих, то и дело выходящих из улиц или идущих по Невскому куда-то все вперед, и рельсы посреди улицы. И говорили они между собой: «Нет у нас лучше Питера-города; и сколько, должно быть, в нем господ живет! И неужели купцы могут торговать выгодно, если в каждом доме несколько лавок? И хорошо бы пожить в верхнем этаже: все бы тогда увидел и все бы сидел у окна и глядел на улицу». И чем дальше они шли, тем больше им нравился Петербург; они не чувствовали устали, и каждой казались теперь противными родные места — деревни, села, города, каждой хотелось жить в Петербурге.

«Тыщу рублей давай теперь мне, не пойду отселева... Эх, кабы Влас Василич надоумился приехать сюда. Озолотел бы он. А дядя, дурачок, зажил бы припеваючи: ему бы только глазами взглянуть на Питер, он бы выдумал штуку... Да, будь у меня деньги, я, ей-богу, завела бы постоялый двор... А што эти мужики говорили, што здесь худо, — враки! Дела здесь, должно быть, много. Ведь вон сколько нас на машине приехало, и все разо-

шлись! С постоялой избы сколько ушло — и не воротились. И говорят, каждый день столько народу приезжает... Да, хорошо, должно быть, здесь... Но кто же живет в этих домах? Неужели всё господа?» — Так думала Пелагея Прохоровна и спросила об этом Степаниду Антиповну.

— Всё господа и купцы... Живут больше так: у каждого своя комната. Вот в этом дому, я думаю, человек тысяча живет.

Женщины удивились.

— Народу здесь, страсть! Говорят, тысячи тысяч. Полиция каждый день ведет счет, никак не может сосчитать.

Женщины еще больше удивлялись.

Так они дошли до Сенной.

На Сенной торгаши уже отпирали лавки, мужчины и женщины, большею частию пожилых лет, катили сюда из разных улиц тележки с разными разностями и останавливались каждый на своем месте. Мало-помалу Сенная площадь наполнялась торговыми людьми, женщины стали предлагать нашим женщинам яблоков, ниток, катушек, тесемок, стали появляться женщины в салопчиках и черных суконных пальто с рогожными кульками в виде сумочек. Но не это торговое движение, только что начинающееся, привлекло все внимание наших женщин, а то, что в углу, между церковью и Полторацким переулком, толпилось до двухсот крестьян; около них стояло несколько женщин.

— Подойдемте к мужикам: нет ли наших, — сказала Степанида Антиповна и повернула к толпе.

«В самом деле, нет ли тут дяди али Власа Короваева. Может, они с железной-то и пошли сюды. Вот бы обрадовались-то!» — подумала Пелагея Прохоровна.

— Это и есть Никольский? — спросила она Степаниду Антиповну.

— Еще не дошли. Энто Сенная прозывается, — проговорила Степанида Антиповна.

Мужчины галдили. Женщины подошли к ним, стали заглядывать; ни одного нет знакомого, даже и тех нет, которые ночевали в одной с ними избе.

— Еще хвастались, а вот мы скорее их дошли, — сказала Степанида Антиповна.

— Што ж они тут стоят? — спросила Пелагея Прохоровна.

— А нанимаются. Этот рынок мужской.

Пелагея Прохоровна придвинулась ближе к мужчинам. В средине их стоял высокий, здоровый мужчина в фуражке и темносинем суконном кафтане. Он говорил:

— Так ежели тридцать копеек...

— Несподручно, — загалдил народ.

— Харчи чьи? — спросил молодой мужчина.

— Харчи ваши. Так, пожалуй, тридцать пять...

— Нет... Так не годится, — говорил народ и отошел от него, потом рассыпался по углу площади.

Стали сбираться в кучки, в которых говорили:

— Какая, он говорит, работа?

— Полы переделывать, стены штукатурить.

— Далеко отселева?

— Сколько человек-то?

— Нады спросить.

Кучки опять рассыпались, подошли к подрядчику, окружили его.

— Сколько требуется народу?

— Пятьдесят человек, потому кто ежели портит только, тово вон. Ну, так как?

— Ну, а как идти?

— Как хотите, можно и на машине. Отсюда в Царское всего четвертак стоит.

— Пойдемте, бабы, кабы не опоздать, — сказала вдруг Степанида Антиповна и пошла.

Женщины тронулись. Прошли Сенную, перешли Вознесенский проспект. Впереди и сзади наших женщин шли тоже женщины, по пяти, по две и даже в одиночку.

Сердце забилось сильнее у Пелагеи Прохоровны. «Продаваться! — подумала она. — Что-то будет, что-то будет».

Вот и площадь. По левую сторону каменные лавки — здание, похожее на гостиный двор, с подвалом, в котором тоже устроены лавки, которые тоже отворяют торгаши, а некоторые уже вывешивают на двери веревки, бечевки, шлеи, дуги с колокольцами и без колокольцов. Впереди от Старо-Никольского моста стоит несколько женщин с узелками.

Поровнявшись с собором, женщины усердно помолились на него и потом подошли к женщинам, оглядели их, поклонились им; те тоже оглядели вновь пришедших и слегка кивнули головами.

Пришедшие остановились.

— Вы подальше от нас! — сказала одна молодая женщина из прежде пришедших и тронула за руку Степаниду Антиповну, желая ее отвести.

— Это почему? — спросила сердито Степанида Антиповна тронувшую ее женщину.

— Потому ты нам не компанья.

— Я тебе покажу компанью... Вот и видно, что из *новеньких*.

— Как бы не так! Вот тебя так и по облику видно, што калужская луковица!

— Ах ты, подлая! Может, ты калужская-то, а я вовсе не калужская, а питерская.

— Оно и заметно.

— Двиньтесь, бабы, плотнее, — крикнула храбро Степанида Антиповна своим одноночлежницам и толкнула назойливую бабу.

Баба рассвирепела, обозвала Степаниду Антиповну воровкой. Женщины заголосили и едва не вступили врукопашную, но к ним подошел городовой, стоявший доселе как статуя. Он подошел медленно, как будто каждый его шаг стоит больших денег, остановился против женщин и тупо-флегматически стал смотреть на них.

Степанида Антиповна и ее противница двинулись к городовому, за ними двинулись и женщины.

— Она меня обозвала! — закричала Степанида Антиповна.

— Она воровка... В узлу у нее воровские вещи.

— Ее надо за это...

— Кто ты есть такая, позволь тебя спросить! Ты не раз в части сиживала...

— Ну-ну!!. Молчать! — проговорил начальническим тоном городовой.

Женщины заголосили, но городовой начал легонько толкать женщин, говоря:

— Што на дорогу стали! Становитесь в угол! Пошли, пошли!!. Я вас!

Женщины попятились. Городовой пошел дальше и стал распекать женщин, продающих хлеб, за то, что они выдвинули столы очень близко к дороге.

Женщин прибывало больше и больше. Они приходили или кучками, или в одиночку, большею частью с Сенной площади. Приходили сюда и от церкви Покрова и от Фонтанки по Крюкову каналу, но это были женщины, отошедшие от мест в Петербурге; они приходили даже без узелков, — значит, у них были знакомые, у которых они оставили свои вещи. Все вновь пришедшие протискивались в кучу, или становились отдельно, недалеко от столиков, или пристроивались к чугунной решетке, в угол, при впадении Екатерининского канала в Крюков канал.

Некоторые из них нашли знакомых.

— И ты здесь? — спросила женщина Пелагею Прохоровну, дергая за рукав.

Та обернулась, посмотрела на женщину: где-то видела, а не припомнит.

— Не узнала? А узнала ли ты Питер? — спросила снова женщина, улыбаясь.

— Ты у той, что с кабатчиком ругается? — спросила Пелагея Прохоровна женщину.

— Будь она! .. Штоб ей... Жаль, што она не подавилась кофеем.

— Што так?

— Да так! Всю ночь спать не дали. Сперва к ней любовник пришел, бить ее зачал, нас стал гнать. Просто беда! Спасибо, мужики защитили: связали ее любовника. Потом полиция: подавайте паспорта! Ну, подали; записал всех и паспорта возвратил... Всю ночь не спали.

— А вчера где спали?

— Тут, на Сенной... Тоже не приведи царица небесная. Если все говорить, што там делается, волосы дыбом встанут.

И женщина отошла к другой, знакомой ей женщине.

Пелагея Прохоровна подошла к Крюкову каналу и стала смотреть на медленно подвигающиеся с Фонтанки барки с кирпичом, углем и дровами. Интересного в этом для нее было немного, и она присела на панель, устроенную около решетки.

К ней подошла одна из женщин, ночевавших с нею первую ночь.

— Здравствуй. А мы думали, ты уж померла.

— А што?

— Да вот на том постоялом, где мы сегодня ночевали, двоих мужиков в больницу взяли, потому, говорят, с ними холера. И холера эта, говорят, от огурцов да от водки приключилась с ними.

— Господи помилуй!

— Меня тоже хозяйка хотела отправить в больницу и полицейского призывала.

— Неужели?

В это время Пелагею Прохоровну и ее знакомую окружило несколько женщин, которые тоже удивлялись и были напуганы холерой на постоялых дворах.

— Как же ты отделалась-то?

— Да так! Вчера весь день пролежала...

— Ну, значит, холера!

— Да у те, поди, и таперь холера.

— Отойдемте, бабы! — проговорили женщины, но прочь не шли, потому что их интересовало то, как холерная женщина отделалась от полиции.

— Погляжу я на вас, так у вас ума-то и на эсколько нету, — Пелагея Прохоровна показала на половину ногтя на мизинце. — Если бы я была нездорова, могла ли бы прийти сюда? Могла ли бы я быть в полном рассудке? Ну, подумали ли вы о том, што сказали, пустые вы головы!

— Кто те знает. Если бы ты не сидела, еще можно поверить... — проговорила бойко и неизвестно почему улыбаясь женщина без узла и с красными пятнами на лице.

— Если тебе хочется на мое место сесть — изволь! — почти крикнула Пелагея Прохоровна взволнованным голосом, встала, отошла к Екатерининскому каналу, уперлась на перила и задумалась.

Женщины в недоумении поглядели друг на друга несколько секунд.

— Вострая! — сказала одна из них.

— Из самой Сибири, говорит, приехала.

— Не беглая ли какая?

— Я паспорт видела.

— Паспорт и украсть можно.

Женщины поговорили о Пелагее Прохоровне минут десять, говорили громко, стараясь вызвать на ссору

Пелагею Прохоровну; но видя, что она не обращает на них внимания, разошлись от Крюкова канала.

У Николы зазвонили к обедне. В это время Большая Садовая улица уже не походила на ту, какою она была утром. Вперед и обратно по ней то и дело ехали извозчики с седоками; то и дело ломовые лошади везли или мешки с мукой, кули с куделей, хлопчатой бумагой, железо, плохонькую мебель, за которою или шла старушка в худеньком салопчике и капоре на голове, или молодая женщина в черном суконном пальто с костяными четырехугольными и шестиугольными пуговицами; ехали порожние кареты, порожние пролетки с важно сидящими в них извозчиками, предлагающими от скуки прокатить пешеходов, преимущественно людей бедно одетых, которых теперь шло вперед и обратно очень много. Все эти пешеходы что-нибудь несли в руках и шли скоро. Вот приехала городская карета, запряженная четверкой лошадей, едва передвигающих ноги; на передке стоит кондуктор с светлыми пуговицами, в фуражке с каким-то значком и с кожаным кошелем на боку. Карета остановилась против Николы, и из нее вышло человек девять мужчин и женщин, из коих половина, по одежде, принадлежала к *порядочному* сословию, а другая половина к *голодающему* классу. Вот зазвенел где-то крепко колокольчик, и немного погодя показался вагон, который тащили по рельсам две лошади. На нем и в нем сидели люди: вверху мужички, приказчики; внутри — господа, купцы и дамы. На передке и на задке этой кареты стояло по кондуктору в форменной одежде. Лошади остановились, немного не дойдя до дилижанса. В лавках не было тоже пусто: там покупали — кто дугу, кто деготь, кто овса и т. п. Все столы были заняты торговцами и торгашами, но женщины здесь превосходили своим количеством мужчин. На столах стояли огромные чайники с каким-то кисло-сладким теплым пойлом, называемым медом, и стеклянные кувшины с квасом из клюквы; лежали печенки, рубцы, яйца, тешка, черный и белый хлеб. По улице мимо лавок шли торгаши с яблоками, апельсинами и лимонами, с сахарным мороженым, ребята со спичками. Все эти люди громко, почти во все горло, кричали и предлагали встречным купить их товар.

Женщин теперь было в углу между Крюковым и Екатерининским каналом до двухсот. Они рассыпались по этому углу так, что городовой то и дело просил их попятиться с дороги. Тут были и чухонки, лепечущие на своем языке и стоящие от русских особняком, и немки в худеньких салопчиках и чепчиках на головах, и еврейки; тут была даже девочка годов шести, босая, с не закрытою ничем головою и с маленькой плешью на темени, стоящая около пожилой женщины.

Одни из женщин галдят, ссорятся от скуки, стараются своим криком осилить других и выказать свою толковость; другие молчат. На всех лицах выражается какое-то нетерпение и страх; многие смотрят на образ Николая чудотворца, на церковь и вздыхают. Вон одна молодая женщина, прислонившись к перилам, плачет. Она старается не плакать, но не может удержать слез. Вон пожилая женщина, с отчаянием в лице, смотрит в канал, глаза ее точно приковались к одному месту. Вон девушка годов семнадцати, сидя на мостовой, уперла голову обеими руками. Другие стоят тоже с невеселыми лицами, часто вздыхают и смотрят большею частию на одно место, как бы что-то обдумывая. Их не интересуют разговоры, брань и ссоры других женщин, еще, повидимому, не испытавших петербургской жизни; они сосредоточились сами в себе, точно их горе очень велико и впереди не видится ничего хорошего.

Пелагея Прохоровна заметила все это, и сердце ее билось не очень-то радостно. Ей хотелось заговорить с молчаливыми и убитыми горем женщинами, но она по себе знала, как тяжело человеку делается в то время, когда его спрашивают. Но у женщин любопытство и сочувствие к женщинам велико; ее так и порывало подойти к девушке, сидевшей на мостовой.

— Што это как долго никого нету? — проговорила она, не решаясь, сесть или нет.

Девушка поглядела на Пелагею Прохоровну, но ничего не сказала.

— Ты бы лучше к речке стала — ветерком бы продуло.

— Ничего.

— Ты здешняя?

— А ты?

— Я издалека. — И Пелагея Прохоровна рассказала, откуда она, и присела к девушке.

— Ты, стало быть, еще не знаешь петербургской жизни.

— Где мне знать? Што будет, то и будь. Ведь уж не будет же хуже того, што было!

— А было и худое разве?

— Што и говорить. Я уж решилась молчать, потому — што было, то прошло. А я по облику твоему замечаю и по речи, што ты не из мужичек... Правду я говорю?

Девушка закрыла руками лицо.

Вдруг все женщины подвинулись к дороге; сидевшие вскочили и побежали к толпе; стоявшие у каналов тоже побежали, с яростию толкая друг друга. Пелагея Прохоровна и девушка встали и пошли.

В середине женщин стояла пожилая толстая барыня в белой шляпке и в драповом пальто.

— А умеешь ли ты кушанья готовить? — спрашивала барыня одну женщину в то время, как Пелагея Прохоровна и девушка подошли к толпе.

— Как же... я у хороших господ жила.

— Врет она! Она только что из деревни приехавши. Вы меня возьмите, я только сегодня от места отошла, — проговорила другая женщина.

— Врет! врет! Она табак нюхает, — кричали со всех сторон женщины.

Барыня была в затруднении: женщин много, всем хочется в кухарки, а какую из них взять? Пожалуй, возьмешь такую, которая ничего и делать не умеет, пожалуй, попадется воровка.

Пелагея Прохоровна протискалась, употребляя в дело локти, так что женщины отскакивали и в свою очередь колотили ее в спину.

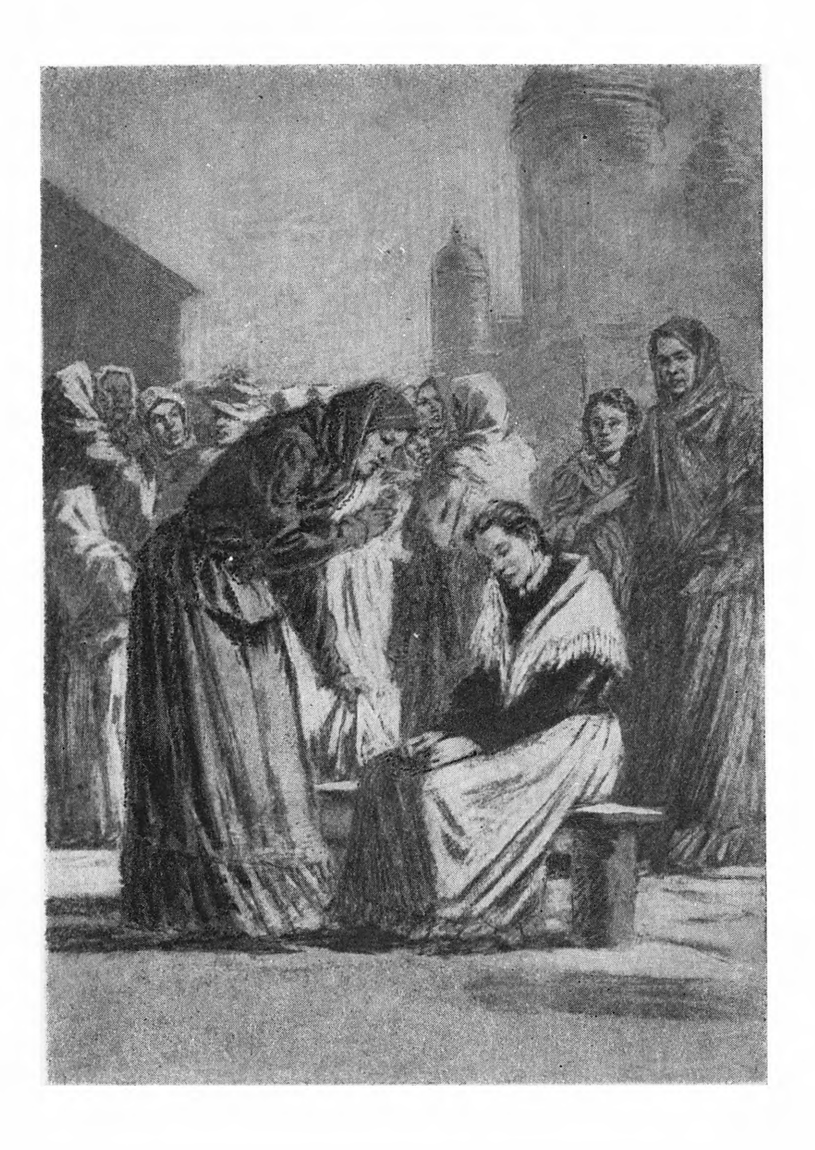
— Возьмите меня. Я сама своим хозяйством жила, нахлебников держала, — проговорила она, остановившись перед барыней.

Барыня улыбнулась. Вероятно, ей не верилось, чтобы *деревенская* баба могла где-то держать нахлебников.

— Будто? — спросила барыня.

— Ей-богу.

— Не верьте ей, она полоумная, — кричали женщины.



Пелагея Прохоровна обернулась и от злости, не помня, что делает, плюнула в ту сторону, где говорили про нее.

— Ну, как же ты не полоумная! — кричали со всех сторон.

— Нет, я тебя не возьму, ты очень молода.

Пелагея Прохоровна отошла, думая: хорошо, што предупреждает. И она стала искать глазами ту пожилую женщину, что с отчаянием смотрела в канал. Но эта женщина уже стояла перед барыней и плакала.

— Ты водку пьешь? — спросила ее барыня.

Пожилая женщина обернулась к церкви, перекрестилась и сказала:

— Хоть раз заметьте, так вот Николай-угодник свидетель.

— Она горькая пьяница, — сказала какая-то женщина.

— Как вам не стыдно! Мало, видно, вы горя испытали, — крикнула Пелагея Прохоровна.

— А ты што пристаешь?

— Это она с того все еще, што ее, по нашей милости, не взяли, — кричали женщины.

Барыня в это время разглядывала паспорт и адресный билет пожилой женщины.

— Ты в больнице была?

— Да... Только вышла я из больницы и — пошла к дочке, пятнадцатый ей годок шел, она там на Литейной золотом шила у француженки. Прихожу — говорят, померши полторы недели.

— Ну, так согласна ты на мои условия: жалованья два с полтиной, фунт кофею, то есть полфунта кофею и полфунта цикорею, и фунт сахару?

— А жильцы есть?

— Да, есть. Им нужно и сапоги, и платье вычистить, и в лавочку сходить.

— Положьте три с полтиной.

— Нет, два с полтиной. Жильцы тоже будут давать к праздникам.

— Я согласна! — крикнула другая женщина.

Женщины захохотали; барыня тоже улыбнулась.

— Так как? — спросила барыня первую пожилую женщину.

Та подумала.

— Не прибавите жалованья-то? — спросила она.

— Нет.

— Да ведь работы много!

— Как знаешь. И вас много.

Женщина согласилась. Барыня взяла ее паспорт и адресный билет и велела приходить в такую-то улицу, в такой-то дом и в такой-то нумер квартиры, а сама уехала с извозчиком.

— Хорош ты, видно, сон видела сегодня, — сказала пожилой женщине одна женщина.

— У вас, видно, не было таких детей, как у меня! — сказала с презрением пожилая женщина и пошла.

К ней подошла пожилая женщина в салопчике с девочкой.

— Голубушка! у тебя, говоришь, дочка умерла; возьми мою, — проговорила она.

— Куда же мне с ней?

— Да я даром тебе ее даю, только корми да к делу приучай.

— Сама знаешь, што кухарок не держат с ребятами.

И нанятая женщина пошла торопливо.

— Заважничалась! — прошипела от злости пожилая женщина в салопчике и неизвестно за что ударила по затылку девочку. Девочка заплакала.

— За что ты девчонку-то бьешь? — крикнула на нее женщина.

— Не твое дело: свое бью.

На пожилую женщину напала половина женщин: они стали ее стыдить за то, во-первых, что она бьет маленькую девочку, и во-вторых, за то, что хочет эдакую маленькую в работу отдать.

— Я ее продаю, потому что сама ищу места и мне самой нечего есть, — оправдывалась мать девочки.

Между тем ветер крепчал, по небу плыли тучи и мало-помалу совсем закрыли солнце. Женщины проголодались и стали покупать ситный, печенку или яйца. Пелагея Прохоровна купила фунт ситного и фунт печенки. С этими яствами она подошла к девушке, с которой она прежде вступила в разговор, и спросила, как ее зовут. Та сказала, что ее зовут Евгения Тимофеевна.

— Не хочешь ли, Евгенья Тимофевна?

И Пелагея Прохоровна отломила половину куска ситного и половину печенки и дала их Евгении Тимофеевне. Та не брала.

— Я не хочу.

— Полно-ко. У тебя есть ли деньги-то?

— Есть.

— Ну, не церемонься! Я сама была в нужде, знаю.

— А если вам самим нечего будет есть? — сказала Евгения Тимофеевна и взяла предложенные ей яства.

— А руки-то на что бог дал?

— Я то же прежде думала, да вот целый месяц ищу места. Ходила я и в хваленое общество — говорят, мы принимаем по рекомендациям. Принесите, говорят, письмо от сиятельного человека — примем. Ну, я было и пошла к одному сиятельному лицу, бывшему в нашей губернии губернатором. Целую неделю я ходила — не допускают. А я всё письма ему оставляла. Вероятно, письма ему не передавали. Наконец встретила его у подъезда и говорю: я вашему ... ству целую неделю передавала письма через швейцара... «Ничего, говорит, я не знаю. Приходите туда-то». Я туда; кое-как допустили. «Кто, говорит, вы такая?» Я сказала. «А! говорит, знаю. Что же вам угодно, сударыня?» Я и прошу у него рекомендательное письмо. «Не могу, говорит, дать, потому что вы нехорошего поведенья. Вы не с хорошей стороны уже успели зарекомендовать себя в провинции; мне, говорит, об этом ваша тетушка писала». Так я и ушла ни с чем. Потом я как-то увидала в газете объявление: нужна гувернантка. Я прихожу. Квартира отделана великолепно. Приглашают меня в кабинет. В кресле сидит барин. Пригласил сесть меня, расспросил, кто я такая. Часа два мы с ним толковали; я спросила, велики ли у него дети. Он и говорит: у меня детей нет, а мне, говорит, гувернантка нужна для себя...

— Как это так? — перебила Евгению Тимофеевну Пелагея Прохоровна.

— Я тоже удивилась. Он говорит: не удивляйтесь; я вдов, и мне нужна женщина, непременно развитая; я бы, говорит, ее сделал хозяйкой в моей квартире, одним словом, мне, говорит, нужна молодая, красивая женщина для того, чтобы жить с ней гражданским браком. Ну я, конечно, не согласилась. Барин извинялся, дал мне на бедность денег, но я его денег не взяла. Конечно, эдакие

случаи редки, но со мной по крайней мере случилось так.

Женщины опять заволновались, стали сбираться в одну кучу. Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной тоже подошли. Еврейка нанимала кухарку и давала только рубль жалованья с тем, что кухарка должна и белье стирать. Поэтому охотниц нашлось мало.

Только что ушла еврейка, к женщинам подошла толстая пожилая женщина в шелковой мантилье, в шелковом же черном платке на голове. В правой руке она держала зонтик. Подойдя к женщинам, она стала оглядывать их.

— Я! Я! Я! — кричали женщины, окружая нанимательницу.

Толстая женщина молчаливо выдержала напор женщин. Минут через пять она начала звать к себе самых молодых.

В числе десятка молодых попала Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной.

— Кто из вас желает ко мне поступить? — спросила толстая женщина с зонтиком.

Поступить пожелали все.

— Мне нужно трех, для комплекта.

Она опять посмотрела женщин и выбрала из них трех. Эти три были: Пелагея Прохоровна, Евгения Тимофеевна и одна чухонка, девушка.

— Замужние?

— Нет, — отвечали враз все три женщины.

— Болезни никакой нет?

— Нет.

К толстой женщине подошла мать с девочкой.

— Купи девочку.

— На что мне ее: кабы она большая да красивая была — так! — крикнула толстая женщина с зонтиком.

Сердце дрогнуло у Пелагеи Прохоровны. Она шепнула Евгении Тимофеевне на ухо:

— Слышишь? тут что-то неладно...

— Возьми хоть даром... — приставала мать девочки, утирая глаза.

— Я сказала, что таких не беру... Продай еврейкам; они за христианку деньги дадут. Ну, желаете вы поступить ко мне? — спросила нанимательница выбранных ею женщин.

— А позволь тебя спросить, что у тебя за работа? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да у меня работы никакой нет. Разве себе что будете шить.

— А какая цена за это? — опять спросила Пелагея Прохоровна.

— Цены я назначить не могу. Вы будете мне платить, каждая за свою комнату, так как я нанимаю целый дом и от себя отдаю комнаты жиличкам...

— Так ты это нас на квартиру зовешь?

— Да!

— Ну, не-ет... Мы в работу нанимаемся, потому у нас денег ни гроша нет. А она еще на квартиру к себе зовет! — проговорила Пелагея Прохоровна и отошла. Прочие женщины тоже отошли.

— Послушайте! Эй, вы, три?!. — крикнула толстая женщина.

— Да нечего тут слушать! — крикнула Пелагея Прохоровна.

Толстая женщина с зонтиком подошла к Евгении Тимофеевне.

— Послушай. Я за квартиру беру по истечении месяца, за пищу — пища тоже от меня — тоже по истечении месяца.

— Да из чего платить-то! Ведь нужно наперед найти работу! — отвечала Евгения Тимофеевна.

— Работа будет... За всеми расходами, я так думаю, у тебя останется к каждому первому числу рублей пятнадцать.

— Но какая работа?

— Я уж за это берусь.

— Но вы должны здесь сказать.

Толстая женщина нагнулась к девушке и что-то ей шепнула.

Щеки девушки покрылись румянцем. Она задрожала и ничего не могла выговорить.

В это время к ней подошла Пелагея Прохоровна.

— Што с тобой, Евгенья Тимофевна?

— Вот... Подлая женщина!.. — И она зарыдала.

Пока Пелагея Прохоровна успокоила Евгению Тимофеевну, толстая женщина подошла к чухонке-девушке, поговорила с ней, и немного погодя чухонка пошла за

ней, а потом женщина посадила ее с собой в пролетку и уехала.

— Вот как чухонки-то! С извозчиками ездят! — кричали женщины.

— Как? Чухонка таки уехала? — крикнула Евгения Тимофеевна.

— Уехала.

— А надо бы ее воротить, бабы! — крикнула Пелагея Прохоровна.

— А што?

Пелагея Прохоровна рассказала, для какой цели эта женщина приглашала их.

Женщины заохали. Им жаль было чухонки, но теперь ее уж не воротишь. Стали говорить о том: убежит чухонка или нет. Мнения были различные. Теперь на Пелагею Прохоровну все смотрели с уважением и говорили про нее, что эта белолицая бабенка не пропадет и не даст пальца в рот, чтобы его откусили. А попадись дура, как чухонка, которой стоит только насулить всякой всячины, — и попала, как кур во щи.

Появились на рынке, около столиков с яствами, каменщики с замазанными глиной передниками, штукатуры, маляры; некоторые из них были даже без шапок и фуражек, и у иных в длинных или всклокоченных волосах, на бородах и на лице была тоже или глина, или известка; появились рабочие с черными от дыма, пота и угля лицами, с черными, как уголь, ладонями, с черными фартуками; появились мальчики от двенадцати до восемнадцати лет, тоже с черными передниками, с вымаранными слегка лицами. Все они быстро подходили к женщинам, брали у них фунт черного хлеба, селедку, или тешку, или яйцо, на деньги или в долг, и потом также быстро уходили через Старо-Никольский мост в питейные заведения. Стало быть, теперь первый час; рабочие уволены до второго часу обедать. Здесь, может быть, читатель спросит: отчего они нейдут обедать домой? Они нейдут домой потому, что им, может быть, до дому ходу целый час. Работая по Фонтанке и около Крюкова и Екатерининского каналов, они предпочитают за лучшее покупать хлеб, рыбу и проч. на рынке, а не в мелочных лавках, в которых они

уже успели задолжать; покупая сначала на деньги с шуточками и остротами, они, наконец, добиваются, что им верят в долг до получки заработанной платы.

Пошел дождик. Женщины стали прикрывать свои узелки, но дождик, как на зло, шел и шел, мало-помалу помачивая полушубки, шугайчики, пальто. Хорошо было тем женщинам, у которых был полушубок и пальто, но шугайчики скоро промокли. Мостовая тоже смокла, земля на каменьях и между каменьями превратилась в грязь... Женщины стали проситься к торговкам, потому что там над столами сделаны крышки. Женщины-торговки не пускают.

Платки на головах промочило, по лицам течет вода и падает вместе с дождем на плечи; ботинки, башмаки и сапоги промокли; дует холодный ветер с моря. Что делать? Женщины силой лезут под крышки; торговки гонят их прочь и кричат:

— По пятаку с рыла!

— Ладно.

Большинство женщин вынимают пятаки, у некоторых нет и трех копеек. Они просят у других, те не дают.

Евгения Тимофеевна дрожит.

— На пятак! — говорит Пелагея Прохоровна и дает ей пятак.

Евгения Тимофеевна не берет.

— Ничего, я не глиняная, не растаю. Теперь лето.

— А пошто дрожишь-то?

— Не знаю. Это пройдет.

Дождь перестал идти. Женщины, заплатившие пятаки, стоят под крышками и едят ситный. Торговки снова их гонят.

— Идите, дождик перестал.

— Нет, мы денежки заплатили.

— Што вы, на постоялый, што ли, сюда забрались? говорите спасибо, што пустили! — говорили торговки, употребляя в дело локти.

Как ни лебезили женщины перед торговками, как ни упрашивали их дозволить постоять еще чуточку, а торговки все-таки прогнали их. Женщины стали на прежние места и сделались очень сердиты: им жаль стало пятаков, и они начали задирать на ссору тех, которые не имели удовольствия быть под крышками.

К женщинам подъехала в пролетке дама.

— Нет ли тут мамок? Не может ли кто ребенка грудью кормить? — спросила дама женщин, подойдя к ним.

Женщины поглядели друг на дружку. Четыре женщины — три чухонки и одна русская — подошли к даме.

Дама расспросила их, давно ли они родили. Оказалось, что две родили уже с год, одна с полгода и одна назад тому три месяца.

— Где ребенок? — спросила дама чухонку.

— Помер.

— А у тебя где ребенок? — спросила дама ту, которая родила с полгода.

— В деревне — на молоке.

— Зачем же ты его бросила?

— И, барыня!.. Муж все говорил: оставь ребенка, пойдем в Питер; там в мамки поступишь. Ходила в спитательный — солдат не пустил. Знать-то, ему денег надыть... А вам для свово дитя?

— Да.

Дама отвела женщину в сторону, посмотрела у ней груди и зубы и стала торговаться. Эта женщина слыхала, что в Питере мамки получают по восьми рублей в месяц, дюжину рубашек, шесть сарафанов и другие подарки. Но дама больше пяти рублей не давала и обещала, если только она проживет полгода, сшить два сарафана и подарить две пары ботинок. Пища, разумеется, хозяйская. Женщина думала, рядилась — и через полчаса согласилась на предложенные условия.

— Вот кому счастье дак счастье! Эх, кабы у меня был ребенок!.. — вздыхала одна женщина.

Эту женщину обругали.

— Да мне давай десять цалковых — не пойду. Как бы не так! ни днем, ни ночью нету спокойствия...

Подошла молодая женщина в вязаном розовом платке на голове и в драповом темносинего цвета пальто. В одной руке она держала небольшой кожаный саквояж, в другой зонтик.

— Это, видно, опять из таких, как даве толстая с зонтиком, — проговорили женщины, но все-таки подошли к ней. Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной тоже подошли, — не ради найма, а ради развлечения.

— Кто из вас умеет шить?

— Я! Я! — крикнула каждая женщина.

— Мне нужна швея шить сорочки, манишки, делать метки. Работа трудная, шить нужно чисто, хорошо, на господ. Случается и на машине шить.

Женщины посмотрели друг на дружку. Никто не решался поступить в швеи, потому что таких швей не было.

— Возьмите меня; я умею шить что угодно! — проговорила робко Евгения Тимофеевна.

— Ты из каких?

— Из... дворянок... Да вот я сама шила себе этот бурнус.

Швея посмотрела на строчку.

— Мне надо почище! это очень некрасиво.

— Я молода, могу скоро приучиться к здешней работе.

— Так-то оно так. Но вот что: вы дворянка, а я мещанка. Уживемся ли мы?

— Об этом вы, пожалуйста, не беспокойтесь; я уверена, что мы сойдемся. Я для того и приехала сюда, чтобы работать.

— Пожалуй, я вас возьму. Видите, я еще только открываю швейную; вы теперь будете третья. Вы будете сперва получать за штуку, на моем готовом содержании, а там увидим: если будете хорошо работать, я вас сделаю мастерицей и положу жалованье. Как вы думаете об этом?

— Я согласна, — робко проговорила Евгения Тимофеевна.

— Еще одно условие: чтобы к вам не ходили мужчины.

— Помилуйте! я здесь живу еще очень мало.

— Ну, уж это дело мое. По воскресеньям вы будете свободны и можете или работать на себя, или идти гулять.

Евгения Тимофеевна ничего не могла сказать на это: она была очень рада, что попала в швеи, и даже забыла проститься с Пелагеей Прохоровной, которая плохо верила словам швеи и крикнула отходящей Евгении Тимофеевне:

— Прощай, Евгенья Тимофевна! Желаю тебе счастья.

Стали приходить к женщинам мужчины — мужья, братья, деверья, однодеревенцы. Одни из них говорили,

что завтра поступят в работу, другие еще не поступили на место. Все мужчины были выпивши, а некоторых уже пошатывало. Женщинам стало веселее, и они жаловались мужчинам на дождь, на то, что мало приходит барынь нанимать их; некоторые женщины даже ругали мужчин, что они нарочно завели баб бог знает куда, для того чтобы бросить их.

Стали приходить торгаши, предлагавшие крестьянам фуражки, сапоги, поддевки, кафтаны. Крестьяне подержали все эти вещи в руках, фуражки даже примеряли себе на голову, поторговались, но ничего не купили, потому что торгаши просили дорого, да если и нравилась кому-нибудь вещь и было немного денег, так жалко было тратить их. Торгаши предлагали променять полушубок на поддевку, шапку на фуражку, говоря, что теперь лето, и просили придачи. Один променял шапку на фуражку и дал придачи десять копеек, другой променял полушубок на поддевку — и тоже дал придачи пятнадцать копеек. Торгаши отошли. Променявших вещи товарищи стали звать в кабак, делать спрыски Двое крестьян приглашали своих баб на Сенную в кабак, где народу — и-и, ты, боже мой! и баб там много... Но бабы в этот кабак не пошли. Мужчины пошли на Сенную; половина женщин тоже разбрелась.

— Матушки! голубушки! Ох, узел мой!.. — ревела одна женщина немного погодя.

Женщины посмотрели на свои узлы, посмотрели на мостовую, заглянули на столики и под столики, спросили торговок: не видали ли они узла такой-то женщины? — узел исчез.

— В реку не упал ли?

— Да он, што есть, и не стоял у реки. Сичас при мне был.

— Эко горе, горе!.. Да ты не забыла ли на постоялом?

— Говорят, при мне был. Не видали, што ли? Ох!.. Што я теперь делать буду!

— Плохо, видно, держала.

К женщинам подошла старушка в люстриновом на вате салопчике и в черном капоре. В суетах и в поисках узла ее заметила только одна Пелагея Прохоровна и подошла к ней.

— Ты кухарка? — прошамкала старушка.

— Кухарка.

— У кого жила?

— Я приехала из Ярославля; у господ жила... А у вас што делать?

— Известно: убирать комнаты, мыть полы, кушанье готовить.

Старушку окружили женщины и стали напрашиваться.

— Замужем? — спросила Пелагею Прохоровну старушка.

— Вдова... А сколько жалованья?

— Два рубля.

— Я, пожалуй, согласна.

Женщины закричали, стали говорить про Пелагею Прохоровну всякую всячину, но старушка, взявши паспорт, велела ей идти за собой.

Пелагея Прохоровна перекрестилась на церковь и пошла за старушкой. Она была рада, что скоро нашла место.

III

Кухмистерша Овчинникова

Старушка в салопчике, за которой шла Пелагея Прохоровна, была кухмистерша с Петербургской стороны, Анна Петровна Овчинникова.

Сзади она походит на старую еврейку, которая с самого детства или поднимала всё тяжелые вещи, или сидела постоянно наклонившись с высокого стула к низенькому столу, отчего ее позвоночный столб принял наклонное положение. Однако, несмотря на значительную сутуловатость, по которой ее издали узнавали постоянные обыватели Мокрой улицы, Анна Петровна, дожившая до шестого десятка лет, шла очень скоро, немножко ковыляя правой ногой, как будто ее кто сзади погонял прутиком. Она, часто оборачиваясь и кашлянув, произносила фистулой: не отставай! еще далеко! У других старушек под шестьдесят лет волоса уже седые и лицо бело-желтое; а у этой, напротив, лицо было бронзового цвета и лоснилось, точно она его намазала салом. Щеки ее не были ни очень полны, ни худощавы; нос был длинный, прямой,

острый, — точно она его постоянно чистила, как курица; рот маленький, может быть оттого, что она его ужимала; ее серые тусклые глаза с бурыми зрачками часто мигали. К этому надо еще прибавить, что от салопчика и от капора Анны Петровны пахло жареным гусем, почему ее всякий бы мог назвать, не расспрашивая, или кухмистершею, или кухаркою в кухмистерской.

Анна Петровна шла молча и думала; Пелагея Прохоровна тоже думала. Анна Петровна думала, что теперь она спокойна вполне, нашедши кухарку. Только она много назначила ей жалованья; ну, да она сумеет сделать так, что кухарка будет получать не больше рубля в месяц. Пелагея Прохоровна, с своей стороны, думала о том, какая эта старуха бодрая: «Точно бабушка Настасья Сергеевна, которая умерла назад тому восемь лет! Той было с лишком девяносто лет, та Пугача помнила; но ходила прямо, говорила ясно и чистым голосом, а не шамкала, не хрипела и фистулой не говорила. Бабушка была в большом почете во всем заводе; она была добрая, ни с кем не ссорилась, бывало, отца с матерью выручала из беды. А глаза у нее были тоже сердитые. Бывало, забалуемся мы, она только взглянет, мы и замолчим... Какова-то эта? Та была родная, и я в то время была маленькая, а теперь я большая — и к чужой старухе пошла в работу. Што бы теперь сказала про меня бабушка Настасья Сергеевна, если бы увидала меня, как я иду за этой старухой? Она бы ахнула, потому она мне пророчила мужа богатого, большое хозяйство, дюжину ребятишек! Господи, как много в жизни можно испытать всякой всячины... Вот эти мужички, что работают, камень разбивают, тоже прежде не думали, что будут в Питере на богатых людей работать. Они, поди, думают, глядя на меня, что мне лучше житье, чем им...»

Но напрасно кухмистерша и кухарка думали, что люди про них думают. Никто об них ничего не думал, а всякий шел своей дорогой или делал дело, думая только о том, как бы хорошо сделаться вдруг богатым человеком и делать то, что хочется.

Подошли к Неве. По Неве плывет много судов с лесом, камнями, барок с сеном, дровами. Плывут пароходы, у которых и колес не видно, — пароходы, битком набитые людьми. Множество судов и барок стоят у бе-

рега, прикрепленные цепями или толстыми канатами за кольца, вделанные в гранитные набережные. Множество яликов с пассажирами плывет по разным направлениям; у спусков яличники предлагают свои услуги перевезти через Неву.

«Вот это река настоящая. А все же помене наших будет», — подумала Пелагея Прохоровна, когда кухмистерша и она шли по Дворцовому мосту.

Она спросила старушку: как называется эта река? Та сказала — и, ткнув в пространство левой рукой, проговорила:

— А там море!

— Море! Ах бы, поехала я по этому морю. А ты по морям плавала?

— Я, что есть, через Неву ни разу не плавала.

— Боишься?

— Боюсь! А море я раз пять в году видаю, со Смоленского.

— А это што же, Смоленское-то?

— Кладбище такое, вон там, на Васильевском острову, — сказала кухмистерша и указала рукой.

Пелагея Прохоровна стала смотреть на Васильевский остров.

«Так вот он, Васильевский-то славный остров, што в песне поется. А я думала, што в песне все враки... Думала, какой-нибудь пьяный мастерко сочинил эту песню», — думала Пелагея Прохоровна.

Прошли мост, пошли по Первой линии.

— Здесь тоже Питер? — спросила Пелагея Прохоровна старушку.

— Нет, здесь Васильевский остров.

«Ах бы дяде попасть сюда! Уж он непременно сочинил бы с Короваевым такую песню, што он был на самом Васильевском острову». И сердце у Пелагеи Прохоровны, неизвестно почему, заныло.

Опять мост.

— Это што же! Идем, идем — и конца нет. Все какие-то мосты да реки! — проговорила Пелагея Прохоровна, недовольная тем, что старуха ее ведет бог знает куда.

— Если бы я воды не боялась, давно бы уж дома были. Вон отголь стоит только в ялик сесть, и через

полчаса дома. А то я воды боюсь. Отроду не плавала, — проговорила старуха. Они пошли берегом.

Здесь кухмистерша чувствовала себя уже свободнее и спокойнее. Она пошла тише, не загребала правой ногой, а шла как ленивый конь, покачиваясь направо и налево. Здесь она была как дома, сняла даже с головы капор — на голове оказался белый чепчик с дырочками, сквозь которые виднелись начинающие седеть волосы. Отдавши капор Пелагее Прохоровне с приказанием не измять и не испачкать его, она сняла и салопчик и очутилась в шелковом черном платке на плечах и в ситцевом голубом засаленном платье.

Это раздеванье удивило Пелагею Прохоровну, но она не посмела спросить. Старушка отдала Пелагее Прохоровне и салопчик.

— Ты его положи на плечо, да смотри не изомни! — сказала она своей новой слуге.

— Барыня... А узел?

— И узел можешь держать.

Пелагея Прохоровна кое-как устроила свою ношу.

Преобразившись по-домашнему, Анна Петровна пошла еще тише, что-то напевая про себя, как будто воображала, что идет не по улице, а в своей собственной комнате.

— Здравствуйте, Анна Петровна! — сказала попавшаяся навстречу кухмистерше старушка с платком на голове, в ситцевом платье, тоже, вероятно, воображающая, что она у себя дома.

— Здравствуйте, Марья Игнатьевна! — И старушки поцеловали друг друга в щеки. — Куда ходили? А я ведь с Никольского...

— Мать пресвятая богородица! — проговорила Марья Игнатьевна и неизвестно отчего вздрогнула, точно ее что кольнуло в бок или случилась с ней икота.

— Да, матушка моя, с Никольского. Вон какую добыла! — И Анна Петровна кивнула головой на Пелагею Прохоровну, которая стояла недалеко от старушек и смотрела на них.

— Неужели у нас не нашлось?

— О! што здешние! Они избаловались.

— Это так... Только она молодая, — сказала шепотом Марья Игнатьевна.

— Не эдакие у меня жили. . . Вышколю.

— А у меня несчастие какое: сынок ногу вывихнул пьяный.

— Господи благослови! — чуть не крикнула Анна Петровна и замигала чаще обыкновенного.

— Да вот, поди же ты! Иду к доктору.

Старушки поговорили минут пять и простились, поцеловав друг друга.

Немного погодя Анна Петровна свернула в переулок, потом в улицу. Здесь на каждом шагу попадались ей знакомые люди, но она не останавливалась, а только отвечала на вопросы: ах, с Никольского! устала! . .

Через десять минут она вошла во двор, в котором было два деревянных двухэтажных флигеля с мезонином на каждом. На улицу, кроме того, выходило по обеим сторонам два дома — один направо, каменный трехэтажный, с подвалом, налево — деревянный, с девятью окнами, без мезонина, на котором была прибита вывеска с надписью: «Школа».

Хотя Анна Петровна Овчинникова никогда не была потомственною дворянкою, но она еще в девочках считала себя столбовою дворянскою дочерью, несмотря на то, что отец ее был только сенатский регистратор. Вероятно это происходило оттого, что и родители ее и соседи их, служа в министерствах, считали себя особым классом, с которым нельзя сравнять мещан и даже купцов, и поэтому причисляли себя к дворянам. Однако, несмотря на причисление себя к дворянскому сословию, большинству этих самохвалов и самохвалок жилось гораздо хуже, нежели мещанам и купцам, не пренебрегавшим черною работою, за которую стыдно было взяться какому-нибудь чиновнику, его жене или детям. Некоторые чиновники имели на Петербургской стороне свои дома, доставшиеся им или от родителей, или в приданое; а как такие домовладельцы имели большие семейства, то чиновников со временем расплодилось много, и они так дружно сплотились на Петербургской стороне около тех мест, где родились и выросли, что заманить их в другое место было очень трудно. Поэтому и Мокрая улица, населенная преимущественно канцелярским людом, имеет свой характер, совсем отличный от петербургского. В ней очень мало

каменных домов, а всё больше деревянные, окрашенные желтою краскою, или охрою, которые теснятся друг к другу, так что с крыши одного мезонина на крышу другого мезонина скачут кошки. Улица плохо вымощена, тротуаров не существует, нет извозчиков, нет городовых, нет даже будки. В ней всего один фонарь, и то напротив гостиницы для приезжающих. Здесь пахнет провинцией, и если бы из окон мезонинов не видна была Нева и гранитная набережная с каменными зданиями за Невой, то можно было бы сказать, что это не Петербург, а угол уездного города.

Утром чиновники в известное время идут толпами на службу с портфелями, конвертами из синей бумаги, свертками или без них. Потом, в известное тоже время, чиновницы и вообще дамы дворянского класса идут в лавочки за провизией; после этого на улице пусто. Около пяти и шести часов вечера чиновники, измученные и уставшие, бредут по домам; некоторые заходят в заведения «распивочно и навынос», откуда или выходят сами, или их выводят с руганью жены. До десяти часов видится жизнь в этой улице; чиновники и их семейства сидят у окон, поют песни и наигрывают на гитарах; некоторые сидят на улицах на лавочках в халатах; некоторые, сидя у растворенного окна, что-то пишут; не редкость также в хорошую погоду увидеть нескольких молодых чиновников, играющих в дворах или на улице в бабки или городки. В десять часов все смолкает, гаснут огни в домах, запираются ставни окон, настает тишина, прерываемая только лаем множества собак.

Даже в климатическом отношении Мокрая улица не похожа на петербургские улицы; так, здесь зимой несравненно холоднее и больше снегу, чем в Петербурге, где снег постоянно сгребают и увозят прочь, где иногда целый месяц уж ездят на колесах, тогда как в Мокрой улице еще хорошая езда на санях. При поднятии воды в Неве Мокрую улицу заливает раньше других, так что из нее в Неву можно отправиться прямо в лодке или в ялике. И все-таки здешнему воздуху Петербург может позавидовать: здесь меньше мрет народа, женщины доживают до семидесяти и больше лет, и если детям не передана родителями какая-нибудь болезнь, они растут толстыми и здоровыми.

Поэтому немудрено, что Анна Петровна родилась, выросла и прожила до шестидесяти лет в Мокрой улице, где прежде у родителей ее был свой дом, который после смерти отца, вследствие крайней нужды, мать принуждена была продать, а потом поселиться на квартире в той же Мокрой улице и заняться шитьем. Анна Петровна была третьею дочерью, но успела влюбить в себя молодого чиновника раньше прочих сестер и, вышедши замуж, поселилась с мужем также в Мокрой улице. Ни она, ни супруг ее даже и в помышлениях не имели не только жить где-нибудь в Гороховой или в Офицерской улице Петербурга, но даже переселиться в другую улицу Петербургской стороны. Такое переселение было бы сочтено соседями за раскол или за чрезмерную гордость. Обитатели Мокрой улицы достоверно знают, что муж у Анны Петровны был *варвар,* каких свет не производил. Хотя таких варваров было много в Мокрой улице, но со стороны казалось, что этот варвар был почище других варваров. В сущности, однакож, он был даже несколько скромнее большинства чиновников, и такое название к нему пришпиливалось не совсем кстати. Дело в том, что он был первые пять лет для супруги *ангелом,* но на шестой год, когда Анна Петровна родила плаксивую девочку, ангел стал приходить домой навеселе. Сперва супруга думала, что ангел весел потому, что у него есть дочь, или потому, что его сегодня похвалили на службе: ей и в голову не приходило, что ангел выпивает, так как он после выпивки обыкновенно закусывал или гвоздикою, или сургучом, чтобы не пахло водкой. Каково же было ее удивление, когда в день получки жалованья ангел приехал домой на извозчике до того пьяный, что она должна была втащить его в квартиру с извозчиком. Но и этого мало: у ангела денег оказалось налицо всего трехрублевая бумажка и несколько медяков.

С этих пор жизнь пошла нехорошая: муж пьянствовал часто, жена его била и мало-помалу истрачивала приданые деньги; соседки говорили про Овчинникова всякую всячину и не могли понять, отчего он стал пьянствовать хуже и хуже, закладывал свою шинель, вицмундир и даже сапоги; тащил в залог все, что лежало плохо. Жена выкупала все эти вещи, ходила к ворожеям, поила мужа

какими-то лекарствами, от которых он хворал по месяцам, но пьянствовать все-таки не переставал.

Таким образом супруги прожили пятнадцать лет. На шестнадцатом Овчинникова уволили в отставку; Анна Петровна стала лечить его — и залечила до того, что он помер.

Анна Петровна осталась вдовою губернского секретаря с двумя дочерьми, Верой и Надеждой. Несмотря на нехорошую жизнь с пьяницей-мужем, она все-таки была женщина красивая и здоровая и могла бы выйти замуж, но ей уже опротивела замужняя жизнь, тем более что и в других семействах она видела то же, что творилось и с нею в замужестве. Да за нее, впрочем, никто и не сватался, вероятно потому, что у нее было двое детей и она жила бедно, приобретая деньги шитьем. Сестра ее, жившая на Песках и не имевшая детей, которые умирали через три и пять месяцев по рождении, звала Анну Петровну жить к себе. Но Анна Петровна не могла у ней прожить и с неделю: ей было скучно обо всей Петербургской стороне, о Мокрой улице, где ей казался и воздух чище и жизнь проще. «Там все свои, там просто; здесь хоть и чиновники живут, но далеко хуже наших, и друг с другом они не ладят. Здесь поживет чиновник с месяц — и уедет прочь, а у нас этого нет. У нас и одеваться хорошо не надо, у нас и важных людей не встретишь; а здесь оденься-ко худо — осмеют». Так думала Анна Петровна и воротилась в Мокрую улицу.

Пришлось переехать на другую квартиру, потому что прежняя была и велика для вдовы и дорога. Заложила Анна Петровна кой-какие ценные вещи, доставшиеся ей в приданое или купленные в первый год замужества, наняла квартиру в мезонине, в три комнаты с кухней, и прилепила на воротах бумажку с надписью: «Отдаются комнаты састалом и небелью». Сделавши это, она несколько дней по утрам выходила за ворота, останавливала чиновников, заговаривала с ними и просила их найти ей хороших жильцов. Но жильцы не являлись. Поднялись толки, что, верно, у Анны Петровны много накоплено денег, что она нанимает большую квартиру безо всякого расчета, тогда как ей достаточно было бы с девочками и одной комнаты, которую она могла бы нанять у любой чиновницы-вдовы; некоторые даже стали поговаривать, что

Анна Петровна, должно быть, поддела любовника из Петербурга, который непременно ездит к ней по ночам и которого, вероятно, она хочет женить на себе. За Анной Петровной стали следить, но ничего не уследили: она попрежнему шила, уходила с шитьем и за шитьем, была со всеми любезна и на вопросы: как живется? — постоянно отвечала: помаленьку! бог грехам терпит... Но, в самом деле, она едва сводила приход с расходом, и ей приходилось к концу месяца нести что-нибудь в заклад. Была у нее приятельница Степанова, которая жила тоже на Петербургской, только в другом конце. Эта госпожа имела кухмистерскую секретно, то есть не имела ни вывески, ни свидетельства на этот род занятия. От нее Анна Петровна узнала, что вообще кормить небогатых людей выгодно, если только их много и они хорошо платят; за пищу она деньги выручает, но комнаты, или вообще квартира, сидит у нее на шее, потому что или стоят пустые все лето, когда студенты уезжают домой, или в них живут неподолгу люди бедные, с которых иногда совестно просить денег. — Анна Петровна была женщина сообразительная. В каждое из ее посещений она что-нибудь усвоивала и дома записывала на бумажку, как нужно приготовить из таких-то припасов супу на тридцать человек, как изжарить мясо так, чтобы его хватило на трое сутки, — и т. п. И ей сильно захотелось сделаться самой кухмистершей. Но тут встретилось большое затруднение: чтобы готовить обеды — нужна работница; нужен мальчик или девочка, чтобы разносить кушанья, — не станет же она заставлять своих дочерей разносить кушанья, не для того они родились! Потом нужна посуда, нужны медные судки. И на все это нужны деньги. После нескольких колебаний она решилась попросить у мужа своей сестры сто рублей, но он дал только пятьдесят под расписку, с тем чтобы она их уплатила в течение года. На половину этих денег Анна Петровна купила держаной посуды, наняла кухарку и прилепила на воротах пол-листа бумаги, на котором крупными буквами было написано: «Чиновница Овчинникова адает кушанья на дом или у себя спросить об цине в мезонине квартира № 12 у вдовы кухмистерши Анны Петровны Овчинниковой». Несмотря на эту безграмотную записку, прохожие чиновники, заметив на воротах лоскуток бумаги с большим количеством букв,

останавливались, читали, чесали себе затылки и подбородки и рассуждали: не выгоднее ли будет им, в самом деле, получать кушанья от вдовы Овчинниковой? Но пока они думали и рассуждали об этом, чиновницы, идя в лавки и на рынок, тоже успели прочитать эту надпись и ст удивления перешли к негодованию, потому что вдова Овчинникова срамит их своим новым занятием.

— Жаль, что она кухаркой не назвала себя! Этого еще недоставало! — кричали чиновницы чуть не во все горло. Им было досадно не то, что вдова Овчинникова будет держать нахлебников, но зачем она назвала себя именем кухмистерши, которое идет только к мещанину. Во-вторых, им было досадно, что вдова Овчинникова, до сих пор жившая со всеми откровенно, как говорится, душа в душу, вдруг письменно на всю улицу заявляет, что она *отдает* кушанья на дом или у себя: стало быть, этим самым заявлением она становится к ним в неприятельские отношения, хочет отбить у них не только хороших нахлебников, но и квартирантов. Вся женская половина Мокрой улицы вооружилась против Анны Петровны, а одна чиновница хотела даже сорвать бумагу с ворот, но ее удержали соседи. Хотели было отправить к ней депутацию, чтобы потребовать объяснения, но решили подождать мужей и квартирантов, для того чтобы посоветоваться с первыми и уверить последних, что все написанное на бумаге над воротами дома Плошкина есть плод пылкого, но глупого воображения вдовы Овчинниковой, которая, как надо полагать, пустилась на аферу и думает обобрать простоватых молодых людей.

Однако, как ни старались хозяйки-чиновницы уверить своих квартирантов в этом и в том, что вдова Овчинникова табак нюхает, а табак легко может попасть в суп и в жаркое, молодежь захотела попытать, не дешевле ли у вдовы Овчинниковой обед. И действительно, Овчинникова назначила цену дешевле других, и в тот же день обедало у нее десять чиновников, которые нашли кушанья превосходными. Потом четверо наняли у нее две комнаты и дали задатки, четверо согласились обедать помесячно и дали тоже задатки по рублю; остальные просили подождать до получения жалованья.

Такой успех Анны Петровны вывел из терпения чиновниц, и они решились сразиться с ней.

Утром Анна Петровна шла в Сытный рынок за провизией. За ней следовала и кухарка с кульком. Попадаются навстречу две чиновницы.

— Вы что же это такое делаете? — спросила ее одна из них сердито, не поздоровавшись даже с нею.

— Что я такое делаю? — спросила, в свою очередь, спокойно Анна Петровна.

— А это как у вас в бумаге написано...

— И не стыдно вам? — прервала другая и закачала головой.

— Это вы насчет чего же спрашиваете?

— А насчет того, что вы на мошенничество пустились...

— Не горячитесь, Софья Сергеевна!..

— Я вот что хочу спросить у вас, Анна Петровна: пристало ли благородной даме называться кухмистершей, и на каком основании вы сманиваете к себе наших жильцов и нахлебников?

— На том основании, во-первых, что, по моему понятию, нет стыда в том, что я называю себя кухмистершей. Уж это дело мое, а не ваше. Во-вторых, я женщина благородная, и мне с детьми не хочется жить у *кого-нибудь* в углу или быть прихлебательницей богатых родственников, как это *некоторые* благородные дамы делают. Что же касается до того, что мне бог дал нахлебников, то, значит, я умею вести дело и не беру таких цен, как *некоторые*.

— Позвольте... вы нас-то к чему называете некоторыми? Вы этим словом всех благородных хозяев обижаете.

— Извините... Я иду в рынок... Мне нужно кушанья готовить. — И Анна Петровна пошла.

Как вообще всякое новое дело в глухой местности находит у неразвитых людей отпор, так и Анна Петровна в течение двух лет много перенесла неприятностей от бывших своих подруг, которые теперь стали ей врагами. Они всячески старались напакостить ей и словом и делом; не было человека, который бы не слыхал, что вдова Овчинникова нехорошая, разгульная женщина, не было лавки, в которой бы лавочники не были прошены не давать ей ничего. Все эти переговоры и сплетни передавались Анне Петровне дворниками, кухарками, лавочниками в преувеличенном виде; чиновницы перестали ей

кланяться, точно она только что приехала на Петербургскую; девицы, завидев кухмистершу, хихикали и, сталкиваясь с нею, отворачивали лицо в сторону; одним словом, вся Мокрая улица и почти весь этот угол Петербургской был дурного мнения об ней; но Анна Петровна помалчивала, хотя на душе у нее, как говорится, кошки скребли, и проходила мимо врага, не только не кидаясь на него собакой, но даже и не глядя на него.

Однако, несмотря на то, что в два года Анна Петровна сумела прославиться чуть ли не во всем чиновном мире Петербургской стороны сплетнями и дешевым, но сытным столом, прибыли же она получала мало, потому что нахлебники навертывались всякие: задаток отдаст, пообедает две недели, наест на два рубля в долг — и нейдет больше; таких же нахлебников, которые бы платили вперед за месяц, было немного. А тут еще новая беда: вещи, что отданы в залог, пропадают; муж сестры вместо пятидесяти рублей уже просит шестьдесят, а к концу второго года, пожалуй, присчитает еще лишних десять рублей; мяснику должна пятнадцать рублей, кухарка просит жалованье за полгода. Думала-думала Анна Петровна и выдумала штуку: идти по департаментам к экзекуторам просить долги чиновников. Результат этой ходьбы вышел тот, что к новому году экзекуторы вычли из пособий и наград чиновников должные Анне Петровне деньги и обещались не только рекомендовать хороших нахлебников, но и вперед вычитать с них долги, если такие окажутся. Анна Петровна расплатилась с долгами, даже выкупила некоторые вещи. Но теперь против нее вооружились должники, с которыми она поступила так бесцеремонно. Но, несмотря на это, нахлебники находились, и дела ее мало-помалу улучшались, а квартиранты к шестому году ее кухмистерства успели уже обучить ее дочерей грамоте. Мало-помалу старые люди успели умереть; умерло несколько чиновниц-подруг, которые по началу ее кухмистерства сплетничали на нее, молодежь успела выйти замуж, и со временем все пришло в такой порядок, что как будто Мокрая улица немыслима без кухмистерши, и теперь Анна Петровна для всей Мокрой улицы такое же существо, как и всякая другая соседка.

Теперь Анна Петровна в почете в этой улице и в славе чуть ли не на всей Петербургской стороне, где ее знает

каждая пожилая чиновница. В почет же Анна Петровна попала года с три назад, с тех пор как стала отдавать под залог деньги.

Как всякий человек, понаторевший в одном каком-нибудь занятии, старается еще больше извлечь из него выгоды, постепенно сокращая расходы, так и Анна Петровна, имея постоянных нахлебников у себя и в других квартирах, мало-помалу довела свое кухмистерство до того, что стала кормить всех очень субтильно. Прежде она всем давала хлеба, а жильцы ее получали даже ужин; теперь все это оказалось невыгодным. Ссылаясь на дороговизну хлеба и других припасов, она значительно сократила обед и в то же время плату за него увеличила на целые два рубля в месяц.

Казалось бы, что при таком положении дел у Анны Петровны должно быть много денег, однако денежные ее дела далеко не в цветущем положении. Не говоря уже о мальчике, разносящем кушанья в судках по домам и взятом ею у мещанки-матери назад тому шесть лет почти даром, для того только, чтобы приучать его к поварской части, — не говоря об этом мальчике, которому она не хочет платить, ссылаясь на какие-то условия, заключенные домашним образом с умершею уже мещанкою, — она должна и в мясную лавку и в овощную, в которые перезаложила на время заложенные ей чиновницами вещи. Слушая сетования лавочников о том, что Анна Петровна день за днем все берет в долг и если выплатит пять рублей, то заберет на пятнадцать, обитатели Мокрой улицы говорят, что она, вероятно, деньги бережет для того, чтобы выдать младшую дочь за маиора, который уже два года как объявлен женихом Надежды Александровны...

IV

Квартира кухмистерши Овчинниковой

Во дворе окружили Анну Петровну сидевшие на крыльце и игравшие мальчики и девочки от трех до десяти лет. Они кричали:

— Бабушка, гостинцев! Бабушка в рынок ходила!

— Ну-ну... отвяжитесь! Не та пора, чтобы гостинцы раздавать! — И она, кое-как освободившись от повиснув-

ших на ее платье детей, повела за собою кухарку в квартиру.

Был хотя и вечер, но еще светло. Зато на лестнице, по которой они поднимались, была совершенная ночь, так что Пелагея Прохоровна едва не заблудилась в переходах.

Лестница эта была не высока; на площадке было сделано слуховое окно. По краям над лестницей сделаны перила, около самой крыши, справа и слева, протянуты бечевки, на которых сушится белье.

В кухне с небольшой русской печью и небольшою плитою, с полками, на которых лежала посуда и судки, и пропитанной запахом жареных гусей и сосисок, около большого стола сидели дочери Анны Петровны, из которых Вере было годов с тридцать, а Надежде годов двадцать восемь. Вера была девушка здоровая, румяная. Заметно было сразу, что она любит наряжаться и заботится, чтобы у ней и платье было в порядке, и воротничок на шее не был грязен и измят, и волоса не сбиты. Взгляд у нее был гордый, смелый и лукавый, и лицо принимало в несколько минут различные выражения, точно она воображала себя актрисой. Другая сестра, Надежда, была худощава, и хотя сидела в ситцевом капоте с широкими рукавами и в кринолине, но и это не придавало ей полноты. Лицо ее было бледно, с небольшим количеством веснушек, но привлекательно; карие ее глаза выражали не то тоску, не то покорность; темнорусые волоса немного растрепались, сетка сползла набок. Она сидела, нагнувшись к работе, и торопливо шила. Около печки, на лавке, сидел мальчик, на вид годов десяти, с худощавым лицом, запачканным до того, что, казалось, он не мылся в бане целый год или только что пришел с фабрики, где работал неделю. Его черные волоса лоснились, черные глаза смотрели со злостью то на Веру, то на Надежду. На нем был надет тиковый халат, весь пропитанный салом, опоясанный ремнем и застегнутый на вороте на крючок.

— Вон взяла разиню, а она там заблудилась, — сказала, входя, Анна Петровна.

— Неужели? В коридоре заблудилась? — проговорила Вера смеясь.

— Налей-ка воды! — сказала хозяйка повелительно кухарке.

— А где у те ковшик-то?

Вера хихикнула над чем-то.

— Ты не должна говорить — у те, у те! Что это за слово? Ты должна говорить — у вас, потому что ты у господ живешь! — проговорила наставительным голосом Анна Петровна.

— Давно Петр Иваныч лег спать? — спросила она дочерей.

— Уж час будет. Он из *маскараду* пришел.

— Ничего не принес?

— Вон Наде катушку ниток принес.

Надежда покраснела.

— Экая скряга! — сказала Анна Петровна.

Минут пять все молчали. В кухне было тихо, только мальчик фыркал носом да Анна Петровна плескала водой; из соседней комнаты слышался храп.

— Много ли было сегодня? — опять спросила Анна Петровна, обращаясь к дочерям.

— Да всё те же. Мясоедов съезжáет от нас, — сказала Вера и взглянула на сестру.

Щеки Надежды покраснели, и она еще ниже нагнулась.

— Ну, и с богом. И так надоел со своей скрипкой. Я ему давно хотела отказать, да только ради бедности держала.

— Он, мамаша, вовсе не беден, — проговорила робко, но с заметным волнением Надежда.

— Ну, это еще неизвестно.

— У него всегда есть деньги, и он всегда трезвый.

— Ну уж! .. Все-таки пусть съезжает. Не забыть мне, как он однажды нагрубил мне за то, что я не велела ему пилить в то время, когда Петр Иваныч спал.

— Петр Иваныч не в свою квартиру пришел.

— Все-таки он нам близок.

— Я бы на вашем месте давно ему дверь показала.

— Что такое? — строго спросила Анна Петровна.

— То, что он мазурик.

Анна Петровна подошла к Надежде и ударила ее по щеке ладонью.

— Мамаша, — проговорила Вера, встав и подойдя к матери, которая собиралась влепить Надежде другую оплеуху.

— Ах ты, негодная! .. Человек платит нам деньги,

сватается за вас... А она... Что, мне долго еще кормить-то вас? — проговорила запальчиво Анна Петровна, ежеминутно мигая.

— Я сама себе заработываю хлеб, — начала Надежда.

— Молчать! .. Сука! ..

Надежда заплакала; Анна Петровна присела на стул, подперла левую щеку рукой и стала ворчать. Это ворчание заключалось в том, что у нее дочери хотя и дворянки, но девицы очень неблагодарные, грубые, как мужички. Иные давно бы уже успели завлечь такого жениха, как Петр Иваныч, и выйти за него замуж, а они заставляют Петра Иваныча ждать, тянут время, говорят про него бог знает какие вещи, чего в старые годы и думать даже было непозволительно. Пока она ворчала вполголоса, дочери молчали, точно она говорила не им и не об них, точно все это им было уже несколько раз говорено. Надежда не плакала, но по лицу ее заметно было, что она, если бы было можно, вскочила бы и убежала; Вера шила по-прежнему, и по глазам ее заметно было, что она что-то соображала.

В кухню вошел молодой человек с темнорусыми волосами, с маленькими усами, с лицом, изобличавшим в нем чахоточного человека. На нем надет был красный кашемировый халат.

— Потрудитесь поставить самовар, — сказал он Анне Петровне.

Та приказала Пелагее Прохоровне поставить самовар и вежливо спросила молодого человека:

— Вы, я слышала, съезжаете?

— А! уже это довели до вашего сведения... Да, мне казенная квартира вышла по жребию.

— А! Жаль! человек вы хороший!

— Благодарю за комплимент. Мне и самому не хотелось съезжать по некоторым причинам... — Он кашлянул в кулак и взглянул на Надежду Александровну, щеки которой покраснели.

— Кухарку изволили нанять? — спросил молодой человек, которому, как видно, хотелось посидеть в кухне.

— Да, как видите. А ты еще здесь? — обратилась вдруг хозяйка к мальчику, точно этот мальчик до сих пор не существовал в кухне.

— Куда ж я пойду без паспорта? — проговорил мальчик резко охриплым голосом, который изобличал в нем девятнадцатилетнего мальчугана, а не десятилетнего.

— Слышите, как отвечает? — сказала Анна Петровна жильцу с удивлением.

— Сс! Да, он немного груб.

— Нет, он постоянно груб. Я бы его ни одной минуты не держала у себя, да надо кухарку познакомить с господами: ведь она не знает, куда нужно носить кушанье.

— Так, так, — заметил чиновник.

Чиновнику говорить было не о чем. Он было вынул из бокового кармана папиросницу, но только повертел ее в руках. Анна Петровна учила кухарку, как ставить самовар. Надежда нагнулась еще ниже к работе и точно боялась поднять голову; Вера несколько раз поправляла ладонями свои волосы и важно взглядывала на чиновника.

— Ну... я пойду. До свидания! — сказал вдруг чиновник и ушел. Через пять минут он в своей комнате настроивал скрипку.

Когда он ушел, Вера Александровна вдруг захохотала.

— Вот образованность! — проговорила она сквозь смех. — Ты, Надя, заметила, что он пришел в туфлях и на правой ноге у него туфля разодравши?

— Очень нужно мне замечать! — сказала та сердито.

— Ах ты, наказанье! Опять запилил! — проговорила отчаянно Анна Петровна и вскочила на ноги. — Кухарка! Поди-ка скажи ему, чтобы он не играл, — сказала она Пелагее Прохоровне.

Пелагее Прохоровне это приказание показалось странным, и она подумала сперва, что ее хозяйка дурит.

— Ну, что ж ты стоишь? двадцать раз тебе, что ли, надо приказывать?

— Да как... — начала было Пелагея Прохоровна, но в это время что-то затрещало в соседней комнате, и оттуда вышел маиор.

Если бы этому маиору пришла фантазия нарядиться в башкирский малахай и серый войлочный зипун, опоясав его ремнем и заткнув за ремень нагайку, никто бы в нем не узнал русского человека; он даже и теперь, в своем маиорском сюртуке, походил скорее на отъевшегося кондуктора железной дороги из башкир.

Он вошел в кухню, тряхнул правой рукой, заглянул на

полку одним глазом, нюхнул воздух и сел на стул, растопырив ноги и сделав руки фертом.

— Славно выспался, — проговорил он охриплым голосом и уставил на Веру глаза, точно бульдог.

— Я думаю, этот прохвост помешал со скрипкой?

— А! — промычал маиор, вопросительно повернув голову и уставив глаза на Анну Петровну.

В этом взгляде так и замечалося, что маиор не любил часто ворочать голову.

Анна Петровна повторила свои слова.

— Ну, дак что ж? Пусть пилит... Мне какое дело, — проговорил нехотя маиор.

Все молчали. Девицы, казалось, тяготились бульдожьими глазами маиора; маиор сопел.

— Вы что же удрали от меня? — спросил вдруг маиор, глядя на Веру.

— Еще бы не уйти! Вы напились пива-то и нас лезете угощать, — сказала Надежда.

— А! Угощать, говорите, лезу... А! — улыбаясь, говорил маиор.

— Бутылок десять, кажется, выпили. Колька! сколько ты покупал бутылок? — спросила мальчика Вера. Маиор тоже повторил этот вопрос.

— Только восемь; а в прошлый я шесть раз бегал; бутылок двадцать выпили, — ответил мальчик.

— Ах, ты!.. Ты с пивом и арифметике выучился!

— Ну, что вы тут сидите! Идите в комнату! — сказала Анна Петровна.

— А надо еще пива купить! не купили?

— Нет.

— Што! Брр!!. Вас все нужно учить...

— Ну-ну! Идите-ка в комнату.

— Ой!.. А я еще и не пойду один-то... Вы здесь, и я здесь; вы там, и я там; где вы, там и я, — проговорил маиор, мотнув головою, и захохотал.

— Ну, а вы-то что глаза тут портите! Уж темно становится.

— Да, в жмурки можно играть, — проговорил маиор, встал, махнул рукой, поглядел одним глазом на полку и заковылял в коридорчик.

Девицы пошли за ним. Анна Петровна пошла к жильцу унимать, чтобы не пилил на скрипке.

— Экая махина! — проговорила Пелагея Прохоровна, когда в кухне остались мальчик и она.

— Здоров! Этта как-то смазал Надежду Александровну, так цельный месяц она провалялась.

— Отец, што ли, ихной?

— Отец! любовник ейной!

— Што ты врешь?!.

— Я правду говорю, не маленький. Слава богу, мне девятнадцатый год.

— Ох ты, хвастушка! — Пелагея Прохоровна захохотала.

— Помереть сейчас... У меня и невеста есть.

И Пелагея Прохоровна захохотала пуще прежнего.

Вошла хозяйка.

— Это што за смех! Уж не любезничаете ли вы?

— Да вон он говорит, ему девятнадцатый год и невеста есть! — проговорила, смеясь, Пелагея Прохоровна.

— Вот как! — И Анна Петровна захохотала и со смехом пошла в комнату, откуда пришли вместе с нею маиор и дочери ее.

— Невеста, говоришь, есть? — проговорил, хохоча, маиор, подняв мальчика.

— Што ж такое?

— И свадьба скоро?

— Не по-вашему.

— Не по-нашему, говоришь? Молодец! Умница!.. Женишок!!! Скажите! а мы и не знали, что у нас жених есть... Кто же твоя невеста?

— Это уж мое дело.

— Конечно! Конечно! Про это не говорят... Скажите, пожалуйста! А! Брр!!. И приданое есть?.. Ах ты, каналья!

Мальчик рванулся и выскочил в сени. Маиор минуты две держал руку в том положении, как он ею поддерживал мальчика. Он глядел в потолок, тогда как Анна Петровна побежала в сени догонять мальчика. Девицы хохотали. Но больше всех хохотала Пелагея Прохоровна, которую чрезвычайно смешила вся фигура маиора.

— Каков?! Бр!!. Скажите! — сердито говорил маиор.

— Выскочил! — говорила, смеясь, Вера. — А еще

хвастались: шашкой по десяти человек сразу в Польше убивали!

— Я?! . — проговорил запальчиво маиор и двинулся.

Девицы взвизгнули и убежали в комнату. Маиор заковылял за ними.

Несколько минут из комнаты слышался хохот девиц и визг Веры Александровны.

Пришел тот жилец, который просил самовар.

— Что же самовар?

— Ой, барин, тут не до самовару... Тут у нас комедия; ох ты, господи! — хохотала Пелагея Прохоровна.

— Ну, подай самовар!

Пришла Анна Петровна запыхавшись и объявила, что мальчишка исчез.

Маиор сидел у Анны Петровны до двух часов. Сперва он играл в карты с Верой и Надеждой, потом выпил четыре бутылки пива и пел непонятные для Пелагеи Прохоровны романсы. Сели опять играть в карты; но маиор скоро заспорил, обругал всех сволочами, уронил стул и ушел, грозя всем перебить скулы. Чахоточный жилец еще после чаю ушел, сказав, что он сегодня домой не придет, а у другого жильца было двое гостей, для которых Пелагея Прохоровна два раза бегала в кабак за водкой и которые, попев и пошутив немного, скоро уснули в комнате жильца, где попало.

V

Которая вкратце объясняет отношения маиора к дочерям кухмистерши Овчинниковой

Маиор Петр Иваныч Филимонов стал известен в Мокрой улице года с четыре, с тех пор как он, пересмотрев в этой улице несколько комнат, проклиная Большую Садовую, Гороховую, обе Подьяческие, все три Мещанские улицы — за треск, за прокислый воздух, за то, что там он большею частию нарывался на немок-хозяек, которые будто бы лупили с него большие деньги и не уважали его маиорскую особу. Он водворился в мезонине, нанимаемом вдовою-полковницею, доживавшею в то время

седьмой десяток. Комната у маиора была большая, светлая; кровать его была занавешена; окна выходили в огород, и поэтому он мог вволю наслаждаться пением петухов, мяуканьем кошек и лаем собак; полковница была старушка добрая, прислуга у нее была послушная. Зажил маиор хорошо. Но через четыре месяца ему сделалось скучно. Делать нечего: считать деньги надоело, писать и читать он не любит, и идти никуда не хочется. Придет он к полковнице, сядет против нее. Полковница, в огромных очках и огромном чепчике, вяжет чулок и что-то нашептывает; в комнате у ней накурено ладаном. Она успела уже выведать от маиора все его прошлое и настоящее, так же, как и он в четыре месяца выведал от нее не только настоящее и прошедшее, но и будущее, которое состояло в том, что полковница ежедневно ждала себе смерти, тогда как маиор ни за что не желал умереть и не знал только, что делать ему завтра. Не о чем даже было и говорить. Новостей в Мокрой улице так мало, что о них довольно поговорить с четверть часа. Полковница вяжет, маиор сидит, смотрит на полковницу, и в голове его вертится только одна мысль: умрешь! И он силится развить эту мысль, но и развивать тут нечего: «Умрешь — и все тут, а мы поживем».

— Черт ее дери — скуку! — сказал однажды маиор.

— На службу бы вам поступить! — сказала на это полковница.

— Баста! .. Будет: с одного вола двух шкур не дерут.

— Гулять бы не то шли.

— Сапоги драть?!

— Ну, пасьянс бы...

— Это по-немецки? .. А я их терпеть не могу. Я под Севастополем их палашом по пятнадцати человек сразу рубил.

— Да вовсе вы с немцами тогда, кажется, не воевали!

— Так-то оно так... Только что немец, что француз — всё не русские. Вот что я вам доложу!

— Ну, не то женились бы!

— А? Отлично... Но боюсь...

— Чего?

— Толст я очень и силен. Меня в полку называли Ильей Муромцем. Боюсь!

— Ну, вы как-нибудь... А вам надо жениться... Дети будут, заботы будут, хлопоты, возня...

Полковница просветила маиора. Стал он теперь думать, что, в самом деле, толстота его не мешает жениться, а рукам можно и не давать воли. Но вот что его сбивало с толку: уживется ли он с женой — и какая такая будет у него жена? И он опять обратился за советом к просветительнице.

— Это дело вкуса, — сказала полковница.

— А именно?

— Надо, чтобы она вам понравилась и имела капитал.

— Так, так. Капитал чтобы имела... ну, чтобы повиновалась...

— И чтобы хозяйкой была, — добавила полковница.

Маиор задумался. Он привык к одинокой жизни, привык сам покупать, платить и получать деньги. На своем веку он немало имел любовниц, но уже годов с десять отстал от этого, вследствие какой-то нехорошей истории. Этих любовниц он не любил, не доверял им, а просто сорил деньги. Теперь, *остепенившись,* он должен, как говорит полковница, завести хозяйку, а хозяйка, по его понятию, значила то же, что и всякая квартирная хозяйка. Он ужасался, что его *оберут,* опоят и отравят. Он сообщил это полковнице, но та разъяснила, что жена может и свои деньги иметь. Маиор несколько успокоился, но его затрудняло теперь то, какая у него должна быть жена: равных с ним лет или молодая, толстая или тоненькая, высокая или низенькая, грамотная или неграмотная.

— Да где взять невесту?

— Мало ли у нас невест? — сказала полковница.

— Но я их не вижу.

— Вы думаете, они сами так вам в рот и полезут. Вон, например, против ваших окон, через огород, виден мезонин с двумя окнами. Тут живет кухмистерша.

— Слыхал.

— Ну, у нее есть две дочери. Девушки красивые, рукодельницы. Я иногда им даю кое-что починить.

— Отлично! — крикнул маиор.

Но он с месяц не решался приступить к делу. Он думал о женитьбе у окна с трубкой и смотрел на мезонин. Раз он заметил у окна в мезонине мужчину. Заклокотала

кровь у маиора, рассвирепел он ужасно и пришел в таком виде к полковнице.

— Мужчина! мужчина!!. — проговорил он трагически, указывая руками в ту сторону, где мезонин.

— Да они не тут живут.

— А?!

— Не тут, говорю, живут.

— Не тут?

— Я вам советовала познакомиться с ними, а вы, как колода, все сидите или лежите.

— Ужо!

Маиор успокоился и через день, выпарившись предварительно в бане, надев мундир с десятком орденов и взяв трость, поковылял к кухмистерше.

Если бы не девицы, он воротился бы с первой лестницы, но его, несмотря на темноту, нехороший запах и грязь, что-то так и тянуло вверх.

Анна Петровна совсем растерялась, увидав в коридорчике такую особу, которую она с переполоха признала за генерала; ее дочери украдкой смотрели на него из двери комнаты. Глаза маиора в короткое время успели разглядеть их, и он сам растерялся, говоря дрожащей Анне Петровне: «Я к вам! Я к вам!..» Ни Анна Петровна, ни ее дочери не понимали, что означал этот визит. Анна Петровна думала, не родственник ли какой дальний эта особа; ее дочери думали, не мазурик ли какой. Недавно был случай, что какой-то мазурик нарядился генералом и обокрал чуть не весь магазин, — но подойти и шепнуть матери об этом они боялись, потому что он стоял в коридорчике. Наконец маиор пришел в себя.

— Я к вам из дома Королева... Я живу у полковницы Головиной и имею честь рекомендоваться: маиор в отставке Петр Иваныч Филимонов! — проговорил он с расстановкой и по окончании крякнул, точно с его плеч свалилась огромная ноша.

— Ах, это вы и есть, господин маиор! Слыхала! Только вас что-то мало видать на улице, — проговорила Анна Петровна, утирая губы и обдергивая свое платье.

— Я домосед-с! Да. Такой домосед, что...

— Пожалуйте в комнату.

— Покорно благодарю... Я к вам по делу...

— Пожалуйте! — семенила Анна Петровна, думая, по

какому это делу мог прийти к ней маиор, которого редко кто видит в Мокрой улице.

В комнате маиор объявил, что он намерен брать у кухмистерши кушанья. Он просидел до вечера, похвалил и чай, и обед, и кофей, и пиво, и девиц за то, что они шьют хорошо, и, обещав бывать в кухмистерской ежедневно, заплатил за все съеденное и выпитое, несмотря на то, что кухмистерша отказывалась брать деньги за чай, кофей и пиво на том основании, что она рада знакомству.

Маиор сообщил полковнице, что он положительно женится; но вот горе: ему нравятся обе дочери кухмистерши...

— Господь с вами — вы ведь не татарин, чтобы на двух жениться.

Маиор задумался. Обе молоды, красивы, любезны; которую выбрать?

— Предоставьте это времятечению, — сказала полковница на сетование маиора.

Маиор не понял.

— Очертя голову нельзя делать, что не следует. Потерпите, всмотритесь и рассмотрите ихние характеры, и со временем вы отличите из них достойную вас, — разъяснила полковница.

Стал маиор посещать квартиру кухмистерши и каждый раз возвращался домой в недоумении, которая из дочерей кухмистерши достойна быть его женой: обе красавицы, обе умны... И думая об этом, он попивал пиво.

Прошло лето, осень, наступил мороз. Маиор ходил к кухмистерше и засиживался у нее до вечернего чая, рассказывая про свою военную жизнь, удаль, силу и про то, что в нем весу с лишком десять пудов. Но перемены в дочерях кухмистерши он не замечает. Так же просто они одеты; так же на вате у них салопчики, и так же они стыдятся их, как и прежде. Как и прежде, они говорят бойко, недолго задумываясь, только что стыдятся его меньше и стали смеяться над ним, как ему кажется. Но теперь уже время проводится с ними скучнее прежнего, даже и в карты играешь — далеко нет той веселости, какая была летом и осенью.

— Что бы это такое значило? — спрашивает маиор полковницу.

— А что же вы предложение не сделаете и ходите с пустыми руками?

— Подарить, небось, надо?

— Разумеется... А выбрали ли невесту-то себе?

— Да вот Надежда мне лучше нравится: она скромна, только горда больно.

— Ну, это пройдет! Вот вы ей и купите что-нибудь — ну, хоть лисий салоп.

— О-о!!! — завопил маиор и замахал руками.

Однако полковница успокоила его, и он на другой день отправился в Гостиный двор. Оказалось, меха дороги. Ему там посоветовали сходить на аукцион в гороховскую компанию, и там он купил дешево старенький лисий салоп, который и предложил Надежде Александровне в подарок к празднику.

Та удивилась и спросила:

— Это за что же?

— Извольте принимать, Надежда Александровна, не то силой надену! — сказал маиор, улыбаясь.

— Нет, силой вы не можете и не имеете права, — ответила Надежда Александровна с большим волнением.

— Ну, так я мамашу вашу попрошу.

А Анна Петровна стояла у двери и отчаянно кивала головой, как будто говоря: бери! бери!

При последних словах маиора она подошла к нему.

— Позвольте вас спросить, за что вы дарите Наде салопчик? — спросила она робко.

— За то... Ах!! не мо-гу-у! — простонал маиор.

— Мы люди не бедные, Петр Иваныч. Вы нас обижаете, — проговорила слезливо Анна Петровна и стала куксить глаза.

— Обижаете!.. Да мне плевать... — начал маиор, что-то соображая, но дальше ничего не мог выговорить, потому что понял, что нарвался, и хотел идти к полковнице за советом.

— Не ожидала я от вас. Да вы, позвольте вас спросить, — за кого вы моих дочерей принимаете? — продолжала Анна Петровна запальчиво, сообразив, что словом «наплевать» он выразил что-то дурное.

— Анна Петровна... Ох!! Отдайте за меня Надежду Александровну...

— Я ее не держу: как она хочет!

— Я не хочу... Вы мне не нравитесь! — отрезала Надежда Александровна.

— Я так и думал... — сказал жалобно маиор, сел и задумался.

Он сидел с полчаса. В это время Анна Петровна, вызвав дочерей в кухню, шепотом ругала их и приказывала Надежде Александровне изъявить свое согласие, а так как та не соглашалась, то она употребляла в дело руки.

Маиор очнулся, девиц нет. Он пошел в кухню.

— Так как?

— Она согласна, — ответила Анна Петровна.

— Нет, я не согласна, ни за что на свете! — крикнула Надежда Александровна.

— Ну, так прощайте... А салоп я дарю, потому мне на что же он?

И маиор ушел.

Он не приходил целых два месяца, потому что его обидели отказом.

Однако, несмотря на такую явную обиду и трату денег на салоп, его почти ежедневно порывало сходить к кухмистерше и посмотреть, что там делается. И вот он задумал план: нельзя ли ему взять к себе Надежду Александровну в любовницы?

В эти два месяца сестрам покоя не было от матери: она их ругала и била, умоляла их, плакала и опять ругала.

Ни в чем не повинной Вере надоело все это страшно, и она стала тоже уговаривать Надежду Александровну пожалеть хотя ее.

— Ты изъяви согласие, пускай он ходит. Может быть, он еще и раздумает, — говорила она сестре.

Та плакала, хотела убежать, но ей грешно казалось обидеть своим побегом мать, да и пугала будущность, если она попадет куда-нибудь в магазин. Думалось также, что если она уйдет, то Вера не пойдет с ней; а если Вера останется, то маиор непременно будет за нее свататься. Она знала характер Веры — ее уговорить не трудно. И что будет за жизнь с этим бульдогом, который может одним взмахом руки убить слабую женщину? Она начинала соглашаться с мнением сестры, что, может быть, он и раздумает жениться, может быть со временем мать сама убедится в своей несправедливости... Ну, а

если он да в самом деле женится?.. И она сказала об этом сестре.

— Я бы на твоем месте вышла за него, потому что такие толстые умирают от удара. Мамаша то же говорит. Она надеется, что он долго не проживет, и когда он умрет, все нам достанется. А если бы не это, стала бы мамаша выталкивать нас за него?

Надежда Александровна подумала об этом и решилась изъявить согласие. Анна Петровна обрадовалась — и, откормив нахлебников, оделась по-праздничному и пошла к маиору.

Маиор лежал на кровати; при входе Анны Петровны он не встал.

— Что это вы, Петр Иваныч! Здоровы ли? — проговорила Анна Петровна.

— А что?

— Да вас не видать нигде...

— Чего мне делается! Я здоров.

— А я все сбиралась к вам с Надей, попросить у вас извинения. Да тут Надя захворала, хлопот было много. Она и больная все говорила мне: сходите за Петром Иванычем, я, говорит, сказала ему грубости потому, что его сватовство было так неожиданно... И теперь все пристает да пристает: сходи да сходи... А я все думаю, хорошо ли это будет? Может быть, вы и отменили свое решение жениться?

Маиор лежал, глядя в потолок и поглаживая живот. С полчаса ни кухмистерша, ни маиор не сказали ни слова.

Наконец Анне Петровне надоело стоять.

— Прошу извинить, что беспокоила вас, — сказала она.

Маиор повернул голову к Анне Петровне и уставил на нее свои глаза, которые выражали и радость и зверство.

— Так она согласилась? — проговорил маиор.

— Одумалась и согласилась.

— Так... А если я не согласен?

— Воля ваша.

— Ну, я прощаю... И чтобы вперед этого не было! — проговорил он и встал.

Маиор сделался любезен, напоил кухмистершу чаем

и пивом. Анна Петровна пришла домой навеселе и разбила в кухне миску, купленную ею на Сенной.

Маиор не скоро собрался к кухмистерше; он пришел через неделю после визита к нему Анны Петровны.

Месяца два маиор приходил раза по два в неделю. Он обыкновенно приходил к обеду и уходил вечером. Вел он себя скромно, как следует жениху, рассказывал о своих походах, о том, как он в старые годы учил солдат, говорил, что ему не нравятся нынешние порядки, играл в карты и мало пил пива. На сетования Анны Петровны, что содержание стало дорого, нахлебники плохо платят, он посоветовал давать под залог вещей или за проценты деньги и, под предлогом быть участником в этом, дал ей денег и обещал вперед давать. Одним словом, Петр Иваныч оказался отличнейшим человеком, и все им были довольны, даже Надежда Александровна не косилась на него попрежнему. Но о свадьбе ни маиор, ни кухмистерша с дочерьми не заикались; последние считали вопросы неловкими, да и думали, что лучше будет, если жених и невеста до свадьбы узнают друг друга. На третьем месяце маиор принес Надежде Александровне шелковой материи на платье и потребовал, чтобы она поцеловала его. Отказываться было неудобно. Маиор стал приходить по вечерам. Надежда Александровна должна была целовать его по приходе и при уходе из квартиры. Но и это ничего; к маиору привыкли, и он в течение года был в квартире кухмистерши как свой человек. Иногда он снимал с себя сюртук, иногда приносил халат, трубку, ложился на диван; ему эти вольности допускались за то, что он носил кое-когда подарки невесте или ее сестре, а мать ссужал деньгами. А о свадьбе все-таки не было речи, и сестры стали говорить между собой, что им надо как-нибудь выйти из этого положения, потому что, как видно, маиор не такой дурак, каким кажется, и подъезжает к ним довольно ловко.

Раз Надежда Александровна возвращалась домой из Малой Дворянской улицы, куда она ходила за работой. Попадается ей *предмет*. Оба замлели, но спросили друг друга о здоровье. Потом предмет вдруг спрашивает ее: скоро ли ее свадьба с маиором? Та сказала, что маиор об этом не говорит им. Предмет пригласил Надежду Александровну в парк, дорогой купил апельсинов, груш,

яблоков. В саду они сидели до вечера, говорили долго, изъяснились в любви, и предмет просил ее подождать немного, потому что ему обещают казенную квартиру и награду. А так как он ее очень любит, то просит приходить в парк. Но Надежда Александровна сказала, что ей нельзя часто ходить в парк, потому что бульдог по вечерам сидит у них, — «а лучше будет, если ты, Паша, будешь жить у нас. У нас теперь есть порожняя комната. . .» Паша переехал к кухмистерше, которая ничего не подозревала, а как только нет матери, а Паша дома, сестры или сидят у него, или он у них. Прошло два месяца; Паша живет, обнимается и целуется с Надей; маиор тоже ходит, обнимается и целуется с Надеждой Александровной. Надежда Александровна весела, сделалась даже веселее Веры, которой было завидно счастию сестры, сумевшей своего Пашку поместить в одной квартире; маиор тоже весел: ему казалось, что его наконец-таки полюбила гордая и своевольная девчонка. Теперь маиор повел дело начистоту.

Приходит он раз в первом часу ночи с узлом и трубкой. Анна Петровна спала, но дочери работали.

Анну Петровну стали будить, маиор не приказывал.

— Что вы так поздно пришли? — спросила его Надежда Александровна.

— Долго после обеда спал. Стели, Надя, постель.

— Это не для вас ли уж?

— Именно. Сегодня моему терпению конец. С сегодняшнего дня ты жена мне будешь.

Надежда Александровна побледнела и, шатаясь, дошла до постели и закрыла лицо руками.

— Стыдитесь говорить-то! — сказала с сердцем Вера Александровна.

— Да!

Вера Александровна подошла к двери, вынула ключ и крикнула:

— Мамаша! Кухарка! Жильцы! идите! . .

Но маиор угостил ее оплеухой, и она упала.

Явилась мать, жильцы, кухарка. Вышла сцена.

— Вон!! — ревел маиор, толкая то того, то другого.

— Вон!! — кричала испуганная Анна Петровна, видя поднимающуюся с полу и с кровью во рту Веру и плачущую Надю.

— Деньги подай или дочь!

— Павел Игнатьич! сходите за полицией! — просила Анна Петровна.

— А! вы так?! Я вас проучу!.. — ревел маиор — и сел.

Но он сидел недолго и ушел вслед за жильцом, пошедшим за полицией.

Теперь всем стало ясно, что за штука этот маиор, и решено было жаловаться на него полиции и возвратить не только все вещи, но и деньги по возможности.

Но это было решено сгоряча. Утром явился маиор в мундире с орденами и, войдя в кухню, стал перед кухмистершей на колени.

— Виноват-с!.. простите... Вперед не буду! — проговорил он.

— Идите прочь. Не надо мне вашего прощенья, — проговорила запальчиво Анна Петровна.

— Но я маиор, и... я был пьян.

— Я хоть и не имею чести именоваться маиоршей, но все-таки дворянка и не позволю обижать меня и бить моих дочерей.

— Я плачу за бесчестие.

— Ничего я не хочу!

Маиор встал, сделал руки фертом и начал:

— А вот это как по-вашему — бесчестье или нет? Сижу я у окна и вижу Надежду Александровну в комнате вашего жильца. Потом вижу, жилец обнимает...

— Полно вам врать-то!

— Позовите-ко сюда жильца и Надежду Александровну!

Анна Петровна не хотела этого сделать, но явилась Надежда и сказала запальчиво:

— Павел Игнатьич в тысячу раз лучше! Мамаша! позвольте мне идти за него...

— Что я говорил? — сказал маиор и захохотал.

Это так удивило Анну Петровну, что она не знала, что ей сказать. Вдруг она пошла в комнату Павла Игнатьича.

— Вы.. вы подлец! — произнесла она дрожащим голосом.

— Покорно вас благодарю.

— Извольте сейчас, сию минуту съезжать с квартиры! — крикнула она и вышла, хлопнув дверью.

Началась сцена, довольно неприятная для всех и кончившаяся тем, что маиор заплатил за побитие Веры двадцать пять рублей, остался женихом Надежды с тем условием, что он женится непременно, если выедет Павел Игнатьич и если ему будут оказывать уважение; что он будет посещать невесту раз в неделю и не будет вперед безобразничать.

Началась опять прежняя жизнь: маиор посещал невесту раз в неделю и попрежнему играл в карты. Но Анна Петровна незалюбила Надежду Александровну, которая все дело испортила, может быть, навсегда. Дочери ненавидели маиора, но сидели с ним потому, что из этой жизни не видели выхода. Так прошел год. Опять маиор сделался своим человеком, но теперь уже строились планы будущей семейной жизни. Маиор за две недели до найма Пелагеи Прохоровны говорил, что у него теперь лежит сердце больше к Вере Александровне, и он уже ходил к священнику посоветоваться насчет свадьбы. Анна Петровна тоже сходила к священнику — маиор точно у него был. Он стал приходить к кухмистерше ежедневно, и в ожидании свадьбы, которая была назначена через неделю после Петра и Павла, все терпеливо сносили невежливое обращение его. Вера Александровна с трепетом ждала дня, когда ее повенчают с тем, кого она ненавидит, и решилась на этот брак, чтобы угодить матери и в надежде на то, что маиора кондрашка хватит.

И действительно, вскоре после Петра и Павла маиор был обвенчан.

VI

В которой Пелагея Прохоровна располагает к себе одну голову из подвала

Скоро после свадьбы маиор купил себе собственный дом на набережной Невы и переехал туда с женою, переманив от кухмистерши и Пелагею Прохоровну.

Житье было дурное. Маиор с утра до вечера был пьян, бил жену и несколько раз даже делал Пелагее

Прохоровне предложение быть его любовницей. Но она все еще крепилась и не решалась оставить маиорский дом, — во-первых, потому, что надеялась справиться с маиором сама, если он будет слишком предприимчив, и во-вторых, потому, что получала тут три целковых в месяц и думала, что такого жалованья в другом месте, пожалуй, и не найти. Однажды маиор ушел с женою в гости; Пелагее Прохоровне сделалось скучно; она отворила окно, уперлась на косяк и стала смотреть во двор.

За мезонином, в промежутке между двух окон, на бечевочке висело детское белье; из одного растворенного окна слышался плач ребенка и убаюкивающая песня женщины; у третьего окна сидела, повидимому, девушка в сетке и, нагнувшись, пела: «Ах ты, купчик-душа! не ночуй у меня...» В одном углу двора пять мальчиков играли в бабки, три девочки сидели у крыльца и тихо играли в куклы; в другой стороне двора, из одного подвального этажа, слышался стук молотком, из другого выглядывала кверху, как раз на нее, мужская голова. Пелагею Прохоровну рассмешила эта голова, выглядывающая точно из водосточной трубы; но кроме головы, на один бок которой было надето что-то плисовое, похожее на ермолку, она заметила на окне два локтя, концы которых выходили наружу. Голова курила папироску. Вдруг голова кивнула по направлению к Пелагее Прохоровне.

Пелагея Прохоровна нагнулась, чтобы полюбопытствовать, какой особе кланяется голова.

— Пелагее Прохоровне! — вдруг сказала голова.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, затворила окно и отошла от него. Ей сделалось стыдно и представилось, что это кивание непременно кто-нибудь заметил, а ее имя, по всей вероятности, услышал не один человек. «Эдакой подлец! — подумала она: — теперь, по его милости, обо мне нехорошо станут говорить!»

Во всей квартире была тишина, прерываемая тиканьем часов без боя, находящихся в комнате. Пелагее Прохоровне сделалось очень скучно, не хотелось работать, и в голове вертелась мысль, что вот она ни в чем не виновата, а теперь, по милости какого-то подлеца, ей совестно будет выйти на улицу или на двор. Ее порывало идти и спросить эту голову: как она смела кланяться ей и назы-

вать ее по имени на весь двор, точно она его любовница? «Надо дворнику сказать, штобы квартиранты не смели обращаться так невежливо: я не какая-нибудь потаскуша, штобы можно так обращаться со мной!» — подумала она и решила теперь же идти к старшему дворнику.

Она поправила свой сарафан, накинула на голову платок и подошла к небольшому зеркальцу, висевшему на стенке и принадлежавшему ей.

Она давно не смотрелась так в зеркало, как сегодня. Прежде она только взглядывала на него для того, чтобы посмотреть, в порядке ли причесаны волосы, хорошо ли лежит платок на голове; теперь же она особенно засмотрелась на свое лицо и удивилась, что оно стало бледнее прежнего и в нем нет прежней полноты. «Подумаешь, ведь, кажется, и сыта я — прежде вон об этом кофее и понятия никакого не имела, — работы не так много, и по ночам не мешают спать, а стала я пошто-то худощава; вон и глаза ровно не те, и волосы стали как будто реже». Но, несмотря на это сетование, Пелагея Прохоровна была все-таки женщина красивая: ее бледное, худощавое лицо, с сосредоточенно-осмысленным взглядом в глазах, при ее высоком росте, могло привлечь к себе хоть кого, хоть она сама об этом и не старалась.

Пелагея Прохоровна спустилась во двор, и хотя ей не хотелось глядеть на флигель, но против воли глаза взглянули на одно из окон в подвале, однако головы не оказалось.

Во дворе было два флигеля, из которых один был с мезонином, а другой без мезонина, но также, как и первый, с подвалом. В подвале первого флигеля отдавались внаймы две квартиры, и в одной из них жило пятнадцать человек рабочих; в другом помещался семейный сапожник, не имеющий, впрочем, вывески; остальная часть подвала была занята ледником и дровяным сараем домовладельца, и поэтому кухарке Филимонова ежедневно по нескольку раз приходилось проходить в ледник мимо того окна, в котором она видела голову. Хотя же Пелагея Прохоровна до сих пор не обращала внимания на окна подвала и на народ, живущий там, но теперь она хотела увидать того подлеца, который осмелился так дерзко фамильярничать с ней. Она постояла против окна с полминуты, наклонившись к земле, как будто

разглядывала находку, и искоса взглядывая на окна; но все окна были заперты, и в подвале было тихо.

После этого прошла неделя. Пелагея Прохоровна не обращала внимания на выходку рабочего из подвала и стала забывать о ней. Но она стала замечать, что кухарки взглядывают на нее полунасмешливо, дворники начинают отпускать любезности и хохочут, лавочники низко кланяются, шаркают ногами, и тоже хохочут, и уже начинают крепко жать ей ладони.

Стали Пелагею Прохоровну спрашивать: как она себя чувствует? — и спрашивали как-то насмешливо. Это ее разобидело; но она, поняв, что тут заключается какой-то намек, все-таки не возражала, чтобы не навлечь каких-нибудь неприятностей. Она это приписывала нехорошему, как ей казалось, поведению женщин: «Это они по себе судят; им удивительно кажется, што я живу без душеньки, и они злятся на меня, зачем я не якшаюсь с ними».

Хотелось ей познакомиться с женой лавочника Большакова, жившего тут же во флигеле, Агафьею Петровною, для того чтобы при посредстве ее мужа, у которого берут хлеб и другие припасы, найти место получше или заняться стиркой белья, но ей казалось, что Агафья Петровна ведет себя с нею весьма надменно, и Пелагея Прохоровна невзлюбила ее.

Так и шло все по-старому: женщины на нее косились, мужчины как-то насмешливо улыбались, лавочники жали руки и любезничали, что́ ей очень не нравилось, но никто не обижал словами. Раз маиор воротился домой откуда-то очень пьяный и учинил дома драку, так что почти все жильцы высовывали свои головы, чтобы послушать, и делали громко свои замечания. Досталось тут и Пелагее Прохоровне, которая стала заступаться за хозяйку из боязни, чтобы маиор не убил ее. Наконец маиор выгнал жену и заперся в своей комнате.

Пелагее Прохоровне стало жаль маиорши, и она пошла ее разыскивать, чтобы та ночевала в кухне, на ее кровати. Но ни на лестнице, ни на дворе она не нашла ее. Думая, не ушла ли она на улицу, Пелагея Прохоровна отворила калитку, взглянула налево — нет, направо — у самой калитки на лавочке сидит та голова, что так дерзко кричала ей из подвального окна. У Пелагеи Прохоровны по коже мурашки пробежали.

— Кого ищете, Пелагея Прохоровна? — проговорил скромно мужчина.

Пелагея Прохоровна вспыхнула, но отошла немного на дорогу и поглядела на сидящего мужчину.

Это был высокий человек, годов тридцати, с курчавыми рыжими волосами, без бороды и усов, с бледным чистым лицом, голубыми глазами и приятною улыбкою. Он сидел в голубой ситцевой рубашке, поверх которой был надет чистый передник; на босых ногах были надеты худенькие калоши, на голове плисовая шапка. Вся его фигура изобличала мастерового, и Пелагее Прохоровне представилось, точно она видит перед собой Короваева. Он сидел, скрестивши на груди руки, и спокойно глядел на нее.

— Хозяйку ищете? — спросил опять Пелагею Прохоровну мужчина.

— Ты... вы не видели? — Лицо Пелагеи Прохоровны покраснело; ей стало неловко, да и зло брало ее, неизвестно для нее самой почему.

— Нет, не видал... Видно, машина-то у вас все в полном ходу?

Пелагея Прохоровна не поняла.

— Видно, он все буянит? Вы бы нас, мастеровых, позвали, мы бы связали его.

— Свяжешь его, черта! — И Пелагея Прохоровна подошла к калитке.

Мужчина тоже встал.

— Пелагея Прохоровна... позвольте мне... просить вас, — начал он нерешительно.

— Ну?!. — недовольно произнесла Пелагея Прохоровна.

— Простите меня великодушно. Я слышал, вы изволили обидеться.

— Кабы умен был, не орал бы во все горло.

— Ну, простите же меня... — И он взял ее руку, крепко стиснул и прибавил: — ей-богу, это меня черт сунул... Я давно хотел вам объяснить это... Ну, скажите, вы не сердитесь?

— Пустите!

— Нет, вы скажите.

— У! какой невежа!.. — И Пелагея Прохоровна отвернула лицо. Мужчина выпустил руку и сказал:

— Простите великодушно, што я задержал вас...

Но Пелагея Прохоровна не удостоила его ответом и вошла во двор. Она остановилась у лестницы и стала припоминать, что она сказала своему врагу. Кажется, ничего, но только как-то по-девичьи... И зачем он непременно тут?

Она задумалась... Ничего у ней не выходило, кроме того: «Какой ласковый... Этот не как Короваев!»

Опять стала думать: «И зачем он тут? Да я его часто вижу, только не в этой смешной ермолке... Ах, кабы он был кержак... то, бишь, раскольник... Экая я дура, о чем задумала, а там, поди, бог знает што творится наверху-то!» И Пелагея Прохоровна побежала кверху, и ей было легко бежать; она думала: не боюсь я тебя, поганый бульдог!

Только что Пелагея Прохоровна разделась и легла спать на свою кровать, как маиор подошел к ней со свечкой и, схватив ее за волосы, проговорил с яростию:

— Где ты была, гадина!

— Неужели мне и на улицу нельзя выйти? — ответила кухарка тоном никого не боящейся женщины и правой рукой вышибла из руки маиора свечку. Маиор выпустил ее волосы, но схватил за рубаху. Пелагея Прохоровна встала, но почувствовала крепкий удар в щеку, потом еще удар.

— Вон, тварь поганая! — кричал маиор: — разве я не знаю, куда ты ходила?! Вы все заодно с моей женой... Вон!! — И маиор стал толкать Пелагею Прохоровну.

— Расчет наперво подайте, паспорт!.. — кричала Пелагея Прохоровна вне себя.

Но маиор ничего не слушал; Пелагея Прохоровна не могла защищаться и выскочила в сени.

— Куда?! — крикнул маиор в сенях.

Пелагея Прохоровна спустилась по лестнице.

Маиор постоял немного у перил и ушел в квартиру.

Ставши у крыльца, Пелагея Прохоровна заплакала. Вдруг кто-то в коридоре отворил дверь, к Пелагее Прохоровне подошла пожилая женщина. Это была нянька нижних жильцов, Дарья Васильевна.

— Кто это?! А! Пелагеюшка... што, не прибил ли он тебя? — спросила она нежно.

— Бог с ним... завтра от места отхожу.

— Ну, полно-ко! Твоя-то барыня говорит, што все это будто от тебя... Мы ее спрятали.

— Врет барыня... Она сама задирает... Скажите ей, што она ошибается.

— Мне што?.. Я бы тебя пригласила, да сама знаешь, я в людях живу; каково еще моей барыне понравится.

— Да я где-нибудь...

Пелагея Прохоровна вышла за ворота, потому что ей не к кому было идти и не хотелось кланяться и просить приюта.

Был уже сентябрь месяц на исходе; дул резкий холодный ветер с реки. Луна освещала набережную и Неву с ее судами и барками. И здесь и кругом было тихо, только в реке плескались волны, скрипели суда и барки с дровами, лесом и камнем.

«Вот и опять одна и опять без приюта», — думала Пелагея Прохоровна, уперлась о фонарный столб, на котором не было фонаря, и задумалась. Но в голову ничего не шло хорошего, как будто маиор весь мозг вытряс из головы. А ветер так и дует; Пелагею Прохоровну начинает трясти от холода.

— И это столица! Уж если здесь такая жизнь, где же лучше? — сказала она, глядя на реку.

— Пелагея Прохоровна... што вы тут делаете? — произнес вдруг позади ее мужской голос.

Пелагея Прохоровна обернулась; перед ней стоял рыжеволосый мужчина в том же наряде, в каком он был часа за два тому назад.

— Ведь вы простудитесь... — опять произнес он с сожалением.

— А вам-то что? Што вы за мной ходите? — недовольно проговорила Пелагея Прохоровна.

— Всякий вам то же скажет, что и я... Али вам жизнь надоела?.. Да вы идите лучше хоть во двор.

— Куда ж я пойду... Уж я не пойду больше туда.

— Экие вы спесивые... Все же за паспортом али за деньгами придется идти. Прошу вас, отойдите отсюда, пожалейте себя.

Пелагея Прохоровна пошла к дому. Во дворе бушевал маиор.

— Где жена? — кричал он.

— Эко горе... Не проходила Вера Александровна? — спрашивал во дворе дворник.

— Да вы все, подлецы, спали! — ревел маиор, и слышно было, как он бил дворников по щекам.

— Господи! я боюсь, как бы он сюда не пришел! — сказала шепотом Пелагея Прохоровна, смотря на мужчину и дрожа от холода и от страха.

— Ну дак что! Пусть только тронет... Я покажу ему, кто из нас сильнее.

Но голос маиора затих во дворе; повидимому, он ушел куда-то.

— Вы постойте тут, а я посмотрю, куда он ушел, и похлопочу, где бы вам ночевать.

— Уж не беспокойтесь, я и здесь просижу.

— Ну, и значит, што вы дура!

И мужчина ушел во двор.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать. Эта сцена вышла так неожиданно, что она не могла ничего придумать. Если бы она знала, что маиор ее прибьет и прогонит сегодня ночью, она бы позаботилась о ночлеге. А теперь не сидеть же ей, в самом деле, на улице в такой холод? При этом она обозвала себя дурою за то, что стала у самой реки в одной рубахе, без платка на голове и босиком, когда могла бы спрятаться где-нибудь в подвале и таким образом избежать встречи с этим мастеровым, от которого теперь все узнают, что она стояла на улице в таком виде. «А он человек добрый, хороший и на тех подмастерьев, што я видела здесь, не походит», — думала она об этом мастеровом, не сердилась на его навязчивость, а ждала, где-то он ее приютит ночевать.

На улицу вышли дворник и лавочник Иван Зиновьич Большаков, за ними шел и мастеровой.

— Эдакой проклятый... Штоб ему лопнуть, живодеру! — говорил дворник.

— Пелагея Прохоровна... пожалуйте к нам, не побрезгуйте, — сказал лавочник, подойдя к Пелагее Прохоровне.

Пелагея Прохоровна не знала, что сказать. Ей вдруг представилось, что Агафья Петровна сделается еще надменнее и ей придется унижаться перед нею.

— Нет, я в другое место.

— Ну, полноте. Вон и Игнатий Прокофьич тоже советует, — указав на мастерового, проговорил лавочник и прибавил: — у меня места много, хватит.

— Именно! А я завтра наведаюсь к хозяину, может, и ничего, — сказал дворник.

Все вошли во двор. Большаков спустился налево в подвал, в свою квартиру, заключавшуюся из одной комнаты, с двумя окнами у самого потолка и с русскою печью, и из овощной мелочной лавочки.

VII

Жена Ивана Зиновьича Большакова находит, что Пелагея Прохоровна не годится ей в кухарки

Комната, или изба со сводами, была просторная, но так как она примыкала к лавке, то до половины была загромождена кадками, кулями и мешками, которые лежали тут потому, что Иван Зиновьич Большаков не имел ни погреба, ни ледника. В комнате было тесно и грязно; а так как на окнах были наставлены разных величин банки с вареньями, изюмом, миндалем, черным немолотым перцем и тому подобными мелочами, то даже и днем тут было не совсем светло. Повидимому, Иван Зиновьич не заботился ни о свете, ни о просторе и чистоте своего помещения. Имея жену, работящую женщину и хорошую хозяйку, и выторговывая в сутки от двух до пяти рублей барыша, он этим помещением был бы совершенно доволен, если бы не дымила в ветер печь, не текла в лавочку и в комнату со двора вода весной и осенью и если бы он имел ледник, в котором можно было бы дольше сохранять масло, молоко и рыбу. Но уж такова русская неподвижность, или привычка к одному месту, что Иван Зиновьич каждую весну и каждую осень собирается переехать на другую квартиру, но летом и зимой раздумывает, потому что летом выручает много, а зимой ему кажется, что все равно, — где бы ни нанял квартиру, везде холодно; а во-вторых: «Ведь прожил же я здесь семь лет, авось и восьмой проживу. Вот разве когда кончится срок контракту, тогда подумаем». К этому еще присоединялись хлопоты по переноске и перевозке вещей: «Все это было припасено не враз, а помаленьку да потихоньку; все это

хоть и дешево куплено, дешевле, чем на толкучке, а стань-ко переносить или перевозить — половины не досчитаешься, и заводись опять снова; а мы знаем, каково опять сызнова-то обзаводиться».

Иван Зиновьич родился в деревне. Отец у него был зажиточный крестьянин, но дальше своего губернского города не ездил, а дядя занимался в Петербурге мелочной торговлей, а потом стал торговать мукой и крупой и в помощники к себе выписал племянника. Иван Зиновьич очень скоро понял изворотливость дяди и в отсутствие его, уже на семнадцатом году, торговал не хуже его, и дядя очень любил его, да и покупатели были очень довольны. Двадцати лет он женился на дочери одного лавочника, несмотря на то, что она была не очень красивая на лицо и что за него пошла бы замуж любая из барских горничных или даже дочь мелкого чиновника. Он не женился ни на одной из них потому, что они, на его взгляд, казались белоручками, не привыкшими к подвальной жизни, к стряпне и ничего не смыслящими по торговой части. Хотя же его молодая жена и не сидела в лавочке, но она ему пришлась по вкусу: лучше такой хозяйки он и не находил и был ею очень доволен. Это была низенькая, тощая молодая женщина, с веснушками на лице и с редкими рыжими волосами, никак не могшая отстать от своего ярославского наречия и привыкнуть к петербургскому. Сам же Иван Зиновьич был рослый, здоровенный молодой человек, с полными красными щеками, без усов и бороды, которые он брил каждую неделю по субботам, тотчас по приходе из бани, постоянно улыбающийся, сдержанно-любезный, суетящийся и слывущий на несколько домов за самого толкового человека. Он всегда одевался так, что его не могли назвать маклаком: фуражка у него никогда не была измята и запачкана, передник постоянно чистый, сапоги хотя и смазаны дегтем, но со скрипом, и надо было посмотреть, как он один, без подручного, управляется в лавочке, успевая то отвесить фунт хлеба, то свертеть бумагу, накласть в нее кислой капусты и свесить, то отпустить полстакана сливок, бутылку молока — и в то же время записывать в книжки покупателей и у себя в тетрадке, что ими и на сколько взято. Ни своего огорода, ни своего скота, ни своей рыбной ловли у него не было, но он все покупал из первых

рук, или с Охты, или от чухон, так что ему все стоило недорого; он же продавал по существующим в городе ценам и выторговывал барыша, как я уже и сказал раньше, от двух до пяти рублей в сутки.

Жена его, Агафья Петровна, в его торговые дела не вмешивается и приходит в лавку только посидеть с ребенком, потому что в лавке все-таки и воздух немного лучше комнатного и веселее. Несмотря на то, что местные женщины называют ее выдрой, они к ней обращаются всегда с почтением и непременно остановятся в лавочке минут на пять, чтобы покалякать с нею о господах. Но ей и в лавке приходится сидеть не подолгу, потому что у нее двое маленьких ребят, за которыми нужно посмотреть, да и много дела, а ей нужно все сделать самой, так как у нее работницы нет. Впрочем, она никогда не говорила, что ей скучно, друзей себе не искала и жила только с женой дворника душа в душу, тогда как у мужа ее, совсем опетербуржившегося, было много питерских приятелей, и она замечала, что он с земляками держит себя высоко, как важная особа.

Иван Зиновьич, видя, что Агафья Петровна выбивается из сил, и зная, что она опять беременна, раз сказал ей:

— Вот што я думаю, Агашка: хорошо бы тебе взять работницу.

— Это ещё што за мода? — возразила жена.

— Да как же. Ты и ночь-ту недоспишь с этими горластыми чертенятами, и хлебы-то тебе надо печь... И все такое. Нет уж, как хошь, я найму, — настаивал муж.

— Ящё, видно, полюбовницу завел!

И Агафья Петровна стала следить за мужем: какую такую ее муж завел полюбовницу, которую он метит ей в работницы; но ничего не заметила. Однако она и сама подумывала о работнице, но никак не могла представить себе, чтобы эта работница была женщина честная, вполне работящая и не воровка. Затруднялась она также и в том, куда поместить работницу. «Не перегораживать же для нее комнату, не кормить же ее за одним столом, и опять — неловко же ей давать есть по мерке; а предоставь-ко ей самой брать есть, она все и сожрет». Так думала она, но не решалась высказать это мужу, зная, что он будет подсмеиваться над ней. А Иван Зиновьич

каждый день заводил разговор о работнице, хоть и знал, что жену это сердит.

Сегодня за ужином он опять заговорил о том же.

— Ты меня, Ванька, все сердишь. И што это у вас, у мужиков, за привычка такая проклятая! — проговорила сердито Агафья Петровна.

— А вот я возьму, да и найму.

— А вот я возьму ее, да и взашей.

— Нет, однако, будем, Агашка, говорить всурьез. Первое, ты баба хилая и водилась бы уж с ребятишками. Сама же ты говоришь, что у тебя в брюхе-то бахарь дрыгает.

— Вот ты для ребят-то бы нанял какую ни на есть девчонку, ведь твои ребята-то!

— Ну, девчонка не так доглядит, как ты.

— Ну уж, шалишь, штобы я заставила работницу квашню заводить али хлебы в печь сажать.

Немного погодя Агафья Петровна высказала мужу, что она, пожалуй, наняла бы работницу, только... И она высказала ему свои опасения. Муж сказал, что кровать можно загородить ширмами, а ширмы он надеется приобрести даром; если работница будет не ленива, то пусть ее ест. «Больше того, что в кишки влезет, не съест», — заметил он и предоставил Агафье Петровне самой найти себе работницу не дороже двух рублей в месяц.

Когда Иван Зиновьич привел Пелагею Прохоровну, комната его была слабо освещена; на столе стояла маленькая жестяная лампочка с керосином, который очень вонял. Агафья Петровна лежала на кровати лицом к стене и улюлюкивала ребенка, который тяжело кашлял и пищал; около кровати стояла в ногах детская плетеная коляска, покрытая простыней, и из нее тоже слышался крик трехлетнего ребенка, а напротив подушек, на небольшой скамейке, — плетеная корзина, в которой лежали пеленки и в которой, как надо было полагать, спал маленький ребенок.

При входе мужа Агафья Петровна повернула голову и, увидев Пелагею Прохоровну в ее скудном одеянии, поморщилась, но удержалась и только недовольно сказала мужу:

— Тебе бы только уйти... А я тут покою не найду... Покачай чертенка-то! — И она, обернувшись к стене, принялась улюлюкивать ребенка.

— Ох, уж эти мне... — проговорил Иван Зиновьич и стал качать коляску.

— Позвольте, я покачаю, — сказала Пелагея Прохоровна и взялась за ручку коляски.

Иван Зиновьич отошел к корзинке, нагнулся и проговорил недовольно:

— Ох ты, неряха эдакая! опять у те пеленки-то мокрые!

— Не разорваться же мне!.. — проговорила жена.

— Девочка-то мокрая, — сказала робко Пелагея Прохоровна, когда Агафья Петровна сидела на кровати.

— Это у нас всегда так... День-то бьемся, а ночью с ребятами... Она все спит, барынька!

Муж и жена возились с ребятами, переменили белье детей, уложили их, причем маленькому ребенку Агафья Петровна дала в рожке питья с маком, для того чтобы тот скорее заснул и дольше спал. Пелагея Прохоровна тоже помогала им, и Агафья Петровна не высказывала неудовольствия, что кухарка домохозяина находится тут в таком виде; она, вероятно, уже была предупреждена, что Пелагея Прохоровна ночует здесь.

— Ну, барыня, куда мы вас укладем? — проговорил вдруг Иван Зиновьич, не то обращаясь к гостье, не то спрашивая сам себя.

— То-то, приглашать-то приглашает, а того и не подумает, што некуда. Ишь, какой приют нашел! — проговорила недовольно Агафья Петровна.

Пелагее Прохоровне было неловко, и ей Агафья Петровна показалась очень нехорошей женщиной, но она все-таки сознавала, что Агафья Петровна хозяйка.

— Я где-нибудь около порога, — проговорила она нерешительно.

— Зачем около порога? Ты вот к столу лучше ляг. Вот тебе одеяло — постели, подушки... А этим шугайчиком оденься! — проговорила Агафья Петровна, давая одеяло, подушку и шугайчик.

— Уж я вас, право, не знаю, как и благодарить, — говорила Пелагея Прохоровна, и ей было и стыдно и обидно, что она дошла до такого положения.

Когда она сделала себе постель, Иван Зиновьич погасил огонь в лампочке, пожелал Пелагее Прохоровне спокойной ночи и лег на кровать. С четверть часа супруги шептались, но о чем — Пелагея Прохоровна не могла расслышать. Наконец и шепот замолк, послышался с кровати храп и шипенье носом.

Пелагея Прохоровна только дремала, а когда начала засыпать, заплакали дети, и немного погодя Агафья Петровна встала и затопила печь. Она сегодня должна была испечь ржаного хлеба и ситного. Пелагея Прохоровна тоже встала, несмотря на то, что хозяйка уговаривала ее спать, уверяя, что та ей нисколько не мешает. Агафья Петровна была так добра, что дала Пелагее Прохоровне свой старый сарафан, свои рваные башмаки и платок на голову. «После отдашь», — сказала она, когда та стала отговариваться.

Работы у Агафьи Петровны было много, и так как все нужно было сделать к сроку, то есть чтобы хлеб испекся к восьми часам, а самовар поспел к шести, то, ради этого, она оставляла детей на произвол, не обращая внимания на их крик и на то, что они лежали мокрые. Пелагея Прохоровна хотела ей помочь, но не знала, за что взяться, и боялась вмешиваться зря, без приглашения. Заметив, что хозяйка хочет становить самовар, она было заявила желание сделать это, но хозяйка сказала недовольно:

— Нет уж, я сама...

— Да ведь мне нечего делать-то.

— Успеется.

Так и не дала самовара.

Стала Пелагея Прохоровна укачивать детей. И это как будто не понравилось хозяйке:

— А чего их качать-то! Мало, што ли, они спали... Нет уж, оставь.

— А лучше, как они спят.

— Они у меня всегда в эту пору встают... А што кричат — эка важность! Надо же мужу-то вставать... Не качай, пожалуйста, — хуже закричат...

Пелагея Прохоровна ужасно тяготилась своим присутствием здесь. Она хотела идти прочь, но уйти было неловко и рано. Наконец она не утерпела и сказала хозяйке:

— Пойду понаведаюсь, не встал ли маиор?

— Ну, вот! .. Али он встает так рано?

— Нет. Может, и встал.

— Успеешь. Вот чаю напьемся.

Встал хозяин. Стали пить чай и сидели, большею частью обращаясь к детям, которые ели кашу. Все чувствовали себя как-то неловко, как будто стеснялись друг другом; муж и жена обращались к Пелагее Прохоровне мало, как будто им не о чем было расспрашивать ее и не о чем говорить с нею. Но Пелагея Прохоровна заметила, что Агафья Петровна часто взглядывала на нее, потом на мужа; муж же глядел больше на жену; так и казалось, что супруги что-то решали насчет Пелагеи Прохоровны.

— Не знаете ли вы где места какого-нибудь? — спросила Пелагея Прохоровна, смотря на хозяйку.

Иван Зиновьич взглянул на жену, та наклонилась к ребенку и не торопясь сказала:

— Нет, теперь не знаю. Ты, может, не знаешь ли? — обратилась она к мужу.

Тот немного помолчал.

— Так вы точно что совсем от маиора? — спросил он гостью.

— Теперь уж я не соглашусь ни за какие деньги у него жить.

— Так... Ежели место будет — отчего же! Непременно постараюсь.

После этого все сидели молча несколько минут. Вдруг Иван Зиновьич пошел в лавочку, стал в дверях; Агафья Петровна тоже пошла к нему.

— Ну, што? — услышала Пелагея Прохоровна негромкий голос хозяина.

— Не годится — белоручка. Ей в господах только и жить, — сказала тоже негромко хозяйка.

— Думаешь, не управится?

— Нет, она ничего. Видно, охоча работать-то и смирна, только не годится.

— Это как?

— Ну, не годится, и все тут... Лицом она мне претит.

— О дура! — сказал хозяин.

Хозяйка, недовольная, вошла в комнату, и ей как будто неловко было смотреть в глаза Пелагее Прохоровне; но Пелагея Прохоровна поняла, что разговор

касался ее и что Большаковы, вероятно, хотели ее взять к себе в работницы, а потом раздумали.

Пришел дворник и, поздоровавшись с хозяевами, сказал Пелагее Прохоровне, что ее зовет хозяин и что Вера Александровна теперь уже дома.

Я не буду утомлять читателя тем, что происходило у маиора по приходе к нему кухарки. Скажу только, что через час Пелагея Прохоровна пришла к Большаковым с своим узлом.

— Отказал? — спросила ее хозяйка.

— Уговаривал остаться; грозил; сама приставала... бог с ними! — сказала Пелагея Прохоровна и утерла глаза, на которых появились слезы.

— Напрасно. Ведь не всегда же он такой?

— Нет, уж будет. Уж вы мне позвольте положить у вас вещи, а я пойду поищу места.

— Пусть лежат... И ночевать можно... А есть ли деньги-то?

— Пять рублей.

Хозяйка покачала головой.

— Он мне еще шесть рублей должен. Не знаю, как и получить.

— Ну, это дело трудное. Надо просить полицию, а полиция што? Известно, скорее поверит хозяину дома, чем кухарке, — сказал Большаков.

Но и он все-таки не советовал Пелагее Прохоровне вновь идти к маиору в услужение.

VIII

Хотя мастер Петров и предлагает Пелагее Прохоровне средство жить лучше, но это средство пока остается только одною мечтою

Пелагея Прохоровна проходила целый день без толку. Знакомых кухарок у нее оказалось хотя много, но они не могли обещать ей место; если же которая-нибудь из них и говорила, что она думает сама сойти и таким образом Пелагея Прохоровна может надеяться поступить на ее место, то тут же прибавляла, что здесь житье каторжное, кормят дрянно и много вычитают денег из жалованья, потому что и самим-то нечего есть. Идти на Никольский рынок Пелагея Прохоровна не знала дороги, а по-

тому она пошла по течению Невы, а как дошла до Литейного моста, ей захотелось сходить на Петербургскую сторону, частию для того, чтобы узнать, как поживает кухмистерша Овчинникова, а также и для того, чтобы ночевать там где-нибудь и потом рано утром отправиться на Никольский рынок тем путем, каким ее вела оттуда кухмистерша. Но жить на Петербургской Пелагее Прохоровне не хотелось: ей хотелось поступить на услужение к хорошим господам, живущим в большом каменном доме.

Она была теперь свободная женщина и имела капитала пять рублей, и если бы у нее было в виду свободное место, на которое бы нужно поступать послезавтра, то она наверное не пошла бы теперь по Литейному мосту, а удовольствовалась бы оглядыванием красивой набережной. Но и теперь, на просторе, ее занимало очень много предметов, всего же больше барки с дровами, лесом и каменьями, на которых рабочие ругались оттого, что им нелегко было справиться с быстрою рекою и хотелось благополучно проплыть под мостом прежде, чем от пристаней отплывет на дачи какой-нибудь пароход. Крики и суетня на барках, судах и яликах показались Пелагее Прохоровне знакомыми, только люди говорили другим наречием. Ей невольно подумалось, что вот и эти люди пришли в Питер на заработок, да им, пожалуй, достается еще тяжеле бабьего, потому что — «мы бабы все же в тепле живем, и ночью нам не холодно; а они вот всё на ветру и в одной рубахе да в штанах». Ее удивило, что на этих барках нет палубы, а только в кормах сделано что-то похожее на клетушку, но эта клетушка, должно быть, тесна, потому что рабочие спят на кирпичах или на дровах в своих полушубках, подложивши под голову полено или кулак.

Пелагее Прохоровне грустно сделалось; что-то такое удерживало ее здесь, и она смотрела в воду, на ялики, пароходы, барки и суда. Вдруг ей послышался как будто знакомый голос.

— Сам-то што делаешь! Сам возьми багор и лови — больно прыток! — говорил этот голос.

«Што это? голос-то знакомый... наш!» — подумала Пелагея Прохоровна и стала еще пристальнее смотреть и наставила к реке левое ухо, так как снизу дул резкий ветер.

— Никак Панфил? Господи... Да нет, где ему? — прошептала она. Ей не верилось, но сердце билось радостно, точно чуяло, что она не одна здесь.

Все рабочие на судах заняты своим делом, и ни одному нет времени посмотреть на мост. «Кабы он глянул, я узнала бы его», — подумала Пелагея Прохоровна.

Простояла она долго, но знакомый голос больше не повторялся; несколько барок и судов проплыло под мостом, и на них она брата не заметила.

«Это поблазнило», — подумала она и хотела идти. Но недалеко от нее к перилам подошло двое судорабочих и стали поджидать ялика, чтобы переплыть на барку с лесом. Они кричали на одну барку, стоявшую посредине реки, и махали шапками.

Пелагея Прохоровна подошла к ним.

— Родимые... нет ли у вас Панфила?

Но рабочие оказались чухны, не знающие ни слова по-русски. Они с удивлением поглядели на Пелагею Прохоровну, что-то пролепетали и стали махать руками к барке.

Уплыли эти рабочие с чухнами, стало темнеть, и Пелагея Прохоровна вернулась к Большаковым в большом беспокойстве. Неужели ее брат Панфил здесь, а если нет, то каким образом мог ей слышаться родной голос? Ей было досадно, что она не могла увидать его.

В этом беспокойстве и от нечего делать она вышла на улицу.

— Што вы это все на улице торчите? — услышала она голос Игнатья Прокофьича.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, обернулась; Игнатий Прокофьич стоял все в прежнем наряде и курил трубку. Он ей вежливо поклонился.

— А вам што за дело? — сказала Пелагея Прохоровна; но ей стало немного веселее.

— Конечно, мне какое дело... и спрашивать бы об этом не следовало, да вот вышел я, а вы тут...

— Што я, мешаю, што ли?

— Зачем?.. только... я-то скуки ради выхожу на улицу покалякать с кем-нибудь, потому, сами знаете, на квартире скучно. Товарищи или в карты играют, а не то спят, или в кабаки ушли. А я к такой жизни не привык.

— Вы, я слышала, столяр?

— Столяр. Только работы мало, потому что мы работаем вместе с подрядчиком.

— Отчего же вы сами, одни не работаете?

— Отчего? Об этом я уже много лет думаю, да ничего выдумать не могу. Капиталу нет.

— Будто уж много нужно капиталу?

— То-то, што нужно. Вот я теперь работаю в артели и мог бы скопить денег, только работа не каждый день. Хорошо, если позовут куда-нибудь...

— А на продажу?

— Вам, верно, кто-нибудь набил голову-то разными глупостями, потому вы так смело и рассуждаете. Легко так только утешать других, — на продажу! Ну, положим, я куплю лесу, материалу разного — на это мне нужно употребить сутки али двое, чтобы купить хорошо и дешево. Ну, теперь что я стану работать? Кабы у меня заказчики были — так, а вот заказчиков-то у меня и нет... Положим, я стану делать комод, я его проработаю двое али трое сутки, надо искать покупателей — и прошла неделя. В эту неделю я ниоткуда не получал денег, нужно платить за квартиру, пить, есть, табак курить, да еще, может быть, я лишился заработка на стороне!

Игнатий Прокофьич говорил серьезно и недовольным тоном. Пелагее Прохоровне показалось, что он говорит правду.

— И вы все так и будете работать? — спросила она.

— Хочу порешить... приглашают меня на завод, на Петербургскую сторону, по кузнечному мастерству. Оно мне, это кузнечное-то дело, лучше нравится, потому я и прежде находился в обучении, да потом захотел к столярному приобыкнуть. Там хорошо тем, што работа постоянная, и мне обещали по рублю двадцати в сутки.

— Што ж вы привязались-то к этому?

— Да не нравится мне у мастеров-немцев под командой быть. Иной мастер ничего не смыслит в деле, а над тобой куражится, как бог знает какая особа.

— Вы бы русского выбрали.

— Русский! Русский еще хуже. Дай русскому начальство, он и изважничается, начнет пьянствовать... Уж русский мужик как попал в начальники, совсем иной человек сделался; вместо того штобы поддержать своего брата, он же с него прогулы высчитывает; в кабак при нем, што

есть, нельзя прийти — угощай его, а если он угостит на пятак, так перекоров наслушаешься на гривенник; и дорогой где встретится, шапку ему скидывай, — везде начальником себя считает. А немца мы только на работе и знаем, и немца провести ловчее и вооружиться против него тоже легче. Немцы в нашу компанию не мешаются, и нам на них плевать!

— Где же, по-вашему, лучше работать?

— Везде хорошо. Вот я уж много терся на разных фабриках и заводах и знаю, где лучше и больше дают платы, — только все это скоро меняется не от нас. Сперва платят хорошо, потом вдруг обрежут и стеснять станут, и причины на это у них найдутся: то-де материал подорожал, корабли потонули, подрядчик обанкрутился, — мало ли чего наскажут. Нам-то до всего этого нет дела, потому мы рабочие, а они нам сбавляют цену, да еще говорят, что мы ленимся, пьянствуем... А нашему брату деться некуда. Вот я сказал давича, што нужны деньги, штобы самому работать, только как их скопить-то много? Работаешь цельный день, измучаешься как собака, — ну, как отказать себе в осьмушке водки? Выпьешь — и легче; и утром бодрее идешь на работу. Ну, а если бы я стал копить эти пятаки — што бы вышло? Полтора рубля, — да я бы непременно захворал. Ну, теперь в воскресенье куда деться? Дома скучно, по городу шататься не хочется, в театр идти — денег жалко, да и театру нет такого, чтобы мы понимали. Была воскресная школа за Московской заставой, я туда часто ходил, а теперь вот, говорят, эту школу закрыли, потому-де нам не годится... Так-то, Пелагея Прохоровна. Поэтому и идешь в кабак и сидишь там, калякаешь со своей братией о своих делах, — ну, и выпьешь! А оно, глядишь, денежки и выпалзывают, и скопить их трудно. Ну, а вы что подумываете делать?

— Пойду завтра на Никольский рынок продаваться. Мне бы хотелось прачкой сделаться.

— Ну, это трудновато. Правда, вы с Никольского-то можете поступить в прачки к какой-нибудь женщине, только я бы вам не советовал, потому что чем больше баб, тем больше у них ссор и зависти. Это не то, што у нас, мужчин. А вот вы подождите немного, нельзя ли устроить так, штобы вам поступить в кухарки к нашему брату.

Пелагея Прохоровна обрадовалась, но ей показалось неловко поступить в кухарки по протекции этого человека, который, вероятно, будет жить в одной с нею квартире. «Еще, пожалуй, ее будут считать любовницей его».

— Я не понимаю, как это? — спросила она.

— А так. Завтра я переберусь на квартиру на Петербургскую, поживу там с неделю и поговорю товарищам, не согласятся ли они жить у вас.

— Как же это у меня-то?

— А вы наймете квартиру, мы вам дадим денег, купите свои кухонные принадлежности. Я вам, пожалуй, и квартиру устрою.

— Нет уж, покорно благодарю, — сказала Пелагея Прохоровна, думая, что у Игнатья Прокофьича есть злой умысел.

— Если не я, то кто-нибудь да должен же помочь вам. Ведь у вас мужа-то нет?

— Нет.

— Ну, то-то. А если я вам предлагаю это, то вы не думайте, што я с умыслом. Я, как и всякий другой, предлагаю потому, что знаю, што вы еще недавно в Петербурге и не успели еще избаловаться. Это я говорю без хвастовства, а вы делайте по своему рассудку.

— А если я до того времени истрачу деньги и мне все-таки этого места не будет?

— Кто же вам говорит, штобы вы сидели сложа руки... Только вот што, Пелагея Прохоровна: если вы будете намерены кормить нас, да куда-нибудь поступите на место, в таком случае оставьте адрес у Ивана Зиновьича, штобы я мог известить вас. А если несогласны, тогда и не нужно оставлять. Прощайте, Пелагея Прохоровна.

— Я вам хотела сказать, што мне сегодня почудилось, — сказала Пелагея Прохоровна уже во дворе.

— Как это?

Пелагея Прохоровна рассказала, как она слышала голос брата Панфила.

— Што ж мудреного? Должно быть, он.

— Как же бы мне разыскать его?

— Ну, разыскивать-то теперь его не следует, потому что вы не знаете, на какой он барке плыл и в какое место эта барка пристанет. Ведь в Питере каналов много.

— Так, значит, я его и не увижу?

— Надо подождать недели две. В это время они разгрузят барки и, вероятно, будут жить на квартирах в городе, тогда и можно будет справиться в адресном столе. А то, может, как-нибудь и так встретитесь. Только вряд ли.

И они расстались.

По приходе к Большаковым Пелагея Прохоровна застала там сцену. Только что она вошла в комнату, Иван Зиновьич ударил кулаком по спине Агафью Петровну, которая голосила. Увидав Пелагею Прохоровну, Большаков смешался и ушел в лавку, а Агафья Петровна, стараясь казаться правою, подошла к мешкам и проговорила:

— Поскуда проклятая! Любовниц себе завел. Не знаю, што ли, для чего ты хозяйскую кухарку к себе сманил...

Но Большаков не вышел из лавочки, потому что к нему в это время пришли покупатели.

Пелагею Прохоровну точно кипятком обварило от слов Агафьи Петровны, но она удержалась, постояла минут с пять, думая, что ей сказать в свою защиту, но ничего не сказала, сообразив, что с такой женщиной, как Большакова, говорить трудно.

Она стала собираться. Агафья Петровна заметила это, но не обратила внимания.

Пелагея Прохоровна стала прощаться.

— Куда же ты? Ведь уж, поди, скоро десять часов! — проговорила с полуудивлением и с скрытою радостью хозяйка.

— Куда-нибудь... Покорно благодарю за ночлег... Сколько вам за это?

Хозяйка обиделась.

— Спрашивай вон его: он тебя пригласил, а не я.

Из лавки вошел в комнату Большаков. Его трясло от злости, и глаза сделались красными.

— Кто здесь хозяин? — крикнул он и сжал кулаки.

— Ну, бей! Убей меня! И так уж кожа да кости, — проговорила та резко и подошла к нему очень близко, откинувши голову назад, как будто она сделана из чугуна и для нее ничего не значат здоровые кулаки Ивана Зиновьича.

— У!!. — проговорил сквозь зубы Иван Зиновьич и, отошедши к мешкам, уперся на них спиною.

— Оставайся здесь, куда тебе? — сказал он Пелагее Прохоровне.

— Покорно вас благодарю... Я каюсь, што согласилась прийти сюда-то... я...

— О, дуры эти бабы!!. Обидела она тебя, што ли, чем?

— Это уж мое дело!

— Как же! ей с Петровым надо на улице торчать, — сказала Агафья Петровна.

— Молчи! — крикнул на жену Иван Зиновьич: — однако, куда же ты пойдешь-то?

Пелагея Прохоровна не знала, куда ей идти.

— А ты давно знакома с Петровым-то? — спросил опять Пелагею Прохоровну Иван Зиновьич.

Это допытыванье взбесило Пелагею Прохоровну. До сих пор Иван Зиновьич обращался с нею вежливо, а теперь вдруг сделался грубым и точно за что-то озлобленным на нее человеком.

— А вам какое дело, знакома я или нет?

— Конечно... Оно тоже вашему брату без любовника как можно... — сказал ядовито Иван Зиновьич, улыбаясь, и ушел в лавку. Пелагея Прохоровна вышла во двор со своим узлом, а потом пошла машинально по направлению к Смольному монастырю.

IX

Пелагея Прохоровна очень скоро попадает туда, где денег за житье не берут, и встречает там Евгению Тимофеевну

Прошедши Смольный монастырь, Пелагея Прохоровна затруднилась, в которую идти ей сторону. До сих пор она шла, сама не зная, куда идет; ей хотелось проходить до утра и утром отправиться на Литейный мост, чтобы еще посмотреть хорошенько на барки. Она думала, что если разыщет брата, то будет звать его жить с собою и тогда, пожалуй, может заняться приготовлением кушанья для рабочих, как говорил Петров; без брата же, одной, нанимать квартиру и жить с рабочими в одной

избе она считала делом неудобным. Уж если теперь про нее бог знает что говорили, то тогда и житья ей не будет. Петров предлагал ей жить вместе, и это Пелагее Прохоровне не понравилось. «Нет ли тут чего-нибудь худого? — подумала она: — может быть, он воображает, што я стану с ним жить как жена, так он, значит, дурной человек, и таким манером я жить несогласна, пусть другую для этого избирает». Теперь у ней отпала всякая охота выйти замуж. В Петербурге она видела много дурного и находила семейную жизнь неудобною для рабочего человека. «Вот бы так устроиться, штобы приобретать больше денег, штобы и комнату иметь и сытой быть! а што если мужчина обещает, так это только одна приманка, и он только мешать будет, а потом и мои деньги вытягивать станет. Нет, уж одной не в пример лучше». Так думала она дорогой — и очутилась опять у Смольного монастыря. Здесь она стала чувствовать голод и усталость, а до утра казалось еще далеко. Пошла она по какой-то улице. Фонари стоят далеко друг от друга, темно, дома деревянные, там и сям лают собаки, хоть куда — провинция! «Што за дьявол! живу в Петербурге, а все на деревянные дома натыкаюсь. Хоть бы постоялый дом попался». Но постоялых домов в темноте она не заметила. Присела она на тротуар, грустно ей сделалось, тяжело, заплакала она; потом ей стыдно сделалось за слезы и малодушие. «Што мне горевать-то? я одна; детей у меня нет. Встала да пошла, а место найдется. Што ж делать, если господа дрянные? может, и лучше будет». Она пошла опять и вошла в большую улицу, по обеим сторонам которой стояли большие каменные дома; фонари стояли недалеко один от другого; здесь даже и извозчики были, но они дремали в пролетках. Пелагея Прохоровна остановилась, посмотрела назад, соображая, идти ли ей вперед, или повернуть направо, или налево. Она подошла к одному извозчику, который, заслышав чьи-то шаги, очнулся и поглядел на стороны.

— Дядя, а близко Петербургская сторона? — спросила она извозчика.

— На што? — спросил тот сонным голосом.

— Надо.

— А што у те в узлу-то?

— Вещи.

— Чать украла!.. Дай три целковых — отвезу... Без сумления! В целости доставлю.

— Нет, ты скажи, я дойду сама.

— Ишь ты! Дойдешь, говоришь?

— Дурак!

Она плюнула и пошла налево. Извозчик поехал за ней.

— Эй, барыня! Пра, представлю. Три целковых. Подь, не десять цалковых в узле-то будет! — приставал извозчик.

— Отвяжись!

— Подлинно, ты мазура отменная: ишь как шагает!.. Небось трусу празднует, — говорил извозчик. — Слышь, тетка?

— Ну?

— Садись! даром отвезу.

— Пошел, дурак... Ты скажи лучше, где постоялый двор?

Извозчик захохотал.

Навстречу Пелагее Прохоровне шел медленно городовой.

— Стой! — сказал он, загораживая дорогу Пелагее Прохоровне: — што несешь?

— Воровка. За рынком на Невском увидал... На Петербургскую сторону хотела удрать, да я ее до тебя тянул, — сказал извозчик.

— Ах ты, подлая рожа!.. Ты же меня звал туда, просил три цалковых даром, — сказала Пелагея Прохоровна извозчику.

— Ну-ну, иди! — И городовой толкнул Пелагею Прохоровну так, что она очутилась на мостовой. Городовой стал брать ее узел.

— Кто еще позволил тебе брать? — крикнула Пелагея Прохоровна и толкнула городового.

— А, дак ты так! — Городовой ударил ее по лицу.

Городовой и извозчик усердно поколотили *пойманную* женщину и отняли у нее узел.

Пелагея Прохоровна опомнилась уже в пролетке, которую трясло ужасно от скверной мостовой.

Она в первый раз ехала в Петербурге в пролетке, но сама не знала, куда ее везут. Ее спутники — городовой, не тот, который ее остановил, а уже другой, сидящий

с ней рядом, и извозчик, спина которого была на четверть от носа Пелагеи Прохоровны, — молчали. Дорога была, впрочем, не дальняя. Извозчик остановился перед частью, отличающеюся от других домов особенным устройством, мрачными, производящими неприятное впечатление стенами, затхлым воздухом из двора... Городовой приказал ей слезть.

— Деньги! — крикнул городовой Пелагее Прохоровне.

— Какие?

— Што тебя, подлую, даром, што ли, возить-то? — И он ударил ее по спине своим здоровым кулаком.

— Хорошенько ее! Воровка! — поддакнул дежурный у ворот.

— У меня нет денег, хошь убейте, — ответила со слезами Пелагея Прохоровна, сторонясь от поднятой руки городового. Извозчик стал ругаться, а городовой провел Пелагею Прохоровну черным узким двором в узкое пространство, едва-едва освещенное лампочкой с керосином, и потом ввел в полуосвещенную с закоптелыми стенами комнату. В ней за одним столом сидел дежурный и дремал, на другом большом столе спал городовой на спине во всем облачении.

— Воровку привел, — отрапортовал городовой дежурному.

— А! — сказал дежурный. — Где?

Городовой сказал.

— И прекрасно. Иди-ка сюда!

Пелагея Прохоровна подошла.

Спавший на столе городовой тоже подошел и ждал приказа дежурного.

— Где же ты, матушка, подтибрила узел?

— Это мои вещи.

— Твои?!. — произнес, скрипя зубами, дежурный.

Всячески старались от Пелагеи Прохоровны выведать сознание: где она украла вещи? Ее слова, что узел принадлежит ей, что она отошла от места, только раздражали дежурного и городовых, вероятно, потому, что им много приводилось иметь дел с разными мошенниками, которые говорили им то же. К тому же дело было ночное, когда прислуга редко отходит от господ.

Натешившись вдоволь, так что бедная беззащитная женщина еле могла передвигать ногами, дежурный приказал городовому развязать узел.

В узлу оказались: сарафан, ситцевое поношенное платье, простой терновый голубого цвета платок, две рубашки, четыре пары чулок, зеркальце, клубок ниток, коробочка с иголками и булавками, катушка с нитками, начатой чулок с вязальными спицами, янтарные бусы, разные ситцевые и суконные лоскутки, наперсток, фольговый образок — одним словом, все имущество Пелагеи Прохоровны.

— Ну, где же ты взяла это? — спросил опять дежурный Пелагею Прохоровну.

— Ей-богу же, я вчера отошла от места... Сегодня искала другого, не нашла... С квартиры прогнали.

— Так... знаем мы эти отоговорки! А зачем ты от городового убежала? Зачем била городового?

— Не бегала я, врет он. Меня извозчик звал. Врет он, штобы я...

— Кто ты такая?

Пелагея Прохоровна сказала.

— Деньги есть?

— Есть пять цалковых.

— Где?

— В чулке.

Пелагея Прохоровна подошла к своим вещам, для того чтобы взять чулки, но ее оттолкнули. Один из городовых сдернул с ее головы платок, другой сдернул шугайчик; сняли также с ее руки кольцо, подаренное ей покойным мужем. Пелагея Прохоровна заплакала и просила отдать ей хоть обручальное кольцо.

— Когда будем выпускать, наденем. Все будет цело. Отвести ее в секретную! — сказал дежурный городовому и дал ему какую-то записку.

— Пошла! — произнес городовой и толкнул ее вперед себя.

Городовой повел ее через двор. Они поднялись во второй этаж. Там дверь не была заперта на замок. Комната большая, но тоже грязная и плохо освещенная. В ней сидели тоже городовые. Отсюда Пелагею Прохоровну провели узким, темным, с прокислым воздухом коридором, по обеим сторонам которого, сквозь решетки, слышались

женские голоса. Женщины голосили, кричали и ругались. Городовой провел Пелагею Прохоровну в темное пространство, толкнул ее туда и запер дверь с деревянною решеткою, но он ее не на замок запер, а ощупью завязал веревкою. Повидимому, здесь никого не было, однако Пелагея Прохоровна на что-то наступила.

— Какая тут еще поскуда наступает? — проговорила какая-то женщина и пошевелилась.

Заговорили еще несколько женщин.

— Поди, опять воровку привели?

— Штой-то ноне их как много! Господь с ними!

— Небось, ты только одна и есть, поскуда!

— Што ругаешься-то? никак уж десятый раз здесь, и все в Сибирь угодить не можешь!

— Вот ты, верно, туда хочешь!

Я не стану передавать всего, что говорилось женщинами в темноте. Пелагея Прохоровна, не знавшая тюремной жизни, видавшая ее вскользь во время посещения в остроге своего брата, ужаснулась, что она попала в такое общество. Лиц она не видела, не могла определить того, сколько тут помещается женщин, но слова, произносимые женщинами, точно острою иглою прокалывали ее сердце. Она слышала какую-то злобу на все и на всех; женщины ругались не хуже мужчин, отчего Пелагею Прохоровну пробирала дрожь, и ей становилось стыдно за себя и за эти голоса. В продолжение нескольких минут она не слыхала ласкового слова, только где-то кто-то охал и стонал какой-то старческий женский голос. Не сон ли это? .. Нет. Она слышит голоса, чувствует, что у нее голова отяжелела, ее трясет от испуга и от чего-то такого, чего она не в состоянии определить; у нее болят груди, шея; на лбу, недалеко от левого виска, она чувствует свежую ссадину, точно она только что ударилась лбом об стену; к тому же и ноги болят...

— Господи, что это со мной? Неужели это въявь? Сколько времени я жила, сколько городов прошла, — и вдруг в самом Питере, — проговорила она шепотом. Сердце у ней болезненно заныло, она присела на пол, подперла голову руками, но слезы не шли из глаз, в голове точно камень, и всю мозговую ее деятельность словно придавило что.

В таком бесчувственном состоянии она пробыла неизвестно сколько времени, до тех пор, пока кто-то не запнулся об нее.

— О, штоб тебе сдохнуть! — произнесла какая-то женщина и стала пинать ногами.

— За што ж ты меня бьешь-то? виновата я, што ли, што места нету? — проговорила болезненно Пелагея Прохоровна.

Женщина изругалась и стала отпирать дверь.

— Кто хочет на двор, выходите враз! — проговорила другая женщина.

Несколько женщин не торопясь вышли в коридор, и не от одной из них достались пинки Пелагее Прохоровне. Но деваться ей было некуда, во-первых, потому, что, по темноте, она не могла отыскать свободного места, а во-вторых, если она подходила куда-нибудь, ее оттуда гнали, так как каждая женщина дорожила своим местом. Но нашелся один голос, который заступился за Пелагею Прохоровну.

— Как вам не стыдно, право!.. Ну, виноваты ли мы, что нас насажали в тесное место. Уместимся как-нибудь.

— Ишь заступница какая!

— Пусть под нары лезет! — заговорили женщины.

— Небось сами-то не лезете под нары? — проговорила защитница.

— Толкайте ее: пусть она, барышня эдакая, под нары лезет.

— Она ребенка убила!

— И слезу! Пойдем под нары, женщины!

Говорившая ущупала Пелагею Прохоровну; казалось, ей уж эта камора была знакома. Они залезли под нары и легли, подсунувши под головы кулаки.

— Я уже здесь третьи сутки, привыкла! — проговорила болезненно женщина.

В это время в камору втолкнули девочку, которая ревела.

Сперва женщины ругали девочку за ее плач, потом принялись ее расспрашивать, за что ее посадили. Она отвечала сначала, что не знает, потому что хозяйка ее, прачка, стала укорять ее в том, что она только ест хлеб, а ничего не делает, а потом она что-то сделала с хозяйкой, и хозяйка ее прогнала. Два дня она ходила по миру,

пряталась на чердаках, где белье сушат, и вот ее сегодня ночью одна баба нашла на чердаке. Потом ее били, призвали городового, насказали, что эта девка, должно быть, уже не в первый раз пришла за кражей на чердак, потому что там многих вещей недосчитывались.

— И вот лопни мои глаза, штобы я хоть когда-нибудь што украла! — сказала девочка в заключение.

Несколько голосов было за девочку, меньшинство не верило.

Пелагее Прохоровне из этих разговоров стало немного ясно, что не все женщины виноваты в взводимых на них преступлениях. «Ведь вот и я шла со своими вещами, а сказали, што украла... Будто уж здесь и с узлами по ночам никому ходить нельзя?» — думала она.

Соседка ее молчала.

— Неужели здесь всё нехорошие женщины? — спросила вдруг Пелагея Прохоровна соседку.

Та промолчала. Она или не расслышала, или слушала, как одна женщина учила другую показывать:

— Эка важность! ты скажи: потому, мол, я взяла ложки, а потом заложила, что она, хозяйка, мне за месяц деньги не заплатила. Неужели мы так и должны даром работать?

Это заключение разделяли все женщины.

— И где это справедливость? и это Питер!

— Поди ж ты! А вот здесь-то што творится.

Эти слова относились, может быть, к тому, что откуда-то слышались свирепые мужские голоса и плач женщины.

— Господи помилуй! — проговорило несколько женщин враз.

На несколько минут в каморе настала тишина.

— Спишь? — спросила соседку Пелагея Прохоровна, у которой начинали болеть бока от жесткого пола и которой было не до сна.

— Я уже отвыкла спать, — произнесла соседка охриплым голосом.

Пелагее Прохоровне жалко стало соседки, и она не решилась спросить ее, за что она сидит. Но говорить хотелось, хотелось высказать, что ее взяли безвинно.

— Што же потом будет? неужели то же, как и теперь? — опять проговорила Пелагея Прохоровна.

— Бог знает! .. Я совсем измучилась за это время... В моей голове, не знаю, что делается... Я думаю, что если пробуду здесь еще двои сутки, то с ума сойду. Уж я просилась в больницу — не обращают внимания. Говорят, что отсюда берут в больницу только таких, которые ни руками, ни ногами не могут пошевелить.

Пелагее Прохоровне голос соседки показался знакомым, и самое произношение ее не походило на мужицкое.

— Ух, право бы, лучше помереть. И так жизнь была нехороша... Сама от себя я отвергла ту жизнь, какою живут в провинции!

Пелагея Прохоровна задумалась над ее словами. Она говорит, что ей хорошо бы жилось, если бы она только захотела. Зачем же это она до такой степени дошла?

А каким манером она-то, Пелагея Прохоровна, сюда попала? Ведь и ей сколько попадало случаев жить хорошо, да она не согласилась же, а вот захотела в столицу. И за коим чертом ее толкало в Петербург? Для того, что ли, чтобы ее обвинили в воровстве и сослали в Сибирь! .. Эко, право, хорошее счастье! Мимо тех или через те же места родины придется идти, только безвинно опозоренной... Правда, ее тянуло сюда другое дело, любовь к Короваеву, только ведь он ушел на железную дорогу.

— Вы чем занимаетесь? — вдруг спросила ее соседка.

— Кухаркой была, — ответила Пелагея Прохоровна.

— Давно здесь?

— О Петре-Павле пришла.

— Ну, я немного раньше.

— Што это, ровно ваш-то голос мне знаком?

— И мне тоже кажется, как будто я вас видела где-то. Вы не хохловские?

— Нет, я издалека, из Терентьевского завода. Я во многих городах живала.

— Ну, а я не живала во многих городах, только теперь, пожалуй, придется пройти много городов, если обвинят. — И соседка заплакала.

Пелагея Прохоровна старалась ее утешить:

— Бог не без милости. Он видит, кто прав, кто виноват.

— То-то, что на бога-то мало обращают внимания.

— Ну, што ж, и там люди живут, да еще лучше, пожалуй.

— Я тоже понимаю так, что там уже предел всякому новому желанию. Умрем, так и всему конец, — я, пожалуй, согласна на это.

— Ну, вот! — сказала недовольно Пелагея Прохоровна.

— Ведь меня обвиняют в том, что я задушила своего ребенка, хоть я вовсе не имела этого намерения, а просто заспала его оттого, что две ночи перед тем не спала. Я ребенка своего любила. Хорошо, если мне поверят и не сошлют!

— Послушайте-ко: вы не продавались на Никольском рынке? — спросила вдруг соседку Пелагея Прохоровна.

— Стояла перед праздником... кажется, перед троицей.

— Вы... я забыла имя-то...

— Евгения Тимофеевна.

— А я Палагея Прохоровна.

— То-то, я слушаю: кажется, мне голос-то ваш знаком.

— И мне тоже... Ну? Вы еще тогда говорили, што в Питере к генералу какому-то ходили. Ведь вы в швеи нанялись!

— Да, я у этой женщины, которая меня наняла с Никольского, три месяца с половиной выжила; и никому не советую жить у нее. Уж лучше наняться в кухарки, чем к ней. Это ничего, что она отставная чиновница и что у нее есть любовник, но то обидно, что она хочет чужими руками деньги заработывать. Ничего бы и то, если бы деньги шли впрок, а то скверно, что деньги идут на водку и пиво любовнику, и доходит она до того, что к концу месяца за квартиру нечем заплатить, есть нечего, и тогда она заставляет работниц голодать.

— Чем же она занимается?

— Она швея, и швея хорошая. Швеей она была еще девушкой, и чиновник на ней женился, как она говорит, не из-за красоты, а из-за того, что она добывает деньги, даже больше его: он, кажется, получал одиннадцать рублей в месяц, а она вышивала не меньше чем на пятнадцать рублей. Ну, до замужества она нанимала комнату, и деньги у нее были кое-какие, а когда вышла замуж, тогда они наняли квартиру, чтобы пускать жильцов. Тут она и просадила все денежки, потому что нужно было купить мебели и кухарку нанять. Годов пять, что ли, она

билась с мужем; он был смирный, не пьяница, только хворал часто — и, наконец, помер от чахотки. Пока был жив муж, она не очень усердно брала работу, и стало быть, те, от которых она получала ее в девушках, уж смотрели на нее иначе и давали работу другим. После смерти мужа она увидела, что приходится трудиться так же, как и до замужества. Стала она работать крепко, вставала рано, ложилась поздно, а видит, что одной и каша во рту не спора — заработок все так же плохой. Вот и задумала она нанять женщин. Нас у нее было три, и все мы оказались плохими швеями, — так по крайней мере она говорила; целый месяц она на нас ворчала, однако не отказывала, а как окончился месяц, сказала, что у нее нет денег, и стала умолять, чтобы мы остались. Ну, две-то швеи ушли, а я осталась, потому что у меня денег в то время было столько же, сколько и тогда, на Никольском рынке, а и башмаки обносились. Остались мы вдвоем, работы она набирает много, а нам двум не управиться. Опять начали ей отказывать. Опять она наняла швею — переманила откуда-то. Эта швея попалась из бойких; пошли у них ссоры, стала швея уходить по праздникам куда-то в гости, хозяйка все на меня и свалила. Так мы и бились.

Евгения Тимофеевна замолчала.

Стало светать. Началась перекличка. Женщины этой каморы вышли в коридор, но их оттуда гнал прочь назад городовой. Теперь оказалось, что и в этой каморе было окно, только оно было маленькое и находилось немного пониже потолка и выходило к какой-то лестнице. Рядом с этой каморой была большая камора, человек на двадцать пять, но в ней было не больше двадцати женщин. В этой каморе было квадратное окно со стеклами и решетками; но куда выходило оно из каморы, определить трудно, так как оно от нар было аршина на два с половиною вышины. Напротив этой каморы была секретная камора, с железною решетчатою дверью, запертою на замок. В ней была одна женщина, которая теперь стояла у двери и смотрела как-то дико, точно потеряла рассудок.

— За што тебя, голубушка, посадили? — спрашивали эту женщину другие арестантки.

Женщина молчала.

— Не бойся, не выдадим.

Женщина горько улыбнулась.

— Пошли, пошли!! Ты што стоишь? В карцер хошь? — говорил городовой, обращаясь то к арестантам, то к одиночной женщине.

— Што это за карцер, Евгенья Тимофевна?

— А это около отхожего места есть такой чулан без окна. В него помещается только один человек. Я, не знаю, что-то сказала в первый день дежурному, он меня и запер. В нем едва сидеть можно. Я в нем просидела часа с три, и мне это время показалось целою вечностью: темно, сыро, скребутся мыши, вонь... Хуже чем в подземелье.

Сделалось еще светлее; в той каморе, в которой находилась Пелагея Прохоровна, было, кроме нее и девочки, восемь женщин. Пять из них обвинялись в нищенстве, остальные — в воровстве. Обвиняемые в воровстве говорили, что они крали потому, что по отходе от места им бы не на что было прожить трое суток. Но таких воровок, у которых была бы страсть к воровству, не было; то же и в другой каморе, в которой были две женщины, подкинувшие своих младенцев, одна, хотевшая задавиться, две — горничная и кухарка, — обвиняемые в намерении отравить графскую собачку, и одна пьяная женщина, поднятая в бесчувственном состоянии на мостовой. В секретной сидела женщина, обвиняемая в сообщничестве по какой-то крупной краже и убийству.

Старостихи, тоже арестантки, сидящие подолгу, по случаю неимения паспортов, пошли получать хлеб и щи. Пелагее Прохоровне не хотелось теперь есть. Над ней смеялись женщины.

— Что, видно, не хочешь солдатского-то хлеба? Вон барышня-то небось привыкла.

У Евгении Тимофеевны лицо было бледнее прежнего. Казалось, что она в последнее время или была больна, или вынесла много душевных страданий. На ногах ее были с прорванными носками башмаки. На ней самой была ситцевая блуза. У других женщин были или сарафаны, или ситцевые платья, у трех головы повязаны платками, а одна, молодая и высокая, обвиняющаяся в краже, была даже в кринолине.

— Тебя, баба, за што взяли-то? — спросила старостиха-старушка Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна начала рассказывать.

— Ну, просидишь с месяц!

Пелагея Прохоровна чуть не замерла.

— Што испугалась?.. Ничего, привыкнешь. Вон барышня-то тоже привыкла... Садись, барышня, поди, болят бока-то? — говорила худощавая старушонка в каком-то рваном пальто на вате, принадлежавшем когда-то какому-то канцеляристу, так как на нем еще сохранилась одна медная заржавлая пуговица, о которой старушонка повествовала, что она эту пуговицу бережет как драгоценность, потому что как только она оторвется — глядь, ее, старушонку, и заберут в часть.

Всем женщинам было очень скучно. Пожалуй, они и говорили, но все было старо, давно всем надоело.

Сделалось скучно и Пелагее Прохоровне. Хотя она и сидела на нарах, но, по случаю недолгого здесь пребывания, кроме Евгении Тимофеевны, ни одна из женщин не смотрела на нее ласково. Напротив, насчет ее молодости и лица они отпускали остроты и старались чем-нибудь уязвить ее, для того чтобы развлечься хоть на несколько минут. Но Пелагея Прохоровна отмалчивалась, а это молчание, в кругу говорящих и издевающихся над ней женщин, та же пытка... Пробовала было она оборвать женщин — не помогло: ее молчание им не нравится, а о чем она станет говорить с ними?

Женщины заговорили, оживились; но это оживление было невеселое. Все говорили дрожащим голосом:

— Што-то господь пошлет?

— Выпустят или нет?

— Дожидай! Чать, в тюрьму сведут...

— Ну, там, говорят, лучше здешнего.

Пристали к Пелагее Прохоровне.

— Ты где жила?

Та сказала.

— Ну, теперь будет следствие, спрашивать будут, у кого украла...

— Да я не украла...

— Ну, полно-ко... Ты прописана ли? И паспорт в квартале?

— Паспорт у меня в платье.

— Покажи!

— Да там, в узлу.

— Ах ты, дура! Да ты погибла теперь.

— Как?

— А так. Теперь у тебя паспорт вытащат и изорвут или паспорт бабе какой-нибудь чужой всунут в платье... Где узел-то лежит? в каком углу?

— Походишь же ты по частям. Придется посидеть с годок... — и т. д.

Пелагею Прохоровну очень напугали арестантки, и она решительно не знала, что делать. Она готова была разломать стену, чтобы выскочить из этого ада.

Не меньше ее мучилась и Евгения Тимофеевна, но Пелагее Прохоровне казалось, что той как будто легче. Она подумала, что эта барышня, должно быть, не из добрых, потому что она и с родными перессорилась из-за чего-то непонятного и говорила ей ночью как-то непонятно. Кто ее знает, закралось у Пелагеи Прохоровны сомнение, из каких она? Может, она здесь уже и не в первый раз.

— Неужели можно привыкнуть? — спросила она Евгению Тимофеевну, которая сидела с нею рядом.

— К этой жизни... Да, немножко я попривыкла. И к худу надо привыкать. Мне вот немного легче, потому что я жду уже другой день сегодня, как меня поведут в тюрьму; по крайней мере, я на воздух выйду.

— Откуда же ты знаешь, что тебя в тюрьму поведут? — спросила Пелагея Прохоровна Евгению Тимофеевну.

— В первый день меня водили к следователю; допросы отбирали. Там следователь сказал на мою жалобу что здесь нехорошо, что недолго придется просидеть в части и что, как кончится следствие, меня переведут в тюрьму.

— Неужели ты своего ребенка задушила?

— Ох, виновата ли я! — Евгения Тимофеевна заплакала.

В это время к двери подошел дежурный.

— О чем это плачет? — спросил он камору сердито.

— А кто ее знает? слезы-то некупленные!

— Только смейте вы у меня ее хоть пальцем тронуть! Я вас всех в карцер запру! — проговорил грозно дежурный и ушел.

Женщины напали с ругательством на Евгению Тимофеевну и согнали ее и Пелагею Прохоровну с нар.

— Сиди с ней на полу.

— Какое вы имеете право толкаться! Я дежурному скажу, — крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины напали на нее.

— И ты, видно, из таковских! И ты, видно, своих ребят в реки побросала, что с ней знаешься!!

— Должно быть, она помогала ей.

— Как вам не грех! Ну, чем я виновата перед вами? — проговорила Евгения Тимофеевна, рыдая.

— А! тут дак виновата... А отчего ты, если тебе не мил ребенок, в воспитательный не отдала его?

— Если бы мне не жалко было... — проговорила Евгения Тимофеевна.

— А кто ж у те любовник-то?

Евгения Тимофеевна еще пуще зарыдала.

— Не троньте ее, бабы. Не всякой, я думаю, из нас приятно об этом рассказывать.

Женщины мало-помалу отстали от Пелагеи Прохоровны и Евгении Тимофеевны.

Они хотя и сидели рядом, но не говорили друг с другом долго: Евгения Тимофеевна не плакала, но, уперши голову на левую ладонь, с отчаянием и какою-то злобою смотрела на пол; Пелагея Прохоровна смотрела на нее с сожалением и думала: какая она молодая!

— А жалко мне тебя, Евгенья Тимофевна! очень жалко! — проговорила, наконец, Пелагея Прохоровна: — добро я мужичка, а ты дворянка. — Евгения Тимофеевна несколько минут молчала.

— Гораздо лучше бы было, если бы я была не дворянского роду, — сказала она.

— Ну, полно: дворяна — господа, а наш брат што? Плевок. Дворянин накуралесит — ему ничего, потому за него богатые да знатные стоят; а мужик чуть чего сделал, — виноват. Вот хоть — я — за што я попала в часть?

Соседка молчала несколько минут.

— И все-таки мне удивительно, Евгенья Тимофевна, как это ты дворянского роду, а за тебя дворяне не заступятся? Ведь вот хоть бы эти полицейские, ведь они не из дворян, поди, а как обижают-то.

— Палагея Мокроносова! — крикнул мужской голос; другой мужской голос повторил это.

— Никак меня? — спросила арестанток Пелагея Прохоровна, встала и пошла.

X

Наконец Пелагея Прохоровна стала свободным человеком и едва не умирает в этой свободе

На третий день Евгению Тимофеевну куда-то потребовали. Она со слезами распростилась с женщинами и особенно с Пелагеей Прохоровною.

— Не видаться уж, знать, нам больше! — говорила Евгения Тимофеевна.

Но долго рассуждать ей не дали и велели взять все, что у ней есть при себе.

Пелагея Прохоровна прослезилась, да и прочие женщины смотрели на нее с жалостию. Им уже не в первый раз приходилось видать женщин, уходящих из каморы со слезами, что означало не выпуск на волю, а заключение в тюрьму; при виде же Евгении Тимофеевны жалость проявилась даже у более жестких натур. Ее ждали до вечера. Вечером ждать перестали.

Теперь Пелагея Прохоровна чувствовала себя одинокою, потому что остальные женщины как-то сторонились ее и большею частию молчали или развлекались вновь появляющимися в каморе женщинами. От скуки они шли в другую камору, несмотря на то, что их оттуда гнали городовые; и к ним заходили арестантки из другой каморы. Скука была страшная.

На третий день, как ушла Евгения Тимофеевна, Пелагею Прохоровну отправили в Петербургскую часть, откуда ее повели к кухмистерше Овчинниковой. Оказалось, что г-жа Овчинникова уже померла, а дочь ее живет у тетки на Песках. Дворник того дома на Петербургской, где жил маиор, сказал, что Пелагея Прохоровна была у маиора в кухарках и потом переехала с ним тогда-то.

Когда Пелагею Прохоровну привели обратно в часть, то она заметила, что полицейские, рассматривая какие-то бумаги, хохочут.

— Ты говоришь, у маиора Филимонова жила? — спросил Пелагею Прохоровну весело надзиратель.

— У него.

— А сколько времени?

— Месяца полтора.

Полицейские опять захохотали.

— А славный мы с него сдерем штраф — и за билет и за адресный.

Пелагея Прохоровна, сообразившая, что полицейские смеются над маиором, сказала:

— Отпустите меня, ради христа.

— Отпустим, матушка; только удостоверимся, действительно ли ты жила у него. Позвать его дворника! — сказал надзиратель окружающим его служащим.

Пелагею Прохоровну оставили в прихожей до дворника.

Через час явился дворник Филимонов. Увидев Пелагею Прохоровну, он опешил. Видно было, что городовой, ходивший за ним, хотел сделать ему сюрприз. Надзиратель был занят, и поэтому дворник подошел к Пелагее Прохоровне.

— Што это, што это с тобою?.. Как ты это попала-то?

— Вот по милости вашей. Зачем не прописали, што я у маиора живу.

Дворник струсил, стал смотреть в свою книжку и помолчал несколько минут, как бы соображая, что ему теперь сказать в свое оправдание.

— Да неужли за это?.. Ты бы могла сказать, что приехала из Царского али из Гатчины; там, мол, я в кухарках жила.

— А почем я знаю это Царское?

— Дура! Ты знаешь, чем это дело-то пахнет?

— Хороши и вы! по вашей милости сколько я побоев-то приняла... Седьмые сутки сижу; еще, пожалуй, засадят.

Наконец позвали дворника в присутствие вместе с Пелагеей Прохоровной.

— Ты знаешь эту женщину? — спросил частный пристав.

Дворник замялся. Он было подумал сказать: не знаю, — но боялся того, не сделала ли бывшая кухарка его домохозяина чего дурного.

— Ну, что же?

— Знаю.

От дворника нужно было каждое слово выжимать, потому что, имея всякого рода дела с полицией в продолжение нескольких лет, он всегда был осторожен, боясь попасть впросак. Он показал, когда переехал в дом

маиор Филимонов с женой и кухаркой Пелагеей Прохоровной Мокроносовой; что он, дворник, с самого же начала получил от маиора его бумагу, а о паспорте кухарки тревожить его не посмел, думая, что тот должен знать все порядки; потом прошло недели две, и дворник пошел к маиору попросить паспорт Пелагеи Прохоровны, маиор был не в духе и прогнал его. После этого дворник еще несколько раз просил у домовладельца паспорт, но тот молчал или гнал прочь, говоря, что паспорт у него и больше он ничего знать не хочет.

— А отчего же ты не донес полиции, что у твоего домовладельца живет женщина без прописки, — спросил частный.

— Не мое дело.

— Так вот теперь ты узнаешь, чье это дело. Запереть его!

Дворнику и Пелагее Прохоровне приказали идти в прихожую; дворник, понурив голову и почесывая затылок, медленно пошел, а Пелагея Прохоровна обратилась к частному:

— Ваше благородье, меня взяли с узлом и говорят, што я воровка. Вот спросите дворника, он мои вещи знает. Он знает, в какое время я ушла от лавошника Большакова.

— Какого Большакова? — спросил частный.

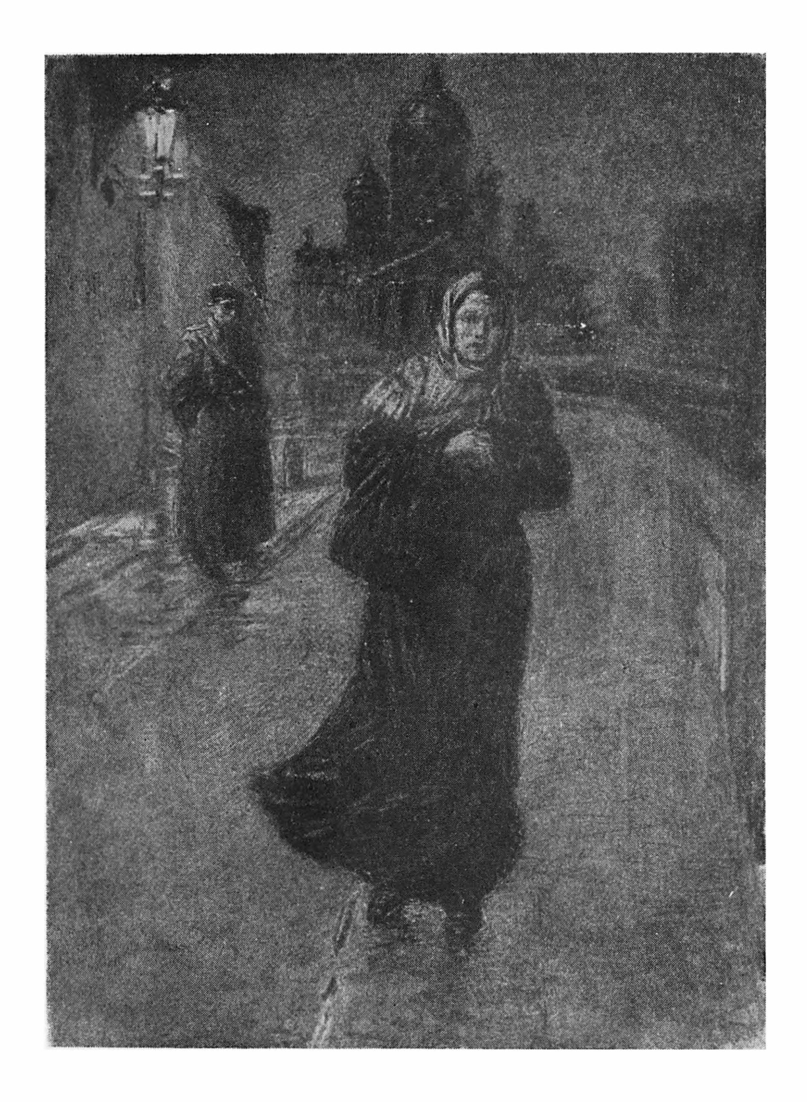
— А он в доме же Филимонова торгует хлебом и разною разностью. Иван Зиновьич прозывается.

— А! . .

— Пожалуй, можно спросить, — сказал надзиратель.

Позвали опять дворника и опросили, в котором часу такого-то числа вышла из дома Филимонова Пелагея Мокроносова. Тот сказал, что маиор прогнал кухарку за день до этого, а такого-то числа она, неизвестно почему, ушла от Большаковых.

Принесли узел, Афанасий некоторые вещи признал принадлежащими Пелагее Прохоровне. Узел отдали Пелагее Прохоровне и велели ей подождать в прихожей билета на жительство. В прихожей Пелагея Прохоровна хотела разобрать узел, но при людях делать это казалось ей неловко, потому что тут было все ее имущество. Дворник сердился на Пелагею Прохоровну за то, что, по ее милости, он теперь должен будет сидеть в арестантской,



и называл ее нехорошими словами, попрекая Игнатьем Прокофьичем.

Наконец выдали Пелагее Прохоровне билет и сказали, что она может идти, но о месте жительства должна сообщить непременно в квартал через дворника, а за паспортом понаведаться через неделю.

Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, и когда вышла из части, то почувствовала всю прелесть свободы. Она смотрела весело, готова была обнять каждого человека, готова была плакать от радости. На слова караульного: «Что стоишь?» — она вздрогнула и пошла машинально направо, не зная сама куда. Но не прошло и пяти минут, как она почувствовала усталость, слабость во всем теле, голод; узел ей мешал. Тогда явился сам собою вопрос: куда идти?

Был уже час седьмой. Начинали зажигать фонари. Но движение в Петербурге как будто только что начиналось. Пелагея Прохоровна не знала, в какую ей идти сторону и где найти приют до утра. Она спросила несколько человек, шедших навстречу: где бы ей ночевать? — но эти люди, оглянув ее подозрительно, отвечали: не знаем. Спросила она городового, тот придрался к ее узлу и не повел ее в часть потому только, что она показала ему билет.

Совсем растерялась Пелагея Прохоровна, присела она на панель, стала развязывать узел, но дворник стал гнать.

— Пусти, ради христа, ночевать, — сказала дворнику Пелагея Прохоровна.

— Я те пущу! Пошла!!

— Дай ты мне хоть деньги-то достать.

Но дворник подошел с метлой, которой и замахнулся на Пелагею Прохоровну.

Опять пошла Пелагея Прохоровна и думала о дворниках, полиции, арестантах; голова ее кружилась, да и сама-то она шла бессознательно, так что через час после ее выпуска из части она опять очутилась недалеко от той же части...

«Пойду я в часть, все едино, опять возьмут с узлом», — подумала Пелагея Прохоровна и вошла в контору.

— Ты зачем? — спросил ее городовой.

— Пустите ночевать.

— Ах ты, подлая! Пошла вон! — И Пелагею Прохоровну стали гнать.

— Батюшки, голубчики! укажите, где ночевать?

— Мы тебе укажем!

— Украдь, и ночлег будет, — сострил другой городовой.

— Неужели же у вас сердце каменное? ..

— Гони ее! — сказал помощник надзирателя.

Пелагею Прохоровну выгнали из части.

Вышла она на двор и задумалась. Начала перебирать вещи; опять прогнали. Ей хотелось найти чулок, в котором лежали деньги, но и в этот раз не дали ей добраться до кармана, сделанного в платье.

И вот идет опять Пелагея Прохоровна, усталая, больная и голодная. Народу идет и едет много, нарядного и ненарядного; едут кареты, торгаши выкрикивают спички, яблоки, груши, булки; там и сям играет шарманка, из какого-то дома слышится музыка, улица с обеих сторон залита светом: горят огни во всех этажах, горит газ. Хорошо идти по этой улице; много на ней можно увидать хороших вещей; но голодного человека это богатство, это, так сказать, сказочное видение, тотчас после арестантской каморы, еще более расслабляет; еще более ноет сердце при виде всего этого блеска, еще более является любопытство, прекращающее на время голод, и это любопытство тянет человека идти еще дальше и увидеть еще что-нибудь получше. Так и Пелагея Прохоровна шла по Невскому; наконец предметы стали ей казаться однообразными, и как только она вошла на площадь, наступило общее ослабление. Она села и закрыла лицо руками. Слезы не шли из глаз, но в голове ее был жар.

К ней подошло несколько человек любопытных.

— Что с тобой? — спрашивали они.

Пелагея Прохоровна ничего не понимала.

Подошел городовой и стал разгонять толпу, но толпа росла.

— Она нездорова! Холера! — говорили в толпе.

Городовой тормошил Пелагею Прохоровну и спрашивал, где она живет. Стали об этом спрашивать и в толпе.

Пелагея Прохоровна опомнилась.

— Батюшки! укажите, где мне ночевать. . . Я есть хочу.

Несколько человек отошли от Пелагеи Прохоровны;

остальные стали советовать городовому отправить ее в больницу; городовой просил ее идти куда она знает, а не сидеть тут и не привлекать народ.

— Ох, не могу я идти-то, — проговорила она.

— Найми извозчика. Эй, извозчик! Отвези ее! — крикнул городовой извозчику, ехавшему тихонько порожняком.

— А есть ли у нее деньги-то?

— Есть, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Давай, — сказал извозчик.

— Вот в узлу.

— Вези, вези... — кричал городовой.

Но извозчик стегнул лошадь и уехал.

Пелагея Прохоровна поплелась. Через полчаса она очутилась на набережной Невы; потом пошла по Троицкому мосту.

Дул резкий ветер с моря; ночь была темная, холодная; по небу плавали густые тучи, так что не видно было на нем ни одной звездочки; волны плескались с шумом и шатали плашкоты. На мосту было пусто; редко-редко разве кто проедет или пройдет; Пелагее Прохоровне казалось, что она плывет — и конца нет этому мосту.

Бессознательно прошла она площадь, вошла в Александровский парк — и опять силы ей изменили; она упала и скоро заснула.

Холодное утро скоро пробудило Пелагею Прохоровну. Когда она проснулась, было не совсем светло еще. Оглядела Пелагея Прохоровна местность и увидала, что спала в какой-то яме; сарафан ее и узел весь запачкан в грязи. Развязала она узел и стала искать чулок с деньгами, но чулки целы, а денег нет.

Опять пошла Пелагея Прохоровна, еле передвигая ноги. Народу почти не видать; двое извозчиков, сидя в пролетках, спят; начинают отпирать лавочки.

Пелагея Прохоровна зашла в лавочку и попросила христа ради.

— Бог с тобой! — сказал лавочник.

— Батюшко! Я совсем не знаю, што мне делать...

— Н-ну, не разговаривай. Украла, поди, узел-то? Вот городового позову.

— Уж я просилась и в полицию, — не берут.

В другой лавочке ей подали кусок черного хлеба. Она очень обрадовалась этому куску и тотчас съела его. Это удивило лавочника, и он с насмешкой спросил ее:

— Видно, ты давно голодаешь-то?

Пелагея Прохоровна рассказала, как она отошла от места и попала в часть. Лавочник попросил у нее паспорт и, удостоверившись в справедливости ее слов просмотром билета, дал ей еще хлеба и посоветовал идти на Никольский рынок.

XI

Пелагея Прохоровна находит брата Панфила Прохорыча

Пелагея Прохоровна пошла по направлению к Самсониевскому мосту, разделяющему сторону Петербургскую от Выборгской. Еще не дошла она до угла нескольких шагов, как увидала выходящих из одного питейного заведения четырех рабочих в рваных полушубках. Они остановились и стали о чем-то рассуждать. Сперва Пелагея Прохоровна не обратила на них внимания, но ей опять послышался знакомый голос, что ее и заставило посмотреть на рабочих. Двое из них были невысокие, с большими русыми волосами и такими же бородами, много захватившими их щеки; третий был высокий молодой мужчина без бороды и усов, но с желтым лицом; четвертый отличался от других тем, что его полушубок был сшит точно из клочков, которые еле-еле болтались, и на голове была фуражка с оторванным наполовину козырьком и с тремя заплатами на верхушке. Он был молод, годов шестнадцати, но на вид казалось гораздо больше, оттого что на его лице сидело много грязи и пыли. Вглядевшись в него хорошенько, Пелагея Прохоровна узнала Панфила Прохорыча. Радость ее была неописанная. Однако она подошла робко, поклонилась и неловко спросила:

— Вы откуда?

Мужчины захохотали, но молодой человек стал пристально смотреть на женщину.

— Што смотришь? Аль сродни? — спросили Панфила товарищи.

— Ты не Панфил ли Прохорыч? — спросила робко Пелагея Прохоровна.

— Так зовут... А ты?.. Уж не Пелагея ли? — спросил не то с насмешкой, не то с горестью молодой человек.

— Как же, Палагея Мокроносова!

Молодой человек посмотрел еще на Пелагею Прохоровну и сказал:

— Палагея-то была здоровая, красивая, а ты што?

— Неужли и голос не узнаешь?.. Ведь, кажись, вместе в Моргуновом-то робили... Ты еще за фальшивую билетку попался.

— Ах ты!! Глядите, робя, — счастье! Сестра ведь... Ах ты, черт!..

И Панфил Прохорыч утер глаза заскорузлыми руками.

Пелагея Прохоровна тоже стала утирать глаза.

Товарищи Панфила Прохорыча глядели то на Панфила, то на женщину; они то улыбались, то чесали затылки и что-то обдумывали. Их лица выражали словно зависть и как будто говорили: «Ишь, ведь свиделись-таки!.. Экое, подумаешь ты, людям счастье!»

Начались расспросы. Восторгам этой встречи, кажется, и конца бы не было. Но рабочие сказали Панфилу:

— Пора. Надо переть барку-то кверху.

— Так ты где ино теперь? — спросил брат сестру.

— Без места я, и денег у меня нету — украли. И сама не знаю, где украли.

— Подем ино на барку: у нас хлеб-то есть, — сказал брат.

— Иди, место будет, — проговорили рабочие.

Пелагея Прохоровна пошла за братом и рабочими в барку и дорогой рассказала брату, как она ушла из Прикамска и попала в Петербург.

— Уж натерпелась же я горя в этом Петербурге! И если бы знала, что здесь такая жизнь, ни за что бы не пошла из Пояркова.

— Ну, я тоже в Пояркове робил, народ — собака.

— Не ври; там люди хорошие и достатошно живут.

— Кои тамошние; а кои пришедшие, те и работы не скоро найдут. Это, может, тебе так показалось, потому што ты баба. А я там прожил с неделю и узнал, что тамошние-то жители между собой уговариваются, штобы

им оттереть пришлых, и смотрителей на пристанях задобривают.

— Ну, а ты-то как попал сюда?

— Как?.. Нанялся на баржу до Нижнего, а в Нижнем эту баржу взяли да продали, и мы все, сколько там было, поступили в службу к другой компании. Ну, нагрузили наша баржу, и потащил нас пароход в Тверь. А в Твери двое товарищей и говорят: пойдемте в Питер, еще поспеем на суда. Ну, и получили расчет. Мне досталось пять рублей с четвертаком. Походили по Твери дня четыре и нашли еще пятерых — тоже в Питер сбирались, только они ехали в Чудово. Ну, мы и поехали на чугунке и скоро нанялись на барку камень сплавлять.

— Сколько же ты получаешь?

— Да вот, как камень представим, надо бы по десяти рублей получить.

— Пошто же ты оборван?

— Пошто!!. Поживи, так узнаешь. Вот ты говоришь — тебе нехорошо; а нашему брату и еще лучше...

Наконец вошли в барку по дощечке. Здесь, на реке, были два плота с плотно сложенным на них сеном, в середине которого было устроено подобие коридора, в котором и спасались от дождя рабочие; далее стояла большая лодка, вмещавшая в себе до восьми кубических саженей песку, еще дальше — четыре судна, дожидающиеся попутного ветра, и та барка, на которой находился Панфил Прохорыч. Эта барка не походила на те, которые видела на родине Пелагея Прохоровна: она не имела палубы, была несколько овальнее, посредине ее не было гребных весел. Вся она была нагружена кирпичом.

— Уж мы в четвертый раз этот кирпич плавим с кирпичного завода. А завод этот недалеко: сейчас за Охтой будет литейный завод, так не доходя ево. Сперва плавили в Фонтанку-реку, потом в Обводный канал, потом по Обводному же каналу — в Лиговский канал, теперь сюды — уж в последний раз. Говорят, скоро лед пойдет. Нанимали в Кронштадт, в море, по двадцати рублев давали, да опоздал.

— Ты видал ли Питер-то?

— Вот те раз!.. Да я там везде выходил. Чудной этот город; не верю я, штобы тебе там худо было.

На этой барке было всего шесть человек рабочих.

Панфил откачивал воду, остальные что-нибудь стругали, зачинивали в барке дыры, починивали свои полушубки, а один, сидя в корме под досками, которые были положены на края барки, для того чтобы было удобно грести и править, варил гречневую кашу на всех рабочих.

От груза на барке было так тесно, что всем приходилось сидеть на грузе, а там, где варилась крупа, можно было уместиться только двум человекам, и то присев. Поэтому рабочие сидели где попало, спиною к ветру, не обращая внимания на то, что сквозь дыры рубах ветер сквозит на голое тело. Пелагея Прохоровна тоже присела. Теперь ей было весело; она нашла брата, и с братом ей будет легче работать.

Между тем все рабочие порасспросили Пелагею Прохоровну о ее родине и пребывании в Петербурге. Двое говорили, что у них жены находятся тоже в Питере и они виделись с ними раза по три, но и они не хвалят питерское житье. Начались общие сетования на мужицкую долю, на то, что мужику везде одинакова жизнь, и Питер, по ихнему мнению, еще, пожалуй, хуже, потому что редкий к концу лета не захворает чем-нибудь.

— Никто и в Питере-то не хвалится житьем. Оно бы и заработок ладный, а деньги идут, и сам не знаешь, на што... И все-таки ни сыт, ни голоден. Еще ладно, если кто на одном месте долго держится. А как свернется с места, и слоняйся да проживай денежки. Ну, вот лето-то летенское робишь, бережешь деньги, потому дома оброки да недоимки нужно платить, нужно хлеба купить; опять и то: об семье надо позаботиться. Чем она-то виновата? Прожил зиму — и марш опять сюда; а дома какая ныне работа — и по гривеннику на день не заработаешь... И што это за жизнь, господи! Летом живешь один, робишь-робишь: домой приедешь — деньги издержишь и живешь кой-как. И не ходил бы домой на зиму, да семью жалко, и воздохнуть хочется. А здесь жить с семьей нельзя.

— Отчего нельзя? — спросила Пелагея Прохоровна.

— То-то нельзя. В деревне-то все ж свое хозяйство. А здесь — на-тко, займись хозяйством-то!

— И подлинно мужицкая жизнь самая скверная, — сказал другой рабочий.

— А я мекаю, здешним солдатам житье — помирать не надо!

Эти слова были произнесены потому, что по Самсониевскому мосту прошло несколько рот солдат с музыкой.

— Ну, а вот наш Пантюхин сделался купцом, а тоже на судах сперва ходил.

Рабочие стали смотреть на солдат и смотрели молча до тех пор, пока они не скрылись.

— Нет, им то́же, поди, служба-то — о-ёй! — сказал кто-то.

— Чево — о-ёй! Я вон как в Ижоре камень ломал, так ходил к брату в Красное, — начал молодой высокий рабочий. — Ну, и житье ему — умирать не надо! вся служба в том и заключается, штобы на лошадях разъезжать. А это разъезжанье, он говорил, так только, чтобы мужики солдатам идти не мешали, когда солдаты с ученья идут.

— Ну, все ж солдату трудно.

— Трудно, вот коли ученье. Только не люблю я их. Потому, может, не люблю, очень уж важничают перед нашим братом, ни за што нас считают. Вот хошь бы этих городовых взять — из солдат ведь?

— Ну, ты потому их не любишь, што в полиции сидел пьяный.

— Нешто я не шел на барку?

— То-то! ты дошел бы!

— Ну уж, што ни говори, а не люблю. Вот у брата просил денег, — не дал: жениться, говорит, сбираюсь. Я и говорю: што ж, Онисим Пантелеич, позовешь меня в гости? .. Он: коли, говорит, пальто есть, приходи. Ну, не подлец ли он после этого, братец-то мой родимый?

Стали хлебать гречневую кашу из большого чугуна большими деревянными ложками; Пелагею Прохоровну пригласили тоже. Она сидела рядом с братом и осматривала его фигуру, в которой находила много перемен. Рабочие ели молча.

— Вон, Панфил, ты и сестру нашел. Чать, уж не пойдешь более на суда али на барки? — спросил молодой рабочий Панфила Прохорыча.

— Куда подешь? Надо што-нибудь работать.

— Ты што умеешь-то?

— Ковать умею.

— Ой ли?.. Где ты энтой науке обучен?

— Дома я в заводе робил... Наши заводы не вашим чета: у нас завод не меньше города.

И Панфил стал рассказывать, что такое горный завод, но так как кашу скоро съели, то этот рассказ не был окончен, да и рабочих он мало интересовал, и они глядели больше на реку и на фабрики. Вообще рабочие были народ молчаливый, точно тяжелая работа отбила у них всякую охоту к рассуждению.

Панфил стал откачивать воду, рабочие принялись отчаливать барку, а Пелагея Прохоровна сидела посреди барки и смотрела, как ее брат откачивает воду.

— Ты за это занятие десять-то рублей получишь? — спросила она брата.

— За это. На этой барке-то я уж четвертый раз плыву, вот за все разы мне и назначили десять рублей.

— А хлеб-то чей?

— Мой: вперед деньги взял. Уж теперь, почитай, рублей пять взял.

Барка плыла по течению. Хотя рабочие и употребляли в дело шесты, но барка шла сама, и только приходилось работать на корме и на носу. Рабочие ругались, если барку поворачивало в которую-нибудь сторону или на нее чуть-чуть не наплывал маленький пароход с двумя десятками пассажиров или большая лодка с мебелью, которую плавили с дачи.

Наконец пристали недалеко от каких-то казарм. Лоцман, заступивший место приказчика и обязанный от подрядчика доставить сюда кирпич в целости, ушел в казармы, а рабочие, оставив Панфила Прохорыча караулить барку и отливать воду, ушли на берег разыскивать, где бы им поесть.

Пелагея Прохоровна осталась с братом.

Несколько минут они сидели молча.

— Где-то наши? — спросил вдруг Панфил Прохорыч.

— Я сперва об них долго думала, а теперь уж не думаю. Поди, и им, Панфил, не лучше нашего?

— Кто ево знает. Я вот как на пристани робил, мне говорили, что на железной дороге хорошо робить: денег много дают. Хотел идти — и не пошел, потому не с кем было, и народ все какой-то острожной. Я вот по чугунке

ехал, так, говорят, на железной дороге народу мрет много и порядки там дурацкие.

— Поди, и они там померли.

— А вот што-то наш дядя? Поди, богатей теперь стал. — Пелагея Прохоровна задумалась.

— А ты, сестра, ноне больно худа сделалась.

— Нездоровится мне што-то, братчик. Вот как этот проклятый маиор прогнал меня в одной рубахе, так я в те поры, верно, простудилась.

— Ну, ничего... А знашь, што я думаю: будем вместе робить?

— Будем... Я еще скажу тебе, братчик, когда я жила у маиора, так там в доме жил мастеровой Петров. Я на него и вниманья сперва не обращала, а он все выслеживал меня. А какой умной и, видно, работящий; видно, что он будет лучше *наших,* заводских... Так он мне што сказал: будьте, говорит, вы кухаркой на рабочих...

— Ну, так што?

— Ну, он говорит, што найдет рабочих и тут же жить будет. Только это мне не нравится: што будут говорить люди?.. Я уж совсем думала назад идти в Поярков...

— Ну, в Поярков не стоит, потому там работа только летом, а зимой, говорят, и городские-то жители летние заработки проедают.

Итак, Пелагея Прохоровна решила остаться с братом в Петербурге и работать где-нибудь на фабрике.

XII

Пелагея Прохоровна опять сталкивается с мастеровым Петровым, который и находит квартиру для нее

Ночевавши в барке под крышкой, утром на другой день Пелагея Прохоровна чувствовала себя бодрее и как в этот, так и в следующие четыре дня катала в тележках с барки во двор казарм кирпичи. Хотя заработок был и небольшой — тридцать копеек в день, с шести часов утра до сумерек, — и работа не совсем легкая, но она находила это занятие не в пример лучше ее жизни у маиора и кухмистерши. Здесь ее никто не смел обругать, не к чему было придраться, рабочие барки уважали ее, как

сестру их молодого товарища, и им даже было веселее в ее обществе, потому что они давно уже не бывали в обществе женщин; хотя же солдаты из той же казармы, куда разгружали кирпич, и подмазывались к Пелагее Прохоровне, но она одного оборвала, другому что-то заметила неприятное, а потом и они стали вежливы. Ела она хотя и не по вкусу, но наедалась досыта; одно было неприятно, что приходилось спать под открытым небом, без защиты от ветра и дождя. Таких постоянных изб, где бы можно было нанять ночлег, здесь не было; да и рабочие говорили, что им уже немного остается терпеть. По мере выгрузки из барки кирпича, становилось меньше работы Панфилу Прохорычу, так как края барки становились все выше и выше над водой, и вода сочилась только сквозь дно. Поэтому и Панфил Прохорыч тоже катал в тележке кирпичи. На барке не знали, какой сегодня день, и потому работали ежедневно, стараясь кончить; за провизией ходили в лавочки, потому что на рынок идти было далеко, да и туда ни один идти не решался, боясь заблудиться; Пелагее Прохоровне покупать не поручали, хотя она и вызывалась, на том основании, что ей не донести пяти ковриг хлеба. Пелагея Прохоровна прожила на барке пять суток, и ей казалось, что она живет в таком обществе, которое нисколько не похоже на остальные, потому что живет она на реке и спит в барке, под открытым небом. Ходит она в мокрых ботинках и чулках, и еле-еле высыхает ее одежонка около костра, который разжигался из лишних досок на барке или из дров, которые рабочие воровали на берегу. Она видела — и на себе ощущала, — как тяжела жизнь рабочих на реке, но находила тут все-таки больше свободы, чем в ее положении у маиора и у кухмистерши. Ей нравились эти люди, дружно работающие и редко ссорящиеся между собою и делящие хлеб и заработок поровну, но и это не удовлетворяло ее. «Неужели нельзя им робить што-нибудь другое — они мужчины», — думала она, но тут же узнала, что эти рабочие только и умеют, что дома строить по-сельски, ломать камни и обжигать кирпичи, а этой работы в Питере мало, да и рабочих рук на эту работу много.

Ей было неприятно, что Панфил по утрам и по вечерам уходит с рабочими в питейные заведения. Хотя она и думала, что они пьют с холоду, но то скверно, что брат

может втянуться в водку, станет пьянствовать и никогда не будет иметь денег, а это дело скверное. Стала она ему советовать — пить вместо водки чай, — он рассердился, рабочие улыбнулись.

— Вот и видно, што ты не нашего сорта, — сказал молодой высокий рабочий. — Мы к этому чаю непривычны, и если пьем, так в гостях у старшины или у десятского на именинах. На именинах, знамо, все вали; пословица говорится: «В крестьянском брюхе и долото сгниет». А здесь нам не до чаю; проклажаться-то — еще простудишься.

А Панфил на шестые сутки был так пьян, что его на руках принесли в барку, и он долго ругался. Пелагея Прохоровна плакала и сетовала на рабочих, которые втягивают мальчишку в пьянство.

— А што ж ему не пить-то? с тобой, што ль, обниматься?.. каки-таки ты ему радости предоставишь? — проговорил недовольно один из рабочих.

Слова эти показались Пелагее Прохоровне справедливыми. Сердце ее стало ныть от предчувствия, что из брата ничего хорошего не выйдет. Она стала на колени, заплакала, стала молить бога, чтобы он спас ее брата, и потом легла с надеждой, что не все же такая жизнь будет.

Очистили барку. Лоцман сходил к подрядчику, получил деньги и роздал рабочим. Панфил Прохорыч получил пять рублей. Все собрались на барке.

— Ну, куда топерь, робя? — начал один рабочий.

— Уж теперь плавать не придется: гляди, скоро лед пойдет.

— А денег-то маловато. Теперь надо обувь купить; не так же из Питера прийти-то. Хозяйке тоже надо — платок просила. А денег-то, гляди, восемь цалковых. На дорогу еще надо.

Рабочие задумались. Половина из них решила остаться в Питере и отослать заработок по домам, другие тоже хотели остаться, но их тянуло домой. Всем работавшим лето вместе тяжело было расставаться и хотелось немного повеселиться. Поговорили было о том, не сходить ли на Сенную, чтобы потолкаться там или, как говорят рабочие, посмотреть Питер, потом найти квартиру. Но так как идти на рынок было не близко и уже поздно, то все пошли делать спрыски; стали звать и Пелагею

Прохоровну. Та отговаривалась тем, что ей идти неловко, но она хотела выпить чего-нибудь тепленького, чтобы отогреться; денег у нее было около полутора рубля, и она пошла. Панфил отдал ей на сбережение и свои деньги.

Рабочие вошли в одну из харчевен, примыкавшую к трактиру. Как харчевня, так и трактир с нумерами помещались в одноэтажном деревянном доме, отдельно друг от друга; их содержал мещанин Сидор Данилыч. Фамилии его из рабочих посетителей никто не знал. Это был толстый, среднего роста, пожилой мужчина, с круглою редко-черною бородкою и черными, короткими, всегда примазанными салом волосами. Лицо его было полное, выражало постоянно спокойствие и невозмутимость, как будто уверяло, что Сидор Данилыч с малых лет находится при трактирах, видал всяких людей и переслушал всякой всячины. Он знает все, что относится до жизни рабочего, афериста и торгаша, его учить нечего; знает, как и при каких обстоятельствах можно выбиться из такого-то положения, на что стоит обращать внимание, на что не стоит — и т. д. Сидор Данилыч давно уже занимает трактир с харчевней, которые ему приносят большие барыши, и эти барыши он извлекает от рабочих, которые, при расчете, предпочитают его заведение другим, может быть, потому, что он верит в долг и со всеми одинаков. Он говорит октавой, не возвышая и не понижая тона ни в каких случаях, так что вызвать с его стороны крик довольно трудно. Он в своем заведении сидит где попало, потому что у него есть сын двадцати двух лет, высокий худощавый брюнет, пошедший относительно наживы денег в отца и с которым не могут ужиться подручные, так как он до тонкости сверяет всякие счеты и украсть из-под его рук довольно трудно. Только деньги мало идут ему впрок, так как он хотя уже и женат, но любит всякую компанию в других гостиницах, которые посещают господа. Зная эту слабость Ивана Сидорыча, Сидор Данилыч сидит попеременно — или днем в трактире, а вечером в харчевне, или днем в харчевне, а вечером в трактире; он ни одного дня не пропустит, чтоб не посидеть в котором-нибудь заведении. Харчевня состояла из трех комнат, из коих в первой, тотчас по приходе с улицы и самой большой, стояла выручка, полки с налитой водкою, железная печь с такой же трубой, протянутой вдоль

потолка к окну. За выручкой сидел теперь сам Сидор Данилыч и что-то считал на счетах. На нем надет был черный дубленый полушубок, во рту он держал гусиное перо. В этой комнате, оклеенной старыми серыми обоями, со множеством лубочных раскрашенных картин, под которыми были напечатаны или русские и малороссийские песни, или безграмотные стихи, стояло пять столов небольшой величины и несколько деревянных стульев. Посетителей тут теперь не было.

— Сидору Данилычу! — сказал молодой высокий рабочий, снимая шапку.

Сидор Данилыч поглядел на сказавшего, оглядел вошедших и стал считать на счетах.

— Аль спесив стал! — не узнал Егора Шилова?

— Проходите, молодцы, проходите.

Мальчик повел пришедших в другую комнату с двумя окнами, в которой также стояла железная печь с трубой, проходящей в третью комнату с одним, не очень светлым, окном. Комната эта была оклеена старенькими палевыми обоями, и в ней стояло четыре стола. За одним из них сидело четверо мастеровых — двое в тиковых засаленных халатах, двое в пальто, с передниками, зачерненными донельзя; у всех были лица черные, руки тоже черные.

Рабочие уселись за два стола. Лоцман потребовал полуштоф. Пелагея Прохоровна стала было отговаривать брата от участия в водкопитии и уговаривала пить чай, но товарищи Панфила сказали, что здесь, в харчевне, чаю нет, потому что здесь черная половина.

— Это ты откуда, братец, взял, что здесь черная половина? — спросил один мастеровой, вставая и набивая свою трубку табаком.

— Коли не черная! чаю не подают, — в трактир посылают.

— А знаешь ли ты, что такое черная половина?

— Ты не приставай, — обиделся молодой высокий рабочий.

Появилась водка, стаканы; лоцман налил стаканы, налил и Пелагее Прохоровне. Та стала отказываться.

— Ну, полно! здесь мы с тебя деньги не возьмем: мы по-дружески. Пей.

— И эта барышня тоже с вами на судах работала? — спросил опять мастеровой с трубкой.

— Нешто нельзя бабе на судах робить?

— Самое последнее дело, я тебе скажу, если баба чем иным прокормиться не в состоянии.

— Это верно, — подтвердили товарищи мастерового.

Наши рабочие не возражали. Мастеровые отстали; они разговаривали между собой о своих фабричных мастерах, десятских, о заработке; рабочие, с своей стороны, рассказывали впечатления по сплаву каменья — и между разговором скоро роспили полуштоф, закусывая редькой и ржаными сухариками.

— Похлебать бы чего, робята? — предложил лоцман.

Оказалось, что в харчевне есть щи. Принесли на стол две небольшие деревянные чашки, две деревянные тарелки, на которых на каждой было мяса фунтов по пяти и ложки; хлеба для щей от харчевни не полагалось.

Один из рабочих сходил за хлебом и принес с собой фунта три ситного и полфунта тешки, что вызвало смех его товарищей.

Однако щи оказались — одна вода, без круп и капусты, и холодные до того, что в них плавало сало; чистого мяса было не больше двух фунтов, да и то жесткое, остальное — всё кости.

— Ну уж и еда! угостил Егорка Шилов! — говорил лоцман.

— И на этом говори спасибо. Аль лучше едал?

— Подемте в трактир.

— Ну, нет... Все равно ись надо, потому после нас ись не станут... Эй, мальчонко, вали полштоф! — говорил Шилов.

Рабочие стали одобрять Шилова и бранить харчевню.

— Што ни говорите, а супротив здешней харчевни едва ли где другая устоит. Уж я где-где не был. И по московской машине езжал из Тосны, и из Царскова, и из Красного по петергофской, — везде в тех краях харчевни хуже здешней. Пра! Здесь ящо благодать!

— А ты што же в Царском-то делал? — спросил мастеровой Шилова.

— Там за Ижорой камень ломал.

— Выгодно?

— Я зимой робил; ну, так за сажень платили по целковому на своих харчах.

— Мало. Чать, сажени-то в день не наломаешь?

— Каков камень... Иной такой твердой, што порохом надо брать, на такое уж место попадешь. Ну, тогда, конешно, берешь и посутошно — целковый и с укладкой вместе. А ежели теперь камень ломкой — знай только подковыривай ломом. Тогда и полторы сажени наломаешь. Вот кабы лошадь своя была, возить бы стал к речке на пристань — тоже по целковому за сутки платят.

Двое рабочих закурили трубки, от них попросили закурить и мастеровые.

— Ну, а теперь как же вы? — спросил мастеровой, раскуривая трубку у судорабочего.

— Да кои по домам, кои здесь остаются.

— Ну, теперь по вашему-то занятию вряд ли будет работа. Ваша работа што наша: мы вашу не умеем, вы нашу.

— И што это за работа! Вот наша работа, так работа, — сказал с гордостью другой мастеровой.

— Кто спорит — вы кузнецы, по облику видно.

— То-то и есть.

— Што вы хвалитесь-то! — вскричал Панфил Прохорыч. — Вы думаете, што только вы и есть люди, а мы и не люди!

Мастеровые захохотали.

— Чево смеетесь? Вы думаете, и мы не умеем полосы лить, али в горнах огонь раздувать, али по ремню наждаком сталь шлифовать? — проговорил с азартом Панфил Прохорыч и закраснелся.

— Э-э! Ты, брат, верно, слыхал что-нибудь от людей.

— Не слыхал, а сам робил в заводе.

— Што про это говорить! А знаешь ли ты, што такое бурав?

Панфил Прохорыч рассказал.

— Што ж, тебя немец-мастер прогнал, што ли?

Панфил Прохорыч рассказал про свое житье в заводе. Он долго толковал им устройство горных заводов и спорил насчет плавки металлов. Оказалось, что питерские мастеровые имеют смутное понятие о происхождении чугуна и железа, потому что этот материал они получают в готовом виде и переработывают на разные вещи. Горюнов хвастался тем, что они, петербургские мастеровые, может быть переработывают то железо или ту медь, которую он, с своими земляками, сперва добывал из земли

в виде руды, а потом плавил, — и начинал рассказывать, каким образом добывается руда и т. д., но петербургские мастеровые и тут задели его за живое, сказав, что у них на фабрике употребляется в работу только английское железо, а сибирское железо нипочем, и им только обивают крыши.

Скоро, после разговора, трое мастеровых ушли, а четвертый остался. Он сказал, что на квартиру не пойдет, вздремнет здесь, а вечером что бог даст.

Вошел хозяин, оглядел наших рабочих.

— Ну, што? Кончили? — спросил он, обращаясь к Егору Шилову.

— Будет. А все-таки, Сидор Данилыч, плоховато, больно плоховато становится год от году.

— Это уж так. Теперь вот железная дорога много портит вашему делу, ну, опять и народу ноне много. Ныне я посмотрел на железной дороге, так народу, братец ты мой, из Питера страсть што едет. Это — полон вокзал; билетов даже недостало. Так половина и не уехала. И это еще ничего, а то человек двадцать и билеты взяли, да в вагоны не попали — некуда.

— В другой раз уедут.

— Ну, нет. Я было им посоветовал просить обратно деньги — не дают. Я взял два билета и пошел к начальнику станции, стал просить деньги — не дают. Зачем, говорит, опоздали? Мы, говорит, и билетов выдаем столько, сколько в вагонах может приблизительно поместиться народу, поэтому мы, говорит, и кассу ране запираем. Так-то. А прежде не то было. Худое, должно быть, житье в Расее.

— И не говори.

— А! Потемкину! Што, друг сердешный? — проговорил Сидор Данилыч весело, подойдя к оставшемуся мастеровому.

Мастеровой снял фуражку и принял прежнее положение.

— Али старуха опять?

— Чево и говорить!

Сидор Данилыч старался добиться от Потемкина слова, но тот упорно молчал, глядя в пол. Сидор Данилыч пошел.

— Сидор Данилыч... Голубчик...

— Что, верно, недопито?

— Все пропито... Дай косушечку, голубчик.

— Ну, нет.

— Сидор Данилыч... Эх! — Потемкин встал. — Али ты меня не знаешь? .. Семь лет я к тебе хожу.

— Знаю. Потемкин, знаю... Только, брат, ты забаловался много.

— Вчера же я тебе отдал трешник.

— А обещал сколько?.. Нет, брат, шалишь! Ты у меня обманом-то на одной неделе на три цалковых забрал.

— Сидор Данилыч!

— Будь спокоен, не дам. Иди куда хошь... Ах, Потемкин! человек-то ты хороший, по шестидесяти рублей заработываешь...

— При людях-то хоть бы не срамил... Ей-богу, ходить к тебе перестану.

Сидор Данилыч ушел, а Потемкин сел к печке и задумался.

У наших рабочих был только что подан полуштоф. Видя болезненную фигуру петербургского мастерового, пренебрежение к нему хозяина харчевни и его мольбы об водке и думая, что он будет рад выпить даром стаканчик, Егор Шилов сказал ему:

— Эй, ты, как тебя?

— Потемкин.

— Иди сюда.

— Мне и здесь хорошо.

— Мы угостим тебя.

— Убирайтесь вы к черту!

— Нет, друг, выпей... Мы от души.

— Што у вас много денег, что ли? Удивить меня хотите?

— Ну, полно, выпей.

— Не стану... Я еще не нищий и не хочу, чтобы меня укоряли тем, что я водку христа ради пью.

— Ты, верно, только сам угощать любишь! ишь, какой барин! — сказал Панфил Прохорыч.

— Я с теми пью, кого знаю.

— А мы, по-твоему, што такое? — пристал Егор Шилов.

— Глуп, братец, ты, и больше ничего. Неужли я не знаю по обличью, что вы судорабочие.

— Отчего же ты не пьешь?

— Не хочу. Компания ваша мне не по сердцу; о чем я, столяр, стану толковать с судорабочим? Нешто мне интересно, што у вас там творится! также и вам со мной скушно будет, если я насчет своего ремесла стану говорить. Да я вот еще о своем занятии и говорить сегодня не намерен и сижу потому, что мне здесь очинно хорошо... И если бы хозяин дал косушку еще было бы лучше, потому я скоро бы заснул... Я сегодня молчать хочу — и буду молчать.

И Потемкин, нахлобучив на лоб фуражку, обнял руками трубку и уперся на печь.

Наши рабочие очень захмелели к вечеру и поэтому уж не могли идти гулять. Пелагея Прохоровна хотя и не пила водки, но у нее разболелась голова от табачного дыма и начинало болеть горло. Она звала брата искать постоялый двор, но он не хотел отстать от компании. Поэтому она ушла на барку, выдав брату, по его настойчивой просьбе, два рубля. В барке она устроила себе гнездо, под досками, но не могла долго уснуть. Ночью явился Панфил с Егором Шиловым и еще другим судорабочим, Фролом Яковлевым.

Утром у Пелагеи Прохоровны заболело горло.

— Што это, как у меня горло заболело? Прежде болело, да не так.

— Пройдет. Вот сегодня найдем квартиру, завтра в бане выпаришься — и пройдет, — говорил Егор Шилов.

— И у меня тоже горло болит, — сказал Панфил, как бы желая показать товарищам, что на болезнь нечего обращать внимания.

Наконец пошли нанимать квартиру с Егором Шиловым, который оставался в Петербурге и хотел поступить куда-нибудь на фабрику или возить зимой снег и разные нечистоты. Он слыхал, что этим занятием крестьяне много в зиму зашибают денег. Егор Шилов был знаком с Петербургской и Выборгской стороной; было у него несколько приятелей из мастеровых, и поэтому он знал, где больше живут рабочие разных фабрик и заводов, а попавши на квартиру к рабочим, он скорее рассчитывал поступить на место.

Было воскресное утро, и поэтому народу на набережной было мало; кабаки заперты, и около них нет ни одного человека, только в воротах дровяных складов и в местах, примыкавших к фабрикам и заводам, толпился рабочий люд. Несколько заводов, несмотря на праздник, были в действии, и там тоже рабочего люда без дела не виделось.

— Пелагее Прохоровне! — услышала Мокроносова голос Петрова.

Пелагея Прохоровна остановилась. Из одной кучки, человек в двадцать, стоявших наискосок от ворот дровяного двора, отошел навстречу Пелагее Прохоровне Игнатий Прокофьич. На нем надето было пальто на вате, крытое черным драпом, на ногах триковые брюки и на шее ситцевый розовый платок; на голове была новенькая фуражка, на ногах простые сапоги. Он курил папироску. Во всем этом наряде Пелагея Прохоровна не скоро узнала Петрова.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Да вот брата я разыскала — камень плавил.

— Поздравляю. А вы, молодой человек, как теперь думаете?

Панфилу Прохорычу показалось, что этот франт издевается над ним, называя его молодым человеком; Петров ему сразу не понравился, и он не ответил на вопрос.

— Ну-с, а я все знаю-с... Я вчера был в доме Филимонова, — продолжал Петров: — дворник-то целые сутки просидел в части, требовали и маиора — нейдет; к нему опять повестку, а наконец и сама полиция приехала. Стали с него взыскивать деньги за непрописку вас. Теперь он в водянке, и Вера Александровна очень ухаживает за ним.

— Што ж, и кухарка есть?

— Как же. Старушонка какая-то. Ну, где же вы поселились?

— Мы идем квартиру искать.

— Постойте... Молодой человек, вы к чему приспособлены, то есть к какому ремеслу?

— Это мое дело! — отвечал нехотя Панфил.

— Какой ты, Панфил, неуч, вот и видно, все с судорабочими бы тебе жить!

— Видите ли, я почему спрашиваю. Квартиры у нас

вы, пожалуй, не скоро сыщете, потому что здесь по нашему вкусу мало квартир, и поэтому рабочие каждой фабрики или завода живут отдельно от рабочих других фабрик; это уж редкость, штобы в том же доме жило несколько человек из разных фабрик и заводов; к тому же здесь и домов больших нет. Ну, если вы хотите найти квартиру для себя, то вам какую же надо квартиру? Рабочее семейство вас всех не примет, потому что оно вас не знает; нанимать целую квартиру — две комнаты с кухней — еще не отдаст домохозяин; скажет: может, еще мазурики какие... Право. А вот если ваш братец захочет с нами работать на литейном заводе, тогда мы легко сыщем квартиру.

— А мне там можно робить? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Нет, у нас женщины не работают. Вот тут недалеко обойная фабрика была, назад тому два года, работали и женщины, только теперь женщин там заменили мальчиками. А то, если хотите, можно на сахарный завод поступить.

— А сколько там платят?

— Ну, вы уж и об цене!.. Вам копеек сорок дадут, не больше. Если вы хотите, то я схожу к Лизавете Федосеевне. Она вот тут за дровяным двором с сестрой и с мужем живет, у ней теперь есть комната, потому вчера ихний жилец повздорил с ними и вечером же перешел на другую квартиру. Сестра-то Лизаветы Федосеевны на сахарном заводе работает, так вот вам и легко будет поступить туда.

— А разве у вас трудно на заводы поступить?

— То-то, что у нас, молодой человек, в народе никогда нет недостачи, и нашему брату, мастеровому, тоже хочется, чтобы все работали поровну, а то за что же другой будет получать деньги, не умея ничего делать? Поэтому у нас мастера и не нуждаются в приходящих, говорят — не надо; а если такого человека никто в заводе или фабрике не знает, то его осмеют рабочие, и ему не попасть туда. А если он с кем-нибудь работал прежде где-нибудь или просто знаком, тогда его примут тотчас же, и уже за него в ответе тот, который рекомендовал его.

Петров ушел во двор. Свободные рабочие пристали к Панфилу Прохорычу и Егору Шилову и стали острить над

их произношением, но Панфил скоро заинтересовал их всех знанием мастерских оборотов и своими остротами, так что все мастеровые решили, что этот оборвыш непременно состряпал какую-нибудь штуку на какой-нибудь фабрике или заводе, почему и слоняется по судам. С своей стороны Панфил Прохорыч видел в этих мастеровых людей гораздо более речистых и с большею сметкою, чем мастеровые его родины.

С Егором Шиловым почти не разговаривали, и он не знал, что ему делать.

— Панфил, я пойду! — сказал он.

— Куда ты пойдешь? живи с нами.

— Что он, жених твоей-то сестре, што ты его приглашаешь? — спросил Панфила один молодой мастеровой.

— Глуп, братец, ты, и больше ничего, — сказал, рассердившись, Егор Шилов и пошел прочь.

Мастеровые захохотали. Егор Шилов ушел, не простившись ни с Панфилом, ни с его сестрой.

— Нанял, за два рубля одна комната. Пойдемте, — сказал Петров, выходя из-за поленницы.

Пелагея Прохоровна и брат ее поселились на квартире у мещанки Лизаветы Горшковой.

XIII

Пелагея Прохоровна знакомится со столичными рабочими женщинами

Дом, в котором жила Лизавета Федосеевна Горшкова, был полукаменный. Нижний этаж, сложенный из кирпича, когда-то вмещал в себе лавки, но теперь на нем не только не было штукатурки, но не было даже и дверей там, где когда-то были лавки. Во втором, деревянном, этаже с девятью окнами, выходящими к дровяному двору, рамы были с разбитыми стеклами, с замазанными бумагой или просто заткнутыми тряпкой дырками. К этому этажу со стороны дровяного двора была сделана крутая лестница с перилами — лестница очень старая, с ступеньками, прикрепленными бечевками, так что невольно думалось, что тут, в этом этаже, живут не рабочие, а какие-нибудь другие люди, которые или не дорожат своею жизнию, или не умеют состроить новую лестницу. На перилах этой

лестницы, наверху, и на протянутой вдоль дома бечевке сушилось разное белье. Направо от лестницы дом примыкал к забору, выходящему в какой-то переулок, за которым тотчас начиналась фабрика. Во дворе было очень грязно; о зловонии и разговаривать нечего.

Петров не повел Пелагею Прохоровну по лестнице. Они завернули к противоположной стороне дома. Там стояла поленница барочных дров, были три гряды, с которых уже до половины были выбрана капуста и картофель, и росла одна березка.

— Вот и у нас, в Питере, жильцы заводятся своим домом. А знаете ли, Пелагея Прохоровна, что эти три гряды принадлежат восьми семействам, которые живут во втором этаже? Я думаю, у них много было ссоры из-за того, кому в каком месте сажать, да и теперь без ссоры, чай, не обходится. Вот и береза тоже. Ну, отчего бы не срубить ее, еще гряда бы была! Не мешает, говорят, пусть ее стоит; по крайней мере, детские пеленки можно на ней сушить...

— Ну, а што ж та лестница куда идет?

— Это фальшивый ход. Тут прежде по этой лестнице, когда дом не был еще очень стар, ходили в квартиру хозяина дома, потом в ней жил приказчик дровяного двора, но сделался пожар в его квартире, упали потолки. Вот хозяин лесного двора и велел заколотить эту квартиру. Однако наши бабы добрались и до нее. Есть у нас в доме квартира Селиванова, так его сестра стала раз вколачивать в стену гвоздь, оказалось, что гвоздь куда-то прошел в пустое место, а доска была поставлена и держалась на карнизах. Вот муж ее взял подрубил эту доску, вынул — и таким образом открыли пустую квартиру, в которой зимой многие сушат белье и в которую ходят через квартиру Селиванова.

С этой стороны дом несколько менял свою наружность. Казалось, что он, как вверху, так и внизу, имеет по две половины, именно потому, что в середине дома, внизу, было большое закоптелое отверстие, а вверху в окне вовсе не было рамы, и там стояли какие-то поломанные горшки и бутылки и висела юбка; внизу, по левую сторону, в двух окнах были рамы, и в форточку одного окна выходила железная труба; направо было три окна с рамами и разбитыми в них стеклами.

— Вот я тут и живу, направо. Нас тут, в двух берлогах, помещается восемнадцать человек. Ничего, живем дружно и друг у друга не воруем; от посторонних воров нас тоже бог спасает. Да и правда, что украсть-то у нас, кроме инструментов, нечего. А налево живет кузнец. Он работает на заводе, когда у него дома нет работы, а как только достанет работу, дома мастерит.

Петров провел Пелагею Прохоровну и ее брата по узкой, крутой, с двумя оборотами, лестнице во второй этаж. На площадке, перед окном без рамы, были три двери. Петров отпер дверь направо; там оказалось еще два хода — напротив двери и налево от входа. Они вошли налево в узенькую прихожую, из которой ход был в кухню, и еще направо. В кухне пожилая, высокая, худощавая женщина суетилась около печи; откуда-то слышался детский плач и мужской голос.

— Вот, Лизавета Федосеевна, и жиличка с братом, — сказал Петров.

Женщина поглядела на Пелагею Прохоровну и ее брата и стала что-то мешать в чугуне.

— Согласны вы их принять?

— Да уж коли сказала, так надо. Софья! — крикнула она, поворачивая голову к двери.

Оттуда вышла молодая низенькая женщина с ребенком и поклонилась всем в один раз.

— Вот надо им устроить. А у вас, поди, ничего нет?

— Ничего. Я в кухарках жила, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Как же ты сказал, што она из фабричных? — обратилась хозяйка к Петрову.

— Она в провинции работала, а здесь еще недавно.

И Петров, распростившись с хозяевами и новыми жильцами их, вышел.

Комната, которую нанял Пелагее Прохоровне Петров, была маленькая, и свет в нее проходил через пространство между перегородкой и потолком из соседней комнаты, занимаемой хозяевами. В ней был всего только один с тремя ножками стул.

— Вы идите пока в нашу комнату. Вот Данило Сазоныч придет, он все вам устроит, — сказала молодая женщина.

Комната, занимаемая хозяевами, имела два окна,

выходящие к дровяному двору. Она была бедно, но хорошо меблирована, и даже две кровати занавешены.

Софья Федосеевна стала расспрашивать Пелагею Прохоровну, откуда она, и обещала свести завтра на сахарный завод, но Лизавета Федосеевна сказала, что завтра надо белье стирать, и поэтому Пелагея Прохоровна, может быть, чем-нибудь обзаведется. Панфилу Прохорычу надоело слушать бабью болтовню, и он ушел из квартиры.

Пелагее Прохоровне очень понравился ребенок, но у этого ребенка было бельмо на левом глазу.

— Это ваш ребенок-то? — спросила она Софью Федосеевну.

— Мой. Только отец-то его помер.

— Экая жалость! А сколько вы замужем были?

— Мы не были обвенчаны. Он все сбирался, голубчик, да деньгами не мог раздобыться. А я хоть и работала, так жила с матерью. Мать чахоточная была, и мне ее не хотелось пускать в больницу.

Начали говорить о работе. Софья Федосеевна говорила, что женщин больше обижают, чем мужчин, и меньше дают против мужчин дела; поэтому женщин мало работает в сравнении с мужчинами, и работают большею частию девушки, привычные к фабричной работе с малолетства в провинции или здесь, в Петербурге; но эта работа многих из них убивает преждевременно.

— Мне двадцать девятый год; я начала работать с восьмого года, здесь, в Петербурге, — говорила Софья Федосеевна.

— Неужели и у вас, в Петербурге, так же берут в работу, как и у нас в горных заводах?

— Не знаю, как там у вас. По вашим рассказам, ваша жизнь похожа на нашу, только вас давила крепость, а нас самосудство.

— Ну, и у нас, Софья Федосеевна, тоже приказчики помыкали нами как господа.

— У нас это вежливее делается. Да вот я про себя расскажу. Мать моя была, может быть, такая же женщина, как и я. Судить об ней я не могу, потому что была немного постарше этой девчонки. Может быть, она и любила меня, только к чему и любовь, когда есть нечего... Ведь вот и у меня не всегда есть заработок; бывает, что

по четыре дня без работы живешь. Починку на себя и для ребенка нечего считать за работу. Хорошо еще, что с сестрой живем дружно... А моя мать, вероятно, была одна-одинехонька. Должно быть, ей было невмоготу с ребенком, и она продала меня. На седьмом году меня заставляли сучить бечевки, ткать. К четырнадцатому году я только и умела, что бечевки делать и ткать ковры. Я не была крепостною; меня считали за воспитанницу, и я за то, что меня кормили хлебом и одевали, должна была повиноваться. Но вот я узнала, что срок моему вскормлению кончился. У меня были подруги. Все мы были, конечно, против наших воспитателей; имели много веры в себя, думали, что нам и руки-то оторвут, требуя нас на работу. Оказалось не то. Куда мы ни придем — нужно учиться сызнова; ткачей мало из женщин, и заработок этот, как мы узнали, дешевле против прежнего наполовину... Потом я работала на бумажной мануфактуре. Нас было там по крайней мере до двухсот женщин, и заметьте: замужних было только штук тридцать. Я сперва находилась при чесальне и получала в день по пятнадцати копеек. Некоторые женщины получали и семьдесят пять копеек, но это такие, которые были в близких отношениях с мастерами, конторщиками, начальством, и труд их был очень легок. Им стоило только смотреть, направлять машины и распоряжаться девчонками. Я там ничего не приобрела: все, что получала, шло на одежду и на хлеб. Оттуда перешла на обойную фабрику. Там машин было мало, и нашему брату приходилось растеребливать и сортировать хлам. Вдруг фабрика закрылась, и нам за три недели не заплатили заработку. Нужно было платить за квартиру, лавочнику; а тут вышли новые порядки — нужно в полицию платить за адресный билет. Меня посадили в часть.

— А вот угадай, где я был? — произнес в это время хриплым голосом вошедший мужчина.

Софья Федосеевна замолчала, и лицо ее сделалось печально.

— Уж ты всегда сумасбродничаешь. Где ты был, подлец? — кричала Лизавета Федосеевна.

— Извините, Лизанька...

— Ах ты, пьяница! Тут есть нечего...

— У нас зато есть.

Несколько минут продолжалось молчание. Пелагея Прохоровна хотела уйти, но неловко было. Софья Федосеевна, уперши голову одною рукою и глядя на спящего ребенка, молчала. На лице ее Пелагея Прохоровна заметила какую-то жалость.

— Господи! И когда это кончится! .. — проговорила Лизавета Федосеевна. По ее голосу слышно было, что она плакала.

— Жена! .. Супруга! .. Не реви! .. — говорил мужчина; но и он, как слышно было, плакал.

— Это каторга, а не жизнь!

— Ной еще! Ной! .. О, будьте вы прокляты!

Ребенок проснулся и заревел.

Вошедший был высокого роста, одет в суконный кафтан, с красным платком на шее и с фуражкою на голове с очень высоким верхом. Ему было на вид годов сорок. Волоса на голове и бороде черные, глаза и лицо выражали невозмутимость. От него пахло водкой.

— Машинька! Ах ты, шельмочка! .. — И он начал занимать ребенка, который с охотою полез к нему.

Пелагея Прохоровна ушла в кухню.

— Ты дома будешь обедать? — спросила мужа Лизавета Федосеевна.

Не получив ответа от мужа, Лизавета Федосеевна стала торопить сестру.

— Ради бога, сходи ты за водкой, а то уйдет! — говорила она шепотом.

— Посмотри, Лиза, за ребенком.

Грустно сделалось Пелагее Прохоровне. Пошла она в свою комнату; но ей еще грустнее стало при виде ее пустоты. И она вышла из квартиры.

— Это ли жизнь? Неужто за Питером люди живут лучше?

С этими мыслями она вышла на набережную. Она стояла у забора, потому что идти было некуда и погода была невеселая. Дождя хотя и не было, но везде грязь, холодно, дует ветер, и дышится как-то тяжело, да и самые предметы не веселят: фабрики черные, постройки ветхие, все как-то мрачно — и небо, и строения, и оголяющиеся деревья; на длинных дрогах едут очень медленно с железом, досками, кулями и т. п. оборванные и невзрачные мужики с выражением усталости и какой-то безна-

дежности; едут эти мужики и без клади, и лошади их, тощие, избитые, с протертою в кровь кожею на задних ногах и хребте, еле-еле переступают ногами, так что не верится, что эти животные в состоянии возить по убитой камнем мостовой по тридцати пудов всякой клади. Народ здесь бродит все рабочий, так что очень мало увидишь человека в порядочном кафтане или сюртуке, а если и попадется кто-нибудь одетый по-модному или по-приказному, то у него или галстук набоку, или сюртук продран, или другой какой недостаток. Хотя в их разговорах и замечается удальство, но это ни больше ни меньше, как привычка с малолетства выражаться и вести себя похожим на довольного человека, в самом же деле у этих людей многого не хватало и для крохотной доли довольства. Женщины одеты тоже бедно и легко; все они худощавы, с изнуренными лицами; маленькие дети хотя и носят на ногах обувь, но ходят в оборванных рубашках и хорошим здоровьем не обладают. Так все и наводит тоску, ни на что бы не смотрел, и все-таки среди этих людей нужно жить, нужно привыкать к этой жизни и жить их жизнию. И тут подумалось Пелагее Прохоровне: неужели же эту жизнь нельзя сделать получше?

Пелагея Прохоровна пошла в лавку, но вдруг ее перегнала молодая женщина в палевом стареньком платье, с загрязненным подолом и с небольшим ситцевым платком на голове. Лицо ее выражало отчаяние и какую-то дикость, точно она с цепи сорвалась. Она шла очень быстро, и как только перегнала Пелагею Прохоровну шагов на пять, остановилась, посмотрела на нее и так же быстро подошла к ней.

— Ты... ты из какого дома? — спросила она Пелагею Прохоровну торопливо.

— Я... тут за постоялым двором.

— Ты из того же дома! И отлично! Пойдем, голубушка!

— Куда?

— В кабак... Чему удивляешься-то? Э-эх, матушка, поживешь с нами, похлебаешь кислого, захочешь и горького. А впрочем, как знаешь! До свиданья.

И женщина убежала в питейное заведение.

Еще больше запечалилась Пелагея Прохоровна: в провинции она хотя и знавала женщин, пьющих водку в

кабаках, но такие в каждом городе были на перечете, и все их считали за самых отчаянных и развратных; теперь ей показалось, что в Петербурге, пожалуй, много таких женщин; она видела их в полиции; многие кухарки даже хвастались тем, что отпивают водку жильцов. Она ужаснулась при мысли: неужели и с ней то же будет?

Однако, несмотря на то, что время шло к вечеру и рабочий народ больше прежнего шел в питейные заведения, песен не слышалось.

Возвратившись домой, Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, что в ее убогой комнате появилась кровать. Кровать была деревянная с двумя ножками, которые были к ней привязаны; вместо других двух ножек был подставлен деревянный ящик. Досок на кровати не было.

— Довольны ли кроватью? — спросил Пелагею Прохоровну вошедший хозяин.

— Покорно благодарю; только спать-то как?

— О! это мы устроим. Вот завтра я с заводу достану бечевок, оплетем кровать. Отличная штука будет.

— А дощечек у вас нет?

— Опоздали немножко. В пустой квартире, что теперь белье вешают, почти две стены ободрали бабы, — кому на гладильную доску, кому на подтопку, потому житьишко-то наше некорыстное... А вы завсяко-просто к нам приходите сидеть-то.

И он ушел.

Пелагея Прохоровна присела на край кровати — шатается. «Еще упадет!» — подумала она с улыбкой. В соседней комнате у хозяев плакал ребенок; за стеной кричали две женщины; где-то ругался мужчина.

Пелагею Прохоровну тянуло на улицу, потому что и сидеть было неловко на худой кровати без досок и крики из соседних помещений стали надоедать; в этой комнате становилось темно; у хозяев свечи не зажигали.

— Что сидишь-то тут в темноте? Иди к нам, — сказала Лизавета Федосеевна, появившаяся в дверях комнатки.

Она вошла, заглянула на кровать и, качая головой, проговорила:

— Как же ты спать-то тут станешь? Эдакой он, право, осел! Это он на смех кровать-то поставил... Да. На смех добрым людям, а мне назло, потому что я не хотела

больше пускать мужчин. Они у нас все добро приломали. Известно, женщина более к хозяйству норовит, а мужчине что!

— Хозяин говорил, что бечевками опутает.

— Бечевками!.. И ты поверила!.. Мало же ты знаешь наших мастеровых... Да он, пожалуй, и обмотает, да так, что ты наземь упадешь. Вот он какой человек-то!

— Я не просила кровати; на што мне ее!

— Ну, без этого нельзя, потому что, во-первых, у нас во всем дому такое множество мышей — страсть! Ловушки на них поделаны тоже, должно быть для того, чтобы мышам над нами смеяться! А кошка у нас в квартире хоть и есть, так она, будь проклята, только спит. А другое опять — блох тоже... Нет, без кровати нельзя... Я ужо посмотрю в ермоловском доме. Там недавно один мастеровой померши, так его жена хочет в деревню ехать... Может, за полтинник-то уступит. Ну, а там, помаленьку, и другое что заведете с братом. Вдруг нельзя. А где же у те брат-то?

— Не знаю. Поди, в кабак ушел.

— Дело плохое... да пойдем же к нам-то!

Они пошли в хозяйское помещение. Софья Федосеевна укачивала ребенка. Хозяина не было. На столе стоял кофейник и две чашки, из которых только к одной было блюдечко. Кошка действительно спала на окне.

Хозяйка хотела зажечь лампочку, но Софья Федосеевна сказала, что еще светло, и так как сегодня праздник и завтра надо вставать рано, то можно и раньше лечь спать, на что сестра возразила, что наши черти, вместе с блохами, не скоро дадут заснуть, потому что будут пьянствовать до полночи, и ей, пожалуй, придется идти за мужем. Вообще хозяйка жаловалась на мужчин, которые пьянствуют, и на худое житье; но Софья Федосеевна защищала мужчин, говоря, что они не все пьяницы, и если пьют, то непременно отчего-нибудь.

— А отчего ж мы-то не пьянствуем? — сказала Лизавета Федосеевна.

— Этого еще недоставало... Какая ты, сестра, глупая! До старости дожила, а говоришь бог знает что. Ведь ты сама знаешь, что у нас больше привязанности к дому. Кто бы без нас стал ребят воспитывать? Кто бы кушанья стал готовить?

— Однако возьми Устинью Николавну: у ней двое детей.

— Эх, сестра, сестра! — сказала со вздохом Софья Федосеевна. — Что же делать, если и из нашей братьи, рабочих женщин, наберется несколько пьяниц... Ее надо жалеть, стараться, чтобы она не пьянствовала!

— Все-таки, по-моему, нехорошо женщине пьянствовать в кабаках, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Што про это говорить!..

Женщины замолчали. Ребенок уснул, но за стеной все еще ругались мужчины, и визжала какая-то женщина.

Пелагея Прохоровна сказала, что у ней болит горло, хозяйка посоветовала ей выпить сала, а если она этого лекарства принять не в силах, то посоветовала простое средство: намазать на правый чулок сала с мылом и привязать чулок к горлу. Пелагея Прохоровна сказала, что это средство она знает, но думает, что пройдет и так.

— Ну, пренебрегать-то этим, матушка, нечего. У нас зачастую эта болезнь бывает, и мы только этим и спасаемся: днем заболит, к ночи привяжем, а к утру и пройдет.

В квартиру Горшкова вошла та женщина, которая звала Пелагею Прохоровну в питейное заведение. Она была слишком навеселе, размахивала руками, делала отчаянные жесты. Платка на ее голове не было.

— Еще здравствуйте... А, и вы здесь? Прекрасно! — проговорила она скороговоркой и села на табуретку.

Хозяева, видимо, были недовольны ее посещением.

— Представьте!.. Иванов стал ко мне примазываться. Каков сокол!

И она стала рассказывать, как к ней примазывался Иванов и как она выпила на его счет две бутылки баварского. При этом хозяйка просила ее несколько раз говорить потише.

— Этот Иванов и теперь ждет меня у Гриши. И я пойду! Вот околеть, чтобы я не пошла... И уж непременно напьюсь...

— Эх, как хорошо!

— Ей-богу, напьюсь!

— Не кричи, пожалуйста, Устинья Николаевна! — сказала Софья Федосеевна.

— Ну, и ты, Софьюшка, на меня!

Женщины опять замолчали.

— И отчего это ты, Николавна, пьянствуешь? Ну, выпила бы косушку перед обедом, легла спать, вечером тоже косушку... Да дома. А то ведь уже безобразничаешь много! — проговорила Лизавета Федосеевна.

— Худая я, скверная женщина... И сама знаю об этом. Да что ж я сделаю? Сердце так и сосет!

— То-то вот и скверно, что ты все деньги пропиваешь, а потом твои ребятишки голодают. Нехорошо.

— И сама я знаю, да скверный я человек. Помереть мне надо, вот что. Жизнь мне надоела хуже горькой редьки; ребятишки мучают. С самого рождения, кажется, я не видала радостей; почти все в работе находилась и ничего от этой работы не нажила хорошего. Вот мой-то покойничек все упрекал, что я-де получаю за работу деньги и никаких повинностей не несу. А на то он и не хотел обратить внимания, што ведь я и за паспорт платила и за больницу с меня брали, хотя я и никогда еще там не лежала! Ну, опять надо и за квартиру заплатить, и есть, и платье сшить; ведь я была молода, хотелось и одеться получше. Ну, а велик ли наш заработок, сами посудите! Ну, вот вышла я замуж, и помянуть это время нечем! Муж — пьяница, стал меня бить, не работал по неделям. Мы с ним исходили почти весь Петербург: где-где не жили! Теперь вот я одна, ребята есть-пить хочут, им надо одеться, а сами знаете, нашего брата с ребятами не везде-то жалуют на квартирах!

— Ты бы отдала детей. Что тебе с ними мучиться?

— Жалко. А придется, видно, отдать... Нет, я их при себе буду держать, пока еще могу работать. Я уж сама по себе испытала, Лизавета Федосеевна, каково расти-то в людях: сама не знала ни отца, ни матери.

Лизавета Федосеевна зажгла лампочку с керосином. По щекам Устиньи Николаевны текли слезы; Софья Федосеевна сидела грустная, подперши руками голову.

— Мать здесь? — крикнула девочка годов шести, войдя в кухню Горшковых.

Подойдя быстро к Устинье Николаевне, девочка уперлась в нее взглядом и спросила:

— Ты опять напилась?

— Вот у нас какие ласки-то! — сказала Устинья Николаевна и прибавила дочери: — а ты видела, что я пила водку?

— Все говорят. Потемкин тебя в кабаке видел... Иванов видел.

— Ну, так что ж такое!.. И знаете что, бабы! и жалко мне моих ребят, больно жалко, а вот так мне противно дома, так... — проговорила Устинья Николаевна и махнула рукой.

— Надо тебе, Николавна, перейти в другое место: там другие люди будут и не скоро научат ребят говорить тебе в глаза укоризны. Право. А тебе их трудно заставить не говорить; битьем не поможешь, хуже будет.

— Да я их и не бью. А покою от них нет. Уж как берегешься, чтобы они не знали, что я пошла выпить, — нет-таки! пойдет, вцепится в меня и давай плакать: не пей, мать! пьяна будешь! работать не будешь!

— Правда! — сказала девочка с укоризной.

— Ну, пойдем домой. Спокойной ночи. А ты, как тебя, приходи ко мне-то, у меня комната отличная, — проговорила Устинья Николаевна Пелагее Прохоровне и потом, взяв за руку девочку, ушла.

Горшковы минуты три сидели задумавшись. На Пелагею Прохоровну Устинья Николаевна произвела тяжелое впечатление. Она сознавала, что Устинья Николаевна права; но ведь, думала она в то же время, не всем же женщинам выпадает такая жизнь? Ведь вот Лизавета Федосеевна не пьянствует же и живет, кажется, достаточно, так что и кофей пьет. Конечно, с детьми было бы похуже, и умри ее муж, то и Лизавете Федосеевне с детьми не совсем-то бы было хорошо. Нет, видно, плоха жизнь рабочей женщины в столице!

Пелагея Прохоровна распростилась с хозяйками и ушла в свою комнату. Вскоре пришел брат. Он был трезвый и сказал сильно охриплым голосом, что у него болит очень горло, самого его тянет и ломит ноги. Лизавета Федосеевна опять-таки посоветовала Пелагее Прохоровне привязать к горлу ее брата чулок с салом, а завтра сходить ему в баню и хорошенько выпариться веником.

Пришел Данило Сазоныч и стал буянить. Он долго буянил и разбил стекло в окне. У соседей тоже долго ругались мужчины, и целую ночь плакали дети.

XIV

В которой Пелагея Прохоровна вместо работы попадает с братом на попечение людей

Горшковы встали в пять часов; сестры принялись за стирку, а Данило Сазоныч в шесть часов ушел на завод, выпросив у жены пятак на похмелье. Жена и сестра ее были очень рады тому, что он ушел и не проспал дольше; радость их еще увеличилась, когда они положительно узнали, что он ушел прямо из кабака на завод, и их беспокоило только то, чтобы он не хлебнул водки через меру перед обедом; хлебни он лишнее, пропадет послеобеденное время, а стало быть, и весь дневной заработок. Это для них много значило, потому что Данило Сазоныч получал платы за рабочий день по рублю двадцати пяти копеек серебром — и все-таки в настоящее время был должен содержателю харчевни, Сидору Данилычу, десять рублей уже года два, кабатчику Григорью Емельянычу Чубаркову рублей двадцать, да лавочнику рублей пять. Пелагее Прохоровне не понравилось в Даниле Сазоныче то, что он и не спросил об ее брате, а вчера обещался взять его с собой.

Брат ее, повидимому, спал. Но с ним была горячка, и он всю ночь ворочался с боку на бок, только Пелагея Прохоровна, не зная об этом, спала крепко. А так как ей показалось, что он спит, то она и не стала будить его и пошла на сахарный завод, находящийся на Выборгской стороне. Завод этот был обширный, этажа в четыре, и когда она пришла, он был в полном ходу. Пелагея Прохоровна многому дивилась тут: ее удивляли и машины, и огромные чаны, и печи. Машины стучали, колеса кружились, откуда-то раздавался свист, откуда-то показывался пар, так что ей немножко показалось боязно, несмотря на то, что она выросла в горном заводе. Но ее ободрило то, что рабочие расхаживали от одного предмета к другому смело, громко разговаривали, насвистывали, острили над мастерами-немцами, расхаживающими около машин и чанов с коротенькими трубками в зубах.

«Вот теперь я и сама буду сахар делать», — подумала Пелагея Прохоровна.

Мимо нее прошел молодой рабочий в красной ситце-

вой рубашке, в фуражке и в драповых черных брюках, без обуви на ногах.

— А што, можно мне поступить в работу? — спросила Пелагея Прохоровна этого франта.

— Теперь вряд ли примут.

— А што?

— Надо приходить до рабочей поры.

К рабочему подскочил приземистый немец, в тиковом коротеньком пальто, в фуражке, похожей на чайник, и с сигарой во рту.

— Пошоль!.. Што сталь?.. На табль пишу! — прокричал немец.

— Вот эта женщина в работу просится, — сказал, отходя, молодой рабочий.

— Вон!

И немец вытолкал из завода оторопевшую Пелагею Прохоровну.

Зашла она еще на две фабрики, и там ее осмеяли и прогнали мастера-немцы. Спросила она на одном литейном заводе, нет ли тут Игнатья Петрова, — такого не оказалось.

Дома хозяйка с сестрой стирали белье, а Панфил Прохорыч попрежнему лежал на полу. Он был очень бледен, едва поворачивал головой и с большим трудом произносил слова. Пелагея Прохоровна испугалась, Лизавета Федосеевна была недовольна тем, что в ее квартире есть больной, помянула Пелагее Прохоровне о деньгах за комнату и советовала поскорее отправить больного в больницу.

Пришел обедать Данило Сазоныч. Он был невесел и молчалив. Обед состоял из капустных щей с снетками и десятка жареной салакушки. Лизавета Федосеевна сказала о больном.

— Ну, вот!.. Всегда вы хотите на своем поставить! Надо его непременно в больницу отправить завтра утром. Есть у него адресный-то билет?

Оказалось, что у Панфила был только паспорт, а адресного билета не было.

— Ну, вот! Без адресного билета никуда не примут... Эдакой, право, народ глупый!

— Что же мне делать? — спросила с унынием Пелагея Прохоровна.

— Что делать? — сказал сердито Данило Сазоныч. — Нечего тут делать! — И он ушел на работу.

Пелагея Прохоровна была в отчаянии. Хозяйка с сестрой ничего не могли посоветовать, и им не хотелось, чтобы больной находился в их квартире; обе они были задумчивы и при Пелагее Прохоровне шептались, а это приводило ее в ужас. Она пошла в квартиру Петрова, но там никого не было; кузница тоже заперта. Попалась ей навстречу Устинья Николаевна, шедшая с узлом мокрого белья. Та на рассказ ее покачала головой и сказала: дело дрянь; попытайся разве сходить в клинику. Там, может, и примут.

Долго ходила Пелагея Прохоровна по двору 2-го сухопутного госпиталя; никуда ее не пускают, на вопросы не отвечают. В глазах у нее мутилось, и она не могла выйти из двора. Это заметили двое студентов недалеко от препаровочной и спросили ее, куда она идет. Та сказала. Один из студентов посмотрел на часы.

— Сегодня уже поздно, привези его завтра утром, — сказал он и указал ей выход из двора.

Назавтра Пелагея Прохоровна отвезла на извозчике брата во 2-й сухопутный госпиталь, а когда на следующий день пришла туда, ей сказали, что посетителей к больным не допускают и она может прийти к больному в воскресенье. Где лежит брат и какая у него болезнь — она ничего не узнала. Попыталась она опять спросить студентов, но те сказали, что в госпитале так много больных, что об ее брате ровно ничего не могут узнать, а только могут посоветовать ей сходить к такому-то доктору, который живет в таком-то месте при госпитале, и выпросить у него дозволение навещать больного ежедневно. Но и этого доктора она не могла дождаться.

Она возвращалась домой уже вечером. Ее очень беспокоила болезнь брата; к тому же Горшковы говорили, что в клинику отдают самых безнадежных больных, которых там и живых режут без церемонии... Жизнь казалась ей так пуста и тяжела, что она готова была кинуться в реку. Она была слаба и едва переступала ногами. Вечером она захворала, стала бредить и наделала много хлопот Горшковым, которые утром отправили и ее во 2-й сухопутный госпиталь.

Игнатий Прокофьич усердно работал на литейном заводе и домой приходил только спать. Уставши на работе и ослабевши от огня, он даже не заходил и в кабак, а ложился спать, чтобы завтра встать раньше. Поэтому он и не заходил в квартиру Горшковых, с которыми был давно знаком; кроме того, ему не хотелось, чтобы про него думали, что он ухаживает за их жиличкою. Но ему все-таки было интересно знать, как поживает Пелагея Прохоровна, довольна ли она и ее брат работой, и он хотел сходить к ним в воскресенье. Игнатий Прокофьич даже завидовал тому, что Пелагея Прохоровна живет в отдельной комнате, а не так, как он живет, с пятнадцатью рабочими. Ему такая жизнь с людьми не совсем нравилась, и он жил в артели из экономии. Рабочие, как в этом, так и в других домах, жили или семейно, или в артели. Семейный рабочий обыкновенно снимал квартиру — комнату с кухней, потом комнату разгораживал и отдавал под постой — или своим родным, или хорошему товарищу. Но Петрову казалось, что жизнь семейного человека тогда только хороша, когда муж и жена любят друг друга и между ними нет третьего лица. Только это убыточно, потому что за такую маленькую квартиру надо заплатить не менее восьми—десяти рублей в месяц, да дров нужно прикупить рубля на три зимой. Но и при жизни в семействах, как поселилась Пелагея Прохоровна с братом, все-таки и мужу и жене хорошо до тех пор, пока не появятся дети, которые и время отнимают у жены и соседям мешают. Жить семейно было хорошо еще тем, что там можно было по средствам сварить щи, кашу и т. п.; а в артели готовят кушания сообща, или артель платит за стол по три рубля с полтиною в месяц с рыла, и поэтому никогда не бывает довольна ни комнатою, которая плохо отапливается, никогда не проветривается, ни пищей, которая редко заключает в себе мясо и большею частию состоит из прокислой капусты, снетков и дрянной жареной рыбы-салакушки. Вот и на этой квартире у них была стряпуха, называемая маткою, но она, несмотря на то, что товарищи платили исправно деньги, постоянно готовила невкусный обед и ужин, и почти каждый рабочий говорил, что он не наедается, а некоторые так предпочитали закусить яичком или тешкой в питейном заведении.

На основании того заключения, что жить в комнате все-таки лучше, чем в артели, Игнатий Прокофьич, получивший в субботу расчет, решил нанять себе комнатку в том же доме. Но комнат пустых не оказалось, кроме как у Устиньи Николаевны. Он не осуждал Устинью Николаевну за пьянство; он знал, что она ни трезвая, ни пьяная — и даже при безденежье — не предавалась разврату, а ограничивалась только тем, что подлаживалась к мужчине, выпивала нужное количество водки и потом убегала, оставив мужчину ни при чем; но ему казалось, что она могла бы воздержаться от пьянства, что он ей постоянно и советовал и за что она его очень не любила. Поэтому Игнатий Прокофьич решил поискать квартиру в другом доме и пошел прямо в харчевню к Сидору Данилычу.

При расчете, то есть при получении денег за работу за месяц, одну и две недели, смотря по тому, где и как платили, рабочие и мастера различных фабрик и заводов шли к Сидору Данилычу, которому они были должны и у которого частенько ели и пили в долг до расчета; а так как получка производилась по субботам, то Сидор Данилыч в этот день, до двух часов пополудни, сидел сам в харчевне, а вечером сидел в трактире. Мастеровые при получении денег обыкновенно шли в харчевню, мастера — в трактир. Как те, так и другие водили компанию только между своею братьею. Но надо заметить, что Сидора Данилыча посещали не все мастера и рабочие, живущие и работающие на заводах и фабриках на Петербургской и Выборгской сторонах; тут было меньшинство; постоянных посетителей у Сидора Данилыча было человек полтораста, не больше; другие рабочие посещали другие харчевни. И теперь, когда в харчевню пришел Игнатий Прокофьич, в ней было не более двадцати пяти человек.

Сидор Данилыч был одет по-праздничному: в жилете, в черном галстуке на шее и в сюртуке; волоса у него были гладко причесаны, и он был очень вежлив и ласков.

Рабочие, празднующие в этой и других комнатах, были из двух фабрик и трех заводов, а как в этой комнате нашлось восемь человек из того же завода, на котором работал и Петров, то они и пригласили его к себе.

Пьяных еще не было, потому что многим рабочим нужно было сегодня уплатить сколько-нибудь долгов, дать денег на хозяйство и потом выпариться в бане.

— Совсем, братец ты мой, спутался, — говорил один рабочий из сидящих за одним столом с Петровым. — Теперь вот я получил тридцать восемь рублей, а осталось только семь. А почему? Вот теперь с меня сходит в год с семейством семьдесят пять рублей. За два года я был много должен, потому такой работы, как теперь, не имел. Ну, вот и стали взыскивать — подай да и только; коли, говорят, не отдашь, в полицию посадим. Теперь уж все заплатил долги-то, а тут опять за этот год плати! Просто беда!

— Што у тебя, много там земли-то?

— Какое много!.. Думаю вот в мещане записаться, так хлопотать некогда, и не знаю, куда лучше. И земли опять жалко.

— Што и с землей, если она не приносит пользы. А вот у меня и земли нет, а все из долгов выбиться не могу с тех пор, как от Шагинского завода отстал. Там меньше здешнего платили, а жил-то я ровно спокойнее, потому везде в долг верили. А как от завода-то я отстал, — и оказалось, што лавошнику должен пять рублей да в кабак одиннадцать, а тут переезд. Ну, они взяли да и представили в полицию; меня посадили, жена иконы и разное имущество заложила. Пришлось потом выкупать.

— И все это водка, — заметил рабочий.

— Трудно, братец ты мой, отстать от нее. Уж я сколько давал зароков не пить. И скажу вам, эти зароки никогда не нужно класть, потому — не пьешь, крепишься долго, а потом точно прорвет: выпьем осьмушку, да подвернулись приятели — и пошла круговая... А кабатчик рад, сам сует.

— Это так. И народ у нас тоже всякий. Вот я за Московской заставой работал, так по три рубля в сутки получал. Уж, кажется, чего лучше. А как получишь денежки за месяц — и пошел! Месяц-то работаешь-работаешь, хуже лошади, не доешь и не допьешь, а тут как получишь — и прихоти явятся, и деньги девать не знаешь куда. Надо бы с долгами расплатиться, напредки оставить, а товарищи говорят: полно-ко печалиться; отличись чем-нибудь, покажи, что ты не нюня какая-нибудь, да

так, братцы вы мои, раздосадят, что и пойдешь качать, да и прокачаешь всё!

— То-то, што как деньги-то получаешь через полмесяца али позже и рассчитываешь вперед, что-де я получу и могу брать в долг; а потом и окажется, что или тебя обсчитают, или ты лишка в долг переберешь.

— Оно бы, пожалуй, лучше, если бы деньги давали за каждые сутки!

— Это верно. Потому тогда бы сперва купил что требуется, а потом уже и гулять. А то как получишь много денег, и удержать себя не можешь. Гордость какая-то явится, важность. От других отстать неохота.

Из другой комнаты вышел Потемкин.

— Честной компании! — сказал Потемкин и поздоровался со всеми.

— Что ты мало сидел?

— Некогда!

— К полковнице идешь?

— Надо. Письмо по городской почте получил — зовет!

— А! значит, стосковалась твоя *симпатия*.

— Надо полагать, што так. Прощайте, братцы.

И Потемкин ушел.

Рабочие стали хохотать над ним и его симпатией, то есть любовницей.

— И удивительное это дело, братцы! Неужели это правда?

— Что он с полковницей-то? Тут, брат, — не разбери ты их господи! Вишь, дела-то какие. Года четыре тому назад я с Потемкиным работал вместе за Московской заставой. Он тогда получал в месяц, как и я, около сорока двух—пяти рублей. Такого говоруна и знающего, как он, у нас, правду сказать, не было. Это по-французски, по-немецки, по-чухонски — на всё мастер был наш Захар. Ну, и франт он был тоже хоть куда. Это в праздник оденется, шляпу наденет, пальто, и идет с тросточкой, — хоть куды помещик. Нам было и смешно, глядя на него, и приятно, что наша братья, мастеровые, могут щегольнуть не хуже какого-нибудь дворянчика. Ну, и собой он был красавец, а поэтому и любил ухаживать за барышнями, и ему всегда удавалось. Только вот раз он таким манером одевши гулял на Екатерингофе и познакомился там с полковницей. Ну, и после хвастается, что в него влюбилась

по уши какая-то барыня, и барыня молодая, только не совсем красивая. «Мне, говорит, от ее любви не будет тепло, а вот, говорит, я у нее попробую попросить денег...» Дня через два он опять говорит: «Эта барыня, говорит, следит за мной; вчера, говорит, к себе зазвала. Я, говорит, стал отказываться, она пристает. Ну, пошел. Квартира, говорит, хорошая. Ну, тары да бары — и до прочего дошло». И денег ему дала. Вот наш Потемкин и загулял и в кабаки в наши нейдет: днем сидит в трактире, а вечером к ней. На работу и глядеть не хочет и нашего брата кинул.

— Неужели она не могла с господами знаться?

— То-то, вишь ты, ей Потемка первый подвернулся. А парень был красивый. И теперь он красавец, как не попьет дня три да в бане смоет сажу. Ну, вот полковница и стала уговаривать его жить с ней, а Потемка этого не хотел. Как ни хорошо у барыни, а все-таки скучно, хочется погулять в компании. Пожил он с ней недельки две, да и стал исчезать. Она видит, что как волка ни ублажай — он все в лес смотрит, поняла, значит, что ошиблась, и перестала ему давать денег. Придет он к ней, посидит, она угостит его, уложит спать, опохмелит, а денег не даст. Потом и говорит: я, говорит, не люблю, что ты деньги берешь не на добро, а на безобразие, даже лучше, говорит, будет, если ты ходить перестанешь. Он так и сяк; станет у нее денег просить, — не дает. Он стал укорять ее, что она его совсем испортила, что он отвык от работы. Дала она ему рублей пять, он прокутил их, заложил и платье — и опять к ней за деньгами. Не дает. Видит Потемка, что дело дрянь, товарищи смеются, дразнят его полковницей, в кабаках водки не дают в долг. Вот он и перешел сюда, на Петербургскую. И что заработает — всё пропьет. Бывает, что и рубашки на нем нет.

Между тем посетителей в харчевне прибывало больше и больше. Больше и больше выпивалось пива и водки; за столами сидело уже порядочное число выпивших. Все говорили; немногие пели:

Голова болит,
    Ай люли! *(два раза)*
Ай да худо можется
Да нездоровится.

Нездоровится,
Гулять хочется,
Ай люли! *(два раза)*

Харчевня ожила. Все, казалось, были веселы; но всех веселее был Сидор Данилыч, сам подносящий, по требованиям, склянки. Рабочие, казалось, не знали счету деньгам, требовали то того, то другого, но до еды не дотрогивались. Водка и пиво уже начинали производить свое действие. Некоторые острили над Сидором Данилычем.

Большинство рабочих уже давно работало в Петербурге и поэтому отличалось от рабочих провинции особенным складом речи и живостью соображения. Они отвечали не задумавшись, хотя бы ответ и выходил неподходящий; в их разговорах слышалась непременно какая-нибудь острота, хотя и пустая, могущая показаться образованному наблюдателю глупою, но нравящаяся тем, к кому она обращается, и вызывающая их хохот.

Стало уже темнеть, а Петров все сидел. Ему весело было сидеть, потому что такого веселья, какое было здесь, в его квартире не было, да там едва ли даже кто был дома.

Вон за одним столом сидят шестеро. В числе их один в полушубке. Это рослый, здоровый, краснощекий и молодой мужчина. Он извозчик, возящий с мостовых сор и снег зимой, и познакомился с рабочими сегодня, потому что занял их смешными рассказами.

— А это ящо што... А вот как меня жена выстегала! — говорил он.

Все хохочут.

— Как тебя жена могла выстегать?

— Могла, да и все тут. Да так, братцы вы мои, што вперед в баню не захошь! больно сладко...

Рабочие хохочут до слез и заставляют повторить, что он чувствовал во время секуции, острят и хохочут.

— Да за что же это она тебя угостила?

— Именно угостила. Видишь, какое дело-то: пьянствовал я две недели, она возьми да к старшине, а тот и задал мне порку... Славную задал...

Опять хохочут.

— Што ж ты с женою сделал?

— Чего сделаешь? Поглядел на нее сыскоса и сказал: покорно благодарим, Дарья Ивановна!

— Молодая она?

— Моложе меня... Ну, а потом взял да и уехал в Питер с обеими лошадьми.

— Хороши, стало быть, бабы.

— Дьявольское отродье... От них надо завсягды обороняться. Теперь я, если с возом еду да завижу баб, в сторону поворачиваю.

— Боишься, штобы не выстегала!

— Заметил: непременно несчастие будет!

Но извозчик стал заговариваться, и от него скоро отстали.

К столу, за которым сидел Петров, подошел десятник, мастер, выбранный рабочими и утвержденный главными мастерами для наблюдения за порядком и рабочими и получающий за это по два рубля в рабочий день. Некоторые встали и поздоровались с ним. Петров сидел. Он не любил этого мастера. Десятник потребовал водки, стал угощать рабочих и рассказывал, как он поругался в трактире с главным мастером, Карлом Карлычем.

— Ну, от тебя этого не сбудется, потому что ты перед ним юлишь как собака! — сказал Петров.

— Ах ты, калуской азиат! — сказал десятник.

— Я? Вот, может, ты калужский-то вор! Господа! как он смеет так обзывать! Вы знаете, чем пахнет это слово?

Это название было, по понятиям рабочих, самое обидное. Поэтому товарищи Петрова вступились за него. Петров пересел к другому столу, начали пересаживаться и прочие.

— А! вам Игнашко Петров лучше нравится... Погодите! — говорил десятник.

Трое остались с десятником.

— Сделай милость. Ишь разлакомился. У тебя, брат, шуба-то лисья, да душа-то крысья, а у меня шуба овечья, да душа человечья. Кто тебя спасает от Карла Карлыча? Кто за горном-то спит пьяный целый день... Сделай милость, брат! Мы допекем тебя.

— Полакомься! [1] Кто говорит Карлу Карлычу, што ты вышел в контору?

---

[1] Это слово у петербургских рабочих означает все равно что — «возрадуйся». Оно употребляется как выражение обиды, оскорбления. (*Прим. автора.*)

— Что ты умеешь делать-то? Раз принялся на штуку колесо делать, цельный день возился и испортил, а Петров-то по шести колес в сутки делает. . . Полакомишься, брат, теперь! — кричали рабочие со всех сторон.

Десятник увидал, что дело плохо, и ушел.

Рабочие стали ругать десятника и тех, которые сидели с ним; за этих пристало несколько человек. Началась ссора, от которой Игнатий Прокофьич ушел. Он зашел в кабак к Григорью Чубаркову, называемому попросту Гришкой.

В кабаке тоже было немало народу. Извозчик, рассказывавший в харчевне о том, как его выдрали из-за жены, был уже здесь и сидел у дверей пьяный, без шапки и полушубка, в вязаной рубашке, — и ругал своего хозяина за то, что тот взял у него на хранение тридцать рублей денег и не показывает глаз двои сутки.

— Где ж у те полушубок-то и шапка?

— На фатере оставил. Не дали товарищи, — пропьешь, говорят. Гриша! А Гриша! Дай косушечку. Поверь: тридцать рублей у Кондратья лежат.

— Поворожи! — сказал Чубарков.

— Нешто я не волх? . . Да я, братец, по-чухонски умею!

— Ишь ты, какой ученый.

— То-то и есть. . . Да я хошь сейчас водки достану. Пойду к кабаку и скажусь, что я дворник.

— Ну? — хохотала публика.

— Скажу какому-нибудь судорабочему: зачем тут ходишь — нельзя! . . Гриша! Дай. . . рубашку возьми. . . сапоги.

— Ну, брат, ты помешался. Плохо, видно, тебя жена стегала. Ведь уж ты и так едва сидишь. Иди домой.

— Не пойду. Блазнит.

Вошел Горшков с узлом. По лицу его заметно было, что он пришел из бани.

Выпивши водки, он направился домой. Петров пошел за ним.

— А я, брат Игнатий Прокофьич, давно хотел поблагодарить тебя, да все как-то не подходило случая. Уж и жильцов же ты нам поставил! Нарочно как будто привел больных. Свезли в клинику. Вот теперь девчонка у Софьи захворала. Это от них. Нехорошо, братец! — проговорил обидчиво Данило Сазоныч.

Петров побледнел. Он расспросил подробно и высказал сожаление о том, что ничего не знал раньше.

— Я-то ничего, а вот Лизка с Сонькой сердятся... Я только боюсь, не прилипчивая ли болезнь-то у них: кабы бабы не захворали!..

Петров предложил Горшкову сходить завтра во 2-й сухопутный госпиталь и выразил желание водвориться к нему.

Они пошли в квартиру Горшковых. Лизавета Федосеевна высказала, вместе с сестрой, свое неудовольствие Петрову насчет жилички.

— Вы меня давно знаете. С какой стати я стану делать вам назло? А вот вы меня к себе пустите вместо них.

— Да я не знаю... Я деньги с нее уже получила... Неловко, — сказала Лизавета Федосеевна.

— Я ей возвращу деньги.

Лизавета Федосеевна подозрительно посмотрела на Петрова и ничего не сказала.

— Ну, да ладно, переходи... Ставь, баба, самовар, а завтра мы проведаем их. Что ты давно с ней, видно, знаком-то?

— Да так, месяца с три.

— Ишь ты, шуба овечья — душа человечья!

— Да ты, Данило Сазоныч, не думай чего-нибудь: я с ней и разговаривал-то, кажется, всего раза четыре.

— Што про это говорить!

И Данило Сазоныч завел разговор о Потемкине, который говорил ему, что переходит опять за Московскую заставу.

XV

В которой столичные рабочие разъясняют вопрос: где лучше?

Утром, на другой день, Игнатий Прокофьич перебрался в ту комнату, которую наняла Пелагея Прохоровна. Имущества у него было немного: сундук, образ Тихвинской божией матери в серебряном окладе и узел с хорошим платьем. Кровать он устроил скоро, так что к десяти часам он и Горшков уже были одеты по-праздничному и пошли во 2-й военно-сухопутный госпиталь.

Сперва они разыскали Пелагею Прохоровну. В палате, которую им указали, лежало до пятнадцати женщин. Около шести кроватей стояли посетители, мужчины и женщины. Когда они подошли к Пелагее Прохоровне, она спала, лежа на спине. Лицо ее было изменившееся, а по склянкам, стоящим на маленьком столике около кровати, можно было заключить, что она уже приняла немалое количество лекарств. Над ее головой, на черной дощечке, было написано мелом название болезни по-латыни. Они отошли к двери.

Большинство женщин лежало, меньшинство полусидело; лежащие говорили с трудом, смотрели на один предмет; полусидящие выговаривали медленно, точно у них в горле что-нибудь засело. Посетители, бедные люди, одетые по-праздничному, говорили тихо, старались придать себе бодрость, но это как-то не выходило: в их голосе слышалось дрожание, глаза выражали любовь, ласку и печаль. Нигде так человек не примиряется с человеком, как в больнице, как бы он ни был зол на противника. Невольно посетителю приходит мысль, что жизнь человеческая недолговечна и из больницы очень легко отправиться к праотцам. Тем более рабочий человек, видящий постоянно, что больные из больницы поступают прямо на кладбище, смотрит на больных с великим сожалением, много думает о прошедшем, примиряется с жизнью и желает себе смерти, думая: а ведь там лучше? По крайней мере не знаешь, что будет завтра, там ничего не чувствуешь... А то живешь, живешь, всегда чем-нибудь недоволен, на каждом шагу встречаешь препятствия — и, наконец, добьешься того, что умрешь в больнице.

Горшков и Петров стояли грустные. Им невыносимо тяжело было. Но они не говорили, а только взглядывали друг на друга со вздохами.

К ним подошла сиделка, толстая, высокая пожилая женщина, и сказала, что с их знакомой больной операцию в горле делали недавно и что к ней не велено никого пускать.

Печальные вышли из палаты Горшков и Петров.

— Вот она, жизнь-то наша! — сказал Горшков.

— Што про это говорить. Ищем, где лучше, а находим — могилу. Зачем родиться-то? — проговорил с досадой Петров.

— Слава богу, што у меня детей нет, — сказал Горшков.

Приятели замолчали и молча шли до конторы, чтобы справиться о Панфиле Горюнове.

— Умер вчера, — сказал писарь, справившийся в книге.

Горшкова и Петрова точно морозом обдало.

— Завтра в анатомическую снесут. Резать будут, — сказал писарь.

Петров взглянул на Горшкова, который смотрел в пол.

— А нельзя, чтобы не резать? — спросил Горшков сердитым голосом.

— Если родные найдутся... Если кто хоронить возьмется, резать не будут, потому что болезнь неинтересная.

Петров и Горшков вышли из конторы задумчивые.

— Как быть-то? Надо хоронить, — сказал Горшков.

— Зачем давать им резать?

— Нешто человек скот какой? Умер — и режь. Надо его домой взять.

Но трупа на дом не дали, а сказали, что его будут вскрывать, так как всех умерших в клинике вскрывают. Запечалились приятели, но делать нечего. Скоро они нашли, на Выборгской же, знакомого гробовщика, которому ничего не стоило сколотить из досок гроб и помазать его снаружи охрой, за что он, по-приятельски, взял рубль серебром.

— Теперь, на каком кладбище мы его похороним? — спросил Горшков Петрова.

— Не в Невскую же его тащить. Конечно, к Митрофанию. Это наше кладбище.

Сделавши все, что нужно, приятели пошли домой; но не могли есть и молчали. Лизавета Федосеевна, пристававшая к ним с вопросами, наконец потеряла терпение.

— Што, померли, што ли? — спросила она.

— Брат помер, а той операцию в горле делали.

— Экие времена-то, господи! сколько народу-то мрет. Диви бы, холера!

— Ну, да толковать-то нечего, приготовь чистую рубаху да штаны, — сказал Данило Сазоныч.

— А много ли их у тебя нашито? — проговорила недовольно Лизавета Федосеевна.

— Умрем, так ничего не нужно будет.

Обоим приятелям было тяжело, и они вышли на улицу, но и там невеселые мысли бродили в их головах; к тому же шел снег. Оба они хотели говорить, но ничего не находили, о чем завести разговор. Что об этом говорить! — заключил каждый и, сделав сердитый взгляд, отворачивал голову в сторону. Но Петров злился больше Горшкова.

— Што стоите, али баб караулите? — спросил рабочий, вышедший из другого двора.

Приятели промолчали.

— Што, Федул, губы-то надул? Аль дома худо? — спросил, улыбаясь, рабочий Данила Сазоныча.

— Так, невесело... Тут вот квартирантов пустил к себе, да захворали; вон там... — И он указал на Выборгскую.

— Померли?

— Один помер, другая-то тоже, может, помрет... Полакомься!

Рабочий замолчал.

— У меня вчера вот мать соборовали. Тоже, должно быть, скоро отойдет; а маленький сынишко ногу сломал сегодня. Спасибо, студент у меня на Дворянской знакомый живет, так полечил немножко... Вот и полакомься! Што ж, как вы думаете?

— Уж все готово. Надо завтра тащить. Думаем, где ближе — через Литейный али Троицкой — к Митрофанию.

— А на Волково не ближе?

— Не хочу я на Волково!

Все трое вошли в заведение к Грише Чубаркову и сели за стол. Молодой извозчик сидел у двери с растрепанными волосами, с опухшим лицом, босой; вместо вязаной рубахи на нем была надета холщовая, и холщовые же штаны вместо суконных брюк.

— Не дашь? — говорил он хозяину заведения.

— Нет... Что, Данило Сазоныч, скучный такой? — обратился хозяин к Горшкову.

Тот закурил трубку и рассказал о причине своей грусти.

— Вот теперь надо его тащить, а ведь двоим-то, пожалуй, и не дотащить, Игнатий Прокофьич! — сказал вдруг Горшков Петрову.

— Надо попросить товарищей.

В кабаке нашлось четыре человека, пожелавших отнести гроб на Митрофаниевское кладбище.

На другой день Горшкову и Петрову было много хлопот. Нужно было выхлопотать свидетельство на дозволение хоронить, брать билет на место в шестом разряде, просить, чтобы покойника позволили поставить в церковь, чтобы он пролежал там обедню, упрашивать могильщиков, чтобы они к концу обедни успели выкопать яму, — и т. п. И за все это нужно было платить деньги, так что с отпеваньем у приятелей вышло расхода четыре рубля с копейками. В церкви покойников было штук пятнадцать, и в церкви только и было разговору, что об умерших. Обедня кончилась; но вот началось отпеванье всех покойников разом. Каждый зажег свечку, а если у кого не было денег, то тому давали свечку. Монотонное пение, и особенно «Со святыми упокой» и «Плачу и рыдаю», взволновало в церкви все общество; начались рыдания женщин, кашли, сморкания; те, которые не рыдали, плакали и, смотря на какой-нибудь гроб, слегка покачивали головами; мужчины, стоявшие ближе к гробам, старались не плакать, но слезы сами собой сочились из глаз, и они слегка утирались своими заскорузлыми кулаками; те же, которые стояли дальше и не могли видеть гробов, не плакали, но, тяжело вздыхая, смотрели на свои зажженные свечки, как бы стараясь этим развлечься.

Наконец понесли покойников из церкви. До могил священники не провожали, потому что шестой разряд неблизко. В этом разряде было много еще свободных мест, но ямы вырыты только на аршин с четвертью, потому что на дне вода. Гроб с Панфилом так и шлепнулся в воду.

— Вот, брат, тебе и спокой. Ищи, брат, где лучше! И жизнь-то худая человеку на земле, и умрешь-то, так в воду попадешь. А ведь тоже искал, где жизнь лучше? — проговорил Данило Сазоныч, когда стали зарывать гроб.

— Все мы ищем этого.

— Пятнадцатью человеками меньше стало. А народилось-то, поди, еще больше.

Саженях во ста от могилы Панфила стояло четыре гроба. Их спускали один за другим, два поставили рядом, другие два — на эти гроба. Это публике не нрави-

лось, и она стала приставать к могильщикам, чтобы не ставили гроба на гроба.

— Не раздерутся!.. Не велики господа!

— И то еще ладно, што в разные гроба положены. А то вон привозят по два и по три в одном гробу, — говорили могильщики.

Скоро народ разошелся.

Недалеко от кладбищенской ограды стоит питейное заведение, мимо которого никак нельзя пройти ни из кладбища, ни в кладбище.

— Догадливый этот народ, кабатчики: отличное место себе выбрал. Ну, как не выпить? — проговорил Горшков и повернул к кабаку; за ним пошел и Петров и другие.

В кабаке было уже несколько посетителей, так что скоро в него набралось до тридцати пяти человек, отчего и стало тесно.

— Хорошо, братец, тебе торговать тут! — сказал один портной.

— Ничего. А тоже от времени много зависит, — ответил кабатчик скороговоркой, наливая в стаканы водку.

— Што про это говорить? Поди, в день-то рублей десяток выручишь?

— Все от времени. Вот теперь осень, народу мрет больше, ну, и посетителей больше.

— Ну, все-таки тебе хорошо тут.

— А вот в самом деле, господа, где, по-вашему, лучше? — проговорил кто-то в народе.

— Это, то есть, как?

— Об деревне и говорить нечего; в столице дрянно. Где же хорошо-то?

Большинство подняло этот вопрос и начало его разбирать; другие сказали, что об этом рассуждать не стоит, и вышли.

В кабаке стало меньше народу, так что оставшиеся расселись на стулья и взяли по косушке водки.

— Нет, в самом деле, братцы, где лучше?

— Кабатчику лучше, вот особливо ему. Он все едино, што поп: как началась обедня — и пошли к нему залить свое горе людишки. Схоронили эти людишки своих род-

ных или знакомых да помянули их у него — он и лавку на замок.

— В кабаке лучше, — сказал Горшков.

— В самом деле, братцы, в кабаке лучше! — подхватило несколько человек.

— Именно. Я эти дни как собака бегал, и со мной не то лихорадка была, не то что... Голова так вот и хочет треснуть. А как выпьешь — немного повеселеешь. Ну, и приятели и все такое. А дома хоть бы не показывался. Вот тоже в церкви... Как тяжело! И плакать бы, кажется, не от чего: известное дело, все там будем; нет, слеза так и прошибает... А вот как выпил, ничего. Оно как будто тоска какая-то на сердце, а в голове ровно легче.

— Это ты справедливо говоришь. В кабаке не в пример лучше, только забываться не надо.

— По-моему, тогда хорошо, когда ничего не чувствуешь.

— Не о времени разговаривают, об месте... На работе чижало, обижают; дома нехорошо, да и што за дом, коли своего-то нет, али хоша есть, да в деревне. А куда нашему брату идти? В киятр дорого, и времени нету; гулять мы не привычны с господами, тошно... Вот одново разу я соблазнился, пошел музыку слушать в манеже, да заместо музыки в часть попал... Такой, братцы, мне в части концерт задали, што всякую охоту теперь отшибло от концертов. Провались они совсем! — говорил один сапожник.

— А по-моему, в могиле лучше, — сказал кто-то.

— Ну, это ты, может, с горя...

— А в самом деле, умрешь — и конец.

— Это справедливо, никому сам не мешаешь, и тебе никто не мешает. Вполне спокоен. В церкви-то вон не напрасно поют: «Идеже несть болезнь, ни печаль, но жизнь бесконечная». Недаром же мы, братцы, терпим такую канитель. А што это справедливо, так видно и из того, што и по законам строго запрещено разрывать могилу покойника. Значит, еще и уважают. А в жизни кто тебя уважает? — проговорил Петров.

— Именно. Недаром, видно, мой брат повесился.

— А вот вчера я шел по Троицкому мосту... Иду, вдруг какая-то баба бултых в Неву. Только ее

и видели... Городовой кричит: лови! Куды!? Значит, есть люди, кои сами себе смерти желают. Только грех вот.

. . . .

. . . .

Народ начал спорить, и дело чуть не дошло до драки, но пришел городовой и стал их унимать.

— Нет, братцы, подлинно в земле лучше. Хорошо бы было и в кабаках, если бы городовые не мешали, — сказал кто-то.

И народ разошелся.

XVI

По поводу разрешенного в предыдущей главе вопроса Петров хочет пробовать, подобно немцам, добиться до какой-нибудь пользы

После похорон предыдущий разговор заставил сильно призадуматься Игнатья Прокофьича. «В сàмом деле, в могиле лучше», — долго вертелось в его голове, и, наконец, его взяло зло, потому что как он ни разбирал свою жизнь, все приходил к тому же заключению. «Богатому человеку везде хорошо, — думал он: — но и богатый не всегда доволен; черт с ним и с богатством. Не надо мне его. Вот так бы жить, чтобы и работа была, и деньги водились, и нужды бы не знать». Но вот этого-то и трудно, почти невозможно добиться. Но неужели невозможно? Почему немцы приходят в Петербург с пятьюдесятью рублями денег — и через десять лет дома строят? Он сам, бывши мальчишкою, работал у одного немца-кузнеца; немец тогда нанимал маленькую квартирку на Гороховой и жил очень бедно, а теперь у этого немца есть своя фабрика и свой дом. Почему большая часть ремесел находится в руках немцев и отчего если за что-нибудь возьмется русский, дело у него не клеится, русский разоряется и держится только по торговой части? Ведь, кажется, для столярного и кузнечного занятия нужны не бог знает какие знания и капиталы? Петрову казалось, что немцу, или вообще иностранцу, дают более ходу и веры; немец немца скорее вытянет из беды, чем русского, а русский русского, прежде чем вытянуть из беды, еще подумает, можно ли, да будет ли какая от этого ему польза. Немец не трусит, ставит последнюю копейку ребром и

если устроивает какой магазин, то на хорошем месте, одевается по-заграничному, говорить умеет по-французски, умеет подделаться к господам, которые больше льнут к заграничному, думая, что все заграничное лучше своего, тогда как сам немец и понятия, может быть, о такой-то вещи не имеет, и делают такую-то вещь русские рабочие. Стало быть, тут виноват сам же рабочий, свободно отдающий себя в кабалу, и неуменье его взяться за дело как следует, трусость его, и простота, и главное — неуменье беречь деньги на черный день. Немец деньги свои употребляет на материал или товар, а русский на водку и другие удовольствия, отчего впадает в долги и кончает тем, что, пропивая вещи, теряет через это работу, или, как выражаются портные, давальцев. Но что же бы сделал сам Игнатий Прокофьич, если бы он захотел заняться чем-нибудь? Теперь немцев в Петербурге очень много; почти все ремесла в руках немцев и французов, так что многим даже немцам и французам приходится с трудом заработывать себе пищу и деньги за квартиру. Стало быть, ему очень трудно будет найти заказов, и он только понапрасну затратит деньги и насмешит людей. Но, однако... Немцы, как бы им ни было трудно, не едут же из Петербурга... А если и есть такие, что едут в провинцию, так это или аферисты, или такие, которые уже спились в Петербурге. Отчего портные и сапожники, работая в одиночку, без мальчиков или работников, не бросают своего ремесла? Неужели столярное или кузнечное занятие самое пустое?.. «Все это, — думал Петров, — потому больше происходит, что наша братья привыкла работать на фабриках или заводах, где народу много работает, где можно меньше сделать, чем одному дома, и где плата известная. Там, дома-то сидя, не знаешь еще, будет или нет у тебя работа, а на фабрике или заводе проработал день — и знаешь, сколько тебе следует получить. Ну, и жизнь рабочего на фабрике или заводе такая сложилась, что его тянет из дому, ему скучно без компании, а компания только высасывает деньги, и каждый, не желая отстать от других, ставит последнюю копейку ребром, не заботясь о том, будет ли он в состоянии завтра идти на работу».

«Попробую я сам жить, как живут немцы», — решил Петров и этой мысли уже никак не мог выкинуть из

головы. Денег у него было очень мало, и он остановился на том, чтобы поработать на заводе недели две, жить экономно, в праздники походить по городу, посмотреть какого-нибудь выгодного места, чтобы перейти туда, и нанять комнату, в которой бы можно работать в свободное время. Он решил поработать дома что попадется. «Надо будет запастись всякими инструментами — и для кузнечного и столярного дела. В сундуке у меня хоть и есть, только мало. Ну, а бросового железа и меди можно из завода натаскать — на грех-то тут нечего смотреть. Нужно непременно с дворниками и лавочниками познакомиться, да дом такой выбрать, штобы в нем других мастеров не было. И отчего это я раньше не решался?.. Вот и Пелагея Прохоровна говорила мне: отчего я сам собой не работаю, — так я наговорил, как и все товарищи. Надо рискнуть».

Хотя Петров о своем намерении заняться мастерством никому не сказал, но товарищи заметили, что он что-то замышляет. Он был молчалив, много работал и отвечал нехотя.

— Смотри, брат, надорвешься! А ныне нам прибавку обещают, — говорили ему на заводе товарищи.

— Какую прибавку?

— Скидку по двадцати копеек. Полакомься!

— Это почему?

— Ну, уж так в конторе болтают.

— Надо, братцы, узнать достоверно, — сказал Петров и пошел в контору.

— Говорят, нам убавят заработку? — спросил он конторщика.

— Пошел вон! — крикнул конторщик.

— Нет, однако, позвольте... После мы же будем виноваты...

— Не твое дело.

Когда он воротился на завод, то десятник, который обозвал его калужским азиатом, стал требовать, чтобы он повесил нумер на таблицу. На заводе, у стены, около двери, висела таблица; на этой таблице висели жестянки с нумерами. Взявший жестянку считался рабочим на заводе, и его нумер десятник отмечал в своей книжке и на таблице мелом; когда рабочий уходил из завода домой, то свой нумер вешал на таблицу; поэтому уходящие

обедать домой уносили жестянки с собой для того, чтобы их нумер не попал другому, отчего десятник часто путался в своем счете по книжке.

Петров рассердился.

— С какой стати я тебе жестянку дам? Полакомься! — и пошел к горну.

— Ну, мне все равно, я тебя уж вычеркнул.

Петров пошел разыскивать мастера Карла Карлыча и нашел его сидящим на машине и курящим сигару. Это был толстый, низенький, обросший бородою немец, которого рабочие прозвали чурбашком. Но он был добрейшее существо.

— Што, каспадин Петров?

Петров рассказал, в чем дело.

— Зачем обижаль. Нельзя обижать начальников. Иди робь.

— Велите ему записать меня снова. Я ходил в контору. Ведь вы видели меня здесь после шабашу.

— А што тебе до конторы?

— Да как же, болтают, будто нам сбавка готовится.

Немец засмеялся и сказал:

— А если и так?

— Вам-то ничего, вы по сту двадцать рублей получаете в месяц, вам не сбавляют. А мы-то чем виноваты?

— Время идет! Робь. А уходить будешь, расчет получишь.

— Вот у них, у подлецов, какая справедливость! Поневоле руки опустятся, — сказал Петров собравшимся около него рабочим по приходе от мастера.

— Стоит разговаривать с ними.

— Нет, их надо допытать. Они, как мы станем получать деньги, после действительно дадут двадцатью копейками меньше. Не в первый раз. Скажут: зачем работали? А это ведь и нам расчет и им расчет. Положите на четыреста человек по двадцати копеек, — сколько составится в сутки капиталу? . .

Вечером в этот день во всех квартирах и кабаках только и было разговору, что о смелости Петрова и сбавке платы. По этому поводу у Григорья Чубаркова собралось много народу, который водки брал мало, что не очень нравилось Чубаркову, и он сам навязывал им взять в долг.

— Когда не нужно, ты предлагаешь, а после тебе и давай деньги при получке, а тут толкуют, што плату обрезывают.

— Што же это Петров-то нейдет? Смутить — смутил, а потом спрятался.

— А Петров мастер первый сорт. Жалко, если его уволят.

— Ну, уволить — так уволили бы сегодня.

А Петров рассуждал в своей квартире с Горшковым.

— Где не следует, там мы бойки. Вот и теперь, поди, в кабаках пьянствуют и похваляются чем-нибудь да свои способности высчитывают, — говорил Петров недовольно.

— Ну, эдак, брат, много не получишь, если будешь менять заводы, — отвечал Горшков. — Ведь они, скоты, не дорожат нашим братом.

— И все-таки молчать я никогда не стану и говорю, что наши рабочие дураки, потому что сами потакают.

— Ну, хорошо; ну, если не станут все работать — закроют завод, думаешь? Нет, новых наберут.

— А новые-то и будут всё портить.

— А мы все-таки будем без хлеба... Уж я знаю. Раз тоже мы эдак сговорились и стали все требовать расчета. Расчет обещали через день. Мы не пошли, завод заперли. А у половины мастеровых денег нет. Кабатчики и лавочники, как заслышали, что такой-то завод не в ходу, перестали и в долг верить. На другой день тоже расчета не дают, и тоже никто не хочет работать; а голод берет свое. Хорошо, кто успел на другой завод или фабрику попасть. Так ведь нас пятьсот человек с лишним было: куда ни придешь, везде нумеров нет. После оказалось, что на соседних заводах да фабриках мастера стакнулись между собой: остальные жестянки попрятали. Ну, на третий день выдают расчет — половину. Вот и полакомься! Жалуйтесь, говорят. По вашей, говорят, милости завод двое суток стоял, компании убыток. А в заводе уж и новый народ понабравши. Ну, наши-то почесали затылки — и пошли опять в работу, потому есть было нечего.

— Кабы поменьше пьянствовали, были бы деньги, — сказал сердито Петров.

— И никогда денег не будет, если мы так будем получать. Если бы давали за каждые сутки, тогда — так.

Петров на это ничего не сказал. По его мнению, такая

выдача хороша бы была, если бы производилась с самого основания заводов и если бы рабочие не надеялись на завтрашний день, но так как в Петербурге за квартиры везде платят вперед и гуртом, то Петров находил более удобным получать плату в каждую субботу, а не через месяц, в течение которого рабочие много должают. При таком порядке рабочий мог бы сообразить: следует ли ему еще работать на таком-то заводе, и, уплатив из платы часть долга, мог бы употребить понедельник на приискание другого места.

На другой день рабочие завода, на котором работали Петров и Горшков, собрались перед конторой и стали требовать объяснения: почему сбавляют плату без их согласия?

— Кто вам сказал, что сбавляют? плата та же, только требуется сокращение рабочих.

Рабочие успокоились и постарались взять поскорее жестянки, которых против вчерашнего оказалось на таблице меньше.

Петрову и еще десятерым рабочим жестянок не досталось.

— Што это значит, братцы? Мы когда работали полным комплектом, и тогда еще болталось жестянок двадцать, а сегодня, кажется, человек двадцати недостает, и тут на явившихся не хватило? — говорили рабочие.

— Это штуки! — проговорил Петров и вышел.

Остальных рабочих, не получивших жестянок, потребовали в контору, и там они получили должное внушение и жестянки. Петров тоже пошел в контору.

— Позвольте расчет.

— Приходи через две недели, — ответили ему спокойно.

— Значит, и на работу не принимают и денег не платят?

— Если ты хоть слово еще скажешь и не выйдешь сию минуту, тебя в полицию отправим. Бунтовщик!

Так как Петрову знакомы были полицейские порядки, то он ушел домой.

Там соседка Соловьева ругалась с Горшковыми. Женщины голосили так, что разобрать их было довольно трудно. Игнатий Прокофьич пошел вон из квартиры.

— Игнатий Прокофьич, разбери ты нас... Вот она

говорит, что я ее мужа рубашку дала на покойника, — проговорила хозяйка, останавливая Петрова.

— Сколько рубашка твоего мужа стоит? — спросил Петров, подойдя к Соловьевой.

— Да я денег и не прошу вовсе.

— Она еще попрекает меня тем, что я будто бы в связи с тобой, — сказала Софья Федосеевна.

— Если бы она совесть имела, не говорила бы этого.

И Петров ушел рассерженный. Он встал на Самсониевском мосту, долго смотрел на плывущий лед. Ему уже не в первый раз приходилось бывать без работы не по своей вине. «Пойду на Обводный канал, посмотрю там место, найму комнату и попытаю жить по-новому».

Зашел он в сухопутный госпиталь, — Пелагея Прохоровна значилась в живых, но его и сегодня к ней не допустили, а велели прийти в воскресенье или вторник.

По Обводному каналу, идущему из Невы по краям Петербурга и впадающему в пролив, отделяющий Гутуевский и другие острова от столицы, находится много разных фабрик и заводов, больших и малых. Поэтому набережная этого канала преимущественно населена рабочим людом, и там более, чем в других местах, кипит деятельность рабочего класса. Но попасть в какую-нибудь фабрику или завод не очень легко даже и хорошему петербургскому мастеровому, не только что какому-нибудь новичку в фабричном или заводском деле, потому что все эти фабрики и заводы постоянно имеют своих рабочих, а некоторые, по большому производству в них дела, имеют даже и постоянных рабочих, которые, работая на одних заводах, постоянно, лет пять, живут в одних домах, меняют редко кабаки и мало знакомятся с рабочими других заводов и фабрик.

У Петрова были знакомые почти на каждой фабрике и заводе, и он знал, на которой из них лучше; но со своими знакомыми он видался только на народных гуляньях, на Адмиралтейской площади, в пасху и в масленицу. В течение пяти последних лет он слышал от них, что во всем Петербурге самый хороший заработок в трех местах, прилегающих к Обводному каналу.

Зашел Петров на один завод, и его на первых же порах поразила темнота. С виду здания громадные, чуть-чуть не дворцы, а внутри темно, душно — точно тут

вываривается какое-нибудь масло. Это на него произвело тяжелое впечатление. Он прошелся по промежутку, по обеим сторонам которого работали мастеровые, — и чем шел дальше, тем воздух был удушливее, и рабочие казались ему похожими на мертвецов. Все рабочие смотрели на него с любопытством, но ни один не спросил, кто он и зачем пришел. Мастеров он не увидал ни одного. Работа продолжалась, как по машине, да и люди походили скорее на кукол, двигаемых машинами.

— Братцы, не знаете ли вы Демьянова Егора? — спросил Петров одну кучу рабочих.

Рабочие стали спрашивать друг друга. Это переспрашиванье перешло по всему отделению.

— По какой он работе? — спросили Петрова.

— По рельсовой.

— Это не у нас.

— Што же у вас-то?

— Колеса, крючья, цепи... Мало ли? Здесь кузница; дальше будет формировочная, потом казенная...

— А много ли вы получаете?

— Мы казенные, и цена у нас казенная. У нас по комплекту. Так што ежели у кого есть дети — дети должны сюда поступать.

— А если кто со стороны желает поступить?

— Нужно свидетельство на то, где он обучен. Потом у него возьмут согласие работать на столько-то лет.

— И вам это нравится?

— Ошиблись в расчетах... Хотим просить вольготы. А впрочем, говорят, новое начальство будет: обещают другие порядки.

Пошел он к водочному заводу. Там не работали: что-то попортилось. Идя мимо него, Петров встречался с рабочими, или стоящими у перил набережной, или сидящими перед воротами.

— Что это завод-то ваш оплошал? — спросил он одну кучку.

— А штоб ему сдохнуть!.. толкуют, хозяин под суд попался, да и попортилось што-то.

— Да ведь если под суд попался, так надо бы больше заработывать. Не так ли, братцы?

— Так-то так, да управленье-то дурацкое. Управляющий, говорят, сбежал в другое место и отчеты сжег.

— Ну, это другое дело... А вы все-таки ждете у моря погоды?

— Что делать? Надо. Мы не привыкли к другому делу, тут у нас семейства на квартирах.

— Что про это говорить! А вас много?

— Да до тысячи с лишком наберется.

На заводе главного общества железных дорог впечатление было лучше.

— У нас тем хорошо, што свой суд. Кто если станет жаловаться полиции, того вон. Плату дают исправно, в какое время скажут, без задержки. Если не придешь, сам виноват, потому у нас полторы тысячи рабочих. У нас принимают всяких, так что есть солдаты, которые умеют только музыкантить, а кузнечного ремесла не понимают, — и те получают по пятидесяти копеек в сутки. Ну это, конечно, зависит от нас. А вот насчет занятия у нас обрезывают.

— По-заграничному?

— А уж кто его знает. У нас рассчитано, сколько к какому делу нужно мастеровых и сколько поэтому должно выйти в сутки. У них таким порядком рассчитано, сколько обществу стоит каждый рабочий день, и идет все как по маслу — ни прибавки, ни убавки. Только вот тем мастеровым-то убыточно, кои работают со штуки. Например, мне в сутки положено рубль двадцать копеек, больше я получить не могу, это высшая плата, потому что у нас десятники получают по рублю сорок копеек в сутки, и поэтому если я починю пять колес в сутки, то кладется в счет только два колеса, а за остальные мне ничего не платят.

— А зачем же усердствовать-то?

— А если делать нечего? Да для меня плевое дело исправить колесо или новое сделать; известно, одно колесо в десяти руках перебывает, а только к одному попадает на штуку. А если сидишь без дела, ругают. Уйти нельзя, денег не дадут за цельный день.

Петров зашел к одному мастеровому, недалеко от Варшавской железной дороги. Приятель его был дома и починивал замок, а мать приятеля гладила манишку.

— У нас здесь по-заграничному: если на работу не пришел, представь свидетельство от доктора, коих у нас трое, — ну, и примут; если обругал мастера, потащат

судить в правление и потом рассчитают; если работа случится ночью, плату увеличивают. Ну, и начальство любит, чтобы его уважали.

— Ну, а как же ты дома-то работаешь? — спросил Петров приятеля.

— Да так: захворал. Живот так и тянет. Выпил перцовки — не легчает. Сходил к нашему доктору, тот какого-то лекарства прописал, и все нет легче. Вот я и принялся дома за замок, уж недели две как взял, кончить надо. Ну, а ты как? Ведь у вас там лучше нашего...

Петров рассказал приятелю о своем намерении.

— Оно, пожалуй, отчего не попробовать, если есть деньги. А все-таки у вас лучше нашего тем, что платят хорошо. У нас хоть и легче работа, иной раз и делать нечего, а уйти нельзя, потому что за тобой день считается, это уж больше тридцати пяти рублей не получишь в месяц.

От приятеля Петров зашел к одному лавочнику, Телятникову. Телятников годов шесть тому назад жил подручным у лавочника и, женившись на его сестре, открыл на набережной Обводного канала свою лавочку. Он рассчитывал на рабочий народ, которого тут живет много, но стал продавать дороже других лавочников и не верил на книжки, отчего у него торговля шла тихо. Кроме этого, некоторых вещей он не держал вовсе в лавке. Лавка его хотя и была первая в шестом доме от угла Измайловского проспекта и другие мелочные лавочки находились от его лавки к Царскосельскому проспекту через три дома, но народ шел за провизией в эти лавки. И Телятников перебивался кое-как, продавая вещи жильцам того дома, в котором он снимал лавку, служащим на Варшавской железной дороге, извозчикам, возящим грязь и другие нечистоты и живущим через дом от его лавки в каком-то пустом амбаре, и летом — судорабочим. Поэтому Телятников стал продавать дешевле и отпускал в долг, но и тут покупателей было мало, потому что все привыкли покупать в одном месте, и к нему шли брать только такие, которым не верили в других лавочках.

— Ну, как дела, Герасим Трифоныч? Больше году, как уж вы здесь живете, — спросил Телятникова Петров.

— Просто хоть лавку запирай. На два рубля в сутки торгую.

— Што так плохо? Вы говорили, что здесь вам отлично будет торговать, потому что лавочников мало, Сенная далеко, а народу живет много такого, которому некогда разбирать, где товар лучше.

— Да здесь такой, я те скажу, народец — беда. Вот, например, варшавские: взял раз, не понравилось, — и ни за что ты его в лавку не заманишь. Мало этого, своим товарищам скажет, какой у меня хлеб, — и тому подобное. А мастеровые такой народ воровской, што и говорить нечего: он все норовит, как бы ему в долг. Наберет много, видит, что денег нет, и пойдет забирать в другие лавочки; так за ним и пропадут деньги, — беда! Теперь вот за помещение я плачу в год четыреста пятьдесят рублей серебром, — а што? Лавка маленькая; когда идет дождь, вода в нее льет, а весною наказанье с этой водой.

— Отчего ж другие торгуют и не жалуются?

— Оттого, что они давно тут торгуют и про меня всякую всячину насказывают своим покупателям. Надо будет в другое место перебраться, только еще не знаю, куда.

Навстречу Петрову попался Потемкин. Он был одет франтовски, на жилете красовалась цепочка.

— Который час на твоих колесах, Захар Константиныч? — спросил Петров Потемкина.

— Все! — и Потемкин дернул цепочку, которая оказалась без часов. — Собираюсь к полковнице, надо еще малую толику взять денег. Вот я и выдумал цепочку. А даст, я знаю.

— Поладили, значит?

— Еще бы. Только теперь уж я к ней, когда нужно, буду ходить. Она, вишь ты, пригласила меня за тем, што муж ей написал, што едет в Петербург по делам и хочет ее требовать к себе. Ну, она мне и говорит: ты, говорит, Захар Константиныч, поживи у меня это время. Как муж приедет, я скажу ему, что с ним не желаю жить, а желаю развода, чтобы с тобой обвенчаться.

— Ишь ты, братец, какие у вас дела! Ну, што ж ты не хочешь на ней жениться?

— Избави бог! Она барыня, а я мужик. Да я и не намерен жениться: что мне чужую-то жизнь заедать...

— Неужли у нее получше нашего брата нету людей?

— Кто ее знает. Ей, должно быть, потому хочется за

меня, што у нее есть девочка; третий годок ей идет. И говорит она: как только выйдет за меня, то продаст именье в Польше — еще есть десятин триста — и откроет здесь магазин и читальню для рабочих — просвещать, слышь ты, нас хочет. И жалко мне ее, да не нравится она мне, и от теперешней жизни отстать не хочется.

— По-моему, нехорошо от нее вытягивать деньги.

— И я это знаю. Все, что ни говорю товарищам о себе, — хвастовство одно; а стань хвалиться, что поступаешь честным манером, смеяться станут. Вот и про часы я тебе сказал тоже неправду. Она мне подарила часы, а я их спрятал в сундучок и даже в кабак не закладываю.

— Ведь ты ее любишь?

— Иногда жалко мне ее, так вот тебя и тянет. А пойдешь — назад тянет. Придешь к ней, скучно, да и она уж не такая веселая, как прежде, — все укоряет. Вот только у пьяного и смелость явится — так редко пускает пьяного! А уж жениться я не могу на ней и подавно. Женишься, она и возьмет тебя в руки; станет грызть. Я было думал, в таком случае, если бы напала дурь, в самом деле жениться на ней, открыть какую-нибудь кузницу али мастерскую, потому я это дело хорошо смыслю, да ведь я слаб. Вот и теперь — неделю не пьешь, а как запьешь, дак все к черту. Што про это говорить! .. Прощай.

И Потемкин пошел.

Четыре дня Игнатий Прокофьич высматривал себе место и квартиру, и везде ничего не оказывалось. Никто не хвалился своим житьем, все сетовали на дороговизну, грубое обращение мастеров и хозяев, слабое здоровье, — и Петров был в затруднении насчет места. Но ему уже не хотелось изменить своего желания, и он искал.

XVII.

Как Петров домогается того, чего хотел

Петров ходил до сих пор по краям; теперь он пошел внутрь Петербурга. Но тут проходил он понапрасну два дня. Наконец зашел в одну из мастерских на Итальянской улице, с хозяином которой он восемь лет тому назад работал вместе на одном заводе. Этот господин тогда

женился на немке и открыл мастерскую. В течение шести лет они видались в пасху и в масленицу на гуляньях, а потом Петров так и не слыхал о хозяине с Итальянской.

Над воротами большого четырехэтажного дома была прибита вывеска, которая свидетельствовала изображением самовара, кастрюль и кранов, что тут мастерская, в которой лудят и чинят медную посуду. Был полдень, когда Петров подошел к этому дому. У ворот стояло двое молодых мастеровых в своем наряде: рубахе, брюках, которые покрывал засаленный передник, с ремешком на лбу и в калошах на босую ногу. Петров давно уже не видал мастеровых у домов в таком виде: рабочие по краям города в таком виде находятся только при деле, из фабрик или заводов на улицу не выбегают, а когда идут домой, то накидывают халат, или зипун, или полушубок и на ногах носят сапоги, а ремни редкие носят и у дела.

— Вы не из мастерской ли Платонова? — спросил мастеровых Петров.

— Какого Платонова? — спросил в свою очередь один из мастеровых и лукаво взглянул на товарища.

— Исая Павлыча.

— Тут нет таких. Ищи в другом месте, — проговорил с усмешкой другой мастеровой.

Петров вошел во двор. Задняя сторона дома имела только два этажа. Над дверями внизу была прибита вывеска мастерской.

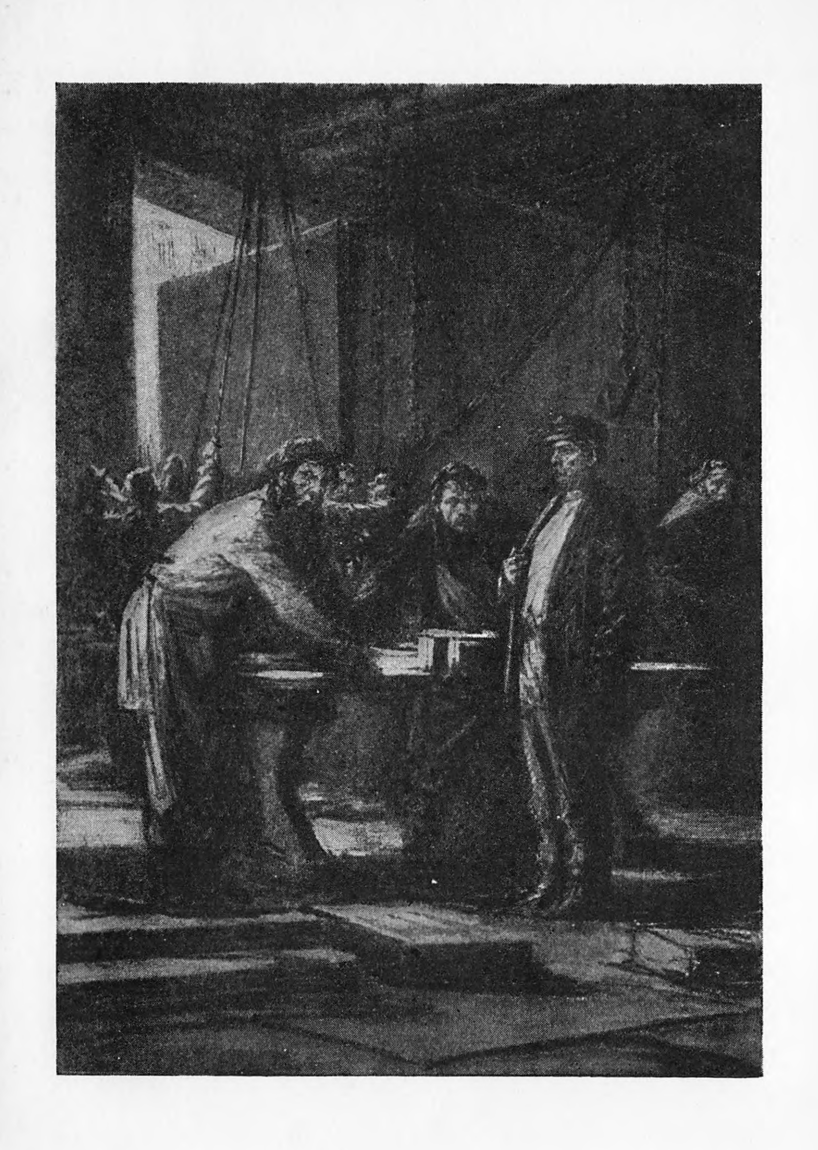
«Таков уж характер в мастеровых, чтобы не отвечать сразу», — подумал Петров и вошел в мастерскую.

Это была большая темная комната о трех окнах с тусклыми стеклами в рамах. По правую сторону мастерской помещалась печь и мехи для раздуванья; между печью и дверями за перегородкой лежал каменный уголь и какие-то железные куски, налево были сделаны сиденья для рабочих и верстаки; инструменты были разбросаны, уголья и зола в печи холодные. Во всей мастерской работал только один мальчик, сидя у окна.

— Что у вас за праздник? — спросил Петров мальчика.

Но тот не отвечал, только косо посмотрел на посетителя.

— Тебе кого? — спросил он Петрова.



— Хозяина.

— У нас нет хозяина, а хозяйка уехала в Кронштадт.

Оказалось, что сам Платонов лежит уже в земле полтора года, и мастерскою заправляет его жена. При жизни Платонова в мастерской работали двенадцать мальчиков и двое мастеровых, под присмотром самого хозяина. Заказов было много, и рабочим хорошо было жить, потому что хозяин был смирный, никого не обижал и помощникам потачки не давал. После его смерти вдова предоставила все дело двум помощникам, которые друг с другом ссорились из-за того, что каждому хотелось быть первым; мальчики их не слушались, их стали увольнять и на место их принимали всякий сброд. Поэтому хозяйка решилась отказать помощникам и поехала в Кронштадт к брату, чтобы взять у него хорошего мастера из немцев. Теперь у хозяйки жил только один мальчик.

— А кто ее брат?

Мальчик сказал.

— Да я с ним вместе в обученье был; потом он на Средней Мещанской кузницу держал. Я его знаю, толстопузого немца.

Петров отправился в Кронштадт, разыскал Шварца.

— Здравствуйте, Иван Иваныч!

Тот стал смотреть на Петрова.

— Кто ти! Как смель ходить по чужим мастерским?

— Забыли Игнатья Прокофьича?

Немец просиял, стал тереть руки, потрепал Петрова несколько раз по спине и звал в комнату, но он отказался.

— Я ведь сюда ненадолго, по делу; да и сообщение-то не совсем удобное. А вот пойдем выпьем пива.

За пивом Петров сообщил Шварцу, зачем он приехал в Кронштадт.

— Она еще здесь. Она просит мастеров. . . А я советую бросить: где ей возиться? Она не Шварц и не Платонов.

— Зачем же ей бросать, если она не один год живет на одном месте?

— Да, место много значит. Я в Средней Мещанской семь лет выжил. Первые два года было о-о как трудно, а потом ничего. И теперь бы жил там, да стали перестроивать дом.

— И ей достаточно было бы одного мастера, который бы смотрел за всем.

— И достаточно, только надо немца. Немца лучше слушаются, чем русского.

— Однако ведь муж-то у нее был же русский...

— О! Он хорошо говорил по-немецки... Однако, я скажу Терезе, пусть она на первое время тебя возьмет; а там увидит. Я знаю, ты человек хороший... Шнапса много пьешь?

— Случается, но больше пиво употребляем.

— Ну, это хорошо. Шнапс надо помаленьку.

Шварц представил Петрова вдове. Платонова сказала, что она его где-то видала, и они тут же уговорились насчет мастерской. Петров выговорил себе жалованья тридцать пять рублей в месяц, с тем что будет иметь квартиру и стол отдельно от мастерской. Он обязался найти мальчиков и улучшить мастерскую.

Комнату Петров нанял в другом доме, напротив того, в котором помещалась мастерская Платоновой. Она находилась в четвертом этаже, в квартире, набитой вдовами-чиновницами, кандидатом на коллежского регистратора, каким-то чиновником и резчиком-художником. Все эти господа и госпожи перебивались кое-как, кое-что делая, жили по два и по три в комнате, которые отдавались внаем от квартирной хозяйки не дешевле пяти рублей в месяц. Петров заплатил пять рублей, но это была хотя и узенькая комнатка, зато светлая. Хозяйка, какая-то штабс-капитанша, держала эту квартиру уже много лет, и поэтому в комнате Петрова тотчас по отдаче им задаточных денег появилось два стула, кровать и стол.

— Вот что, хозяюшка, — могу я в квартире своим ремеслом заниматься?

— Какое же у вас мастерство?

— Я столяр и кузнец.

— О боже избави!.. Ты, батюшко, у меня все стены испакостишь, да и дворник этого не позволит. Здесь господа живут.

За стеной резчик что-то стучал.

— Но вот тоже работает там кто-то.

— То художник. Он топором не рубит, досок не таскает.

— И я топором не рублю! А вот если замок исправить — это мое дело; также комод склеить, покрасить.

— В самом деле! Уж ты, батюшко, исправь мне дверь на крыльце. Вот уж сколько времени прошу управляющего сделать замок и дверь исправить: успеется, говорит. И так к ночи-то бечевкой заматываем... И кровать починить умеешь?

— Все, что угодно... У вас, поди, много ломки-то?

— И не говори... Уж ты только мне-то справь, а работы в дому найдется много.

— Хорошо. В воскресенье я осмотрю и примусь.

Итак, квартиру себе Петров нашел. Но труднее всего было устроить мастерскую, с которой он провозился две недели, пока не поставил как следует. В приведении ее в порядок встретилось два препятствия: первое — наискосок открывалась другая мастерская, и второе — трудно было найти мальчиков, а мастеровых нанимать невыгодно, так как они просили не меньше рубля за день. Неделя прошла в напрасных поисках, между тем новая мастерская уже начала исполнять заказы; хозяйка все это приписывала неуменью Петрова взяться за дело.

— Будем-ко с одним мальчиком работать, а работу я найду.

— Мне невыгодно: мы выработаем, может быть, в сутки только рубль, тогда как мне все содержание мастерской обходится два с половиной в сутки, — отвечала она.

Но на другую неделю в мастерскую пришли двое мальчиков по тринадцатому и пятнадцатому году. Они прежде работали у Платонова и согласились за шесть рублей остаться у жены его, с тем чтобы она их кормила и давала квартиру.

Петров познакомился с дворниками того дома, в котором жил, сказал им, что мастерская идет на славу, и просил отдавать вещи в починку Платоновой. Дворники обещали, что если он, новый мастер, будет давать на водку, то они найдут много работы. И действительно, с другого же дня стали приносить в починку разные вещи и заказывали делать новые, так что все мальчики и Петров были заняты.

Мало-помалу мастерская поправлялась: стали проситься в нее мальчики, стало больше работы. Кроме

ломаной посуды и других вещей из железа, олова и меди, Платонова заключила с одним купцом условие на поставку цепей, стальных замков, шалнеров и т. п.; тогда прихватила еще шестерых мальчиков, и Петров повеселел.

В течение двух месяцев он перезнакомился чуть не со всеми жильцами того дома, в котором жил, и к концу второго месяца у него было так много работы, что он не знал, что с ней делать. Замки, ключи и тому подобные мелкие вещи он отдавал на праздники мальчикам мастерской, но у него были такие вещи, возиться с которыми приводилось двое, трое суток, тогда как у него один только в неделю свободный день — воскресенье. Этого добиться ему хотелось давно; ему не хотелось работать в мастерской, потому что там он работал все-таки в удушливом воздухе, должен был за все отвечать перед хозяйкой, а мальчики не всегда-то слушались его. «А если я буду работать дома, то я спокоен», — сказал он себе и пошел к Горшкову, которому предложил свое место. Тот согласился с удовольствием.

— Ах, ты меня надул! — сказала вдова Платонова, когда Петров потребовал от нее расчет.

— Иван Иваныч мне говорил, что вы возьмете меня на время, и я сделал все, что смог. И мой приятель тоже не уронит вашу мастерскую. Я за него отвечаю.

— А я много-много на тебя надеялась, — проговорила Платонова, вздыхая.

«Ну, матушка, покорно благодарю! У тебя никак четверо детей», — подумал на это Петров — и ушел во 2-й сухопутный госпиталь.

XVIII

Пелагея Прохоровна поселяется в квартиру Петрова и делается прачкой

Петров сперва посещал Пелагею Прохоровну по воскресеньям; но не каждое воскресенье, а мимоходом, когда посещал Петербургскую и Выборгскую стороны. Он Пелагею Прохоровну знал очень мало и поэтому относился к ней как ближний к ближнему и как честный человек; в его характере было, что если он взялся за

какое-нибудь дело, то должен его докончить. Он никому не хвастался, что у него есть знакомая женщина, к которой он ходит в клинику, но втайне желал, чтобы эта женщина выздоровела, и думал об ней много. Он разбирал все свои отношения к Пелагее Прохоровне; отношения эти были честные. Теперь дела его стали поправляться; он жил в своей квартире, и вот ему больше, чем прежде, захотелось жить семейно, и выбор пал на Пелагею Прохоровну, к которой его тянуло так, что в последнее время он стал уже ходить к ней и по четвергам. Ему там было и грустно и хорошо: грустно потому, что на него больные производили тяжелое впечатление, а хорошо потому, что он разговаривал с Пелагеей Прохоровной, которая с каждым днем поправлялась. Но и тут отношения Петрова к Пелагее Прохоровне были прежние — они были знакомы, и больше ничего.

Но Петров жил все-таки в мире здоровом; он мог делать что хотел, мог идти куда угодно, а Пелагея Прохоровна жила среди больных женщин, и ей запрещено было выходить даже в коридор. Поэтому немудрено, что жизнь в госпитале ей надоела, и она с нетерпением ждала четверга и воскресенья — дни, в которые к больным приходили люди здоровые. Этим посетителям все были рады. Но больше всего Пелагее Прохоровне нравились посещения Петрова.

Пелагея Прохоровна лежала в середине; ее кровать была шестая от двери. Когда пришел Игнатий Прокофьич, она, сидя на кровати, разговаривала с соседней женщиной. Прочие женщины или лежали, или сидели; две ходили с кружками, а четыре играли в карты. Сиделка, Марья Ильинишна, толстая женщина, откормившаяся в госпитале, сидя у окна, что-то шила и напевала песенки. Посетителей в этой палате еще не было. Больные при виде Петрова оживились; женщина, разговаривавшая с Пелагеей Прохоровной, ушла к играющим.

— Ну, Пелагея Прохоровна, — сказал Петров: — я порешил с мастерской. Хочу сам работать. Помните разговор-то наш за воротами филимоновского дома. Я тогда думал, что нельзя работать одному, а теперь вот вышло, что можно!

— А я потому говорила так, што у нас есть мастера, кои сами работают и живут хорошо. — И она рассказала про Короваева.

— Ну, а Короваев еще много пробьется в Петербурге, прежде чем возьмется за свое ремесло. Он хорош в своем заводе был, потому что там вырос, там его все знают; а поди он в город, так там своих мастеров много.

— А я хочу выписаться.

— Ну, я бы не советовал до тех пор, пока совсем не поправитесь. Ведь вы еще не в силах работать?

— Может, и справлюсь.

— Нет, уж лучше недельку, другую побудь здесь: здесь и тепло, и кормят, и за квартиру не берут... А вот што, Пелагея Прохоровна, чем ты заниматься теперь будешь?

— Вот тут есть Софья Максимовна; она прачка, так советует стиркой заняться, и хозяйку свою мне хвалит.

— Ну, жить-то у хозяек я бы не советовал, потому что хозяйки везде одинаковы: все они налегают на работниц и кормят плохо. А я вот что придумал: наш дом большой, в нем, кажется, квартир сорок, а прачки нет. Стоит только сказать дворникам.

— Ах, как бы это хорошо было!

— Только нужно поправиться. Ну, а квартиру мы сыщем.

Скоро после этого Петров ушел. Ему захотелось устроить Пелагею Прохоровну поскорее, и он стал искать ей комнату в доме, но удобной для прачечной не оказалось, а была квартира в пятом этаже, и в ней три комнаты. Но без согласия Пелагеи Прохоровны он не решился нанять ее.

— Нет, уж я непременно выпишусь. Кроме скуки, еще то неприятно, што соседки упрекают меня тобой, Игнатий Прокофьич: говорят, што я любовница, — сказала Пелагея Прохоровна Петрову в следующее воскресенье.

— На это не стоит обращать внимания. Я вот и сам подумываю, как бы тебе выйти, только не знаю, согласишься ли ты... Видишь ли, для того чтобы заняться стиркой, нужно иметь непременно свою квартиру. У нас в доме есть такая квартира — в ней тоже жила прачка.

Сам я живу теперь в отдельной комнате, и мне бы эта квартира была хороша.

Петров замолчал. Пелагея Прохоровна тоже задумалась. Ей казалось неудобно жить в одной квартире с холостым мужчиной, тем более что про нее станут говорить бог знает что, и через эти пересуды она, пожалуй, не много будет иметь работы.

— Уж я думал об этом деле. Если теперь нанять комнату где-нибудь во флигеле, то в комнате стирать белье не дозволят; а если и будет можно, то ведь каковы соседи: белье чужое, его нужно беречь, и на соседей полагаться нечего. А у нас в доме и вешать белье есть где.

— Неловко нам вместе-то жить, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Что за неловко! Пусть люди говорят что хотят, а мы будем каждый при своем месте. Говорят те, кои сами себя дурно ведут. Живут же баре с любовницами, да ничего им не делается, а еще любовниц уважают.

Пелагея Прохоровна согласилась, и через день после этого Петров привез ее на новую квартиру.

Себе он выбрал светлую большую комнату, Пелагее Прохоровне предоставил кухню с небольшой комнатой, которая находилась от комнаты Петрова на противоположной стороне. Пелагея Прохоровна нашла в квартире все нужное для стирки белья и, сверх того, кровать, два стула и стол.

— Сколько же ты с меня за комнату возьмешь? — спросила Пелагея Прохоровна, оглядевши свою квартиру.

— А это будет зависеть от того, как пойдет дело.

— Ну, я так не хочу. У меня есть два рубля денег.

— Только-то. . . Да их, пожалуй, не хватит и на мыло да на крахмал.

Петров ушел и запер свою комнату на замок.

«Нет, он аккуратный. Он не похож на других мастеровых. Вот такого мужа хорошо бы иметь. . . А, впрочем, кто его знает?» — думала Пелагея Прохоровна по уходе Петрова.

Пелагее Прохоровне было скучно одной, но часа через полтора к ней пришла жена старшего дворника, Лизавета Федоровна, уже пожилая женщина.

Вошедши, дворничиха оглядела квартиру, перекрестилась, поклонилась Пелагее Прохоровне и спросила ее:

— А што, ушел Игнатий-то Прокофьич?

— Ушел.

— Экое дело... Я хотела попросить его шкатулку починить... А вы, я слышала, прачка?

— Здесь еще не пробовала.

— Ну, у нас дом большой. Главное, нужно хорошо стирать; здесь и важные господа есть. А ты приходи к нам. Мы хоть и в подвале живем, а все ж по-питерски, набаловавши: кофеем угощу.

— Покорно благодарю! А я вот вас хочу попросить насчет белья-то. Меня ведь здесь никто не знает. Да вы зашли бы в комнату-то.

Дворничихе, как видно, хотелось узнать, где и как помещается новая прачка, и она пошла за Пелагеей Прохоровной в ее комнату.

— Отлично ты устроилась... Отлично... Ну, а Прокофьич-то особо?

— Отдельно. У него комната заперта.

— Экий скопидом... Уж такого скупого я мало видала. Ну, и решительный и всезнающий... А вы давно знакомы-то?

Это допрашивание рассердило Пелагею Прохоровну, но она сдержалась.

— Да мы еще мало знакомы, — ответила она.

— Да ты не бойся... Я звонить не пойду, как другие бабы... Я, знаешь, тебе советую от наших кухарок держать себя подальше... С горничными еще можно познакомиться, потому они при барынях больше. А что до работы, так это пустяк. Ты, ежели что, прямо ко мне; мне тут многие знакомы, потому мы уж тут двенадцатый год живем.

И дворничиха начала рассказывать про прежнюю прачку, как та таскалась с молодыми дворниками, переговаривалась в окно через двор с жильцами-чиновниками.

— Нехорошо. Себя она страмила. Ну, заведи она себе кавалера и живи с ним, — тут худого нет. Вон у нас генерал с любовницей живет, так все ее уважают.

— Ну, уж вы это, Лизавета Федоровна, напрасно...

— Ну, матушка, не век вы так с Прокофьичем-то станете жить, а пока у вас до свадьбы дело дойдет, до тех пор надо держать себя умеючи и не обращать внимания на сплетни. А без сплетен не обойдется, потому народ здесь вольный, сам живет дрянно и об других думает дрянно.

Дворничиха ушла.

Петров не приходил долго, и Пелагее Прохоровне было очень скучно; ей хотелось что-нибудь делать, хотелось выстирать свое белье, но в квартире воды не было. Она спустилась к дворникам, те сказали, что воды принесут завтра; поднялась она в свою квартиру и устала.

«Плохой я стала человек. А может, это и с болезни», — подумала Пелагея Прохоровна и стала перебирать свое имущество; но через полчаса к ней пришла женщина.

— Здесь прачка живет? — спросила она в кухне.

Пелагея Прохоровна вышла.

— Нашей барыне нужно белье стирать; иди, возьми!

Пелагея Прохоровна пошла за кухаркой.

Барыня заставила ее ждать себя в кухне более часу. Кухня была барская, с водопроводом; там был повар, приходил лакей и горничная. Наконец вышла барыня.

— Хорошо стираешь белье? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Прежде стирала — нравилось.

— Мне нужно, чтобы белье было вымыто скоро, выглажено, одним словом, чтобы было хорошо. Вот тебе реестр. Марья! — крикнула барыня и ушла.

Стали проверять белье.

— Да уж ты, прачка, и мое кстати выстирай: ведь много денег-то будешь получать.

— Как — даром?

— Неужели еще с нас деньги будешь брать?

— Ну, так я не согласна.

— А несогласна, так в другой раз мы другую прачку найдем.

Пелагея Прохоровна подумала и взяла белье от прислуги.

— Приходи когда-нибудь — кофеем напоим. А нам самим возиться с бельем некогда: целый день бегаешь из угла в угол.

Узел оказался большой, и Пелагея Прохоровна через великую силу донесла его до своей квартиры. Но она была очень рада, что так скоро нашла работу.

Игнатий Прокофьич был дома.

— Что, уж и работа есть? — спросил он весело.

— Слава богу. Вот, говорят, корзинка нужна для белья.

— Корзинка есть — там, на чердаке. А я што думаю: не лучше ли нам готовить кушанье дома? Я вот сегодня работал у одной полковницы — драпировку с ней делал, так она меня покормила в кухне и подлецом обозвала.

— За что?

— Такая уж барыня. Прежде она помещицей была. Я, говорит, Игнатий, прежде по мордам била, а теперь нельзя, теперь новые порядки, а все, говорит, не могу не обругать человека. И обругала и извинилась. Так вот теперь я хочу дома обедать.

— Ты обо мне-то не заботься.

— Я о себе забочусь. Вот только я боюсь, чтобы ты не простудилась, — холодно стоит, а у тебя теплого ничего нет.

— О, я привычна к холоду.

— А ты как спать-то будешь ложиться, запри дверь на замок. Здесь надо быть осторожным. А то вот я пришел, тебя нет, а в кухне какая-то баба в салопе сидит; я, говорит, к Татьяне Егоровне пришла.

Петров после этого заперся в своей комнате, а Пелагея Прохоровна стала тоже в своей комнате разбирать белье.

XIX

В которой Пелагея Прохоровна принимает сделанное ей Петровым предложение

Квартира оказалась холодною, почему Петров и Пелагея Прохоровна встали рано и в комнате Пелагеи Прохоровны уселись пить чай.

— В состоянии ли ты, Пелагея Прохоровна, приняться за работу? — спросил Петров.

— Кабы не в состоянии, не взялась. Скучно так-то жить.

— Ну, как знаешь.

Скоро Петров ушел на работу, а Пелагея Прохоровна принялась за белье. Она стирала в корыте, уставала и садилась на стул. В таком положении ее застала барыня в лисьем салопе и башлыке. Эта барыня тоже просила взять белье.

Итак, работы прибавилось.

Когда Петров пришел домой обедать, то Пелагея Прохоровна спала; кучи белья лежали на скамейке, в корыте было тоже белье.

«Ну, эдак немного наработаешь!» — подумал Петров и полез в печь за щами. Стук заслонки разбудил Пелагею Прохоровну.

— Што это? Я маленько прилегла — и заснула. Это я непременно в больнице избаловалась, — проговорила она.

— Пожалуйста, ты хоть дверь-то запирай на замок. Боже избави, как что-нибудь утащат.

Пелагее Прохоровне сделалось стыдно, что она среди дня легла спать; но она еще не могла осилить всей работы: она задыхалась, руки дрожали, ноги подкашивало, и с ней был небольшой жар.

Петров заметил это, но ничего не сказал.

Когда он пришел домой вечером, то застал Пелагею Прохоровну работающею, но в квартире было попрежнему холодно.

— Надо будет переменить эту квартиру, — сказал он.

— По-моему, здесь хорошо; мне после обеда дали еще белья. Спасибо дворничихе.

— Я теперь буду дома работать, полковница отпустила.

Стали ужинать.

— Вот теперь мы по-семейному зажили, — сказал вдруг Петров.

Пелагея Прохоровна ничего не сказала, только ее щеки слегка покраснели.

— Одного только недостает...

Пелагея Прохоровна взглянула на Петрова.

— Вот што: отчего бы нам, Пелагея Прохоровна, не обвенчаться? — сказал Петров серьезно.

— Так скоро? мы еще мало знаем друг дружку, — ответила Пелагея Прохоровна.

— Положим, что так; только я думаю, мы хуже не будем теперешнего.

— Кто знает, Игнатий Прокофьич?

— А пошла бы?

— Ну, какой ты разговор выдумал... Надо ложиться спать, завтра на реку надо идти.

— Нет, однако, пошла бы?

— Ах, какой ты!.. Ну, разумеется, пошла бы.

— Вот за это спасибо, — и он крепко пожал ей руку и потом долго не спал, обдумывая план семейной жизни. Сперва он удивлялся: как это он так скоро дошел до желания жениться, тогда как прежде сам смеялся над теми из рабочих, которые женились? Но потом пришел к тому заключению, что на его месте всякий дошел бы до этого. Он долго разбирал, почему именно ему понравилась Пелагея Прохоровна, а не другая какая-нибудь женщина. Ведь он в своей жизни видал многих женщин и ни об одной из них не думал так много, ни в одной не принимал такого участия, как в Пелагее Прохоровне. Ему еще с самого появления в филимоновском доме этой женщины хотелось поговорить с ней; ее горе трогало его, и он, вовсе еще не имея намерения жениться, старался помочь ей чем-нибудь. Он принял участие в похоронах ее брата, и его невольно тянуло в госпиталь, где хорошо казалось сидеть рядом с Пелагеей Прохоровной на ее койке и где он радовался ее выздоровлению. Часто он шел в госпиталь с тяжестью в голове, сердце его что-то щемило; ему думалось: а что, если она да опять захворала? пожалуй, залечат, как и того... Но когда он шел домой, то в голове тяжести не было, сердце билось радостно. Не будь Пелагеи Прохоровны, он, пожалуй, и теперь терся бы на заводе или в какой-нибудь мастерской и, пожалуй бы, не стал так стараться устроить настоящее свое житье. «Нет, тут что-нибудь да есть; мне она полюбилась, мне эта любовь больше храбрости и силы придала. Уж судьба, верно, такая, чтобы мне быть женатому — и на ней. Кончено! С такой бабой жить можно. Как только повенчаемся, сейчас возьмем работницу, а я прихвачу двух мальчиков и открою свою столярную: теперь у меня знакомых много!»

Утром за чаем Петров сообщил об этом Пелагее Прохоровне.

— Если работы много будет, я согласна взять помощницу. Только, Игнатий Прокофьич, не избалуемся ли мы?

— Ну, я с мальчиками везде хорош; а все-таки им большой потачки давать не стану, потому что будут красть. Нужно за всем следить самим.

— Я думаю, тогда хорошо будет нам обоим. Вот разве кто помрет из нас?

— Ну, до этого еще далеко. Надо вот квартиру посмотреть где-нибудь другую, а в этой неудобно ни тебе, ни мне.

Весь этот и следующий за тем день Петров работал дома. У Пелагеи Прохоровны было очень много работы, так что она не знала, как ей и справиться. На реку за нее ходила дворничиха Лизавета Федоровна. Нечего и говорить про то, что Петров нравился Пелагее Прохоровне, и она уже не боялась, как прежде, выйти за него замуж. «По крайней мере муж у меня будет питерский, а с Короваевым мы бы жили там, да еще какова бы была там жизнь? Здесь тем хорошо, что народу много; тебя только и знают, что жильцы того дома, в котором живешь, да на кого работаешь». Но и тут в голову ее приходила мысль: какова-то будет жизнь в замужестве? Выйдешь замуж, привяжешь, так сказать, себя к месту, дети, пожалуй, пойдут. «А какова была прошлая-то жизнь? Если бы не Петров, пришлось бы лежать в могиле». И она с любовью взглядывала в комнату Петрова, который там работал.

«Вот теперь мне хорошо. Нашла-таки я себе место хорошее; а как замуж выйду, еще лучше будет: сама буду хозяйка, и никто меня ничем не упрекнет. Вот бы тогда посмотреть на Короваева: все хвастался, што он больно много знает, а, поди, он Игнатью Прокофьичу и в подметки не годится», — думала Пелагея Прохоровна.

Дня через два после этого она сдала белье двум барыням. По сверке оказалось все в целости; барыни немножко поворчали за то, что кое-где пуговок недостает, кое-что не совсем чисто, но деньги заплатили и велели приходить опять.

Эта получка денег очень обрадовала Пелагею Прохоровну, и она веселая пришла домой.

— Вот теперь какая я богачка! Три рубля с полтиной получила, да с других еще сколько получу!

— Ну, радоваться-то нечему — мыло да синьку не считаешь, верно...

— Все-таки не даром стираю. А ты спрячь деньги, Игнатий Прокофьич.

— Это, может, у вас там в провинции так делается, а у нас — кто деньги заработывает, тот и хранит их у себя.

— Нет, уж ты спрячь.

— Нет, уж не спрячу.

Они расхохотались. Деньги Пелагея Прохоровна положила в свой узел под подушку.

XX

Человек предполагает, а бог располагает

Время для Пелагеи Прохоровны и Игнатья Прокофьича шло незаметно; отношения их были просто дружеские; они только сходились за обедом, чаем и ужином и — ни разу даже не поцеловались. Раз как-то Игнатий Прокофьич сказал: не повенчаться ли им теперь, благо до масленицы осталось всего две недели? но Пелагея Прохоровна отвечала, что торопиться нечего, потому что они повенчаются навечно и успеют еще нажиться семейно; к тому же и здоровье ее не совсем поправилось. «Надо хоть немножко походить на прежнюю, а то как под венец пойдешь, скажут: сам-то Петров вон какой здоровый, а она вон какая худая. Еще скажут — чахотошная, а я даже и кашляю зачем-то».

— Все это пустяки, — заметил Петров.

— Ну, если и пустяки, так я не хочу, чтобы вся свадьба шла на твой счет. У меня теперь и денег мало, а твоих я ни за что в свете не возьму; а деньги мне надо, чтобы кое-что сшить: не буду же я венчаться в чужих платьях.

— Как знаешь. Потерпим.

Горшков жил в том доме, где мастерская, в которой

он теперь работал. Он приходил к Петрову раза три и звал его покалякать в кабак, тот не шел.

— Плохой, брат, ты человек стал, Игнашко! Право.

— Что делать, жениться хочу.

— На каком это месте записать?

— Такая линия вышла. Пойдешь в шафера?

— Ах ты... Вот люблю человека... А што же Пелагея-то твоя к нам не зайдет, моя-то старуха была бы рада.

— Есть мне когда расхаживать! — сказала Пелагея Прохоровна.

Вечером ее посетила Софья Федосеевна, и они проговорили около полчаса. Софья Федосеевна даже не намекнула на то, действительно ли Пелагея Прохоровна выходит замуж. Она сказала, что зашла просто потому, что Данило Сазоныч пришел пьяный, разбушевался и унес с собой кран из самовара, для того чтобы его семейные не смели без него пить чай. Прощаясь, Софья Федосеевна стала звать Пелагею Прохоровну к себе в воскресенье вместе с Петровым напиться кофею. Как та, так и другой обещались быть.

В субботу Пелагея Прохоровна собрала еще пять рублей.

— Ну, что мы будем завтра делать? — спросил ее Петров за ужином.

— Я белье буду стирать.

— Полно. Надо же и отдых себе дать... Ну, сперва ты будешь щи варить, потом пойдем к Горшковым в гости, потом их к себе пригласим, а потом?.. вот што, Пелагеюшка, я думаю: не сходить ли в театр? Ты была в театрах?

— Нет.

— Вот и отлично. Я тоже давно не бывал.

— Я не пойду до свадьбы.

— Ну, это каприз.

Сколько Петров ни уговаривал Пелагею Прохоровну идти в театр, она ни за что не хотела идти.

Горшков помещался со своим семейством в верхнем, четвертом, этаже. Лестница к нему была темная, узкая, со множеством поворотов и косых ступенек, почему с нее

не раз по ночам падали вниз пьяные мастеровые и раскраивали себе лбы и носы. Горшковы жили на заднем плане квартиры, так что до них приходилось идти через кухню и еще через комнату. В кухне жил сам хозяин квартиры, портной, и, кроме него, два подмастерья, тоже портные, но работающие у цехового портного в том же доме. В этой кухне, когда вошли в нее Петров с Пелагеей Прохоровной, возились у печи три женщины — одна с ухватом, другая раскалывала полено, а Софья Федосеевна с кофейником. Портной держал ведро, а двое подмастерьев бегали по кухне с бутылками.

— Лей сюда! — говорил один подмастерье.

— Да эта с керосином была, — сказал портной.

— А штоб ее!!. — И подмастерье, бросив бутылку, подбежал к печке и схватил пустой горшок.

Женщины заголосили.

— Што это у вас за хлопоты? — сказал Петров, улыбаясь.

— А, господину Петрову! Да вот, сударь ты мой, воды не было у нас, — плакали, а как я достал воды даровой из качальни, не знаем, куда ее деть... Ведро-то я у дворников украл — надо возвратить. Горе и много-то иметь.

Петров и Пелагея Прохоровна рассмеялись.

— Вы не получаете, верно, воды от дворников?

— Капиталов нету: правом бедности пользуемся, по бедности нам и дают из качальни воды.

Горшковы очень обрадовались посещению гостей. Горшков хотел сбегать за водкой, но Петров удержал его, и они стали разговаривать о своих делах, а Пелагея Прохоровна разговаривала с хозяйками. Сначала сетовали на то, что умер брат Пелагеи Прохоровны, но Горшков сказал, что лучше — по крайней мере не мучится и никому не мешает; потом стали рассуждать о предстоящей свадьбе. Петров предложил хозяевам идти в театр, те согласились с удовольствием.

Теперь уж Пелагея Прохоровна не могла не согласиться: ее упрашивали все. Осталось одно затруднение: в какое место идти. Горшков и Петров пошли справиться, где в Александринке места дешевле. Оказалось, что и дешевле галереи есть места, только там приходится стоять у стенки и оттуда ничего не слышно.

— Прокофьич, возьмем ложу... Черт его дери, в кабаках больше пропьешь!

— Ладно. Только моей-то бабе не надо говорить, сколько стоит. Не пойдет или свои деньги выложит.

— Уросливая же твоя баба! А впрочем, молода еще.

Я не буду описывать того, как наши знакомые пошли в театр. Довольно сказать, что представление «Грозы» им так понравилось, что каждому захотелось бывать в театре чаще. Для Пелагеи же Прохоровны было все ново; ей казалось, что она находится бог знает в каком прекрасном месте. Публика ее занимала только в антрактах, во время же представлений она следила за действующими лицами на сцене и обращалась конфузливо к Петрову за разъяснением непонятного ей.

— Неужели все это правда? — спросила она Петрова дорогой, идя домой из театра.

— Это верно.

— Не весело же и купцам живется.

— Всяко бывает.

И на Петрова «Гроза» произвела тяжелое впечатление, и он шел домой молча и дома как пришел, так и заперся в своей комнате, и долго не спалось ему.

До масленицы осталось только одна неделя, поэтому Пелагею Прохоровну завалили бельем еще во вторник. Она еще в понедельник чувствовала головокружение и какую-то потяготу, но об этом Петрову ничего не сказала, думая, что это пустяки, а он, пожалуй, подумает, что она женщина изнеженная. Вечером в понедельник головная боль усилилась, и она почти всю ночь не спала и рано принялась за работу, думая скорее окончить стирку взятого белья.

— Ты уж больно рано встаешь, — эдак, пожалуй, охота от стирки отпадет, — сказал, улыбаясь, проснувшийся Петров.

— Зато на масленице много времени будет.

Весь остальной день Пелагея Прохоровна чувствовала себя хорошо, только голова немного болела. Вечером она уговорила Петрова идти с нею на Фонтанку полоскать белье.

— Ты бы попросила Софью Федосеевну сходить за себя; погода-то больно ветряная сегодня, — сказал Петров.

— Нет, уж будет барствовать; пора и самой за дело взяться. Уж я больше недели, как из больницы вышла.

Прорубь была сделана на открытом месте; в ней много женщин полоскало белье, и, казалось, ни одна из них не обращала внимания на резкий ветер. Впрочем, и Пелагея Прохоровна не обращала внимания на него, а берегла ноги, чтобы в ботинки не попала вода, но уберечь их от этого было невозможно — вода все-таки попала.

Дорогой Пелагея Прохоровна вспотела; когда же они повернули в свою улицу, то навстречу подул опять резкий холодный ветер.

Пришедши домой, Пелагея Прохоровна выпила ковш холодной воды.

— Что ты делаешь, дура! Хочется тебе, верно, простудиться! — сказал сердито Петров.

— Ничего, — ответила Пелагея Прохоровна, но ночью с ней сделалась горячка, и она вышла босая на лестницу.

Петров услыхал, что кто-то ушел из квартиры и долго не ворочается; он зажег огня, взял большой молоток, чтобы угостить вора, и с ужасом увидел Пелагею Прохоровну, босую и сидящую у противоположных дверей.

На вопрос его она что-то бессвязно проговорила, и он с трудом перетащил ее домой.

Пелагея Прохоровна захворала серьезно. Петров хлопотал много о том, чтобы поправить ее здоровье, ходил к докторам, но хороших не застал дома, а шарлатаны, оглядев фигуру Петрова, прописывали только лекарства. Отправился он во 2-й сухопутный госпиталь, но так как у него не было знакомых, то и там не мог добиться никакого толку. Отправлять же Пелагею Прохоровну в больницу ему не хотелось.

Барыни, давшие белье и получившие его обратно в грязном виде, сердились, называя Пелагею Прохоровну обманщицею; работа у Петрова шла туго; он больше находился у больной и расходовал накопленные им прежде деньги. А тут пришлось еще платить за квартиру вперед за месяц.

Наступил четверг масленицы, день, в который рабочие в Петербурге получают расчет и начинают гулять. С пятницы все загуляли. Нарядный народ шел толпами на Адмиралтейскую площадь, а Пелагея Прохоровна лежала в горячке.

Горшков пьянствовал и часто приходил за Петровым; но тот не шел с ним. Приходили к нему и жена Горшкова с сестрой и тоже советовали отправить больную в госпиталь или больницу, тем более что у нее есть адресный билет.

Так Петров промаялся с Пелагеей Прохоровной до воскресенья.

В воскресенье она уже не могла говорить, а только показывала на горло. Петров перепугался страшно и побежал за доктором, но не застал дома.

Когда он пришел домой, Пелагея Прохоровна уже не дышала.

— Все, значит, кончено! Ищи, голубушка, где лучше... Ох ты, жизнь проклятая!!! — И он заплакал.

Пришла Софья Федосеевна и тоже прослезилась.

— А все, Федосеевна, я виноват! нужно мне было удержать ее от стирки... Я думаю: не простудилась ли она тогда, когда шла из театра: она на другой день была какая-то скучная.

— Может быть; там ведь было очень жарко, а шли, так был ветер.

— Вот теперь и мне жизнь не в жизнь: показалось ясное солнышко и скрылось. Уж теперь мне не для кого хлопотать и стараться! — проговорил с горечью Петров.

Пелагею Прохоровну похоронили на Митрофаньевском кладбище в четвертом разряде, потому что в шестом Горшков и Петров не могли отыскать могилу брата ее; да и Петрову хотелось похоронить ее поближе.

После похорон Петров переехал на набережную Обводного канала и поступил на завод компании главного общества российских железных дорог. Ему тяжело было жить на Итальянской, где померла любимая им женщина.

В половине мая Петрова выбрали в десятники на заводе с жалованием по сорока пяти рублей в месяц. Но, несмотря на то, он был задумчив и необщителен и редко посещал питейные заведения. По праздникам он ходил на Митрофаньевское кладбище и вешал над могилой Пелагеи Прохоровны венки с цветами. О своем горе он никому не любил рассказывать и, кроме кладбища, все свободное время употреблял на какую-нибудь работу дома. Жил он в семейной квартире и занимал чистенькую комнатку, за которую платил пять рублей в месяц. В конце мая его квартирный хозяин стал переезжать на другую квартиру, а так как комната ему очень нравилась, то он и оставил ее за собой, а над воротами приклеил бумажку, что у него отдается комната с кухней. Через неделю после этого его квартиру стали смотреть мастеровые на том же заводе, Григорий Горюнов и Влас Короваев. Горюнов и Короваев работали на заводе уже с месяц и слыли за хороших рабочих: не пьянствовали, не пропускали дней и получали по рублю двадцати копеек за день. Они работали под командою Петрова, но Петров раньше не водил с ними знакомства. А так как на заводе Короваевых было двое, то Петрову и в голову не приходила мысль, что который-нибудь из этих двух Короваевых был женихом Пелагеи Прохоровны.

Петров отдал им комнату и кухню.

— Я-то, может быть, недолго у вас проживу. Вот Гриша жениться на днях сбирается. Пора уж, и так, кажется, больше году не венчавшись жили, — проговорил Короваев.

— Только, пожалуй, молодой-то не понравится комната — всего одно окно, — сказал Петров.

— Чего же еще надо? Мы люди привычные. Исходили чуть не всю Россию с Лизкой.

— А вы откуда пришли-то?

Короваев назвал завод и прибавил: «Мы пошли искать, где лучше?»

Петров растерялся и спросил:

— А вы там не знали Пелагею Прохоровну Мокроносову?

Короваев и Горюнов почти вскрикнули:

— Я ее брат!

— Она мне невеста!

— Опоздали, господа. Она здесь была моя невеста, да вот с масленицы теперь вон где! — и он указал по направлению к кладбищу.

— Неужели умерла? — сказали Горюнов и Коровaев.

— А кабы осталась там да вышла за тебя, Коровaев, замуж, и теперь была бы жива.

Коровaев повесил голову, а Петров повел их в питейное заведение.

— Пойдемте к дяде. Он недавно открыл кабак, — сказал Горюнов.

Терентий Иваныч, тому дня два, открыл питейное заведение на Обводном канале и теперь ставил на полки с Лизаветой Елизаровной посуду. Он немного поздоровел и потолстел.

— Ну, что, дядя Терентий, где лучше? — спросил Терентия Иваныча Петров, входя в заведение.

Терентий Иваныч поглядел на Петрова одним глазом, скривил лицо и сказал:

— А ну-ко, питерский, — по-твоему, где?

— Нет, ты скажи — ты много городов исходил.

— Да што, брат: богатому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо. На том свете, должно быть, лучше.

— То-то ты и устроиваешь туда перепутье! Вон у нас недаром ребята говорят: в кабаке хорошо... Только, я думаю, вашему брату, то есть вашему карману, лучше?

— Не думай, брат. Я вот снял кабак-то у Синельникова. Подрядился от него за тридцать рублей в месяц на всем на своем, да залогу отдал сто рублей. А вот теперь от него поступило водки всего одно ведро, и посуды нет. Не знаю, что и делать.

— Смотри, чтобы не надул: у него, говорят, долгов много.

— Что ты!.. Да я почти все деньги ему отдал и за кабак хозяину свои деньги заплатил за месяц. От Синельникова расписку получил.

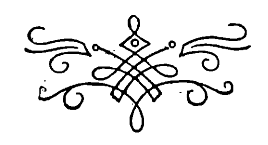
— Ну, дело, значит, пропащее. Впрочем, нынче гласные суды открылись.

И Петров рассказал о смерти Панфила и со всею подробностию про Пелагею Прохоровну.

— А вот мы с Гришкой дошли-таки благополучно. Что-то дальше господь пошлет, будет ли здесь лучше? — сказала Лизавета Елизаровна.

На другой день Григорий Прохорыч перешел с Короваевым и Лизаветой Елизаровной к Петрову, и с этого дня между Петровым и Короваевым началась дружба: оба они знали свое дело хорошо, были сдержанные и сходились во взглядах. Часто они задавали друг другу вопрос: где лучше? — перебирали жизнь в разных местах и приходили к тому заключению, что человек создан для того, чтобы самому себе добывать пропитание, а так как человеку нужно для этого немного, то он был бы вполне доволен и спокоен, если бы его не обижали те, которым хочется жить в свое удовольствие.

Здесь я прошу у читателей позволения остановиться с своим повествованием, которое в непродолжительном времени я буду продолжать под другим названием.



ПРИМЕЧАНИЯ

Романы Решетникова из рабочей жизни — «Горнорабочие», «Глумовы» и «Где лучше?» — составляют существеннейшую часть творческого наследия писателя-демократа. Объединяемые общей исторической основой повествования, единые по своему творческому замыслу и осуществлению, они вместе с тем каждый в отдельности имеют свою собственную сложную творческую историю, свое самостоятельное значение.

В настоящем томе помещаются романы «Глумовы» и «Где лучше?».

В примечаниях не комментируются слова и отдельные выражения, разъясненные в первом томе.

ГЛУМОВЫ

Роман впервые напечатан в журнале «Дело», 1866, кн. II; 1867, кн. III, IV, VII и IX; при жизни автора не переиздавался. Рукопись неизвестна.

Замысел Решетникова написать роман из хорошо знакомого ему, но мало известного тогда в литературе горнозаводского быта относится к самой ранней поре его творчества. В письме к Некрасову от 2 сентября 1865 г. Решетников отмечал, что начатый им первый роман, «Горнорабочие», задуман «еще в Екатеринбурге в 1861 году», то есть в тот период, когда у начинающего писателя уже накопились обильные материалы из жизни промышленного Урала в связи со службой в горнозаводском отделе

екатеринбургского уездного суда. Но не скоро писатель смог приступить к осуществлению своего замысла.

Темы горнозаводского быта первоначально находят отображение в таких произведениях, как рассказ «Скрипач», драма «Раскольник», по приезде в Петербург — очерки «Горнозаводские люди» и др. Непосредственно с будущими романами о рабочих связан очерк «Осиновцы». Он также относится к первым годам творчества Решетникова, но был опубликован лишь через год после кончины писателя. Видимо, переработкой «Осиновцев» является не дошедший до нас целиком очерк «Горнорабочие», который в конце декабря 1864 г. или в начале января 1865 г. был представлен в «Современник». Очерк, однако, встретил суровую оценку Некрасова и не появился в журнале. В «Дневнике» Решетников передает следующий отзыв Некрасова: «Вы извините меня, г. Решетников, что мы так долго вашу статью держим. Ее нельзя напечатать. Если вы будете писать все в таком роде, как вы теперь пишете и торопитесь писать, без соображений, то вы, с вашим талантом, допишетесь до того, что вас будет жалко. Если вы что-нибудь хорошее напишете, мы с удовольствием примем. Но если вы будете писать так, то в плохом журнале, конечно, будут печатать».

Писатель признал правоту Некрасова, но от темы произведения не отступился. «Не знаю, что делать с «Горнорабочими», — пишет он в «Дневнике». — Повезу к горнорабочим и прочитаю с Фотеевым» (давним приятелем писателя, мастеровым Екатеринбургского монетного двора). Поездка летом 1865 г. на Урал, где Решетников побывал на ряде заводов, на соляных варницах, встречался со множеством рабочих, вел обширные записи и т. д., обновила у него прежние знания рабочей жизни, дала огромный новый материал.

Уже из Перми 10 июля 1865 г. Решетников пишет Благовещенскому: «По приезде в Петербург я буду писать роман: «Семейство Глумовых», в двух частях, из горнорабочего быта... Я думаю, что этот роман будет получше «Подлиповцев». Новый роман предназначался для журнала «Русское слово». Однако по возвращении в Петербург в середине августа у Решетникова вновь налаживаются отношения с «Современником», и он работает над новым романом, но другим, чем предполагал для «Русского слова». Уже 2 сентября 1865 г. Решетников сообщает Некрасову о своей работе и о замысле романа в целом: «Я написал первую часть романа «Горнорабочие», и из того очерка, который был в редакции «Современника», оставлено только полтора листа. По моему мнению, этот роман... будет лучше «Подлиповцев», потому что я проверил ныне сам себя на заводах. В первой части заключаются крепостные горнозаводские

и завязка романа; во второй — казенные, в последней — вольные». Некрасов сам читал с автором рукопись романа и сделал, как свидетельствует Решетников, много замечаний. Роман перерабатывался в соответствии с советами редактора «Современника». В январе 1865 г. он был закончен. В дневниковой записи от 7 января 1866 г. содержится примечательное признание писателя о работе над романом: «А между тем сколько мук я принял с этим романом! Не раз мне доводилось плакать за Елену Токменцеву, за отца ее, мать, Корчагина и прочих угнетенных и угнетаемых людей».

В первой и второй книжках «Современника» за 1865 г. была опубликована лишь первая часть «Горнорабочих», на майском номере журнал был закрыт.

С целью осуществить публикацию законченного произведения Решетников обратился в журнал «Дело». После переговоров он приступил к созданию романа «Глумовы», в котором решил использовать в переделанном виде материалы «Горнорабочих». Таким образом «Горнорабочие» полностью так и не увидели света, рукопись также не сохранилась.

Как видно из начальных глав, а также из чернового автографа списка действующих лиц и вариантов плана «Горнорабочих», Решетников в «Глумовых» обильнее всего использовал вторую часть первого романа. Что касается третьей части «Горнорабочих», изображавшей «вольную» жизнь рабочих Урала, то о ней можно лишь строить догадки, так как третья часть и нового романа не увидела света: журнал «Дело» по неясным соображениям прекратил печатание «Глумовых» на 2-й части, хотя 3-я часть Решетниковым также была закончена. Вместо последней части в «Деле» была напечатана торопливая концовка, принадлежность которой Решетникову вызывает сомнение. Так, дальнейшая судьба рабочего Корчагина дана в противоречии с чертами его образа на страницах романа.

Такова творческая история первых двух романов, из которых более законченным являются «Глумовы». История горнозаводских романов Решетникова прослеживается в работах И. И. Векслера.[1]

Оба романа основаны на фактическом материале из жизни уральских заводов. Автор, однако, не хотел давать точную зари-

---

[1] См. его статью «К истории горнозаводских романов Ф. М Решетникова» («Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук», 1932, кн. 1, стр. 57—77), а также комментарии к соответствующим томам Полного собрания сочинений Ф. М. Решетникова (1936—1948).

совку какого-либо конкретного завода. В известной мере здесь сказались и опасения перед всесильными горнозаводчиками. В связи с замыслом «Глумовых» Решетников со всей откровенностью писал Благовещенскому: «Я боюсь таких господ, как, например, Строганов, Демидовы и другие дармоеды». Созданные писателем зарисовки Осиновского («Горнорабочие») и Таракановского («Глумовы») заводов являются типичными для всего горного Урала, а картины жизни и быта рабочих этих заводов явились обобщением положения рабочих масс всей России того времени.

В связи с незаконченностью первых двух романов Решетникова, а также в связи с тяжелым положением демократической журналистики после закрытия «Современника» и «Русского слова» широкое обсуждение в критике новых больших произведений автора «Подлиповцев» началось лишь после выхода «Где лучше?».

Ввиду спорности концовки романа «Глумовы», данной в журнале «Дело», приводим ее не в основном тексте, а в примечании: «Дальнейшая история моих бедных таракановцев оканчивается печальной катастрофой. Прасковья Игнатьевна, измученная работой и сильно заболевшая от простуды, слегла в постель и года через два после того, как Корчагин оставил город, умерла одинокая и всеми забытая в общественной больнице. Брат ее, Илья Глумов, просидев в остроге с лишком три года, ушел на поселение и скоро там окончил дни свои в бегах, в холодную зиму, на большой сибирской дороге. А Николай Глумов пропал без вести, так что никто больше не слыхал о нем... Что же до Переплетчикова, то с освобождением крестьян кончилось его раздольное житье; поссорившись с управляющим, он попал под суд и, рассорив свои награбленные денежки, с горя запил и безвыходно сидел в кабаках, ожидая даровой рюмочки. Пелагея Семихина, бежавшая с Глумовым, приютилась в публичном доме, проклиная свою судьбу и приказчика. Только Корчагин вышел, что называется, в люди. Устроившись на литейном заводе, он обратил на себя внимание своим трудолюбием и года через два, накопив малую толику денег, основал свою собственную мастерскую, на которой работали все почти таракановцы. Как все бедные и много терпевшие люди, разбогатев, делаются *кулаками*, и Корчагин славился *кулачеством*. С рабочими он обращался круто и пользовался ими как вьючным скотом. Раздавая по праздникам грошовое подаяние, он с чистою совестью забивал в могилу сотни людей непосильным трудом, который наваливал на своих работников. Дом его был полной чашей счастия, а мастерская — слез и страданий».

Стр. 9. *Раскольники* — сторонники движения против официальной церкви в России, возникшего в XVII в. в связи с введением изменений в церковных обрядах; движение приняло массовый характер, так как в нем отразился протест народных масс против феодальной эксплуатации. Урал явился одним из мест, куда бежало множество раскольников от преследований царского правительства.

Стр. 28. *Шугайчик* — вид телогрейки, теплой кофты.

Стр. 77. *Кержаки* — то же, что раскольники (см. стр. 315).

Стр. 78. *Шаньги* — род ватрушек, лепешек.

Стр. 81. *Анахоретство* — уход от мира, отшельничество.

Стр. 84. *Крылос* — место в церкви для хора.

Стр. 113. *Штейгер* — мастер рудных работ.

Стр. 153. *Казенный человек* — см. примеч. к стр. 63, т. I.

Стр. 200. *Тресья* — лихорадка; здесь бранное: негодная.

Стр. 239. *Мотовилихинский завод* — см. примеч. к стр. 8, т. I.

ГДЕ ЛУЧШЕ?

Роман впервые напечатан в «Отечественных записках», 1868, №№ 6, 7, 8, 9 и 10; при жизни автора с некоторыми изменениями вышел отдельным изданием в 1869 г. (СПб., изд. С. В. Звонарева). Рукопись неизвестна.

В марте 1866 г., намереваясь уехать с семьей из Петербурга, Решетников записывал в «Дневнике»: «...раньше этого мне нужно запастись материалом для романа «Петербургские рабочие», и этот роман я буду писать в провинции». Начавшаяся вскоре работа над «Глумовыми» отодвинула осуществление нового замысла, а история с публикацией первых двух горнозаводских романов понудила писателя связать этот замысел с давними темами изображения рабочей жизни.

Осенью 1867 г. в связи с переговорами о приобретении «Отечественных записок» Некрасов предложил Решетникову написать новый роман. В «Дневнике» от 31 октября 1867 г. Решетников записывает: «Я начал «Где лучше?» — продолжение «Глумовых». В новом произведении он решил сопоставить участь уральских пролетариев с участью «петербургских рабочих». Решетников с целью более тщательного изучения жизни рабочих Петербурга поселяется на Обводном канале. «На набережной Обводного канала, — сообщал писатель, — мне впервые пришлось познакомиться ближе, чем кому-нибудь, с петербургскими рабочими. Это — народ забитый, не могущий заявить своего протеста, потому что между рабочими нет единства и существует забитость исстари». Подобно тому как ро-

маны о горнозаводском Урале были в значительной мере подготовлены или дополнены рядом очерков, так и тема рабочего в Петербурге нашла прежде всего отражение в соответствующих очерках о жизни столичной бедноты. Участь явившегося в столицу рабочего люда в поисках заработка изображена в очерках «На Никольском рынке», «На заработки», в ряде сцен повести «Между людьми» и др. Ряд картин и образов этих произведений был использован в романе «Где лучше?».

Работа над произведением велась весьма интенсивно и была закончена в июне 1869 г.

Роман, принятый для печатания в «Отечественных записках», редактировался Салтыковым-Щедриным. После ознакомления с первой частью произведения Щедрин писал Некрасову: «Решетникова роман крайне расплывчат, но в том виде, как мною сокращено, его печатать можно». В чем состояли сокращения, произведенные Щедриным, трудно сказать ввиду отсутствия рукописи. Сам писатель, уже откликаясь на обсуждение романа в печати, записал в «Дневнике»: «Говорят, что я пишу не обрабатывая, не забочусь о художественности. Это правда. Если бы я имел средства жить в отдельной комнате, не забирать вперед денег, я писал бы гораздо спокойнее и лучше, чем теперь... А мой роман вынес много мытарств: рукопись переписывали, — я переписку не читал». По поводу сходства романа с «Глумовыми» Решетников писал Некрасову 19 мая 1868 г.: «В первой части нет ничего похожего на «Глумовых», так как там заводской жизни очень немного; если же первая часть походит несколько, а именно по началу ее, на продолжение «Глумовых», то я думаю, что тут ничего нет худого». Еще в процессе редактирования Щедрин дал высокую оценку роману: «Общее впечатление хорошее, наглядно рисующее безвыходность некоторых отношений».

При осуществлении отдельного издания романа в 1869 г. Решетников сохранил правку Щедрина и в то же время продолжил свою работу над улучшением текста: вносится ряд деталей, уточняются термины, заменяются некоторые слова и т. д. В конце добавлено обещание продолжить повествование «под другим названием», но больше произведений из рабочей жизни писатель уже не успел создать.

Роман «Где лучше?», исключительный по остроте и актуальности освещения вопросов народной жизни, не мог не привлечь внимания царской цензуры. Докладывая об «Отечественных записках» за 1868 г., цензор так охарактеризовал роман: «В этом объемистом романе с большим талантом описан быт наших просто-

людинов, именно рабочих, приходящих из деревень для снискания себе пропитания в городах. Положение этих рабочих представлено в романе в самом грустном и безотрадном виде... Борьба с нуждою и обстоятельствами делает жизнь этих тружеников невыносимою, и в конце концов автор приходит к тому результату, что на вопрос «где лучше рабочему человеку», отвечает — в могиле». «Тенденциозность» и «неблагонамеренность» романа отмечала цензура в связи с выходом в 1871 г. «Сборника для чтения», в который был включен отрывок из произведения Решетникова.

Многочисленны были отклики критики на роман «Где лучше?». Вместе с ним подверглись обсуждению и предыдущие романы Решетникова из рабочей жизни (об основных отзывах критики см. вступительную статью).

Стр. 262. ... *в М. завод* — очевидно, имеется в виду Мотовилихинский завод.

Стр. 270. *Цирень* — котел для вываривания соли.

Стр. 278. *Временнообязанный* — так назывались крестьяне, освобожденные в 1861 г. от личной крепостной зависимости, но обязанные впредь до заключения выкупной операции выполнять ряд повинностей в пользу помещика.

Бахарь — говорун, краснобай, сказочник.

Стр. 288. *Шалберничать* — повестничать, шляться.

Стр. 326. *Выкомуры* — обиняки, намеки, насмешки.

Стр. 399. *Тёлка* — здесь условный термин, означающий новое месторождение золота.

Стр. 448. *Шток-фишников...* — продавцов рыбы.

Стр. 451. *Сражение при Синопе* — сражение в Синопской бухте 18 января 1853 г. между турецкой эскадрой и русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова, закончившееся блестящей победой русского флота.

Стр. 455. *На Сенной-то...* — На Сенной площади помещался рынок, на котором происходил наем мужской рабочей силы.

Стр. 463. ...*Никольский рынок* — здесь происходил наем женщин, главным образом в прислуги.

Стр. 540. *Воскресная школа* — см. примеч. к стр. 149, т. I.

Стр. 641. *Представление «Грозы».* — Драма А. Н. Островского «Гроза» в первый раз поставлена в Александринском театре 2 декабря 1859 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Михайлович
РЕШЕТНИКОВ
Избранные произведения, т. II

Редактор П. Быстров. Художник М. Коротков.
Художественный редактор А. Гайденков. Техн.
редактор Л. Чалова. Корректор А. Большаков.

Сдано в набор 22/VIII 1955 г. Подписано к печати 24/II 1956 г.
М 18704. Тираж 165 000 экз. Бумага 84×108,1/32 — 41 печ. л. —
33,6 усл. печ. л. Учетно-изд. л. 33,8 + 6 вклеек = 34,1 л.
Заказ № 958. Цена 12 р. 25 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., 1/3